This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

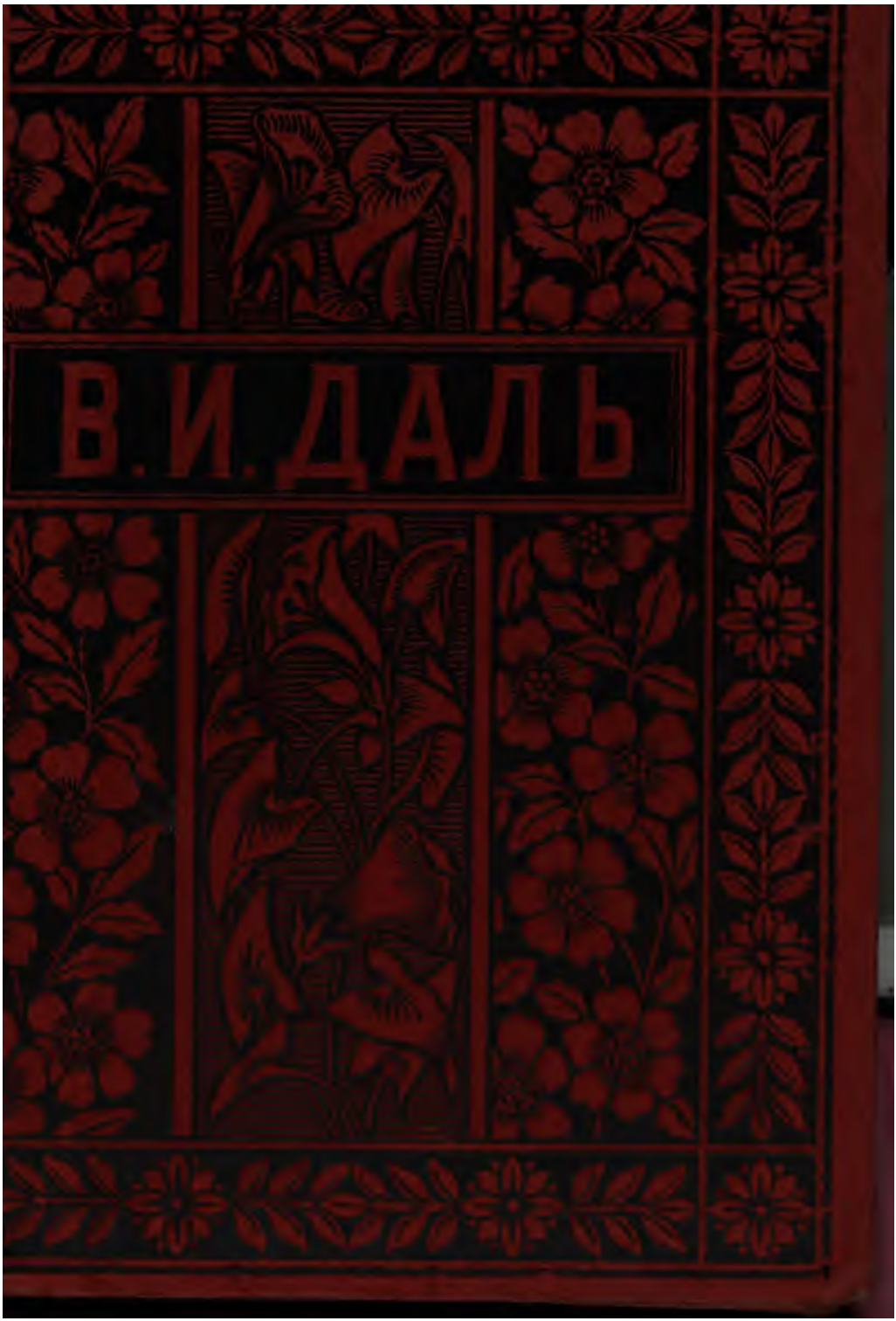
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

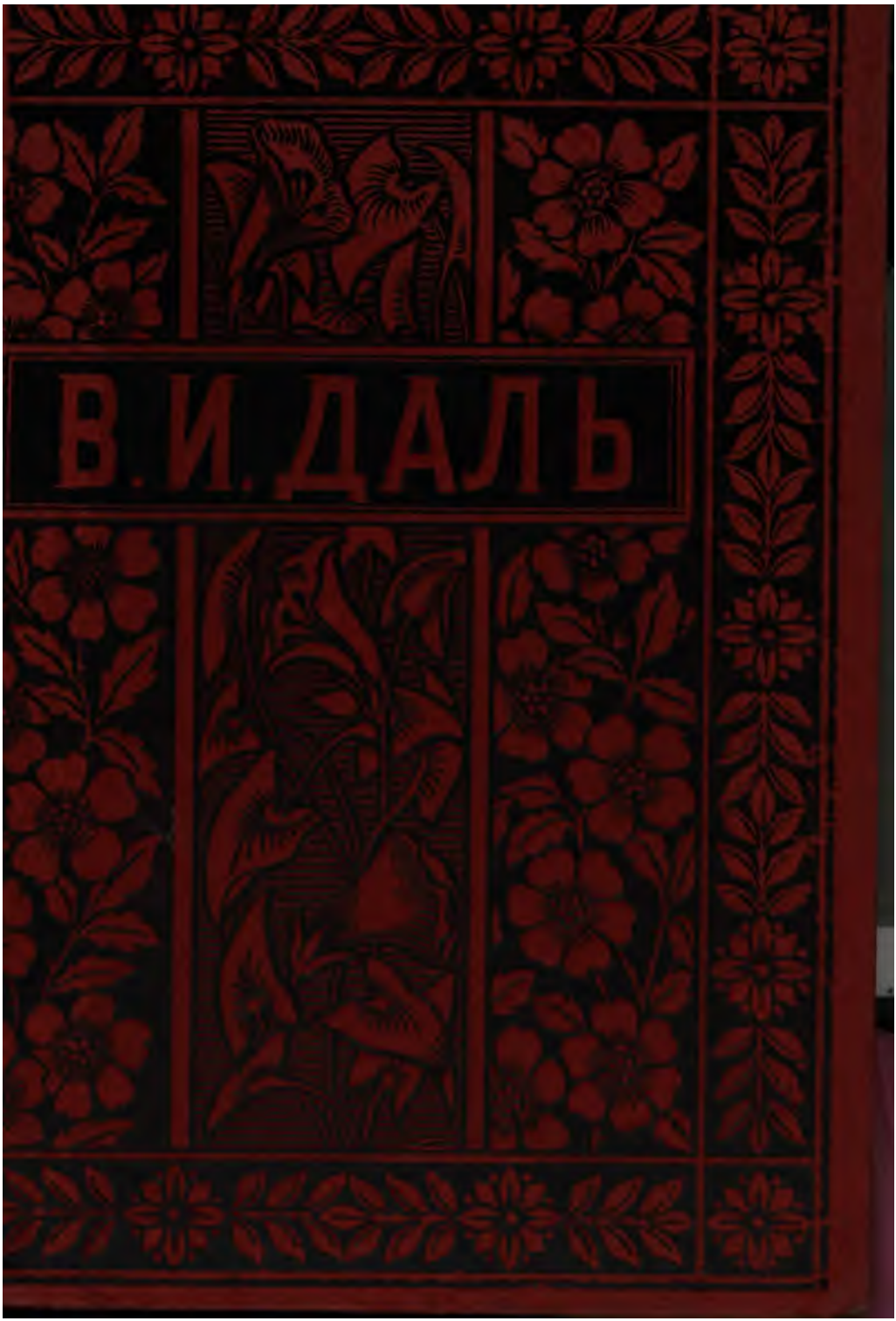
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


В.И.ДАЛЬ

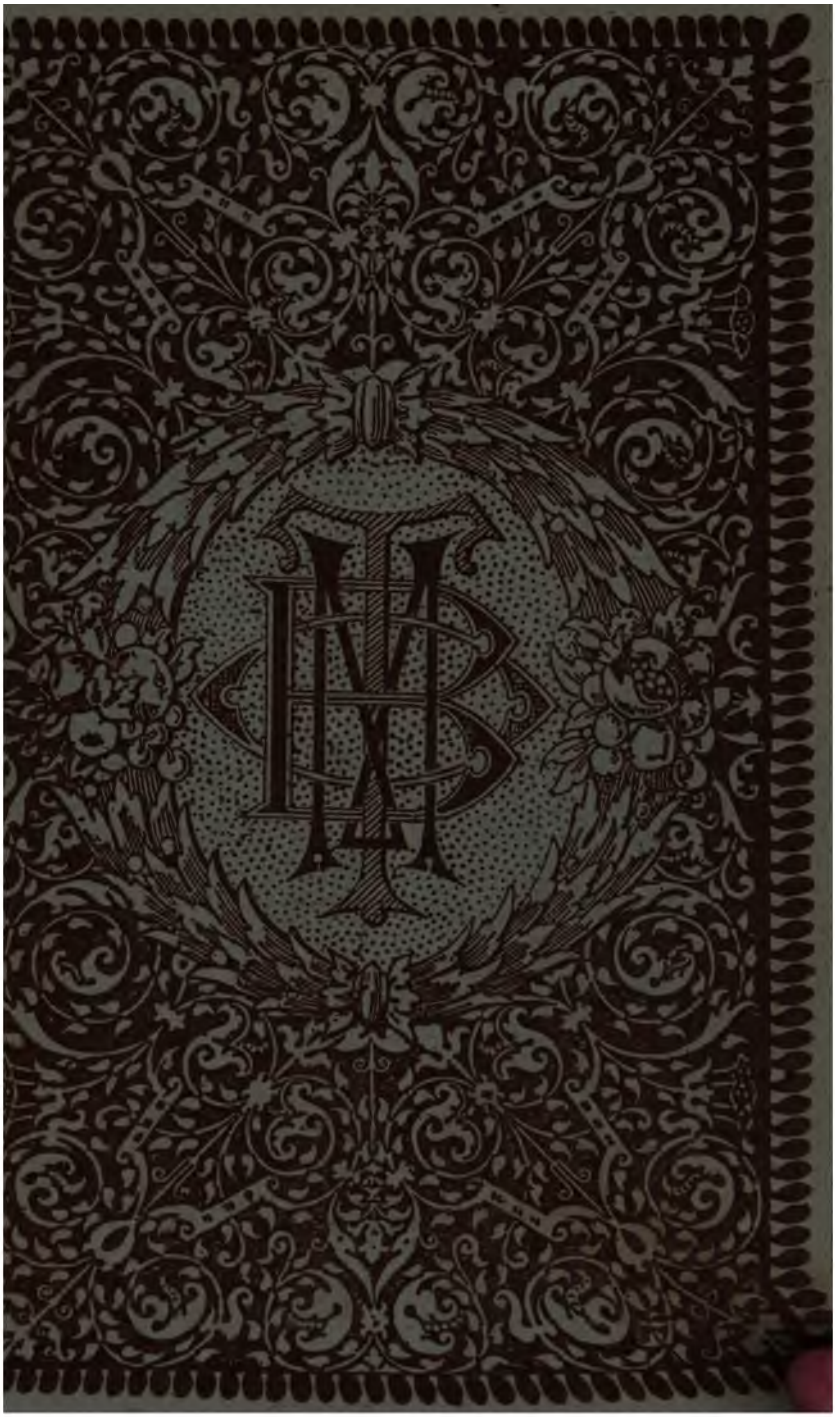

В. И. ДАЛЬ

A45218

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

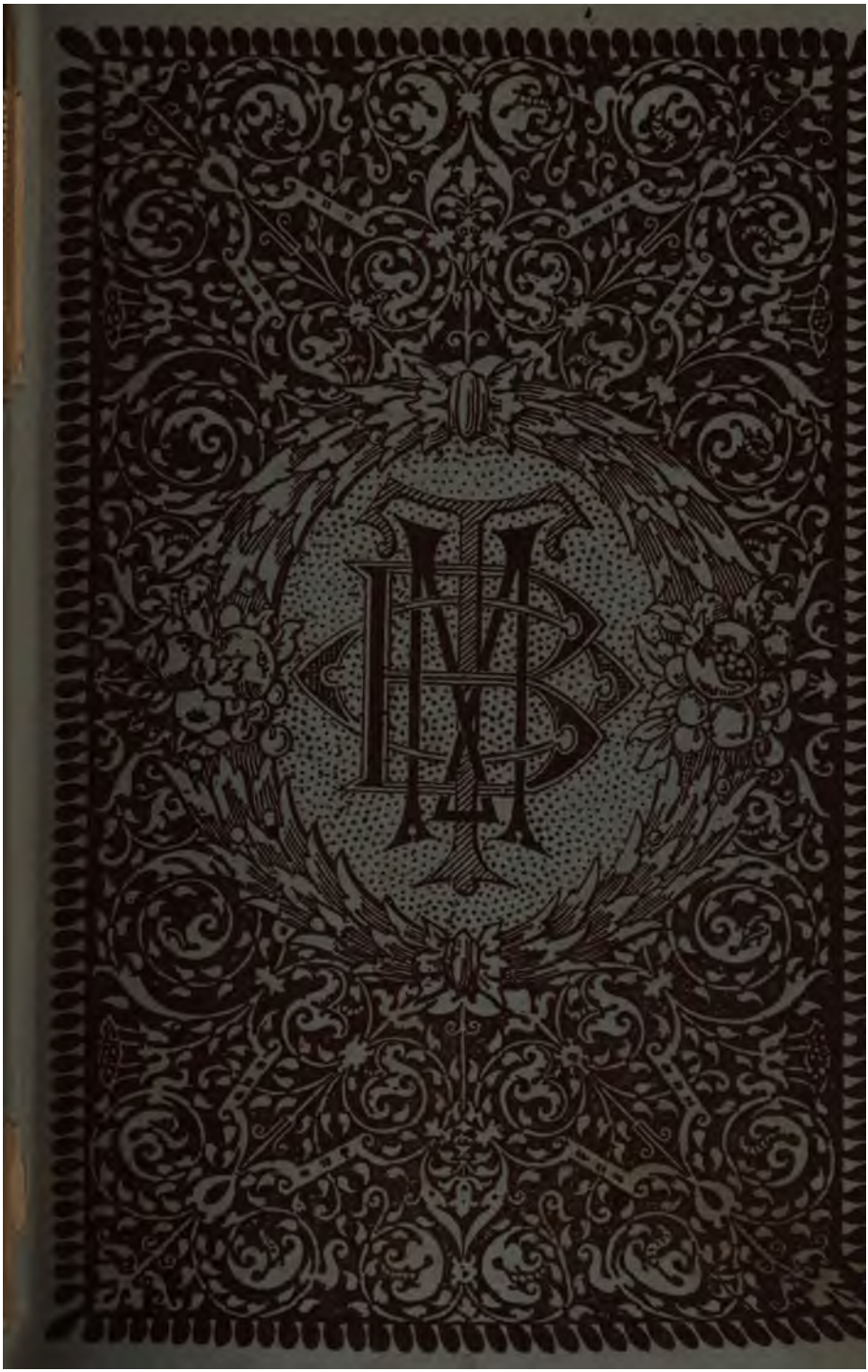
ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

N162



A45216

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

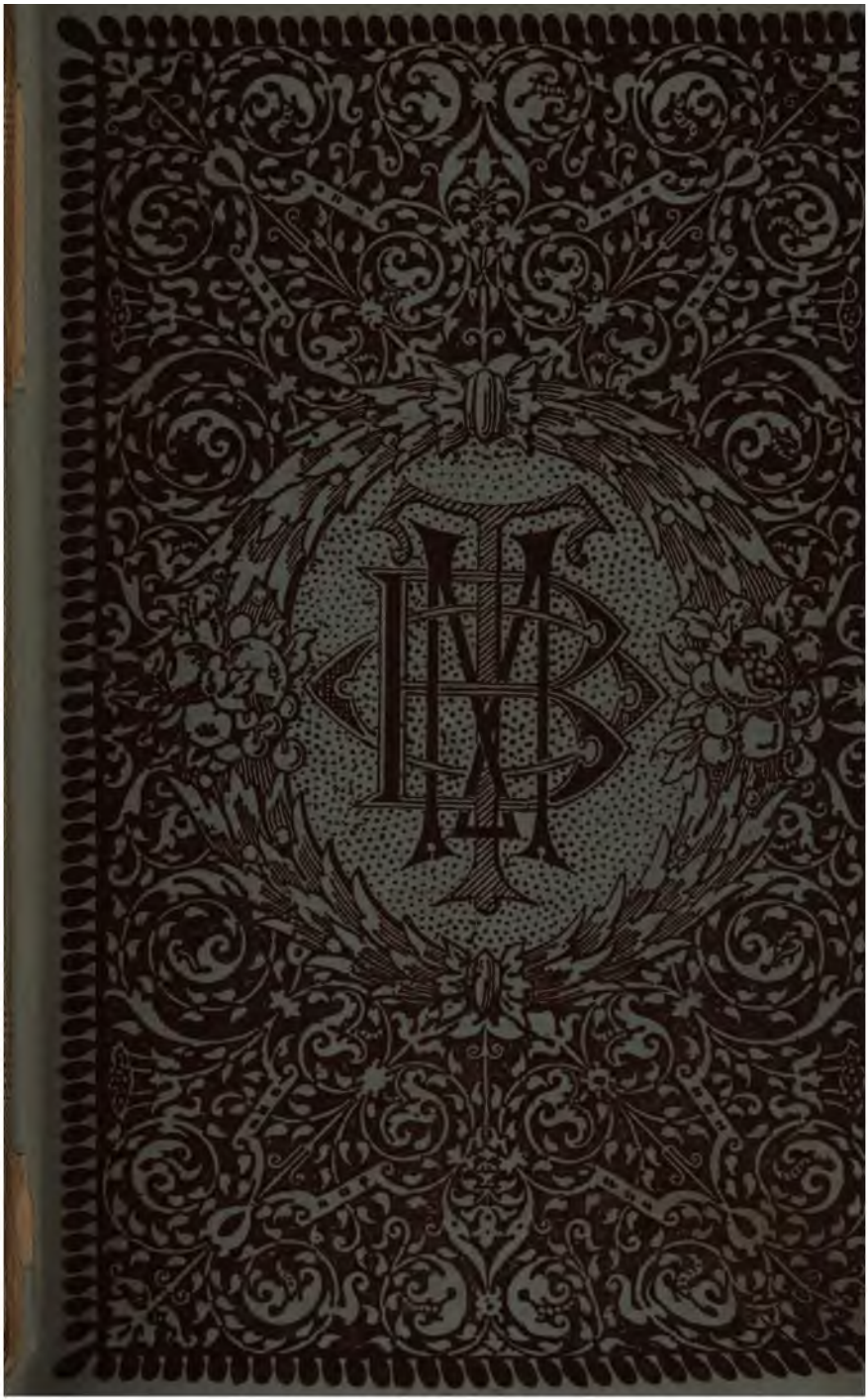


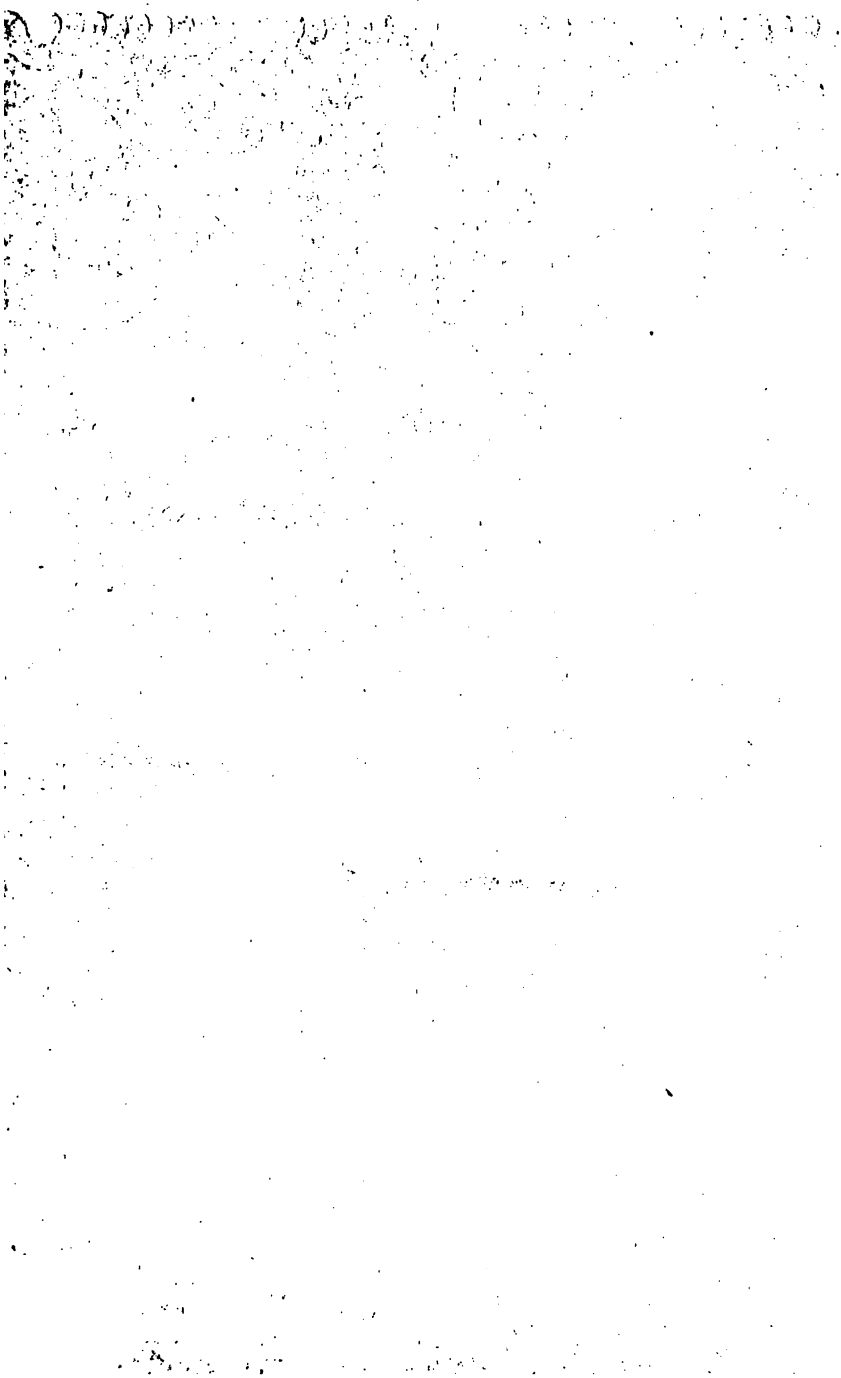
A45216

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

№162





Д 14-11
116

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

## СОЧИНЕНІЙ

# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

**ТОМЪ ВТОРОЙ**

Даль, Вл. И.

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
## СОЧИНЕНІЙ
# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

*Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ*

**ТОМЪ ВТОРОЙ**


I. НЕБЫВАЛОЕ ВЪ БЫЛОМЪ
II. РАЗСКАЗЪ ЛЕЗГИНЦА АСАНА
III. САВЕЛІЙ ГРАБЪ
IV. РАСПЛОХЪ
V. ХМЕЛЬ, СОНЪ И ЯВЬ
VI. МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ



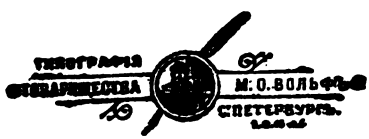
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

**С. ПЕТЕРБУРГЪ** — Гостиный дворъ, № 18 и 21

**МОСКВА** — Кузнецкій мостъ, домъ № 12

**1897**

891.73
D131
v. 2




*Дозволено* цензурою 3-го мая 1896 г. . Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

# НЕБЫВАЛОЕ ВЪ БЫЛОМЪ

## ИЛИ

# БЫЛОЕ ВЪ НЕБЫВАЛОМЪ

## I.

### КРАСНОБАИ.

Въ первый разъ я попалъ на эту знаменитую ярмарку, ходилъ, глядѣлъ, слушалъ и наблюдалъ, безъ всякаго дѣла.

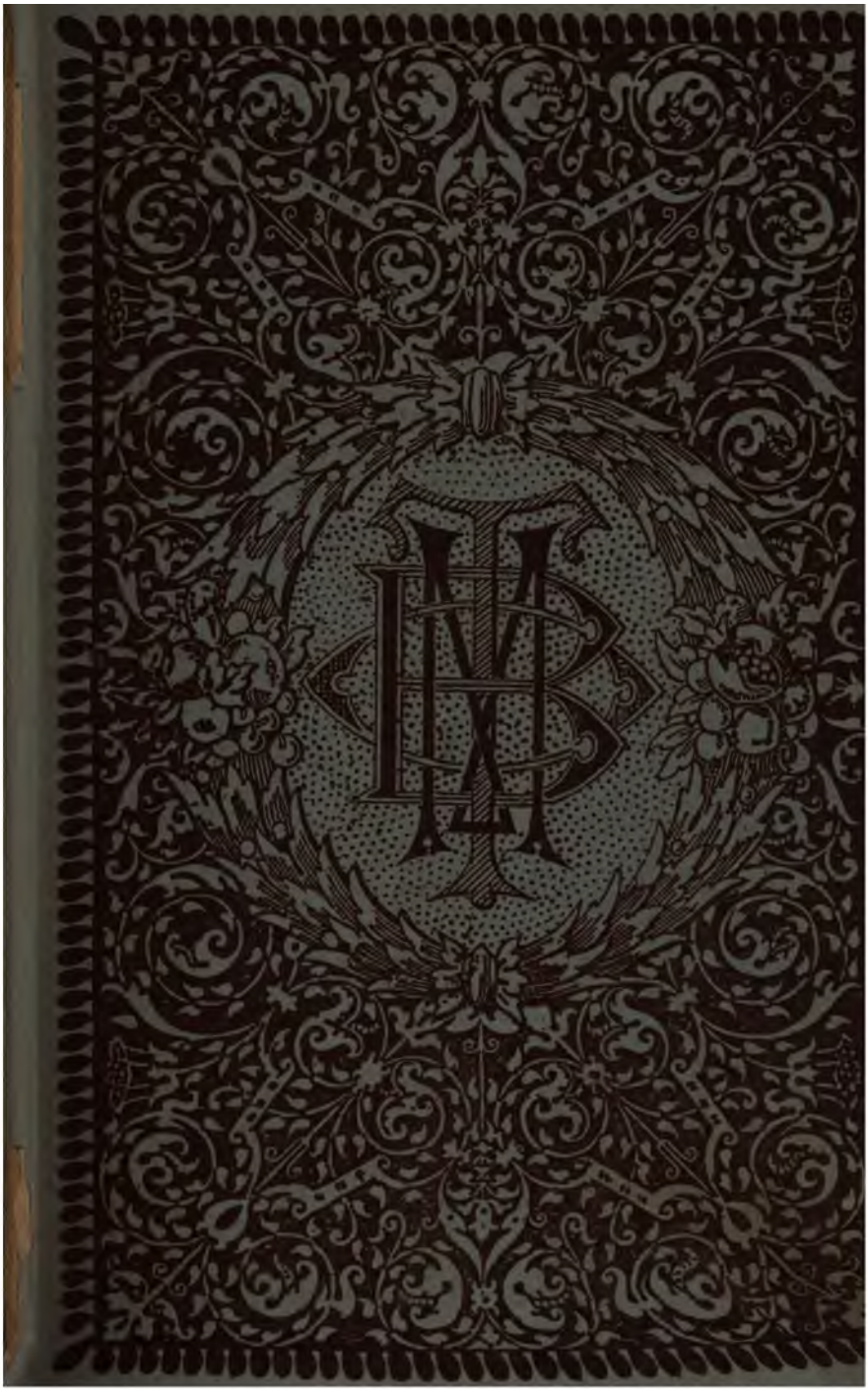
Ярмарка была, какъ говорится, въ самомъ разгарѣ. Пушной товаръ и чай шли хорошо; сбывалась и шерсть, и юфть съ опойками, и даже красный товаръ. Пестрота, движенье и говоръ поражали и оглушали спокойнаго наблюдателя; дѣловому посѣтителю некогда, и онъ не замѣчалъ ничего, кромѣ предмета, которымъ собственно былъ занятъ. Купцы, а въ особенности гульливые сыночки ихъ и вѣрные прикащики съѣхались на ярмарку очень шумно—на лихихъ ямскихъ тройкахъ, подъ масть; гривы заплетены цвѣтными лентами, а какъ колокольчики запрещены, то щегольская наборная сбруя увѣшана была огромными бубенчиками; такъ они мчатся съ пѣснями и тороватымъ кошелемъ,—а поѣдутъ съ

A45216

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

N162



П 14-11
116

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

## СОЧИНЕНІЙ

# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

**ТОМЪ ВТОРОЙ**

Даль, Вл. И.

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
## СОЧИНЕНІЙ
# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

*Первое посмертное полное изданіе, дополненное, сверенное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ*

**ТОМЪ ВТОРОЙ**


I. НЕБЫВАЛОЕ ВЪ БЫЛОМЪ
II. РАЗСКАЗЪ ЛЕЗГИНЦА АСАНА
III. САВЕЛІЙ ГРАБЪ
IV. РАСПЛОХЪ
V. ХМЕЛЬ, СОНЪ И ЯВЬ
VI. МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ



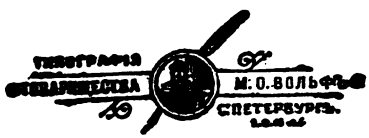
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

**С. ПЕТЕРБУРГЪ** — Гостиный дворъ, № 18 и 21

**МОСКВА** — Кузнецкій мостъ, домъ № 12

**1897**

291.13
D131
v. 2




*Дозволено* цензурою 3-го мая 1896 г. • Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

# НЕБЫВАЛОЕ ВЪ БЫЛОМЪ

ИЛИ

# БЫЛОЕ ВЪ НЕБЫВАЛОМЪ

## I.

### КРАСНОБАИ.

Въ первый разъ я попалъ на эту знаменитую ярмарку, ходилъ, глядѣлъ, слушалъ и наблюдалъ, безъ всякаго дѣла.

Ярмарка была, какъ говорится, въ самомъ разгарѣ. Пушной товаръ и чай шли хорошо; сбывалась и шерсть, и юфть съ опойками, и даже красный товаръ. Пестрота, движенье и говоръ поражали и оглушали спокойнаго наблюдателя; дѣловому посѣтителю некогда, и онъ не замѣчалъ ничего, кромѣ предмета, которымъ собственно былъ занятъ. Купцы, а въ особенности гульливые сыночки ихъ и вѣрные прикащики съѣхались на ярмарку очень шумно—на лихихъ ямскихъ тройкахъ, подъ масть; гривы заплетены цвѣтными лентами, а какъ колокольчики запрещены, то щегольская наборная сбруя увѣшана была огромными бубенчиками; такъ они мчатся съ пѣснями и тороватымъ кошелемъ,—а поѣдутъ съ

ярмарки потише, поскромнѣе и поскупѣе. Когда счеты сведутся, когда хмель предпріимчивости и надежда на великіе барыши испарится, когда промышленное, ярмарочное изступленіе минуетъ—тогда все затихнетъ; а теперь... Прислушайтесь: тутъ въ одно слово рѣшаютъ дѣло и бьютъ по рукамъ, заключивъ торгъ тысячъ на 30; а рядомъ, подлѣ ссорятся за могарычи, сбывъ съ рукъ мерина съ изъянцемъ, или торгуются до устали за вязку баранокъ!

— По чемъ продаете?

— Да по двадцати, а коли шестъ берега не хватитъ, такъ и по 17 можно.

— Что разматрёнился, сердечный?

— Да что, братъ, плохо! заварили пива, да сталась нетёка: товаръ съ рукъ нейдетъ!

— А намъ лишь бы мѣрку снять, да задатокъ взять... а ты чего орешь? Нахрапомъ, что ли возьмешь?

— Не тронь его; вишь не хватаетъ легкихъ, такъ заговорилъ печенкой.

— А, Филиппъ Ивановичъ! каково васъ Господь перевертываетъ?

— Красимно, родимый мой, красимно (красно́).

— Это суздалецъ!

— А онъ у васъ чьихъ былъ?

— Да Телятиныхъ.

— Это сибиряки!

— Что дядя! дядя за племянника не отвѣтчикъ; да опричь того, у него дядя проварился на сахарѣ весь... а ужъ я у ем улью щей на ложку, я ему всучу щетинку.

— Сами брали по 98, видитъ Богъ по 98; — ну, коли все возьмешь, бери по 96, два рубля убытка! Вотъ за-боль правда!

Это, видно, олончанинъ,—его божба.

Тутъ два ремонтёра идутъ;—тутъ городецкіе крестьяне съ пудовыми пряниками; вязниковцы съ деревянной посудой; лысковцы съ сережками; павловцы съ ножами... *Мейве*, промолвилъ гдѣ-то въ сторонѣ жидъ своему брату, то есть: «остерегись, этотъ баринъ говоритъ по-нѣмецки»; — *трущи прохандорили* — «солдаты прошли»—послышалось изъ рѣчи ходебщика или афена села Сивкова... Цыганъ кричитъ: *сауэмастя керу*—«какой масти конь?»—*Строкато*—пѣгій... *Ны бушъ карабъ турасызъ*—чего зѣваете,—кричитъ касимовскій прикащикъ. Мордва, хивинцы, итальянцы, чуваши, греки, черемисы, нѣмцы, бухарцы, французы, калмыки—все шумитъ, кричитъ, жужжитъ—и весь говоръ этотъ сливается съ говоромъ русскимъ и имъ покрывается. Недѣли черезъ двѣ, все замолкнетъ, будетъ пусто; во всѣхъ окнахъ, днемъ и ночью, станутъ мелькать бороды, двѣ руки и счеты—съ костей, да на кости, щелкотня по всѣмъ угламъ. А тамъ и это утихнетъ; товаръ увязанъ, уложенъ—потянулись безконечные обозы во всѣ четыре стороны, кочевая орда поднялась, городъ опустѣлъ,—а веселые, тороватые прикащики не знать куда дѣвались: на обратномъ пути не видать ни одного, кромѣ двухъ-трехъ, которые кутятъ не въ свою голову—да и то съ отчаянья!

Назѣвавшись вдоволь, уставъ и проголодавшись, я напередъ всего зашелъ въ гостиницу, гдѣ, вопреки ожиданія, по случаю ярмарки, поѣлъ сытно и, отдѣлавшись отъ какого-то страннаго человѣка, который былъ, казалось, не пьянъ, а придирался ко всякому, — пошелъ домой. Этотъ странный и непонятный человѣкъ надоѣлъ до нестерпимости хозяину и прислугѣ въ гостинницѣ: но они боялись его, увѣряя, что его уже знаютъ вездѣ и что на него-де нѣтъ суда: онъ изъ благородныхъ, называетъ себя разными храбрыми чинами и никого знать не хочетъ. За это его всюду поятъ и кор-

мятъ въ долгъ и денегъ никогда не спрашиваютъ—лишь бы ушелъ.

Временной домъ мой или жилье были у отставнаго чиновника, у котораго я останавливался уже и прежде проѣздомъ, но не въ ярмочную пору. Только съ трудомъ досталъ я себѣ у него уголокъ — и то пополамъ съ незнакомыми людьми; все въ городѣ было занято, до послѣдняго хлѣва и чердака. Сначала, постояльцы не соглашались было принять меня въ свое гнѣздо, но, поразглядѣвъ меня и пошептавшись между собою, стали очень привѣтливы. Хозяйство у хозяина моего, какъ я уже зналъ, было какое-то бурлацкое; все въ домѣ присыпано табакомъ и табачнымъ пепломъ; у хозяйки же, во все, за что ни возьмись, вплетаются саженные волосы. Я помню, когда проѣзжалъ зимой, что, вставъ утромъ и подошедъ къ окну, я разсматривалъ съ любопытствомъ цѣлую груду разнаго добра, смерзшагося комомъ въ углу окна: тутъ были клубки шерсти и ниткъ, бумажки, гребенки, щипцы, старыя карты, помадная банка и сальные огарки. Но на этотъ разъ мнѣ нельзя было привередничать; не хотѣлось проѣхать, не взглянувъ на ярмарку, и я радъ былъ, что нашелъ, гдѣ преклонить свою голову.

Незнакомые товарищи мои были ласковы и привѣтливы; мы поздно уже сѣли всѣ вмѣстѣ съ хозяиномъ за чай; общая суматоха въ городѣ отбиваетъ у всякаго сонъ; рѣчь зашла о воровствѣ и разбояхъ, и товарищи мои, какъ видно почтенные, хоть не высокаго залета торговцы, и люди бывалые, стали поочередно разсказывать, что испытали въ этомъ родѣ или слышали.

## Окрутникъ.

— Хозяинъ нашъ въ тѣ поры торговалъ скотомъ— началъ длинный дѣтина, котораго товарищи называли

Долгаемъ и гоняли мы по бѣлорусскому тракту. Была уже и у меня собинка *) и скотъ въ ту пору былъ вязный **) такъ шли мы и ходко и весело. Тутъ-то и случилось вотъ что.

Мужикъ держалъ постоялый дворъ и прошла молва о немъ, что онъ поразжился и что деньжонки у него есть; жилъ онъ съ хозяйкой, съ сыночкомъ, парнишкомъ годовъ десяти, да съ работникомъ, который бывало ночевывалъ лѣтомъ на дворѣ, оберегалъ добро, а теперь былъ усланъ въ городъ. Вотъ, подъ вечеръ, подошли къ корчмѣ мужикъ съ бабой, и баба та больная, черезъ великую силу ноги волочитъ. Подошли и ну проситься Христа-ради, чтобъ пустили переночевать; захворала-де дорогой, дойти никуда не дойдетъ, не знаетъ какъ и быть. Хозяинъ пустилъ. Приступаетъ что-то бабѣ къ сердцу все хуже да хуже; она себѣ охаетъ да стонетъ; ночь настала—разнемоглась баба такъ, что голосомъ взвыла. Мужикъ тужитъ, жалѣетъ, все около нея ухаживаетъ, да и хозяева тожъ; дали они ей сперва квасу съ солью выпить, тамъ и перцовки поднесли, то, другое—нѣтъ, все то же, еще хуже. Мужикъ испугался, давай упрашивать хозяина, въ ноги ему кланяется: «я, говоритъ, на чужой сторонѣ здѣсь, никого не знаю, нѣтъ ли у васъ гдѣ знахарки близко?»

— Есть, говорятъ, недалече, версты съ двѣ всего.

— Проводи, братъ, Христа-ради, укажи; я вотъ послѣднее, что есть, отдамъ тебѣ!

Хозяинъ хоть и подумалъ было, что-де ночь теперь, да покинуть дворъ опасно—«однако, говоритъ, нечего дѣлать, пойдемъ; и не надо мнѣ съ тебя ни-

---

*) Собинка, собина — собственность; такъ приказчики называютъ скотъ, который пригоняютъ вмѣстѣ съ хозяйскимъ гуртомъ для себя.

**) Сытый, жирный; вязь—жиръ на скотѣ.

чего; я хоть и наживаюсь съ вашего брата, однако, крещеный человѣкъ и самъ». Пошли.

Между тѣмъ, баба, маленько погодя, позатихла—видно отпустило; тамъ слѣзла съ палатей, а тамъ ужъ и къ дверямъ подошла, да дверь приперла на крючокъ; да вдругъ хозяйку хвать за глотку: «Давай деньги! я, какъ видишь, такая же баба, какъ и товарищъ мой, и ножъ у меня такой же, и не хуже его, съ кѣмъ случится, управлюсь; давай деньги; хозяина твоего уже нѣтъ на свѣтѣ: онъ убитъ товарищемъ моимъ на пути; не жди помощи ни отъ кого!»

Хозяйка ни жива, ни мертва, упала—говоритъ: «деньги въ подпольѣ, въ кубышкѣ стоятъ».—Поди, указывай, гдѣ!—«Не могу, родимый; ты придушилъ меня совсѣмъ; не привстану, хоть убей, не могу я по стремянкамъ спуститься въ подполье».—Разбойникъ засвѣтилъ лучину и взялъ съ собою парнишка хозяйскаго, чтобъ указалъ, гдѣ стоитъ кубышка, и спустился въ подполье. Хозяйка, очнувшись между тѣмъ немного, встала, подошла къ тому мѣсту да, опустивъ западню, заперла тамъ разбойника. Тому за бѣду стало, испугался; сталъ кричать, стращать, да кинулся выламывать западню—не подъ силу: половицы толстыя, дубовыя, а намётка накинута и приткнута. Тогда проклятый, сталъ онъ казнить мальчика, чтобъ мать не стерпѣла, да отперла; она же и сама не знаетъ, что надъ ней сталось и сама себя не помнитъ,—только не чая спасенія отъ злодѣя, за одно ужъ предалась волѣ Божіей и не отперла. Съ испугу кинуло ее въ такую дрожь, что уже не могла и приподняться и словно голова на плечахъ не своя. «Видно, говоритъ, такая тебѣ, дитятко, доля». Мальчикъ въ подпольѣ сперва кричалъ—а тамъ все затихло.

Опамятовавшись немного, хозяйка заперлась *кругомъ*. *Между* тѣмъ, другой злодѣй, убивъ на дорогѣ

хозяина, воротился, да еще и съ товарищемъ. Глядятъ—все тихо, все темно и заперто. Стали высаживать окно: хозяйка перваго, который полѣзъ, обухомъ въ лобъ—другой ушелъ. Вотъ, братцы мои, на какую бѣду мы нашли со свѣтомъ, какъ пригнали скотъ; хозяинъ убитъ, мальчикъ зарѣзанъ, хозяйка чуть жива, одинъ разбойникъ убитый подъ окномъ, другой сидитъ въ подполѣ!

## Ошибка.

— Сказывали и мнѣ на Литвѣ про случай въ корчмѣ съ разбойниками—да только, братъ, конецъ былъ чуть ли не пострашнѣе еще,—началъ другой товарищъ.

Корчма одинокая стояла на распутьѣ, и сидѣлъ въ ней жидъ съ домочадцами. Какой-то бродяга, чай не помнящій родства, понавѣдавшись разъ-другой въ корчму и поосмотрѣвшись, рѣшился сдѣлать дѣло съ товарищемъ и выждали они для этого ночь на субботу, когда оставались въ корчмѣ одинъ только жидъ съ жидовкой, а прочіе уѣхали куда-то на сборное мѣсто, справлять по-ихнему шабашъ. Вломившись въ корчму, они насилу доискались жида, который со страха подлѣзъ подъ лавку; покуда справились съ нимъ, да его придушили, жидовка въ потьмахъ успѣла выскочить и молча бѣжала. Разбойники провозились еще, покуда обшарили всѣ углы, чтобъ найти хозяйку, которой не замѣтили, да чтобъ, изъ осторожности, увѣриться, нѣтъ ли еще кого—а затѣмъ и стали было выбивать дно у большого сундука, который стоялъ у жида на колесахъ подлѣ кровати. Вдругъ слышатъ стукъ по дорогѣ—глядь: подъѣхала дорожная коляска. Дѣло было къ разсвѣту, чуть

только стала заниматься заря, и къ корчмѣ подъѣхалъ помѣщикъ, чтобъ съ просонья закурить трубку. Онъ выѣхалъ спокойно съ вечера, продремалъ ночь, къ утру пахнулъ, видно, на него свѣжій вѣтерокъ, захотѣлъ трубки, а огня съ собой не случилось. Посылаетъ онъ человѣка своего закурить трубку; тотъ только въ дверь, а одинъ изъ разбойниковъ, чтобъ не поймали ихъ, уже стерегъ его, да обухомъ въ лобъ. Этотъ свалился безъ слова. Помѣщикъ ждетъ; все тихо; человѣка нѣтъ. Зоветъ его, кричитъ—никто не отзывается; поди, говоритъ онъ кучеру, слѣзь, да погляди, въ землю что-ли онъ провалился, да вытолкай его въ шею!

Пошелъ кучеръ—и съ нимъ то же; только-что растворилъ двери изъ сѣней въ покой, какъ сгорѣлъ съ ногъ и замолкъ. Все тихо опять, все молчитъ—помѣщикъ ждетъ не дождется; наконецъ, видитъ, что-то это не даромъ, что-нибудь да есть тутъ; ударъ обухомъ онъ на этотъ разъ слышалъ и сталъ догадываться. Взявъ двуствольное ружье, сталъ онъ заходить осторожно отъ окна; тутъ увидалъ онъ все: жидъ убитый лежитъ среди корчмы, двое людей, слуга и кучеръ растянулись поперегъ порога, а поддѣ косяка, притаившись, стоитъ человѣкъ съ топоромъ въ рукахъ и поглядываетъ въ двери. Помѣщикъ не долго думавъ, приложился и убилъ злодѣя на повалъ; другой, выбравшись уже въ сѣни, выскочилъ черезъ дворъ и пропалъ, скатившись подъ гору въ лѣсъ. Лошади, испугавшись выстрѣла и притомъ безъ кучера, понеслись. Помѣщикъ обошелъ кругомъ всю корчму, заглядывалъ въ окна, кричалъ, звалъ:—никто не откликается; наконецъ, онъ рѣшился войти, посмотрѣть, не живъ ли кто изъ людей его, и стоялъ въ раздумьи среди этого побоища одинъ живой, между четырьмя трупами, не зная въ ужасѣ, что дѣлать.

Тѣмъ часомъ еврейка, побѣжавъ безъ памяти куда навела глазами, верстахъ въ двухъ встрѣтила шедшаго по дорогѣ охотника, который къ свѣту торопился въ поле. Безъ ума, безъ памяти, безъ языка, жидовка упала передъ нимъ и отчаянными знаками только звала его на помощь. Не понимая самъ, что сталось, но видя въ какомъ она положеніи, охотникъ шелъ поспѣшно за нею, а она бѣжала передъ нимъ, дико вскрикивая, заламывая руки и взывая знаками о помощи. Наконецъ, она его привела къ корчмѣ, указала на нее пальцемъ и упала безъ чувствъ. Оглядѣвшись, охотникъ подошелъ осторожно, и уже приготовился на что-нибудь чрезвычайное; тишина и безлюдье, при растворенныхъ настежъ дверяхъ и выломанномъ окнѣ, озадачили его; а подошедши осторожно къ этому окну и взглянувъ въ него, онъ едва не отскочилъ отъ ужаса, увидавъ весь полъ въ крови, заваленный трупами, а между ними одного только живого человѣка, наклонившагося, съ ружьемъ въ рукахъ, надъ однимъ изъ убитыхъ. Кто бы при этомъ не счелъ бѣднаго помѣщика за убійцу и виновника этого побоища? Охотникъ, въ свою очередь, приложился и убилъ его на повалъ.

Итакъ, одинъ разбойникъ убитъ, другой ушелъ и пропалъ безъ вѣсти; двое людей помѣщика убиты, самъ онъ убитъ, жидъ также, а жидовка сошла съ ума и потеряла языкъ! Кто же теперь распутаетъ дѣло и оправдаетъ охотника? Нѣтъ ни одного свидѣтеля, никого, кто бы могъ вымолвить живое слово и разсказать дѣло; одно убійство повершено другимъ, другое третьимъ—остался въ живыхъ одинъ и тому доведется отвѣчать за семерыхъ!

## На убійцѣ кровь.

— Мы брали третьяго года хлѣбъ и соль въ Самарѣ,—началъ третій:—такъ тамъ сказывали заѣзжіе уфимцы вотъ что.

Украли у мужика лошадь; а тамъ, извѣстно, занимаются этимъ татары да башкиры. Мужикъ, знавъ, что судомъ не воротишь добра, пошелъ на сосѣднее кочевье къ башкиру же извѣстному мошеннику-конокраду, чтобъ сторговаться съ нимъ да выкупить свою клячу,—Трудно будетъ отыскать ее теперь, отвѣчалъ тотъ:—однако, постараюсь. А что дашь?—«Три цѣлковыхъ».—Ну ладно, приходи черезъ день къ такому-то мѣсту, подъ горой, на озерѣ, приноси деньги, да приноси и вина: безъ этого нельзя. —Мужикъ хоть и зналъ, что по-ихнему закону вина пить не велѣно, да ужь не сталъ напоминать, чтобъ не разсердить, а обѣщалъ все исполнить. Пришелъ; башкиръ тутъ.—А гдѣ же лошадь? «Погоди, поспѣешь, она привязана въ лѣсу, я укажу гдѣ: давай вино». Выпивъ, онъ зашелъ какъ-то съ тылу мужика; хватилъ его обухомъ, отобралъ три цѣлковыхъ, платье сжегъ, а тѣло стащилъ на озеро и запряталъ подальше въ камышъ. Концы въ воду.

На другой день, хозяйка убитаго мужика пріѣзжаетъ на кочевку навѣдаться, куда дѣвался мужъ ея. Тамъ никто не видалъ его и ничего объ немъ не знаетъ; она же стоитъ на своемъ, что хозяинъ ея пошелъ именно на эту кочевку, къ такому-то башкиру, за лошадью. Дали знать въ судъ, слѣдовали, допрашивали, разбирали, приводили къ присягѣ,—никакого толку нѣтъ; такъ и бросили.

Въ башкирской деревнѣ, отколѣ народъ вышелъ на лѣто кочевать, оставался, по обычаю, старикъ сторо-

жемъ; а деревня была отъ кочевья верстахъ въ двадцати-пяти. Вдругъ старикъ этотъ, сторожъ, пріѣзжаетъ на кочевку и объявляетъ старшинѣ, что башкиръ, на котораго указывала баба, точно долженъ быть убійца: у него-де въ избѣ выступила кровь. Пошла тревога; сѣли на коней, взяли съ собой и виноватаго, и поскакали на деревню. Башкирскій аулъ или зимовка лѣтомъ—настоящій пустырь: въ какомъ-нибудь захолустьѣ, въ оврагѣ, раскиданы избёнки, кто гдѣ вздумалъ, тамъ и поставилъ—а какъ народъ съ весны покидаетъ избы и выходитъ со скотомъ въ поле, то вся деревня бываетъ пустая, ровно чума людей передушила, и все заростаетъ коноплей и крапивой вровень съ кровлями.

Пріѣхавъ въ эту глушь верхами, стали они прокладывать себѣ дорогу къ избѣ виноватаго; ѣдутъ по по дворамъ и переулкамъ въ конопляхъ, словно плывутъ: только человѣка видно по верху, да одни уши лошади выказываются. Пріѣхали; смотрятъ: у того башкира, на нарахъ и подъ нарами, на полу, кровь стоитъ лужей. Убійца такъ былъ испуганъ этимъ, что сознался на мѣстѣ во всемъ—но до конца не могъ понять; откуда въ пустой и запертой избѣ его взялась кровь, гдѣ ни онъ, ни другой кто не былъ ногой, и тогда какъ трупъ убитаго оставался въ двадцати-пяти верстахъ, на озерѣ, гдѣ, по указанію виновнаго, и найденъ! Допрашивали старика, не зарѣзалъ ли кто въ порожней избѣ краденаго барана? такъ нѣтъ; никого, говоритъ, не было, во все время: я по два раза въ день обходилъ всю деревню; Богъ, говоритъ, сдѣлалъ это, потому что на убійцѣ всегда есть кровь.

Тамъ же продолжалъ разсказчикъ, промежъ башкиръ, случилась и другая быль по нашей пословицѣ, что на ворѣ шапка горитъ.

Заѣхалъ въ тѣ мѣста нижегородецъ съ косами, ухъ-

ѣзжалъ и торговалъ хорошо. По старопсетскому тракту, въ горахъ, разстался онъ съ приказчикомъ своимъ, послалъ его по одному пути, а самъ поѣхалъ по другому и наказалъ выѣхать въ такой-то день къ рѣчкамъ Суренямъ, чтобъ опять съѣхаться вмѣстѣ. Прикащикъ исполнилъ наказъ хозяйскій, выѣхалъ на ту дорогу, сталъ спрашивать и, напавъ на слѣдъ хозяина, думалъ къ вечеру нагнать его; но черезъ деревню слѣдъ пропадъ, никто не видалъ мужика и не слыхалъ, чтобъ былъ въ этихъ мѣстахъ нижегородецъ съ косами. Проискавъ хозяина сутки, прикащикъ кинулся къ исправнику: пошли розыски; дослѣдились до послѣдней деревни, въ которой былъ мужикъ, гдѣ ночевалъ, продавалъ косы и выѣхалъ—а далѣе никуда не пріѣзжалъ. При обыскѣ нашли у того башкира, гдѣ тотъ ночевалъ, немного крови на ременномъ поясѣ и на полѣ чапанъ; сколько ни запирался, а, наконецъ, повинился и сознался во всемъ, сказавъ, что мужикъ не даетъ ему покою ни днемъ, ни ночью и, изрубленный на куски, гоняется за нимъ, по кускамъ: то рука, то нога, то голова. Стали снимать допросъ, и убійца разсказалъ дѣло такъ.

Увидавъ, что у крестьянина есть деньги, которыя онъ, приставъ у меня, считалъ съ вечера при мнѣ, и утромъ рано, когда онъ выѣхалъ отъ меня, сѣлъ верхомъ и догналъ его верстахъ въ десяти. Онъ дремалъ на телѣгѣ; а я, покинувъ лошадь свою, подошелъ тихонько и убилъ его сразу обухомъ. Затѣмъ, отобравъ у него деньги, я раздѣлъ его, засунулъ платье подъ мостикъ, трупъ стащилъ въ лѣсъ, а лошадь съ телѣгой своротилъ туда же. Поѣхавъ домой, я слышу за мной что-то стучитъ; оглянулся—а мужикъ гонится за мной на телѣгѣ! Я воротился, посмотрѣлъ — онъ лежитъ, какъ лежалъ, и лошадь съ телѣгой стоитъ въ трущобѣ, гдѣ стояла. Привязавъ ее къ дереву, я поѣхалъ; огля-

нулся, мужикъ опять за мной. Воротившись въ другой разъ, я выпрягъ лошадь, а мужику отрубилъ голову; все то же—гонится за мною, только уже не въ телѣгѣ, а верхомъ и безъ головы. Тогда я въ третій разъ воротился, отрубилъ и лошади голову, а его искрошилъ всего на части и разбросалъ. Тутъ поскакалъ я шибко, а все слышалъ, что скачетъ кто-то за мною на кованой лошади*). Страхъ на меня напалъ—не смѣлъ я и оглядываться; только разъ оглянулся, какъ доскакалъ уже до самой двери: мужикъ за мною—самъ безъ головы, и лошадь безъ головы, а гонится... съ той поры, куда ни погляжу—все то же: либо мужикъ безъ головы, безъ рукъ, безъ ногъ передо мной, либо лошадь бѣжитъ безъ головы,—то руки и ноги, перепутанныя съ туловищемъ, лежатъ грудой на безголовой лошади, мотаются кверху и книзу—а лошадь несется прямо на меня; то однѣ головы въ крови, человѣчья и конская, на меня же мечутся — и нѣтъ мнѣ отъ нихъ нигдѣ покоя!

---

Въ теченіе разсказовъ этихъ, собесѣдники, то тотъ, то другой на время выходили; только хозяинъ и я сидѣли неподвижно и слушали. «Такія страсти не къ ночи бы разсказывать!» отозвался, наконецъ, хозяинъ, у котораго рыжеватые и не курчавые, а гладкіе бакенбарды отвисли бахромкой по обѣ стороны лица, постоянно выражавшаго какое-то брюзгливое неудовольствіе и скуку. «Сохрани Богъ», прибавилъ онъ перекрестившись: «сохрани Богъ всякаго отъ такихъ оказій!»

— А здѣсь у васъ все спокойно,—спросилъ я:—или тоже бываютъ такіе случаи?

---

*) Башкиры лошадей своихъ не куютъ.

— Нѣтъ, благодаря Бога,—отвѣчалъ тотъ:—насчетъ такихъ злодѣйскихъ приключеній ничего не слышно. Оно, конечно, не безъ шалостей, то есть иногда пошаливаютъ и у насъ, да все не то. Вотъ намедни перерѣзали какихъ-то тронхъ татаръ, да и то не наши, говорятъ, а касимовскіе; было слышно, что и купца московскаго убили, да безъ вѣсти пропалъ еще какой-то; тамъ, правда ли, нѣтъ ли, нашли, говорятъ, на Курочкиномъ-Овражкѣ цѣлую артель купцовъ, перебитыхъ да перерѣзанныхъ; а впрочемъ, не слыхать ничего. Вотъ, третьяго года, такъ былъ тутъ случай, съ кумомъ моимъ, съ Иваномъ Артемьичемъ — теперь дѣло прошлое, нечего таиться, миновало все. Онъ, изволишь видѣть, поѣхалъ съ вечера въ одноконной телѣжкѣ въ Самсоновку, повезъ на продажу мыльца, свѣчей, да кой-чего для обиходу. Выѣхавъ на большую дорогу, глядитъ—спасибо, что глядѣлъ въ оба, не дремалъ, а то бы уходили!.. глядитъ: два человѣка выскочили изъ канавки и кинулись на него; одинъ лошадь ухватилъ подъ уздцы, другой прямо къ нему, на телѣгу. Иванъ Артемьичъ, какъ лежалъ бочкомъ, да держалъ въ рукахъ возжи, покинулъ ихъ, да ухватилъ безменъ—на счастье прямо подъ руку попался! Безменомъ-то одного мошенника хватилъ онъ въ лобъ, а другой, какъ этотъ свалился снопомъ, ушелъ. На другой день, нашли работу Ивана Артемьича на дорогѣ: бѣглый солдатъ, никто другой; а Иванъ Артемьичъ не дуракъ, человѣкъ бывалый, разсказывайте тамъ себѣ, сколько хотите, а онъ себѣ молчокъ, да и правъ. Что-же дѣлать; передъ Богомъ правъ и есть; а тутъ, того гляди, затаскали бы по судамъ.

— Воровства много, однакожъ, и здѣсь,—замѣтилъ одинъ изъ собесѣдниковъ, именно Долгай.

— Ужъ на счетъ воровства,—сказалъ опять хозяинъ, махнувъ рукой и притворившись будто плюнулъ:—ужъ

на счетъ воровства, такъ точно, что у насъ въ ярмарочное время хоть что хочешь такъ украдутъ; вотъ у сосѣда цѣпную собаку, на что ужъ была злая, и ту увели, съ цѣпью совсѣмъ, даже и пробоемъ не побрезгали, и тотъ выдернули!

— Народу всякаго много, — замѣтилъ со вздохомъ опять Долгай: — собьются со всѣхъ концовъ — одинъ у другаго на разумѣ не бывалъ, не узнаешь, кто что думаетъ да гадаетъ; чуть оплошай — такъ и плюнь да махни рукой.

— А развѣ присмотру нѣтъ за этимъ, — спросилъ я: — вѣдь, есть же на то начальство?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ хозяинъ, приподнявъ нижнюю губу еще болѣе и пригладивъ рукой бакенбарды свои, львиную гриву, книзу: — оно таки не то, чтобъ у насъ на это запрету не было; а все лучше, какъ всякъ самъ себя оберегаетъ; пожалуй, мало того, что убытокъ на себѣ понесешь, еще по прикосновенности виноватъ будешь. Нашего брата много; за всѣми начальству не усмотрѣть...

Взглянувъ на часы, я всталъ, простился и пошелъ было спать въ свою комнату — но, вошедши туда, ахнулъ отъ испуга, тотчасъ воротился и объявилъ въ недоумѣніи, что чемодана моего и шкатулки нѣтъ. Трое пріѣзжихъ кинулись съ различными возгласами: «а! а? о!» къ осмотру своихъ пожитковъ; а хозяинъ, устремивъ на меня рѣзко глаза, кивнувъ отрывисто головой и притиснувъ нижнюю губу къ верхней, сказалъ только: «Вотъ оно каково! Вотъ и накликали бѣду!» проутюжилъ бакенбарды сверху внизъ, всталъ и пошелъ со вздохомъ въ мой уголокъ.

## II.

## МАЙДАНЩИКИ.

Ночь эта прошла для меня почти какъ ночь пытки или преступника передъ казнью. До дома далеко, знакомыхъ ни души, въ карманѣ почти ни гроша. Меня нисколько не утѣшало, что товарищи мои плакались на такую же бѣду, что ихъ постигла такая же участь; а безконечныхъ разсказовъ хозяина о многихъ подобныхъ случаяхъ я и не слушалъ. Товарищи мои принимали во мнѣ болѣе участія, въ особенности Долгай, который распрашивалъ обо всѣхъ подробностяхъ пропажи. Успокоившись нѣсколько и осмотрѣвъ свой чуланчикъ, я убѣдился, что воръ влѣзъ въ окно, которое было отперто силою снаружи, такъ что крючокъ былъ вырванъ изъ подоконника и висѣлъ на переплетѣ. Но когда я днемъ осмотрѣлъ все это еще разъ, то у меня невольно возникло странное подозрѣніе: на подоконникѣ остались вокругъ бывшаго крючка явные знаки долота или ножа, которымъ онъ былъ вырванъ, а снаружи этого сдѣлать было невозможно. Какъ это объяснить? А если крючокъ вырванъ снутри, то для чего же, вмѣсто того, не растворили просто окна? Тогда я оставался въ полномъ недоумѣніи на этотъ счетъ, а впослѣдствіи понялъ очень ясно, что крючокъ былъ вырванъ для отвода подозрѣнія отъ виновныхъ.

Я сталъ просить хозяина послать за полицейскимъ, но онъ этого и слышать не хотѣлъ. «Не за тѣмъ же вы напросились ко мнѣ на квартиру, чтобъ вводить меня въ такую бѣду», сказалъ онъ: «а кромѣ вреда, никакой пользы отъ этого не будетъ». Товарищи мои вполнѣ согласились съ этимъ заключеніемъ и о своей пропажѣ никому не хотѣли объявлять Сколько я ни

спорилъ, по новости для меня этого дѣла, какъ ни казались мнѣ доводы ихъ безразсудны, но я переспорить ихъ не могъ, переслушать всѣ примѣры ихъ не хотѣлъ, а какъ я былъ въ такой крайности, что не зналъ, куда дѣваться и что начать, то и пошелъ самъ заявить о пропажѣ и просить правосудія.

Тамъ, куда я пошелъ, напередъ всего заставили меня ждать безъ отвѣта и привѣта почти до полудня; потомъ возникъ домашній споръ, при которомъ я оставался спокойнымъ слушателемъ; — записывать ли показаніе мое въ книгу, или не записывать. На вопросъ: «куда его! да на что его?» другой отвѣчалъ: «для порядка»; первый замѣтилъ на это, что будетъ порядокъ и безъ того, что и такъ уже порядковъ этихъ не оберешься; кончилось, впрочемъ, тѣмъ, что за настоящіе мое съ меня же взяли подписку никуда не выѣзжать изъ города до окончанія дѣла.

Положеніе мое было самое непріятное. Я пошелъ въ отчаяніи пройтись по ярмаркѣ. Тамъ я развлекся, забывшись нѣсколько, присматриваясь и прислушиваясь опять направо и налѣво.

Я гулялъ спокойно, молчаливымъ наблюдателемъ, забывъ на время горе свое и подошелъ, между прочимъ, къ театру, прочитать прибитое объявленіе. Какой-то господинъ горячо спорилъ у кассы, настойчиво требуя билета, и, наконецъ, досадуя на неудачу свою, сказалъ: «я третій день не могу добиться билета, между тѣмъ, какъ другіе люди достаютъ же ихъ; отчего же, скажите, у васъ для моего лица никогда нѣтъ билета?»—Во-первыхъ, отвѣчалъ спокойно и вѣжливо человѣкъ за стойкой, принявъ видную осанку: — позвольте вамъ сказать, что вы не лицо, а персона; во-вторыхъ же, мы иногда принуждены отказывать въ билетахъ даже нѣкоторымъ особамъ... — Вы какъ нынче съ квартальнымъ? спросилъ, выходя изъ хар-

чевнп, мѣщанинъ или третьей гильдіи купецъ своего товарища. «Мы? ничего», отвѣчалъ тотъ: «ровно братъ съ сестрой: шапку ему сымешь, поклонишься, а онъ тебѣ только двумя перстами честь изъ подъ шляпы выковырива'тъ».

— Каковы у тебя яблоки, матушка?» — «Преотличныя, батюшка; возьмите: сладкія, немножко съ кваскомъ...»—То есть, ты хочешь сказать шпырковыя, или такъ называемаго откидного налива? такъ острился московскій купецкій сынокъ надъ бабой съ лоткомъ яблокъ.

Прислушиваясь направо и налѣво, чтобъ размыкать горе свое, дошелъ я до безконечнаго ряда харчевень, гдѣ народъ толпился какъ о святкахъ подъ качелями, и гдѣ за углами среди густыхъ кружковъ, подлетывали гроши и раздавалось: «копье! рѣшето!», и тутъ же сидѣли на землѣ майданщики и постукивали по доскѣ наперстками, какъ фокусники деревянными стаканчиками. Наперсточная игра эта, которою промышляютъ мошенники по ярмаркамъ, даетъ большой доходъ: кладутъ одно или два зерна подъ наперстокъ, дѣлаютъ ставки и угадываютъ, а, между тѣмъ, подъ наперсткомъ является одна или двѣ горошины, по волѣ и умѣнью хозяина. Наперсточники или майданщики платятъ добрымъ людямъ оброкъ, извѣстный подъ особымъ названіемъ *наперсточныхъ* денегъ, и такимъ образомъ промыслъ ихъ кой-какъ держится.

Но каково было изумленіе мое, когда я, остановившись отъ нечего дѣлать въ сторонѣ сидящей и стоящей толпы, узналъ въ числѣ наперсточниковъ своего соболѣзнователя и товарища по постою, Долгая! Не вѣря глазамъ своимъ, я протѣснился поближе и, спокойно стоя передъ нимъ, удивлялся ловкости и проворству его, краснобайству и мошеннической смышленности! Онъ выигрывалъ всѣ ставки, никому не да-

валъ дохнуть, сгребалъ съ доски гроши и пятаки—и за каждымъ разомъ вся толпа хохотала, всѣмъ было весело отъ поговорокъ его, кромѣ развѣ одного проигравшаго; но одинъ въ полѣ не воинъ; одинъ отходилъ грустно въ сторону, мѣсто его занималъ другой, а съ толпою Долгай оставался въ ладу и даже въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Брань сыпалась на него обильно, но не злобная, а шуточная и одобрительная.

Поглядѣвъ на все это, я какъ будто пробудился; мнѣ казалось, что я увидѣлъ свѣтъ; я понялъ, кто меня обокралъ, и въ душѣ моей мелькнула какая-то надежда. Но какимъ образомъ приступить къ дѣлу, чтобъ не испортить его и добиться, для спасенія моего въ этомъ отчаянномъ положеніи, хотя до малой доли моей собственности, чтобъ только дотянуться какъ-нибудь домой?...

Не считая умѣстнымъ и полезнымъ тревожить Долгая въ теперешнихъ его занятіяхъ, я въ этихъ размышленіяхъ удалился молча съ поприща майданщиковъ и, перешедши поперекъ къ красному ряду, только-что занесъ было ногу на первую ступеньку, чтобъ вступить отъ жара подъ навѣсъ, какъ остановился въ этомъ положеніи неподвижно и забылъ на нѣсколько мгновеній все. Въ пяти шагахъ отъ меня дѣвица въ розовой шляпкѣ одаривала толпившихся около нея крестьянскихъ дѣвушекъ перстеньками и сережками; иныя торопливо цѣловали у нея руку, другихъ она сама цѣловала, говорила имъ нѣсколько ласковыхъ словъ и не обращала ни на кого вниманія, будто все это происходило не среди ярмарки, гдѣ собрались со всѣхъ концовъ сотни тысячъ людей, а въ дѣтской или дѣвичей барскаго дома. Впрочемъ, не многіе и обратили вниманіе на все; сотни толпились взадъ и впередъ, или мимо; иные мелькомъ оглядывались,

другіе глядѣли куда-то далеко впередъ, третьи—себѣ подъ ноги и не замѣчали того, что въ сторонѣ происходило. Только тѣ же два неразлучные ремонтера стояли тутъ же невдалекѣ и, значительно поглядывая и улыбаясь другъ другу, повидимому, разсчитывали, нельзя ли надуть маменьку, пріѣхавъ знакомиться въ наемномъ кузовѣ и сборныхъ отъ пріятелей упряжи и лошадяхъ и, увѣривъ при томъ, что служа ремонтеромъ восемь лѣтъ, мы-де получаемъ отъ ремонта по сорока тысячъ въ годъ прибыли и сыплемъ деньгами ни по чемъ... Маменька понадѣется, что зятекъ выкупитъ имѣніе, которое должно скоро съѣхать подъ молотокъ, а послѣ окажется, что приданаго далеко не хватаетъ на уплату долговъ и начетовъ на зятя, хотя молодая жена и разсталась уже съ подвѣсками, запонками и запястьями...

Но отчего же я одинъ изъ всѣхъ стоялъ, будто вросъ въ плиту, не слышалъ вокругъ себя ни стогласаго говора, ни кипучей и шумной жизни и движенія, а между тѣмъ слышалъ, какъ во мнѣ стучало сердце вслухъ и колотило въ вискахъ и въ сонныхъ жилахъ? Встрѣча эта была для меня слишкомъ неожиданна, особенно въ эту минуту, когда я съ отчаяніемъ думалъ: неужели между этими тысячами людей нѣтъ ни одного мнѣ близкаго, знакомаго, который бы выручилъ меня изъ бѣды—а тамъ опять: да гдѣ же домъ мой? Гдѣ то, что нѣкогда ласкало и миловало сердце и что теперь сдѣлало меня невольнымъ изгнанникомъ?

Кому случалось бѣдовать на чужбинѣ, въ забытомъ и заброшенномъ положеніи, тотъ, вѣроятно, поневолѣ размышлялъ объ этой непостижимой странности: о важности и значеніи случайныхъ знакомствъ. Будучи вырванъ волною жизни изъ того круга людей, съ которыми я обжился и спознался, и занесенъ въ

чуждую мнѣ толпу, я внезапно становлюсь на стеклянную скамейку и уже отдѣленъ и отрѣшенъ отъ общаго сочувствія и участія; однимъ словомъ, я чужой; почему? потому только, что случай не свелъ меня прежде ни съ кѣмъ изъ толпы этой, что я не сидѣлъ съ ними за однимъ столомъ, но стоялъ на одной половицѣ... но внезапно встрѣчаю я въ этой же толпѣ знакомое лицо, человѣка, съ которымъ видѣлся прежде, который знаетъ, какъ меня зовутъ и кто я таковъ—и положеніе мое съ этого мгновенія измѣнилось; я снова вступаю въ общія права человѣчества, у меня есть ближніе, я нахожу помощь въ нуждѣ, участіе и сочувствіе!

Но конечно, все это относится не ко всякой встрѣчѣ съ человѣкомъ, котораго видалъ прежде и котораго знаешь! Чувство, захватившее меня врасплохъ, при взглядѣ на моихъ старыхъ знакомицъ, на мать и дочь, было смѣшанное и заключало въ себѣ болѣе испуга, по внезапности и нечаянности встрѣчи, нежели радости или удовольствія. Я только забылся на одно мгновеніе и вскорѣ опомнился. Впрочемъ, меня и не замѣтили; мать была занята, кажется, только грудой шелковыхъ и другого рода тряпицъ, которыя торговала; а дочери ни разу не вздумалось взглянуть въ сторону ни даже на образцовыхъ ремонтеровъ и потому она не видала ни меня, ни ихъ. Все исчезло передо мной, какъ сонъ—въ десяти шагахъ я уже потерялъ знакомицъ своихъ изъ вида: ихъ толпой заслонило, и солнышко мое опять закатилось и, вѣроятно, навсегда! Я стоялъ на томъ же мѣстѣ, и опять въ такихъ же дуракахъ, какъ былъ, когда ступилъ на каменную плиту—обокраденный на-чисто и наголо, бѣднякъ, безъ друга, безъ помощи, на чужбинѣ. Мнѣ теперь даже казалось глупо основать какую-нибудь надежду на открытіи своемъ, что товарищи мои

мошенники и, конечно, сами меня обокрали; къ чему мнѣ это открытіе, безъ явныхъ уликъ, безъ помощи и покровительства?..

Но видно мѣсто это, на которое я занесъ ногу безъ цѣли и намѣренія, и на которомъ все еще стоялъ въ какомъ-то недоумѣніи, было для меня роковымъ; отъ него и имъ рѣшилась на сей разъ моя участь. Если бы я ушелъ отсюда за полминуты ранѣе, то не знаю, куда бы я пошелъ и что бы со мною сталось. Я подошелъ къ двумъ изъ числа одаренныхъ *ею* дѣвушекъ и сталъ ихъ разспрашивать, будто ничего не знаю, кто она и по какому поводу ихъ одарила. «Это новая барышня наша»,—отвѣчали мнѣ: «село наше было князя Ежевики-Кахетинскаго, а теперь продано вотъ этимъ господамъ; онѣ пріѣзжали смотрѣть деревню и усадьбу, прожили тамъ съ мѣсяцъ, а здѣсь барышня встрѣтила насъ, узнала, да вотъ и пожаловала». «Мы здѣшніе подгородные», прибавила одна бойкая рѣзвушка, которая, кажется, догадалась, что я все-таки не напоминалъ, какимъ образомъ ихъ цѣлая вереница въ праздничныхъ нарядахъ попала въ ярмарку.

Такъ вотъ что! подумалъ я и проговорилъ едва не вслухъ: стало быть, опять новый оборотъ, опять куплена деревня, и опять, вѣроятно, уже запродана, перепродана и послѣ продажи еще заложена, и перезаложена въ казну и, кромѣ того, въ частныя руки; а затѣмъ еще поступила въ залогъ за подрядчика или откупщика, и все это сдѣлалось прежде, чѣмъ деньги уплачены за самую покупку?

Въ это время, я невольно взглянулъ на то самое мѣсто, гдѣ *она* стояла, раздавая щедрою рукою подарки, и бросился опрометью къ человѣку, который проходилъ по этому же мѣсту; бросился какъ безумный, который не въ силахъ высказать своей отчаянной радости. Вижу его и теперь, будто онъ стоитъ

передо мною; рослый, плотный, съ окладистою красивою бородою; сѣрые, большіе, стойкіе и очень живые глаза, съ невыразимымъ оттѣнкомъ ума и добродушія, черты лица великорусскія, то есть довольно правильныя, но безъ особыхъ отмѣтъ; лобъ круглый и высокій, волосъ на головѣ, какъ самъ онъ выражался «одно остожье» (мѣсто, гдѣ прежде стоялъ стогъ сѣна), но и остатки были всегда благовидно и опрятно приглажены распадясь на обѣ стороны; обыкновенный синій, неразрѣзной кафтанъ и круглая шляпа въ рукахъ, или подъ мышкой: старику всегда было жарко, и отъ того именно, какъ самъ онъ бывало выражался, что «душа тепла», къ чему онъ прибавлялъ шопотомъ: «я ее отогрѣваю чаемъ!»

Въ этомъ-то благолѣпномъ и отрадномъ для меня видѣ, Андрей Алексѣевичъ Ахтубинцевъ шелъ проворно по рядамъ, когда случайный взоръ мой захватилъ его на роковомъ мѣстѣ, а руки обняли, не давъ ему ступить шагу. «И ты тутъ, теска!»—молвилъ онъ, «хлѣбъ да соль тебѣ, да каша во щи! Вотъ не думано, не гадано; что, небось, за харатейнымъ шныряешь втихомолку, а»? и захохоталъ. «Приходи-ка, братъ, ко мнѣ, чѣмъ тутъ баклуши бить, приходи, я тебѣ что покажу! на телятинѣ, да, на телятинѣ, и не мыши кота погребаютъ, а почище этого будетъ, приходи!»

Перекинувъ еще нѣсколько словъ, я спросилъ, гдѣ онъ живетъ, и напросился на вечеръ, а самъ, легко вздохнувъ, пошелъ поѣсть на послѣднее серебро, которое осталось у меня въ карманѣ. Въ то же время у меня мелькнула еще безподобная мысль, на которую я оперся, какъ на столпъ соломоновъ. Поѣвъ, я смѣло пошелъ отыскивать своего майданщика Долгая.

Но напередъ надобно знать, что за человѣкъ былъ мой Андрей Алексѣевичъ. Въ какихъ онъ былъ отно-

шеніяхъ къ той дѣвицѣ, которую я такъ нечаянно встрѣтилъ утромъ, объ этомъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ; а теперь поговоримъ объ немъ самомъ.

## III.

## ТЕМНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

У отца Ахтубинцева, незначительнаго купца, было два сына: Андрей и Григорій. Второй пошелъ своимъ особеннымъ путемъ и полѣзъ въ чины и въ знать; объ немъ также вскорѣ услышимъ. Первый остался вѣренъ своему званію. Воспитаніе ихъ ограничивалось самыми обиходными статьями; Андрей сидѣлъ въ лавкѣ отца, который, на вопросъ,—чѣмъ вы торгуете?—отвѣчалъ, бывало: «да мы, признаться, больше торгуемъ всякой всячиной, что на руку придется». И это была правда; онъ скупалъ по Москвѣ что случалось: фарфоръ, картины, посуду, старыя кострюли, желѣзо—ломъ, дрожки и коляски, по случаю отъѣзда—стулья и диваны, и даже книги. Андрей остался при этомъ ремеслѣ и принадлежалъ къ тому разряду смѣтливыхъ русскихъ людей, которые, сдѣлавшись по навыку необычайными знатоками старинныхъ вещей всякаго рода и пристрастившись къ нимъ, достигаютъ высокой степени познаній въ археологіи и библіографіи. Сидя за скарбомъ своимъ, среди ржавчины, червоточины, пыли и плѣсени, онъ смолоду уже принюхался къ затхлому духу и безошибочно распознавалъ по немъ степень древности залежалаго товара. Онъ не только знаетъ наизусть Карамзина, со всѣми примѣчаніями полнаго изданія, и нерѣдко въ разговорахъ дѣлаетъ презанимательныя и превѣрныя поясненія или поправки, но и всѣ почти лѣтописи наши были ему хорошо извѣстны, со всѣми примѣтами каждаго изъ

наличныхъ списковъ; а когда старикъ былъ въ духѣ и пускался въ разсужденія объ нихъ, то это стоило, въ своемъ родѣ, урока добраго профессора. Въ такое время многимъ изъ такъ называемыхъ историковъ нашихъ доставались похвалы, отъ которыхъ не поздоровится; но все это было сказано такъ остро, умно, рѣзко и вѣрно, что бывало не наслушаешься и не натѣшишься старикомъ. Это былъ человѣкъ, котораго никакъ нельзя было обольстить голословіемъ, какъ бы искусенъ ни былъ краснословъ; Ахтубинцевъ выслушивалъ смыслъ и сущность изъ самой запутанной и напыщенной рѣчи, какъ векша выбираетъ ядро изъ орѣха; и если ядрышко это было съ червоточиной, то онъ кидалъ его въ этомъ видѣ собесѣдникамъ, побѣждая всякое возраженіе очевидною сущностью дѣла. Онъ не умѣлъ одѣть грязной шутки въ чистоплотное, льстивое слово; игра его словъ не годилась во французскіе водевили; но онъ попадалъ мѣтко, вѣрно и очень забавно, хотя чистая мысль его нерѣдко, по наружности, облачалась въ такой охабень, въ которомъ ей гостиныя наши не могли быть доступными.

Но замѣчательнѣе всего были опытность и познанія Ахтубинцева въ русской старинѣ. Прикинувъ на свѣтъ листокъ старопечатной книги, онъ говорилъ вамъ безошибочно годъ и мѣсто выдѣлки бумаги; онъ зналъ почерки устава, полуустава и скорописи по столѣтіямъ и десятилѣтіямъ, какъ свои пять пальцевъ; распознавалъ по йкамъ и по юсамъ степень древности рукописей и книгъ; а по почерку буквъ, титламъ и ковычкамъ мѣсто печатанія всѣхъ древнихъ книгъ безъ выходныхъ или заглавныхъ листовъ. Такой же знатокъ и страстный любитель монетъ, русскихъ и другихъ древностей, Андрей Алексѣевичъ, при посредственномъ состояніи своемъ, умѣлъ отыскивать все замѣчательное, что разсыпано и разрознено во всѣхъ

концахъ Россіи, сберегалъ, что хорошее ему попадалось въ руки, и при случаѣ спускалъ, если давали хорошую цѣну, утѣшая себя тѣмъ, что опять достанетъ такую вещь, зная, гдѣ ее искать. Не было угла во всѣхъ городахъ и монастыряхъ матушки Россіи, гдѣ бы Ахтубинцевъ не зналъ на перечетъ, что и у кого именно рѣдкостнаго тамъ находится, откуда пришлось и какъ досталось. Онъ ухаживалъ за глаза въ какомъ-нибудь Верхотурьѣ за старопечатною, рѣдкаго изданія, псалтирью, которая была занесена туда поморцами, поднесена одному наставнику ихъ, а у него украдена и продана такому-то, и ухаживалъ съ безпримѣрнымъ долготерпѣніемъ по нѣскольку лѣтъ, доколѣ [книга наконецъ таки рукъ его не миновала. Принадлежа самъ, по отцѣ, къ благословенной церкви или единовѣрію, онъ насчитывалъ въ одинъ духъ и безъ запинки всѣ до-никоновскія изданія славянскихъ церковныхъ книгъ, какую ему ни назовите, и опредѣлялъ съ точностію всѣ примѣты изданій и мѣсто выхода. Взявъ въ руки книгу у другаго любителя и взглянувъ только на обрѣзъ, онъ спросилъ однажды: «а что, сколько цѣните вы этотъ требникъ?» «Да рублей 35»,—отвѣчалъ тотъ. «Оно бы и дорогонько, кажись»,—замѣтилъ улыбаясь Андрей Алексѣевичъ: «это кіевской печати пятидесятаго года; я вамъ пожалуй, доставлю ихъ штуки три по 25 рублей; а вы мнѣ этотъ пожалуйте, я, ужь такъ и быть, дамъ 50.» «Какъ такъ?» спросилъ удивленный хозяинъ требника, зная что это сказано было не даромъ. Тогда Ахтубинцевъ, разсмѣявшись, сказалъ: «что, любезный, за манишку забрелъ? *) попался? За что же ты съ меня

*) Выраженіе волжскихъ судоходовъ: манишка—подводная коса, отмель грядой отъ берега; забрести за манишку или зайдти за чужую, значитъ попасть по незнанію, съ пусла въ заливъ или мѣшокъ, за косу, *откуда нѣтъ* выхода.

просишь 35, коли толку не знаешь, а за 50 не отдаешь? а? Вѣдь я книги-то и не раскрывалъ еще, а ты хозяинъ ей, стало-быть, глядѣлъ въ нее; аль слона то и не примѣтилъ? На, гляди да казнись». Тутъ онъ развернулъ требникъ на знакомой ему страницѣ, которую узналъ по обрѣзу листка: «вотъ» продолжалъ онъ: «гляди, да впередъ знай: вотъ тутъ идетъ чинъ отпѣванія, а этотъ листокъ подмѣненъ раскольниками; они его и перепечатали по своему; перемѣна въ такихъ-то словахъ, потому и потому, и согрѣшила тутъ наша бывшая единовѣрческая типографія, которая работала по заказу. Вотъ, гляди и на свѣтъ: въ этой бумагѣ водяной знакъ, видишь какой,—это бумага австрійская; а на этомъ листкѣ полоски вотъ какія,—это наша, русская, ивановская. И наборъ отличается немного: вотъ тутъ у *ща* хвостикъ потолще, да покороче; вотъ титло коромысломъ, а это съ изломомъ,» и проч.

Правдивъ былъ Андрей Алексѣевичъ, какъ доблестному гражданину быть слѣдуетъ; онъ смалчивалъ по уму-разуму тамъ, гдѣ сила не беретъ, потому что плетью обуха не перешибешь; но любилъ, гдѣ можно было дать свободу языку, чтобъ не взяла одышка, какъ онъ выражался; или проговаривался, будто невзначай, обиняками да иносказаніями. Хорошій начальникъ, котораго Ахтубинцевъ любилъ и уважалъ, будучи и самъ имъ уважаемъ, взялся однажды очень горячо за одно дѣло и хотѣлъ, во что бы ни стало уничтожить какое-то вкоренившееся злоупотребленіе. Шуму это надѣлало много, а кончилось, какъ нерѣдко случается, ничѣмъ; встрѣтилось столько противодѣйствія со всѣхъ сторонъ, и сбоку, и сверху, и снизу, что надобно было замолчать. Ахтубинцевъ и говоритъ ему: «а что, ваше сіятельство, вѣдь у насъ былъ на Москвѣ такой, что подымалъ царь-пушку!» «Шутишь ты все, старикъ,»—сказалъ тотъ. «Ну, да вѣдь и онъ

только пошутилъ,»—молвилъ Андрей: «вѣдь и онъ не поднялъ, а только подымалъ!»

Въ числѣ вещей, украденныхъ у меня съ чемоданомъ, была также рукопись, дорогая для знатока и любителя, но ничтожная для вора. Это былъ толковый апокалипсисъ раскольниковъ, съ картинами въ особенномъ вкусѣ и съ замѣчательными поясненіями. Андрей Алексѣевичъ когда-то сулилъ мнѣ за него 300 рублей; я не отдалъ, а теперь онъ пропалъ задаромъ. Зная, что легче выкупить у воровъ покражу черезъ соучастниковъ и подручниковъ ихъ, чѣмъ доискаться своего добра какимъ-нибудь инымъ путемъ, я отыскалъ Долгая, который все еще сидѣлъ за наперстками и силою своего краснорѣчія убѣждалъ и вызывалъ смѣлыхъ и счастливыхъ на бой. Толпа смѣнялась, но не рѣдѣла: кто стоялъ нараспашку, подбоченясь въ обѣ руки, сдвинувъ шляпу на ухо и склонивъ замысловато голову,—стало-быть, либо проигрался, либо тужилъ, что нечего поставить; кто почесывался въ затылкѣ посмѣнно правой и лѣвой, опуская свободную руку въ карманъ шароваръ, и стоялъ въ нерѣшимости; другіе сидѣли, плотно обхвативъ руками оба колѣна и покачиваясь хохотали, сами острили и передавали дальше остроты Долгая; они сидѣли, повидимому, безъ горя, безъ печали и безъ искушенія, покорившись уже безденежной и безнадежной въ этомъ отношеніи участи своей. По временамъ выскакивалъ бойкій и рѣшительный малый, возбуждая общее вниманіе и участіе, клалъ ставку за ставкой на доску, и убирался съ поприща безъ оглядки, утративъ деньги и осмѣянный праздною толпой, которая съ жадностію ловитъ случай позубоскальничать и выместить неудачу или скуку свою на другихъ.

— Кинь корочку въ гору,—говорилъ Долгай, выворачивая на изнанку смыслъ этой пословицы:—при-

детъ къ тебѣ въ пору; не пожалѣй за рубль алтына,
а не придетъ рубль, такъ придетъ полтина; кому
счастье, кому таланъ, греби денежки въ карманъ;
не пойдешь въ звонари, не попадешь и въ пономари:
ливый, у кого на роду напи-
ой руки, изъ-подъ наперстка
субботній! Что бабушка! аль
дешь?—закричалъ онъ громо-
рая сгорбившись несла на
о старое ружье... Народъ за-
и счастливый не выходилъ:
годняшній день, или берегли

Долгаю надо было увидать
когда онъ на меня взглянулъ.
у, въ этомъ положеніи, узнать
и не отдать поклона, притомъ
дала ему часу образумиться.
его товарищемъ, сказалъ, что
ечко перемолвить. Онъ вско-
мигнулъ другому товарищу,
гѣ. «Мы вотъ забавляемся отъ
ъ онъ, отходя со мною въ сто-

ь я:—это не мое дѣло; я не
о своему дѣлу: нельзя ли по-
ался какъ липка, безъ лыкъ и
до бы и честь знать! Послу-
пропали, пусть и вещи про-
нибудь и другимъ годятся; а
и священная книжка—не бого-
кафисты по ней читать не ста-
, по обѣту, досталась по на-
къ нельзя ли постараться до-
чисто меня обобрали, а бы не

только пошутилъ,»—молвилъ Андрей: «вѣдь и онъ не поднялъ, а только подымалъ!»

Въ числѣ вещей, украденныхъ у меня съ чемоданомъ, была также рукопись, дорогая для знатока и любителя, но ничтожная для вора. Это былъ толковый апокалипсисъ раскольниковъ, съ картинами въ особенномъ вкусѣ и съ замѣчательными поясненіями. Андрей Алексѣевичъ когда-то сулилъ мнѣ за него 300 рублей; я не отдалъ, а теперь онъ пропалъ задаромъ. Зная, что легче выкупить у воровъ покражу черезъ соучастниковъ и подручниковъ ихъ, чѣмъ доискаться своего добра какимъ-нибудь инымъ путемъ, я отыскалъ Долгая, который все еще сидѣлъ за наперстками и силою своего краснорѣчія убѣждалъ и вызывалъ смѣлыхъ и счастливыхъ на бой. Толпа смѣнялась, но не рѣдѣла: кто стоялъ нараспашку, подбоченясь въ обѣ руки, сдвинувъ шляпу на ухо и склонивъ замысловато голову,—стало-быть, либо проигрался, либо тужилъ, что нечего поставить; кто почесывался въ затылкѣ посмѣнно правой и лѣвой, опуская свободную руку въ карманъ шароваръ, и стоялъ въ нерѣшимости; другіе сидѣли, плотно обхвативъ руками оба колѣна и покачиваясь хохотали, сами острили и передавали дальше остроты Долгая; они сидѣли, повидимому, безъ горя, безъ печали и безъ искушенія, покорившись уже безденежной и безнадежной въ этомъ отношеніи участи своей. По временамъ выскакивалъ бойкій и рѣшительный малый, возбуждая общее вниманіе и участіе, клалъ ставку за ставкой на доску, и убирался съ поприща безъ оглядки, утративъ деньги и осмѣянный праздною толпой, которая съ жадностію ловитъ случай позубоскальничать и выместить неудачу или скуку свою на другихъ.

— Кинь корочку въ гору,—говорилъ Долгай, выворачивая на изнанку смыслъ этой пословицы:—при-

детъ къ тебѣ въ пору; не пожалѣй за рубль алтына, а не придетъ рубль, такъ придетъ полтина; кому счастье, кому таланъ, греби денежки въ карманъ; не пойдешь въ звонари, не попадешь и въ пономари: кто смѣлый, кто счастливый, у кого на роду написано разжиться съ легкой руки, изъ-подъ наперстка съ доски, въ легкій день субботній! Что бабушка! аль за внука въ солдаты идешь?—закричалъ онъ громогласно старушкѣ, которая сгорбившись несла на плечѣ продавать какое-то старое ружье... Народъ захохоталъ, но смѣлый и счастливый не выходилъ: видно извѣрились на сегодняшній день, или берегли копѣйку на кружало.

Я сталъ такъ, что Долгаю надо было увидать меня, и поклонился ему, когда онъ на меня взглянулъ. Крѣпко не хотѣлось ему, въ этомъ положеніи, узнать меня, а совѣстно было и не отдать поклона, притомъ нечаянность встрѣчи не дала ему часу образумиться. Я подошелъ и, назвавъ его товарищемъ, сказалъ, что нужно бы съ нимъ словечко перемолвить. Онъ вскочилъ, смѣшавшись, и мигнулъ другому товарищу, чтобъ оставался на мѣстѣ. «Мы вотъ забавляемся отъ нечего дѣлать,»—молвилъ онъ, отходя со мною въ сторону:—«извините!»

— Ничего—отвѣчалъ я:—это не мое дѣло; я не сыщикъ. Я пришелъ по своему дѣлу: нельзя ли пособить мнѣ? вѣдь я остался какъ липка, безъ лыкъ и безъ луба, а кажись надо бы и честь знать! Послушай, пусть деньги мои пропали, пусть и вещи пропали: онѣ хоть на что нибудь и другимъ годятся; а у меня была рукописная священная книжка—не богословы же ее унесли, акафисты по ней читать не станутъ, а мнѣ она дорога, по обѣту, досталась по наслѣдству отъ бабки: такъ нельзя ли постараться достать ее? Кабы не на-чисто меня обобрали, я бы не

пожалѣлъ дать за нее и больше, а теперь послѣдніе десять рублей отдамъ, Богъ съ ними; тогда бы я не сталъ искать больше пропажи своей, хоть бы встрѣтилъ кого на улицѣ въ моемъ сюртукѣ или шапкѣ. Нельзя ли постараться?

Рѣчь эта озадачила Долгая; онъ понялъ все, какъ смѣтливый парень и, перемѣнивъ прежній ладъ разговоровъ своихъ со мной, сталъ притворяться не менѣе того, сколько требовало приличіе. «Помилуйте,» сказалъ: «ужь я бы для васъ что угодно радъ, да вѣдь Богъ вѣсть, гдѣ-жь искать,—это мудреное дѣло; развѣ вотъ что-съ: пожалуй, постараться, для васъ, можно; тамъ, что Богъ дастъ; найдемъ не найдемъ, а приходите завтра повечеру сюда; коли что узнаемъ, такъ скажу.»

Я сталъ просить и настаивать, представляя, съ одной стороны, что меня обобрали до рубашки; а съ другой, что получивъ безполезную для нихъ книгу, я уже никого больше безпокоить не стану: и наконецъ, вынулъ тутъ же кошелекъ, набралъ три цѣлковыхъ мелочью и навязалъ ихъ Долгаю. Онъ долго отговаривался отъ нихъ, потому-де, что, взявъ деньги, надо исполнить слово. Кончилось тѣмъ, что Долгай послалъ меня прогуляться на полчаса по ярмаркѣ, а потомъ велѣлъ зайти домой; пришедши туда, я нашелъ свой апокалипсисъ на окнѣ. Я былъ этимъ такъ доволенъ, что забылъ все свое горе и простился съ хозяиномъ, обѣщавъ непремѣнно завтра уплатить ему небольшой долгъ свой. Онъ былъ занятъ по хозяйству, пришивая ногавки къ курамъ и индѣйкамъ; въ этомъ дѣлѣ онъ, по несчастью, былъ раненъ: пришивъ ногавку, онъ хотѣлъ отгрызть нитку, а глупая индѣйка расцарапала ему нижнюю губу въ кровь; отираясь рукой, онъ не упускалъ случая разутюжить при этомъ книзу свои бакенбарды и порядочно на-

фабрилъ ихъ кровью, размазавъ ее по всему лицу. «Время теперь опасное,» сказалъ онъ: «того гляди птица пропадетъ; глупа больно, такъ подъ ноги сама всякому и лѣзетъ... Ладно», прибавилъ онъ: «сочтемся, такъ сочтемся; а нѣтъ, такъ на нѣтъ и суда нѣтъ: Богъ съ вами; васъ и такъ обидѣли у меня въ домѣ; послѣ, какъ вы вышли, такъ мнѣ даже жаль стало. Какъ быть! такой уже проклятый народъ, что наровитъ стащить что-нибудь.»

Весело побѣжалъ я къ Андрею Алексѣевичу, разсказалъ ему все и утѣшался его равнодушіемъ. Онъ между прочимъ всегда запасался на ярмаркѣ цибикомъ квадратнаго чаю, котораго ему хватало ровно на годъ; доставъ совкомъ съ горсточку свѣжаго чаю изъ цибика, на пробу, онъ приступилъ къ дѣлу, заваркѣ чая, со всѣми околичностями знатока. Вижу все это, какъ теперь: крошечная комнатка, чисто выбѣленная и вымытая; два окна растворены на улицу, на окнахъ горшки съ капуцинами, бальзаминами и пахучею геранью, этою необходимою принадлежностью всѣхъ жилищъ того разряда, гдѣ стѣны убраны изображеніями графа Платова, взятія разныхъ турецкихъ крѣпостей или картинами изъ Павла и Виргиніи; самоваръ кипитъ на столѣ, паръ валитъ клубомъ; жара, мухъ тмы-темъ переносятся роями съ мѣста на мѣсто; старикъ сидитъ передъ самоваромъ и ловкою щепотью проворно отвертываетъ кранъ, между тѣмъ какъ крупный потъ катитъ градомъ съ веселаго почтеннаго лица, а глаза, за недосугомъ рукъ, искоса поглядываютъ на лежащій подлѣ персидскій платокъ.

— По пустякамъ ты тревожишь ихъ милость, — сказалъ онъ относительно заявленія пропажи:—не стать же и вправду имъ служить на нашего брата. Ты рублемъ простъ, я умомъ простъ; а по простому уму моему, что тише, то и лучше; за толчкомъ не

гонись, развѣ одного мало, такъ поди за другимъ... Такъ надо жить и всякому человѣку; самъ только никого не затрогивай, не обижай, а коли тебя обидятъ, нужды нѣтъ; въ душѣ и сердцѣ прости по-христіански, а по уму-разуму и для своей же пользы смолчи; не то вмѣсто одного обидчика, набѣжишь на семерыхъ.

— Хорошо наставленіе ваше, Андрей Алексѣевичъ,—сказалъ я:—да ину пору больно накладно. Вѣдь не на то же они поставлены, чтобъ быть поголовно мошенниками и сживать со свѣту честныхъ людей...

— Не осуждай, тёска, да не осужденъ будешь. Не особое же поколѣніе для того на свѣтѣ нарождается; попали бы мы съ тобой туда, и мы были бы таковы же; стало быть, не гребень волосъ чешетъ, а время; не время волосъ бѣлитъ, а кручина. Противъ попущенія Божія спорить не станешь... На, на, вотъ,—продолжалъ онъ, вставъ изъ-за чаю, вынувъ изъ стѣннаго шкафика закутанную въ ярославскую салфетку книгу, развернувъ и подавъ мнѣ ее:—на, на, вотъ лучше погляди на это! Письмо-то какое, ровно жемчугъ! а краска, съ позолотою! Вѣдь это не стыдно бы и кашемирцу, не токмо персіянину показать! а разбери, дай толкъ, гдѣ и когда писано? Куда полѣзъ? Чутья что ли у тебя нѣтъ? не знаешь гдѣ искать! Видишь вотъ, гляди: «для царицы, для супруги Ивана Васильевича, по указу государеву, подъячимъ такимъ-то;» это былъ первый мастеръ того времени. Кромѣ его, никто не сумѣлъ вотъ этого сдѣлать; а почеркъ ровный, отъ начала до конца. Такихъ часослововъ два только и есть: одинъ перешелъ черезъ мои же руки годовъ тому шесть, а теперь въ Москвѣ, у такого-то; за другимъ я третій годъ сюда *на ярмарку* пріѣзжаю, тутъ мнѣ объ немъ все вѣсти

подавали и привезли-таки, наконецъ, изъ Екатеринбурга.

Я похвалилъ находку отъ души и замѣтилъ, что меня, однакожъ, болѣе занимаютъ наши старопечатныя книги, потому что ихъ можно собрать, какъ замѣчательные образчики работы всѣхъ книгопечатенъ.

— Стало быть, толку ты не знаешь въ телятинѣ, что сравниваешь какой-нибудь уставъ, либо хоть и полууставъ, съ печатною! Нѣтъ, настоящій охотникъ какъ взглянетъ на телятинку, такъ вино сердце защемитъ, ровно что родное, ровно съ твоихъ плечъ шкуру сняли да написали на ней! На, полюбуйся, — сказалъ старикъ, сунувъ мнѣ толстую книгу во весь листъ:— полюбуйся и печатью, что скажешь?

Я посмотрѣлъ и думалъ заслужить званіе большаго знатока, сказавъ, что она вышла во Львовѣ.

— То-то, что нѣтъ,—отвѣчалъ онъ: — ты правъ, наборъ одинъ, это матрицы львовскія, да отличіе есть въ ковычкахъ; тамъ простыя, а тутъ, вишь, съ головками. Это краковское изданіе, дорогое.

И при этомъ случаѣ разсказалъ онъ мнѣ цѣлый историческій эпизодъ о томъ, какъ и кто, и по какому случаю завелъ типографію во Львовѣ, кто и когда въ Краковѣ, какъ они ссорились межъ собой, мирились и братались, добывали одинъ у другаго шрифтъ и матрицы, и прочее.

Я досталъ и свой толковый апокалипсисъ.—Вы, Андрей Алексѣевичъ, давали мнѣ за него 300 руб.; я тогда не хотѣлъ съ нимъ разстаться; возьмите, пожалуйста, если можно; теперь я охотно его отдамъ.

Онъ поглядѣлъ на меня, будто искоса, исподлобья, опустивъ обѣ руки спокойно на столъ.—Сколько товарищей-молодцовъ у тебя было, спросилъ онъ:—что обобрали тебя? Никакъ ты сказывалъ трое?—Трое.—Такъ ты меня хочешь постричь въ четвертаго? Сна

сибо, тёска. Тогда бы можно выкурить изъ насъ уксусъ этотъ, какъ онъ называется, четырехъ разбойниковъ! Какъ же такъ твой Долгай сжалился надъ тобой, воротилъ тебѣ хоть одну вещь, а я теперь отберу?

Словомъ, какъ ни желалъ старикъ въ душѣ завладѣть моимъ сокровищемъ, но онъ и слышать не хотѣлъ о моемъ предложеніи, онъ далъ мнѣ денегъ взаймы, книгу взялъ на сохраненіе, чтобъ отправить вмѣстѣ съ своими, запечатавъ ее и подписавъ обертку своей рукой на мое имя.

## IV.

## ОБОРОТЛИВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ

Тяжело и тѣсно жить въ губерніи оборотливому и предпріимчивому человѣку; нѣтъ ему простора расходиться, сплетни облѣпятъ кругомъ, какъ рѣпьи, и молва такая разбѣжится по всему свѣту, что хоть брось. Въ столицахъ—иное дѣло: тамъ притонъ оборотливому человѣку и поприще; кругомъ народъ смѣняется, одинъ вытѣсняетъ и заступаетъ на пути другаго, и что ни день у Бога, то нападешь на свѣжаго человѣка, на новичка, на неука, или попросту на дурака, которому не пошло впрокъ ни отцовское наставленіе, ни материнское благословеніе, ни сотни примѣровъ, какъ въ очью диво совершается, люди на хитрости подымаются. Годится на это конечно и Москва; много, сказываютъ, олуховъ и тамъ на добраго ловца набѣгаютъ, и есть ину пору, что изъ нихъ выжать; но старушка все какъ-то себѣ на умѣ; она службы не знаетъ, живетъ спокойно въ отставкѣ, не мечется, *не суетится,* не ловитъ бѣсенка за хвостъ, а мелетъ

свою меледу и знаетъ не только кой-что о томъ, что во всѣхъ концахъ гнѣзда ея дѣлается, а знаетъ и счетъ прихожанамъ въ своихъ сорока сорокахъ приходахъ. Питеръ иное дѣло: послѣдняя копѣйка ребромъ, а концовъ сводить некогда, за службой, недосугомъ. Питеръ давно счетъ потерялъ кочевымъ дѣткамъ своимъ; поэтому онъ посемейныхъ списковъ не ведетъ, живетъ въ обтяжку и гоняется по улицамъ словно въ угарѣ за... за тѣмъ, что кому нужно. Тутъ только стань гдѣ-нибудь, стой да оглядывайся—набѣжитъ на ловца звѣрь, не справа, такъ слѣва, самъ наскочитъ.

Вотъ, напримѣръ, въ этомъ домѣ пріятельскій вечеръ: покои прекрасно освѣщены, зеленыхъ столиковъ раскинуто съ десятокъ, люди веселятся, а подъ часъ и сердятся, коли судьба противъ шерсти проведетъ рукой; тутъ разносятъ чай, плоды, вино; хозяинъ человѣкъ очень почтенной наружности, по виду и разнымъ примѣтамъ долженъ быть, кажется, услужливый и заслуженный человѣкъ, съ большимъ вѣсомъ и вліяніемъ; онъ нуженъ людямъ, но, кажется, и ему люди нужны, и знаетъ онъ ладъ и толкъ во всемъ. Онъ подходитъ туда и сюда, за панибрата съ вельможами (мы здѣсь, по незнакомству, встрѣчаемъ и называемъ людей по платью); хозяинъ разваливается, подсѣвъ къ тому или другому, пошутитъ, пожелаетъ счастья, встанетъ съ большимъ самодовольствіемъ и съ пріятной улыбкой, подойдетъ ловко и непринужденно къ другому столу, попотчуетъ гостя, но не всякаго безъ разбора, а по достоинству и надобности; тамъ позабавитъ третьяго небольшой былинкой въ лицахъ, разсмѣшитъ четвертаго удачнымъ острымъ словцомъ и пойдетъ, уладивъ все, на свое мѣсто, потому что всегда дома садится пятымъ, и, стало быть, по-временамъ выходитъ и тогда не забываетъ, что онъ хозяинъ. Безъ хозяина нѣтъ и гостей, нѣтъ и общества.

Что же вы думаете, какого рода этотъ вечеръ? Если хозяинъ дастъ много такихъ вечеровъ въ году, то долженъ быть довольно зажиточенъ, подумаете вы. Но, господа, быть зажиточнымъ и много проживать, это не одно и то же; и то и другое сбыточно по себѣ, независимо одно отъ другого.

Хозяинъ распорядился относительно этого вечера вотъ какъ: онъ встрѣтилъ за нѣсколько дней у пріятеля неловкаго и очень скромнаго человѣка, который садился только на уголокъ стула, а чаще того стоялъ и молчалъ. Оборотливый человѣкъ тотчасъ накинулъ на него глазомъ и, угадавъ съ перваго взгляда, что это пріѣзжій изъ губерніи, который ищетъ мѣстечка, выбралъ приличное время и подошелъ къ нему знакомиться.

— Вы, я слышу, недавно къ намъ пожаловали?

— Да-съ, я пріѣхалъ въ среду, въ дилижансѣ.

— А, въ дилижансѣ! это хорошо, удобно и неубыточно. Тѣсновато, и общество не всегда отборное.

— Нѣтъ-съ, ничего...

— Да, я знаю, это ничего; я такъ только говорю. Напротивъ, это весьма, весьма похвально (молодой человѣкъ обязательно поклонился). Что же, вы, я полагаю, мѣсто ищете? Мнѣ милый хозяинъ нашъ сказывалъ: онъ принимаетъ въ васъ большое участіе.

— Да-съ, я бы очень желалъ... изволите видѣть, я служилъ уже пятнадцать лѣтъ въ губерніи... состояньице маленькое есть, но тамъ ходу нѣтъ никакого, поощреній нѣтъ никакихъ...

— Правда, правда, — сказалъ оборотливый человѣкъ; а самъ подумалъ:—ого, этотъ не уйдетъ!

— Да-съ, а сами изволите знать, лестно служить со всѣмъ усердіемъ и безкорыстною ревностью, изъ одной чести, гдѣ по крайности есть что-нибудь въ виду; не повѣрите: у насъ, особенно при нынѣшнемъ

начальствѣ, иной такъ и въ могилу ляжетъ и семейство большое оставитъ, даже безъ всякаго знака отличія.

— Предосудительно, прискорбно! вы правы. Послушайте, я очень уважаю нашего почтеннаго хозяина, и,—извините меня,—объясняюсь прямо, отъ души, я полюбилъ и васъ.

Молодой человѣкъ обязательно поклонился, тотъ подалъ ему руку и, сѣвъ самъ, съ трудомъ усадилъ его подлѣ себя, чтобъ говорить не такъ звучно; между тѣмъ первый, будто сложенъ былъ на пружинахъ, все порывался на вытяжку, а второй безъ обиняковъ осаживалъ его рукой...

— Я полюбилъ васъ и желаю вамъ добра. Но есть ли у васъ связи, доброжелатели, покровители? Безъ этого вы здѣсь ничего не достигнете.

— Нѣтъ-съ, никого почти нѣтъ.

— Ну, безъ этого нельзя, почтеннѣйшій; тутъ безъ этого ни шагу. Хотите, я введу васъ и познакомлю съ людьми, которые могутъ много для васъ сдѣлать, съ которыми вамъ весьма полезно сойтись... сидите, сидите,—продолжалъ онъ, наложивъ полновѣсную руку покровителя на колѣни искателя наградъ и отличій:— сидите и не показывайте вида, что мы съ вами говоримъ о такомъ предметѣ, и даже послѣ никому объ этомъ не говорите; это останется между нами. Я вамъ дамъ весьма полезный совѣтъ: достигайте своей цѣли насущными путями, какъ и гдѣ случится; но знайте сами объ этомъ—одна грудь да подоплёка, какъ говорится по-русски—это не для другихъ. И такъ, я сведу васъ охотно со многими—и насчиталъ ему съ полдюжины звонкихъ именъ, отчествъ, званій и прозваній, сильно ударяя на чинъ и званіе покровителей: — приходите ко мнѣ въ четвергъ; они всѣ будутъ у меня... то-есть, я могу созвать ихъ нарочно для васъ: они

мнѣ пріятели. Вотъ вамъ моя карточка, тутъ есть и адресъ мой.

Предупредительность эта обязала молодого человѣка до восхищенія. Вотъ, думалъ онъ, говорятъ, въ Питерѣ чужой человѣкъ, что въ лѣсу: нашелся же на мое счастіе человѣкъ безкорыстный, услужливый, снисходительный, который полюбилъ меня за одну наружность мою... тутъ онъ скромно осмотрѣлъ себя съ носковъ и до плечъ—выше не могъ онъ взять глазомъ,—вздохнулъ, поднялъ голову и прошелся.

Когда стали расходиться, то обязательный человѣкъ тутъ какъ тутъ, спустился по лѣстницѣ рядомъ съ новымъ знакомцемъ своимъ, предложилъ отвезти его домой на своихъ пролеткахъ — онъ держалъ своихъ лошадей—и дорогою сказалъ, какъ будто мимоходомъ, и притомъ разлакомивъ попутчика еще болѣе своимъ всесильнымъ покровительствомъ:—Только вотъ что, я вамъ долженъ сказать прямо, откровенно, какъ я это всегда дѣлаю, что я человѣкъ небогатый; я охотно помогаю всякому; но не могу взять на себя всѣхъ расходовъ по такому дѣлу. Пригласить такихъ людей, хоть они мнѣ и пріятели, такъ надобно устроить порядочный вечеръ; вы должны мнѣ пособить, сдѣлаемъ складчину; можетъ быть, и вы также человѣкъ небогатый, такъ я разорять васъ не хочу; дайте что-нибудь, напримѣръ, хоть сотню цѣлковыхъ...

Какъ тутъ быть, какъ отказаться отъ такого покровительства—и даже какъ отказать такому покровителю? Деньги были вручены тутъ же, на дрожкахъ, и покровитель, несмотря на потемки, опытнымъ глазомъ своимъ пересчиталъ, сколько или около чего осталось въ бумажникѣ саратовца. Подобныя свѣдѣнія могли быть полезны для будущихъ соображеній.

Вотъ происхожденіе того пріятельскаго вечера, о которомъ мы говорили выше. Бѣдняка представили,

пробормотавъ сквозь зубы, чего никто не разслышалъ, человѣкамъ двумъ, тремъ со звѣздой, которые кивнули въ отвѣтъ на это такъ искусно головою, что даже не согнули шеи; затѣмъ нашъ пріѣзжій сидѣлъ гдѣ-то около печи, во весь вечеръ, при подробномъ описаніи коего мы даже забыли указать на этого второго хозяина и невиннаго виновника пира.

Случай этотъ доказываетъ, что нашъ оборотливый человѣкъ удилъ все, что плыветъ, не брезгалъ и малымъ, гдѣ нельзя было добыть большого; но иногда судьба была къ нему гораздо снисходительнѣе, и онъ умѣлъ этимъ пользоваться, какъ видно изъ слѣдующаго.

Въ столицу пріѣхалъ повѣренный какой-то княгини или графини, протранжирившей все добро свое въ классической, изящной Италіи и желавшей наложить руку на послѣднее родовое достояніе свое, на прекрасное, хотя и разстроенное имѣніе въ 1000 душъ, состоявшее въ западныхъ губерніяхъ. Оборотливый человѣкъ всегда зналъ, что дѣлается въ свѣтѣ и, узнавъ объ этомъ случаѣ въ свое время, освѣдомился подъ рукой обо всѣхъ обстоятельствахъ дѣла, которое нашелъ удобнымъ и сподручнымъ — а потому и подослалъ немедленно вѣрнаго человѣка къ повѣренному, чтобъ этотъ обратился къ нему, какъ къ человѣку съ вѣсомъ, съ деньгами и со связями.

— Я найду вамъ покупщика,—сказалъ пріятель нашъ:—найду, пожалуй, завтра же; а вы знаете, что это теперь не легко; денегъ нѣтъ ни у кого, это общій грѣхъ нашего вѣка. Но у моего покупщика деньги наличныя; это человѣкъ не обыдённый; вы увидите, что съ нимъ можно сварить кашу.

Неопытный полякъ благодарилъ и по привычкѣ кланялся очень униженно, полагая, что говоритъ съ человѣкомъ и важнымъ, и дѣльнымъ, и надежнымъ,

какъ его въ томъ предварительно увѣрили подручники и прикормленники перваго.

Оборотливый человѣкъ велѣлъ придти къ себѣ поляку и принести документы. Разсмотрѣвъ ихъ быстрымъ взглядомъ дѣльца и знатока, онъ сталъ торговаться на совѣсть, увѣряя, что если дѣло кончено будетъ между ними, то можетъ считаться конченнымъ и съ покупщикомъ.

— Двѣсти семьдесятъ тысячъ!—сказалъ онъ наконецъ:—конечно, это деньги большія; но имѣнье стоитъ этого, безспорно. Хорошо, только уговоръ лучше денегъ; какой куртажъ вы мнѣ положите?

— А не знаю, пане — отвѣчалъ тотъ: — я сказалъ южь остатню цѣну—панъ пыталъ по совѣсти; не мое, графске, а пани грабина не позволяла уступиць.

Послѣ непродолжительнаго разговора, рѣшено было при такихъ обстоятельствахъ накинуть 10,000 и положить маклаку за продажу по пяти копѣекъ съ рубля. Маклеръ случайно уже дожидался въ другой комнатѣ; договоръ написанъ, подписанъ и записанъ.

На другой день является и покупщикъ — человѣкъ такого почтеннаго вида, хоть и не старъ еще, съ такими знаками отличія и съ такимъ умомъ и честностію на языкѣ, что простофиля-повѣренный, заключивъ и съ нимъ предварительное условіе, донесъ на другой же день графинѣ, что дѣло кончено; а она тотчасъ же на этотъ счетъ дала нѣсколько новыхъ баловъ и обѣдовъ. Въ договорѣ съ оборотливымъ человѣкомъ сказано было, чтобъ выдать ему пять со ста, или 14,000 руб., немедленно по внесеніи покупщикомъ первыхъ денегъ, потому что вся сумма была разсрочена, съ разными закорючками и оговорками, на нѣсколько пріемовъ. Каждая статья договора подвинчена была неустойками, несоразмѣрно великими. Наконецъ, покупатель внесъ первую плату; маклакъ тутъ же взялъ свои 14,000,

при обоюдной роспискѣ на условіи, что дѣло кончено, другъ на друга искать не будутъ, а предоставляется каждому искать могущіе произойти убытки по законамъ съ виновнаго.

Оборотливый человѣкъ пошелъ, раскланявшись, домой, далъ нѣсколько великолѣпныхъ вечеровъ, обилъ гостиную малиновыми обоями съ золотомъ и купилъ преотличную новую карету.

Покупщикъ, занявшій собственно для этого оборота тысячь двадцать, черезъ три дня поссорился съ повѣреннымъ, потребовалъ съ него по разнымъ статьямъ 100,000 неустойки; тотъ поздно увидѣлъ промахъ свой и, посовѣтовавшись съ знающими людьми, сколько ни плакалъ и ни вертѣлся, а возвратилъ деньги сполна, понесъ стало-быть 14,000 убытка, отданныхъ маклаку ни за что, ни про что, и еще радъ-радёшенекъ былъ, что развязался. Вся мнимая покупка эта устроена была собственно съ тѣмъ расчетомъ, чтобъ сорвать этотъ куртажъ.

Скупить сомнительные, дешевые векселя и надуть ими кого-нибудь; скупить дешевые, тайные векселя матушкина сыночка, или взять ихъ на сдѣлку и, собравъ всѣ, приступить внезапно, угрожая, въ случаѣ совершеннолѣтія ребенка, тюрьмой, или по крайней мѣрѣ шумомъ и безславіемъ, и заставить отчаяннаго старика-отца идти, какъ аферистъ выражался, на акомодацію; сорвать при случаѣ отсталаго, или взять слазу; купить посходнёе тяжбу и выходить ее по связямъ и знакомству; подбить отчаяннаго и несчастнаго во всѣхъ отношеніяхъ страстнаго писателя, объявить книгу подъ звучнымъ и очень длиннымъ заглавіемъ, взявъ на себя издержки, а слѣдовательно и сборъ подписки, пригласить затѣмъ подписчиковъ, собрать деньги и раскланяться; уговорить лестію и подстрекнуть самолюбіемъ богатаго невѣжду издать отъ

своего имени книгу, чтобъ прославиться писателемъ, подбить на это въ нѣсколько пріемовъ слабоумнаго и тщеславнаго писаку, а затѣмъ, отложить самое изданіе подъ разными предлогами; учредить общество на паяхъ для выработки круглыхъ тканей, искусственной свиной щетины, желѣзной бумаги и бумажнаго кровельнаго желѣза—собрать деньги и раскланяться съ обществомъ; учредить сборъ для какой-нибудь благодѣтельной, человѣколюбивой, богоугодной цѣли, заставивъ, разными происками, покровителей собирать подписки у обязанныхъ ими, и проч.,—все это было стихіею жизни оборотливаго человѣка. Для чина, состоялъ онъ членомъ какого-то заведенія, и неоднократно находилъ случай отличаться необычайными подвигами ревности, усердія и самоотверженія. Словомъ, всѣ привыкли знать и видѣть оборотливаго человѣка въ какомъ-то наружномъ почетѣ, съ громогласною, положительною рѣчью въ широкихъ устахъ; всѣ привыкли къ тому, что онъ живетъ хорошо, открыто, проживаетъ много, что жена его щеголяетъ и мотаетъ еще болѣе; а какъ привычка вторая природа, то развѣ изрѣдка только кому-нибудь приходило въ голову спрашивать, откуда у этого человѣка все берется? Но за то каждый разъ, когда вопросъ этотъ случайно былъ предлагаемъ, отвѣтъ оставался за собесѣдникомъ. Промышленный геній нашего аферіста былъ Протей, котораго трудно было поймать съ поличнымъ, который умѣлъ добыть *честь* и *деньги* изъ всего, даже изъ подслушаннаго случайно разгора, или изъ нечаянной встрѣчи на улицѣ съ незнакомымъ человѣкомъ.

Человѣкъ этотъ, котораго мы описали, былъ родной братъ Андрея Алексѣевича, Григорій Алексѣевичъ; но онъ прозывался не Ахтубинцевъ, какъ дѣдъ и отецъ, и братъ его, а *Ахтубинскій*. Онъ нашелъ,

при самомъ началѣ своего поприща, что барину такое прозваніе будетъ приличнѣе.

## V

## О ТОМЪ, О СЕМЪ, А БОЛЬШЕ НИ О ЧЕМЪ.

Молодой путникъ нашъ, обокраденный посѣтитель ярмарки, сидя вечеромъ у Андрея Алексѣевича, какъ объ этомъ сказано было выше, долго не рѣшался заговорить съ нимъ о братѣ его съ семействомъ; но наконецъ, собравшись съ духомъ, сказалъ:—я встрѣтилъ здѣсь нечаянно родныхъ вашихъ, но они меня не видали. Какимъ образомъ они попали сюда?

— Такъ ты видѣлъ ихъ! Да, либо коврикъ-самолетъ, либо сапоги-самоходы занесли. Братъ, прости Господи, на новаго деревяннаго коня сѣлъ, и погоняетъ шибко, да не знаю, повезетъ ли. Говоритъ, имѣніе покупаетъ тутъ; добра ждать отъ этого нечего: какой-нибудь бѣдняга сядетъ по уши, либо спохватится шапки, когда головушку сымутъ. Что жъ, ты и не казался на глаза?

— Нѣтъ, зачѣмъ же мнѣ? и его и не видалъ; я только встрѣтилъ въ рядахъ... то есть Анну Герасимовну и...

— Ну да, знаю. И хорошо сдѣлалъ, спасибо. Ину пору не поглядѣвъ въ святцы, да и бухъ въ колоколъ, оно и не кстати. Я самъ было прошлаго года, встрѣтивъ брата съ невѣсткой нечаянно въ Торжкѣ, послѣ долгой разлуки, забылся: обрадовавшись сдуру, прости Господи, кинулся было къ нимъ:—ахъ-де вы мои... да и попался, какъ баба съ квасомъ! А ты знаешь, какъ у насъ въ Мотылевѣ баба съ квасомъ попалась?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну, такъ слушай, — продолжалъ старикъ: — лучше станемъ точить лясы, чѣмъ досаждать другъ другу пустяками. Мотылевъ, какъ извѣстно тебѣ, у насъ славится квасами; ну, вишь, беремъ не мытьемъ такъ катаньемъ. Случись въ глушь эту заѣхать гостю такому желанному, что весь околотокъ сбѣжался: и плошки тутъ, и пѣсни тутъ, и трехъ сапатыхъ мереньевъ привели, устроили на скорую руку конскую ярмарку, и выставку издѣлій сочинили на одинъ шабашъ, кто соху притащилъ, кто борону, кто смоленской крупы, купленой на фунты въ рядахъ, кто поярковую шляпу съ кучера снялъ, да варешки—все, говорятъ, наше, все русское. Ну, ладно. Вотъ и подготовили на рынкѣ самую бойкую квасницу, чтобъ именитому гостю отвѣдать у нея знатнаго квасу, какъ изволитъ пойти смотрѣть ярмарку. Это, по мнѣнію начальства, могло послужить для поддержанія нашего кваснаго промысла, да и все-таки хоть въ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатаемъ, что изволилъ-де на базарѣ у Аѳимьи Нахраповой собственноручно квасу отвѣдать. Подготовивъ все, одѣвъ бабу въ ситцевую кофту и въ новый передникъ, да привѣсивъ ей къ чану чистый луженый ковшъ, городничій разъ пятнадцать прибѣгалъ къ ней, что какъ-де только соблаговолитъ гость поднести ковшъ къ устамъ, то кричи *ура*, что мочи есть; а вы кругомъ подхватывайте! Баба наша родясь въ мушкатерахъ не служила, кричать *ура* не случалось ей; да и великихъ господъ не видывала, не бесѣдовала съ ними, а тутъ наукой этой да строгимъ наказомъ еще болѣе сбили ее съ толку; она, голубушка моя, какъ только гость поднесъ ковшъ ко рту, оробѣла, забылась, да сдуру какъ заоретъ на всю ярмарку *караулъ!!* Да вѣдь голосокъ какой, покрыла всю площадь.. *Ура*-то ей кричать родясь не

приходилось, а *караулъ* случалось не разъ... Видишь ли, мой сердечный, такъ было и я невпопадъ обрадовался; а ты хорошо сдѣлалъ, что поудержался. Ну покинемъ же все это,—продолжалъ онъ:—что же, ѣдемъ вмѣстѣ, что ли?

— Пожалуй, ѣдемъ,—сказалъ я:—коли вы берете меня; до Москвы по пути, а тамъ что Богъ дастъ. Но какъ же мнѣ быть теперь, какъ отпроситься? Вѣдь съ меня взяли подписку никуда не выѣзжать! Точно, будто я самъ себя обокралъ! Что это за народъ,—воскликнулъ я въ негодованіи: — куда тутъ дѣвались правда и совѣсть! Андрей Алексѣевичъ такъ всегда было и будетъ?

— Въ нашъ вѣкъ,—сказалъ старикъ: — то есть, когда я былъ молодъ, конечно, все было лучше. Въ тѣ поры, братъ, даже и лѣстницы въ домахъ были пониже и поотложе; а дѣвушки были поласковѣе, попривѣтливѣе и помиловиднѣе нынѣшняго; а короче сказать тебѣ, никакъ и орѣхи хрупче были; нынѣ и тѣ что-то не по зубамъ стали, заскорузли. Вы теперь все толкуете о старой закваскѣ, да о взяткахъ, да вы изъ-за великаго ума уже и съ толку сбились; кто даетъ и кто беретъ, не знаетъ, что такое взятка, и что благодарность, что неподкупный человѣкъ, а что взяточникъ. Коли у меня есть гдѣ дѣло, такъ я бывало знаю, что дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ: его можно положить, или даже забыть безъ умысла, либо пустить другое напередъ, оно и лежитъ, молчитъ, и слова не молвитъ; а между тѣмъ, его же можно кончить и въ одинъ день. Коли я найду для себя старателя, и онъ липній часокъ посидитъ, да кончитъ все, такъ развѣ намъ стыдно будетъ, коли я поблагодарю его пятью рублями, либо десятью? Сваты будемъ съ нимъ—и только; а грѣха тутъ нѣтъ. Вотъ иное дѣло, еслибъ я продалъ душу свою по ряду, за деньги, за

поставилъ бы праваго виноватымъ, а виноватаго правымъ—ну, тогда вѣшай меня на любой березѣ. А развѣ это лучше, когда человѣкъ все-таки ничего даромъ не сдѣлаетъ тебѣ, потому что на свѣтѣ даромъ развѣ только подзатыльника дадутъ, хоть ты тамъ сколько ни краснобайствуй про доблестное безкорыстіе, да; а другой безъ ряду ничего не дастъ, и благодарности не знаетъ и знать не хочетъ? Развѣ это лучше, коли одинъ другому уже не вѣритъ болѣе ни на совѣсть, ни на честь, а въ задатокъ рвутъ пукъ ассигнацій пополамъ, чтобъ въ случаѣ чего, не доставалось ни ему, ни тебѣ? О пяти рубляхъ, за которые, бывало, цѣлый кафтанъ съ приборомъ справишь, и рѣчи нѣту: пора поговоркамъ о синичкѣ да краснухѣ давно миновалась, нынѣ толкуютъ только о бѣляночкахъ, сотнягахъ да тысченкахъ. Купи меня, такъ я твой, съ начинкой и потрохами, коли кто не дастъ больше тебя! Я знаю отъ стариковъ, что мѣсто мое наживное: а какъ и почему—не знаю, да и знать не хочу, да и разспрашивать объ этомъ опасно и совѣстно; я знаю напередъ, что по своей волѣ никто ничего не дастъ; знаю, что какъ ни биться, а къ вечеру напиться: либо тутъ, либо тамъ попадешься, — ну и пошелъ очертя голову, лишь бы протянуть до манифеста, либо умереть на половинномъ жалованьѣ подъ судомъ; та же пенсія, все одно...

— Замололъ я, братецъ,—продолжалъ старикъ:— инно одышка взяла; дай отведу душу чайкомъ

— Такъ ѣдемъ, коли такъ, дня черезъ три; не заботься о себѣ, я все улажу. Нынѣ времена правдивыя, безкорыстныя; не бойсь, взятки не возьмутъ. Оставайся же у меня какъ солдатъ на постоѣ. Амуницію твою отбилъ непріятель, тише жить станешь съ хозяиномъ, не станешь буянить.

Старикъ протянулъ руку съ ложечкой къ кубышкѣ,

чтобъ выпить чашечку въ прикуску съ медкомъ, и необъятный рой мухъ облѣпилъ насъ такъ, что я отмахиваясь хмурился; онъ же только потряхивалъ слегка головой, приговаривая: «пейте, ѣшьте на здоровье, будетъ и съ насъ, и съ васъ; только не топитесь, окаянныя!» Говоря это, онъ бережно вынулъ нѣсколько полусонныхъ мухъ изъ меда, ставилъ ихъ одну за другою на ноги и прибавилъ послѣ, отираясь платкомъ: «отвяжитесь же, Господь съ вами, теперь но до васъ». Затѣмъ, мы проболтали до поздней ночи; зная, что я ѣздилъ два года по матушкѣ Россіи, какъ начинающій историкъ, статистикъ и археологъ, онъ много распрашивалъ меня, наставлялъ, поучалъ, подшучивалъ, — а затѣмъ мы, помолившись, весело и спокойно уснули.

Пожелавъ имъ спокойной ночи, мы должны воротиться далеко назадъ, чтобъ объяснить все оставленное доселѣ въ пробѣлѣ.

## VI.

## БАБУШКА И ВНУЧКА.

Подъѣзжая къ большому селу, молодой усталый путникъ въ военномъ сюртукѣ тогдашняго покроя, съ отрадою смотрѣлъ на хлѣбосольные столбы дыма, на длинный рядъ бѣлыхъ хатъ, а повременамъ взглядывалъ и на барскую усадьбу, которая красовалась на возвышенномъ холму настоящимъ дворцомъ, между крестьянскими избушками. Осень была сырая и холодная; упряжка велика, степь глуха и уныла. Ямщикъ остановился противъ низенькихъ камышевыхъ воротъ, у огороженнаго камышемъ же палисадничка, въ которомъ стояли еще блеклые остатки подсолнечниковъ и пшенички, и закричалъ хозяйку по имени.

Ворота, въ поясъ вышины, растворились, кибитка въѣхала, и путникъ нашъ, выскочивъ, побѣжалъ съ большимъ удовольствіемъ въ избу. Здѣсь, конечно, не ожидали его особенныя удобства прихотливой жизни нашей: хатка тѣсная, полная ребятишекъ, лакомаго блюда нѣтъ, но все-таки это лучше дурной мокрой погоды, скучной дороги и тряской брички.

Не успѣлъ ямщикъ отложить лошадей, какъ съ барскаго двора прибѣжалъ запыхавшись человѣкъ узнать, кто пріѣхалъ, а вслѣдъ затѣмъ, просить его поскорѣе туда, гдѣ, по словамъ посланца, сейчасъ садились за столъ. Пріѣзжій поблагодарилъ и наказывалъ извиниться, сказавъ, что онъ въ дорожномъ и грязномъ платьѣ, торопится ѣхать, усталъ, не такъ здоровъ и проч. Но слуга, улыбнувшись недовѣрчиво и переступивъ съ ноги на ногу, сказалъ южнымъ нарѣчіемъ: «Нѣтъ ужь, сударь, сдѣлайте милость, пожалуйте; у нашего барина отъ хлѣба-соли отказываться нельзя, а то съ нимъ и не раздѣлаешься; онъ меня за это со свѣту сгонитъ»,—и затѣмъ посланецъ отвѣсилъ два поклона сряду. Проѣзжій повторилъ было опять тѣ же отговорки свои и думалъ отдѣлаться; но тутъ самъ хозяинъ избы вступился за честь своего барина и за участь посланнаго, въ случаѣ неудачи. «Нѣтъ, батюшка баринъ»,—сказалъ мужикъ, стоя подлѣ печи и опершись правымъ локтемъ на лѣвый кулакъ:—нѣтъ баринъ, Господь съ тобой, иди; бѣда будетъ и тебѣ, и мнѣ, и всѣмъ намъ: тутъ и мѣста не найдешь!»

— Какъ такъ! — спросилъ офицеръ: — что же это значитъ?

— А то, пане,—продолжалъ мужикъ, поглаживая рукою сѣдые усы и бритую бороду:—что баринъ нашъ баринъ добрый, нечего сказать, дай Богъ ему много лѣтъ, да крутъ, не приведи Богъ, крутъ; ты, Семенко, прости меня,—сказалъ онъ обратясь къ слугѣ, а потомъ

продолжалъ: — никакой супротивности не потерпитъ; сегодня же еще и праздникъ у нихъ, дочь именинница. Тутъ разъ былъ такой же случай: вотъ какъ и ваша милость теперь, пріѣхалъ изъ военныхъ, изъ москалей, баринъ и прислалъ, вотъ хоть бы теперь его, Семенка: проси, говоритъ, кто ни пріѣхалъ, проси сейчасъ. Тотъ не пошелъ, нѣтъ да нѣтъ, и остался. Какъ вскинется баринъ нашъ на малаго: «пошелъ, говоритъ, не умѣешь кланяться, что ли? проси!» Опять-таки не пошелъ офицеръ, говоритъ: поѣду дальше. Тутъ ужъ никто и везти его не смѣетъ, всѣ разбѣжались, боятся; а малый не смѣетъ и домой казаться, сидитъ тутъ; глядь, другаго шлютъ, третьяго шлютъ, да все бѣгомъ... вдругъ и поднялся самъ, за обиду свою; какъ закричитъ: «коня!» такъ, батюшки, по всей дворнѣ, до самыхъ овчаровъ и свинопасовъ, дрожь и пробѣжала; «за мной!» и поскакалъ; вся дворня за нимъ, кто какъ и въ чемъ попало. Офицеръ видитъ, что дѣло плохо, ушелъ въ избу, двери заперъ на крючокъ, нейдетъ оттуда и никого не пускаетъ: «застрѣлю», говоритъ. Вотъ баринъ нашъ и расходился: «бей въ трещетки на все село! Пожаръ! Притуленко горитъ!»—а проѣзжій остановился у мужика Притуленка. Ударили въ трещетку, народъ сбѣжался. «Лей», говоритъ баринъ: «лей въ трубу, заливай его!» Тутъ знай подвозятъ, да подаютъ воду, а тутъ льютъ: и съ барскаго двора, и со всего села съѣхались, ослушаться не смѣютъ, бѣда! подпрудила вода нашего офицера въ мазанкѣ, и ребятишекъ-то въ хатѣ перетопили было. Какъ выскочитъ онъ оттуда, а вода за нимъ, ровно плотину прорвало; и сердце отлегло у нашего барина. «Качай его», говоритъ, «на рукахъ; кричи ура! неси на барскій дворъ!».

Тутъ другой гонецъ прибѣжалъ съ барскаго двора, вошелъ въ избу и, не успѣвъ перекреститься, поклонился пріѣзжему и торопливо просилъ его пожаловать

къ барину на именинный пирогъ: гости дожидаются. Подумавъ немного, офицеръ взялъ фуражку, и какъ былъ полумокрый, въ грязи, отправился съ двумя присланными за нимъ вѣстовыми къ помѣщику. На дорогѣ встрѣтила его еще коляска, ѣхавшая также за нимъ.

Веселый, живой, дородный и рослый старикъ встрѣтилъ гостя на широкомъ крыльцѣ, кланялся, благодарилъ за честь и проводилъ въ покой съ такимъ радушіемъ, съ такою шутливою веселостью, что гость недоумѣвалъ, чѣмъ на все это отвѣчать. Его представили человѣкамъ двадцати гостямъ; старикъ водилъ его вездѣ за собою подъ руку, цѣловалъ, а о родѣ и племени пріѣзжаго и рѣчи не было, потому что невѣжливо объ этомъ гостя спрашивать; его представляли какъ нежданнаго, а желаннаго дорогаго гостя, и только. Пошли къ закускѣ, а тамъ и къ столу. Шумная бесѣда, смѣхъ и хохотъ, разливное море; но двери на одну половину были притворены, и женщины, по тогдашнему обычаю, не показывались; въ тѣ времена онѣ выходили развѣ только иногда къ концу стола, съ кубкомъ въ рукахъ, съ поклономъ, на показъ гостямъ, и то если хозяинъ былъ очень веселъ и хотѣлъ почтить гостей; разсланявшись же, барыни и барышни тотчасъ опять уходили, и дверь за ними притворялась.

Нежданнаго и желаннаго гостя потчивали ровно на убой; а если за исправной ѣдой его присматривали съ небольшимъ потворствомъ, заставляя только накладывать всего верхомъ на тарелку, но не принуждая съѣдать всего, то уже за питьемъ слѣдили съ неумолимою строгостью: кушаніями потчивали, а напитками насиловали. Онъ терпѣлъ и обмогался до послѣдней крайности, надѣясь, что будетъ же всему этому конецъ; онъ разсчитывалъ по блюдамъ, скоро ли дѣло подойдетъ къ концу, но конца рѣшительно не было. Бутылки съ минуты на минуту росли числомъ, кравчіе

наливали безпрестанно, а хозяинъ, между крикомъ, шутками и смѣхомъ, съ такою зоркостью и немилосердіемъ понуждалъ гостей то выпить, то допить, что бѣднякъ нашъ рѣшительно не зналъ, куда дѣваться. Кромѣ донскихъ винъ и греческихъ, въ особенности было въ ходу венгерское, а по промежуткамъ какая-то варенуха, жгучая, какъ огонь, запеканка и легіонъ наливокъ, водицъ, шипучекъ и знаменитый медъ-спотыкачъ. Наконецъ, все обрушилось на гостѣ: чувствуя, что онъ болѣе пить не можетъ, если не располагаетъ тутъ же растянуться, онъ пытался уже разъ-другой выплеснуть рюмку то въ тарелку, то на полъ; но отъ строго нашколенныхъ кравчихъ не было никакого отбоя, ни спасенія; они наливали опять рюмку почти налету, и гостю было не легче. Хозяинъ сталъ замѣчать, что желанный гость худо пьетъ; старикъ расшумѣлся, вскочилъ, двое слугъ, по заведенному въ такихъ случаяхъ осторожному обычаю, подхватили его подъ руки, онъ подошелъ къ гостю и сталъ его упрашивать и заклинать выпить свою рюмку. Тотъ долго оттоваривался, чувствуя, что у него голова уже давно пошла кругомъ: наконецъ, онъ рѣшился, видя, что нѣтъ средствъ отдѣлаться, но только съ уговоромъ, чтобъ это была послѣдняя. Не успѣлъ онъ однакожъ ее опорожнить и поставить, какъ она была ужъ налита вровень съ краями, будто зачарованная, а хозяинъ стоялъ попрежнему и кланялся неотступно, увѣряя, что гость не выпилъ рюмки, и ссылаясь притомъ на всѣхъ сотрапезниковъ, какъ на свидѣтелей. Едва будучи въ силахъ связно отвѣчать, но сохранивъ еще столько разсудка, чтобъ понять свое положеніе, проѣзжій отказался на отрѣзъ и не поддавался уже ни на какія убѣжденія.

Тогда хозяинъ, выпрямившись, закричалъ: «Именинницъ сюда! Бабушку и внучку! Бабушку и внучку!» И проѣзжій, у котораго и безъ того все ходило кру-

поставилъ бы праваго виноватымъ, а виноватаго правымъ—ну, тогда вѣшай меня на любой березѣ. А развѣ это лучше, когда человѣкъ все-таки ничего даромъ не сдѣлаетъ тебѣ, потому что на свѣтѣ даромъ развѣ только подзатыльника дадутъ, хоть ты тамъ сколько ни краснобайствуй про доблестное безкорыстіе, да; а другой безъ ряду ничего не дастъ, и благодарности не знаетъ и знать не хочетъ? Развѣ это лучше, коли одинъ другому уже не вѣритъ болѣе ни на совѣсть, ни на честь, а въ задатокъ рвутъ пукъ ассигнацій пополамъ, чтобъ въ случаѣ чего, не доставалось ни ему, ни тебѣ? О пяти рубляхъ, за которые, бывало, цѣлый кафтанъ съ прибором справишь, и рѣчи нѣту: пора поговоркамъ о синичкѣ да краснухѣ давно миновалась, нынѣ толкуютъ только о бѣляночкахъ, сотнягахъ да тысченкахъ. Купи меня, такъ я твой, съ начинкой и потрохами, коли кто не дастъ больше тебя! Я знаю отъ стариковъ, что мѣсто мое наживное: а какъ и почему—не знаю, да и знать не хочу, да и разспрашивать объ этомъ опасно и совѣстно; я знаю напередъ, что по своей волѣ никто ничего не дастъ; знаю, что какъ ни биться, а къ вечеру напиться: либо тутъ, либо тамъ попадешься, — ну и пошелъ очертя голову, лишь бы протянуть до манифеста, либо умереть на половинномъ жалованьѣ подъ судомъ; та же пенсія, все одно...

— Замололъ я, братецъ,—продолжалъ старикъ:— инно одышка взяла; дай отведу душу чайкомъ

— Такъ ѣдемъ, коли такъ, дня черезъ три; не заботься о себѣ, я все улажу. Нынѣ времена правдивыя, безкорыстныя; не бойсь, взятки не возьмутъ. Оставайся же у меня какъ солдатъ на постоѣ. Амуницію твою отбилъ непріятель, тише жить станешь съ хозяиномъ, не станешь буянить.

Старикъ протянулъ руку съ ложечкой къ кубышкѣ,

чтобъ выпить чашечку въ прикуску съ медкомъ, и необъятный рой мухъ облѣпилъ насъ такъ, что я отмахиваясь хмурился; онъ же только потряхивалъ слегка головой, приговаривая: «пейте, ѣшьте на здоровье, будетъ и съ насъ, и съ васъ; только не топитесь, окаянныя!» Говоря это, онъ бережно вынулъ нѣсколько полусонныхъ мухъ изъ меда, ставилъ ихъ одну за другою на ноги и прибавилъ послѣ, отираясь платкомъ: «отвяжитесь же, Господь съ вами, теперь но до васъ». Затѣмъ, мы проболтали до поздней ночи; зная, что я ѣздилъ два года по матушкѣ Россіи, какъ начинающій историкъ, статистикъ и археологъ, онъ много распрашивалъ меня, наставлялъ, поучалъ, подшучивалъ, — а затѣмъ мы, помолившись, весело и спокойно уснули.

Пожелавъ имъ спокойной ночи, мы должны воротиться далеко назадъ, чтобъ объяснить все оставленное доселѣ въ пробѣлѣ.

## VI.

## БАБУШКА И ВНУЧКА.

Подъѣзжая къ большому селу, молодой усталый путникъ въ военномъ сюртукѣ тогдашняго покроя, съ отрадою смотрѣлъ на хлѣбосольные столбы дыма, на длинный рядъ бѣлыхъ хатъ, а повременамъ взглядывалъ и на барскую усадьбу, которая красовалась на возвышенномъ холму настоящимъ дворцомъ, между крестьянскими избушками. Осень была сырая и холодная; упряжка велика, степь глуха и уныла. Ямщикъ остановился противъ низенькихъ камышевыхъ воротъ, у огороженнаго камышемъ же палисадничка, въ которомъ стояли еще блеклые остатки подсолнечниковъ и пшенички, и закричалъ хозяйку по имени

Ворота, въ поясъ вышины, растворились, кибитка въѣхала, и путникъ нашъ, выскочивъ, побѣжалъ съ большимъ удовольствіемъ въ избу. Здѣсь, конечно, не ожидали его особенныя удобства прихотливой жизни нашей: хатка тѣсная, полная ребятишекъ, лакомаго блюда нѣтъ, но все-таки это лучше дурной мокрой погоды, скучной дороги и тряской брички.

Не успѣлъ ямщикъ отложить лошадей, какъ съ барскаго двора прибѣжалъ запыхавшись человѣкъ узнать, кто пріѣхалъ, а вслѣдъ затѣмъ, просить его поскорѣе туда, гдѣ, по словамъ посланца, сейчасъ садились за столъ. Пріѣзжій поблагодарилъ и наказывалъ извиниться, сказавъ, что онъ въ дорожномъ и грязномъ платьѣ, торопится ѣхать, усталъ, не такъ здоровъ и проч. Но слуга, улыбнувшись недовѣрчиво и переступивъ съ ноги на ногу, сказалъ южнымъ нарѣчіемъ: «Нѣтъ ужь, сударь, сдѣлайте милость, пожалуйте; у нашего барина отъ хлѣба-соли отказываться нельзя, а то съ нимъ и не раздѣлаешься; онъ меня за это со свѣту сгонитъ»,—и затѣмъ посланецъ отвѣсилъ два поклона сряду. Проѣзжій повторилъ было опять тѣ же отговорки свои и думалъ отдѣлаться; но тутъ самъ хозяинъ избы вступился за честь своего барина и за участь посланнаго, въ случаѣ неудачи. «Нѣтъ, батюшка баринъ»,—сказалъ мужикъ, стоя подлѣ печи и опершись правымъ локтемъ на лѣвый кулакъ:—нѣтъ баринъ, Господь съ тобой, иди; бѣда будетъ и тебѣ, и мнѣ, и всѣмъ намъ: тутъ и мѣста не найдешь!»

— Какъ такъ! — спросилъ офицеръ: — что же это значитъ?

— А то, пане,—продолжалъ мужикъ, поглаживая рукою сѣдые усы и бритую бороду:—что баринъ нашъ баринъ добрый, нечего сказать, дай Богъ ему много лѣтъ, да крутъ, не приведи Богъ, крутъ; ты, Семенко, прости меня,—сказалъ онъ обратясь къ слугѣ, а потомъ

продолжалъ: — никакой супротивности не потерпитъ; сегодня же еще и праздникъ у нихъ, дочь именинница. Тутъ разъ былъ такой же случай: вотъ какъ и ваша милость теперь, пріѣхалъ изъ военныхъ, изъ москалей, баринъ и прислалъ, вотъ хоть бы теперь его, Семенка: проси, говоритъ, кто ни пріѣхалъ, проси сейчасъ. Тотъ не пошелъ, нѣтъ да нѣтъ, и остался. Какъ вскинется баринъ нашъ на малаго: «пошелъ, говоритъ, не умѣешь кланяться, что ли? проси!» Опять-таки не пошелъ офицеръ, говоритъ: поѣду дальше. Тутъ ужъ никто и везти его не смѣетъ, всѣ разбѣжались, боятся; а малый не смѣетъ и домой казаться, сидитъ тутъ; глядь, другаго шлютъ, третьяго шлютъ, да все бѣгомъ... вдругъ и поднялся самъ, за обиду свою; какъ закричитъ: «коня!» такъ, батюшки, по всей дворнѣ, до самыхъ овчаровъ и свинопасовъ, дрожь и пробѣжала; «за мной!» и поскакалъ; вся дворня за нимъ, кто какъ и въ чемъ попало. Офицеръ видитъ, что дѣло плохо, ушелъ въ избу, двери заперъ на крючокъ, нейдетъ оттуда и никого не пускаетъ: «застрѣлю», говоритъ. Вотъ баринъ нашъ и расходился: «бей въ трещетки на все село! Пожаръ! Притуленко горитъ!»—а проѣзжій остановился у мужика Притуленка. Ударили въ трещетку, народъ сбѣжался. «Лей», говоритъ баринъ: «лей въ трубу, заливай его!» Тутъ знай подвозятъ, да подаютъ воду, а тутъ льютъ: и съ барскаго двора, и со всего села съѣхались, ослушаться не смѣютъ, бѣда! подпрудила вода нашего офицера въ мазанкѣ, и ребя тишекъ-то въ хатѣ перетопили было. Какъ выскочитъ онъ оттуда, а вода за нимъ, ровно плотину прорвало; и сердце отлегло у нашего барина. «Качай его», говоритъ, «на рукахъ; кричи ура! неси на барскій дворъ!».

Тутъ другой гонецъ прибѣжалъ съ барскаго двора, вошелъ въ избу и, не успѣвъ перекреститься, поклонился пріѣзжему и торопливо просилъ его пожаловать

къ барину на именинный пирогъ: гости дожидаются. Подумавъ немного, офицеръ взялъ фуражку, и какъ былъ полумокрый, въ грязи, отправился съ двумя присланными за нимъ вѣстовыми къ помѣщику. На дорогѣ встрѣтила его еще коляска, ѣхавшая также за нимъ.

Веселый, живой, дородный и рослый старикъ встрѣтилъ гостя на широкомъ крыльцѣ, кланялся, благодарилъ за честь и проводилъ въ покой съ такимъ радушіемъ, съ такою шутливою веселостью, что гость недоумѣвалъ, чѣмъ на все это отвѣчать. Его представили человѣкамъ двадцати гостямъ; старикъ водилъ его вездѣ за собою подъ руку, цѣловалъ, а о родѣ и племени пріѣзжаго и рѣчи не было, потому что невѣжливо объ этомъ гостя спрашивать; его представляли какъ нежданнаго, а желаннаго дорогаго гостя, и только. Пошли къ закускѣ, а тамъ и къ столу. Шумная бесѣда, смѣхъ и хохотъ, разливное море; но двери на одну половину были притворены, и женщины, по тогдашнему обычаю, не показывались; въ тѣ времена онѣ выходили развѣ только иногда къ концу стола, съ кубкомъ въ рукахъ, съ поклономъ, на показъ гостямъ, и то если хозяинъ былъ очень веселъ и хотѣлъ почтить гостей; раскланявшись же, барыни и барышни тотчасъ опять уходили, и дверь за ними притворялась.

Нежданнаго и желаннаго гостя потчивали ровно на убой; а если за исправной ѣдой его присматривали съ небольшимъ потворствомъ, заставляя только накладывать всего верхомъ на тарелку, но не принуждая съѣдать всего, то уже за питьемъ слѣдили съ неумолимою строгостью: кушаніями потчивали, а напитками насиловали. Онъ терпѣлъ и обмогался до послѣдней крайности, надѣясь, что будетъ же всему этому конецъ; онъ разсчитывалъ по блюдамъ, скоро ли дѣло подойдетъ къ концу, но конца рѣшительно не было. Бутылки съ минуты на минуту росли числомъ, кравчіе

наливали безпрестанно, а хозяинъ, между крикомъ, шутками и смѣхомъ, съ такою зоркостью и немилосердіемъ понуждалъ гостей то выпить, то допить, что бѣднякъ нашъ рѣшительно не зналъ, куда дѣваться. Кромѣ донскихъ винъ и греческихъ, въ особенности было въ ходу венгерское, а по промежуткамъ какая-то варенуха, жгучая, какъ огонь, запеканка и легіонъ наливокъ, водицъ, шипучекъ и знаменитый медъ-спотыкачъ. Наконецъ, все обрушилось на гостѣ: чувствуя, что онъ болѣе пить не можетъ, если не располагаетъ тутъ же растянуться, онъ пытался уже разъ-другой выплеснуть рюмку то въ тарелку, то на полъ; но отъ строго нашколенныхъ кравчихъ не было никакого отбоя, ни спасенія; они наливали опять рюмку почти налету, и гостю было не легче. Хозяинъ сталъ замѣчать, что желанный гость худо пьетъ; старикъ расшумѣлся, вскочилъ, двое слугъ, по заведенному въ такихъ случаяхъ осторожному обычаю, подхватили его подъ руки, онъ подошелъ къ гостю и сталъ его упрашивать и заклинать выпить свою рюмку. Тотъ долго оттоваривался, чувствуя, что у него голова уже давно пошла кругомъ: наконецъ, онъ рѣшился, видя, что нѣтъ средствъ отдѣлаться, но только съ уговоромъ, чтобъ это была послѣдняя. Не успѣлъ онъ однакожъ ее опорожнить и поставить, какъ она была ужъ налита вровень съ краями, будто зачарованная, а хозяинъ стоялъ попрежнему и кланялся неотступно, увѣряя, что гость не выпилъ рюмки, и ссылаясь притомъ на всѣхъ сотрапезниковъ, какъ на свидѣтелей. Едва будучи въ силахъ связно отвѣчать, но сохранивъ еще столько разсудка, чтобъ понять свое положеніе, проѣзжій отказался на отрѣзъ и не поддавался уже ни на какія убѣжденія.

Тогда хозяинъ, выпрямившись, закричалъ: «Именинницъ сюда! Бабушку и внучку! Бабушку и внучку!» И проѣзжій, у котораго и безъ того все ходило кру-

гомъ, не успѣлъ опомниться, о чемъ идетъ рѣчь и что надъ нимъ дѣется, какъ дверь на женскую половину растворилась, и оттуда показалась старуха лѣтъ подъ сотню, въ темной шелковой исподницѣ и шугаѣ, съ чернымъ парчевымъ платкомъ на головѣ; ее вели подъ руки старая дворовая женщина и внучка ея, дочь хозяина-вдовца. Поступь старушки, поднятая голова, неподвижные глаза и выставленные впередъ пальцы на рукахъ, показывали, что она не видѣла ни-зги. Внучка, скороспѣлочка лѣтъ шестнадцати, была до такой степени свѣжа и миловидна, что хмѣльные гости, у которыхъ уже семерило въ глазахъ, отъ всей души сладко улыбались и большею частью безуспѣшно пытались привстать, или раскланивались пренизко то на ту, то на другую сторону, не зная навѣрное, откуда представилось имъ это обаятельное видѣніе. Внучка бережно поддерживала бабушку, легонько переставляла ножки, зардѣлась вся, когда стала приближаться къ столу, къ кругу мужчинъ, и была, повидимому, въ большомъ недоумѣніи, какъ ей быть, вскинуть ли немного глазки наверхъ, на бабушку, чтобъ по навыку предугадать всякое движеніе ея и предупредить его своею помощью, или ужъ идти, отдавшись на произволъ судьбы, потупивъ глаза, покрытые дрожащими, какъ живчикъ, вѣками. Медленно приближалось шествіе это на зовъ хозяина: «сюда, сюда, бабушка»! и представляло разительную, чудную картину Отжившая, столѣтняя, слѣпая бабушка, и рядомъ съ нею едва разцвѣтающая шестнадцати-лѣтняя внучка, благодатной, младенческой красоты и пышной дѣвственной прелести.

— Сюда, бабушка! - - кричалъ багровый въ лицѣ хозяинъ, стоя подлѣ упрямаго гостя и наложивъ на него всею тяжестію неуравновѣшеннаго тѣла желѣзную руку свою:—вотъ у насъ какой гость, безчеститъ домъ мой, ругается надъ хлѣбомъ-солью моимъ, хочетъ опо-

зорить радостный пиръ мой, не пьетъ! Становись, бабушка на колѣни, проси! Ганна, чего смотришь, становись, проси!

Внучка, испуганная грознымъ голосомъ отца, вздрогнула, взглянула на него быстро и въ ту же минуту опустилась на оба колѣна; бабушка, поддерживаемая съ одной стороны ею, пошатнулась, но внучка, поднявъ руки, успѣла помочь ей; обѣ стояли передъ упрямымъ гостемъ на колѣняхъ, низко кланялись ему, сложивъ руки на груди ладонями, что внучка исполнила торопливо, увидѣвъ, что бабушка такъ сложила руки. За ними стояла старая няня, во весь ростъ, но также кланялась. Бабушка причитывала сиплымъ, грубымъ и громкимъ голосомъ, какъ изъ могилы, убѣждая гостя не безчестить хозяина; ребенокъ вторилъ ей, лепеталъ, что-то шевеля губами; бабушка смотрѣла во всѣ глаза и ничего не видала; внучка потупила очи, будто молилась, но карія зѣницы южной славянской крови метали искорки изъ-подъ длинныхъ темнорусыхъ рѣсницъ.

Гость, въ которомъ загорѣлось было крутое негодованіе, былъ, однакожъ, внезапно побѣжденъ; онъ схватилъ стаканъ, вмѣсто рюмки, закричалъ: «лейте, что хотите»! и выпилъ за здоровье бабушки, выпилъ другой за здоровье внучки, выпилъ третій, обнимаясь съ хозяиномъ, при общихъ восклицаніяхъ восторга, и впослѣдствіи уже ничего болѣе не могъ припомнить. Какъ внучка, по приказанію отца, обходила послѣ вокругъ стола съ няней, подносила каждому гостю и цѣловалась съ нимъ, это проѣзжій нашъ видѣлъ во снѣ, не то слышалъ отъ кого-то, но самъ ничего не понималъ.

Видя впослѣдствіи передъ собой, во снѣ и на яву, бабушку и внучку, на колѣняхъ, онъ добивался у памяти своей, чѣмъ и какъ все это кончилось? Но ничего не могъ распутать. Образъ старушки, въ темномъ

къ барину на именинный пирогъ: гости дожидаются. Подумавъ немного, офицеръ взялъ фуражку, и какъ былъ полумокрый, въ грязи, отправился съ двумя присланными за нимъ вѣстовыми къ помѣщику. На дорогѣ встрѣтила его еще коляска, ѣхавшая также за нимъ.

Веселый, живой, дородный и рослый старикъ встрѣтилъ гостя на широкомъ крыльцѣ, кланялся, благодарилъ за честь и проводилъ въ покой съ такимъ радушіемъ, съ такою шутливою веселостью, что гость недоумѣвалъ, чѣмъ на все это отвѣчать. Его представили человѣкамъ двадцати гостямъ; старикъ водилъ его вездѣ за собою подъ руку, цѣловалъ, а о родѣ и племени пріѣзжаго и рѣчи не было, потому что невѣжливо объ этомъ гостя спрашивать; его представляли какъ нежданнаго, а желаннаго дорогаго гостя, и только. Пошли къ закускѣ, а тамъ и къ столу. Шумная бесѣда, смѣхъ и хохотъ, разливное море; но двери на одну половину были притворены, и женщины, по тогдашнему обычаю, не показывались; въ тѣ времена онѣ выходили развѣ только иногда къ концу стола, съ кубкомъ въ рукахъ, съ поклономъ, на показъ гостямъ, и то если хозяинъ былъ очень веселъ и хотѣлъ почтить гостей; раскланявшись же, барыни и барышни тотчасъ опять уходили, и дверь за ними притворялась.

Нежданнаго и желаннаго гостя потчивали ровно на убой; а если за исправной ѣдой его присматривали съ небольшимъ потворствомъ, заставляя только накладывать всего верхомъ на тарелку, но не принуждая съѣдать всего, то уже за питьемъ слѣдили съ неумолимою строгостью: кушаніями потчивали, а напитками насиловали. Онъ терпѣлъ и обмогался до послѣдней крайности, надѣясь, что будетъ же всему этому конецъ; онъ разсчитывалъ по блюдамъ, скоро ли дѣло подойдетъ къ концу, но конца рѣшительно не было. Бутылки съ минуты на минуту росли числомъ, кравчіе

наливали безпрестанно, а хозяинъ, между крикомъ, шутками и смѣхомъ, съ такою зоркостью и немилосердіемъ понуждалъ гостей то выпить, то допить, что бѣднякъ нашъ рѣшительно не зналъ, куда дѣваться. Кромѣ донскихъ винъ и греческихъ, въ особенности было въ ходу венгерское, а по промежуткамъ какая-то варенуха, жгучая, какъ огонь, запеканка и легіонъ наливокъ, водицъ, шипучекъ и знаменитый медъ-спотыкачъ. Наконецъ, все обрушилось на гостѣ: чувствуя, что онъ болѣе пить не можетъ, если не располагаетъ тутъ же растянуться, онъ пытался уже разъ-другой выплеснуть рюмку то въ тарелку, то на полъ; но отъ строго нашколенныхъ кравчихъ не было никакого отбоя, ни спасенія; они наливали опять рюмку почти налету, и гостю было не легче. Хозяинъ сталъ замѣчать, что желанный гость худо пьетъ; старикъ расшумѣлся, вскочилъ, двое слугъ, по заведенному въ такихъ случаяхъ осторожному обычаю, подхватили его подъ руки, онъ подошелъ къ гостю и сталъ его упрашивать и заклинать выпить свою рюмку. Тотъ долго оттоваривался, чувствуя, что у него голова уже давно пошла кругомъ: наконецъ, онъ рѣшился, видя, что нѣтъ средствъ отдѣлаться, но только съ уговоромъ, чтобъ это была послѣдняя. Не успѣлъ онъ однакожъ ее опорожнить и поставить, какъ она была ужъ налита вровень съ краями, будто зачарованная, а хозяинъ стоялъ попрежнему и кланялся неотступно, увѣряя, что гость не выпилъ рюмки, и ссылаясь притомъ на всѣхъ сотрапезниковъ, какъ на свидѣтелей. Едва будучи въ силахъ связно отвѣчать, но сохранивъ еще столько разсудка, чтобъ понять свое положеніе, проѣзжій отказался на отрѣзъ и не поддавался уже ни на какія убѣжденія.

Тогда хозяинъ, выпрямившись, закричалъ: «Именинницъ сюда! Бабушку и внучку! Бабушку и внучку!» И проѣзжій, у котораго и безъ того все ходило кру-

гомъ, не успѣлъ опомниться, о чемъ идетъ рѣчь и что надъ нимъ дѣется, какъ дверь на женскую половину растворилась, и оттуда показалась старуха лѣтъ подъ сотню, въ темной шелковой исподницѣ и шугаѣ, съ чернымъ парчевымъ платкомъ на головѣ; ее вели подъ руки старая дворовая женщина и внучка ея, дочь хозяина-вдовца. Поступь старушки, поднятая голова, неподвижные глаза и выставленные впередъ пальцы на рукахъ, показывали, что она не видѣла ни-зги. Внучка, скороспѣлочка лѣтъ шестнадцати, была до такой степени свѣжа и миловидна, что хмѣльные гости, у которыхъ уже семерило въ глазахъ, отъ всей души сладко улыбались и большею частью безуспѣшно пытались привстать, или раскланивались пренизко то на ту, то на другую сторону, не зная навѣрное, откуда представилось имъ это обаятельное видѣніе. Внучка бережно поддерживала бабушку, легонько переставляла ножки, зардѣлась вся, когда стала приближаться къ столу, къ кругу мужчинъ, и была, повидимому, въ большомъ недоумѣніи, какъ ей быть, вскинуть ли немного глазки наверхъ, на бабушку, чтобъ по навыку предугадать всякое движеніе ея и предупредить его своею помощью, или ужъ идти, отдавшись на произволъ судьбы, потупивъ глаза, покрытые дрожащими, какъ живчикъ, вѣками. Медленно приближалось шествіе это на зовъ хозяина: «сюда, сюда, бабушка»! и представляло разительную, чудную картину Отжившая, столѣтняя, слѣпая бабушка, и рядомъ съ нею едва разцвѣтающая шестнадцати-лѣтняя внучка, благодатной, младенческой красоты и пышной дѣвственной прелести.

— Сюда, бабушка! - - кричалъ багровый въ лицѣ хозяинъ, стоя подлѣ упрямаго гостя и наложивъ на него всею тяжестію неуравновѣшеннаго тѣла желѣзную руку свою:—вотъ у насъ какой гость, безчеститъ домъ мой, ругается надъ хлѣбомъ-солью моимъ, хочетъ опо-

зоритъ радостный пиръ мой, не пьетъ! Становись, бабушка на колѣни, проси! Ганна, чего смотришь, становись, проси!

Внучка, испуганная грознымъ голосомъ отца, вздрогнула, взглянула на него быстро и въ ту же минуту опустилась на оба колѣна; бабушка, поддерживаемая съ одной стороны ею, пошатнулась, но внучка, поднявъ руки, успѣла помочь ей; обѣ стояли передъ упрямымъ гостемъ на колѣняхъ, низко кланялись ему, сложивъ руки на груди ладонями, что внучка исполнила торопливо, увидѣвъ, что бабушка такъ сложила руки. За ними стояла старая няня, во весь ростъ, но также кланялась. Бабушка причитывала сиплымъ, грубымъ и громкимъ голосомъ, какъ изъ могилы, убѣждая гостя не безчестить хозяина; ребенокъ вторилъ ей, лепеталъ, что-то шевеля губами; бабушка смотрѣла во всѣ глаза и ничего не видала; внучка потупила очи, будто молилась, но карія зѣницы южной славянской крови метали искорки изъ-подъ длинныхъ темнорусыхъ рѣсницъ.

Гость, въ которомъ загорѣлось было крутое негодованіе, былъ, однакожъ, внезапно побѣжденъ; онъ схватилъ стаканъ, вмѣсто рюмки, закричалъ: «лейте, что хотите»! и выпилъ за здоровье бабушки, выпилъ другой за здоровье внучки, выпилъ третій, обнимаясь съ хозяиномъ, при общихъ восклицаніяхъ восторга, и впослѣдствіи уже ничего болѣе не могъ припомнить. Какъ внучка, по приказанію отца, обходила послѣ вокругъ стола съ няней, подносила каждому гостю и цѣловалась съ нимъ, это проѣзжій нашъ видѣлъ во снѣ, не то слышалъ отъ кого-то, но самъ ничего не понималъ.

Видя впослѣдствіи передъ собой, во снѣ и на яву, бабушку и внучку, на колѣняхъ, онъ добивался у памяти своей, чѣмъ и какъ все это кончилось? Но ничего не могъ распутать. Образъ старушки, въ темномъ

платьѣ, подъ темнымъ платкомъ съ золотыми цвѣтами, исчезалъ мало-по-малу передъ очами мутной памяти его въ какомъ-то неясномъ туманѣ; станъ и обликъ внучки; въ свѣтломъ, яркомъ платьѣ, съ распущенными косичками и съ какою-то повязкою на головѣ, все ярче выступали впередъ, и умильно сложенныя ручки долгое время носились передъ нимъ по воздуху. Всѣ похожденія эти казались ему какою-то сказкою или грезой; кресла съ высокими пуховыми подушками, которыя покрыты были шитою въ тамбуръ кисеей, на розовыхъ чехлахъ; другая утварь дубовая, или выкрашенная яркой масляной краской, стулья и диваны, обитые кожей, гвоздиками о мѣдныхъ высокихъ шляпкахъ; постели, какъ стоги сѣна; одѣяла и подушки съ широкими подзорами и оборками, пуховики рыхлые, кровати огромныя, похожія на старинныя линейки, съ четырьмя столбиками и занавѣсками на кольцахъ... путнику чудилось, что онъ заѣхалъ было въ какое-то сказочное царство; и если столѣтняя старуха казалась ему выходцемъ съ того свѣта, то свѣженькое личико внучки напоминало опять этотъ живой міръ и оставляло еще въ большемъ недоумѣніи.

## VII.

## НАДЕЖДА И УКРАЙНА.

Но пора докончить эту вставочную картину и перейти къ нашему разсказу.

Черезъ нѣсколько времени, полкъ, въ которомъ служилъ офицеръ этотъ, сталъ невдалекѣ отъ черезчуръ хлѣбосольнаго потомка генеральнаго судьи бывшаго малороссійскаго войска; желанный гость возобновилъ знакомство свое и безъ памяти влюбился въ

Ганнусю. Старикъ умеръ, сильно разстроивъ имѣніе; на кіевскихъ контрактахъ онъ не разъ закупалъ все наличное шампанское, сколько его было, до послѣдней бутылки, только для того, чтобъ принудить польскихъ пановъ кланяться ему и принимать отъ него въ подарокъ шампанское цѣлыми ящиками; онъ не уступалъ его за деньги никому, а безъ шампанскаго, при обычномъ на контрактахъ образѣ жизни, нельзя было обойтись, нельзя было кончить ни одной порядочной сдѣлки. Такъ, этого достигалъ старикъ: гордые паны смирялись, кланялись ему и принимали подачку; но имѣніе было разорено. Сироту, согласно съ желаніемъ ея, отдали наконецъ, послѣ долгихъ споровъ и перекоровъ, за желаннаго, и они жили очень счастливо года два; тогда она овдовѣла, оставшись съ малолѣтнею дочерью. Мужъ ея былъ добрый хорошій человѣкъ; она любила его какъ умѣла и оплакала отъ души. Если мы вспомнимъ, какъ она прелестна была въ роковой для покойника день, когда рядомъ съ бабушкой стояла передъ нимъ на колѣняхъ, то, можетъ быть, пожелали бы услышать, что изъ нея вышла примѣрная во всѣхъ отношеніяхъ жена, мать и хозяйка; но мы должны говорить правду, что и какъ было: изъ нея ровно ничего не вышло. Дурныхъ свойствъ и наклонностей въ ней почти не было, но и особенно хорошаго также. Ничтожество ея еще болѣе оказалось, когда она вскорѣ, стараніями и убѣжденіями цѣлой дюжины родственницъ, отдала вторично руку Григорью Алексѣевичу Ахтубинскому. Онъ заѣхалъ въ тотъ край собственно, чтобъ поискать богатой невѣсты, съ независимымъ состояніемъ; встрѣтивъ неудачи, онъ, недолго думавъ, ухватился за первый представившійся ему случай, въ полной надеждѣ, впрочемъ, получить порядочное имѣніе, потому что всякая вдова или невѣста, у которой есть что нибудь своего, или даже какіе нибудь виды

и надежды на наслѣдство, всегда слыветъ богатою невѣстой—до дня свадьбы. Я сказалъ уже, что имѣніе было крайне разорено и въ долгахъ; сверхъ того, братья обидѣли Ганнусю, и ей достался самый бѣдный участокъ. Григорій Алексѣевичъ вскорѣ привелъ его, однакожь, въ совершенный порядокъ, то есть, порѣшилъ, продалъ остатки, обманувъ долгами, кого могъ, промоталъ остальное то на мѣстѣ, то въ Москвѣ и, нашедъ, что въ Петербургѣ выгоднѣе морочить народъ и занимать притомъ порядочное мѣсто, перешелъ туда на жительство.

Ганнуся, Анна Герасимовна, вышедшая въ первый разъ замужъ почти ребенкомъ по душѣ и по тѣлу, погрузилась въ такое безчувственное равнодушіе послѣ вторичнаго брака своего, что никогда и ни въ чемъ не прекословила мужу, не огорчалась его родомъ жизни и поступками, не желала и не требовала ничего, кромѣ развѣ нѣкоторыхъ удобствъ жизни, то есть, нарядовъ, кареты, хорошихъ и теплыхъ покоевъ, нѣсколькихъ лакомыхъ блюдъ, кофе и толпы дѣвокъ для услугъ. Остальное ей все было ни по чемъ. Дѣтей у нея болѣе не было, дочь свою любила она, но любила съ такою ничѣмъ невозмущаемою холодностью и беззаботностью, что дѣвушка во всѣхъ отношеніяхъ предоставлена была произволу судьбы. При такихъ отношеніяхъ, казалось, нельзя было ожидать многаго отъ этой судьбы; но природа нерѣдко шутитъ, впрочемъ, совсѣмъ не на шутку, по своему, и образуетъ изъ человѣка, при всемъ стараніи воспитателей, пустоцвѣтъ, и наоборотъ, производитъ наперекоръ имъ алмазъ въ самородной корѣ. Скажутъ: «вѣроятно, въ первомъ случаѣ при стараніи не было умѣнья;» можетъ статья—это рѣшить трудно; но дочь Анны Герасимоны, Надя, превзошла всѣ надежды матери, у которой, впрочемъ можетъ быть, въ этомъ отношеніи и не было никакихъ

положительныхъ надеждъ. «Маменька, комаръ укусилъ», —пропищитъ, бывало, баловень-дочка, и маменька, чтобъ отвязаться отъ докучливаго ребенка и забавить его, велитъ дѣвкамъ ловить по саду и казнить комара. Поймаютъ одного, принесутъ, чтобъ дѣвочка казнила его, такъ нѣтъ говоритъ, это не тотъ. Побѣгутъ за другимъ, и такимъ образомъ это продолжается, покуда не вздумается ребенку признать того комара, который его укусилъ. По одному этому образчику можно судить о воспитаніи Нади: чего же можно было ожидать отъ ребенка, когда онъ, къ тому еще, постоянно находился на рукахъ у дѣвокъ, которыя то поперемѣнно его баловали, то стращали, то мучили, то заставляли лгать матери, то сами его облыгали; когда Надя только и слышала отъ нихъ, что будетъ красавицей и богатой невѣстой... между тѣмъ, однакожь, хотя только одно первое изъ этихъ предсказаній исполнилось, но за то мнимое богатство съ избыткомъ вознаградилось качествами ума и сердца.

У великорусскаго племени лицо круглое, плосковатое, носъ, какъ пишется и на всѣхъ безъ изъятія паспортахъ, средній, глаза сѣрые, различныхъ оттѣнковъ, волосы русые, нерѣдко свѣтлые, женщины плотноваты. Въ Малороссіи вы видите лица болѣе продолговатыя, губы тонкія, съ особеннымъ выраженіемъ; носъ дугою, глаза каріе, волосы темнорусые, каштановые, или даже черные; станъ болѣе гибкій. Удачная смѣсь обоихъ племенъ рождаетъ очень благовидный мужчинъ и пригожихъ дѣвушекъ, какъ, вѣроятно, всякому случалось видѣть на дѣлѣ. Надя принадлежала именно къ этому числу. Въ умственномъ же и нравственномъ отношеніяхъ, она развилась сама собою, какъ Богу было угодно, и притомъ такъ внезапно, что нельзя было не дивиться этому даже тѣмъ, которые видѣли ее каждый день. Мать, ко-

нечно, этого не замѣтила; но дворня любовалась барышней своей и говорила: «что это, какая она стала разумная!»

Надя побыла года два въ образцовомъ пансіонѣ, это правда, но обстоятельство это само по себѣ, какъ легко можно вообразить, никогда бы не сдѣлало изъ нея того, что изъ нея вышло, еслибъ благодатная природа не занялась впослѣдствіи своей любимицей. Когда пришло это роковое время развитія, то все, что Надя до того вытвердила безсознательно наизусть, для экзаменовъ, все это быстро заняло свое мѣсто въ головѣ, озарилось внутреннимъ свѣтомъ разумнаго сознанія и связалось непрерывною цѣпью понятій: душа ея прозрѣла, согрѣтая чувствомъ и мыслію! И переворотъ этотъ совершился такъ спокойно и безмятежно, будто все осталось въ старомъ видѣ и порядкѣ, и будто даже и сама Надя ничего объ этомъ не знала. Такое явленіе сбыточно только въ кроткой дѣвственной душѣ; въ мужчинѣ неминуемо должно бы оно сопровождаться переломомъ бурнымъ и опаснымъ.

Отчимъ заботился мало о падчерицѣ своей, но надо сказать правду, все-таки гораздо болѣе матери. Онъ понималъ, что ее должно будетъ показывать въ свѣтѣ, и потому иногда, хотя мысленно, заботился о томъ, чтобъ не слишкомъ стыдно за нее было; иногда ему было даже пріятно думать, что она будетъ оживлять нѣсколько домъ, а наконецъ, какъ человѣкъ, который на всемъ строитъ замыслы и готовится къ оборотамъ, Григорій Алексѣевичъ посѣщаемъ былъ также какою-то темною надеждой, что падчерица должна поправить современемъ ихъ состояніе черезъ выгодный бракъ, то есть, или посредствомъ богатства, или же посредствомъ связей. Когда у него блеснула эта мысль, то онъ сталъ къ Надѣ гораздо добрѣе, обрадовалъ ее фортепьянами въ подарокъ, и распускалъ подъ рукою

слухи о помѣстьяхъ ея въ Екатеринославской и Полтавской губерніяхъ. Привыкнувъ вообще къ холодному, но не дурному обращенію родителей, она не находила въ немъ ничего особеннаго, любила ихъ отъ души и была всѣмъ довольна; при соединеніи кротости и спокойствія матери, у которой, однакоже, эти качества развиты были почти до топоумія,—съ умомъ и чувствомъ покойнаго отца, сиротка отъ природы не имѣла никакихъ особыхъ притязаній, довольствовалась тѣмъ, что было и какъ было—и угождала этимъ какъ на бездушное спокойствіе матери, такъ и на безпорядочный и безтолковый образъ жизни и хитрый нравъ отчима.

Теперь пора сказать слово и о томъ человѣкѣ, который первый выступилъ на поприще нашей повѣсти,—тѣмъ болѣе пора, что между имъ и Надей видимо есть какія-то особенныя отношенія, есть повидимому нѣчто связующее и разлучающее ихъ.

Андрей Ефимовичъ Горностай былъ потомокъ весьма извѣстнаго въ свое время полковника малороссійскихъ казаковъ, пожалованнаго императрицей Екатериной, за службу, прекраснымъ имѣніемъ. И этотъ потомокъ, однакоже, не избѣгъ общей участи всѣхъ потомковъ — утѣшаться однимъ воспоминаніемъ или преданіемъ о богатствѣ и роскоши предковъ. Оставшись круглымъ сиротой и владѣльцемъ съ десятилѣтняго возраста, Андрей при совершеннолѣтіи своемъ принялъ клочекъ бывшаго горностаевскаго имѣнія въ довольно жалкомъ состояніи. Неурожаи, низкая цѣна на хлѣбъ, недостатокъ сбыта, падежи на скотъ, наконецъ процвѣтаніе новороссійскаго края, который отбилъ у Украйны всю торговлю съ портами Чернаго моря, необходимость платить за фунтъ чаю по три и по четыре четверти хлѣба, а за пудъ сахара четвертей по десяти и болѣе, неоплатимыя недоимки на

крестьянахъ, которые непремѣнно то продавали хлѣбъ по гривнѣ за мѣрку то голодали и не могли купить его за два рубля, не могли также заработывать деньги чумакованьемъ, ходить за солью, возить рыбу съ Дону и хлѣбъ въ порты, потому что отношенія измѣнились и, между прочимъ, скота не стало... все это, какъ увѣряли, покрайней мѣрѣ, Андрея, было въ теченіе времени причиной упадка хозяйства на родинѣ его и въ собственномъ его имѣніи

Кончивъ курсъ въ мѣстной гимназіи, Горностай предпочелъ слушать чтенія въ московскомъ университетѣ, откуда онъ навѣдывался въ лѣтнія вакаціи домой, а въ зимнія ѣзжалъ въ Петербургъ; затѣмъ онъ, со степенью кандидата по философскому факультету, отправился въ путь по Россіи, скопивъ для того отъ доходовъ своихъ небольшія деньги.

Андрей съ виду чрезвычайно походилъ на образецъ запорожца: воспитаніе мало измѣнило пріемы и ухватки его, въ коихъ, при нѣкоторомъ приличіи и безъ рѣзкихъ особенностей, можно было узнать по первому взгляду бывшаго украинскаго казака. Лобъ прямой и очень высокій, при темнорусыхъ, нѣсколько жесткихъ и строптивыхъ волосахъ; глаза большіе, каріе, лицо довольно продолговатое, въ рябинкахъ, носъ тонкій и умный, дугой; уста тонкія, сжатыя, съ выраженіемъ какой-то угнетенной, насмѣшливой улыбки. Станъ у него былъ рослый, ловкій и видный, но уши, руки и ноги очень велики. Взглядъ его былъ рѣзокъ и очень остойчивъ, губы иногда шевелились безъ рѣчей, когда душа кипѣла, а черты лица были вообще рѣзкія, выразительныя, но отнюдь не грубыя. Онъ, безъ всякаго намѣренія казаться чудакомъ, охотно подбоченивался особымъ образомъ и садился, гдѣ стоялъ, поджавъ ноги; садясь на стулъ, онъ охотно повертывалъ его угломъ впередъ; шапка про-

тивъ воли его, съѣзжала какъ-то на одно ухо; платье всегда казалось ему узкимъ, хотя онъ никогда не носилъ широкаго; вовсе не будучи причудливъ на столъ и не заботясь объ немъ даже и тогда, когда могъ имъ распоряжаться, онъ однакоже вкушалъ и плотію и духомъ всякое блюдо родимой кухни, и когда пріѣзжалъ домой, то распоряжался въ приспѣшной съ большимъ жаромъ, заказывая борщъ со свининой, уткой и индѣйкой, кашу съ толченымъ саломъ, вареники, мнышки и проч.

Способности у Андрея были отличныя, душа свѣтлая, чистая, но какъ будто слегка угнетенная грустью. Не зная о чемъ, онъ однакоже задумывался, часто безъ умысла, вздохнувъ, не договаривалъ, глядѣлъ заунывно, будто что-то было не ладно; а затянувъ или замурлыкавъ про себя пѣсенку, вѣчно попадалъ на миноръ. Необузданная вспыльчивость, казалось, была подавлена давно и, сосредоточась, положила въ основаніе нрава его горячее чувство ко всему доброму, высокому, и притомъ твердость, постоянство и чрезвычайную ровность ничѣмъ несмущаемаго духа. Это онъ въ особенности доказалъ благоразумнымъ и благороднымъ поведеніемъ своимъ, когда судьба довольно жестокою рукою оттолкнула его отъ надежды на... на Надежду; но пусть онъ разскажетъ объ этомъ самъ.

«Въ первый разъ я увидѣлъ ее дома, на общей нашей родинѣ, куда родители ея пріѣхали для сбыта послѣднихъ крохъ бывшаго имѣнія. Послѣ я продолжалъ знакомство въ Москвѣ, и наконецъ также въ Петербургѣ. Вотъ наша первая встрѣча:

«Бывъ на охотѣ съ ружьемъ, встрѣтилъ я довольно далеко отъ дома двухъ сосѣдей; они меня завлекли еще далѣе, оставили у себя, на другой день поѣхали со мною опять дальше, — такимъ образомъ забрелъ я въ мѣста мало знакомыя и, по обычному мнѣ любо-

пытству ко всему мѣстному, разспрашивалъ встрѣчныхъ крестьянъ обо всѣхъ кровелькахъ, садахъ, журавляхъ (колодцахъ) и колокольняхъ, которые виднѣлись тутъ и тамъ по волнистой поверхности вокругъ холма, на которомъ я стоялъ. Когда мнѣ показали вблизи деревеньку и нѣсколько хуторовъ, какъ остатокъ огромнаго имѣнія бывшаго генеральнаго судьи, сказавъ, что имѣніе это промотано, распродано, разошлось по рукамъ наслѣдниковъ и заимодавцевъ, что съ крылечка хаты, которая еще цѣла, бывшій генеральный судья говорилъ собравшемуся народу знаменитую свою рѣчь, что тутъ была у него первая въ округѣ пасѣка, плодовый садъ и проч., то я, воротившись умомъ къ давнопрошедшему, пошелъ тихими шагами на этотъ хуторъ— и стая куропатокъ, вспорхнувшая со свистомъ и верезгомъ изъ-подъ ногъ моихъ, испугала меня до того, что я послѣ смѣялся самъ надъ собою, какъ надъ дуракомъ. Стая куропатокъ испугала охотника! Вотъ какія робкія мгновенія бываютъ въ нашей жизни!

«Я подошелъ, увидавъ нѣсколько стоявшихъ въ кучкѣ хатокъ, въ числѣ которыхъ была одна панская, —никакъ не думая, чтобъ хозяинъ былъ дома; я обошелъ кругомъ и все глядѣлъ. Вотъ этотъ знаменитый въ свое время садъ, или остатки его; среди общей тишины въ немъ раздавался унылый и одинокій стукъ сѣкиры, и широколиственный кленъ, который рубили подъ самый корень, въ справедливомъ негодованіи своемъ потряхивалъ при каждомъ ударѣ животрепещущей вершиной. На задахъ я узналъ обнесенное когда-то канавой мѣсто, гдѣ была пасѣка. Овинъ осѣлъ и развалился; отъ кошары остались однѣ развалины; на конюшнѣ и сараяхъ солома взвалена была ворохомъ, стогомъ, чтобъ какъ-нибудь прикрыть течь; въ домѣ окна и двери покосились; крылечный навѣсъ, гдѣ въ замѣчательную годину стоялъ генеральный судья, былъ

подпертъ по серединѣ суковатымъ столбомъ, а вокругъ все поросло крапивой, бѣленой, дурманомъ, паслёномъ и лопушникомъ.

«Постоявъ нѣсколько времени и не видя ни души въ домѣ, я рѣшился взойти на крылечко; осмотрѣвъ его, я тутъ только сталъ прислушиваться къ тихому, стройному напѣву въ два женскіе голоса, при какихъ-то частыхъ и глухихъ ударахъ подъ мѣру веселенькой украинской пѣсни. Я прислушался — мнѣ стало такъ весело и грустно, что я отворилъ тихонько двери изъ сѣней въ комнаты и вошелъ. Прямо передо мною сидѣла молоденькая, миловидная барышня, у которой, при обыкновенномъ въ новѣйшее время домашнемъ барскомъ платьѣ, вкругъ головы положены были скипдачки, ленты, по обычаю поселянокъ, и по обѣ стороны заткнуто по доброму пучку полевыхъ цвѣтовъ. Она стоя пахтала масло и чистымъ голосомъ припѣвала; а вторила ей убранная такимъ же образомъ, но въ деревенской одеждѣ, дѣвка, которая готовила и переставляла посуду.

«Я остановился въ недоумѣніи и въ первую минуту не зналъ, кого я вижу передъ собой, и какъ заговорить. Но барышня, улыбнувшись, поклонилась мнѣ, передала работу свою проворно дѣвкѣ, а сама, подошедши нѣсколько шаговъ; спросила: кого вамъ угодно? На лицѣ ея видно было маленькое, очень пріятное по выраженію замѣшательство, что де чужой человѣкъ засталъ ее такимъ образомъ врасплохъ; а изъ улыбки этой также видно было, что дѣвица была бы готова объяснить сейчасъ, въ оправданіе свое, какъ и отъ чего все это случилось.

«Я извинился, сказалъ прямо, что, будучи на охотѣ, хотѣлъ взглянуть на хуторъ генеральнаго судьи и, полагая найти его нежилымъ, осмѣлился войти. Слова мои ее одушевили; она взглянула смѣлѣе, сказала, что

такое уваженіе къ предкамъ должно быть пріятно и потомкамъ, что отчимъ ея уѣхалъ въ городъ, за дѣломъ, а матушка отдыхаетъ. — Извините,—прибавила она:—вы меня застали среди хозяйства, которымъ я забавляюсь; мы здѣсь только на время. — Въ эту минуту только она вспомнила о головномъ уборѣ своемъ, который былъ ей удивительно къ лицу и зарумянившись мгновенно сорвала его съ головы, кинувъ пучки цвѣтовъ и сказавъ: — Ахъ Боже мой! а про эту шалость я и забыла...

«Я продолжалъ разговоръ о предкахъ, о любопытствѣ моемъ и участіи — перешелъ къ потомкамъ, изъ которыхъ иные, повидимому, также заслуживали моего вниманія. Она довѣрчиво слушала меня, потомъ просила садиться; или, сказала она, не угодно ли пройтись въ садъ—онъ посаженъ еще генеральнымъ судьей—а маменька скоро встанетъ; не уходите, пожалуйста, я тогда тотчасъ пошлю просить васъ въ комнату; выпейте у насъ чашку чаю или скушайте послѣ прогулки, тарелку моей простокваши... маменька вѣрно рада будетъ сосѣду, хоть и не совсѣмъ близкому...

«Я проходилъ съ полчаса въ саду въ чрезвычайно счастливомъ расположеніи духа и погрузился, какъ ребенокъ, до того въ старину нашу, что грезилъ Богъ вѣсть какими сказками. Подошедши къ мужику, который рубилъ вѣковое кленовое дерево, я тутъ только допросился, у кого я въ гостяхъ. Когда же узналъ, что видѣлъ передъ собою правнуку генеральнаго судьи и говорилъ съ нею, а она такъ мило и такъ умно отвѣчала, то я почти заплакалъ отъ грусти, что она сняла съ себя скиндячки и пучки цвѣтовъ, что впередъ будетъ ходить безъ нихъ.

«Мать приняла меня безъ радости, безъ печали и безъ всякаго участія; но въ равнодушіи ея не было замѣтно никакого неудовольствія. Посѣщеніе сосѣда

было дѣломъ обыкновеннымъ; участіе его къ знаменитымъ предкамъ владѣльцевъ сблизило насъ—и если мать была къ этому довольно ровнодушна, то тѣмъ милѣе казалась мнѣ умненькая дочь, и я съ какой-то грустію прислушивался къ рѣчамъ ея. При прощаніи Надя, какъ называла ее мать, обратилась къ ней вслухъ съ вопросомъ, можно ли просить меня быть знакомымъ впередъ: онъ вѣдь сосѣдъ нашъ,—сказала она. Мать плавно покачнулась, поддакнула, проговоривъ: «какъ же! прошу покорно, милости просимъ», — и я побрелъ на сборное мѣсто къ товарищамъ.

«Они нашли меня какъ-то замысловатымъ; я же самъ собой былъ доволенъ какъ нельзя лучше, хотя и самъ не зналъ, за что считалъ себя какимъ-то избраннымъ счастливцемъ, и глядѣлъ на товарищей снисходительно и добродушно. Я посѣтилъ такъ называемыхъ сосѣдей своихъ въ теченіе лѣта еще нѣсколько разъ, познакомился съ вотчимомъ Нади, который показался мнѣ съ перваго раза вовсе не тѣмъ, чѣмъ послѣ; вскорѣ я поѣхалъ въ Москву, гдѣ надѣялся возобновить знакомство это, благословляя родину свою болѣе, чѣмъ когда либо прежде.

«Да, благословенная Украйна! какъ бы тамъ ни было —а у тебя за пазушкою жить еще можно. Гдѣ только сѣлъ человѣкъ на материнскихъ персяхъ твоихъ и слѣпилъ себѣ хатку, тамъ сама природа привѣтствуетъ укромное жилье его роскошными травами и цвѣтами, которыхъ сѣменами незримо упитана вся почва и ждетъ только, чтобъ къ ней прикоснулся съ легкой руки человѣкъ. Огромные стебли голубыхъ петровыхъ батоговъ, золотистаго коровяка, красной какъ макъ рожи, темнаго царь-зелья съ синими колпачками и красиваго, хоть и колючаго будяга, подымаются вкругъ одинокаго хутора; лиловые пахучіе васильки, чебрецъ, пуговки, горошекъ, дрокъ, медница проростаютъ сквозь

густой пырей и буркунецъ; рута, шавлій, мяты разныхъ родовъ и пахучія, душистыя зелья колышатся по вѣтру; тутъ и тамъ вдалекѣ стоитъ кустъ съѣдомаго катрана. Оглобля, брошенная на землю, за ночь заростаетъ травой; каждый прутъ, воткнутый мимоходомъ въ тучный черноземъ, даетъ вскорѣ тѣнистое дерево. Какъ сядешь на одинокій курганъ, да гляпешь до конца свѣта—такъ бы и кинулся вплавь по этому волнистому морю травъ и цвѣтовъ—и плылъ бы, ушиваясь гуломъ его и пахучимъ дыханіемъ, до самаго края свѣта!

«Унылы и докучливы почернѣвшія отъ времени сосновыя избы, всѣ въ одну, съ однимъ краснымъ и съ однимъ волоковымъ окномъ, съ высокимъ заборомъ, досчатыми тюремными воротами подъ шатромъ, гдѣ на всемъ селѣ нѣтъ ни прута, ни былинки зелени. Нужда укроется подъ этою кровелькою, которая мрачна, несмотря на рѣзныя полотенца свои и вычурно-расписанные наоконники; но простодушная улыбка и покойное довольство рѣдко заглянутъ сюда, а пойдутъ искать другаго пріюта. Переночуйте зимою въ этой избѣ, что вы увидите, кромѣ грязи и таракановъ? До разсвѣта просыпается бранчивая старуха и, не сходя съ мѣста, начинаетъ будить заспавшихся золовокъ, чтобъ шли доить коровъ; принесли дровецъ, засвѣтили лучину—пора топить печь: ужь углы за ночь промерзли. Начинается брань и перекоры между свекровью и золовками: «не моя очередь—и не моя—нѣтъ, твоя»... Просыпаются мужики, и каждый изъ нихъ, проговоривъ съ просонья хозяйкѣ своей привѣтствіе, отъ котораго бѣжалъ бы за тридевять земель, спроваживаетъ бабу свою на работу по хозяйству. Тутъ очереди опять перебились, и на завтра готовятся тѣ же перекоры. Потягота, зѣвота, вздохи, охи, отрыжка—одолѣваютъ возставшихъ отъ сна. Засвѣтили лучину, затопили печь

—и дымъ пошелъ по избѣ въ три коромысла... три мужика сидятъ на печи и чешутся вслухъ; нѣсколько незримыхъ глотокъ зѣваютъ взапуски, самымъ заунывнымъ напѣвомъ. Мужики на печи начинаютъ мотать онучи свои—и онучамъ нѣтъ конца: имъ законная мѣра семь аршинъ, да ину-пору еще семи-аршинныя подвертки на прибавку. За онучами слѣдуютъ лапти, высушенные за ночь въ сухарь — и тутъ съ обычными приговорками, для облегченія труда, начинаютъ мотать вкругъ ногъ оборы, которыя мѣряются уже не аршинами, а маховыми саженями; по промежуткамъ зѣваютъ отчаяннымъ голосомъ, будто часовые, разставленные одинъ отъ другого на полверсты, другъ друга окликаютъ; опять скребутся, изрѣдка молвятъ слово къ слову—и опять принимаются мотать. Глядя на это, подумаешь, что лѣшій обошелъ, что заговореннымъ оборамъ точно нѣтъ конца, что конецъ отрѣзали, да закинули.

«Легіоны таракановъ и пруссаковъ также просыпаются, и когда мужики, зѣвнувъ, пробавляются молчанкой, то шелестъ отъ жесткихъ ногъ этихъ тварей слышенъ по всей избѣ. Они ползутъ со всѣхъ сторонъ въ средній поясъ этого искусственнаго климата: снизу выживаетъ ихъ стужа, а сверху дымъ; на рубежѣ этихъ стихій домашняя скотинка смирно усаживается, поводитъ усиками и чинно ждетъ привычной перемѣны климата, когда печь истопится и дверь опять притворится.

«Дымъ донимаетъ однакоже мужиковъ и они, кряхтя, лѣзутъ съ печи; дверь и воловое окно растворили, и наша горница съ Богомъ не спо́рится: одна погодка, что въ избѣ, что на дворѣ.

«Просыпаются ребятишки на полатяхъ: дымъ глаза выѣлъ. Они начинаютъ кашлять, чихать, кряхтѣть, а потомъ понемногу и ревѣть, кто сипло, кто позвуч-

нѣе. Подъ ногами у васъ толпятся свиньи, телята, поросята и также хрюкаютъ и ревутъ, кто во что́ гораздъ. Коровъ нѣтъ въ избѣ, истинно по той только причинѣ, что тѣсно, некуда ихъ поставить. Ребятишкамъ слѣзть съ полатей не хочется—холодно; поэтому свѣшиваютъ они свои кудлатыя головы съ полатей и глядятъ изъ густаго дыма, ровно съ облаковъ, пробиваясь носомъ на просторъ.

«Печь затопили. Что же теперь хозяйка станетъ готовить? Да ничего; развѣ *пустыя* щи, толокна затретъ. Овощей своихъ и заготовленной впрокъ зелени, плодовъ—ровно ничего; есть ли, нѣтъ ли капусты, да и та покупная. Птицы дворовой нѣтъ: въ цѣломъ селѣ, у пономаря курочка, да у старосты пѣтушокъ. Все не на что обзавестись, да некогда за нею ходить. Щи съ мясомъ, пирогъ, кулебяка, даже порядочная каша съ масломъ—это роскошь сказочная, рѣдкое исключеніе изъ общаго правила, и развѣ найдется у крестьянъ промышленныхъ. Грязь одолѣла — нельзя же, все въ работѣ; баня — одна отрада; не будь ея, такъ народъ поросъ бы мохомъ и папороникомъ.

«А бѣлая, мазаная хатка подъ вербами, плетень или камышевый низенькій тынъ и такія же ворота? Все видно, что дѣлается на дворѣ, все весело, уютно; садъ и огородъ при каждомъ дворѣ; хаты не лѣпятся сплошь, одна къ другой и зубъ въ зубъ, а каждая отставлена и отдѣлена дворомъ, огородомъ, покрыта также соломой, но не походитъ на безобразную копну, на которую каждую осень набрасываютъ еще по три воза соломы, накрывъ ее жердями или хворостомъ, а крыта гладко, ровно, со стрѣхой въ обрубъ. На кровлѣ бѣлая труба, два оконца на улицу, два на дворъ, дверь и окна обведены по бѣлому полю каймой изъ желтой глины, въ палисадничкѣ бархатки, шапочки, ноготки, подсолнечники, пшенка,—а тамъ груши, сливы, яблоки,

вишни, черешни; казакъ, вышедъ, пѣсню запѣлъ о Богданѣ, о тарани, о томъ, что его дождь смочитъ, буйны вѣтры высушатъ, тернъ колючій вычешетъ... о гетманщинѣ, о битвахъ съ ляхами, да съ татарами, о братьяхъ въ Карпатахъ... Зайдите въ хату: ни одна хозяйка вамъ не повѣритъ, что есть такіе мужички, которые живутъ въ одной избѣ со свиньями и телятами. Все бѣленько; скрыня въ углу на колесахъ, печурки и заломчики въ стѣнахъ; все приглажено, примазано; битый полъ усыпанъ мятой, чебрецомъ, рутой, нечуйвѣтромъ, васильками; въ углу стоитъ свѣжій полынковый вѣникъ; таракановъ не знаютъ и по кличкѣ: хозяйка и дочка ея въ бѣлыхъ сорочкахъ; дѣвки съ утра убрали голову цвѣтами: такъ онѣ и на работу пойдутъ, такъ и домой придутъ, съ пѣснями, а въ полѣ еще и свѣжими цвѣтами позаквичаются. Хозяйка варитъ; горячее не только каждый день, но къ обѣду и къ ужину гуси, куры, утки, индѣйки на каждомъ дворѣ; безъ этого мужикъ не хозяинъ. Въ борщъ идетъ всякое мясо, всякая живность: тамъ не знаютъ этихъ предразсудковъ тупоумія, чтобъ грѣшно было ѣсть зайца, грѣшно есть теленка, голубей, а борщъ съ голубями—блюдо хоть куда. А не то, борщъ съ саломъ, каша съ масломъ, и масло не прогорклое и топленое, а свѣжее, пахтанное. Пришло лѣто, и овощей огородныхъ, плодовъ всякаго рода въ волю: это не покупное, а у всякаго подъ рукой свое. Народъ лѣнивый, любитъ полежать въ просѣ на печи, а достаетъ же времени, чтобъ и съ пашнею управиться, и приглянуть за огородомъ. Да какъ же хохолъ и будетъ жить безъ огорода? Онъ года не проживетъ безъ цвѣтовъ, не только безъ пшенки, огурцовъ и арбузовъ! Онъ къ цвѣтамъ привыкъ; посмотрите, что онъ коситъ: трава по поясъ, и цѣлое море цвѣтовъ,—все это колышется волной по вѣтру, дальше, дальше, до самаго небо-

склона — все это пахнетъ, душитъ; какъ станешь на курганѣ, да поглядишь, да станешь слѣдить глазами волну за волной, такъ самаго укачаетъ, ляжешь и уснешь!

«Сосна, сосна, ёлка и болото; береза, береза, осина и опять ёлка, и опять болото; на рѣдкость развѣ еще орѣшникъ, да песокъ. А у насъ? клёнъ, берестъ, черноклёнъ, грабина, ясень, тополь, грецкій орѣшникъ, каштанъ, вишня, слива, груша, яблоня, шелковица... да нѣтъ имъ конца, коли все считать, что растетъ; все есть; не отказывается, спасибо, земля ни отъ чего, все принимаетъ и все отдаетъ съ лихвою! А напитки! тамъ—квасъ, что рыло отъ него на сторону воротитъ, да изрѣдка развѣ на свадьбу, либо въ годовой престольный праздникъ брагу сварятъ, либо сусло, бузу, и называютъ это пивомъ; а нынѣче и этого нѣтъ—пей воду у откупщика! А у насъ? сколько корчемъ стоитъ, столько сортовъ пива и меда; сколько есть на свѣтѣ ягодъ и плодовъ, столько наливокъ... Наливка сладкая, мягкая, непьяная, бархатная, однѣ только ягоды пьяныя остаются, на лакомство дѣвкамъ, въ праздничный день. А какъ арбузы поспѣютъ, такъ и пива и меду не надо!

«Пойдутъ ваши въ праздникъ гулять—что есть денегъ у мужика, все разомъ въ кабакъ, а не стало, такъ заложилъ еще кафтанъ. Выпилъ штофъ бычкомъ, не отымая отъ губъ, свалился въ канаву—тутъ и лежитъ безъ просыпа, до будня, коли бабы не отволокутъ домой, натолкавъ порядкомъ бока, обрадовавшись, что по силамъ человѣка нашли. Кромѣ сивухи — пригорѣлой, разсыропленной, нѣтъ ничего, хоть не спрашивай, и мужику души отвести съ горя и съ радости не надъ чѣмъ. А тамъ? тамъ гуляка спроситъ пива, меду, сливянки, вишневки — отвѣдаетъ, да еще и выплюнетъ — не хороша, подай прошлогодней терновки; пьетъ и причмокиваетъ, сядетъ, наговоритъ, наска-

жетъ съ три короба — слушай не слушай, ему все одно. Выпьетъ стаканчикъ, прикинувъ на свѣтъ, обругаетъ жида, оближется; тамъ онъ оглядывается, нѣтъ ли слѣпаго гусляра, бандуриста, кобзаря, сажаетъ его, потчуетъ и чествуетъ; кружокъ собирается, заставляютъ спѣть про гетманщину, сказать похвалку послѣднему гетману, какъ промѣнялъ онъ казачій жупанъ на французскій *шпалерный* кафтанъ, какъ поголовщина поднялась на католиковъ, которые русскую вѣру продали жидамъ... насмѣется гуляка нашъ и наплачется, поцѣлуется и обнимется со всѣми, и пойдетъ домой на своихъ ногахъ; развѣ шапку только, коли она новая, понесетъ въ рукахъ или положитъ за пазуху, чтобъ не потерять...».

## VIII.

## ГРИГОРІЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ.

Въ одномъ изъ домовъ, принадлежащихъ къ кругу знакомствъ Григорія Алексѣевича въ Москвѣ, затѣяли дать маскарадъ, на подгорной, прекрасной дачѣ. Это былъ день домашняго праздника, и согласились устроить все тайкомъ отъ отца, или покрайней мѣрѣ скрыть отъ него, для нечаянности, приготовленія къ маскараду. Я былъ принятъ въ домѣ Ахтубинскаго, какъ землякъ и свой, и не только былъ безъ ума отъ Нади, но видѣлъ и въ родителяхъ ея необыкновенно достойныхъ людей. Какими глазами на что взглянешь, то и видишь. Мнѣ досталось совѣтовать Надѣ, какъ ей одѣться и отчасти помогать ей при этомъ; вспомнивъ первую встрѣчу нашу, я предложилъ ей одѣться украинской дѣвушкой; она охотно послушалась меня, была очень довольна этой выдумкой, пригласила еще въ товарки

подругу и стала готовить уборъ и платье. Мать на все это смотрѣла равнодушно, она, казалось, не принимала въ этомъ большого участія, не показала ни охужденія, ни одобренія, а лѣниво улыбаясь была довольна всѣмъ, что ей показывали. Между тѣмъ, Украйна оставила въ ней, однакоже, кой-какія воспоминанія, и Анна Герасимовна, при всемъ безстрастіи своемъ, казалось, иногда глядѣла на наряды наши не безъ удовольствія. Вдругъ Надѣ пришло въ голову, что было бы прекрасно составить полную кадриль въ украинской одеждѣ; пріискали тотчасъ же еще двухъ подругъ и четырехъ мужчинъ, въ числѣ которыхъ, само собою разумѣется, былъ и я, взявъ на свою долю Надю. Все шло весело, прекрасно; мы сдѣлали старинные чапаны съ откидными рукавами, шаровары и цвѣтные сапоги, шелковые пояса, бритыя головы съ оселедцами и смушковыя высокія шапки; дѣвицы были въ цвѣтныхъ плахтахъ и запаскахъ, въ корсетахъ или шугайчикахъ, въ монистовыхъ ожерельяхъ и въ прическѣ съ лентами и цвѣтами. Кадриль эта чрезвычайно понравилась всѣмъ и обратила на себя общее вниманіе; а мы были вполнѣ счастливы и довольны. Мы также думали, что доставимъ этою невинною шуткою удовольствіе Григорію Алексѣевичу, и безъ этой увѣренности я, конечно, никогда бы не вмѣшался въ дѣло.

Вышло не такъ. Григорій Алексѣевичъ былъ непріятно пораженъ при первомъ взглядѣ на нашу кадриль. Всѣ ухаживали около насъ, улыбались, радовались и тѣшились, а онъ, нахмуривъ брови, отошелъ въ сторону, не давъ никому привѣта, поглядывалъ издали съ какимъ-то безпокойствомъ на дочь, отвѣчалъ сухо тѣмъ, которые думали польстить ему похвалой красотѣ и статности Нади — сказалъ раза два что-то суровое на ухо женѣ, и наконецъ приказалъ дочери тотчасъ переодѣться. Мы не успѣли оглянуться, какъ она явилась‘

нѣсколько смущенная, въ бальномъ платьѣ своемъ, а мы, прочіе, поглядѣвъ другъ на друга и перемигнувшись, сочли также за лучшее убраться домой.

Эта ничтожная и невинная шутка возстановила Григорія Алексѣевича противъ меня до такой степени, что побывавъ у него раза два послѣ того въ домѣ и вымоливъ у Нади признаніе, чѣмъ мы могли огорчить отца, я принужденъ былъ вовсе отказаться отъ знакомства съ этимъ домомъ, и отъ прежнихъ столь дорогихъ для меня посѣщеній. Надя не могла сказать мнѣ ничего болѣе, какъ что Григорій Алексѣевичъ былъ очень сердитъ на всѣхъ насъ, особенно на меня, какъ на зачинщика; находилъ мужицкіе наряды наши чрезвычайно неприличными, потому-де, что дочь его не какая-нибудь Марѳушка или Оксанка, а дочь чиновнаго человѣка, дворянина русскаго, который живетъ въ свѣтѣ, въ связяхъ и случаѣ. Со стороны услышалъ я то же, и притомъ въ выраженіяхъ, показывавшихъ степень образованія и свѣтской вѣжливости Григорія Алексѣевича: «что за маскарадъ», говорилъ онъ: «рядить дочь мою въ мужицкое платье? Если это такъ нравится Горностаю (то есть, мнѣ), то пусть бы онъ въ зипунѣ своемъ или свиткѣ пожаловалъ въ гости ко мнѣ въ людскую; тамъ бы ему больше обрадовались».

Словомъ, эта ничтожная и невинная затѣя сдѣлала меня ненавистнымъ Григорію Алексѣевичу; а когда Анна Герасимовна, сдуру какъ съ дубу, не замышляя ничего дурнаго, сказала для успокоенія мужа, что, можетъ статься-де, Андрей Ефимовичъ думаетъ посвататься къ Надѣ, не брани его,—то Григорій Алексѣевичъ поднялъ такой крикъ, что дворня сбѣжалась подслушивать у дверей: я-де его знать не хочу; много такихъ дармоѣдовъ и молокососовъ по свѣту шатается; утоплю дочь, а за него не отдамъ; что я развѣ для этого ее выростилъ и выкормилъ, и воспиталъ? Развѣ

камень на шею да въ воду? Что онъ у меня богадѣльню что ли нашелъ? Я ищу зятя съ именемъ, съ чиномъ, при мѣстѣ, съ состояніемъ и проч.

Изъ всего этого видно, что мнѣ у Григорія Алексѣевича ни искать, ни надѣяться было нечего. Онъ, разсчитывавшій все на счетъ, на вѣсъ и на мѣру, обсуждавшій каждый встрѣчный предметъ и каждый случай жизни, какъ ступень или степень для достиженія разныхъ житейскихъ цѣлей, — онъ смотрѣлъ, конечно, и на дочь или падчерицу свою, какъ на средство, предполагалъ пріобрѣсти черезъ нее или хорошее состояніе, или же ходъ и покровительство.. вотъ куда мѣтилъ Григорій Алексѣевичъ!

Покинувъ безъ надежды домъ Ахтубинскаго, гдѣ я встрѣтилъ было новую жизнь и откуда снова низринутъ былъ въ свое ничтожество, я сдѣлалъ это такъ, чтобъ по возможности устранить отъ этого случая вниманіе празднаго свѣта, для котораго нѣтъ случая столь ничтожнаго, чтобъ не удостоиться его кривотолковъ и пересудовъ. Я былъ свободенъ, и потому рѣшился исполнить давнишнее намѣреніе свое—поѣхать по Россіи. Нѣсколько времени спустя, я нечаянно встрѣтился съ немилостивцемъ своимъ и еще положительнѣе убѣдился, что мнѣ къ нему нѣтъ приступа ни съ какой стороны. Онъ съ трудомъ рѣшился узнать меня, и то для того только, чтобъ ни за что, ни про что обойтись со мною высокомѣрно и грубо, а затѣмъ еще отозваться обо мнѣ на сторонѣ самымъ дурнымъ образомъ.

Но этого всего мало. Пожертвовавъ всѣмъ счастьемъ моимъ безразсудному упорству Григорія Алексѣевича, я не могъ упрекнуть себя ни въ чемъ; не моя вина, если дочь его была, въ глазахъ моихъ, достойнѣе и милѣе другихъ дѣвицъ; но я не завлекалъ ее ничѣмъ, не говорилъ ей ни одного слова, которое бы переступило границы обыкновенныхъ и общедозволенныхъ

сношеній. Несмотря на это, я удостовѣрился вскорѣ поневолѣ, что Надя была мнѣ родная по душѣ и скучала по мнѣ почти столько же, какъ и я по ней.

Собравшись уже совсѣмъ ѣхать, послѣ ярмарочныхъ приключеній моихъ, вмѣстѣ съ благороднымъ Андреемъ Алексѣевичемъ, я пошелъ, отъ нечего дѣлать, еще разъ по ярмаркѣ. Я ходилъ съ покойнымъ, веселымъ духомъ, размышлялъ объ этой странности, что, находясь теперь въ одномъ городѣ съ Надей, я, однакожъ, съ нею не увижусь, и она не узнаетъ ничего о близости моей,—какъ вдругъ опять съ нею встрѣтился такъ близко и такъ внезапно, что не было возможности во время скрыться. Почти столкнувшись, мы оба вдругъ одинъ на другаго взглянули—я молча поклонился, она ахнула и съ живостію обратилась къ матери. Я не могъ уже отъ нихъ отстать на этомъ пути; Надя звала меня съ дѣтскою радостію, Анна Герасимовна безчувственно улыбалась и такжа приглашала.

Въ раздумьѣ шелъ я съ ними рядомъ, среди озабоченной толпы, и малословные отвѣты мои не удерживали Нади отъ настойчивыхъ вопросовъ, отъ желанія завязать откровенную бесѣду.

— Что вы такъ вялы сегодня? — сказала она, между тѣмъ, какъ мать не обращала на насъ никакого вниманія—что вы такъ смирны и тихи?

— Это не притворство, — отвѣчалъ я: — видно у меня таково на душѣ—смирно и тихо.

— Но, Боже мой, я такъ вамъ обрадовалась—я думала, что и вы также будете намъ рады...

— Еслибъ и могъ радоваться безотчетно, то вы бы, конечно, увидѣли теперь во мнѣ одну только радость; а теперь—это чувство можетъ быть смѣшанное.

— Но зачѣмъ, почему же это? что съ вами случилось?

— Со мной—ничего; покрайней мѣрѣ, все, что со мной случилось, въ эту минуту нисколько не отзывается въ душѣ моей.

— Такъ что же? говорите.

— Говорить ли, Надежда Григорьвна? хорошо ли, что вы меня на это вызываете—и теперь, въ эту минуту, когда короткое свиданіе наше промелькнетъ зарницей?...

Она молчала, немного зарумянилась и сказала съ небольшимъ замѣшательствомъ:—Я не знаю; можетъ быть, вы правы—хотя я и не понимаю васъ—но разскажите, покрайней мѣрѣ, что нибудь о себѣ: какъ вы попали сюда и что дѣлаете?

— Я поѣхалъ знакомиться съ Русью—посмотрѣть, что тутъ и тамъ дѣлается, какъ живутъ люди; заѣхалъ сюда—и вотъ тутъ опять встрѣтилъ васъ!

— Но вы вѣдь не хотѣли объ этомъ говорить, кажется; говорите жъ о другомъ, о себѣ!

— Извольте: недобрые люди меня обокрали, а добрая судьба подарила...

— Чѣмъ?

— Свиданьемъ съ вами

— Опять тоже! Вы упрямы!

— Не думаю; я только прямъ. Но извольте, я скажу вамъ еще что нибудь о себѣ: я васъ видѣлъ уже третьяго дня.

— Какъ? гдѣ?

— Здѣсь, въ красныхъ рядахъ: вы одарили дѣвушекъ своихъ, а мнѣ не дали ничего.

— О, какіе вы! неужели видѣли? и не подошли, и не сказали ни словечка—и такъ бы мы и разъѣхались не видавшись!

— Вотъ видите ли, каковъ я,—разсудите только, прямота это или упрямство?

— Но прежде вы не бѣгали отъ меня; послѣ слу-

чайной, первой встрѣчи нашей, когда я была такъ смѣшна въ шуточномъ нарядѣ своемъ—помните, когда вы меня застали...

— О, я это помню, помню, можетъ быть, слишкомъ хорошо; но это упрямая память сердца; въ этомъ отношеніи я упрямъ, вы правы: эта-то память и гонитъ меня отъ васъ.

Она молчала. Анна Герасимовна не заботилась о насъ, и мы уже подходили къ ихъ жилищу. Я видѣлъ необходимость кончить дѣло разомъ, и потому продолжалъ:—Я не смѣю и не хочу спрашивать, какъ и что вы обо мнѣ думаете, вы добры ко всѣмъ и, можетъ быть, добры также ко мнѣ; но батюшка вашъ не желаетъ меня видѣть у себя въ домѣ, не желаетъ знакомства вашего... я не хочу нарушать ничьего семейнаго покоя... вотъ вамъ Надежда Григорьевна, моя исповѣдь, разгадка моего поведенія.

— И вамъ это такъ легко?—спросила она, помолчавъ немного, едва внятнымъ голосомъ.

— Что?

— То, что вы говорите, ваше самоотверженіе.

Сколько я ни думалъ впослѣдствіи объ отвѣтѣ моемъ на это слово, сколько ни старался припомнить его, всегда одно только мутное и запутанное воспоминаніе, какъ греза во снѣ, представлялось моей памяти и дополнялось уже воображеніемъ. Не измѣнившись по наружности, какъ мнѣ казалось, нисколько, я, однакожъ, почувствовалъ въ себѣ такой переворотъ, отъ котораго умственныя и нравственныя силы души смѣшались въ одно, и я не могъ самъ въ себѣ опознаться. Я проговорилъ что-то безсознательно, будто въ разсѣянности подумалъ о чемъ-то вслухъ, опомнился и остановился, не договоривъ рѣчи и самъ не зная, что я сказалъ. Но отвѣтъ мой подѣйствовалъ сильно; я встрѣтилъ влажные глаза Нади и выра-

женіе въ лицѣ, котораго никогда не забуду. Вѣроятно, и мои сѣрые глаза сдѣлались въ то время для нея краснорѣчивы, или слова ея служили прямымъ отвѣтомъ на мою безсвязную думу вслухъ, но она прошептала: «если такъ, то не покидайте же меня».

Я не успѣлъ пролепетать ни одного слова: такъ быстро и внезапно она вслѣдъ затѣмъ продолжала вслухъ, оборотясь нѣсколько къ матери:—Какая пестрая, подвижная толпа, какая жизнь и движеніе—я и въ столицахъ не видала ничего подобнаго! Ахъ, посмотрите, маменька, какой несчастный калѣка: безъ ногъ! позвольте мнѣ...—и въ ту же минуту она проворно подбѣжала къ нищему, кинула ему въ шапку крупную серебряную монету и примкнула къ матери уже съ другой стороны, такъ что оставила ее между мною и собою, тогда какъ мы шли дотолѣ рядомъ. Она внезапно сдѣлалась весела и шутлива, какъ будто ей стало легко на сердцѣ, и предалась вполнѣ какому-то внутреннему влеченью, обезпечивъ себя подъ крыломъ у матери.

Когда мы подошли ближе къ жилью Григорія Алексѣевича, меня внезапно бросило въ холодный потъ. Все мое безотчетное наслажденіе и миръ въ душѣ моей рушились; я не зналъ, что дѣлать: встрѣча съ нимъ не обѣщала ничего добраго, а оставить ихъ послѣ остывшихъ въ моихъ ушахъ словъ Нади: «не покидайте же меня!»—на это у меня не доставало силъ. Мнѣ даже казалось, что это было бы и невѣжливо. Видя, однакожь, необходимость разлуки и твердо рѣшаясь на нее въ душѣ, я не менѣе того шелъ впередъ, не доискиваясь ни повода, ни слова, какъ отстать отъ матери и дочери; я не успѣлъ опомниться, какъ мы подошли къ крыльцу, и Анна Герасимовна, по самой обыкновенной свѣтской вѣжливости, вымолвила: «милости просимъ зайти». Надя взглянула на

меня привѣтливо, и я послѣдовалъ молча за нимъ. Но когда я переступилъ этотъ роковой порогъ, мною также внезапно овладѣла рѣшимость переговорить съ Григоріемъ Алексѣевичемъ откровенно и кончить, во что бы ни стало и какъ бы ни было, дѣло. Я почти далъ себѣ клятву не выходить безъ того изъ-подъ этой крыши. У меня, послѣ этой рѣшимости, какъ гора съ плечъ свалилась, и на душѣ стало спокойнѣе.

Григорій Алексѣевичъ, встрѣтивъ меня такъ нечаянно у себя въ домѣ, показалъ болѣе удивленія, чѣмъ неудовольствія, хотя я и не могу сказать, чтобъ замѣтилъ при этой встрѣчѣ хотя малую долю привѣтливости. Онъ, казалось, крѣпко былъ занятъ своими оборотами, имѣніемъ, которое купилъ безъ копѣйки денегъ, принявъ на себя долгъ и обязательство уплатить остатокъ цѣнности его, по уговору, въ извѣстные сроки. Вступивъ также въ товарищество недавно образовавшихся въ то время обществъ золотопромышленниковъ на Уралѣ, передавъ по какимъ-то сдѣлкамъ, черезъ третьи руки, созданные на бумагѣ залоги винным откупщикамъ, съ надеждой на высокій куртажъ, и пустившись въ одно и то же время еще въ нѣсколько подобныхъ предпріятій, Григорій Алексѣевичъ былъ увѣренъ, что вскорѣ зашибетъ порядочную копѣйку, выкупитъ имѣніе и заживетъ нижегородскимъ помѣщикомъ.

Разговорившись со мною, ради приличія, и узнавъ, что я ѣзжу по Россіи отъ нечего дѣлать, Григорій Алексѣевичъ вдругъ перемѣнилъ свое обращеніе со мною и сдѣлался какъ-то чрезвычайно привѣтливъ. Мы сидѣли у окна; онъ сталъ съ какимъ-то особеннымъ участіемъ входить въ подробности моего положенія, моихъ видовъ и намѣреній, и я тотчасъ понялъ, что это не даромъ, что мнѣ должно быть на сторожѣ. Лицо его мало измѣнилось и ничего не открывало на-

блюдателю; но въ этомъ чрезвычайно дружескомъ обращеніи видна была какая-то торопливость, волненіе, а глаза высказывали какую-то скрытную, задушевную тайну. Глаза у Григорія Алексѣевича загорались при такихъ случаяхъ особеннымъ блескомъ и бѣгали въ ямкахъ своихъ во всѣ стороны, не останавливаясь ни на одномъ предметѣ.

— Похвально, — сказалъ онъ мнѣ: — весьма похвально; для молодого человѣка нѣтъ ничего лучше и дороже путешествія — это, знаете, какая полировка, это мать-наставница, это ухъ!!—и провелъ рукою по всему подоконнику и потрепалъ меня по плечу.—Да не угодно ли трубочки?—продолжалъ онъ:—эй, мальчикъ, трубку! пожалуйте, пойдемте въ мою конурку, отдохните на распашку. Жарко; побалагуримъ тамъ... а подайте-ка намъ рюмку вина! Анна Герасимовна, распорядись-ка!

Я слушалъ и не вѣрилъ ушамъ своимъ, не понимая съ чего хозяинъ мой такъ расходился; я прибиралъ въ умѣ всѣ сбыточныя и несбыточныя причины и поводы къ тому, но совершенно растерялся и не могъ ничего придумать. Мы вошли въ его комнату и сѣли, притворивъ двери. Подали трубокъ, вина и лимонаду. Я готовился на что-нибудь чрезвычайное.

— Такъ у васъ, почтеннѣйшій, видно, охотишка есть-таки пространствовать,—сказалъ онъ:—а?

— Есть,—отвѣчалъ я:—и, признаться, была всегда. Теперь я свободенъ, кончилъ ученье; поѣзжу, пріуготовлюсь и тогда—что Богъ дастъ.

— Такъ чтобы вамъ пространствовать этакъ подалыпе куда-нибудь, за моря-окіаны, въ тридесятое царство, знаете? Люди и бытъ, и жизнь, и всѣ предметы новые, все занимательно, ново; во всемъ, что насъ окружаетъ, яркій отпечатокъ мѣстности, нравовъ, обычаевъ, климата, — словомъ, всей природы;

вотъ что для молодого человѣка должно быть пріятно!

— Почему не такъ, конечно; но я на первый случай избралъ для этого свое отечество; и это не дурно.

— О, да, безъ сомнѣнія; но какая разница, разсудите сами: здѣсь, что жь вы увидите? такъ называемое шоссе, тамъ опять дорога въ натуральномъ видѣ, тамъ опять что-нибудь въ родѣ того или другого; есть и березки; ровно—изба какъ изба, деревня какъ деревня, да, съ позволенія сказать, и городъ — только слава что городъ. Оно поучительно, назидательно, не спорю; но это все одно и то же. Народы —да какіе жь тутъ народы? Нѣтъ ни одного. Чувашъ что ли вы не видали, или калмыковъ? а тамъ — бедуины какіе-то, курильцы, алеуты, мальтійскіе кавалеры, людоѣды—иные нагишомъ, какъ мать на свѣтъ родила; другіе въ перьяхъ, словно павлины; третьи въ сырыхъ шкурахъ лютыхъ звѣрей, барсовъ, медвѣдей; а, говорятъ, сырая шкура такъ и пристанетъ къ тѣлу, какъ своя; да, вотъ, вы чай помните, и у насъ былъ одинъ такой случай, что сырую козлиную шкуру натянулъ на себя, да и самъ не радъ, такъ и приросла... да, такъ, что бишь я говорилъ?.. о путешествіи; какъ вы думаете объ этомъ, почтеннѣйшій Андрей Ефимовичъ, скажите-ка откровенно.

— Я думаю, что все это весьма занимательно и стоитъ любопытства,—сказалъ я, не понимая однакожъ, вовсе и не подозрѣвая, куда это ведетъ.

— Право?—подхватилъ Григорій Алексѣевичъ:— не такъ ли? Ну, а чтобы вы сказали, почтеннѣйшій Андрей Ефимовичъ, еслибъ я вамъ доставилъ чудесный случай объѣхать свѣтъ, увидѣть все, что есть на свѣтѣ, перебывать всюду вездѣ... Я васъ всегда уважалъ, какъ самого достойнаго молодого человѣка, и

всегда такъ о васъ думалъ и отзывался. Любознательность ваша меня восхищала,—право. Какъ же вы думаете объ этомъ?

— Я не знаю, Григорій Алексѣевичъ, что вамъ на это сказать; я еще покуда не понимаю вашихъ предположеній... Я вамъ во всякомъ случаѣ искренно благодаренъ и, можетъ быть, воспользовался бы этимъ; но посудите сами, дѣло слишкомъ важно; надобно узнать мнѣ впередъ всѣ подробности: какой же это случай, съ кѣмъ и куда ѣхать?

— А вотъ видите ли... я буду съ вами говорить откровенно; вы меня знаете и прямоту мою, и что у меня нѣтъ иной цѣли, кромѣ искренняго вамъ доброжелательства. Здѣсь теперь находится директоръ сѣверо-американской компаніи; имъ нужны порядочные люди. А что за страна, я вамъ скажу, такъ это чудо: какая природа, какіе люди, какія богатства... онъ, видишь ли, мнѣ свой человѣкъ; для другого бы онъ не сдѣлалъ этого—охотниковъ много, содержаніе преотличное; но для меня сдѣлаетъ: иди къ нимъ; хоть такъ прогуляться, хоть на службу, — ничего; служба прекрасная, все равно что царская.

Теперь только небосклонъ мой начиналъ проясняться. Я уже сталъ подозрѣвать, при общемъ вступленіи или предисловіи Григорія Алексѣевича, что я ему надоѣлъ и что онъ просто хочетъ сбыть меня съ рукъ; но это не вязалось со здравымъ смысломъ, не стоило такихъ хлопотъ: онъ могъ за-просто прогнать меня отъ себя, какъ и сдѣлалъ уже разъ, и я ему, конечно, не угрожалъ бы ничѣмъ. Но теперь только я сталъ догадываться, что у него на умѣ какой-нибудь замысловатый оборотецъ, что тутъ рѣчь шла не обо мнѣ собственно, а о человѣкѣ, котораго можно продать.

Чтобъ убѣдиться положительно, къ чему все это

клонится, я сталъ подаваться на это предложеніе и разспрашивать обо всѣхъ подробностяхъ. Несмотря на всю его двуличность и осторожностю, на мягкую подстилку, я открылъ вотъ что: американская компанія набираетъ, какъ извѣстно, особую команду промышленниковъ для отправленія въ Ситху, на Курильскіе и Алеутскіе острова, гдѣ они должны оставаться, по договору, извѣстное число лѣтъ, высаженные иногда на необитаемомъ островкѣ, и заниматься ловлею лисицъ, песцовъ и другихъ лѣсныхъ и морскихъ животныхъ. Кому случалось видѣть толпу подобной вольницы на походѣ изъ Россіи въ Камчатку и далѣе, тотъ знаетъ, какого закала этотъ народъ бываетъ: отчаянные ребята, которымъ почему-либо здѣсь болѣе нѣтъ житья, идущіе въ услуженіе за сто или полтораста цѣлковыхъ въ годъ на край свѣта; одѣтые обыкновенно уже здѣсь въ кожаное платье, они заблаговременно походятъ на какихъ-то дикарей и, несмотря ни на какое стараніе и заботу начальства, пропиваютъ на пути все, что могли выручить въ задатокъ и въ счетъ жалованья, опохмѣляются въ Охотскѣ или въ Авачѣ и просыпаются, наконецъ, въ первый разъ въ трезвомъ видѣ на какомъ-нибудь островкѣ или нагой скалѣ Алеутской гряды. Вотъ куда прочилъ меня Григорій Алексѣевичъ; но, уважая мое родовое дворянство, познанія и способности, онъ полагалъ пристроить меня туда не простымъ промышленникомъ или рабочимъ, а, можетъ быть, прямо десятникомъ, писаремъ или смотрителемъ.

Не думайте, однакожъ, чтобъ Григорій Алексѣевичъ самъ былъ директоромъ американской компаніи, или даже участникомъ ея, чтобъ на него возложенъ былъ помянутый наборъ, — совсѣмъ нѣтъ: онъ былъ просто поставщикъ промышленниковъ, какъ бывалъ подъ рукой въ былыя времена и поставщикомъ наем-

ныхъ рекрутъ или охотниковъ, и надѣялся, обманувъ обѣ стороны, получить нѣкоторую выгоду. Онъ не брезгалъ ничѣмъ. Но это еще не все, — скучно мнѣ пересказывать весь мой разговоръ съ нимъ, всѣ его ухватки и уловки; но здѣсь дѣло состояло еще и въ томъ, что онъ надѣялся, сбывъ меня такимъ образомъ съ рукъ, какъ путешественника, получить отъ меня довѣренность на управленіе моимъ маленькимъ имѣніемъ на Украйнѣ, находившимся, какъ уже извѣстно читателю, по сосѣдству съ наслѣдьемъ Анны Герасимовны. Затѣмъ, онъ, конечно, надѣялся во всякомъ случаѣ обобрать меня тамъ кругомъ, разорить и заложить имѣніе, а еслибъ судьба посолила меня въ прокъ въ Восточномъ океанѣ или Охотскомъ морѣ, къ чему предстояла всякая возможность, — то имѣньице осталось бы, вѣроятно, пожизненно, самымъ безгласнымъ образомъ, за моимъ благодѣтелемъ.

Когда я проникъ вполнѣ эту выдумку Григорія Алексѣевича, то она мнѣ показалась до того забавною, что я никакъ не могъ на него сердиться, а напротивъ, перешелъ въ какое-то веселое, шутливое расположеніе. Въ то же время, во мнѣ укрѣпилась еще болѣе рѣшимость моя объясниться съ нимъ прямо относительно Нади и вынудить у него также прямой и положительный отвѣтъ.

— Хорошо,– сказалъ я:—благодарю васъ, Григорій Алексѣевичъ, за ваши милостивыя обо мнѣ заботы; я ударю сейчасъ по рукамъ и ѣду къ алеутамъ, но съ однимъ условіемъ...

— А напримѣръ?

— А напримѣръ, отдайте за меня дочь, если она на это согласится; вотъ и все.

Григорій Алексѣевичъ, ровно сонный съ полатей свалился и долго не могъ опомниться.

— Я такихъ шутокъ не понимаю, Андрей Ефимо-

вичъ,—сказалъ онъ наконецъ, привставъ со стула: — говорить, такъ говорите дѣльно.

— Я не шучу, Григорій Алексѣевичъ, и говорю вамъ святую истину: отдайте за меня дочь — съ нею поѣду, куда вамъ угодно.

— Съ ума что ли вы сошли, милостивый государь? Въ Сибирь, въ каторгу что ли я дочь сошлю?

— О! нѣтъ, избави Богъ! Но вѣдь вы и меня же, надѣюсь, не въ каторгу прочите, а утѣшаете меня всѣми прелестями тамошней жизни!

— Благодарю покорно! слуга вашъ! Да это развѣ не та же каторга? Какъ! дочь моя за... за... тюленемъ, за моржомъ, за бобровымъ промышленникомъ въ Ситхѣ!

— Григорій Алексѣевичъ, не гнѣвайтесь; вы же сами меня соблазнили краснорѣчіемъ своимъ согласиться на жизнь съ колошами и алеутами, и я, забывшись, хотѣлъ раздѣлить это счастіе съ тѣмъ, кто мнѣ всего на свѣтѣ дороже. Но я сейчасъ готовъ отказаться отъ вашего предложенія, если вы согласитесь исполнить другую половину моей завѣтной мечты: предоставьте дочери вашей выборъ супруга, и если она изберетъ меня, то благословите насъ, и я тогда не поѣду никуда; я согласенъ остаться.

Григорій Алексѣевичъ отступилъ шага на два отъ меня и нахмурилъ брови.

— Такъ вотъ вы зачѣмъ разъѣзжаете за нами слѣдомъ?—сказалъ онъ съ сердцемъ:—вотъ зачѣмъ втерлись вы въ домъ мой?... Нѣтъ милостивый государь, извините, не въ свои сани садитесь!

— Отчего же, Григорій Алексѣевичъ? чѣмъ же я ей не ровня?

— Ужъ позвольте предоставить это отцу, мнѣ. Я не хочу васъ обижать — Богъ съ вами, и почитайте себя, пожалуй, хоть геніемъ, хоть потомкомъ великаго могола,—это мнѣ все равно; а я, я знаю себя. Не мнѣ

васъ учить: молодые люди всѣ нынѣче умнѣе насъ; а я прошу васъ покорно оставить меня въ покоѣ, не затѣвать такихъ нелѣпостей, и затѣмъ—прощайте!

— Стало быть, мы оба ошиблись въ расчетахъ своихъ,—сказалъ я:—и мнѣ остается только искренно объ этомъ сожалѣть. Благодарю васъ за вашу откровенность.

Я всталъ, вышелъ, раскланялся съ Анной Герасимовной и Надей, которыя сидѣли въ гостиной, и пошелъ было своимъ путемъ далѣе; но Анна Герасимовна, видя тѣсную дружбу нашу съ Григоріемъ Алексѣевичемъ и, можетъ быть, нѣсколько подготовленная Надей, спросила плавнымъ голосомъ: «А что же, не откушаете ли съ нами? Ужъ время обѣдать». Григорій Алексѣевичъ былъ въ это время крайне смѣшонъ: не ожидая этого приглашенія и опоздавъ ужимками своими, онъ началъ громко кашлять, шаркать и сморкаться и успокоился только послѣ моего отказа.

Не ожидавъ лучшей развязки и очистивъ этою послѣднею попыткою совѣсть свою, я грустно отправился домой, т. е. къ Андрею Алексѣевичу и разсказалъ ему въ короткихъ словахъ свои похожденія. Онъ смѣялся замысловатой выдумкѣ своего брата упрятать меня въ Ситху, и, въ память этого, прозвалъ меня *алеутомъ*.

— Вотъ люблю единоутробнаго своего, такъ люблю! У него и пушокъ мимо рыла даромъ не пролетитъ; не зѣваетъ, спасибо! А ты и не поддался? Экой какой недогадливый! прямой алеутъ!

Рѣшившись затѣмъ проститься навсегда съ Надей, я, однакожъ, считалъ необходимымъ объявить ей это, чтобъ не возбуждать напрасныхъ надеждъ и, давъ бѣдненькой время выплакаться, заставить успокоиться и повиноваться волѣ отца. Я боялся свиданія съ нею и, несмотря на это, выходилъ по нѣскольку разъ въ

день, въ надеждѣ встрѣтить ее; но, не успѣвъ въ этомъ, я написалъ, передъ самымъ отъѣздомъ, матери ея письмо и уѣхалъ съ Андреемъ Алексѣевичемъ въ Москву

Въ этомъ письмѣ я увѣдомлялъ Анну Герасимовну, въ почтительныхъ выраженіяхъ, что вслѣдствіе послѣдняго разговора моего съ Григоріемъ Алексѣевичемъ я буду стараться не безпокоить болѣе ихъ семейства своимъ присутствіемъ, а потому уѣзжаю навсегда и надѣюсь, что они ничего болѣе обо мнѣ не услышатъ.

## IX

## СТАНЪ ПОДЪ ШУМЛОЙ.

Въ Москву пріѣхали мы благополучно. При всей крѣпости и стойкости моей, я однакоже крайне упалъ духомъ и не могъ высвободить изъ-подъ спуда прежнюю жизненную силу свою и дѣятельность. Въ Москвѣ я все еще не считалъ себя свободнымъ; я здѣсь не вышелъ еще изъ круга волшебной власти Надиной, я и здѣсь могъ ее каждый день встрѣтить, или что-нибудь объ ней услышать, равно она также обо мнѣ—а этого я не хотѣлъ. Я твердо намѣревался кончить грустное дѣло это навсегда и облегчить ей по возможности такую участь. Я былъ одинокъ на свѣтѣ, утѣхъ никакихъ передъ собою не видѣлъ, жизнь лежала передо мною въ какомъ-то холодномъ туманѣ. Я понималъ необходимость переломить себя, измѣнить внезапно родъ жизни, мѣсто и занятія,—словомъ, все, что меня извнѣ окружало и снутри занимало.

Это было то самое время, когда у насъ открывалась послѣдняя турецкая война. Не я первый, не я послѣдній бѣжалъ отъ внутренней тревоги во внѣш-

нюю — и если одно не всегда противодѣйствуетъ достаточно другому, то покрайней-мѣрѣ одно временно заглушаетъ другое и даетъ душѣ нашей время укрѣпиться, забыть или одолѣть душевныя смуты.

Я поѣхалъ изъ Москвы тихомолкомъ въ Могилевъ-на-Днѣстрѣ, заѣхавъ дорогою еще разъ—можетъ быть въ послѣдній—на родину свою, привелъ въ порядокъ домашнія дѣлишки и отправился дальше. На границѣ я по первому встрѣчному знакомству съ нѣсколькими офицерами проходившихъ войскъ выбралъ полкъ, о командирѣ котораго отзывались хорошо, явился къ нему съ своими бумагами и перешелъ границы наши, въ Скулянахъ на Прутѣ, въ юнкерскомъ пѣхотномъ мундирѣ.

Счастіе мнѣ благопріятствовало сначала, то есть счастіе военное; и черезъ четыре мѣсяца я уже былъ произведенъ въ прапорщики. Мы стояли подъ Шумлой; но война, какъ намъ казалось, тянулась медленно, и горячность наша остывала въ трудахъ и лишеніяхъ всякаго рода. Одно желаніе было всеобщимъ: если бы только выйти скорѣе изъ этой бездѣйственности, еслибъ только скорѣе путемъ подраться, отличиться, разбить турокъ на-голову; но турки не выходятъ, запираются въ крѣпостяхъ и томятъ и насъ, и себя.

Однажды ночью, внезапно открылась перестрѣлка въ цѣпи нашей, которая была выдвинута далѣе обыкновеннаго впередъ, для заложенія новой баттареи. Резервы двинулись впередъ и въ томъ числѣ нашъ батальонъ. Въ непроницаемыхъ потьмахъ шли мы скорымъ шагомъ, спотыкаясь, прямо на выстрѣлы; намъ нельзя было еще дѣйствовать, потому что цѣпь наша была впереди, а, между тѣмъ, одинъ подпоручикъ былъ у насъ уже раненъ залетѣвшею въ колонну пулей, и я поступилъ на его мѣсто взводнымъ командиромъ. Въ ту же минуту, два взвода, въ томъ числѣ и мой,

двинулись разсыпнымъ строемъ впередъ, подкрѣпили цѣпь, вступили въ перестрѣлку, а затѣмъ, съ крикомъ *ура*, кинулись на непріятеля...

Но я увлекся военными подвигами нашими, которые на этотъ разъ окончились для меня собственно весьма неудачно, тогда какъ мнѣ должно разсказать напередъ совсѣмъ иное. Это иное происходило въ самую минуту той тревоги и стычки, о которой я началъ говорить, и лично для моего разсказа было не менѣе важно и богато послѣдствіями.

Проводя дни и ночи въ воинскомъ бездѣйствіи передъ Шумлой, мы часто собирались въ кружокъ передъ бивачнымъ огнемъ, курили и болтали. Однажды мы также сидѣли, человѣкъ до десятка, грѣлись, потому что ночи были иногда сыры и холодны, пили чай съ трубкой и болтали. Все было тихо кругомъ; иные начинали уже дремать, другіе, выспавшись днемъ, были пободрѣе, и потому общій говоръ мало-по-малу затихъ; говорилъ или разсказывалъ одинъ, а прочіе слушали. Бесѣда эта такимъ образомъ сама собой обратилась въ чередной разсказъ бывальщинокъ, и трое изъ товарищей нашихъ разсказывали одинъ за другимъ, слѣдующее.

## Ссыльный.

«Не сегодня, такъ завтра каждый изъ насъ можетъ попасться въ плѣнъ,—сказалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, молодой конный егерь,—и будетъ мѣсяцы, а можетъ быть и годы томиться въ неволѣ. Нашему брату надо готовиться на все; никакая личная храбрость не можетъ спасти отъ этого; попадешься иную пору такъ, что выскочить некуда.

«А чего не придумывали люди, чтобъ избавиться отъ плѣна или заключенія, особенно узники разнаго

рода, посаженные на много лѣтъ въ одинокую, тѣсную, душную темницу! до чего не доводило ихъ отчаянное стремленіе добиться свободы, выйти на вольный свѣтъ! до чего не умудряло ихъ чувство самохраненія, при досугѣ и скукѣ ихъ одиночества и при изощреніи въ этомъ положеніи ума, чувствъ и способностей? Нѣтъ конца розсказнямъ объ этомъ: кто перепилилъ толстую желѣзную рѣшетку перочиннымъ ножемъ и спустился на изорванной въ полосы простынѣ; кто подрылся подъ полъ, выбрасывая землю щепотками въ оконце, чтобъ скрыть свою работу; кто ушелъ переодѣтый, кто въ неволѣ открылъ на досугѣ назначеніе египетскихъ пирамидъ, кто составилъ себѣ чернила изъ ржавчины отъ желѣзныхъ запоровъ и изъ крѣпкаго чая, и на измятомъ лоскуткѣ бумажки, въ которой завернутъ былъ этотъ чай, написалъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ! Опять иной, услышавъ отдаленный стукъ въ тюрьмѣ своей, заключивъ изъ этого, что у него есть сосѣди, отдѣленные отъ него толстыми каменными стѣнами, и полагая, что одинъ изъ близкихъ ему товарищей, можетъ быть, содержится тутъ же, вздумалъ подать ему о себѣ вѣсть счетными ударами половой щетки въ каменный полъ; черезъ нѣсколько времени, онъ вызвалъ отвѣтъ; товарищи поняли другъ друга и разговаривали такимъ образомъ, означая каждую букву такимъ числомъ ударовъ, сколько ей принадлежитъ счетомъ, по занимаемому ею мѣсту; но вскорѣ и третій незванный собесѣдникъ вмѣшался въ этотъ разговоръ и испортилъ все дѣло... словомъ, конца нѣтъ этимъ крайне занимательнымъ похожденіямъ, на которыя, какъ я уже сказалъ, каждому изъ насъ можно готовиться! Вотъ подобный случай, котораго я былъ свидѣтелемъ.

«Въ весьма отдаленномъ отъ средоточія государства городкѣ, или въ пограничной крѣпостцѣ, на тѣхъ границахъ, гдѣ побѣги почти не возможны, особенно для

семейнаго человѣка — состоялъ въ гарнизонѣ рядовой, разжалованный и сосланный туда за политическій проступокъ. Невѣста послѣдовала за нимъ; они обвѣнчались, но одного этого не было достаточно для ихъ счастія; плѣнъ, неволя, ранецъ да перевязь—вотъ что сокрушало бѣдняка. Со дня на день тоска по отчизнѣ усиливалась и наконецъ обратилась, можно сказать, въ неистовство: какъ онъ, такъ и она, готовы были посягнуть на всякую крайность, лишь бы избавиться отъ этого положенія. Ребенокъ, умершій вскорѣ по рожденіи, усиливалъ еще грусть родителей, которые всѣ бѣдствія свои, даже и смерть младенца, приписывали нынѣшнему положенію своему и которыхъ день и ночь занимала изувѣрная мысль, вынести, во чтобы ни стало, даже и самый прахъ младенца изъ этой несчастной для нихъ земли.

«Но что тутъ дѣлать и какъ быть? бѣжать просто—поймаютъ, и будетъ хуже прежняго; одному можно бы еще рѣшиться, но съ молодой женой?

«Наконецъ, вечеромъ,—это было лѣтомъ,—внезапно разнесся слухъ, что бѣднякъ утонулъ или утопился. Начальство кинулось къ нему въ домъ и нашли жену его въ отчаянныхъ слезахъ, едва ли не безъ чувствъ. На берегу рѣки найдена была одежда его; онъ, по словамъ жены, пошелъ купаться и не возвращался. Трупъ не могли отыскать; рѣка быстра, полагали, что его унесло водой.

Мѣстное начальство приняло самое живое, родственное участіе въ положеніи молодой вдовы. Ей не только оказывали всякаго рода помощь и пособіе, не только старались утѣшить искреннимъ соболѣзнованіемъ, но исходатайствовали для нея даже денежное пособіе, для отправленія на родину—въ Галицію, снабдили дорожнымъ экипажемъ и назначили, по отдаленности края, надежнаго провожатаго, хорошаго казака. Она

плакала отъ признательности и въ то же время неутѣшно рыдала по другѣ своемъ; благодарила за чрезвычайную милость, но не желала причинить излишняго безпокойства, и потому отклоняла назначеніе провожатаго. Мѣстное начальство, напротивъ, отъ искренняго участія къ ней, настоятельно требовало, чтобъ она приняла провожатаго, который во всякомъ случаѣ на такомъ дальнемъ пути ей будетъ полезенъ. Ей нельзя было болѣе упорствовать, и она, простившись съ доброжелателями своими, отправилась въ путь.

«Казаку, которому было приказано угождать во всемъ вдовѣ (при ней была, впрочемъ, еще и дѣвка, также изъ Галиціи), напередъ всего показалось нѣсколько страннымъ, что барыня во всю дорогу закрываетъ и застегиваетъ кругомъ весьма тщательно тарантасъ, между тѣмъ, какъ на дворѣ стояла невыносимая жара, и путницу парило въ закрытомъ экипажѣ, какъ въ банѣ. Казакъ также замѣтилъ, что, прибывъ на станцію, барыня всегда съ особеннымъ стараніемъ отгоняла его отъ приступка, если услужливый провожатый подходилъ, чтобъ спросить, не угодно ли выдти; а черезъ нѣсколько времени, казака обыкновенно опять подзывала и приказывала открыть тарантасъ. Далѣе, обращая на все это про себя вниманіе, онъ сталъ поглядывать съ какою-то недовѣрчивостію на рундукъ, поддѣланный снутри тарантаса подъ козлами и повидимому закрытый на глухо, кругомъ. По временамъ, когда тарантасъ внезапно останавливался, казакъ прислушивался, и ему казалось, что онъ слышитъ какой-то шопотъ и замѣчаетъ въ тарантасѣ необыкновенное движеніе и суету. Все это рождало въ провожатомъ только неопредѣлительныя подозрѣнія; но судьба рѣшила вывести его изъ этого недоумѣнія и показать дѣло на лицо.

«Въ одно утро, когда путница отъѣхала уже отъ мѣста на нѣсколько сотъ верстъ, тарантасъ мчался по весьма неровной дорогѣ; отъ сильнаго толчка доска подъ козлами, на которыхъ сидѣли и ямщикъ, и казакъ, съ одного конца провалилась и встрѣтила такое сильное противодѣйствіе, что не только внезапно поднялась на свое мѣсто, но даже и выше, едва не сбросивъ съ козелъ и ямщика, и казака; а вслѣдъ за тѣмъ, доска опять провалилась. Стой!—закричалъ казакъ, соскочилъ съ козелъ, силою сорвалъ запонъ и встрѣтился съ бѣднымъ утопленникомъ носомъ къ носу. Неутѣшная вдова сулила казаку все, что деньгами при ней было; а когда это не помогло, то отчаянный бѣглецъ хотѣлъ прибѣгнуть къ послѣднему средству, данному природой каждому живому существу въ крайнихъ случаяхъ—къ оборонѣ. И это не удалось: ударъ прикладомъ пистолета въ голову обезоружилъ несчастнаго, а встрѣтившіеся въ эту минуту извощики съ обозомъ помогли его связать...

«Въ ближайшемъ городкѣ, бѣдняка сдали мѣстному начальству, а когда осмотрѣли въ подробности тарантасъ и всѣ пожитки ихъ, то нашли, между прочимъ, какой то загадочный ларчикъ, въ которомъ оказались остатки умершаго младенца. Предполагая уже въ то время побѣгъ свой, они схоронили порожній гробъ, а трупъ спрятали въ погребъ, чтобы не оставить на чужбинѣ и драгоцѣнныхъ косточекъ. Въ этомъ же погребѣ сидѣлъ мнимый утопленникъ во все время до отъѣзда; затѣмъ для него подъ козлами тарантаса былъ устроенъ особый рундукъ; а какъ ему было лежать тамъ тѣсно и душно, то запонъ тарантаса въ продолженіе пути тщательно застегивался и узникъ выползалъ оттуда подышать воздухомъ. Проломившаяся доска обнаружила все и передала несчастнаго въ руки правосудія»

— Вы говорите, что были свидѣтелемъ этого происшествія?—спросилъ другой собесѣдникъ.

— Да,—отвѣчалъ тотъ: — и случай этотъ былъ въ свое время очень извѣстенъ; я не былъ при томъ, какъ казакъ поймалъ бѣднаго утопленника, но, между прочимъ, даже самъ видѣлъ впослѣдствіи подсудимаго.

— Это весьма замѣчательно, — сказалъ опять первый:—и замѣчательно не только по странности случая, но и по тому, что это есть исполненіе чужого предположенія. Кто читалъ книжку Коцебу: «Замѣчательнѣйшій годъ моей жизни»?

— Я, я,—отозвались двое или трое.

— Тогда вы вспомните,—сказалъ опять тотъ же,— что Коцебу разсказываетъ все это, въ видѣ предположенія, какимъ образомъ жена, ѣхавшая къ нему, должна была увезти его изъ Сибири. Коцебу вскорѣ былъ возвращенъ изъ ссылки и не имѣлъ нужды исполнить своей хитрой затѣи.

Разговоръ обратился на то, что присяга и служба требуютъ отъ насъ иногда того, что тяжело исполнить по чувству состраданія. Съ нами сидѣлъ тутъ же замѣчательный образчикъ чудака, докторъ; онъ взялся разсказать примѣръ тому, какъ онъ, напротивъ, всегда соединяетъ пользу и обязанности службы съ чувствами своими, и вотъ его разсказъ.

### Разсказъ доктора.

«Нѣтъ, я не таковъ, какъ бываютъ прочіе иные. Я спасаю, такъ сказать, страждущее человѣчество, на каждомъ шагу, по мѣрѣ силъ и возможности, и даже болѣе—это долгъ мой, служба, обязанность, удовольствіе, утѣшеніе!

«Былъ однажды смотръ, или, такъ сказать, были маневры—движенія массами, великолѣпныя, особенно кавалеріи; атаки цѣлыми дивизіями, то есть, почти цѣлый корпусъ кавалерійскій съ мѣста маршъ маршъ... и артиллерія тутъ, конная, то есть, стучитъ, грохочетъ, гремитъ, несется—тутъ, извѣстно, на лямкахъ подхватываютъ, на выносъ... вдругъ: «доктора!» — кричатъ,—«доктора! подайте доктора»!

«Я, такъ сякъ на сѣромъ своемъ, на жеребчикѣ, то есть, пришпорилъ его, пригнулся на луку — какъ снѣгъ на голову, такъ сказать, въ самую сумятицу прилетѣлъ; тутъ кричатъ еще, надсѣдаясь: «Доктора! доктора! Куда этотъ взбалмошный»...—Слышали? какова благодарность!—«Куда этотъ взбалмошный запропастился...» А я ужь тутъ, какъ лѣсъ передъ травой, какъ сонъ въ руку, и соскочилъ ужь съ лошади, бѣгу—да для скорости ланцетъ былъ въ зубахъ, нельзя аукнуть, отозваться... «здѣсь, здѣсь», говоритъ костоправъ—а со мною и костоправъ прискакалъ...—Молчи, говорю:—не твое дѣло; выхватилъ ланцетъ изъ зубовъ и кричу самъ своимъ собственнымъ голосомъ:—здѣсь, такъ сказать, здѣсь! Нельзя же, сами посудите: страждущее человѣчество—спасаешь на каждомъ шагу, по мѣрѣ силъ и возможности и болѣе... не болѣе, то есть, долгъ, обязанность и служба... Гляжу—лежитъ передо мной трупъ человѣческій, такъ сказать, навзничь—и пронеслась черезъ него кирасирская дивизія; это все ничего, Богъ милостивъ; да двѣ бригады конной артиллеріи, и все, извольте видѣть, по головѣ, таки по самой головѣ; гляжу: какая тутъ голова! Лепешка, я вамъ докладываю, лепешка, такъ сказать, блинъ! И говорю: «Надежды нѣтъ; къ выздоровленію не надеженъ, то есть; но, авось, Богъ милостивъ, не отчаявайтесь. Посудите сами: голова лепешкой; какая тутъ помощь? такъ сказать, какое пособіе? какая надежда?

«Слышать не хочу, — говоритъ генералъ:—чтобъ былъ у меня здоровъ—и слышать не хочу росказней вашихъ, на то вы докторъ (и обругалъ еще по напрасну):—на то вы жалованье получаете, царю служите, долгъ, обязанность службы несете; а этотъ солдатъ, говоритъ, мнѣ дороже васъ и со всей братіей вашей!

«Что будешь дѣлать? дѣйствительно такъ—долгъ, обязанность, страждущее человѣчество, служба царская—жизнь теряешь, славу пріобрѣтаешь, долгъ чести... Богъ милостивъ! Я его взялъ; туда, сюда — блинъ блиномъ, да и только; не разберешь, въ какое мѣсто ухо слѣдуетъ, куда носъ, куда глазъ — такъ сказать; все, то-есть, отъ чрезмѣрнаго насилія, отъ поврежденія, въ неестественномъ положеніи и, сверхъ того оторвано, измято, скомкано: одно ухо тутъ, подбородокъ, такъ сказать, попалъ сюда, другое ухо вотъ гдѣ—одинъ глазъ здѣсь, другого вовсе нѣтъ; носъ поперекъ и, такъ сказать, пришелся на затылкѣ; ротъ и губы и все это сворочено, выворочено, переворочено, заворочено, отворочено, а голова, то-есть, лепешкой, вотъ какъ бываютъ лепешки... Плохо; а нечего дѣлать: долгъ присяги и даже самая обязанность велитъ, и отличный, говорятъ, солдатъ, и обругали еще за него въ задатокъ... нечего дѣлать, такъ сказать: бери, говорю костоправу, собирай все, что есть —да давай иглу, нитки, то-есть, шелкъ красный — давай ножницы: гдѣ клокъ волосъ увидишь — стриги. То тутъ стригну, то тамъ, гдѣ, такъ сказать, какому клочку пришлось сѣсть, и даже подъ носомъ клокъ, и гдѣ носу быть—и тамъ клокъ!! Давай!.. Шили его, шили, точали со всѣхъ концовъ; такъ сказать, Богъ милостивъ; и тутъ подложу подушечку, и тамъ то-есть компресикъ, и здѣсь кровяной шовъ — гдѣ прихватишь, гдѣ пристегнешь—бинтъ сюда, бинтъ туда—

подмостилъ, такъ сказать, собравъ все это въ кучу—самое состраданіе велитъ; а, тѣмъ паче, особенно воля генерала... Смотрю: похоже, такъ сказать, на человѣка; оно чучело, если хотите, то есть, все это укутано, умотано—но все на своемъ мѣстѣ, все разставлено, какъ должно по природѣ и даже по самой наукѣ, по искусству, то-есть—и все-таки похоже на человѣка!

«На третій день, снимаю первую повязку—что-то Богъ дастъ? Богъ милостивъ: надежды нѣтъ, а отчаяваться не должно; долгъ службы, вѣрность присяги—все тутъ. Что же? глядитъ какъ человѣкъ; обмылъ, очистилъ—ничего, такъ сказать, живетъ... Ну, давай Богъ! Золотыя руки у тебя, Петръ Ивановичъ, сказалъ я самъ себѣ—а? не правда ли, любезный? Онъ же, конечно, еще не образумился, и самая голова не пришла въ себя, и даже память и органы языка... промычалъ что-то,—ничего! Я, такъ сказать, за этимъ не гонюсь; я благодарности не жду: долгъ, страждущее человѣчество...

«Что же вы думаете, каковъ конецъ? Такъ сказать, красавецъ вышелъ; молодецъ, на рѣдкость изъ своихъ рукъ такихъ отпускалъ, то-есть! Хоть бы тебѣ слѣдъ остался какой, хоть бы рубецъ, хоть бы царапика! И все на мѣстѣ, то-есть, и все въ порядкѣ и—ну... ну, словомъ, рожа какъ рожа, такъ-сказать, и голова круглѣе пушечнаго ядра! Каковъ? А онъ мнѣ: да я, говоритъ, вологодскій, ваше высокоблагородіе, меня и дома ужъ медвѣдь ломалъ дважды, всего исковеркалъ—ничего, благодаря Бога, отлежался! Нѣтъ говорю, врешь, такъ сказать: это моя легкая рука, это, такъ сказать, неблагодарность людская... Лепешка, я вамъ докладываю, то-есть, лепешка была; а теперь голова какъ голова, хоть сейчасъ опять во фронтъ и опять туда же... Прятялъ я его, сударь, прятялъ

шесть недѣль отъ начальства: въ гвардію бы взяли готчасъ; жаль человѣка, сами, такъ сказать, посудите—хотѣлось выписать его въ неспособные — пряталъ, никому не показывалъ, а не то, чтобъ хвалиться... о, нѣтъ, я не таковъ! Конечно, у него зубовъ не было, это само собой разумѣется; а ухо одно пришлось, такъ сказать, на изнанку, и пониже другаго; ну, глаза одного Богъ дастъ; его можетъ быть, лошадь унесла на копытѣ—гдѣ жь его взять? Но все-таки, я вамъ докладываю, вышелъ такой молодецъ, такой красавчикъ...

«Что же, вылѣчили?» говоритъ генералъ:—Вылѣчилъ, ваше превосходительство. — «Совсѣмъ»? — Совсѣмъ.—«Ну, то-то» — говоритъ: «хорошо, что я настращалъ доктора; вотъ и слава Богу, такъ сказать!»

«Онъ настращалъ!.. Да, вотъ истинно, такъ сказать, благодарность людская, то-есть, признательность... нѣтъ, еслибъ не долгъ, присяга, не совѣсть!!..»

— Хороша твоя сказка, Петръ Ивановичъ,—сказалъ кто-то изъ насъ, и всѣ захохотали. Докторъ былъ доволенъ успѣхомъ и, расчуствовавшись, просилъ молодого піонера разсказать жалостный случай, который начитали они вмѣстѣ когда-то въ одной французской книжкѣ. Изъ скромности, докторъ никакъ самъ не хотѣлъ разсказать намъ этого и, увѣряя, что онъ половину перезабылъ, настаивалъ, чтобъ дать просторъ рѣчи піонера.

## Соперницы.

«Во время войны Наполеона съ испанцами, молодой французскій офицеръ славнаго въ свое время войска простоялъ нѣсколько мѣсяцевъ съ полкомъ гдѣ-то неподалеку юго-западныхъ границъ Франціи и влюбился съ дочерью помѣщика, проживавшаго въ небольшомъ городкѣ. Она была живая, пылкая, но въ то же

время скромная и премилая дѣвушка, говорившая не разъ въ шутливой и откровенной бесѣдѣ съ другомъ своимъ, что вообще не довѣряетъ вѣрности людей съ эполетами и шпорами, хотя и уважаетъ званіе ихъ и личныя достоинства. «Вы, господа, хороши для государя и отечества»—говорила она: «а для насъ—никуда не годитесь».

«Честно влюбленному офицеру отзывъ этотъ казался весьма страненъ и непонятенъ. Онъ видѣлъ, что она къ нему неравнодушна, а между тѣмъ старается скрыть это и отзывается объ немъ такъ непріятно! Если это шутка, то она оскорбительна для чистыхъ чувствъ и желаній моихъ — подумалъ онъ,—а если дѣло, то кто могъ поселить въ нее такую нелѣпую мысль? Конечно, нечего сказать, наши братья иногда легоньки... но зачѣмъ же она меня равняетъ съ такими людьми? О, еслибъ она узнала меня лучше...

«Онъ съ такимъ усердіемъ и успѣхомъ старался объ исполненіи этого желанія, что, не измѣнивъ, можетъ быть, мнѣнія ея на счетъ военныхъ вообще, заставилъ ее, однакожъ, вскорѣ допустить въ пользу его почетное изъятіе, и она отдалась ему всею силою своей любви. Родители благословили ихъ и только успѣли отпировать помолвку, какъ полкъ двинулся въ Испанію и, ратуя наряду съ другими за свой кумиръ, подвергался всѣмъ ужасамъ этой упорной народной войны, о которой уже писано столько, что, думаю, всякое дополненіе съ моей стороны было бы здѣсь излишнимъ,—тѣмъ болѣе, что меня, какъ вы знаете, тамъ не было.

«Разсыпаясь въ тылу арміи французской и каждаго изъ ея отрядовъ, испанцы не допускали иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ никакого сообщенія ея съ Франціею; моремъ завладѣли англичане. Наполеонъ былъ внѣ себя отъ злобы и отчаянья, не получая никакихъ вѣстей о томъ, что тамъ происходило, и впослѣдствіи только

плакала отъ признательности и въ то же время неутѣшно рыдала по другѣ своемъ; благодарила за чрезвычайную милость, но не желала причинить излишняго безпокойства, и потому отклоняла назначеніе провожатаго. Мѣстное начальство, напротивъ, отъ искренняго участія къ ней, настоятельно требовало, чтобъ она приняла провожатаго, который во всякомъ случаѣ на такомъ дальнемъ пути ей будетъ полезенъ. Ей нельзя было болѣе упорствовать, и она, простившись съ доброжелателями своими, отправилась въ путь.

«Казаку, которому было приказано угождать во всемъ вдовѣ (при ней была, впрочемъ, еще и дѣвка, также изъ Галиціи), напередъ всего показалось нѣсколько страннымъ, что барыня во всю дорогу закрываетъ и застегиваетъ кругомъ весьма тщательно тарантасъ, между тѣмъ, какъ на дворѣ стояла невыносимая жара, и путницу парило въ закрытомъ экипажѣ, какъ въ банѣ. Казакъ также замѣтилъ, что, прибывъ на станцію, барыня всегда съ особеннымъ стараніемъ отгоняла его отъ приступка, если услужливый провожатый подходилъ, чтобъ спросить, не угодно ли выдти; а черезъ нѣсколько времени, казака обыкновенно опять подзывала и приказывала открыть тарантасъ. Далѣе, обращая на все это про себя вниманіе, онъ сталъ поглядывать съ какою-то недовѣрчивостію на рундукъ, поддѣланный снутри тарантаса подъ козлами и повидимому закрытый на глухо, кругомъ. По временамъ, когда тарантасъ внезапно останавливался, казакъ прислушивался, и ему казалось, что онъ слышитъ какой-то шопотъ и замѣчаетъ въ тарантасѣ необыкновенное движеніе и суету. Все это рождало въ провожатомъ только неопредѣлительныя подозрѣнія; но судьба рѣшила вывести его изъ этого недоумѣнія и показать дѣло на лицо.

«Въ одно утро, когда путница отъѣхала уже отъ мѣста на нѣсколько сотъ верстъ, тарантасъ мчался по весьма неровной дорогѣ; отъ сильнаго толчка доска подъ козлами, на которыхъ сидѣли и ямщикъ, и казакъ, съ одного конца провалилась и встрѣтила такое сильное противодѣйствіе, что не только внезапно поднялась на свое мѣсто, но даже и выше, едва не сбросивъ съ козелъ и ямщика, и казака; а вслѣдъ за тѣмъ, доска опять провалилась. Стой!—закричалъ казакъ, соскочилъ съ козелъ, силою сорвалъ запонъ и встрѣтился съ бѣднымъ утопленникомъ носомъ къ носу. Неутѣшная вдова сулила казаку все, что деньгами при ней было; а когда это не помогло, то отчаянный бѣглецъ хотѣлъ прибѣгнуть къ послѣднему средству, данному природой каждому живому существу въ крайнихъ случаяхъ—къ оборонѣ. И это не удалось: ударъ прикладомъ пистолета въ голову обезоружилъ несчастнаго, а встрѣтившіеся въ эту минуту извощики съ обозомъ помогли его связать...

«Въ ближайшемъ городкѣ, бѣдняка сдали мѣстному начальству, а когда осмотрѣли въ подробности тарантасъ и всѣ пожитки ихъ, то нашли, между прочимъ, какой то загадочный ларчикъ, въ которомъ оказались остатки умершаго младенца. Предполагая уже въ то время побѣгъ свой, они схоронили порожній гробъ, а трупъ спрятали въ погребъ, чтобы не оставить на чужбинѣ и драгоцѣнныхъ косточекъ. Въ этомъ же погребѣ сидѣлъ мнимый утопленникъ во все время до отъѣзда; затѣмъ для него подъ козлами тарантаса былъ устроенъ особый рундукъ; а какъ ему было лежать тамъ тѣсно и душно, то запонъ тарантаса въ продолженіе пути тщательно застегивался и узникъ выползалъ оттуда подышать воздухомъ. Проломившаяся доска обнаружила все и передала несчастнаго въ руки правосудія»

— Вы говорите, что были свидѣтелемъ этого происшествія?—спросилъ другой собесѣдникъ.

— Да,—отвѣчалъ тотъ:—и случай этотъ былъ въ свое время очень извѣстенъ; я не былъ при томъ, какъ казакъ поймалъ бѣднаго утопленника, но, между прочимъ, даже самъ видѣлъ впослѣдствіи подсудимаго.

— Это весьма замѣчательно,—сказалъ опять первый:—и замѣчательно не только по странности случая, но и по тому, что это есть исполненіе чужого предположенія. Кто читалъ книжку Коцебу: «Замѣчательнѣйшій годъ моей жизни»?

— Я, я,—отозвались двое или трое.

— Тогда вы вспомните,—сказалъ опять тотъ же,—что Коцебу разсказываетъ все это, въ видѣ предположенія, какимъ образомъ жена, ѣхавшая къ нему, должна была увезти его изъ Сибири. Коцебу вскорѣ былъ возвращенъ изъ ссылки и не имѣлъ нужды исполнить своей хитрой затѣи.

Разговоръ обратился на то, что присяга и служба требуютъ отъ насъ иногда того, что тяжело исполнить по чувству состраданія. Съ нами сидѣлъ тутъ же замѣчательный образчикъ чудака, докторъ; онъ взялся разсказать примѣръ тому, какъ онъ, напротивъ, всегда соединяетъ пользу и обязанности службы съ чувствами своими, и вотъ его разсказъ.

### Разсказъ доктора.

«Нѣтъ, я не таковъ, какъ бываютъ прочіе иные. Я спасаю, такъ сказать, страждущее человѣчество, на каждомъ шагу, по мѣрѣ силъ и возможности, и даже болѣе—это долгъ мой, служба, обязанность, удовольствіе, утѣшеніе!

«Былъ однажды смотръ, или, такъ сказать, были маневры—движенія массами, великолѣпныя, особенно кавалеріи; атаки цѣлыми дивизіями, то есть, почти цѣлый корпусъ кавалерійскій съ мѣста маршъ маршъ... и артиллерія тутъ, конная, то есть, стучитъ, грохочетъ, гремитъ, несется—тутъ, извѣстно, на лямкахъ подхватываютъ, на выносъ... вдругъ: «доктора!» — кричатъ,—«доктора! подайте доктора»!

«Я, такъ сякъ на сѣромъ своемъ, на жеребчикѣ, то есть, пришпорилъ его, пригнулся на луку — какъ снѣгъ на голову, такъ сказать, въ самую сумятицу прилетѣлъ; тутъ кричатъ еще, надсѣдаясь: «Доктора! доктора! Куда этотъ взбалмошный»...—Слышали? какова благодарность!—«Куда этотъ взбалмошный запропастился...» А я ужъ тутъ, какъ лѣсъ передъ травой, какъ сонъ въ руку, и соскочилъ ужъ съ лошади, бѣгу—да для скорости ланцетъ былъ въ зубахъ, нельзя аукнуть, отозваться... «здѣсь, здѣсь», говоритъ костоправъ—а со мною и костоправъ прискакалъ...—Молчи, говорю:—не твое дѣло; выхватилъ ланцетъ изъ зубовъ и кричу самъ своимъ собственнымъ голосомъ:—здѣсь, такъ сказать, здѣсь! Нельзя же, сами посудите: страждущее человѣчество—спасаешь на каждомъ шагу, по мѣрѣ силъ и возможности и болѣе... не болѣе, то есть, долгъ, обязанность и служба... Гляжу—лежитъ передо мной трупъ человѣческій, такъ сказать, навзничь—и пронеслась черезъ него кирасирская дивизія; это все ничего, Богъ милостивъ; да двѣ бригады конной артиллеріи, и все, извольте видѣть, по головѣ, таки по самой головѣ; гляжу: какая тутъ голова! Лепешка, я вамъ докладываю, лепешка, такъ сказать, блинъ! И говорю: «Надежды нѣтъ; къ выздоровленію не надеженъ, то есть; но, авось, Богъ милостивъ, не отчаивайтесь. Посудите сами: голова лепешкой; какая тутъ помощь? такъ сказать, какое пособіе? какая надежда?

«Слышать не хочу, — говоритъ генералъ:—чтобъ былъ у меня здоровъ—и слышать не хочу росказней вашихъ, на то вы докторъ (и обругалъ еще по напрасну):—на то вы жалованье получаете, царю служите, долгъ, обязанность службы несете; а этотъ солдатъ, говоритъ, мнѣ дороже васъ и со всей братіей вашей!

«Что будешь дѣлать? дѣйствительно такъ—долгъ, обязанность, страждущее человѣчество, служба царская—жизнь теряешь, славу пріобрѣтаешь, долгъ чести..: Богъ милостивъ! Я его взялъ; туда, сюда — блинъ блиномъ, да и только; не разберешь, въ какое мѣсто ухо слѣдуетъ, куда носъ, куда глазъ — такъ сказать; все, то-есть, отъ чрезмѣрнаго насилія, отъ поврежденія, въ неестественномъ положеніи и, сверхъ того оторвано, измято, скомкано: одно ухо тутъ, подбородокъ, такъ сказать, попалъ сюда, другое ухо вотъ гдѣ—одинъ глазъ здѣсь, другого вовсе нѣтъ; носъ поперекъ и, такъ сказать, пришелся на затылкѣ; ротъ и губы и все это сворочено, выворочено, переворочено, заворочено, отворочено, а голова, то-есть, лепешкой, вотъ какъ бываютъ лепешки... Плохо; а нечего дѣлать: долгъ присяги и даже самая обязанность велитъ, и отличный, говорятъ, солдатъ, и обругали еще за него въ задатокъ... нечего дѣлать, такъ сказать: бери, говорю костоправу, собирай все, что есть —да давай иглу, нитки, то-есть, шелкъ красный — давай ножницы: гдѣ клокъ волосъ увидишь — стриги. То тутъ стригну, то тамъ, гдѣ, такъ сказать, какому клочку пришлось сѣсть, и даже подъ носомъ клокъ, и гдѣ носу быть—и тамъ клокъ!! Давай!.. Шили его, шили, точали со всѣхъ концовъ; такъ сказать, Богъ милостивъ; и тутъ подложу подушечку, и тамъ то-есть компресикъ, и здѣсь кровяной шовъ — гдѣ прихватишь, гдѣ пристегнешь—бинтъ сюда, бинтъ туда—

подмостилъ, такъ сказать, собравъ все это въ кучу—самое состраданіе велитъ; а, тѣмъ паче, особенно воля генерала... Смотрю: похоже, такъ сказать, на человѣка; оно чучело, если хотите, то есть, все это укутано, умотано—но все на своемъ мѣстѣ, все разставлено, какъ должно по природѣ и даже по самой наукѣ, по искусству, то-есть—и все-таки похоже на человѣка!

«На третій день, снимаю первую повязку—что-то Богъ дастъ? Богъ милостивъ: надежды нѣтъ, а отчаяваться не должно; долгъ службы, вѣрность присяги—все тутъ. Что же? глядитъ какъ человѣкъ; обмылъ, очистилъ—ничего, такъ сказать, живетъ... Ну, давай Богъ! Золотыя руки у тебя, Петръ Ивановичъ, сказалъ я самъ себѣ—а? не правда ли, любезный? Онъ же, конечно, еще не образумился, и самая голова не пришла въ себя, и даже память и органы языка... промычалъ что-то,—ничего! Я, такъ сказать, за этимъ не гонюсь; я благодарности не жду: долгъ, страждущее человѣчество...

«Что же вы думаете, каковъ конецъ? Такъ сказать, красавецъ вышелъ; молодецъ, на рѣдкость изъ своихъ рукъ такихъ отпускалъ, то-есть! Хоть бы тебѣ слѣдъ остался какой, хоть бы рубецъ, хоть бы царапина! И все на мѣстѣ, то-есть, и все въ порядкѣ и—ну... ну, словомъ, рожа какъ рожа, такъ-сказать, и голова круглѣе пушечнаго ядра! Каковъ? А онъ мнѣ: да я, говоритъ, вологодскій, ваше высокоблагородіе, меня и дома ужь медвѣдь ломалъ дважды, всего исковеркалъ—ничего, благодаря Бога, отлежался! Нѣтъ говорю, врешь, такъ сказать: это моя легкая рука, это, такъ сказать, неблагодарность людская... Лепешка, я вамъ докладываю, то-есть, лепешка была; а теперь голова какъ голова, хоть сейчасъ опять во фронтъ и опять туда же... Прятялъ я его, сударь, прятялъ

шесть недѣль отъ начальства: въ гвардію бы взяли тотчасъ; жаль человѣка, сами, такъ сказать, посудите—хотѣлось выписать его въ неспособные — пряталъ, никому не показывалъ, а не то, чтобъ хвалиться... о, нѣтъ, я не таковъ! Конечно, у него зубовъ не было, это само собой разумѣется; а ухо одно пришлось, такъ сказать, на изнанку, и пониже другаго; ну, глаза одного Богъ дастъ; его можетъ быть, лошадь унесла на копытѣ—гдѣ жь его взять? Но все-таки, я вамъ докладываю, вышелъ такой молодецъ, такой красавчикъ...

«Что же, вылѣчили?» говоритъ генералъ:—Вылѣчилъ, ваше превосходительство. — «Совсѣмъ»? — Совсѣмъ.—«Ну, то-то» — говоритъ: «хорошо, что я настращалъ доктора; вотъ и слава Богу, такъ сказать!»

«Онъ настращалъ!.. Да, вотъ истинно, такъ сказать, благодарность людская, то-есть, признательность... нѣтъ, еслибъ не долгъ, присяга, не совѣсть!!..»

— Хороша твоя сказка, Петръ Ивановичъ,—сказалъ кто-то изъ насъ, и всѣ захохотали. Докторъ былъ доволенъ успѣхомъ и, расчуствовавшись, просилъ молодого піонера разсказать жалостный случай, который начитали они вмѣстѣ когда-то въ одной французской книжкѣ. Изъ скромности, докторъ никакъ самъ не хотѣлъ разсказать намъ этого и, увѣряя, что онъ половину перезабылъ, настаивалъ, чтобъ дать просторъ рѣчи піонера.

## Соперницы.

«Во время войны Наполеона съ испанцами, молодой французскій офицеръ славнаго въ свое время войска простоялъ нѣсколько мѣсяцевъ съ полкомъ гдѣ-то неподалеку юго-западныхъ границъ Франціи и слюбился съ дочерью помѣщика, проживавшаго въ неболь*шомъ городкѣ*. Она была живая, пылкая, но въ то же

время скромная и премилая дѣвушка, говорившая не разъ въ шутливой и откровенной бесѣдѣ съ другомъ своимъ, что вообще не довѣряетъ вѣрности людей съ эполетами и шпорами, хотя и уважаетъ званіе ихъ и личныя достоинства. «Вы, господа, хороши для государя и отечества»—говорила она: «а для насъ—никуда не годитесь».

«Честно влюбленному офицеру отзывъ этотъ казался весьма страненъ и непонятенъ. Онъ видѣлъ, что она къ нему неравнодушна, а между тѣмъ старается скрыть это и отзывается объ немъ такъ непріятно! Если это шутка, то она оскорбительна для чистыхъ чувствъ и желаній моихъ — подумалъ онъ,—а если дѣло, то кто могъ поселить въ нее такую нелѣпую мысль? Конечно, нечего сказать, наши братья иногда легоньки... но зачѣмъ же она меня равняетъ съ такими людьми? О, еслибъ она узнала меня лучше...

«Онъ съ такимъ усердіемъ и успѣхомъ старался объ исполненіи этого желанія, что, не измѣнивъ, можетъ быть, мнѣнія ея на счетъ военныхъ вообще, заставилъ ее, однакожъ, вскорѣ допустить въ пользу его почетное изъятіе, и она отдалась ему всею силою своей любви. Родители благословили ихъ и только успѣли отпировать помолвку, какъ полкъ двинулся въ Испанію и, ратуя наряду съ другими за свой кумиръ, подвергался всѣмъ ужасамъ этой упорной народной войны, о которой уже писано столько, что, думаю, всякое дополненіе съ моей стороны было бы здѣсь излишнимъ,—тѣмъ болѣе, что меня, какъ вы знаете, тамъ не было.

«Разсыпаясь въ тылу арміи французской и каждаго изъ ея отрядовъ, испанцы не допускали иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ никакого сообщенія ея съ Франціею; моремъ завладѣли англичане. Наполеонъ былъ внѣ себя отъ злобы и отчаянья, не получая никакихъ вѣстей о томъ, что тамъ происходило, и впослѣдствіи только

узнавалъ онъ, сколько курьеровъ, выѣхавшихъ изъ арміи, было зарѣзано или заколото гдѣ нибудь въ лѣску или оврагѣ. Съ такимъ же нетерпѣніемъ ждала и бѣдная невѣста отъ жениха вѣстей, и не могла дождаться. Ее утѣшали тѣмъ, что нѣтъ проѣзда и нѣтъ прямыхъ вѣстей ни отъ кого изъ арміи.

«Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и странные слухи, Богъ вѣсть какими путями, стали доходить о женихѣ: говорили, будто онъ женился на испанкѣ. При тогдашнихъ обстоятельствахъ, это казалось до того вздорнымъ и несбыточнымъ, что родители невѣсты, нисколько не довѣряя этому слуху, заботились о томъ только, чтобъ онъ не дошелъ до ихъ дочери, которая и безъ того уже по временамъ сильно задумывалась. Но молва—это моровое повѣтріе; его не сдержишь ничѣмъ, и бѣдная невѣста вскорѣ услышала, что говорятъ люди. Родители замѣтили въ ней большую перемѣну, но она ни съ кѣмъ не дѣлилась въ чувствахъ и мысляхъ своихъ объ этомъ предметѣ, никому не говорила о томъ ни слова.

«Спустя нѣсколько времени, тотъ же слухъ подтвердился притомъ съ такими подробностями, что поневолѣ заставилъ призадуматься друзей, родственниковъ и даже самихъ родителей невѣсты. Сочли за нужное сказать ей слово объ этомъ, съ приличными утѣшеніями—и изумились стойкости, рѣшимости и благоразумію ея: она отвѣчала, что, безъ сомнѣнія, забудетъ недостойнаго, если только убѣдится въ истинѣ молвы; но,—прибавила она,—до того времени, прошу васъ, оставьте меня въ покоѣ, не говорите мнѣ объ этомъ; я *сама* должна во всемъ убѣдиться.

«Послѣднихъ словъ никто не понялъ; но никто, кажется, и не искалъ въ нихъ особеннаго смысла, и всѣ были чрезвычайно довольны и счастливы такою желанною и нежданною развязкою: «дочь наша гораздо

умнѣе, чѣмъ мы думали»,—говорили родители, и успокоились.

«Что между тѣмъ происходило въ душѣ ея — это никому неизвѣстно; но на слѣдующую же ночь, послѣ этого объясненія, невѣста пропала безъ вѣсти, и всѣ старанія родителей отыскать ее были тщетны.

«Обратимся теперь къ жениху.

«Съ писаннымъ на слоновой кости обликомъ милой на груди, съ колечкомъ ея на рукѣ, съ думою о ней въ головѣ и съ тоской по ней на сердцѣ, онъ прошелъ почти весь роковой полуостровъ. Крайность заставляла французовъ продовольствоваться съ боя; за каждый кусокъ хлѣба, за каждый клокъ сѣна надо было убить нѣсколько испанцевъ и пожертвовать иногда еще большимъ числомъ своихъ. Горекъ былъ этотъ хлѣбъ! Между прочимъ, и женихъ бѣдной невѣсты нашей былъ посланъ съ небольшой командой на фуражировку,—и не возвращался. Два человѣка, очнувшіеся и приползшіе черезъ нѣсколько дней къ французской передовой цѣпи, разсказали, что отрядецъ былъ вырѣзанъ поголовно.

«Испанцы дѣйствительно подстерегли фуражировъ, напали на нихъ врасплохъ и сокрушили всѣхъ; молодой офицеръ былъ тяжело раненъ и отведенъ въ плѣнъ, причемъ дано было ему клятвенное обѣщаніе, что онъ, по выздоровленіи, будетъ разстрѣлянъ или повѣшенъ, смотря по жребію.

«Какъ тяжко раненый, былъ онъ, однакожъ, отданъ на руки семьѣ одного изъ гверильясовъ, гдѣ стала ухаживать за нимъ молодая и прекрасная собой испанка. Кольцо и портретъ невѣсты, оправленный въ золото, съ него сняли уже на полѣ битвы; лишившись на время чувствъ и памяти отъ потери крови, онъ, можетъ быть, забылъ о прошедшемъ; въ жалкомъ, ужасномъ положеніи его, молодая испанка была для него всѣмъ— судьбой, блаженствомъ и ангеломъ хранителемъ.

узналъ онъ, сколько курьеровъ, выѣхавшихъ изъ арміи, было зарѣзано или заколото гдѣ нибудь въ лѣску или оврагѣ. Съ такимъ же нетерпѣніемъ ждала и бѣдная невѣста отъ жениха вѣстей, и не могла дождаться. Ее утѣшали тѣмъ, что нѣтъ проѣзда и нѣтъ прямыхъ вѣстей ни отъ кого изъ арміи.

«Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и странные слухи, Богъ вѣсть какими путями, стали доходить о женихѣ: говорили, будто онъ женился на испанкѣ. При тогдашнихъ обстоятельствахъ, это казалось до того вздорнымъ и несбыточнымъ, что родители невѣсты, нисколько не довѣряя этому слуху, заботились о томъ только, чтобъ онъ не дошелъ до ихъ дочери, которая и безъ того уже по временамъ сильно задумывалась. Но молва—это моровое повѣтріе; его не сдержишь ничѣмъ, и бѣдная невѣста вскорѣ услышала, что говорятъ люди. Родители замѣтили въ ней большую перемѣну, но она ни съ кѣмъ не дѣлилась въ чувствахъ и мысляхъ своихъ объ этомъ предметѣ, никому не говорила о томъ ни слова.

«Спустя нѣсколько времени, тотъ же слухъ подтвердился притомъ съ такими подробностями, что поневолѣ заставилъ призадуматься друзей, родственниковъ и даже самихъ родителей невѣсты. Сочли за нужное сказать ей слово объ этомъ, съ приличными утѣшеніями—и изумились стойкости, рѣшимости и благоразумію ея: она отвѣчала, что, безъ сомнѣнія, забудетъ недостойнаго, если только убѣдится въ истинѣ молвы; но,—прибавила она,—до того времени, прошу васъ, оставьте меня въ покоѣ, не говорите мнѣ объ этомъ; я *сама* должна во всемъ убѣдиться.

«Послѣднихъ словъ никто не понялъ; но никто, кажется, и не искалъ въ нихъ особеннаго смысла, и всѣ были чрезвычайно довольны и счастливы такою *желанною* и нежданною развязкою: «дочь наша гораздо

умнѣе, чѣмъ мы думали»,—говорили родители, и успокоились.

«Что между тѣмъ происходило въ душѣ ея — это никому неизвѣстно; но на слѣдующую же ночь, послѣ этого объясненія, невѣста пропала безъ вѣсти, и всѣ старанія родителей отыскать ее были тщетны.

«Обратимся теперь къ жениху.

«Съ писаннымъ на слоновой кости обликомъ милой на груди, съ колечкомъ ея на рукѣ, съ думою о ней въ головѣ и съ тоской по ней на сердцѣ, онъ прошелъ почти весь роковой полуостровъ. Крайность заставляла французовъ продовольствоваться съ боя; за каждый кусокъ хлѣба, за каждый клокъ сѣна надо было убить нѣсколько испанцевъ и пожертвовать иногда еще большимъ числомъ своихъ. Горекъ былъ этотъ хлѣбъ! Между прочимъ, и женихъ бѣдной невѣсты нашей былъ посланъ съ небольшой командой на фуражировку,—и не возвращался. Два человѣка, очнувшіеся и приползшіе черезъ нѣсколько дней къ французской передовой цѣпи, разсказали, что отрядецъ былъ вырѣзанъ поголовно.

«Испанцы дѣйствительно подстерегли фуражировъ, напали на нихъ врасплохъ и сокрушили всѣхъ; молодой офицеръ былъ тяжело раненъ и отведенъ въ плѣнъ, причемъ дано было ему клятвенное обѣщаніе, что онъ, по выздоровленіи, будетъ разстрѣлянъ или повѣшенъ, смотря по жребію.

«Какъ тяжко раненый, былъ онъ, однакожъ, отданъ на руки семьѣ одного изъ гверильясовъ, гдѣ стала ухаживать за нимъ молодая и прекрасная собой испанка. Кольцо и портретъ невѣсты, оправленный въ золото, съ него сняли уже на полѣ битвы; лишившись на время чувствъ и памяти отъ потери крови, онъ, можетъ быть, забылъ о прошедшемъ; въ жалкомъ, ужасномъ положеніи его, молодая испанка была для него всѣмъ— судьбой, блаженствомъ и ангеломъ хранителемъ.

узнавъ же, что она его страстно полюбила, онъ подавно забылъ все прошедшее, жилъ и дышалъ настоящимъ, которое такъ неуловимо, и въ бѣдствіи своемъ былъ счастливъ, какъ только человѣкъ можетъ быть счастливъ не по внѣшнимъ обстоятельствамъ, а по чувству.

«Онъ уже оправился, выздоровѣлъ, забылъ о данной ему клятвѣ, какъ испанка однажды къ нему вошла въ полночь; накрывъ рукою лампаду, она тихо подошла къ постели и назвала его по имени. Вскочивъ съ просонья, сидѣлъ онъ, глядѣлъ на нее и едва могъ опомниться.

«— Слушай, сказала она:—и молчи, только слушай. Завтра выведутъ тебя и еще двухъ французовъ въ поле,— завтра у насъ праздникъ святаго Стефана,—и дадутъ вамъ самимъ кинуть промежъ собою жребій, кому быть растрѣляннымъ, кому повѣшеннымъ. Я знала развязку эту и давно къ ней готовилась; но тебѣ я не говорила ни слова. Ты знаешь мою любовь къ тебѣ... ты видишь, какъ я спокойна,—успокойся же и ты. Я знаю горныя тропинки и лѣсные проселки во всей окружности; я тебя спасу; у меня все готово, дорожная пища на недѣлю припасена. Хочешь ли?.. Постой, я не позволю тебѣ обнять меня, покуда ты не дашь мнѣ отвѣта; призвавъ въ свидѣтели Мать Пресвятую Богородицу... обвѣнчаешься ли ты со мною, какъ только мы достигнемъ твоего полка?

«Молодой офицеръ поклялся, обнялъ испанку, которая строго удерживала ласки его, наскоро одѣлся, и черезъ десять минутъ ихъ уже обоихъ не было въ домѣ. Черезъ нѣсколько дней, они благополучно достигли полка, котораго мѣстопребываніе дѣвушкѣ было въ точности извѣстно, и чета, бывъ обвѣнчена немедленно полковымъ священникомъ, осталась подъ покро*вительствомъ* французскихъ войскъ.

«Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; молодому супругу, конечно, не разъ приходила на память родина его и соединенныя съ нею воспоминанія о покинутой невѣстѣ; но онъ утѣшался созданною имъ самимъ увѣренностью, что долгая разлука, конечно, уже давно изгладила его изъ памяти домашней невѣсты, которая, вѣроятно, вышла за другаго; съ другой стороны, онъ успокоивалъ совѣсть свою явною необходимостью своего настоящаго поступка и чувствомъ признательности къ своей спасительницѣ.

«Стойкое, упорное сопротивленіе испанцевъ, при помощи англичанъ и безпрерывныхъ войнъ Наполеона съ остальною Европою, какъ извѣстно, одержало верхъ; французскія войска должны были, послѣ страшныхъ потерь, возвратиться поспѣшно во Францію. Тутъ, при переходѣ черезъ Пиринеи, на общей границѣ, шаталась какая-то несчастная, безумная дѣвушка, которая стояла день и ночь на распутьи и спрашивала скромно и робко встрѣчнаго и поперечнаго: гдѣ такой-то полкъ и гдѣ служащій въ немъ поручикъ такой-то? Безумная питалась подаяніемъ, кореньями и плодами въ полѣ, или просиживала у дороги цѣлые дни вовсе безъ пищи вставала, кланялась проходящимъ и дѣлала всякому одинъ и тотъ же вопросъ. Французскія войска проходили по частямъ, тянулись въ жалкомъ, разстроенномъ состояніи, и немногіе, въ горестномъ положеніи своемъ, обращали вниманіе на безумную. Извѣстно, что при французскихъ войскахъ всегда состоятъ маркитантки, женщины нерѣдко съ большимъ духомъ, но при всемъ томъ, иногда съ женскими чувствами. Безумная случайно напала на такую маркитантку, которая, разспросивъ ее и увидѣвъ, въ какомъ она отчаянномъ положеніи, посадила къ себѣ на возъ или на мула, обѣщавъ отыскать поручика, и привезла на ночлегъ въ деревню. Тутъ, по крайней мѣрѣ, подъ кровлей и при женскомъ

уходѣ за нею, несчастная скончалась на слѣдующую же ночь.

«Между тѣмъ, войска тянулись, вступали и выступали изъ деревни этой, и вступилъ также полкъ нашего поручика. Маркитантка, принявшая, по добродушію, такое участіе въ бѣдной страдалицѣ, отыскала офицера и сказала ему: «Насилу-то я васъ дождалась! Подите скорѣе, хоть взглянуть на покойницу; ей не удалось взглянуть на васъ. Тамъ въ сараѣ лежитъ она: бѣдная дѣвушка все доспрашивалась васъ и вчера Богу душу отдала».

«Не знаю, что подумалъ поручикъ; но онъ пошелъ въ нѣмомъ предчувствіи за маркитанткой. Въ поблекшемъ, отжившемъ цвѣткѣ онъ узналъ, однакожъ, свою бывшую невѣсту; она лежала въ сараѣ, на соломѣ, покрытая, по милосердію маркитантки, рядномъ. Не знаю также, что думалъ и чувствовалъ бѣдный поручикъ; но дѣла поправить было нечѣмъ. Ему оставалось только жить съ испанкой и—не измѣнять ей!»

## X.

## ЧУДОМИЛЪ.

«Если первый разсказъ нѣсколько тронулъ слушателей и возбудилъ въ нихъ состраданіе, а второй крѣпко разсмѣшилъ всѣхъ и прогналъ сонъ и дремоту, то третій во мнѣ собственно возбудилъ особенное чувство: онъ какъ-то возмутилъ покой души моей, живо напомнивъ прошлое, и врѣзался глубокими чертами въ сердце. Я, кажется, заснулъ послѣднимъ изъ товарищей; огонекъ догорѣлъ, дымъ едва подымался легкой струйкой, раскаленные угли проглядывали еще тутъ *и тамъ* сквозь пепелъ; звѣздистое, темное небо обни-

мало два непріятельскіе стана однимъ общимъ шатромъ—я подумалъ о томъ, что подъ этимъ же навѣсомъ почиваетъ теперь и Надя, гдѣ бы она ни была—и болѣе себя не помню.

«Нѣсколько за полночь, внезапно ударили тревогу; батальонъ нашъ потребовали въ подкрѣпленіе къ цѣпи; тутъ случилась та самая стычка, о которой я началъ было разсказывать. И такъ, мы бросились впередъ съ крикомъ *ура*, безостановочно оттѣснили турецкую цѣпь саженъ на сто, сбили подоспѣвшіе съ ихъ стороны резервы и немножко безразсудно преслѣдовали ихъ. Ночь была темна, небо облачно; мы дѣйствовали почти ощупью и наткнулись на довольно сильную засаду, откуда насъ обдали градомъ пуль. Мнѣ показалось, будто меня кто-то внезапно хватилъ изо всей силы прикладомъ въ грудь; я въ безпамятствѣ повалился навзничь. Застрѣльщики, идучи разсыпнымъ строемъ, который еще по темнотѣ не могъ сохранить линіи своей и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разорвался, не замѣтили, что со мной сталось; ударили отбой, потому что мы слишкомъ далеко занеслись, и уже поздно спохватились, что прапорщика Горностая нѣтъ. Поиски охотниковъ, по темнотѣ, остались безуспѣшными; меня считали убитымъ; но солдаты хотѣли отыскать и принести мой трупъ—и этого добрымъ ребятамъ не удалось: турецкая цѣпь случайно на меня наткнулась; и я живой или мертвый, попался въ плѣнъ.

«Я очнулся днемъ, подъ навѣсомъ, среди небольшого двора, обнесеннаго чистымъ каменнымъ забором и устланнаго плитой. Навѣсъ былъ деревянный, красивой отдѣлки, съ рѣзьбой и пестрой окраской; между столбами, по которымъ вился виноградъ, верхъ былъ забранъ по угламъ рѣшеткой, въ видѣ стрѣльчатыхъ сводовъ; прямо передо мной протекалъ ручеекъ по каменному желобу; далѣе стояло поперекъ красивенькое

легкое строеніе, въ которомъ три яруса свѣшивались уступомъ одинъ надъ другимъ, а кровля, какъ широкополая шляпа, покрывала маковку. Разные столбики, переходы, лѣсенки и рѣшетки, красные, зеленые, голубые, даже съ позолотой, придавали этому зданію видъ красивенькой дѣтской игрушки; а нѣсколько стройныхъ, высокихъ тополей, огромные кусты розъ и вьющійся до самой кровли зданія виноградъ, служили истиннымъ для него украшеніемъ.

«Я услышалъ легкій стонъ, взглянулъ, сколько могъ, въ сторону, и увидѣлъ шагахъ въ пяти товарища. Онъ сидѣлъ подгорюнясь, накинувъ солдатскій плащъ на плечи, а одна рука и голова были у него перевязаны. Долго я не могъ еще вымолвить слова; мнѣ казалось, будто я говорилъ, и даже довольно громко; но звука не выходило. Наконецъ, я замѣтилъ, что разговоръ этотъ происходилъ только въ моемъ воображеніи, и что я самъ не сдѣлалъ доселѣ даже никакого усилія для того. Тогда я опомнился и сказалъ: «товарищъ!» солдатъ оглянулся, вскочилъ, разбередивъ немного руку свою, подернулъ губами, но подошелъ безъ остановки ко мнѣ и со слезами изъявилъ радость свою о томъ, что я еще живъ; но въ то же время прибавилъ: «Эхъ, ваше благородіе, на что вы ожили! Ужъ лучше бъ оставаться вамъ тамъ, передъ Богомъ».

— Гдѣ мы?—спросилъ я.

— Гдѣ?—отвѣчалъ онъ со вздохомъ:—да гдѣ чортъ козамъ рога правитъ: въ Шумлѣ.

«Я попросилъ напиться; онъ почерпнулъ воды изъ ручейка и подалъ мнѣ: это меня усладило, какъ цѣлительный елей. Въ Турціи смѣло можно пить изъ каждаго ручейка, обдѣланнаго и проведеннаго, по ихъ прекрасному обычаю, по улицамъ и дворамъ. Ручей протекаетъ, дробясь на рукава, черезъ многолюдный, *огромный* городъ; но онъ такъ же чистъ и ясенъ на

послѣднемъ дворѣ, какъ на первомъ; никогда и никто не броситъ и не выльетъ въ него нечистоты: вода для турокъ—завѣтная вещь.

— Какъ ты попалъ сюда, другъ?—спросилъ я.

— Какъ куръ во щи,—отвѣчалъ солдатъ, усаживаясь бережно около меня на соломѣ: — я такого-то полка, былъ въ тревогу эту на прошлой недѣлѣ въ пятницу, въ застрѣльщикахъ; пуля ожгла руку, подъ самымъ локтемъ, ружье у меня и вывалилось; тутъ какой-то собака наскакалъ, да хватилъ еще саблей по головѣ; спасибо оскользня дала, повихнулась въ рукѣ—видно еще неукъ, цыганъ, а то бы раскроилъ башку ни за грошъ. Одинъ въ полѣ не воинъ; а какъ еще безъ руки, да съ подбитымъ затылкомъ — ну, такъ и иди, куда поведутъ на веревочкѣ, и молчи. Спасибо, хоть веревочка противъ нашей помягче, бумажная.

— Такъ ты ужъ съ прошлой недѣли здѣсь?

— Да, вмѣстѣ съ вами, съ прошлой пятницы. Послѣ насъ, имъ задали чесу—будутъ помнить орѣховую корягу (прикладъ ружья).

«Я замолкъ отъ слабости, но понялъ изъ словъ солдата, что, стало быть, нѣсколько дней уже лежалъ вовсе безъ памяти. Рана моя была тяжела, пулей въ грудь на вылетъ — и несмотря на хорошій уходъ за мною турецкаго цирюльника, который мастерски перевязывалъ меня и вкладывалъ во все время въ рану жгутикъ, чтобъ не дать ей снаружи затянуться, я долго самъ отчаявался въ выздоровленіи и поправлялся чрезвычайно медленно. Мы были въ домѣ какого-то сановника; съ нами обходились хорошо; гаремныя затворницы нашего хозяина подходили иногда гурьбой къ одной изъ золоченыхъ рѣшетокъ верхняго жилья—вѣроятно, въ такое время, когда хозяина не было дома, смотрѣли на насъ съ любопытствомъ, хохотали и дурачились какъ дѣти. Иногда строгій голосъ старухи

легкое строеніе, въ которомъ три яруса свѣшивались уступомъ одинъ надъ другимъ, а кровля, какъ широкополая шляпа, покрывала маковку. Разные столбики, переходы, лѣсенки и рѣшетки, красные, зеленые, голубые, даже съ позолотой, придавали этому зданію видъ красивенькой дѣтской игрушки; а нѣсколько стройныхъ, высокихъ тополей, огромные кусты розъ и вьющійся до самой кровли зданія виноградъ, служили истиннымъ для него украшеніемъ.

«Я услышалъ легкій стонъ, взглянулъ, сколько могъ, въ сторону, и увидѣлъ шагахъ въ пяти товарища. Онъ сидѣлъ подгорюнясь, накинувъ солдатскій плащъ на плечи, а одна рука и голова были у него перевязаны. Долго я не могъ еще вымолвить слова; мнѣ казалось, будто я говорилъ, и даже довольно громко; но звука не выходило. Наконецъ, я замѣтилъ, что разговоръ этотъ происходилъ только въ моемъ воображеніи, и что я самъ не сдѣлалъ доселѣ даже никакого усилія для того. Тогда я опомнился и сказалъ: «товарищъ!» солдатъ оглянулся, вскочилъ, разбередивъ немного руку свою, подернулъ губами, но подошелъ безъ остановки ко мнѣ и со слезами изъявилъ радость свою о томъ, что я еще живъ; но въ то же время прибавилъ: «Эхъ, ваше благородіе, на что вы ожили! Ужъ лучше бъ оставаться вамъ тамъ, передъ Богомъ».

— Гдѣ мы?—спросилъ я.

— Гдѣ?—отвѣчалъ онъ со вздохомъ:—да гдѣ чортъ козамъ рога правитъ: въ Шумлѣ.

«Я попросилъ напиться; онъ почерпнулъ воды изъ ручейка и подалъ мнѣ: это меня усладило, какъ цѣлительный елей. Въ Турціи смѣло можно пить изъ каждаго ручейка, обдѣланнаго и проведеннаго, по ихъ прекрасному обычаю, по улицамъ и дворамъ. Ручей протекаетъ, дробясь на рукава, черезъ многолюдный, огромный городъ; но онъ такъ же чистъ и ясенъ на

послѣднемъ дворѣ, какъ на первомъ; никогда и никто не броситъ и не выльетъ въ него нечистоты: вода для турокъ—завѣтная вещь.

— Какъ ты попалъ сюда, другъ?—спросилъ я.

— Какъ куръ во щи,—отвѣчалъ солдатъ, усаживаясь бережно около меня на соломѣ: — я такого-то полка, былъ въ тревогу эту на прошлой недѣлѣ въ пятницу, въ застрѣльщикахъ; пуля ожгла руку, подъ самымъ локтемъ, ружье у меня и вывалилось; тутъ какой-то собака наскакалъ, да хватилъ еще саблей по головѣ; спасибо оскользня дала, повихнулась въ рукѣ—видно еще неукъ, цыганъ, а то бы раскроилъ башку ни за грошъ. Одинъ въ полѣ не воинъ; а какъ еще безъ руки, да съ подбитымъ затылкомъ — ну, такъ и иди, куда поведутъ на веревочкѣ, и молчи. Спасибо, хоть веревочка противъ нашей помягче, бумажная.

— Такъ ты ужъ съ прошлой недѣли здѣсь?

— Да, вмѣстѣ съ вами, съ прошлой пятницы. Послѣ насъ, имъ задали чесу—будутъ помнить орѣховую корягу (прикладъ ружья).

«Я замолкъ отъ слабости, но понялъ изъ словъ солдата, что, стало быть, нѣсколько дней уже лежалъ вовсе безъ памяти. Рана моя была тяжела, пулей въ грудь на вылетъ — и несмотря на хорошій уходъ за мною турецкаго цирюльника, который мастерски перевязывалъ меня и вкладывалъ во все время въ рану жгутикъ, чтобъ не дать ей снаружи затянуться, я долго самъ отчаявался въ выздоровленіи и поправлялся чрезвычайно медленно. Мы были въ домѣ какого-то сановника; съ нами обходились хорошо; гаремныя затворницы нашего хозяина подходили иногда гурьбой къ одной изъ золоченыхъ рѣшетокъ верхняго жилья—вѣроятно, въ такое время, когда хозяина не было дома, смотрѣли на насъ съ любопытствомъ, хохотали и дурачились какъ дѣти. Иногда строгій голосъ старухи

загонялъ ихъ опять въ клѣтку. Товарищъ мой, по прозванію Лаврентьевъ, смѣшилъ меня при такихъ случаяхъ своими замѣчаніями, несмотря на тяжкое мое положеніе. Онъ свободно бродилъ по дому, свелъ дружбу съ прислугой паши и доносилъ мнѣ обо всемъ, что дѣлалось въ домѣ. «Вотъ эту острушку хозяинъ вчера посѣкъ»,—говорилъ онъ, указывая на рѣшетку, сквозь которую я почти ничего не могъ видѣть:—«вотъ эту, что глаза свѣтятся какъ у волка; она что-то напроказила и сгрубила старшей хозяйкѣ! Прямыя собаки, право; вишь каку стаю держитъ, старый чортъ! А тамъ вонъ есть еще у нихъ одна, прости Господи—сущій чортъ, такъ вотъ у насъ трубочистъ болѣе живетъ, арапка, и щенятъ пару такихъ же привела, ровно изъ-подъ земли вылѣзли. А сама вся въ красномъ ходитъ, въ золотыхъ запястьяхъ, да въ бляхахъ, ровно нашъ извощичій конь въ наборной сбруѣ».

«Лаврентьевъ, между прочимъ, никакъ не могъ понять моихъ наставленій о необходимости политичнаго обращенія въ нашемъ положеніи. Онъ хотѣлъ всегда разговаривать съ турками, какъ съ непріятелемъ, и другой бесѣды не понималъ. Къ счастію, большая половина объясненій его шла на вѣтеръ: турки его не понимали; но я иногда дивился ихъ добродушію: они смѣялись выходкамъ Лаврентьева, утѣшали насъ тѣмъ, что Богъ рѣшитъ, чему и какъ быть, и что это не во власти человѣка, но нисколько на насъ не сердились. Онъ всегда хотѣлъ допроситься у нихъ, гдѣ и сколько ихъ поколотили, увѣрялъ, что вотъ ихъ скоро перебьютъ всѣхъ и выгонятъ за море; что русскіе зимовать будутъ въ Царьградѣ, спорилъ по каждому изъ извѣстныхъ ему стычекъ и сраженій, обозначая наобумъ число убитыхъ и взятыхъ въ плѣнъ турокъ, и въ этомъ случаѣ не считалъ иначе, какъ тысячами. Турки очень добродушно этому смѣялись, заставляли его переска

зывать одно и то же десять разъ, но всегда прекращали этотъ разговоръ, если мой Лаврентьевъ слишкомъ завирался и потомъ начиналъ сердиться.

«Пришла осень; насъ перевели въ избу; Лаврентьевъ добывалъ, гдѣ могъ, вѣстей о русской арміи, но никогда не вѣрилъ имъ въ томъ видѣ, какъ онѣ разсказывались турками, а передѣлывалъ ихъ по своему и передавалъ мнѣ. Онъ сочинялъ иногда неимовѣрную путаницу, въ полной увѣренности, что говорилъ святую истину, за которую готовъ былъ распинаться.

«Между тѣмъ, турки рѣшили очистить Шумлу отъ раненыхъ и плѣнныхъ, собрали нѣсколько десятковъ ихъ, а въ томъ числѣ и насъ, и отправили подъ небольшимъ конвоемъ. Здоровые, въ томъ числѣ и Лаврентьевъ, шли пѣши; насъ же, раненыхъ, усадили въ огромныя арбы, запряженныя буйволами, и къ ночи мы двинулись, сами не зная куда. Я былъ еще очень слабъ, рана медленно подживала, и путь этотъ, по тряской, каменистой дорогѣ, показался мнѣ невыносимымъ. Я не могъ сомкнуть глазъ, лежалъ впотьмахъ, повертываясь и пріискивая удобное положеніе; мы проѣхали, можетъ быть, всего около десятка верстъ, какъ вдругъ раздалось вплоть передъ нами нѣсколько пистолетныхъ выстрѣловъ, и конная толпа съ ужаснымъ крикомъ кинулась на насъ, спереди и съ правой стороны, держа пики на перевѣсъ. Я только успѣлъ распознать въ нападающихъ нашихъ казаковъ, которые, вѣроятно, или сами были на фуражировкѣ, или подстерегали турецкихъ фуражировъ, какъ полетѣлъ, вмѣстѣ съ арбой, въ какую-то страшную бездну, и болѣе ничего не видѣлъ и не слышалъ. По всей вѣроятности, одно изъ безотвѣтныхъ животныхъ, шедшихъ въ арбѣ моей подъ ярмомъ, было испугано, а можетъ быть и ранено, и кинулось стремглавъ въ пропасть, которая находилась по лѣвую сторону дороги.

«Я опять пришелъ въ себя уже днемъ и лежалъ на самомъ берегу ручейка; съ трудомъ, но и съ наслажденіемъ полакомился я превосходной ключевой водой и умылъ ею слегка лицо. Встать я не могъ. Подлѣ меня лежала разбитая въ щепки арба, мертвые буйволы, изъ которыхъ одинъ скатился въ самый ручей и висѣлъ въ ярмѣ, поднятомъ кверху; невдалекѣ отъ меня лежалъ, повидимому, мертвый, попутчикъ мой, раненый и взятый въ плѣнъ унтеръ-офицеръ. Кругомъ все было пусто и тихо.

«Время было уже пасмурное и холодное; помощи нельзя было ожидать ни откуда; я лежалъ между убившимися буйволами и человѣкомъ, самъ едва живой, съ трудомъ накрылся разбросанной вкругъ меня одеждой и ждалъ своей кончины. Прошелъ полдень, стало вечерѣть; то принимался накрапывать осенній дождь, то опять тучи разгоняло, и я готовился провести ночь все въ томъ же положеніи и, можетъ быть, къ утру отдать Богу душу. Я вспомнилъ Лаврентьева упрекъ, для чего-де я ожилъ въ Шумлѣ, сталъ думать о томъ, есть ли на родинѣ моей хотя одна душа, которая бы спросила современемъ возвращающіяся домой побѣдоносныя войска наши: «А не знаете ли, куда дѣвался въ Турціи Горностай? у васъ былъ въ такомъ-то пѣхотномъ полку молодой человѣкъ, Андрей Ефимовичъ Горностай?...» «Есть, подумалъ я, на Руси душа, которая бы пожелала узнать гдѣ, и что я теперь... но и эта душа, повинуясь обстоятельствамъ и участи всего земнаго и суетнаго, скоро забудетъ обо мнѣ... чего я ей отъ всей души на смертномъ одрѣ моемъ желаю...»

«Лай собаки надъ самымъ ухомъ моимъ заставилъ меня сильно вздрогнуть; я взглянулъ изъ-подъ бурки и турецкаго плаща; шагахъ въ пятидесяти, арба переѣзжала ручей, и болгаринъ спокойно погонялъ во-

ловъ. Собака молча обнюхивала попеременно то мертвыхъ буйволовъ моихъ, то разбитую арбу и разбросанныя вещи, то моего собрата-покойника, и опять бросилась на меня съ лаемъ. Я былъ уже очень слабъ и тощъ, и не сомнѣваюсь понынѣ, что обязанъ этой собакѣ своимъ спасеніемъ.

«Болгаринъ, въ бурой суконной курткѣ, турецкихъ шароварахъ и штиблетахъ изъ такого же бураго крестьянскаго сукна, съ небольшой синей цифровкой или прошвами, и въ круглой, черной смушатой шапкѣ, съ накинутымъ на плеча плащемъ того же сукна, на бѣломъ суконномъ подбоѣ, болгаринъ этотъ обратилъ наконецъ вниманіе на собаку свою, остановилъ воловъ и подошелъ къ нашему побоищу. Онъ тотчасъ смекнулъ въ чемъ дѣло; остановился, смѣрилъ глазами вышину обрыва горы, покачалъ головой и принялся разсматривать убившихся буйволовъ. Я подалъ голосъ; онъ немедленно ко мнѣ подошелъ и, узнавъ во мнѣ полу-земляка по племени или языку, крѣпко сожалѣлъ о моемъ бѣдствіи. Подумавъ немного, послѣ взаимнаго объясненія, онъ вызвалъ изъ арбы женщину, вѣроятно, свою хозяйку, и они меня вмѣстѣ уложили къ себѣ, собравъ туда же, что могли изъ разбросанныхъ на землѣ вещей.

«Скажу теперь вкратцѣ, что далѣе со мною случилось, и перейду къ главнѣйшему.

«Болгаринъ этотъ привезъ меня на третій день въ Османбазаръ, отъ Шумлы на западъ верстахъ въ 50. Тамъ побылъ я съ недѣлю; меня болгары прятали отъ турокъ и надѣялись доставить въ армію нашу; но, узнавъ, что войска наши уже оставили Шумлу и потянулись къ Силистріи, они боялись попасться со мною и поплатиться головою; поэтому они отправили меня ночью далѣе, въ Коброво, и наконецъ въ Трояны, сказавъ, что въ случаѣ новой опасности, перевс-

зутъ меня въ Софію, или передадутъ черезъ границу сербамъ. Переѣзды эти были для меня такъ тяжелы, что, несмотря на всю признательность мою къ добрымъ болгарамъ за ихъ обо мнѣ попеченія и самоотверженіе, я много разъ просилъ ихъ выдать меня туркамъ, зная по опыту, что обращеніе ихъ, если попадешь въ порядочныя руки, не такъ дурно. Болгары, однакожъ, не хотѣли этого слышать, говорили, что только Іуда могъ продать Христа, а христіанинъ брата своего не продаетъ; кончилось тѣмъ, что меня мало по малу все передавали съ рукъ на руки далѣе, и я наконецъ очутился въ Сербіи, отблагодаривъ чѣмъ могъ—благодарной слезой, послѣднихъ проводниковъ моихъ изъ болгаръ. Денегъ не было у меня давно, часы были отобраны туркомъ, который меня взялъ въ плѣнъ.

«Меня приняли въ одномъ селеніи, неподалеку Мисовицы, на притокѣ Моравы. Тутъ сбѣжалось все селеніе смотрѣть на русскаго офицера. Состраданію не было конца, особенно со стороны женщинъ, которыя даже плакали надо мною и завалили меня хлѣбомъ и другими съѣстными припасами. Ко мнѣ подошелъ, между прочимъ, высокій, благовидный человѣкъ, среднихъ лѣтъ, одѣтый получше прочихъ и пользовавшійся, какъ видно было по первому взгляду, нѣкоторымъ уваженіемъ. Широкополая шляпа его съ круглой тульей, коричневая цифрованная венгерка и даже распущенныя по плечамъ черныя съ небольшою просѣдью кудри,—все было слегка припудрено, почему и немудрено было узнать въ немъ зажиточнаго мельника.

— Здравствуй, братику,—сказалъ онъ мнѣ, заткнувъ лѣвую руку за ременный поясъ свой и подавая мнѣ правую:—что? турки-собаки подстрѣлили? Какъ зашелъ сюда? есть кто свой у тебя здѣсь?

— Никого нѣтъ,—отвѣчалъ я:—но вижу, что по-

палъ къ добрымъ людямъ; дома, въ Россіи, есть у меня и небольшое имѣніе; еслибъ я остался живъ и возвратился когда-нибудь домой, то могъ бы и отблагодарить добраго человѣка, который бы теперь призрѣлъ меня подъ своей крышей и далъ кусокъ хлѣба.

«Чудомилъ (имя почтеннаго мельника) улыбнулся на это съ выраженіемъ негодованія и состраданія, сказавъ: «Не за деньги хлѣбъ-соль и ложе братьямъ даютъ, а за братскую душу. Возьми руку мою: хочешь быть гостемъ моимъ? Есть у меня и домъ, и комора для тебя; станутъ за тобой ходить дочь и жена, и хлѣба кусокъ найдется. Я самъ не плачу за это денегъ; добрые люди даромъ возятъ, прибавилъ онъ смѣючись:— да еще и накланяются ину-пору, чтобъ только принялъ».

«Толпа засмѣялась на шутку эту, и нѣкоторые стали, отъ искренняго участія, уговаривать меня, чтобъ я не отказывался: «иди къ нему, иди, у него хорошо въ домѣ; онъ добрый человѣкъ; его обидѣть не надо!»

«Я со слезами на глазахъ подалъ руку Чудомилу; но первый хозяинъ мой, тотъ, который принялъ меня по передачѣ, вступился: «А за что же ты, друже Чудомиле, отнимаешь у меня побратима?» сказалъ онъ: «ты найдешь себѣ другого, когда тебѣ нужно; ты человѣкъ богатый, оставь мнѣ этого—это мой, а я человѣкъ бѣдный!»

«Міръ разсудилъ и помирилъ добрыхъ соперниковъ; старики трепали хозяина моего по плечу и говорили ему: «оставь, оставь; Чудомилъ дѣло дѣлаетъ, а русскій будетъ тебѣ побратимомъ, все равно». Онъ подалъ руку Чудомилу и вмѣстѣ съ нимъ и еще съ двумя товарищами понесъ меня на носилкахъ къ мельнику.

«Въ чистую избу, съ широкими нарами, которыя были устланы, по-турецки, войлоками и коврами, проводили насъ самъ хозяинъ и хозяйка, между тѣмъ, какъ

миловидная дѣвушка растворяла дверь и принесла подушки. Изба биткомъ набилась народомъ; но хозяинъ сказалъ: «Спасибо; прощайте, люди добрые; дайте покой больному; онъ усталъ», и всѣ привѣтливо прощаясь, спѣшили выйти.

«Съ сербами я объяснялся гораздо свободнѣе, чѣмъ съ болгарами: сербское, изъ всѣхъ славянскихъ нарѣчій, кажется, самое близкое къ русскому. Оно также изобилуетъ гласными. Сербы не говорятъ подъ титлами, какъ болгары, на языкѣ которыхъ, между прочимъ, принятъ даже членъ, тогда какъ этой части рѣчи нѣтъ ни въ одномъ изъ прочихъ одноплеменныхъ съ нимъ языковъ. Въ сербскомъ также гораздо меньше примѣси турецкихъ словъ.

«Мнѣ подали похлебку изъ бобовъ, также хлѣба, молока и большой кувшинъ воды; потомъ перевязали раны мои и пожелали спокойной ночи. Сынъ хозяина моего, мальчикъ лѣтъ тридцати, спалъ въ одной комнатѣ со мною, на случай нужной мнѣ помощи; остальное семейство въ другомъ покоѣ, черезъ сѣни. Измученный безпрерывными походами, я уснулъ вскорѣ крѣпкимъ сномъ».

## XI.

## ДОМАШНЕЕ НЕНАСТЬЕ.

Сдавъ Горностая въ добрыя руки, мы его на время оставимъ и возвратимся въ Россію, чтобъ прослѣдить за прочими нашими пріятелями и знакомцами.

Григорій Алексѣевичъ, послѣ описаннаго нами происшествія въ Нижнемъ, досадуя на себя за неудачную попытку поставить Горностая въ забойщики тюленей или морскихъ котиковъ, огорчась также неумѣстнымъ *предложеніемъ* его отпустить съ нимъ падчерицу, на

которую было столько надеждъ впереди, — Григорій Алексѣевичъ едва выждалъ уходъ его, какъ ухватилъ себя за голову, топнулъ ногой, приказавъ выйти человѣку, и напустился на жену и падчерицу. Вы-де у меня ходите развѣсивъ уши, вы вотъ, гдѣ только медкомъ попахнетъ, знай облизываетесь, всякую сволочь за собой таскаете; а вотъ я его хворостиной со двора сгоню, если онъ у меня въ домъ носъ покажетъ...

Надя стала понемногу догадываться, о чемъ рѣчь идетъ; но Анна Герасимовна, которая не успѣла надивиться и нарадоваться тѣсной дружбѣ супруга своего съ Горностаемъ—Анна Герасимовна тутъ ровно ничего не понимала. Она, впрочемъ, какъ читателю извѣстно, рѣдко безпокоила себя тѣмъ, чтобъ понять какое-нибудь дѣло; и потому, едва только показавъ на безстрастномъ лицѣ своемъ видъ недоразумѣнія, тотчасъ же, какъ добрая христіанка, рѣшилась предать дѣло волѣ Божіей и Григорья Алексѣевича. Давъ ему побурлить вволю, она сказала: — Да о чемъ же вы такъ безпокоитесь, Григорій Алексѣевичъ? Ну, хворостиной, такъ хворостиной — вѣдь мы въ этомъ не прекословимъ; не женское жъ это дѣло, сами посудите: вы хозяинъ, ваша воля на то, и распоряжайтесь.

— Да что же у васъ было съ нимъ?

— Ничего не было; встрѣтились — ну, люди знакомые, слово другое молвили, онъ пошелъ съ нами, Наденька еще и перешла отъ него на мою сторону...

— Ужъ эти мнѣ переходы!—закричалъ опять Григорій Алексѣевичъ, и принялъ Надю въ допросъ.—Что онъ тебѣ говорилъ, признавайся!

— Ничего, папенька,—отвѣчала она сквозь слезы:— право, ничего!

— А ты ему что?

— И я ничего, папенька, право...

— Да онъ же тебѣ что?

— Да ничего, право...

— А ты что?.. Да какъ ничего? Ты ничего, онъ ничего, ты опять ему ничего, и онъ тебѣ ничего... Это что за разговоръ? а?

Надя горько заплакала; а какъ Григорій Алексѣевичъ въ первый разъ такъ разсердился на падчерицу, то мать, при всемъ хладнокровіи своемъ, сочла нужнымъ за нее заступиться. Она подтвердила клятвенно, что Надя именно ничего не говорила съ Горностаемъ и не могла говорить съ нимъ безъ вѣдома матери, потому что перешла отъ него на другую сторону, оставивъ мать въ срединѣ. Надѣ ничего не оставалось, какъ плакать и молчать, подтверждая этимъ ложь матери и собственныя свои слова, сказанныя въ началѣ допроса вовсе въ иномъ смыслѣ.

Когда затѣмъ на третій день мать получила письмо Горностая, то она сначала была въ нерѣшимости, промолчать ли объ немъ, или передать его мужу? Страхъ, однакожъ, взялъ верхъ, и письмо было представлено ему, въ доказательство непричастности получательницы. Тогда Григорій Алексѣевичъ по-своему торжественно отпраздновалъ побѣду: онъ позвалъ мать и дочь, прочиталъ еще разъ письмо вслухъ, приказалъ подать свѣчу, сжегъ письмо и отдалъ Степкѣ собственноручно пепелъ, съ приказаніемъ развѣять его по двору на всѣ четыре стороны. Недоставало только, чтобъ онъ пепломъ этимъ приказалъ зарядить пушку и выстрѣлить его за тридевять земель.

О, еслибъ Григорій Алексѣевичъ зналъ — не то, сколько онъ оскорбилъ этимъ бѣдную Надю,—нѣтъ, это не удержало бы его отъ подобнаго дурачества, но еслибъ онъ зналъ, до какой степени оно произвело въ падчерицѣ дѣйствіе противное тому, въ которомъ онъ былъ такъ твердо увѣренъ—то, конечно, придумалъ *бы что нибудь* иное. Бѣдная Надя, чистая и не-

порочная душа, никогда доселѣ непосягавшая на обманъ или хитрость, увидѣла въ тотъ же вечеръ случайно въ передней на полу черный, легкій какъ пухъ листочекъ, который летѣлъ и крутился передъ нею, гонимый движеніемъ воздуха отъ ея платья. Сердце ея защемило, будто уколотое шпилькой, и она, проворно подхвативъ этотъ бывшій листокъ, обращенный рукою грознаго отца въ пепелъ, тщательно берегла и хранила его при себѣ, какъ самую дорогую и завѣтную тайну. Этого Григорій Алексѣевичъ, конечно, не подозрѣвалъ.

Какъ часто неосторожный поступокъ родителей и воспитателей порождаетъ подобныя этому примѣру послѣдствія! Помните, отцы и матери, учители и воспитатели, что ребенокъ—живое существо, а не комокъ глины, который можно мять, лѣпить и формовать для своихъ забавъ и причудъ! Помните, что главнѣйшій признакъ жизни—всякой, даже и младенческой, состоитъ именно въ извѣстномъ противодѣйствіи наружной силѣ, въ отголоскѣ физическомъ и нравственномъ. Даже садовникъ долженъ изучить напередъ природу дерева, чтобъ вырастить его такъ, какъ ему нужно: иначе нерѣдко выйдетъ какой нибудь уродъ. Къ счастію, намъ не всегда удается осилить и переверстать благую природу ребенка по-своему; сколько мы ни портимъ его, сколько ни ломаемъ, но физическое и нравственное чувство самохраненія иногда одерживаетъ верхъ. Тогда мы съ гордостью указываемъ на разсѣянныхъ по всему свѣту бывшихъ воспитанниковъ нашихъ, изъ которыхъ многіе дѣлались порядочными людьми, и говоримъ: «вотъ, всегда нападаютъ на насъ, что воспитаніе и образованіе нашего заведенія никуда не годится: вотъ, посмотрите!»

Также точно дѣлаютъ врачи, или большая часть врачей Если природа, въ борьбѣ съ болѣзнію и съ

медикаментами, выйдетъ побѣдительницей—то они же возглашаютъ побѣду!

Покончивъ дѣла свои, Григорій Алексѣевичъ отправился въ обратный путь, съ новою думою на челѣ. Давно уже видѣлъ онъ въ Надѣ будущее средство достиженія какихъ либо мірскихъ благъ; но послѣднія приключенія заставили его подумать настойчивѣе о скорѣйшемъ окончаніи этого выгоднаго дѣла.

— Въ Москвѣ,—такъ разсуждалъ онъ самъ съ собою,—въ Москвѣ найду я скорѣе зятя съ полными карманами, этакъ душъ тысячи въ двѣ, который бы помогъ мнѣ расправить крылья и пожить на старости лѣтъ; а въ Питерѣ, конечно, легче подхватить такого, что на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ;—да за то по крайней мѣрѣ можно пріискать полезное покровительство. Тогда возьму службой: чины, ордена, аренды... тугоньки они стали нынѣ... но при хорошемъ покровительствѣ, если удачно затешешься въ князи и въ графы... все возможно!

На этомъ основаніи, Григорій Алексѣевичъ рѣшилъ не зѣвать и тутъ и тамъ, а пустивъ по Москвѣ молву объ огромномъ нижегородскомъ имѣніи своемъ и показавъ Надю въ нѣсколькихъ открытыхъ домахъ—гдѣ всѣхъ ругаютъ, но всякаго принимаютъ—отправиться въ Питеръ и блеснуть тамъ изъ послѣднихъ крохъ, разумѣется, стараясь надуть перваго, кто попадется.

Старанія заботливаго родителя вскорѣ увѣнчались блестящимъ успѣхомъ. Отыскался князь — не сказочный какой нибудь и не водевильный, не Блесткинъ, не Зоринъ, не Пронскій, не Чванскій или что нибудь въ этомъ родѣ; а князь настоящій, какъ бываютъ князья, и притомъ съ двѣнадцатью тысячами душъ и блестящимъ положеніемъ въ обществѣ, и еще съ прозваніемъ: князь Бишбармакъ-Шемаханскій. Не успѣлъ

этотъ женишокъ наклюнуться, какъ Григорій Алексѣевичъ поспѣшно окончилъ дѣло, ударилъ по рукамъ и запилъ падчерицу свою шампанскимъ. Эта связь приподняла носъ Григорья Алексѣевича по крайней мѣрѣ на цѣлый вершокъ; тутъ убили такого бобра, въ которомъ нашли вдругъ все, чего искали: и деньги, и покровительство, и связи.

Еслибъ подобная новость и могла остаться на время подъ спудомъ, то Григорій Алексѣевичъ самъ первый заботился о надлежащемъ распространеніи ея, съ жаждою и наслажденіемъ принималъ почетныя поздравленія и готовился на великолѣпныя, блестящія празднества. Приданое строилось, по обычаю нашему, напоказъ, въ него надо было посадить цѣлое состояніе зажиточнаго семейства—а какъ его, состоянія этого, у Ахтубинскаго не бывало, то онъ старался замѣнить его неоплатными долгами, въ которые для этого входилъ очертя голову. Оно, какъ я упомянулъ, готовилось напоказъ, то есть выписывалось дорогою цѣною изъ-за границы и состояло большею частію изъ вещей, ни къ чему ненужныхъ и негодныхъ. Даже самыя платья, которыя изготовлялись дюжинами по каждому названію—бальныя, полубальныя, визитныя, утреннія, вечернія, собственно платья, блузы, капоты, неглиже, закрытыя, открытыя и проч., безъ всякаго сомнѣнія, годились только для дѣвицы Ахтубинской, но не для княгини Бишбармакъ-Шемаханской, которая, сложившись и образовавшись какъ слѣдуетъ въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ замужества, безъ сомнѣнія была бы вынуждена раздать всѣ тряпки эти домочадцамъ. Кромѣ того, прежде, чѣмъ она успѣетъ надѣть на себя одинъ разъ по одной штукѣ изъ каждой дюжины, все это выйдетъ изъ моды и должно будетъ замѣниться другимъ. Нужды нѣтъ; какъ же не изготовить невѣстѣ такого приданаго, которое бы можно

было выставить напоказъ и о которомъ бы стали говорить въ городѣ, если другихъ новостей не хватитъ, цѣлые три дня? Впрочемъ, отъ Григорья Алексѣевича нельзя было и ожидать болѣе разсудительнаго распоряженія; но, къ сожалѣнію, поступаютъ такъ не одни Григоріи Алексѣевичи, а люди всѣхъ чиновъ, званій и прозваній. Иная чета дала бы дорого за то, немного лѣтъ спустя по свадьбѣ, еслибъ изъ этихъ никуда и ни къ чему негодныхъ тряпокъ и разныхъ принадлежностей къ нимъ могла выручить хотя малую долю той суммы, которая затрачена на нихъ безразсудными родителями.

Князь Бишбармакъ-Шемаханскій былъ древняго княжескаго рода; вотъ его родословная: жилъ нѣкогда отецъ—а былъ ли онъ также въ свою очередь сыномъ,—объ этомъ, за давностію времени, ничего неизвѣстно; у этого отца былъ сынъ, у сына сынъ; затѣмъ опять одного сына не досчитывались, но за то отыскался внукъ—это все равно—а у внука три сына: Окрошка, Бишбармакъ и Тюря; отъ средняго происходилъ, въ тринадцатомъ колѣнѣ, нашъ князь, коего предки приняли, для отличія отъ прочихъ и по поводу женитьбы одного изъ нихъ на шемаханской ханишнѣ, прозваніе Шемаханскихъ. Потомки ихъ очень гордились этою вполнѣ достовѣрною родословною; имъ даже не приходило въ голову, что, по общему закону размноженія человѣческаго рода, всякій сынъ происходитъ отъ отца, который, въ качествѣ сына, также происходитъ отъ отца и матери, и такъ далѣе; князья Шемаханскіе, напротивъ, считали это обстоятельство своею собственною, личною принадлежностью и благодарили Бога, что онъ взыскалъ ихъ такою непомѣрною милостію.

Нашъ князь давно уже оглядывался на всѣ стороны... какъ бы это сказать, зачѣмъ? за подругой жизни, подразумѣвая подъ этимъ выраженіемъ точно

то же, чего искалъ Григорій Алексѣевичъ, то есть связей или богатства. Имѣніе князя сильно поразстроилось, что легко понять, вспомнивъ, черезъ сколько рукъ оно по наслѣдству проходило. Въ гостиныхъ князь все еще былъ принятъ, какъ слѣдуетъ такому знатному барину; но разстроенное состояніе его, бурная и буйная жизнь, весьма ненадежная нравственность и тому подобное обратили его, такъ сказать, въ одно только шпалерное украшеніе этихъ гостиныхъ, и никто изъ знати не согласился бы вступить съ нимъ въ ближайшій и кровный союзъ. Князь зналъ и видѣлъ это давно; лучшія лѣта его уже остались за нимъ—онъ обогналъ ихъ неосторожно на поприщѣ свѣтскаго рысистаго бѣга и не успѣлъ даже спохватиться... По всѣмъ симъ уваженіямъ, князь искалъ того, что ему нужно было, одною или двумя ступеньками пониже.

Услышавъ отъ подосланныхъ людей о штатскомъ генералѣ, у котораго такая милая дочь съ огромнымъ приданымъ—помѣстьями въ екатеринославской, полтавской, нижегородской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, князь нашелъ все это весьма по вкусу и, опасаясь, чтобъ дѣло не разстроилось, торопился окончаніемъ его столько же, сколько дѣлалъ это и Григорій Алексѣевичъ, и притомъ оба по однѣмъ и тѣмъ же причинамъ. И тотъ, и другой съумѣли прикинуться богатыми; оба другъ передъ другомъ мастерски сыграли комедію и другъ друга надували и обманывали. И тотъ, и другой опасались, чтобъ правда не вышла во-время наружу, а потому подличали безпрерывно одинъ передъ другимъ, восхищались другъ другомъ взапуски и, не показывая вида, скрытно другъ о другѣ разузнавали что можно, а между тѣмъ одинъ другаго торопили окончаніемъ дѣла.

Анна Герасимовна не находила въ этомъ ни дурного, ни слишкомъ хорошаго, но положившись разъ на

мужа, старалась успокоить и уговорить дочь. Бѣдная Надя, не видя никакихъ средствъ къ спасенію и зная только, что ей должно во всемъ повиноваться родителямъ, выплакала втихомолку всѣ слезы свои до послѣдней капли, молилась по цѣлымъ ночамъ передъ иконой, цаловала свою завѣтную ладонку и затѣмъ предалась волѣ Божіей.

Былъ уже назначенъ день дѣвичника и приглашенія разосланы. Повара съ поваренками, человѣкъ двадцать добавочной прислуги, даже нѣсколько дѣвушекъ изъ моднаго магазина, для пособія въ уборной, — словомъ, все было приговорено, приторговано и заготовлено, не исключая и огромнаго количества цвѣтовъ и оранжерейныхъ деревьевъ, для украшенія лѣстницы и передней, потому что балъ предполагался, какъ выражались оффиціанты, съ *потафлерами*. Соображая еще кой-какія надобности, Григорій Алексѣевичъ сидѣлъ въ своей комнатѣ, какъ человѣкъ подалъ ему записочку, сказавъ: отъ Башмаканскаго-съ».

— Дуракъ! самъ ты Башмаканскій, — вскричалъ Григорій Алексѣевичъ: — пора вамъ научиться, какъ зовутъ князя моего зятя: князь Бишбармакъ-Шемаханскій; князь Степанъ Львовичъ!

Распечатавъ записку, онъ прочиталъ:

«Сколько лестна была для меня надежда вступить съ вами въ кровный союзъ, столь горестно мнѣ теперь видѣть себя въ необходимости жертвовать собственнымъ счастіемъ для блага другихъ. Отъ этой обязанности благороднаго человѣка ничто не можетъ меня удержать. Вы, конечно, знаете, по собственному опыту, какъ ненадежны бываютъ слухи или молва о земныхъ благахъ или богатствахъ человѣка; это крайне обманчиво. Мы считали другъ друга богатыми, и оба ошиблись. Разстроенное положеніе нашихъ состояній заставляетъ меня просить васъ, какъ чадолюбиваго отца,

осчастливитъ рукою истинно прелестной дочери вашей болѣе достойнаго человѣка; отъ меня же принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи моемъ и преданности».

Письмо это такъ ясно по себѣ, что не требуетъ, конечно, никакого объясненія, кромѣ развѣ того только, какимъ образомъ князь столь внезапно и достовѣрно убѣдился въ этой обоюдной комедіи. Нѣкто, бывшій когда-то обыгранъ княземъ въ карты до нитки и таскавшійся съ тѣхъ поръ по бѣлу свѣту, служившій потомъ у Ахтубинскаго по особымъ порученіямъ, по частнымъ его дѣламъ и оборотамъ, былъ имъ обиженъ и выгнанъ, какъ говорится, безъ расчета, т. е. безъ уплаты содержанія и другихъ, слѣдовавшихъ ему по разнымъ сдѣлкамъ денегъ. Оскорбленный этимъ и чувствуя заслуги свои относительно Григорія Алексѣевича, ради котораго онъ совершилъ много подлыхъ подвиговъ и принялъ много грѣха на душу, этотъ отставной человѣкъ поклялся отомстить ему и для этого явился къ прежнему своему знакомцу, князю. Чтобъ отвязаться отъ него, князь выслалъ ему подаяніе; но этотъ не принялъ его, а требовалъ личнаго свиданія по важному дѣлу. Сообщенныя имъ свѣдѣнія были такъ положительны и точны и оказались, по забраннымъ на основаніи ихъ справкамъ, такъ вѣрны, что князь наградилъ своего нежданнаго лазутчика и, не откладывая дѣла, написалъ Ахтубинскому отказъ.

Григорій Алексѣевичъ долго не вѣрилъ глазамъ своимъ; но когда и вѣрные очки подтвердили ему прочитанное отъ слова до слова, то онъ растянулся въ креслахъ, закинулъ голову назадъ, зажмурился и сталъ дышать медленнѣе обыкновеннаго. Между тѣмъ, княжій посланецъ, не подозрѣвая, вѣроятно, какую добрую вѣсть онъ принесъ, сталъ требовать отвѣта; человѣкъ вошелъ доложить объ этомъ, но баринъ молчалъ; тотъ, постоявъ, вышелъ, опять пришелъ и наконецъ обра-

тился къ Аннѣ Герасимовнѣ. Лишь только она, во всей невинности своей и добродушіи, вошла къ мужу и сказала: «Другъ мой, человѣкъ князя Степана Львовича уже съ часъ дожидается; онъ проситъ отвѣта»... какъ Григорій Алексѣевичъ разразился въ проклятіяхъ. Затѣмъ пошла суматоха по всему дому: чрезъ пять минутъ вся дворня не только узнала, что князь прислалъ отказъ, но и прослушала письмо его, прочитанное трижды вслухъ, и толковала объ этомъ въ передней, на кухнѣ и на конюшнѣ. Впослѣдствіи только Григорій Алексѣевичъ нѣсколько опомнился и роздалъ съ пятокъ пощечинъ за то, что подслушивали; но этимъ позднимъ раскаяніемъ онъ не помогъ дѣлу.

Анна Герасимовна, по женскому чувству, поняла, что это позоръ для дочери ея, и горько плакала; Григорій Алексѣевичъ ходилъ взадъ и впередъ, шумѣлъ, кричалъ, бранился и придумывалъ самыя нелѣпыя вещи; Надя наружно была спокойна, а сердце ея прыгало отъ радости; она старалась успокоить мать. Отчимъ вскинулся за это на нее и безъ большаго труда довелъ ее до слезъ; тогда онъ напустился за это опять на нее же: «А ты что? ты о чемъ плачешь? Меня обидѣли, обезчестили, поругали—и это все ты—и ты же объ этомъ плачешь! Хороша дочка! Не умѣла приласкать его, не умѣла влюбить въ себя, какъ должно—вотъ теперь и плачь; и сиди!».

Перебѣсившись, однакоже, надобно было подумать о дѣлѣ. Приказали Надѣ быть больной, послали домовъ въ пятьдесятъ отказать приглашеніе, не велѣли пускать въ домъ ни души. Отказали также и поварамъ съ поваренками и оффиціантамъ съ потафлерами, но этимъ дѣло не кончилось; пошли счеты и разсчеты за огромное количество забраннаго въ долгъ товара всякаго разбора: и съѣстное, и питейное, и наконецъ многоцѣнное тряпье, приданое, вообще почти ни къ чему

негодное, а при теперешнихъ обстоятельствахъ уже вовсе излишнее. Григорій Алексѣевичъ то бѣгалъ отъ несчастныхъ кредиторовъ своихъ, прятался, не сказывался дома, болѣлъ, то храбро принимался опять за расчеты съ ними, шелъ на аккомодацію, какъ самъ онъ выражался, требуя, чтобъ все закупленное принято было обратно, за сбавкою десяти или пятнадцати со ста. Всѣ продѣлки эти огорчали бѣдную Надю до глубины души; она должна была спокойно смотрѣть на всѣ безразсудства своего отчима; онъ разорялся въ глазахъ ея, какъ увѣрялъ, для нея и за нее; но во власти ея не было отклонить его во-время отъ этого безразсудка.

Анна Герасимовна при такомъ положеніи дѣлъ приняла нѣсколько болѣе участія въ судьбѣ дочери своей, чѣмъ можно было ожидать отъ обыкновенной ея безчуственности. Она старалась утѣшить по-своему Надю, которая, на оборотъ, желала бы успокоить мать и отца, вовсе не нуждаясь въ утѣшеніи ихъ относительно потери жениха, но принимала къ сердцу огорченіе родителей и въ особенности безразсудство отчима. Наконецъ, Григорій Алексѣевичъ, въ припадкѣ изступленія, по поводу несговорчивости кредиторовъ своихъ, отрекся торжественно отъ всякаго вмѣшательства въ участь Нади, сказавъ: «дѣлайте отнынѣ, что хотите; распоряжайтесь съ Анною Герасимовною, какъ знаете; какова матушка, такова и дочка; я умываю руки и впередъ не хочу и слышать о вашихъ бабьихъ сдѣлкахъ, не хочу и знать, кто и когда у насъ будетъ женихомъ»

## XII.

## ПРОЩАНЬЕ.

Между тѣмъ, Горностай оправлялся отъ раны своей въ глухой сербской деревнѣ, и никто въ мірѣ,

изъ знакомыхъ и сослуживцевъ, не считалъ его живымъ; онъ давно уже былъ исключенъ изъ списковъ, какъ убитый. Предоставимъ ему опять самому продолжать разсказъ:

«Когда я проснулся утромъ довольно поздно, то у дверей на лавкѣ сидѣла хозяйская дочь, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, смѣнившая при мнѣ своего маленькаго брата. Она спокойно плела коклюшками синій гарусный снурокъ, который въ такомъ общемъ употребленіи у сербовъ для цифровки суконной одежды. Замѣтивъ, что я проснулся, она поклонилась мнѣ привѣтливо, подошла и стала спрашивать осторожно, тихимъ голосомъ, не нужно ли мнѣ чего.

«Я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на прекрасную, рослую и статную дѣвушку въ пестрой народной одеждѣ, въ желтыхъ сапожкахъ, коротенькой юбкѣ и какомъ-то мужскомъ чекменькѣ, въ головныхъ украшеніяхъ, которыя ей были очень къ лицу.

— Какъ тебя зовутъ, умница?—спросилъ я.

— Стана.

— Стана! хорошее, но странное имя. Откуда оно у васъ?

— А когда я родилась у матушки, то она не захотѣла, чтобъ у нея были еще дѣти; довольно одной, подумала она, и назвала меня Стана, т. е. будетъ, довольно, стань.

— Что же? и у васъ природа повинуется такому приказанію? и болѣе дѣтей не было?

— Нѣтъ,—сказала она смѣючись:—не повинуется. У матушки было послѣ меня еще двое, оба померли. Тогда она много молилась и просила у Бога прощенія за недоброе желаніе свое, и просила, чтобъ Онъ далъ ей ребенка, только не мертваго, а живого. Родился нынѣшій братъ мой и его назвали Волкомъ (Вукъ), чтобъ вѣдьмы не могли его съѣсть. и онъ, слава Богу,

живъ. А я все-таки осталась Станой, прибавила она смѣючись.

«Стана день-ото-дня ходила за мною съ большимъ вниманіемъ и дружбою; родители хвалили ее за это, и она отъ меня не отходила. Я вскорѣ замѣтилъ изъ разговоровъ ея, что она получила нѣкоторое образованіе; объ этомъ позаботился отецъ, весьма умный и довольно образованный человѣкъ. Она охотно читала вслухъ, и перечитывала не только десятокъ-другой книгъ небогатой сербской словесности, но и чешскія книги, понимая ихъ очень хорошо. Я сдѣлался ученикомъ ея, и вскорѣ сталъ свободно объясняться по-сербски. Она съ жадностію слушала все, что я ей объяснялъ и разсказывалъ, училась у меня по-русски, крайне жалѣла, что негдѣ было достать русской книги, и съ такимъ участіемъ распрашивала о Россіи, будто это была настоящая родина ея. И теперь еще я не совсѣмъ понимаю, откуда родилась въ ней эта возраставшая со-дня на-день привязанность къ Россіи; но Стана безпрестанно мечтала о томъ, какъ бы она переселилась туда и какъ бы стала дружно жить тамъ съ братьями и сестрами по племени, языку и вѣрѣ. Мечты ея образовали для нея какой-то тѣсный, братскій кругъ, счастливую страну, обѣтованную землю. Сербы тогда были очень привязаны къ Россіи, и притомъ уже съ давнихъ временъ какая-то темная надежда направляла всѣ желанія и помыслы ихъ на насъ; привязавшись ко мнѣ, Стана слила мечты свои съ этимъ народнымъ духомъ, и въ ней начинала развиваться тоска по родинѣ—смѣшно сказать, не по своей, а по чужой! Сербы отъ природы любятъ музыку; у Чудомила стояли маленькіе, старинные клавикорды, и Стана играла на нихъ довольно бѣгло, пѣла народныя пѣсни свои не ученымъ, но весьма пріятнымъ голосомъ, перелагая нерѣдко пѣсни эти такъ, что онѣ относились

не до Сербіи, а до Россіи; тогда она оглядывалась на меня улыбаясь, и выманивала этимъ у меня также одобрительную улыбку, которая, можетъ быть, выражала и нѣсколько болѣе, чѣмъ одно только одобреніе.

— Зачѣмъ же ты все поешь и говоришь о Россіи, милая Стана,—спросилъ я: — тогда какъ ты вначалѣ, когда отецъ твой взялъ меня къ себѣ въ домъ, говорила и пѣла о своемъ отечествѣ?

— Зачѣмъ? — сказала она: — затѣмъ, что узнала Россію черезъ тебя, узнала въ тебѣ русскаго и брата; я слышала доселѣ о Россіи отъ стариковъ — всѣ они туда смотрятъ, всѣ какъ будто ждутъ своего счастья оттуда; я не понимала ихъ; теперь же и сама полюбила землю вашу и всѣхъ васъ.

— Но ты всегда бредишь Россіей; развѣ ты рѣшилась бы покинуть родину свою, промѣнять ее на чужбину?

— Какъ на чужбину? на какую?

— Да на Россію, о которой ты теперь мечтаешь, кажется, день и ночь?

— Россія не чужбина,—сказала она, но въ то же время покраснѣла и опустила вѣки. Я неожиданно попалъ въ какое-то странное положеніе, а потому остановился и не зналъ, какъ продолжать разговоръ.

«Оставшись одинъ, я сталъ обдумывать настоящія свои отношенія. Сравненіе Станы съ Надей, конечно, оставляло милую хожалку мою въ темной тѣни; но сама по себѣ Стана была очень привлекательна. Я былъ свободенъ; ничто не связывало меня съ Надей; я поступилъ прямо и благородно: письменно отказался отъ всѣхъ надеждъ и притязаній,—все это такъ; но что, если Надя помнитъ слово, которое мнѣ сказала: «не покидайте же меня», и что тогда, если она помнитъ также отвѣтъ мой, котораго я не помню?

«Стана, кажется, любитъ меня; она еще такъ мо-

лода, умна и любознательна, изъ нея можно сдѣлать все; она бы вскорѣ ни въ чемъ не уступила нашимъ образованнымъ дѣвушкамъ; отецъ ея любитъ и меня и Россію; можетъ быть, онъ не захотѣлъ бы разорвать насильственно этотъ союзъ; можетъ быть, даже рѣшился бы переселиться вмѣстѣ съ нами на мою родину, или оставилъ бы меня одинокаго, безроднаго у себя; развѣ мнѣ здѣсь не будетъ также хорошо? Все такъ; но что, если Надя ждетъ меня, если она перенесла за меня тысячу огорченій, и упорно, настойчиво удаляла всѣхъ искателей? Что тогда, если даже упрямая и безразсудная воля отца ея не могла сокрушить этого мягкаго, но вѣрнаго сердца? что, если она помнитъ мой отвѣтъ, котораго я не помню?

«Въ это мгновеніе меня поразило, какъ стрѣлой, воспоминаніе того разсказа, который я слушалъ на бивакахъ подъ Шумлой, наканунѣ или въ самую ночь моего плѣна. Одно слово это бросило мнѣ всю кровь въ голову. Я вообразилъ себѣ Надю въ такомъ же точно положеніи, какъ невѣсту легкомысленнаго французскаго офицера: обманутою, безумною, и наконецъ на одрѣ смерти... Дыханіе мое замерло; я хотѣлъ быть одинъ, не хотѣлъ никого видѣть; а между тѣмъ, несносная и милая Стана опять уже вертѣлась около меня и тѣмъ настойчивѣе приставала ко мнѣ съ своими вопросами, чѣмъ молчаливѣе и пасмурнѣе я ей казался. Я просилъ ее дать мнѣ покой, оставить меня одного, — для чего, зачѣмъ? я слабъ, я хочу отдохнуть! «Отдыхай; я никогда не мѣшала тебѣ и теперь не помѣшаю: я буду сидѣть смирно и тихо». Я настоялъ, чтобъ она вышла, но она сѣла у порога. Я легъ молча и отвернулся отъ нея; она вышла потихоньку и подошла къ окну, прямо насупротивъ меня. Это меня тревожило; я однакожъ лежалъ смирно и не показывалъ вида, что замѣчаю ее; она пошла по двору и по саду и распѣвала звонкимъ

яснымъ голосомъ своимъ сербскія и русскія пѣсни, заставляя меня противъ воли прислушиваться къ нимъ и разгадывать слова и смыслъ.

«Я опять съ живостію вспомнилъ вечеръ на бивакахъ. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ три разсказа этого вечера, несмотря на чрезвычайную разнородность свою, были въ какихъ-то весьма близкихъ ко мнѣ отношеніяхъ: я былъ въ плѣну, испыталъ довольно замѣчательныя похожденія и спасся, при содѣйствіи добрыхъ людей, бѣгствомъ — это было содержаніе перваго разсказа; я былъ раненъ, по обыкновеннымъ понятіямъ, смертельно, а между тѣмъ видимо выздоравливалъ, — это разсказъ доктора о канонирѣ, у котораго голова была сплюснута лепешкой; и я былъ спасенъ, хотя у меня и не было такого чуднаго доктора. Наконецъ, нынѣ я попалъ въ такое положеніе, что и третій разсказъ, о покинутой невѣстѣ, какъ будто угрожалъ надо мною исполниться. Это меня испугало, привело въ себя—и этому разсказу я обязанъ, можетъ быть, своимъ спасеніемъ. Благодарность къ этимъ добрымъ людямъ, привязанность милой Станы и собственное, можетъ быть, только мимолетное сочувствіе съ нею могли бы заставить меня сдѣлать такой шагъ, за который совѣсть мучила бы меня по гробъ. Болгарская собака спасла мнѣ жизнь, а случайный разсказъ товарища на бивакахъ спасъ мою честь и совѣсть.

«Я воспользовался первымъ случаемъ, чтобъ разсказать Станѣ, что я женихъ и покинулъ на родинѣ своей невѣсту. Она разспрашивала меня обо всѣхъ подробностяхъ по этому дѣлу съ какимъ-то смѣшаннымъ чувствомъ любопытства, участія, радости и грусти. Я убѣдился, что успѣлъ еще во-время отклонить непріятныя послѣдствія нашей тѣсной дружбы, но что и не должно было далѣе откладывать этого объ*ясненія*. *Стана*, конечно, никогда не думала считать

меня женихомъ своимъ; но ее, можетъ быть, увлекало чувство безотчетное, которое теперь, къ счастію, встрѣтило на пути своемъ порожекъ и запнулось. Стана сдѣлалась въ обращеніи со мной болѣе робка и осторожна, часто потупляла черныя очи свои, но также охотно бесѣдовала о благословенной Россіи и, разспрашивая обо всѣхъ подробностяхъ предполагаемой ею счастливой будущности моей, часто трогала меня и въ то же время смѣшила.

«Но я самъ для себя былъ и жалокъ, и смѣшонъ. Безъ тѣни надежды на это будущее—я долженъ былъ лгать, прикидываться счастливымъ женихомъ, отказываться отъ настоящаго, въ которомъ я тогда точно видѣлъ сбыточность моего семейнаго счастія—и воротившись на родину, закалить сердце свое окончательно и вынести безропотно ожидающую меня тамъ участь!

«Наконецъ, время искуса моего стало приближаться къ исходу. Я ходилъ уже свободно и считалъ себя здоровымъ; я уже испытывалъ силы свои на охотѣ и въ дальнихъ прогулкахъ. Меня тяготило мое положеніе вдвойнѣ; я все еще былъ нахлѣбникомъ Чудомила, хотя онъ и не показалъ мнѣ ни однимъ словечкомъ, чтобъ я ему наскучилъ, или обременялъ его — и все еще видѣлъ передъ собою милую Стану, которая, несмотря ни на какія усилія надъ собою, не могла безъ слезъ вспомнить о предстоящей со мною разлукѣ. Войска наши уже снова двинулись за Дунай и частію вступили въ Малую-Валахію, въ сосѣдствѣ съ Сербіею. Узнавъ объ этомъ, я сталъ настойчиво просить своего хозяина отпустить меня, надѣясь достигнуть такъ или иначе до нашихъ войскъ.

— Доброе задумалъ, — сказалъ Чудомилъ: — любо мнѣ, что ты гость мой; но тебѣ пора къ своимъ. Будешь опять бить турковъ-собакъ. Только трудно: дороги опасны, пути *ты не* знаешь, денегъ у тебя нѣтъ—

турки поймаютъ, такъ голову сымутъ съ плечъ, какъ кочерыжку. Надо дѣло сдѣлать толкомъ; я твой вожакъ; но я соберу нынѣ вечеромъ раду, человѣкъ пять поумнѣе и поопытнѣе, и рѣшимъ, какимъ путемъ идти.

«Вечеромъ, собрались старики на совѣтъ и на прощанье со мною. Чудомилъ угощалъ ихъ, и Стана была нашимъ кравчимъ. Она ходила около насъ и прислуживала, но во все время не сказала ни слова; лицо ея выражало грусть, но и гордость побѣды надъ собой; она была спокойна и величава. Прощаясь со мною вечеромъ, она только сказала мнѣ: «Береги моего отца— видишь, какъ онъ тебя любитъ: онъ идетъ за тебя на большую опасность».

«Рано на третій день, мы пустились верхами въ походъ. Не могу выразить, какъ сладко и больно было мнѣ послѣднее прощанье: опоздавшіе сосѣди догоняли насъ пѣшкомъ, кричали намъ вслѣдъ: «стань, братику!» подавали руки и напутствовали насъ своими пожеланіями.

«Стана крѣпилась до послѣдней минуты; но вдругъ зарыдала, накрывъ лицо, и въ ту же минуту опомнилась, и также внезапно успокоилась. На лицѣ ея почти не было видно и слѣда слезъ и страданій. Она подошла ко мнѣ съ улыбкой, поцѣловала мнѣ, по сербскому обычаю, руку, а потомъ дала себя обнять, — лицо и уста ея были холодны—потомъ бросилась къ отцу и, повиснувъ на шеѣ его, дала свободу слезамъ. Онъ обнялъ ее, перекрестилъ, велѣлъ успокоиться и брать примѣръ съ матери, которая простилась съ мужемъ нѣжно, но разумно. Лицо Станы опять внезапно прояснилось, хотя слезы висѣли крупными каплями на щекахъ и рѣсницахъ. Мы сѣли на коней и пустились въ путь; она стояла рядомъ съ матерью и смотрѣла намъ вслѣдъ, покуда поворотъ дороги въ кустахъ не скрылъ насъ отъ ея взора».

## XIII.

## БОЕЛЕШТИ.

«Мы держались почти все на сѣверъ, мимо Нисы и Видина, въ тотъ уголокъ, гдѣ сходятся Болгарія, Сербія и Малая Валахія. Чудомилъ, не разъ бывавшій въ походахъ, или, вѣрнѣе сказать, въ разбояхъ противъ турокъ, выросшій на тревожной границѣ Сербіи и Турціи, гдѣ никогда крестьянинъ не выходитъ на пашню безъ винтовки за плечами, Чудомилъ былъ опытенъ и остороженъ. Глядя на него въ это время, трудно было узнать въ немъ мельника.

«Къ границамъ Валахіи слухи становились опаснѣе: говорили, что шайки турокъ бродятъ тамъ и сямъ, но мирные поселяне все еще проѣзжали довольно спокойно. Подумавъ немного, Чудомилъ снялъ все вооруженіе свое и оставилъ его на границѣ у земляка, велѣвъ мнѣ сдѣлать то же. «Такъ будетъ безопаснѣе»— сказалъ онъ мнѣ и прибавилъ: «смотри, если наткнемся на турокъ, говори, что мы сербы, изъ Радомья, и ѣдемъ къ туркамъ предложить имъ услуги свои послужить лазутчиками противъ русскихъ; бѣдность наша заставила насъ рѣшиться на этотъ опасный промыслъ».

«Мы вступили въ Валахію. Здѣсь не было у насъ уже тѣхъ удобствъ подъ рукой, какъ дома: языкъ чужой, народъ робкій и недовѣрчивый, объятый страхомъ, пути неизвѣстны, радушія земляковъ нѣтъ. О туркахъ говорили, что армія ихъ съ пашой стоитъ еще за Дунаемъ. Это было сказано около обѣда; къ вечеру, мы были у нихъ въ рукахъ, и насъ привели къ сераксиру. Это была та самая турецкая армія, которая такъ внезапно кинулась въ Малую Валахію, чтобъ уничтожить отрядъ нашъ, прикрывавшій кня-

жества отъ юго-востока. Разъѣздъ наткнулся на насъ, взялъ насъ безъ сопротивленія, и мы отвѣчали, въ чемъ условились.

«Продержавъ насъ сутки и принявъ нѣсколько разъ въ допросъ,—Чудомилъ говорилъ свободно по турецки,—намъ повѣрили и рѣшились воспользоваться нашими услугами, посуливъ, однакожъ, за измѣну—колъ. Но, несмотря ни на какія убѣжденія Чудомила, сераксиръ не далъ намъ охраннаго листа, сказавъ, что этого не нужно.

«Мы опять оправились впередъ, и надежда намъ снова улыбнулась, но жестоко измѣнила. Подъ мной захромала лошадь; медленно подвигались мы впередъ, садясь поочередно на здоровую лошадь и идучи пѣшкомъ. Ночь настала, ливень промочилъ насъ до нитки и залпъ бѣшенной шайки, на самомъ поворотѣ въ лѣсокъ, ослѣпилъ и приковалъ къ мѣсту, какъ внезапный ударъ молніи и грома среди ночной темн. Къ счастію, одна только пули угодила въ живое мясо, да и та въ моего бѣднаго хромого коня; остальныя просвистѣли мимо. Насъ связали, и ничто не могло увѣрить турокъ, чтобъ мы не были русскими лазутчиками. Мысль эта, поселившись разъ въ воспламененномъ воображеніи изувѣровъ, искала и находила доказательства во всемъ, что они видѣли и слышали: сербы, братья русскимъ, ночью крадутся къ турецкому посту,—это лазутчики: на дерево ихъ, петлю на шею, и дѣлу конецъ!

«Приговоръ этотъ собирались уже исполнить; услужливый низачими (служивый регулярнаго войска) отвязалъ отъ первой палатки пару оттяжекъ и сталъ завязывать петлю. Глядя на него, несмотря на незавидное положеніе наше, я однакожъ невольно вспомнилъ замѣчаніе бывшаго плѣннаго товарища моего въ *Шумлѣ*, Лаврентьева, который замѣтилъ, что его свя-

зали не пенькою, а бумажною веревкой: и насъ собирались повѣсить на бумажной веревкѣ. Чудомилъ былъ спокоенъ и величавъ: трудно было ему перекричать разъяренную и буйную толпу, которая хотѣла одного только—крови; но онъ твердо стоялъ на своемъ и требовалъ, чтобъ его представили самому сераскиру, который наканунѣ лично говорилъ съ нимъ и далъ ему порученіе. Начальникъ партіи одумался, и намъ только связали руки тѣми же бумажными веревками, на которыхъ были уже закинуты петли для нашихъ шей.

«Въ этомъ положеніи отправили насъ въ Калефатъ, вслѣдъ за турецкою главною квартирою; но не заставъ уже тамъ сераскира, повезли далѣе, на Чорой, къ мѣстечку Боелешти, гдѣ она стояла лагеремъ. Все это длилось дня три, и насъ изрѣдка только на короткое время развязывали. Сераксиру было не до насъ; но услужливый вѣстовщикъ объявилъ намъ пріятную новость, будто паша отвѣчалъ на докладъ о насъ: «На что же мнѣ ихъ? что я съ ними буду дѣлать? Коли они лазутчики, такъ, разумѣется, повѣсить ихъ завтра же утромъ».

«Это происходило въ тотъ незабвенный вечеръ, который предшествовалъ ночной битвѣ подъ Боелештами. Турки перешли у Видина за Дунай въ значительныхъ силахъ и готовились раздавить русскій отрядъ, вшестеро меньшій числомъ. Послѣ нерѣшительной дневной битвы, турки окружили отрядъ нашъ, ждали только разсвѣта, чтобъ его уничтожить поголовно, и праздновали уже побѣду. Но военное счастіе судило иначе: безпечность турокъ и рѣшимость русскихъ повершили дѣло. Видя опасность свою, русскій военачальникъ могъ ждать спасенія только отъ внезапнаго и чрезвычайнаго усилія: турки намѣревались разгромить его на слѣдующій день, а онъ предупре-

дилъ ихъ, раздробилъ всѣ войска свои на малыя части, растянулъ ихъ по возможности, обхватилъ въ темную ночь лагерь турецкій полукругомъ; ударилъ вдругъ съ трехъ сторонъ — и армія эта была уничтожена и разсѣяна поголовно; Букарестъ, вся Валахія были спасены, и тылъ арміи нашей обезпеченъ.

«Послѣ дневныхъ стычекъ, ночь прекратила дѣйствія; турки расположились ждать утра, увѣренные въ успѣхѣ. Мы лежали связанными среди лагеря; около насъ мало-по-малу все утихло; тутъ и тамъ дѣлались еще приготовленія къ завтрашнему бою; самонадѣянность праздновала уже прежде времени побѣду; тысячи огней дымились, обозначая среди совершенной темноты, свойственной южнымъ ночамъ, весь турецкій лагерь. Турки стояли такъ оплошно, что русскій отрядъ, растянутый весь почти въ одну цѣпь, подошелъ вплоть, слышалъ говоръ, различалъ лица сидящихъ за огонькомъ и котлами, видѣлъ дымокъ, клубящійся отъ трубокъ, — а турки въ это самое мгновеніе бесѣдовали о завтрашней вѣрной побѣдѣ и дѣлили въ умѣ добычу.

«Какъ молнія изъ накопившейся тучи, внезапно открылся бѣглый огонь по всей линіи огромнаго полукруга, обхватившаго нашъ, то есть турецкій, станъ. Въ то же мгновеніе пѣхота кинулась въ штыки, конница мяла и давила все живое, что на пути своемъ встрѣчала, рубила вправо и влѣво и неслась далѣе. Въ первую минуту, мы были несомнѣнно обязаны спасеніемъ своимъ именно тому, что лежали связанные: кто только успѣвалъ вскочить на ноги, пуститься бѣжать, схватиться за оружіе или за лошадь—легъ на мѣстѣ. Въ одну минуту все вокругъ насъ опустѣло: конница пронеслась; турки бѣжали, или были изрублены; лошади сорвались съ коновязей и также понеслись во всѣ четыре стороны. Казалось, что мы были спасены; но положеніе наше все еще было крайне загадочно и

и опасно: каждую минуту русскій штыкъ, пуля или сабля могли покончить навсегда похожденія наши, прежде чѣмъ мы бы успѣли обнаружить ошибку. Чудомилъ удержалъ меня, когда я хотѣлъ распутать себѣ руки, сказавъ: «оставь, въ этомъ положеніи послѣдній солдатъ русскій не обидитъ насъ, увѣрившись несомнѣнно, что мы враги туркамъ и у нихъ въ плѣну; а если мы въ полутурецкой одеждѣ своей пойдемъ бродить по стану, то легко можемъ за это дорого поплатиться».

«Наконецъ, говоръ людской сталъ опять приближаться къ намъ; это была цѣпь небольшаго резерва, подававшагося впередъ. Я подозвалъ солдата, лишь только могъ окликать его голосомъ, сказалъ, что мы русскіе, просимъ помощи его и спрашивалъ, гдѣ офицеръ. Насъ развязали; человѣкъ пять собрались около насъ и не знали, правду ли мы говоримъ, свои ли мы, или насъ для вѣрности, должно считать непріятелями!

— Что тамъ у васъ?— раздалось со стороны, и голосъ мнѣ показался знакомымъ:—что тамъ?

— Да вотъ,—отвѣчалъ другой:—какіе то двое, да говорятъ, что наши; а одинъ и по-русски плохо знаетъ!

— Врутъ они:—продолжалъ опять первый, подходя ближе:—чего ты имъ въ зубы глядишь? Бей своихъ, Чужіе бояться будутъ. Какіе это свои? Все тѣ же собаки; вишь, шаровары копной раздуло!

— Лаврентьевъ!—вскричалъ я съ изумленіемъ:—Лаврентьевъ! это ты?

— Кто? я? да ты откуда меня знаешь?... прости Господи, ваше благородіе! Андрей Ефимовичъ! и кинулся на меня, какъ на роднаго сына.

— Хорошъ,—сказалъ я:—нечего сказать; и ты же, старый товарищъ, хотѣлъ на меня руку поднять за то, что тебѣ шаровары мои не понравились, а?

— Отсохни она, рука эта,—отвѣчалъ онъ:—грѣхъ попуталъ, Андрей Ефимовичъ; вѣдь не видалъ я, ей Богу, не узналъ: ну, какъ было подумать... Ахъ ты Господи, Создатель мой!

«На утро я былъ представленъ начальству вмѣстѣ съ моимъ добрымъ Чудомиломъ, и просилъ ему награды, какъ человѣку, спасшему жизнь русскому офицеру отъ искренняго усердія, и подвергавшему за него даже собственную жизнь свою неоднократно крайней опасности. Ему выдали похвальный листъ и полсотни червонцевъ, предоставивъ еще къ медали, которую онъ также впослѣдствіи получилъ. Денегъ онъ сначала не хотѣлъ принять, полагая, что это мои; когда же ему растолковали, что ему жалуется это именемъ царя русскаго, то онъ поцѣловалъ червонцы и назначилъ ихъ въ приданое своей дочери. Я могъ только достать отъ маркитанта взаймы кусокъ турецкой ткани съ золотыми цвѣтами, называемой цамхани или донхани и послалъ его Станѣ. Весь край очистился отъ турокъ, и Чудомилъ, послѣ искреннихъ, братскихъ объятій со мной, отправился въ обратный путь.

«Лаврентьевъ долго не могъ постигнуть, какимъ образомъ я, дважды убитый, погибшій и безъ вѣсти пропавшій, очутился въ турецкомъ станѣ, въ полутурецкой одеждѣ и наконецъ примкнулъ опять, живъ и здоровъ, къ войскамъ нашимъ, съ которыми благополучно окончилъ походъ.—«Живучи вы, ваше благородіе»,—говорилъ онъ:—«нечего сказать: дай вамъ Богъ столько лѣтъ жить, сколько разъ я васъ поминалъ въ молитвахъ послѣ того, какъ казаки васъ высвободили изъ плѣна, а вы опять себѣ пропали безъ вѣсти. Не жалѣйте, ваше благородіе, собакъ этихъ: подѣломъ вору и мука; что покинешь одного живаго, *то больше хлопотъ* съ нимъ наживешь, да еще, чего

добраго, на томъ свѣтѣ за него отвѣчать станешь; а чѣмъ скорѣе повыбьемъ всѣхъ, то скорѣе мѣсто очистимъ, да домой пойдемъ».

## XIV.

## ТОЧКА.

«Покончивъ походъ, награжденъ будучи за плѣнъ свой чиномъ, а за тяжелую рану крестикомъ и пенсіономъ, я взялъ отпускъ и поѣхалъ прямо изъ карантина въ свое полтавское имѣньице, чтобъ собрать тамъ двугодичныя недоимки и хозяйственные барыши, да расположить судьбу свою на будущее время. Я рѣшился выйти въ отставку и, чувствуя себя теперь довольно спокойнымъ, заняться науками.

«Кто не испыталъ этого наслажденія—возвратиться на родину свою, послѣ долговременной отлучки, послѣ многихъ и тяжкихъ испытаній, трудовъ и лишеній, тотъ не поймetъ меня, если я скажу, что каждый прутъ, каждый кустъ и дерево въ моемъ скромномъ уголкѣ утѣшали, спокоили и радовали меня какъ ребенка. Я прожилъ съ недѣлю, не видавъ, какъ время прошло, и тогда только наконецъ вспомнилъ о бѣдномъ, разоренномъ хуторѣ бывшаго генеральнаго судьи, гдѣ случилась со мною когда-то такая неожиданная встрѣча. Мнѣ захотѣлось навѣстить этотъ уголокъ, съ которымъ сопряжено было для меня столько дорогихъ воспоминаній, и я поѣхалъ на охоту, направивъ путь свой прямо въ ту сторону.

«Я прибылъ подъ вечеръ; солнце бросало наклонные лучи свои прямо въ окна хутора, и зеленоватыя, пузырчатыя стекла отражали ихъ игриво-золотистымъ блескомъ, переливаясь во всѣ радужныя цвѣта.

«Я подъѣхалъ ближе, обошелъ пѣшкомъ вокругъ сада,—все было уныло и пусто; видно помѣщикъ давно не заглядывалъ въ дочернину вотчину. Я взошелъ на крылечко съ дубовыми рѣзными столбиками, —никого не было видно; издали только прошла баба съ запасомъ кукурузы въ подолѣ, и дворняшка стояла въ нерѣшимости у воротъ, не зная, продолжать ли ей лѣнивый лай свой, или успокоиться и улечься на мѣстѣ. Вдругъ дверь за мной скрипнула, я оглянулся—и Надя стояла передо мной.

Я растерялся до того, что не зналъ, переступить ли завѣтный порогъ, въ сѣнцы, или бѣжать, какъ сумасшедшій, въ поле. Она все еще стояла передо мною и плакала. Я подошелъ, ухватилъ руку ея, и колѣни мои подкосились; Надя почувствовала это, отступила еще на шагъ въ глубину сѣней, а я послѣдовалъ за нею.... Услышавъ шаги въ ближайшимъ покоѣ, куда двери остались на половину растворенными, я вырвался изъ объятій Надиныхъ и съ нею вмѣстѣ встрѣтилъ въ дверяхъ кого-то изъ прислуги

«Мы вошли. Разспросамъ не было конца; но отвѣты были скоры и бѣглы: въ четверть часа мы узнали другъ отъ друга все, что было нужно. Григорій Алексѣевичъ, удрученный неудачами, разоренный окончательно послѣднимъ предпріятіемъ своимъ выдать Надю за князя Шемаханскаго, преслѣдуемый кредиторами, не будучи въ состояніи держаться долѣе въ столицахъ, отдалъ всю движимую собственность свою, набранную имъ большею частію въ долгъ, на расхищеніе неумолимыхъ, обезпечилъ себя отъ тюрьмы состояніемъ на службѣ и уѣхалъ въ безсрочный отпускъ на этотъ наслѣдственный женинъ хуторокъ. Тутъ онъ сидѣлъ у моря и ждалъ погоды, не зная только какой, и сочинялъ новые планы на блестящую будущность. Его теперь не было дома.

«Надя побѣжала за матерью; часть прислуги, знавшая меня, явилась у дверей, раскланивалась со мною, радовалась мнѣ, а Надина нянюшка горько плакала и, кажется, про себя молилась.

«Надя опять вбѣжала, статная, веселая, легкая, какъ птичка, позвала меня въ гостиную и сказала, что мать сейчасъ будетъ. Нянюшку свою она обняла и спровадила во внутренніе покои.

«Анна Герасимовна встрѣтила меня точно такъ, будто мы только вчера разстались и будто она меня сегодня ждала, зная, что я живъ и здоровъ и на вечеръ къ нимъ буду. Иначе она привѣтствовать не умѣла и предоставила дочери разспрашивать меня обо всемъ; сама же сидѣла, улыбаясь, слушала и качала иногда одобрительно своею шарообразною головкой. Огромный платчище закрывалъ не только всю верхнюю половину особы ея, но даже и руки постоянно проживали подъ этимъ цыганскимъ одѣяломъ, придерживая на груди края его, будто остальная одежда не была въ такомъ состоянiи, чтобъ можно было показаться въ ней передъ постороннимъ человѣкомъ.

«Вдругъ послышались мужскіе шаги. Надя прошептала: «папенька!» взглянула на мать и на меня и сложила руки ладонями; я невольно привсталъ, и Григорій Алексѣевичъ стоялъ предъ нами.

«Люди сказали ему уже, что я здѣсь; онъ принялъ меня, вопреки всякаго ожиданія моего, очень радушно и привѣтливо. Я нашелъ въ немъ большую перемѣну: въ два года онъ состарѣлся, замѣтно посѣдѣлъ и спустился съ высокихъ ходулей своихъ пониже. Онъ, правда, и теперь еще былъ весь начиненъ предположеніями и несбыточными затѣями, на которыхъ думалъ внезапно опять подняться, но, казалось, болталъ только, по старой привычкѣ, все одно и то же, или передѣлывалъ, для забавы, старую погудку на новый

ладъ, и самъ не обращалъ большого вниманія на болтовню свою, и черезъ четверть часа говорилъ опять иное.

«Я объяснилъ, что никакъ не полагалъ застать здѣсь Григорія Алексѣевича съ семействомъ, а, проживъ нѣсколько дней у себя, заѣхалъ случайно, вздумавъ навѣстить бывшій хуторъ генеральнаго судьи. Надя отъ души радовалась веселому расположенію отца своего и не знала, какъ ему угодить и отблагодарить за такую неожиданную милость. Разсказы мои обо всѣхъ моихъ похожденіяхъ удостоились общаго вниманія и удивленія и даже приглашенія Григорья Алексѣевича не уѣзжать безъ чаю, а потомъ остаться ужинать. Мнѣ показалось, что надобно ковать желѣзо, покуда оно не простыло; я видимо выросъ на четверть въ глазахъ Григорія Алексѣевича, дослужившись въ два года до поручика, пенсіи и креста, о чемъ онъ нѣсколько разъ подробно распрашивалъ, приговаривалъ: «а, а!» и подымалъ брови повыше. Несчастное вмѣшательство его въ судьбу Нади, вѣроятно, было у него еще въ свѣжей памяти; собственное его жалкое положеніе, несмотря на всѣ грезившіяся ему надежды, даже и въ его глазахъ потеряло уже много блеска; словомъ, мнѣ казалось, что участь моя должна рѣшиться, такъ или иначе, сегодня же.

«Онъ повелъ меня смотрѣть хозяйство, и у Нади достало духа спросить позволенія идти съ нами. Григорій Алексѣевичъ при этомъ случаѣ не упустилъ распространиться въ похвалахъ на счетъ добрыхъ хозяйственныхъ качествъ падчерицы своей и прибавилъ: «иди, пойдемъ, покажи гостю товаръ свой лицомъ!»

«Хозяйство это было, впрочемъ, не слишкомъ казисто: пятокъ разношерстныхъ лошадей, и въ томъ числѣ кобыла съ жеребенкомъ *собственнаго завода*; при *нихъ козелъ*, который очень забавлялъ хозяина; деся-

токъ овецъ, и съ ними коза; гумно было только указано пальцемъ издали, потому что на немъ предполагалось поставить современемъ много хлѣба, но теперь не было ничего; садъ, запущенный, заглохшій бурьяномъ, все-таки вѣковыми деревьями своими поселялъ болѣе пріятное чувство, нежели полураскрытыя кровли ухожей и бѣдное хозяйство.

«Мы самъ-третей ходили въ саду по главной, нѣсколько прочищенной дорожкѣ; Григорій Алексѣевичъ старался занять меня предположеніемъ своимъ: завести картофельно-паточный заводъ, скупать въ большомъ количествѣ дешевые плоды и ягоды, варить варенье и отправлять его въ обѣ столицы. Онъ разсчитывалъ, что патоку можно поставить по рублю серебромъ пудъ; ягоды и плоды почти ни по чемъ; пудъ варенья долженъ обойтись никакъ не дороже пяти или шести рублей, а продается по двадцати пяти, и Григорій Алексѣевичъ наживетъ въ одинъ оборотъ 500 со ста.

«Одобривъ это геніальное предположеніе, я сдѣлалъ крутой поворотъ на другой предметъ и сказалъ: «Позвольте же мнѣ теперь переговорить съ вами нѣсколько словъ. Я никакъ не предполагалъ, что буду имѣть удовольствіе встрѣтиться сегодня съ вами и семействомъ вашимъ; но нечаянный случай этотъ долженъ рѣшить мою судьбу: или вы меня назовете своимъ и я буду навѣщать васъ часто, или я опять пропущусь съ вами, вѣроятно, навсегда. Отдайте за меня падчерицу вашу,—вы видите, время не измѣнило моихъ чувствъ: вы, можетъ быть, два года тому не полагались на меня; теперь судьба наша все еще въ вашихъ рукахъ; отдайте за меня вашу дочь!»

«Надя загорѣлась въ лицѣ, едва держалась на ногахъ, едва переводила духъ и не поднимала глазъ. Она, кажется, скорѣе ожидала удара грома среди яснаго неба, чѣмъ этого внезапнаго объясненія; она не смѣла

отстать отъ насъ, не смѣла за нами слѣдовать. Я остановился.

«Григорій Алексѣевичъ выслушалъ меня, а потомъ вдругъ проворно зажалъ уши и закричалъ: «И не говори мнѣ объ этомъ; слышать не хочу. Я отъ бабьихъ дѣлъ этихъ отрекся и отказался. Вотъ тебѣ, вотъ—и перекрестился—я въ это мѣшаться не хочу и не стану, ни за что на свѣтѣ, хоть вы меня распинайте, хоть...»

— Позвольте-жъ,—перебилъ я его, ухвативъ за руку:—такъ ли я понялъ васъ; боюсь ошибиться; вы не противитесь этому?

— Я не противлюсь ничему болѣе, я въ дѣло это не мѣшаюсь. Какъ онѣ себѣ тамъ хотятъ...

— О, такъ вы насъ благословляете,—сказалъ я, опустившись на одно колѣно и взявъ руку Нади, которая, склонивъ головку, также опустилась со мною рядомъ. Григорій Алексѣевичъ медлилъ; но я положилъ его руку сперва на свою голову, потомъ на голову Нади и сказалъ: «да благословитъ же Господь союзъ нашъ, милая Надя, отецъ нашъ благословляетъ!»

«Она, зарыдавъ, бросилась въ мои объятія; мы оба обняли Григорія Алексѣевича, который былъ видимо тронутъ, но повторялъ: «Богъ съ вами, Богъ съ вами—не я, не я—идите къ матери...»

«Приказаніе это мы исполнили. Григорій Алексѣевичъ шелъ за нами медленными шагами. Она взглянула на насъ съ небольшимъ изумленіемъ, когда мы вошли рука въ руку и съ лицами, на которыхъ, конечно, выражалось нѣчто особенное: но едва я сказалъ: «матушка, благословите насъ, отецъ благословилъ...», какъ у нея слезы ударили ключомъ и она обоихъ насъ прижала къ груди.

«Объясненія и оправданія Григорія Алексѣевича *были за тѣмъ* очень забавны: онъ все старался дока-

зать, что онъ сдержалъ слово свое и въ это дѣло не мѣшался, хотя и благословилъ насъ первый, но что сдѣлалъ это не отъ себя и никакой отвѣтственности на себя не принимаетъ. Теперь все это насъ нисколько не безпокоило и не огорчало; развязка вышла такъ неожиданно хороша, что мы оба не могли опомниться. Анна Герасимовна была ею также очень довольна; но она даже и не полюбопытствовала спросить насъ, какъ все это сталось: она довольствовалась тѣмъ, что предъ собою видѣла. Счастливая душа!

«Андрей Алексѣевичъ написалъ мнѣ на письмо мое объ этомъ происшествіи:

«Я твой отвѣтчикъ, Андрей Ефимовичъ, передъ Богомъ и передъ людьми, коли братъ Григорій отвѣчать за тебя боится. Я буду на коренную, буду и въ Харьковѣ. Смотри, алеутъ, раньше свадьбы не играй. Скажи брату, чтобъ звалъ меня, не то и незванный пріѣду, ей ей! Иной мастеръ дѣла боится — это я; сколько ни хлопоталъ за васъ, не могъ сдѣлать ничего; иного мастера дѣло боится—это, видно, ты, братъ, сладилъ молодцомъ. Торгуй у сосѣдей изъ-подъ руки землицу: я одинокъ, надобно надѣлить чѣмъ Богъ послалъ молодую твою: ей же, голубушкѣ моей, и всю суету суетъ откажу, какъ Богъ по душу пошлетъ; тогда помяните раба Божія Андрея!»

# РАЗСКАЗЪ ЛЕЗГИНЦА АСАНА

## О ПОХОЖДЕНІЯХЪ СВОИХЪ

### (ПИСАНО СО СЛОВЪ РАЗСКАЗЧИКА.)

Я родомъ изъ лезгинъ, изъ города Кубы, гдѣ отецъ мой проживалъ съ малыхъ лѣтъ. Его звали Маймадъ-али, а мать—Огланъ-бажи; насъ, дѣтей, было у нихъ четверо: два сына и двѣ дочери. Родители мои меня очень любили; помню, что и они, и посторонніе люди называли меня ребенкомъ добрымъ и щедрымъ, потому что я всегда жалѣлъ о другихъ; но и бранили меня за горячность мою и упрямство, когда я вступался за свою или чужую обиду, либо когда хотѣли принудить меня къ чему силой. Обыкновенно я бывалъ робокъ до наказаній и страхъ не любилъ ихъ; но когда меня наказывали понапрасну или по одной только злобѣ на мѣня, то я оставался дерзкимъ и непокорнымъ.

Отецъ мой, по давнишней, семейной ссорѣ, убилъ одного кубинца, по имени Сафарбека, почему и вынужденъ былъ скрываться у горцевъ Дагестана, оставивъ семейство свое въ селеніи Мангуликендъ, непо-

далеку Кубы. Скитаясь по лѣсамъ, иногда только провѣдывалъ онъ насъ, а я носилъ ему въ лѣсъ пищу. Жители Мангуликенда большею частью знали объ этомъ, но, по заведенному обычаю, не мѣшались въ это дѣло и отца моего не выдавали. Напослѣдокъ, такая жизнь отцу надоѣла, и онъ сталъ просить старшинъ мангуликендскихъ, чтобы его помирить съ врагами его, тремя братьями убитаго имъ Сафарбека, которые, однако же, не только не согласились на это, но, узнавъ при семъ случаѣ, что отецъ мой скрывается близь селенія, стали его искать.

Возвращаясь однажды вечеромъ отъ отца,—а мнѣ тогда было восемь лѣтъ,—съ посудкою въ рукахъ, въ которой носилъ ему пищу,—я вдругъ встрѣтился съ тремя заклятыми кровоместниками, врагами моего отца. Къ счастію, я отдыхалъ на тропинкѣ, когда ихъ увидалъ, и хотя не могъ уже спрятаться, но успѣлъ засунуть посуду въ траву, а самъ всталъ и пошелъ спокойно своимъ путемъ. Они остановили меня и начали допрашивать: чей я сынъ, откуда иду, зачѣмъ ходилъ въ лѣсъ. Я сказалъ, кто я, хотя они это знали, вѣроятно, и безъ того, и говорилъ, что мать посылала меня къ теткѣ, въ другую деревню. Одинъ изъ нихъ, подозрѣвая иное, выхватилъ кинжалъ, приставилъ его къ груди моей и требовалъ, чтобы я во всемъ сознался, прибавивъ еще:—Все равно, не попался отецъ, такъ попался сынъ. Испугавшись, я схватилъ рукой остріе кинжала и больно обрѣзалъ себѣ руку; другой братъ Сафарбека остановилъ его, сказавъ: постой, не рѣжь, онъ все скажетъ. Я также сталъ увѣрять, что скажу все, а они, допрашивая меня, сдѣлали мнѣ еще нѣсколько легкихъ ранъ въ груди.

Я остался, однако же, при своемъ показаніи, что теперь ходилъ къ теткѣ, но сознался, что отецъ мой

точно скрывается по близости въ лѣсахъ, назвавъ при этомъ, впрочемъ, не то мѣсто, гдѣ онъ теперь находился. Побившись со мною и не вывѣдавъ ничего больше, они сжалились на плачъ мой и послушались старшаго брата своего, который сказалъ: «Оставьте его, онъ глупый мальчишка, не стóитъ рукъ марать; отецъ его отъ насъ не уйдетъ». Дома мать меня обмыла, потому что я весь былъ въ крови, и перевязала мою руку.

На другой день отецъ мой, узнавъ объ этомъ, пришелъ самъ въ селеніе и, собравъ стариковъ, говорилъ съ ними долго, убѣждая ихъ опять помирить его съ братьями Сафарбека. Разсудивъ, что отецъ мой уже много лѣтъ странствуетъ по чужимъ мѣстамъ, по горамъ и лѣсамъ, за проступокъ молодости своей, въ которомъ онъ былъ и не очень виноватъ, старики сжалились надъ нимъ, приложили все стараніе свое и убѣдили кровоместниковъ принять подарки и ударить по рукамъ на мировую. Въ знакъ этой новой дружбы, они, по нашему обычаю, взяли отца моего къ себѣ въ гости, на два мѣсяца, и держали его какъ самаго близкаго и родного человѣка. Послѣ этого срока перешли мы спокойно жить на свое старое гнѣздо, въ деревню Гадазихоръ. Два года жили мы садомъ и пашней своей, безъ всякихъ приключеній; но на третій сдѣлалось тревожно, и очередь доходила уже до меня, потому что я подросталъ; мнѣ было уже одиннадцать лѣтъ.

Въ Гадазихорѣ была мельница, на канавѣ, пущенной изъ рѣчки Гусарчай. Водой изъ этой рѣчки пользовалось много жителей, и оберегали ее общими силами, поддерживая, гдѣ нужно, плотины. Случилась дружная весна, вода была бойкая, и надо было, не упуская времени, запрудить прорывъ. Жители того селенія, гдѣ мы жили прежде, Мангуликенда, пришли

для прудки и просили помощи отъ нашихъ; у насъ народъ весь почти былъ въ полѣ,—помощи не дали; а тѣ, человѣкъ до двухъ сотъ, послѣ долгой ссоры, начали съ досады и злости ломать мельницу. Отчаянный мельникъ, вышедъ изъ себя при такомъ раззореніи, выбѣжалъ съ молоткомъ въ рукахъ, ударилъ имъ одного человѣка въ лобъ и убилъ его на мѣстѣ. Съ этого началась драка, на которую изъ нашей деревни, Гадазихора, сбѣжались всѣ, кто былъ дома, и тутъ было убито и ранено много людей. Я въ это время купался съ нѣсколькими товарищами въ канавѣ, и мы также прибѣжали на крикъ и драку, изъ любопытства; насъ было пятеро малыхъ да два взрослыхъ. Увидавъ, что тутъ дѣлается, ребятишки разбѣжались, а двое большихъ, замѣтивъ, что сторожъ изъ ближняго сада, не утерпѣвъ, также прибѣжалъ на драку, отправились въ садъ этотъ воровать плоды. Между тѣмъ, такъ какъ нашихъ было мало, то они и не могли одолѣть мангуликендцевъ, а оставили на мѣстѣ пять убитыхъ и одного тяжело раненаго, который въ свалкѣ упалъ въ канаву. Увидавъ его, непріятели наши стали его рубить; мнѣ стало досадно и жаль своихъ, я схватилъ желѣзную лопатку и ударилъ изо всей силы въ голову одного изъ тѣхъ, которые добивали раненаго: мнѣ тогда было одиннадцать лѣтъ. Они меня схватили, узнали, кто я, потому что я жилъ прежде у нихъ въ деревнѣ; они дивились смѣлости моей и называли молодцомъ, а между тѣмъ держали меня и хотѣли бить. Я плакалъ и кричалъ отъ злости и кусалъ руки ихъ зубами, а они меня уговаривали, то смѣялись, то опять стращали: между тѣмъ, драка кончилась, всѣ разошлись по домамъ, позабывъ, что пришли для нужной работы, а я вырвался, и за мною не стали гнаться. Женщины, стоявшія издали, видѣли все это и видѣли также, что двое взрослыхъ ушли

въ это время на воровство; по этому вечеромъ всѣхъ насъ привели на сходку стариковъ, меня хвалили и учили впередъ всегда такъ дѣлать, а тѣмъ наплевали въ глаза и прогнали. Одинъ изъ нихъ долго отпрашивался, чтобъ его не безчестили, и хотѣлъ за это идти мстить непріятелямъ нашимъ; но старики не захотѣли его простить. Онъ послѣ хотѣлъ съ досады утопиться, и только сестра упросила его не дѣлать этого, а лучше убить кого-нибудь изъ мангуликендцевъ, тогда-де съ него снимутъ безчестье.

Наши положили на совѣтѣ, чтобъ признавать мангуликендцевъ врагами своими и мстить имъ за кровь кровью. Между тѣмъ, трое изъ вышедшихъ на работу отстали отъ прочихъ, прошли горой, не видали никого изъ своихъ и потому, ничего не зная о бывшей дракѣ, пришли въ нашу деревню. По знакомству съ нами, они зашли къ моему отцу. Отецъ сказалъ имъ, что сдѣлалось, и потому не велѣлъ выходить изъ дому до ночи; но ихъ уже видѣли и тотчасъ разсказали по деревнѣ, что отецъ мой скрываетъ у себя въ домѣ непріятелей, которыхъ надо выдать. Народъ собрался и прислалъ къ отцу сосѣдей нашихъ, чтобы онъ сейчасъ тѣхъ выдалъ. Отецъ сталъ просить посланныхъ, представляя имъ, что онъ гостей изъ-подъ кровли своей выдать не можетъ,—что онъ самъ въ теченіе многихъ лѣтъ, искалъ и находилъ защиту отъ враговъ подъ ихъ кровомъ и, наконецъ, объявилъ міру рѣшительно, что могутъ вырѣзать все семейство его, но онъ друзей своихъ не выдастъ, потому что гость самый близкій и священный родственникъ. Старики разсудили, что отецъ мой правъ, но обязали его, чтобы онъ впередъ не знался съ общими врагами, и поставили людей въ разныхъ мѣстахъ, чтобы убить этихъ трехъ человѣкъ, когда они оставятъ саклю моего отца. Впрочемъ, двое изъ нихъ по

старанію отца, добрались ночью благополучно домой, но третій былъ убитъ, когда перелѣзалъ черезъ плетень виноградника, въ которомъ спрятались наши, подстерегая его.

Пришелъ 1828-й годъ, и отецъ, и мать моя умерли отъ холеры. Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, и я остался съ братомъ Сафаромъ семи лѣтъ и сестрами Гульбине и Тюменъ-ага одиннадцати и четырехъ лѣтъ. Общество отдало насъ подъ опеку дядѣ нашему, Асану. У меня была въ Гадазихорѣ внучатная тетка, которая жила отдѣльно съ мужемъ своимъ, пастухомъ. Она пригласила меня однажды остаться у нея переночевать, потому что мужъ ея угналъ овецъ въ горы, не возвращался на ночь, а она боялась оставаться одна. Свекровь ея узнала объ этомъ и, подозрѣвая невѣстку свою, сказала о томъ двоимъ сыновьямъ своимъ, братьямъ мужа моей тетки. Не разбирая далѣе дѣла, они рѣшились признать за истину клевету злой старухи. На другой день, разговаривая съ двумя человѣками на улицѣ, вдругъ увидѣлъ я деверьевъ теткиныхъ, съ кинжалами въ рукахъ: они подходили и оба смотрѣли прямо на меня. Догадавшись тотчасъ о ихъ намѣреніи заколоть меня, я началъ просить защиты двухъ человѣкъ, съ которыми разговаривалъ, самъ же прислонился къ забору, а товарищи мои оба стали передо мной. Тѣ подошли и сказали: «отойдите прочь отъ виноватаго; не идетъ вамъ закрывать его собою». Товарищи мои отвѣчали: «мы не знаемъ, въ чемъ онъ передъ вами виноватъ, а знаемъ, что вамъ двоимъ, съ ножами въ рукахъ и съ ружьемъ, стыдно нападать на мальчишку». Тѣ отвѣчали: «мы не затѣмъ и пошли, чтобъ бороться или сражаться съ нимъ, а пошли, чтобы убить его, потому что онъ виноватъ и его убить надо». Сказавъ это, одинъ изъ нихъ взвелъ курокъ и вдругъ, вскинувъ ружье въ припоръ на меня,

выстрѣлилъ; но я успѣлъ оттолкнуть дуло, и пуля прошла у меня мимо плеча; другой между тѣмъ, оттолкнувъ одного изъ вялыхъ защитниковъ моихъ, уже намахнулся на меня обоюдоострымъ лезгинскимъ кинжаломъ, какъ я, успѣвъ отскочить въ сторону и выхватя свой кинжалъ, разсѣкъ ему плечо, такъ что онъ упалъ и началъ громко кричать; товарищъ же его въ это самое время ударилъ меня стволомъ ружья по головѣ, разбивъ меня до крови, но я устоялъ на ногахъ, покачнувшись только нѣсколько назадъ: онъ обхватилъ меня въ эту минуту обѣими руками и хотѣлъ повалить, я же, обхвативъ его также, дернулъ его кинжаломъ своимъ вдоль всей спины, сколько было у меня простору размахнуться. Рана была очень большая, онъ упалъ весь въ крови, народъ сталъ уже сбѣгаться на крикъ, и, какъ дядя мой также выбѣжалъ на улицу, то одинъ изъ родственниковъ раненыхъ ударилъ его чѣмъ-то такъ сильно, что онъ упалъ; я было подбѣжалъ къ нему для защиты, но народъ меня окружилъ, не пуская съ мѣста Въ эту минуту подбѣжалъ другой дядя мой, Улъ-ага, старшина деревни нашей; не зная еще ничего толкомъ, онъ, однако же, закричалъ на народъ, чтобъ разступились, а мнѣ мигнулъ, чтобы я бѣжалъ; я бросился въ толпу, съ кинжаломъ въ рукахъ, очищая себѣ дорогу; всѣ разступились, но подходившій старикъ, также родственникъ раненыхъ, схватилъ меня и хотѣлъ удержать, не страшась того, что я самъ весь былъ въ крови, отъ головной раны моей, и намахивался на него кинжаломъ, угрожая его заколоть; а между тѣмъ, нѣкоторые изъ толпы также бросились за мною. Еслибъ меня сгоряча задержали, то, вѣроятно, убили бы; но на мое счастье дочь этого старика, молоденькая дѣвушка, Гюзель, сжалилась надо мной и, бросившись, оттолкнула отца, крича изо всѣхъ

силъ: оставь его, онъ тебя убьетъ! Этимъ она меня спасла; я перескочилъ черезъ плетень, скатился немного подъ гору и, согнувшись, поднялся опять, нѣсколько подальше, противъ нашего двора; старшая сестра моя, увидавъ меня, уже вела мнѣ навстрѣчу жеребца и несла шашку мою, но я второпяхъ не успѣлъ схватить шашки, а сѣлъ на коня и ускакалъ.

Отскакавъ съ версту, я остановился на горѣ, подъ лѣсомъ, откуда видно было все селеніе наше и толпа народа; тамъ было еще очень шумно, и многіе взлѣзали на кровли саклей, оглядываясь кругомъ, не видать ли гдѣ нибудь меня. Остановившись, я сталъ раздумывать, что со мною случилось и что теперь будетъ; видно, подумалъ я, мнѣ такая жъ участь суждена, какъ бѣдному отцу моему, который столько лѣтъ, до старости скитался по лѣсамъ и не смѣлъ ступить на свой порогъ. Я замоталъ поводья вокругъ шеи жеребца, потрепалъ его и отпустилъ домой; увидѣвъ одного старика, который шелъ за своимъ дѣломъ въ лѣсъ, я подошелъ къ нему и спросилъ, что дѣлается въ деревнѣ? Посмотрѣвъ на меня съ жалостію и на кровавое лицо мое, плечи и грудь, онъ сказалъ: «Что ты, братъ, Асанъ, налѣлалъ? ты зарѣзалъ двухъ человѣкъ до полусмерти, и будутъ ли живы, нѣтъ ли, неизвѣстно; а ты еще шатаешься тутъ, подъ самой деревней! бѣги скорѣе дальше и не оглядывайся». Я не зачинщикъ, сказалъ я:—лучше жъ имъ быть убитымъ двоимъ, чѣмъ мнѣ одному. Затѣмъ я выпросилъ у него труту, чтобы унять кровь въ ранѣ моей, приложилъ его и тотчасъ же пошелъ дальше.

Прихожу въ деревню, верстъ за двадцать, и захожу прямо къ одному лезгину, который живалъ въ Гадазихорѣ въ работникахъ. Напередъ всего я осторожно поглядѣлъ въ окно, нѣтъ ли тамъ лишнихъ людей, и какъ никого не было, то я и постучался въ дверь.

Вышелъ сперва одинъ, да испугавшись закричалъ и вызвалъ всю семью; стали меня спрашивать, что случилось; я все разсказалъ, и меня ввели въ избу, обмыли кровь и перемѣнили на мнѣ платье. Тутъ скрывался я съ недѣлю и сталъ скучать и просить хозяина мосто, чтобы онъ съѣздилъ въ Гадзихоръ и узналъ бы, что тамъ дѣлается. Онъ, спасибо, не отказалъ мнѣ въ этомъ и воротившись сказалъ, что дядя мой и опекунъ, Асанъ, посаженъ подъ караулъ, а другому, старшинѣ Ульягѣ, общество приказываетъ найти меня и поставить на судъ; если же черезъ недѣлю не представитъ меня, то будутъ судить его, потому что онъ далъ мнѣ уйти. Разсказавъ это, хозяинъ совѣтовалъ мнѣ бѣжать куда-нибудь еще далѣе, но я, вмѣсто того, въ тотъ же день отправился прямо домой.

Подошедши вечеромъ тайкомъ къ саклѣ своей, я услышалъ голосъ тетки, которая бранила меня за то, что мужа ея, а моего дядю Асана изъ-за меня посадили подъ караулъ. Я постучался, и когда она удивилась, увидавъ меня, и замолкла, то я ей сказалъ: «Слышалъ я, тетушка, слова твои, и хоть племяннику не приходится учить тетку, но, видно, на то Богъ подвелъ его въ это время подъ окно твое, чтобы тебя пристыдить. Я не виновникъ и не зачинщикъ ссоры, а зарѣзать себя, какъ барана, не дамъ никому. А дяди своего я, небось, не покину; я самъ пришелъ, никто не привелъ меня; поди, выкупай своего Асана, скажи, что я здѣсь. Она, постыдившись, ушла въ свое женское отдѣленіе, а братъ и сестры мои бросились меня обнимать.

Вскорѣ я опять вышелъ и увидалъ невдалекѣ отъ нашего дома огонь: это обжигали камни на известь, и видно было, что вкругъ огня сидѣлъ кружокъ народу. Я пошелъ прямо къ нимъ, а какъ ночь была темна и погода вѣтрена, то я и подошелъ очень близко, а они,

ослѣпленные огнемъ, меня не видали. Одинъ старикъ, видно продолжая разговоръ, сказалъ: «Этому дивиться нечего; онъ знаетъ, что ему теперь тутъ добра не ждать; ушелъ подальше — простору много — вотъ и не слыхать о немъ ничего». Молодой, сидя тутъ же, спросилъ: «Да какой же у насъ извѣстный воинъ?» — А развѣ ты ужъ забылъ, сказалъ старикъ: — тотъ, который двоимъ не поддался и обоихъ изранилъ, а послѣ ушелъ и всѣмъ вамъ наплевалъ въ глаза? Молодой отвѣчалъ: «Жаль, что я не родственникъ тѣхъ, я бы не далъ ему пожить на свѣтѣ ни одного дня». — Не хвастай, пожалуйста, сказалъ опять старикъ: — мы тебя довольно знаемъ, да знаемъ и его. Лучше скажи, какъ есть, что когда бы ты увидѣлъ его, то сталъ бы собирать подъ ногами ягоду. Молодой разгорячился, и за него вступился было другой старикъ, сказавши, что никого не нужно обижать до поры: а вотъ когда что сбудется, то увидимъ. «Увидимъ», сказалъ молодой: «пусть онъ только покажется къ намъ въ деревню — такъ вотъ тогда и увидите; смотрите жъ, не пеняйте тогда на меня: вы сами меня на это вызвали». Въ это время я вышелъ изъ-за угла пустой сакли, гдѣ стоялъ, и поздоровавшись, также присѣлъ въ кружокъ, попросившись погрѣться. Всѣ они до крайности удивились мнѣ, здоровались и смотрѣли то на меня, то на моего противника. Помолчавъ немного, тотъ же старикъ спросилъ меня: «А слышалъ ты, Асанъ, что мы говорили?» — Нѣтъ, не слыхалъ, сказалъ я. Старикъ опять замолкъ, а хвастунъ, который курилъ молча трубку, потупивъ глаза вскорѣ всталъ и, ни слова не сказавши, пошелъ домой. Они же меня еще разъ спросили: вѣрно, ты слышалъ разговоръ нашъ? Но я отвѣчалъ, что ничего не слышалъ, а только увидавъ огонь, подошелъ погрѣться.

Между тѣмъ какъ бывшіе тутъ разспрашивали

меня о томъ, гдѣ я былъ и что дѣлалъ, подошелъ двоюродный братъ мой съ обѣими сестрами моими, которыя безъ меня соскучились, и стали мнѣ говорить, что я напрасно сижу тутъ въ такомъ опасномъ мѣстѣ, совѣтуя мнѣ удалиться. Я всталъ и пошелъ прямо къ дому другого дяди моего, старшины. И тутъ я также сталъ пуислушиваться у окна: дядя со всѣмъ семействомъ только-что садился ужинать и, вздохнувъ, помянулъ меня съ сожалѣніемъ, сказавъ: «Онъ, бѣднякъ, еще и раненъ въ голову, можетъ быть, сгоряча убѣжалъ, а теперь лежитъ гдѣ-нибудь въ лѣсу и пропадаетъ. Можетъ статься, мы уже и костей его болѣе не увидимъ». Тогда я вдругъ вошелъ въ избу, и дядя мой обрадовался и испугался такъ, что не вдругъ могъ опомниться. Онъ сказалъ мнѣ, что его возили въ городъ, гдѣ комендантъ приказалъ ему непремѣнно меня отыскать и доставить въ судъ, давъ сроку всего одинъ мѣсяцъ. «Но, прибавилъ онъ, я надѣюсь что ты въ правомъ дѣлѣ своемъ виноватъ не будешь, а комендантъ знаетъ все по справедливости, какъ что было: твои раненые помаленьку оправляются, они не опасны; но рука твоя, видно, не легка: одному отрубилъ ты плечо, такъ что мясо свисло до локтя; а другому распоролъ всю спину въ долонь, на цѣлый аршинъ. Затѣмъ, онъ совѣтовалъ мнѣ ѣхать съ нимъ въ городъ, не принуждая, однако же, къ тому, а говоря: «подумай, какъ самъ хочешь». Я тутъ же сказалъ, что ѣду съ нимъ въ городъ, но теперь отпросился еще на время домой, сказавъ, что къ ночи ворочусь.

Вышедши на улицу, вздумалъ я подойти къ дому той дѣвушки, Гюзель, которая, оттолкнувъ отца своего, спасла меня Я увидѣлъ въ окно, при огнѣ, все ихъ семейство, и тутъ же сидѣлъ меньшой братъ тѣхъ, которыхъ я ранилъ; но дѣвушки не было. Рѣчь шла также обо мнѣ и говорили, что если бы только узнать,

гдѣ я скрываюсь, то можно бы выпросить у коменданта казаковъ и меня захватить. Въ это время вошла Гюзель, а они перестали обо мнѣ говорить, отецъ же сердито закричалъ на нее и приказалъ выйти вонъ. Тутъ вошелъ тотъ самый хвастунъ, котораго я пристыдилъ у огня, разсказалъ имъ, что я нахожусь въ Гадазихорѣ, и совѣтовалъ, взявъ на помощь родныхъ пастуха, захватить меня; онъ и тутъ не утерпѣлъ, впрочемъ, чтобы не похвастать, сказавъ, будто, не онъ отъ меня, а я отъ него ушелъ. Мнѣ очень хотѣлось пристыдить его, но, опасаясь новой ссоры и притомъ желая еще продолжать ночной поискъ свой, я осторожно перелѣзъ черезъ тынъ и спрятался подъ небольшой сарай, на дворѣ. Я хотѣлъ увидѣться съ Гюзелью и положилъ выждать, покуда всѣ въ домѣ заснутъ. Вскорѣ огонь въ саклѣ погасъ, но окошко отдѣльной небольшой избы, гдѣ жила Гюзель съ сестрой и еще одной женщиной, было освѣщено; я подошелъ къ нему, предвидя, что и здѣсь услышу что-нибудь о себѣ. Собираясь спать, младшая сестра проситъ, чтобы Гюзель ей сказала сказку, а та ей разсказываетъ, какъ на меня напало двое взрослыхъ людей, съ ружьемъ и кинжалами, а я ихъ обоихъ ранилъ, отбился отъ цѣлой толпы и ушелъ. Бывшая съ ними женщина сказала: «А знаешь-ли, Гюзель, что Асанъ здѣсь, въ деревнѣ, а отецъ твой хочетъ выпросить у начальства команду, поймать его и представить въ городъ?» Гюзель заплакала и отвѣчала: «Еслибъ мнѣ только увидѣть его, то я бы не отстала отъ него, пусть бы дѣлалъ со мною, что хочетъ, хоть убей онъ меня, такъ я бы отъ его руки умерла; а дома мнѣ теперь житья нѣтъ отъ отца и родныхъ, бьютъ и мучатъ, сами не зная за что, будто есть на это своя воля человѣка, кого любить, а кого нѣтъ!..»

Подумавъ немного, что я могу погубить ее, если

скажусь ей и отецъ обо всемъ узнаетъ, я тихонько опять перелѣзъ черезъ тынъ, когда онѣ также улеглись и погасили огонь, и пошелъ къ дядѣ своему, старшинѣ. Рано утромъ просыпаюсь я и вижу, что прямо передо мной стоитъ Гюзель; она заплакала и молча отошла въ сторону. Мнѣ стало жалко ее, и спросилъ: о чемъ ты плачешь, Гюзель? и подошедши къ ней, сталъ ее утѣшать. Она же сказала мнѣ, что ей теперь изъ-за меня дома житья нѣтъ; «пожалѣвъ тебя,» говорила она, «когда ты бѣжалъ окровавленный и множество народу бросалось на тебя одного, я оттолкнула отца, сама не подумавъ о томъ, что дѣлаю; но мнѣ стало стыдно за отца, когда онъ хотѣлъ тебя удержать... теперь же мнѣ проходу не даютъ за это и бьютъ каждый Божій день... лучше возьми меня съ собой и дѣлай со мной, что хочешь; пусть я буду твоей рабой; мнѣ отъ твоей руки легче будетъ погибать»... — «Правду ты говоришь, Гюзель, сказалъ я: если бы я теперь оставилъ тебя у себя, то пришлось бы мнѣ спасать тебя отъ недобрыхъ людей тѣмъ, что заколоть; а другихъ силъ у меня не станетъ: ихъ тутъ много, а я одинъ. Не плачь, Гюзель; много народу теперь веселится, наплакавшись прежде, авось будетъ и тебѣ то же.»

Въ это время вошелъ дядя мой и спрашиваетъ меня, готовъ ли я, чтобъ ѣхать въ городъ. Услышавъ это, Гюзель бросилась къ ногамъ дяди моего и просила, чтобъ онъ меня не выдавалъ или чтобъ и ее также взялъ туда, куда беретъ меня. Дядя уговаривалъ ее, что мы-де скоро воротимся и все кончится хорошо; но она сѣла на коверъ и, закрывъ лицо руками, стала тихо плакать; а мы поѣхали.

Когда мы явились въ судъ, то отецъ Гюзели и два родственника раненыхъ были уже тамъ, прибывъ съ объявленіемъ, что я нахожусь въ Гадазихорѣ. Мы ра-

зошлись въ разные углы и молчали. Приходитъ эсаулъ и зоветъ меня къ судьямъ: я вошелъ, поклонился и сталъ, ожидая, что будетъ. Комендантъ приказалъ прочитать показаніе о томъ, какъ и изъ-за чего у насъ вышла ссора и драка, и спросилъ: такъ ли? Я сказалъ, что такъ. «Говори же, что можешь въ оправданіе свое», сказалъ онъ.—Я отвѣчалъ: «властный господинъ, мнѣ говорить нечего, суди меня по тому, что читалъ: свидѣтели все показали вѣрно; два человѣка напали на меня среди бѣлаго дня, ровно ни за что, одинъ уже выстрѣлилъ по мнѣ, тогда только я выхватилъ кинжалъ свой и защищался; до этого онъ былъ у меня въ ножнахъ.» Судъ призналъ меня правымъ и не обвинилъ ни въ чемъ, а призвавъ противниковъ моихъ, объявилъ имъ, что сами они виновны кругомъ, передъ Богомъ и передъ людьми, и строго приказывалъ имъ оставить дѣло и не думать о кровомести. Затѣмъ, однакоже, одинъ изъ судей сказалъ, что-де нельзя же ему простить это вовсе, а надо сколько нибудь дать острастку, чтобы впередъ не было повадно; и рѣшили, чтобы содержать меня подъ карауломъ до выздоровленія раненыхъ, а дядю моего Асана освободить. Меня посадили въ острогъ, гдѣ продержали три мѣсяца, потому что непріятели мои нарочно растравляли раны свои солью, не давая имъ зажить, и еслибъ дядя мой, старшина, не изобличилъ ихъ въ этомъ и не пожаловался коменданту, то я бы просидѣлъ, можетъ быть, и годъ. Напослѣдокъ, вытребовали въ Кубу на личную ставку со мною двухъ непріятелей моихъ, и комендантъ приказалъ намъ при себѣ помириться; я подошелъ къ нимъ и протянулъ руку, сказавъ: «простите меня и не попомните вины моей передъ вами, какъ я не попомню вашей». Но они съ сердцемъ отвернулись отъ меня. Тогда комендантъ грозно закричалъ на нихъ, что они за свою вину не хотятъ меня

простить, напали двое на мальчишку, который и безъ того теперь наказанъ,—такъ чего же они больше хотятъ? Затѣмъ онъ еще разъ сказалъ имъ, что кто меня тронетъ непремѣнно будетъ строго наказанъ, а мнѣ выдалъ охранный листъ и отпускъ.

Слишкомъ годъ послѣ этого жилъ я дома спокойно, сталъ заниматься хозяйствомъ и хотѣлъ жениться на Гюзели за любовь ея ко мнѣ, но по бѣдности моей не могъ уплатить калыму, да, кромѣ того, отецъ ея былъ такъ золъ, что ни за какой калымъ не хотѣлъ отдать ее за меня, а отправилъ ее въ дальнюю деревню, къ родственникамъ.

Въ 1831 году сдѣлался у насъ въ горахъ страшный голодъ, по неурожаю: у насъ было въ запасѣ немного хлѣба, но я его роздалъ взаймы бѣднымъ, которымъ было нечего ѣсть; пришла нужда и къ намъ, ссуженнаго хлѣба собрать я не могъ, потому что бѣдняки были голѣе насъ, и мы не знали, что дѣлать. Голодъ этотъ продолжался три года, и множество людей погибло, набивая себѣ брюхо травой, корой, мхомъ, и другими несъѣдомыми вещами. Мы жили — дядя Асанъ съ женой и тремя дѣтьми, да я съ братомъ и двумя сестрами. Голодъ довелъ насъ до крайности; я взялъ ружье, доставшееся мнѣ отъ отца, которое стоило 25 червонцевъ, и пошелъ прямо къ отцу Гюзели, во-первыхъ, потому, что онъ былъ богаче другихъ, а во-вторыхъ, полагая, что покорность врага будетъ ему лестна, и онъ будетъ радъ показать свое великодушіе. Пришедши къ нему, я прошу хлѣба нѣсколько пудовъ, хоть взаймы, хоть за деньги, подъ залогъ отцовскаго ружья, дорогой и неоцѣненной вещи. Хлѣбъ у него былъ, но онъ пряталъ его и продавалъ тайкомъ. Онъ отговаривался и велѣлъ придти мнѣ на другой день, тамъ опять отнѣкивался и велѣлъ придти на третій и такимъ образомъ проводилъ цѣлыя двѣ

недѣли. Между тѣмъ, оратъ и сестры мои плачутъ, просятъ ѣсть, а дядя со всей семьей также голодаютъ; не стало у меня болѣе силъ терпѣть, пошелъ я вечеромъ въ послѣдній разъ къ тому старику и сталъ просить настоятельно; тогда онъ мнѣ отказалъ наотрѣзъ. «За что же ты меня проводилъ двѣ недѣли, сказалъ я:—или хотѣлъ уморить моихъ сестеръ?» Я пошелъ отъ него къ дядѣ старшинѣ и засталъ его съ семействомъ за бѣднымъ ужиномъ; они приняли меня ласково и пригласили меня ужинать, но я съ горя не могъ ѣсть, а сидѣлъ молча подлѣ. Недоставало у меня духу говорить, потому что мы были въ самой страшной крайности, просто умирали съ голоду, а я не могъ прибрать словъ, чтобы поняли это и повѣрили мнѣ, а не сочли бы простымъ нищимъ. Впрочемъ, всѣ тогда нуждались и голодали, и всѣ, у кого былъ хлѣбъ, прятали его и скупились, потому что боялись сами за себя. Посидѣвъ молча, я вышелъ; двоюродная сестра проводила меня, и я ей сказалъ:—«ты забыла братьевъ и сестеръ своихъ; они теперь умираютъ съ голоду, дня три не ѣли, а грызли старые поршни.» Она тотчасъ дала мнѣ мѣшокъ, въ которомъ было пуда два муки, сказавъ: «молчи, хоть мнѣ и достанется за это, да отецъ добръ, проститъ»

Пришедши домой, увидѣлъ я меньшую сестру безъ памяти на полу, а братъ стоялъ прислонившись къ стѣнѣ, и у него изо рта клубилась пѣна. Разбудивъ скорѣе старшую сестру, которая также едва могла стоять на ногахъ, я развелъ огонь; мы сварили болтушку, отвели душу и возвратили ею къ жизни дѣтей; вся семья наша наѣлась до-сыта, чего ужъ очень давно не случалось. Въ то же время я отнесъ котелокъ съ болтушкой къ дядѣ Асану и накормилъ его семейство, которое жило на томъ же дворѣ, въ особой саклѣ

На другое утро я, подумавъ и рѣшившись напередъ, что дѣлать, пошелъ поочередно къ нѣсколькимъ зажиточнымъ людямъ въ окружности и говорилъ каждому, послѣ привѣтствія: «я знаю, что теперь всѣмъ тяжело и что Богъ послалъ нужду на весь край нашъ; но вы сыты, у меня же братья и сестры умираютъ съ голоду, а дядя уже распухъ; дайте хлѣба взаймы; возьмите меня въ работники, возьмите подъ закладъ семейную, завѣтную вещь нашу, отцовское ружье, но дайте хлѣба.» Одинъ только человѣкъ, посовѣстившись впрочемъ, и не взявъ ружья, далъ съ полпуда зерна; прочіе всѣ отказали, сказавъ, что-де заемная пора прошла, а что впередъ будетъ—Богу извѣстно: были сыты досель, но брюхо злодѣй, стараго добра не помнитъ, ему давай каждый день снова. Сдѣлавъ эту послѣднюю попытку, я пришелъ домой, взялъ оружіе, сказалъ своимъ, чтобъ ждали черезъ недѣлю, а коли не приду, то и не поминали бъ меня, и вышелъ. Я пошелъ на грабежъ и обрекъ себя на это на всѣ время голода, чтобы кормить своихъ и другихъ бѣдныхъ людей; я положилъ зарокъ не убивать никого, потому что шелъ на разбой не для душегубства, а для спасенія людей отъ страшной голодной смерти.

Пришедши на другой день въ Кубу, обошелъ я весь базаръ и не нашелъ ни одного хлѣбнаго продавца, тогда какъ прежде, бывало, сидѣло ихъ здѣсь нѣсколько десятковъ. Большая часть встрѣчныхъ людей были слабы и вялы, какъ послѣ тяжкой болѣзни, и всѣ смотрѣли при встрѣчѣ другъ на друга такъ, какъ бы спрашивали: а нѣтъ ли у тебя корки хлѣба? —По дорогамъ нерѣдко лежали изнуренные голодомъ, не могши дойти туда, куда было пошли. За хлѣбъ нигдѣ работниковъ не принимали; хлѣбъ былъ дороже всякой работы.

Поздно вечеромъ подошелъ я къ мельницѣ, подъ

самымъ городомъ, гдѣ былъ свѣтъ въ окнѣ, надъ берегомъ рѣки. Увидавъ въ окно трехъ сидящихъ человѣкъ, я постучался и попросился къ нимъ, но они не пустили и стали меня гнать прочь. Тогда я сказалъ имъ: «слушайте, я умираю съ голоду, мнѣ терять и бояться нечего; либо дайте мнѣ муки, либо я застрѣлю кого-нибудь изъ васъ въ окно.» Испугавшись, они дали мнѣ съ полпуда муки, а я ушелъ въ лѣсъ, развелъ огня, напекъ кой-какъ лепешекъ и съ жадностію ихъ поѣлъ. Отдохнувъ немного, я пошелъ на заимку къ одному знакомому дворянину, надѣясь выпросить у него хлѣба; но онъ отказалъ. Воротился я въ лѣсъ и думаю, что мнѣ теперь дѣлать и какъ быть? Вышелъ бы на дорогу да ограбилъ бы хлѣбный караванъ, когда бы попался,—такъ я одинъ, товарищей нѣтъ, можетъ статься, и не справлюсь; между тѣмъ, однако же, я вышелъ-таки на дорогу и вижу трехъ вооруженныхъ конниковъ, персіанъ, которые ѣдутъ шагомъ, Я вдругъ выскочилъ, сталъ передъ ними и сказалъ: «стой! вы попались въ засаду; впереди и сзади васъ лежатъ люди и прицѣливаются въ васъ; мнѣ стоитъ только сказать слово, и всѣ вы слетите съ лошадей. Слѣзайте и сдавайтесь.» Они оробѣли, взглянули молча другъ на друга и покорились. Я велѣлъ имъ сложить оружіе свое въ одно мѣсто и перевязать другъ другу руки; послѣдняго же я связалъ самъ и, осмотрѣвъ прочихъ двухъ, хорошо ли они связаны, взялъ оружіе ихъ и лошадей, а имъ велѣлъ идти за собою, въ лѣсъ. Зашедши подальше, я привязалъ лошадей, а пукерамъ велѣлъ сѣсть. Они спросили меня: да гдѣ же твои товарищи?—Это вы сами, отвѣчалъ я, потому что я одинъ; а какъ я взялъ васъ въ плѣнъ, то вы будете мои товарищи и будемъ грабить вмѣстѣ. Они сказали, что провожали въ городъ своего князька и возвращались домой; но ужь когда мы такъ оплошали, что ты

одинъ могъ насъ взять въ плѣнъ, то намъ, конечно, стыдно будетъ дома показаться; между тѣмъ оставаться тутъ съ тобой нельзя и разбойничать мы не согласны; лучше возьми ты кинжалы наши и воткни ихъ въ каждаго изъ насъ по самую рукоять; а когда у тебя на насъ не подымаются руки, то прикажи мы переколемъ другъ друга.» Я отвѣчалъ, что не хочу этого, что я и самъ не разбойникъ, а хочу только спасти себя и другихъ отъ голодной смерти, когда родные и пріятели и всѣ зажиточные люди мнѣ въ помощи отказали. Затѣмъ, я развязалъ ихъ, отдалъ имъ все, и лошадей, и оружіе, и отпустилъ ихъ домой; а самъ отошедши расположился ночевать.

На разсвѣтѣ я услышалъ свистъ съ разныхъ сторонъ, сперва вдалекѣ, а тамъ все ближе. Я сталъ прислушиваться: вдругъ вижу передъ собою мужика, который, вышедъ изъ чащи остановился. Подумавъ и оглянувшись по сторонамъ, онъ сказалъ мнѣ осторожнымъ голосомъ: «тебя ищутъ; коли это ты плѣнилъ трехъ нукеровъ нашихъ, скорѣе бѣги!» Поблагодаривъ его, я отошелъ скорыми шагами поглубже въ чащу и, пріискавъ подходящее густое дерево, взлѣзъ на него потихоньку и притаился. Вскорѣ опять свистъ сталъ приближаться, и нѣсколько вооруженныхъ людей прошли мимо меня, оставивъ меня за собой; опасаясь, однакоже, я просидѣлъ на деревѣ весь день и тутъ же ночевалъ. Проснувшись, услышалъ я близко отъ себя шорохъ: взглянувъ осторожно въ ту сторону, увидѣлъ пробѣжавшую лисицу.—«Это счастливая примѣта, — подумалъ я: — пойду слѣдомъ за этой хитрой воровкой»—и вышелъ опять на дорогу.

Только-что вышелъ я изъ лѣсу, какъ наскочилъ почти вплоть на верблюжій караванъ. Не думая долго, я сказалъ то же, что персидскимъ воинамъ, и караванъ остановился.

Въ это время, въ тѣхъ мѣстахъ, на большомъ пространствѣ славился извѣстный разбойникъ мулла Нуръ; смѣлость его и неустрашимость были вѣдомы всякому, и его боялись всѣ. Я объявилъ себя эсауломъ его и, спросивъ, сколько человѣкъ въ караванѣ, требовалъ съ каждаго, именемъ муллы Нура, по рублю серебромъ. Они на все соглашались, но говорили, что денегъ у нихъ нѣтъ, а везутъ они въ городъ хлѣбъ; получивъ же тамъ за него деньги, обѣщали честно отдать мнѣ требуемую подать. Между тѣмъ, около тридцати человѣкъ меня окружили; одинъ, высокаго росту и молодецъ собой, сказалъ:—«чего вы смотрите на него и чего испугались? Связать его и представить въ городъ!» Я бросился на него съ кинжаломъ и ранилъ его, повторивъ, что по знаку моему всѣхъ ихъ перестрѣляютъ, а мулла Нуръ отыщетъ ихъ, куда бы они не ушли; не давъ имъ опомниться, я отрѣзалъ бурундукъ (поводъ) одного изъ навьюченныхъ верблюдовъ и поспѣшно увелъ его въ лѣсъ. Къ счастію, былъ густой туманъ; я вскорѣ скрылся и только слышалъ издали шумные ихъ голоса. Я провелъ добычу свою, нигдѣ не останавливаясь, прямо въ Гадазихоръ и отдалъ дядѣ, велѣвъ ему муку взять себѣ, а верблюда отогнать и пустить по близости города. Оставаясь самъ съ недѣлю дома, я каждый день варилъ болтушку и кормилъ всякаго, кто ко мнѣ заходилъ; черезъ два дня знали уже во всемъ околоткѣ, что у меня столъ для бѣдныхъ, и голодные нахлынули со всѣхъ сторонъ: скоро запасы мои стали приходить къ концу. Подумавъ, отправился я опять на то же мѣсто.

Прошло два дня, на третій подстерегъ я персидскій обозъ съ хорошимъ товаромъ. Я остановился у моста и, подпустивъ обозъ вплоть, поздоровался съ хозяиномъ, принесъ ему поклонъ отъ муллы Нура и

потребовалъ дани. Онъ далъ мнѣ, безъ всякаго спора, пять червонцевъ и нѣсколько кусковъ шелковой ткани, велѣлъ кланяться атаману и просилъ меня не забывать отъ кого, чтобы впередъ быть знакомымъ и не подпасть обидѣ. Они поѣхали своимъ путемъ, я же пошелъ въ лѣсъ, но услышавъ, часа черезъ три, шумъ и разные голоса, опять осторожно вышелъ. Тутъ стоялъ другой обозъ, а передъ нимъ человѣкъ въ богатомъ вооруженіи, котораго я по примѣтамъ тотчасъ узналъ за самого муллу Нура. Я подошелъ и сталъ съ любопытствомъ его разсматривать. Взглянувъ на меня, онъ закричалъ: «ты чего не видалъ? пошелъ прочь!»—Мнѣ стало обидно, да притомъ я считалъ мулла Нура человѣкомъ злымъ, онъ грабилъ изъ корысти; я подумалъ: расправлюсь я съ нимъ: онъ, какъ видно одинъ. Но разбойникъ въ ту же минуту понялъ движеніе мое, потому что я впился въ него глазами, а самъ осторожно схватился за ружье, и потому онъ, перемѣнивъ голосъ, сказалъ, обратившись къ толпѣ: «видите ли, какіе у меня товарищи! Изъ земли выростаютъ; это братъ мой, который еще храбрѣе меня». Въ то же время онъ взглянулъ на меня привѣтливо и мигнулъ мнѣ ѣдва замѣтно. Я опустилъ руку; онъ получилъ дань и отпустилъ обозъ, а потомъ мы другъ на друга поглядѣли. «Здравствуй же, товарищъ,—сказалъ онъ, подавая мнѣ руку:—назовись именемъ и отчествомъ».—Я назвался. «Знаю тебя,—сказалъ онъ,—прошли слухи о тебѣ».—«И я тебя знаю, сказалъ я:—и бралъ дань твоимъ именемъ». — «Стало быть я правду сказалъ, отвѣчалъ онъ:—и мы товарищи!» — Въ это время подошелъ одинъ изъ подручниковъ его, и я замѣтилъ, что мулла Нуръ, обращался съ нимъ какъ со слугой; онъ, между прочимъ, послалъ его за кушаньемъ, сказалъ, что у него сегодня дорогой гость, и указалъ при этомъ на

меня. Черезъ часъ три человѣка принесли обѣдъ, и всѣ мы вмѣстѣ усѣлись на травѣ и хорошо поѣли. Напослѣдокъ, побесѣдовши еще нѣсколько, мулла Нуръ пріятельски со мною простился, сказавъ, что еще увидимся.

Прошатавшись по лѣсу дня три, я вышелъ опять на дорогу и часа черезъ два увидѣлъ тянувшійся по ней верблюжій караванъ. Остановивъ его, я потребовалъ хозяина, для уплаты дани; но тутъ хозяина не было,—все одни работники, люди бѣдные, которымъ отдать было нечего; когда же я не соглашался отпустить ихъ безъ дани, то они сказали: «съ нами есть трое жидовъ; они сами хозяева; товаръ у нихъ хорошій и деньги есть—бери съ нихъ». Жиды было попрятались между лошадьми и верблюдами, но ихъ отыскали; я потребовалъ дани, а они стали божиться, что и у нихъ нѣтъ денегъ, а товаръ самый плохой, за который не слѣдуетъ взыскивать много, а потому и сулили мнѣ всего сколько то мелкаго серебра и мѣди. «Коли такъ, сказалъ я:—то возьмите назадъ деньги свои, а мнѣ подайте плохой товаръ,»—и взялъ у нихъ двухъ лошадей со вьюками. Тогда жиды мои, выйдя изъ себя и забывшись, съ кѣмъ связались, бросились отнимать у меня лошадей; я ранилъ одного изъ нихъ кинжаломъ, всѣ трое съ крикомъ отбѣжали, и я повелъ добычу свою черезъ лѣсъ и горы въ Гадазихоръ.

Между тѣмъ, смерклось, стало очень темно, а какъ я, опасаясь преслѣдованія, шелъ не дорогою, а въ перевалъ, то и заплутался. Пустившись, наконецъ, на удачу по первой попавшейся мнѣ дорогѣ, я вскорѣ прибылъ къ селенію, гдѣ на лай собакъ изъ большого каменнаго дома вышли ко мнѣ три человѣка. Я сказалъ имъ, что заплутался, просилъ позволить мнѣ погрѣться у нихъ, а потомъ указать мнѣ дорогу. Они

исполнили это, даже накормили меня, и рано утромъ я былъ уже дома. Братъ и сестры мои до крайности обрадовались; не смѣя отказывать голоднымъ въ пищѣ, потому что я это строго имъ запретилъ, они роздали почти весь хлѣбъ и опять уже начинали терпѣть нужду. Я весь товаръ отдалъ дядѣ, велѣлъ ему тотчасъ же купить пищи, и съ этого дня пошло въ бѣдной саклѣ нашей опять веселое житье и каждый день были пиры, на которые сходились всѣ голодные изъ цѣлаго околотка.

Чтобъ сбыть съ рукъ двухъ лошадей жидовскихъ, дядя предложилъ ихъ за безцѣнокъ какому-то проѣзжему; тотъ почему-то не рѣшился взять ихъ, а одинъ изъ гостей нашихъ, пришедшій изъ города къ радушному столу моему, видѣлъ при этомъ случаѣ лошадей и, воротившись въ городъ, забывъ нашу хлѣбъ-соль, пошелъ къ жидамъ, надѣлавшимъ въ Кубѣ много шуму и тревоги, и обѣщался за хорошую плату отыскать ограбившаго ихъ разбойника. Онъ узналъ лошадей по описанію масти и примѣтъ. На другой день прибыла въ Гадзихоръ команда казаковъ, а съ нимъ жиды и нашъ доказчикъ. Всѣ они пріѣхали прямо на дворъ къ дядѣ моему, старшинѣ; онъ старался занять ихъ нѣсколько времени, а самъ далъ мнѣ знать. Я выгналъ лошадей этихъ скорѣе въ лѣсъ, а вмѣсто ихъ поставилъ другую пару такой же масти, взятыхъ на время у сосѣдей.

Только-что успѣлъ я сдѣлать это, какъ пришли ко мнѣ на дворъ смотрѣть лошадей. Жидъ поглядѣлъ и сказалъ: нѣтъ, это лошади не мои. Доказчикъ тоже осмотрѣлъ ихъ и сказалъ: лошадей перемѣнили; это не тѣ, что я видѣлъ. Тогда указали на меня и спросили жида: онъ ли тебя ограбилъ? Жидъ смотрѣлъ на меня долго изподлобья, но признался, что за великимъ страхомъ не можетъ навѣрное припомнить. Видно

было, что онъ меня боялся. Народу нашло много; я подстерегъ такую минуту, когда всѣ были заняты между собою толками, и потихоньку скрылся: вскорѣ хватились меня, но ужь поздно; начальникъ отряда приказалъ, чтобы меня доставили въ судъ, когда я ворочусь, и затѣмъ съ командой своей воротился въ городъ.

Между тѣмъ, я, залегши невдалекѣ подъ лѣскомъ у дороги, пропустилъ мимо себя казаковъ и подстерегъ жида съ мужиколъ, которые оставались еще нѣсколько времени въ деревнѣ, надѣясь что-нибудь открыть. Я вдругъ вышелъ и, остановивъ ихъ, сказалъ: «я тебя ограбилъ, еврей; но коли ты меня не узналъ, то честно сдѣлалъ, что не показалъ на меня. Скажи же мнѣ правду, сколько этотъ добрый человѣкъ взялъ съ васъ за доносъ?» Жидъ отвѣчалъ: «двадцать цѣлковыхъ.» — «Правда ли?»—спросилъ я у мужика. — «Правда,—отвѣчалъ онъ въ большомъ страхѣ и смущеніи.—«Дешево жь ты продалъ благодарность свою за хлѣбъ-соль; подай мнѣ сейчасъ эти деньги!» Онъ ихъ поспѣшно досталъ и подалъ мнѣ, я же отдалъ ихъ жиду, сказавъ: «вотъ твои деньги: теперь слушайте: вы оба у меня въ рукахъ, вы можете теперь донести на меня и назвать. Они стали просить на колѣняхъ пощады, клялись и божились, что ни кому ни слова не скажутъ объ этой встрѣчѣ.—«Тебѣ я вѣрю,—сказалъ я жиду:—и отпускаю тебя, а съ тобой какъ быть,—спросилъ я мужика:—когда ты уже разъ меня такъ дешево продалъ?» Мужикъ заплакалъ, просилъ прощенья и взмолился, увѣряя, что даже и подъ пыткой слова не скажетъ обо мнѣ.—«Поди съ Богомъ, сказалъ я ему:—хоть я вижу, что ты подлецъ, но я хочу тебѣ вѣрить, чтобы ты могъ исправиться; знай и помни, однако же, что если только ты меня и на этотъ разъ обманешь, то такъ дешево не раздѣлаешься.

тогда я отыщу васъ обоихъ, хоть подъ землей, и вамъ головъ своихъ не сносить.»

Воротившись домой, я пригласилъ къ себѣ захожую братію, пять человѣкъ изъ обнищавшихъ и голодныхъ лезгинъ, съ тѣмъ, чтобы они пособили мнѣ отомстить отцу Гюзели за злыя дѣла его и въ особенности за то, что онъ не давалъ мнѣ хлѣба, стараясь обманомъ провести время, въ надеждѣ, что и я, и братъ, и сестры мои помрутъ съ голоду. Я недавно узналъ, что онъ говорилъ другому человѣку: «живучъ, однакожь, этотъ Асанъ; онъ таскался ко мнѣ за хлѣбомъ цѣлыя двѣ недѣли и ужъ чуть только на ногахъ стоялъ; я все ждалъ, что онъ не переживетъ ночи и не дотащится болѣе до меня: нѣтъ, какъ утро настанетъ, такъ и онъ у меня на порогѣ». Я хотѣлъ ему это напомнить; о Гюзели же нечего было и думать, она давно отдана была замужъ.

Въ слѣдующую ночь мы отправились, и намъ удалось такъ тихо отпереть дверь въ домѣ злого сосѣда, что никто не проснулся. Зная, гдѣ онъ спитъ, я подошелъ потихоньку и сталъ его будить, называя по имени. Онъ проснулся съ испугомъ и спрашивалъ: кто тамъ?—«Узналъ-ли ты меня по голосу?»—спросилъ я. «Узналъ, ты Асанъ».—«Такъ вотъ пощупай-ка, что у меня въ рукахъ.»—и я подалъ ему лезвіе кинжала. Онъ страшно испугался и сталъ просить пощады, говоря: «братъ мой, что ты хочешь со мною дѣлать?»—«Я принесъ тебѣ гостинецъ, сказалъ я:—за твою хлѣбъ-соль, что ты хотѣлъ уморить меня съ голоду, а послѣ еще дивился, что я не издохъ. Теперь молчи, на первый случай, а если только пикнешь, то всажу тебѣ кинжалъ по самую рукоять.» Я велѣлъ стать подлѣ него одному изъ товарищей и уставить кинжалъ на грудь лежащаго, а самъ съ прочими распорядился по хозяйству: взявъ четыре мѣшка муки, сколько

было печеныхъ лепешекъ, масла, соли да еще двѣ коровы, напослѣдокъ простился я съ нимъ, посовѣтовавъ еще разъ лежать смирно до самаго утра, и сказалъ: «я просилъ у тебя въ ссуду, подъ залогъ завѣтнаго оружія—и ты не далъ; теперь не прогнѣвайся; коли хочешь, то приходи завтра ко мнѣ на пирушку, я буду кормить нищихъ и голодныхъ.»

Отправивъ все заграбленное въ свою саклю, я утромъ объявилъ дядѣ, что у меня будетъ большой пиръ, и разослалъ своихъ лезгинъ по околотку звать гостей, съ тѣмъ чтобы, ни одинъ богатый человѣкъ не смѣлъ быть ко мнѣ, а одни только убогіе. Мы зарѣзали обѣихъ коровъ, напекли хлѣба, наварили мяса, а гостей пришло ко мнѣ столько, что съѣли все, что было, въ тотъ же день.

Отецъ Гюзели, едва дождавшись утра, поѣхалъ жаловаться на меня, но не къ коменданту, а къ окружному князю, Али-пашѣ. Князь прислалъ за мной эсаула съ конвоемъ, который пріѣхалъ прямо въ домъ дяди моего, старшины, гдѣ и я на ту пору случился. Эсаулъ ласково поздоровался со мной и протянулъ мнѣ руку, а я, ничего не зная, протянулъ было и свою; но дядя мой успѣлъ еще дать мнѣ знакъ, оттолкнувъ въ то же время эсаула и закричавъ ему: «Что ты даешь руку этому сорванцу, вѣдь онъ какъ разъ тебѣ распоретъ брюхо!» Этимъ дядя далъ мнѣ понять, что пріѣхали за мной; я тотчасъ отступилъ нѣсколько шаговъ назадъ и, чтобы оправдать дядю, схватился за кинжалъ и сказалъ: «Ну, счастливъ ты, что старшина тебя спасъ!» потомъ я вышелъ и скрылся. Не могши взять меня, эсаулъ долго бранился съ дядей, понявъ, несмотря на продѣлки наши, что тотъ потакаетъ племяннику, и уѣхалъ, сказавъ, что обо всемъ донесетъ князю; а ограбленный сосѣдъ мой, опасаясь остаться, также уѣхалъ съ ними.

Боясь угрозъ посланнаго, дядя началъ меня бранить за мои разбои и вдругъ крѣпко осерчалъ, сказавъ, что это ему уже надоѣло. Я ему отвѣчалъ: «Ты самъ знаешь, почему я на такое дѣло пошелъ: я не хочу умирать съ голоду, а и того пуще не хочу, чтобъ умерли сестры и братъ. У тебя порядочный достатокъ, почему же ты не возьмешь ихъ къ себѣ? Ты ко мнѣ добръ, это правда, или добрѣе другихъ, но по тебѣ мы бы все-таки давно попухли и издохли. Учить не мудрое дѣло, дядюшка, особенно такой простой вещи—что-де разбойничать и грабить нехорошо; но побудь-ка на моемъ мѣстѣ... Я не перестану грабить на все время голода, пока меня не убьютъ; я себя не жалѣю, я жалѣю своихъ ближнихъ. Я на это положилъ зарокъ, а ты, какъ пожилой и хорошій человѣкъ, самъ знаешь, что абреку одна дорога: впередъ, а не назадъ».

У дяди собралось въ это время нѣсколько стариковъ, которые слушали все, что я говорилъ, и наконецъ сказали, что меня винить нельзя въ такую пору,—что я точно, какъ всякому извѣстно, граблю не для корысти, дѣлю добычу свою на всѣхъ голодныхъ и притомъ не душегубствую. Они припомнили и то, что въ то время былъ отъ начальства строгій приказъ: коли у кого есть хлѣбъ и онъ просящему у него ради голода, послѣ троекратной просьбы, не дастъ, то отбирать четвертую часть наличнаго хлѣба и дѣлить на голодныхъ. «А онъ, сказали они обо мнѣ:—ходилъ и просилъ долго и много разъ, да небось не далъ никто; а сосѣдъ, котораго онъ ограбилъ, не далъ и подъ залогъ такой вещи, какъ отцовское ружье!»

Между тѣмъ, такъ какъ дядя-старшина сталъ призадумываться, что ему придется за меня отвѣчать, то я всталъ и сказалъ: «никого я не хочу вводить въ отвѣтъ за себя, и потому завтра же самъ поѣду къ князю.» Дядя обрадовался, а старики меня похвалили,

сказавъ: «ступай и не бойся ничего; пусть старшина ѣдетъ съ тобой и засвидѣтельствуетъ передъ княземъ нашимъ именемъ, что дѣло твое правое.»

На другой день мы пріѣхали въ Кубу и явились къ Али-пашѣ. Мы слышали, что онъ былъ очень сердитъ на меня, и намъ пророчили худое. Онъ позвалъ меня одного, глазъ-на-глазъ, въ покой свой, и, посмотрѣвъ на меня, спросилъ: «Что скажешь?»—«Ты присылалъ за мною эсаула съ конвоемъ, сказалъ я: — но я конвоевъ не люблю, и не идетъ мнѣ, маленькому человѣку, съ такимъ почетомъ ѣздить; вотъ почему я эсаулу не дался; а передъ тобой я ни нынѣ, ни впредь не ослушникъ; прикажи—и явлюсь.»—«Это хорошо», сказалъ онъ: — «такихъ я люблю; сказывай же мнѣ теперь все, что есть за тобою, чтобы мнѣ другихъ не спрашивать».—За мною есть много, отвѣчалъ я: — да не много словъ нужно на все: мнѣ съ сестрами и братомъ приходилось умереть съ голоду, и не много дней приходилось жить, потому что поршнями сытъ не будешь; я просилъ хлѣба взаймы и подъ залогъ оружія, просилъ у родичей, пріятелей и даже у враговъ; никто не далъ; тогда я пошелъ въ абреки, положивъ зарокъ грабить зажиточныхъ людей на все время голода, отбирать у нихъ по закону четвертую часть и кормить голодныхъ. Вотъ все.» — «Ты ли связалъ трехъ нукеровъ, изъ конвоя одного князька?» спросилъ онъ.— «Я.»—«Какъ же ты могъ съ ними управиться?» — Я разсказалъ.—«А ты ли ограбилъ трехъ жидовъ?»—Я; у нихъ было двѣнадцать вьюковъ, а я взялъ только два. «Ты ли ограбилъ сосѣда, который на тебя проситъ?» — «Я; онъ хотѣлъ уморить меня съ голоду и хвалился этимъ; что же лучше — чтобы сосѣдъ мой продавалъ хлѣбъ свой по непомѣрной цѣнѣ и разбогатѣлъ отъ этого, или чтобы сто человѣкъ голодныхъ были сыты?»—«Правда твоя, Асанъ; оставайся же у

меня на три дня въ гостяхъ; такой гость какъ ты дому моему почетъ». Онъ отпустилъ старшину, послалъ ко мнѣ въ домъ два воза пшеницы, приказалъ меня у себя угощать и каждый день призывалъ къ себѣ для разговора. На третій день онъ подарилъ мнѣ одежду и шашку, и прощаясь сказалъ: «будешь ли еще грабить, Асанъ?» Я отвѣчалъ: «буду, князь, пока не кончится голодъ, потому что я положилъ такой нерушимый зарокъ; пшеницы, которую ты послалъ ко мнѣ въ домъ, станетъ не надолго, потому что сестры мои, по строгому приказанію моему, не смѣютъ отказывать въ хлѣбѣ ни одному голодному, а голодныхъ теперь больше, чѣмъ сытыхъ.»—«Не обижай же никого напрасно»,—сказалъ князь:—«и не пугай бѣдныхъ людей». Я отвѣчалъ, что не для обиды это дѣлаю и не для корысти, а чтобы избавить себя съ семьей и другихъ бѣдныхъ людей отъ голода.

Прибывъ домой, я принялъ поздравленіе отъ стариковъ и другихъ добрыхъ людей Гадазихора, а враги мои не смѣли показываться. Я засталъ толпу народа у моей сакли, которая съ крикомъ и плачемъ требовала хлѣба; тутъ были старики, бабы и дѣти; многіе пришли, по слухамъ, издалека и едва дотащились; одинъ старикъ, сидя отъ слабости на землѣ, досталъ изъ-за пазухи пучокъ травы и, протягивая ко мнѣ руку, кричалъ сиплымъ, истомленнымъ голосомъ: «вотъ что я жую другую недѣлю; брюхо мое стало корытомъ, и голодъ у меня проникъ во всѣ кости!» Я тотчасъ послалъ повѣстить на всю деревню, чтобы всѣ, у кого есть въ домѣ печеный хлѣбъ, то есть лепешки, снесли ихъ тотчасъ же ко мнѣ въ домъ и приняли вмѣсто того пшеницу; всѣ исполнили мое приказаніе, даже дядя мой, старшина. Я наварилъ еще болтушки и, накормивъ и одаривъ всѣхъ бѣдняковъ, отпустилъ ихъ, сказавъ, что они не одни и чтобъ теперь никто изъ нихъ

не приходихъ ко мнѣ за хлѣбомъ ранѣе одной недѣли. Всѣ обѣщались исполнить это, благодарили и ушли.

Видя меня въ такомъ обилiи и столь тароватымъ, отецъ Гюзели надѣялся этимъ покорыстоваться и пришелъ на мировую, съ тѣмъ только, чтобы я ему уплатилъ то, что у него отнялъ. Я ему захохоталъ въ глаза и спросилъ: «какой дуракъ тебя за этимъ прислалъ?» — «Я самъ пришелъ»,—отвѣчалъ онъ. — «Ну, такъ стало быть ты самъ и есть дуракъ этотъ. Когда ты лежалъ у меня подъ ножомъ, ты говорилъ одно, а когда поѣхалъ жаловаться, такъ, чай, говорилъ другое; теперь же выдумалъ еще третье; поди же съ Богомъ, отпускаю тебя здрава и невредима, съ тѣмъ уговоромъ, что если ты когда-нибудь и кому-нибудь помянешь о томъ, что я тебя ограбилъ, то припасай у меня сейчасъ же опять столъ на сто человѣкъ; да! я тебя еще разъ заставлю накормить ихъ!».

Получивъ громкое имя на всю округу, я вскорѣ набралъ себѣ отважныхъ товарищей, съ условiемъ никого напрасно не обижать, грабить не для корысти, а ради голода и голодныхъ; такимъ образомъ я дѣлалъ набѣги въ разныя стороны, то на жителей, то на проѣзжихъ, но всегда только на людей достаточныхъ и притомъ на такихъ, которые бѣднымъ ничего не даютъ; я всегда отбиралъ у нихъ не болѣе, какъ положено было по закону, то есть четвертую часть, потому что хотя это приказанiе начальства и было объявлено, но оно никѣмъ не исполнялось; бѣдные, зная, что приказанiе такое есть, еще болѣе встревожились и роптали; зажиточные также были недовольны, уклонялись и скрывали достатокъ свой, какъ могли, что и рождало повсемѣстное безпокойство. Я завелъ у себя народную кухню, гдѣ каждый день пекли и варили все, что я добывалъ, не заботяся о завтрашнемъ днѣ, и сестры мои съ братомъ одѣляли всякаго, кто

приходилъ и садился подъ навѣсъ моей сакли. Я доставлялъ домой черезъ товарищей моихъ все, что могъ добыть, а самъ изрѣдка только навѣдывался, для порядка. Мало-по-малу дошло до того, что ни одинъ зажиточный человѣкъ не смѣлъ прогонять голоднаго отъ своего порога безъ подаянія, потому что лишь только бѣднякъ приходилъ въ саклю мою и объявлялъ объ этомъ сестрамъ, какъ онѣ давали мнѣ знать, и я отправлялся для наказанія виновнаго.

Однажды навѣдался я домой и, сдѣлавъ порядочный запасъ съѣстнаго, остался отдохнуть нѣсколько дней. Тутъ пришелъ одинъ изъ двоюродныхъ братьевъ моихъ и позвалъ меня въ гости къ матери своей, моей теткѣ, жившей отъ Гадазихора верстахъ въ сорока. Дорога наша лежала черезъ Кубу; не доходя до города, брату моему вдругъ сдѣлалось дурно, и онъ почти не могъ далѣе идти. Мы рѣшились отдохнуть въ одномъ загородномъ саду, вошли туда, присѣли и сказали подошедшему хозяину, что мы-де пришли къ тебѣ въ гости; коли примешь, то попутчуй насъ плодами. Между тѣмъ, стало смеркаться. Хозяинъ послалъ мальчика, который и принесъ намъ плодовъ, а самъ тотчасъ удалился. Черезъ полчаса мы вдругъ были окружены народомъ; ночь была свѣтлая, и я замѣтилъ, что было человѣкъ до двадцати. Тутъ нѣкоторые подошли и стали спрашивать, какіе мы люди и зачѣмъ сюда зашли? Я сказалъ, что идемъ туда-то, что ночь насъ застигла, а братъ мой сдѣлался нездоровъ, почему и попросились у садовника переночевать. Они отвѣчали, что лезгинъ приказано брать, гдѣ попадутся, потому что они нынѣ много шалятъ, и доставлять въ городской судъ. Я отвѣчалъ, что мы не изъ тѣхъ лезгинъ, которыхъ велѣно брать, а изъ мирныхъ; но они сказали: «мы этого не знаемъ; сложите съ себя оружіе, ступайте съ нами *въ городъ*, тамъ и оправдаетесь». Я возражалъ, что

мы никакого насилія, ни обиды не дѣлали, попросились ночевать изъ чести, а за это-де еще не за что брать и доставлять въ судъ; но, что я имъ ни говорилъ, они ничего не хотѣли слышать, а начали кричать, грозить и подступать ближе, готовясь взять насъ силой. Тогда я толкнулъ брата, чтобы онъ всталъ, ударилъ одного человѣка въ голову стволомъ ружья—онъ упалъ, толпа съ крикомъ разступилась, и мы побѣжали изъ саду. Но братъ мой, будучи слабъ, не могъ долго бѣжать; его взяла одышка, онъ остановился и кричалъ мнѣ, чтобы я его не покидалъ. Я воротился, и толпа, погнавшаяся за нами, опять на насъ напала. Тутъ я одного поймалъ и нанесъ ему четыре раны кинжаломъ; тогда прочіе всѣ отступили и кричали мнѣ: «отпусти его, мы васъ оставимъ, мы не станемъ за вами гнаться!» Я его отпустилъ, мы пошли шагомъ; а они надумались, опять догнали насъ, и непремѣнно хотѣли меня взять. Я разсердился, сталъ обороняться не шутя и ранилъ еще двоихъ: одного изъ ружья, а другаго кинжаломъ. Тутъ только они насъ оставили совсѣмъ. И за дѣломъ гнались: чтобы дать переранить четырехъ человѣкъ!

Между тѣмъ, братъ мой сдѣлался сильно нездоровъ и едва могъ идти, даже когда я его велъ подъ руку. Подходя уже къ городскимъ воротамъ, мы опять услышали за собою толпу народа; къ счастію, по близости случился оврагъ, въ которой мы успѣли во-время скрыться. Толпа прошла мимо насъ; это несли одного изъ тѣхъ, котораго я ранилъ. Изъ разговоровъ ихъ я услышалъ, что одинъ изъ этихъ людей знаетъ меня; онъ называлъ меня по имени, упрекалъ прочихъ за неосторожность ихъ; «я вамъ не совѣтовалъ связываться съ нимъ», говорилъ онъ:—«я знаю, каковъ онъ; вотъ вы и надѣлали дѣла».. Отдохнувъ и заснувъ немного въ полѣ, мы опять пошли, и я на другой день довелъ брата моего къ матери его. Когда онъ разска-

залъ, что съ нами было, то она много благодарила меня, что я не покинулъ сына ея, и просила погостить, но я остался одинъ только день и воротился домой, чтобъ продолжать свое дѣло.

Спустя мѣсяца три, въ продолженіе которыхъ я съ товарищами управлялся тутъ и тамъ попрежнему, князь Асланъ-ханъ, жившій въ Кумукѣ, отъ насъ верстъ со сто, прислалъ за мною гонца, чтобы звать меня къ себѣ. Я поѣхалъ. Асланъ-ханъ тотчасъ позвалъ меня и спросилъ: «ты ли сынъ Маймада-али и внукъ Пыръ-али?»—Я отвѣчалъ: «слуга твой.» — «Я зналъ твоего дѣда,—продолжалъ Асланъ-ханъ: — онъ былъ храбрый воинъ, мы съ нимъ хлѣбъ-соль важивали; а о тебѣ слышно, что ты ему не уступаешь и пугаешь много народу; такъ ли это?» Я отвѣчалъ, что дѣйствительно такъ; разсказалъ все подробно и объяснилъ причину, почему и для чего я такъ дѣйствую, то есть, что именно меня заставило сдѣлаться разбойникомъ. «Но я знаю, что все это можетъ оправдать меня передъ совѣстію моею, но не передъ начальствомъ. Я передъ вами виноватъ; есть воля ваша сдѣлать надо мною, что угодно; я готовъ положить голову на плаху.» Асланъ-ханъ отвѣчалъ: «я не за тѣмъ призвалъ тебя, чтобы казнить; я тебя звалъ въ гости къ себѣ; мнѣ хотѣлось посмотрѣть на тебя и услышать изъ твоихъ устъ подробности твоихъ дѣйствій. Ты достоинъ своего дѣда Пыръ-али; въ тебѣ есть сердце. Останься у меня и погости недѣлю».

Проживъ у Асланъ-хана недѣлю въ добромъ привѣтѣ и чести, я пришелъ откланяться, а онъ мнѣ предложилъ остаться у него совсѣмъ; но я отвѣчалъ, что почиталъ бы за счастье сложить голову свою на службѣ Асланъ-хана, если бы меня не связывала клятва абрека, а потому я прошу отпустить меня: покуда будетъ продолжаться голодъ, я долженъ кормить бѣдный народъ.

безъ меня никто этого не сдѣлаетъ. «Прошу васъ въ несчастномъ случаѣ защитить меня; если же все благополучно кончится, то я со всѣмъ семействомъ перейду къ вамъ и буду вамъ вѣрнымъ рабомъ.»

Асланъ-ханъ одѣлъ меня въ хорошее платье, одарилъ конемъ, кольчугой, полнымъ оружіемъ и отпустилъ съ честью.

Прибывъ домой, я сталъ продолжать ремесло свое, и разныхъ случаевъ было столько, что нельзя ихъ пересчитать: но я строго наказывалъ товарищамъ и требовалъ отъ нихъ въ томъ клятву, чтобы не убивать людей, а только отбирать частицу у зажиточныхъ обывателей и богатыхъ проѣзжихъ купцовъ, для насущнаго хлѣба на себя и на нищую братію. Во дворѣ моемъ дымъ курился день и ночь, все пекли и варили, сестры мои хозяйничали и кормили до-сыта всякаго захожаго. Вокругъ Гадазихора поселились цѣлые таборы нищихъ.

Прошло съ полгода. Въ шайкѣ моей былъ одинъ купеческій сынъ изъ самой Кубы, родомъ тамошній персіанинъ. Онъ познакомилъ меня со своимъ семействомъ, и я, ввѣрившись въ него, уже нѣсколько разъ ночевалъ у него въ домѣ. Однажды онъ также звалъ меня къ себѣ въ гости, по поводу праздника, и я, согласившись, взялъ еще съ собою другаго, очень надежнаго товарища. На пути товарищъ этотъ говоритъ мнѣ на нашемъ лезгинскомъ языкѣ, котораго персіанинъ не понималъ: — «позволь, атаманъ, я его убью». Я изумился и сказалъ: «что ты это говоришь? или ты въ горячкѣ? чтобъ я впредь этого никогда не слышалъ; за что? мы не убиваемъ и постороннихъ людей, а станемъ рѣзать товарищей?» — «Нѣтъ, отвѣчалъ тотъ — онъ намъ не будетъ товарищемъ, а скорѣе измѣнникомъ и предателемъ; какой товарищъ персіанинъ лезгинцу? Сердце мое никогда не обманываетъ ни себя,

ни другихъ, а я сердцемъ слышу, что онъ насъ продастъ: не ѣзди съ нимъ, Асанъ!» — «Пустое, сказалъ я; — они люди добрые, я ужъ нѣсколько разъ у него ночевалъ». Поѣхали дальше.

Не доѣзжая города, мы остановились въ ближайшемъ лѣску, а персіанинъ мой сказалъ: «отдохните здѣсь, а я поѣду впередъ и осмотрюсь немного и привезу закусить: вамъ, какъ лезгинцамъ, надо остерегаться». Онъ поѣхалъ, мы остались, и вдругъ, отколѣ ни возьмись, ворона стала все летать около насъ, садиться на деревья и каркать. «Видишь ли, сказалъ товарищъ:— что не къ добру мы ѣдемъ; воля твоя, а я ворочусь, да и тебѣ совѣтую сдѣлать то же». Не хотѣлось мнѣ послушаться вороны, глупой птицы, которая каркаетъ безъ толку весь день, а пуще того показалось стыдно уйти такимъ образомъ, будто я не смѣлъ покинуть своего персіанина въ глаза, а когда онъ удалился, то тайкомъ уѣхалъ. Я остался. «Какое приказаніе твое, спросилъ меня лезгинъ, сѣвъ на лошадь:—если ты не воротишься?» — «Приказываютъ живые люди, а не мертвые, сказалъ я: — а когда не ворочусь, то стало быть меня не будетъ въ живыхъ. А завѣтъ мой: не грабить изъ корысти, а только ради голода; не убивать людей, не обижать бѣдняковъ.»

Персіанинъ воротился, не привезъ ничего, сказавъ, что не нашелъ, а звалъ къ себѣ въ домъ, гдѣ все будетъ приготовлено. «Гдѣ же товарищъ нашъ?»—«Воротился, сказалъ я:—онъ до вечера выждетъ насъ у подгорнаго лѣсу. Я замѣтилъ, что лошадь персіанина была порядочно упарена и что онъ, стало быть, ѣздилъ куда-нибудь спѣшно и гналъ, хоть къ намъ и подъѣхалъ шагомъ; одного этого было бы уже достаточно, чтобы остеречь меня и чтобы мнѣ послушаться своего лезгинца: но, видно, ужъ судьба моя исполни*лась и тянула* меня въ бѣду. Мнѣ показалось такъ

стыдно не повѣрить испытанному товарищу, хоть и персіанину, что я сѣлъ на лошадь и поѣхалъ съ нимъ.

Мы прибыли къ нему въ домъ къ ночи; меня приняли ласково, угостили, а потомъ я попросилъ своего хозяина сходить за однимъ знакомымъ моимъ, чтобы съ нимъ увидаться. Онъ ушелъ и долго пропадалъ; было поздно, мнѣ подали подушку, и я прилегъ, а братъ хозяйскій сѣлъ возлѣ меня и разговаривалъ. Наконецъ, приходитъ и самъ онъ и говоритъ, что долго искалъ того челрвѣка, насилу нашелъ, и онъ скоро будетъ; потомъ, подошедши ко мнѣ, спросилъ у своихъ какую-то вещь и нагнулся черезъ меня, какъ будто искалъ ее; въ ту же минуту братъ его схватилъ меня за руки, а онъ упалъ ко мнѣ на грудь, оба они закричали громко, дверь отворилась, и вошелъ офицеръ съ командой. Меня схватили столько человѣкъ, сколькимъ можно къ одному человѣку приступиться, обезоружили, связали и вывели на дворъ. Тутъ я увидѣлъ, что весь домъ окруженъ солдатами и казаками. Заковавъ меня, отвели подъ стражу.

На другой день привели меня къ начальнику. «Ну, храбрый рыцарь, сказалъ онъ: — попался! Довольно тебя искали! Жалобъ на тебя также довольно; а что ты самъ скажешь, много ли ты душъ погубилъ?» — «Ни одной, отвѣчалъ я;—но все-таки виноватъ, какъ разбойникъ и грабитель. Я свое дѣло кончилъ; судьба моя свершилась; дѣлайте вы свое, я роптать не стану.»—«Ты отвѣчаешь бойко,—сказалъ онъ:—не думаешь ли еще, что можешь быть прощенъ?»—«Нѣтъ, не думаю,—отвѣчалъ я:—вы славитесь какъ начальникъ справедливый, а какой же справедливый начальникъ можетъ простить разбойника? Меня слѣдуетъ казнить».

Меня посадили въ арестантскую. Заключенные разговаривали между собою, и вѣря, и не вѣря, что это былъ я. Одинъ, лежавшій на нарахъ, съ завязан-

ною головой, всталъ, подошелъ, узналъ меня и бросился мнѣ въ ноги. Онъ былъ изъ моей шайки, раненъ на грабежѣ и съ отрубленнымъ ухомъ попался въ плѣнъ. Они разсказали мнѣ, что прошла молва, будто я намѣревался ворваться въ Кубу и освободить всѣхъ арестантовъ—чего у меня никогда и въ помыслѣ не бывало—и по этому поводу стали искать и ловить меня еще настоятельнѣе прежняго. Оказалось, что персіанинъ мой самъ разгласилъ слухъ этотъ, чтобы придать измѣнническому дѣлу своему болѣе важности и цѣны.

На другой день повели меня къ коменданту, который тотчасъ узналъ меня, судивъ нѣсколько лѣтъ тому, какъ я уже сказывалъ, за раненыхъ мною двухъ братьевъ. Онъ сожалѣлъ обо мнѣ, что я вдался въ такое дѣло, и сказалъ: «ты молодъ еще, а проказилъ много». На допросахъ я показывалъ все, что зналъ и помнилъ, по всей справедливости; когда меня проводили по улицамъ, то стало собираться много народу и иные называли меня благодѣтелемъ и кормильцемъ, поэтому стали меня возить, приказывая скорѣе ѣхать.

Недѣль черезъ шесть Асланъ-ханъ узналъ о моей участи и прислалъ сына своего съ письмомъ, чтобы за меня просить. Побывавъ у коменданта, онъ пришелъ и ко мнѣ, въ арестантскую, и уговаривалъ меня, чтобъ я не горевалъ, обнадеживая ходатайствомъ отца своего. Но я ему сказалъ, поблагодаривъ почти со слезами, что напрасно онъ безпокоится, а пути въ этомъ не бывать. Я столько знаю порядокъ, и дѣла, и людей, что никакого помилованія я ожидать не могу. Я абрекъ, это извѣстно всякому; какое жь бы это было начальство, если бы оно абрековъ отпускало? Этого не можетъ быть. Судьба моя совершилась: вотъ все.

Проживъ двѣ недѣли, навѣдывая меня часто и ода-

ривъ меня деньгами, сынъ Асланъ-хана принужденъ былъ подняться опять съ ближними и нукерами своими, которыхъ было человѣкъ до двухъ сотъ, и возвратиться къ отцу съ рѣшительнымъ отказомъ коменданта, который сказалъ, что онъ во мнѣ не властенъ, а судить будетъ законъ

Черезъ нѣсколько времени навѣстили меня два купца, принесли гостинца и спросили, узналъ ли я ихъ? — «Нѣтъ, не узналъ»,—сказалъ я.—«Всмотрись хорошенько, мы носимъ еще знаки отъ твоей руки, продолжали они, разсказавъ, что были въ числѣ раненыхъ тотъ вечеръ, когда меня съ больнымъ братомъ хотѣли захватить въ саду. Они также разсказали мнѣ, что никто не умеръ отъ ранъ, а всѣ давно выздоровѣли.—«Простите меня, сказалъ я:—теперь я буду отвѣчать за все.» — «Нѣтъ, мы сами виноваты,—сказали они:—одинъ человѣкъ узналъ тебя и уговорилъ насъ всѣхъ, чтобъ поймать тебя и отличиться передъ начальствомъ, потому что за тебя была обѣщана награда. Мы были у допроса, но на тебя не показали, потому что ты дѣлалъ болѣе добра, чѣмъ зла, а это можно сказать не о всѣхъ людяхъ, хотя они и не разбойники». «Спасибо на добромъ словѣ,—сказалъ я:—но мнѣ теперь все равно; я не думаю о томъ, чтобы оправдываться, и самъ первый на себя докащикъ.

Два года сидѣлъ я въ кандалахъ, покуда длилось разбирательство, хотя я ни въ чемъ не отпирался; иногда позволяли кой-кому навѣщать меня, и у меня бывали дяди мои, Улъ-ага и Асанъ, да навѣстила еще разъ добрая душа—и Богъ вѣсть какъ она прошла ко мнѣ и одна меня доспросилась. Меня однажды вечеромъ вызвали изъ арестантской, сказавъ, что пришла сестра; я этому очень удивился, не полагая, чтобы сестру мою такъ отпустили одну, и чтобы она, какъ молодая дѣвушка, могла отыскивать меня по остро

гамъ. Выхожу—и вижу въ углу сѣней женщину, закрывшую лицо свое до половины платкомъ; съ перваго взгляда узналъ я Гюзель.—«Зачѣмъ ты пришла, —сказалъ я: — тревожить и себя, и меня, и подвергать сверхъ того, безъ пользы, жизнь свою опасности? Если мужъ твой узнаетъ объ этомъ, то, вѣроятно, убьетъ тебя.» Мы говорили по-лезгински и насъ никто не понималъ.—«Все равно,—сказала она:—судьба твоя свершилась,—свершись и моя; я хотѣла видѣть тебя еще разъ. Скажи мнѣ, ты пропалъ?» — «Пропалъ, — отвѣчалъ я:—считай, что меня нѣтъ на свѣтѣ.»— «Прощай же, и Богъ съ тобой, — сказала она:—буду думать, что видѣла мертваго; но и къ мертвому ходятъ прощаться.»

Наконецъ, мы слышимъ съ вечера, что тремъ изъ насъ вышло рѣшенье, но неизвѣстно кому. По утру вызвали меня, повели на площадь, гдѣ было выстроено войско, прочитали приговоръ и прогнали черезъ 500 человѣкъ. Вскорѣ опять навѣстилъ меня дядя, я просилъ его привести ко мнѣ, какъ можно скорѣе, брата и обѣихъ сестеръ, чтобъ съ ними проститься; но на другой же день рано утромъ подъѣхала къ острогу повозка, вышелъ офицеръ, потребовалъ меня и объявилъ мнѣ рѣшеніе отправляться въ Финляндію, въ тамошніе полки на службу. Онъ далъ мнѣ отъ себя денегъ на дорогу, обнадеживалъ чѣмъ могъ и спрашивалъ, нѣтъ ли у меня здѣсь какихъ-нибудь нужныхъ порученій. Я заплакалъ, благодарилъ его и почти безъ памяти сѣлъ въ повозку; особенно больно мнѣ было, что, не видавшись два года съ сестрами и братомъ, для которыхъ я сдѣлался разбойникомъ, уѣзжаю навсегда и не могу съ ними проститься. Конвойные казаки сказали: «пошелъ!» и повозка покатилась. Долго я лежалъ ничкомъ и не хотѣлъ даже взглянуть по *сторонамъ*.

Въ Шемахѣ на нѣсколько дней остановились, перековали кандалы мои и погнали съ другими арестантами пѣши. На первой верстѣ я растеръ ноги въ кровь, однако жъ дошелъ до ночлега, перемогая боль. По утру не могъ я двинуть и переставить ногъ; но какъ велѣли идти, то я опять подумалъ, что мнѣ жалѣть себя нечего, и пошелъ. Товарищамъ страшно было на меня смотрѣть, и я ихъ задерживалъ; они стали проситься идти впередъ, а я, противъ воли своей и сколько ни силился, отставалъ. При проходѣ черезъ деревню намъ попалась навстрѣчу старуха; взглянувъ на мои ноги, она вскричала: «Боже мой! неужели и моего сына вели такъ!» и сама упала къ моимъ ногамъ; тогда мнѣ стало жаль ея, болѣе чѣмъ себя... Поздно дотащился я до привала, гдѣ прочіе давно ужъ расположились, поѣли и отдохнули; меня спросили: «Ну, какъ ты дошелъ?»—Вы видѣли сами,—сказалъ я:—и конвойный мой видѣлъ.—«Не зналъ я прежде,—сказалъ тотъ же:—что ты лезгинъ Асанъ, и что бралъ дань съ купцовъ и жидовъ; что же ты не обложилъ данью шемахинцевъ, какъ проходилъ городъ?»—Я сказалъ: «если бы ты у меня спросилъ объ этомъ тогда, когда я бралъ дань, то я бы тебѣ отвѣчалъ на это». Между тѣмъ пришла къ намъ та же старуха съ племянникомъ, принесла намъ ужинать, сѣла и начала плакать по сынѣ.—«Не плачь, старуха,—сказалъ я:—у Бога много людей.»—«У Бога много,—сказала она:—да у меня былъ одинъ»; и спрашивала, отчего нѣтъ для насъ подводъ? И пошла къ начальнику и стала просить, чтобъ позволилъ ей дать для насъ пару воловъ, до слѣдующаго селенія; онъ же сказалъ: «если таково усердіе твое, то, пожалуй, дай». Такимъ образомъ, мы отправились на волахъ, а на дорогу она напекла намъ и наварила много. Далѣе самъ начальникъ сталъ требовать подводу для слабыхъ. На пятый день прибыли

мы въ Нуху; тутъ я уже былъ въ такомъ положеніи, что не могъ слѣдовать дальше. Меня расковали, оставили на недѣлю, а тамъ везли въ однихъ только ручныхъ кандалахъ до Тифлиса.

Въ Тифлисѣ я принялъ присягу на службу; меня обмундировали, и сталъ я русскій солдатъ, но все еще былъ подъ карауломъ. Вскорѣ насъ отправили; дорóгою товарищи уговаривались было бѣжать, но я ихъ отговорилъ, сказавъ, что вы только сами себя погубите, а уйти не уйдете; пойдемъ впередъ, посмотримъ, что тамъ будетъ, можетъ быть и хорошо. Такимъ образомъ шли мы на многіе города и наконецъ черезъ Петербургъ до Выборга, и были въ дорогѣ всего отъ Кубы десять мѣсяцевъ.

Въ Выборгѣ опредѣлили меня въ батальонъ и держали уже не какъ арестанта, а какъ рекрута. Командиръ осмотрѣлъ меня, поговорилъ со мною и приказалъ отправить въ роту и дать хорошаго дядьку; «онъ будетъ хорошій солдатъ»,—сказалъ онъ, ударивъ меня по плечу. Это было 8 сентября, день ротнаго праздника, и я, по приказанію адъютанта, поздравилъ фельдфебеля. Онъ принялъ меня хорошо, приставилъ ко мнѣ добраго и старательнаго стараго солдата; всѣ товарищи меня вскорѣ полюбили и не могли наслушаться моихъ разсказовъ; капитанъ былъ мною доволенъ, и я также долженъ былъ его полюбить, потому что онъ былъ къ намъ правдивъ и заботливъ. А кому какая до того нужда, коли я скажу, что скучалъ до смерти? Я родился и выросъ въ горахъ, вольнѣе козы дикой... но я хотѣлъ служить честно и вѣрно, потому что первая моя судьба свершилась и ея не воротишь, а теперь началась другая...

Черезъ полгода намъ сказали былъ походъ подъ Кимзоль. Дядька спросилъ меня: «есть ли у тебя деньги на дорогу?» — «Нѣтъ, — отвѣчалъ я:—ни ко-

пѣйки.»—«Ну, хоть бы занялъ у кого, послѣ выработаешь, отдашь», — сказалъ онъ. Я попросилъ у одного товарища, у котораго, какъ я зналъ, были деньги; онъ отвѣчалъ:—«хорошо, Асанъ, я тебѣ дамъ деньжонокъ, только ты слушайся и дѣлай, что я велю: гдѣ увидишь хорошіе сапоги у чухонъ, либо рубаху, или что другое, бери и неси ко мнѣ; солдатъ—багоръ, что зацѣпилъ, то и потащилъ.» Я сказалъ: «научилъ бы ты меня добру, такъ я бы и даромъ послушался, а этой науки мнѣ и за деньги не надо.»— «Какъ,—сказалъ онъ:—да вѣдь ты же, говорятъ, грабилъ дома и на разбой ходилъ?»—«Коли объ этомъ толковать,—сказалъ я:—такъ мы, братъ, съ тобой и вѣкъ не столкуемся. Господь съ тобой.»

На другой день мы отправились въ походъ. Мнѣ стало повеселѣй; устали не слышалъ я никакой, а только словно становилось мнѣ вольнѣй и легче. Я забавлялъ товарищей своими пѣснями и пляской; они смѣялись, и я смѣялся, а сердце у меня плакало.. чего не припоминалъ я за этими пѣснями!

Пришли мы на первый привалъ, ружья въ козлы, и легли отдыхать. Когда все вокругъ меня стихло, то меня прошибла слеза... между тѣмъ, слышу, что невдалекѣ одинъ офицеръ говоритъ капитану: «Ну молодецъ нашъ черкесъ; вѣдь всѣ пятнадцать верстъ пропѣлъ да проплясалъ!»—«А гдѣ онъ? пошлите его сюда, — сказалъ капитанъ. — Есть ли у тебя деньжонки? — спросилъ онъ.—«Нѣтъ ни копѣйки.» Онъ далъ мнѣ пять рублей, сказавъ: «Поди, выпей рюмочку». Я отвѣчалъ, что отъ роду вина не пилъ. «Ну, такъ купи себѣ чего-нибудь поѣсть»,—сказалъ онъ. Тутъ онъ замѣтилъ, что у меня сапоги тѣсноваты, и велѣлъ мнѣ ранецъ положить на повозку.

Товарищи, узнавъ объ этомъ, стали говорить: «А что, Асанъ, тебя надо поздравить, пойдемъ да пой-

неси по маненькой». Я отвѣчалъ, что «товарищамъ никогда и ни въ чемъ не отказывалъ; пойдемъ». Я поднесъ имъ и дядькѣ; тутъ входитъ капральный; они стали говорить: «Ну, для капральнаго надо полуштофъ».—«Нѣтъ, братцы,—отвѣчалъ я:—этому не бывать; по одной выпили и довольно, одну поднесу и капральному, а деньги понадобятся впередъ». Капральный сказалъ, что это правда, и велѣлъ мнѣ деньги беречь.

Вскорѣ мы дошли, и насъ разставили по квартирамъ; тутъ намъ было хорошо, и можно было работать, кто хотѣлъ, на себя. Переходя съ мѣста на мѣсто, пробыли мы тутъ всего два года; я обжился, свыкся съ товарищами, а начальники меня любили. Наконецъ, мы опять воротились въ Выборгъ.

Въ 1840 году пріѣхалъ туда гвардейскій офицеръ, для выбора людей въ гвардію. Проходя по фронту, онъ выдвинулъ и меня впередъ, но ботальонный командиръ сказалъ ему что-то по-французски, и тотъ осадилъ меня опять назадъ, въ строй. Со мной стоялъ одинъ разжалованный въ солдаты; онъ перевелъ мнѣ послѣ слова нашего маіора, что-де «этотъ сданъ въ солдаты съ Кавказа, изъ горцевъ за большое преступленіе и безъ выслуги». Услышавъ это, я вдался въ такую тоску, что у меня отпала охота къ службѣ и ко всему на свѣтѣ. Я положилъ бѣжать.

Это было въ іюнѣ. На другой день я вышелъ часу въ девятомъ утра, оглянулся и подумалъ: бывало не разбиралъ я ни дней, ни часовъ, а смѣло шелъ куда хотѣлъ... разыгралась во мнѣ былая кровь; взявъ ломоть хлѣба, сколько можно было спрятать подъ шинель, да сапожный ножъ, и пустился въ путь.

Двое сутокъ шелъ я глухими мѣстами и больше *ночью*, хлѣба у меня не стало; на третьи сутки въ

ночи вышелъ на деревню. Увидавъ въ полѣ лошадь, я ее поймалъ, привелъ въ деревню, нашелъ на одномъ дворѣ рогожу, перекинулъ ее черезъ лошадь, сѣлъ и поѣхалъ охлябь. Подъѣзжаю къ рѣчкѣ, на которой былъ мостъ, и вижу, что тутъ стоятъ казаки. Подумавъ, я рѣшился проскакать очертя голову, надѣясь прорваться; но на мосту встрѣтили меня двое пѣшихъ казаковъ, я назадъ—и тамъ двое; лошадь испугалась, кинулась въ сторону, споткнулась и упала, а я съ нея черезъ голову. Казаки бросились на меня, но я успѣлъ выхватить ножъ, закричалъ на нихъ, вырвался и пустился бѣжать. Они за мной; въ деревнѣ услышали крикъ, а какъ это было на зарѣ, то и мужики также за мной погнались. Я кинулся стороной въ болото, перебѣжалъ его легко, а они вязли; за болотомъ побѣжалъ я по тропинкѣ и, наткнувшись на мостокъ, спрятался подъ него въ траву. Въ это время поднялась сильная буря съ дождемъ и загладила слѣдъ мой по травѣ, отъ росы; поэтому они, походивъ долго въ окружности и возвращаясь нѣсколько разъ опять къ мосту, не нашли, однакожъ, меня, потеряли слѣдъ и ушли.

Пролежавъ на одномъ мѣстѣ съ самаго разсвѣта часу до пятаго вечера, между тѣмъ какъ дождь все шелъ, я рѣшился идти дальше, потому что голодъ меня выживалъ,—какъ-то не лежалось. Придя къ озеру, изъ котораго вытекала рѣчка, я раздѣлся и переплылъ ее, выжалъ платье свое, но, пройдя нѣсколько далѣе, очень отощалъ; я отошелъ въ лѣсъ, наѣлся ягодъ и тутъ же переночевалъ. На слѣдующую ночь я пришелъ въ русскую деревню: но я такъ ослабѣлъ, что отдыхалъ на каждой верстѣ и то на силу дотащился. Вошедши въ одинъ изъ дворовъ, увидалъ я три коровы; выбравъ дойную, я погладилъ ее, поласкалъ и принялся сосать молоко. Это меня

очень освѣжило, и я пошелъ дальше. Наконецъ, на пятый день пришелъ я въ одну изъ тѣхъ чухонскихъ деревень, гдѣ мы квартировали; здѣсь я зналъ одну добрую старушку, и хотя было около полуночи, но я пошелъ прямо къ ней и вошелъ въ избу. Сынъ ея меня окликнулъ; я назвался по имени; онъ удивился, сказавъ: «Какъ такъ? вѣдь вы въ Выборгѣ?»— «Мы опять пришли къ вамъ на квартиры. Онъ разбудилъ мать, которая зажгла огня и стала меня разспрашивать.—«Матушка,—сказалъ я:—все разскажу, что хочешь, и тебя стану слушать, только ради Бога сперва накорми». Она принесла хлѣба, молока и масла; я кинулся съ жадностію, откусилъ кусокъ, а ѣсть не могу. «Что это,—спросила она:—что же ты не ѣшь?»—«Вамъ это въ новинку,—отвѣчалъ я:—а мнѣ оно съ молодыхъ лѣтъ знакомо. Я пятый день не ѣлъ; помираю съ голоду». Она заплакала, принесла сливокъ, велѣла мнѣ выпить, а сама, всплескивая руками, приговаривала: «Геръ-Езусъ, что ты сдѣлалъ, тебѣ будетъ худо!»—«Худаго я много видѣлъ, матушка,—отвѣчалъ я:—такъ ужъ обтерпѣлся. Видно, такая моя судьба».

Отдохнувъ немного, поѣвши и оправившись, я опять пустился въ дорогу; старушка дала мнѣ на дорогу хлѣба, масла, трутъ, кремень и огниво. Что дальше, то мнѣ опаснѣе было продолжать путь въ солдатской одеждѣ, и я сталъ думать о томъ, какъ бы ее сбыть. Только-что я подумалъ объ этомъ, среди бѣлаго дня, какъ идетъ на встрѣчу мнѣ чухонецъ, въ бѣломъ балахонѣ своемъ, и, не дойдя до меня, остановившись кричитъ: «Куда идешь? Здѣсь солдатъ нѣтъ!» Я подошелъ поближе и, увѣряя его, что тутъ должны стоять солдаты, вдругъ выхватилъ ножъ свой, поймалъ мужика за воротникъ и потащилъ съ дороги въ лѣсъ. Чухонецъ сильно перепугался и при-

говаривалъ все одно: «Помилуй, пусти»; я велѣлъ ему тотчасъ раздѣться и разуться, самъ сдѣлалъ то же и, заставивъ его надѣть на себя всю солдатскую одежду, отпустилъ, сказавъ: «Ступай, братъ, на мое мѣсто». Отошедши еще дальше въ лѣсъ, я наточилъ ножъ свой о камень и сбрилъ усы и бакенбарды: такъ я и сдѣлался чухной.

Не смѣя выйти по близости на дорогу, потому что новый солдатъ мой, вѣроятно, надѣлалъ тревоги, я пошелъ опять впереваль, раздумывая про себя, какъ-то онъ, сердечный, удивитъ всю деревню свою, выйдя изъ нея утромъ мужикомъ, а воротившись къ обѣду въ солдатской шинели, брюкахъ, сапогахъ и фуражкѣ. Между тѣмъ, я на третій день вышелъ опять на деревню, проплутавъ самыми глухими мѣстами. Я сталъ осторожно обходить ее и наткнулся на троихъ ребятъ, которые пасли овецъ; я было сталъ спрашивать ихъ, гдѣ дорога въ Петербургъ, но они не знали ни слова по-русски, и я пошелъ дальше. Увидавъ въ сторонѣ большое строеніе, я рѣшился, на счастье, идти прямо туда, но встрѣтилъ двухъ бабъ, которыя сказали мнѣ, что это стекляный заводъ, указали какъ выйти на петербургскую дорогу и сказали: «Иди, коли хочешь, съ нами; мы идемъ туда же». Я пошелъ съ ними, но сталъ немного опасаться, потому что онѣ повели меня опять назадъ, въ деревню. Поглядѣвъ на меня и поговоривъ между собой по-своему, онѣ спросили меня: «Какъ же такъ, одѣтъ по-чухонски, а говоришь по-русски?» Я сказалъ, что жилъ тутъ въ работникахъ, но по-чухонски еще не выучился. Онѣ заговорили между собой такъ, что мнѣ показалось подозрительно; я остановился, будто за чѣмъ нибудь, а онѣ, отошедши немного, стали меня дожидаться. Тогда я отошелъ въ лѣсъ и тамъ пустился бѣгомъ въ сторону—и наткнулся прямо

на кружокъ мужиковъ и бабъ, которые обѣдали. Я остановился, они стали меня подзывать, но я пошелъ въ сторону, а отойдя довольно далеко, присѣлъ, досталъ остатки харчей своихъ и принялся ѣсть. Вдругъ стоитъ передо мной чухонецъ высокаго росту и спрашиваетъ по-русски: какой я человѣкъ и что тутъ дѣлаю? Я сказалъ, что работникъ русскій, иду домой; но онъ, принадлежа, вѣроятно, къ числу видѣвшихъ меня прежде и догадываясь, что я долженъ быть бѣглый, велѣлъ мнѣ тотчасъ идти за нимъ, а если не пойду, то свяжетъ.—«Нѣтъ, подумалъ я:—ты братъ не поймавши щиплешь», самъ выхватилъ ножъ и бросился на него; онъ отшатнулся, а я побѣжалъ въ сторону. Пробѣжавъ немного, я вышелъ на дорогу и тутъ увидалъ, что меня окружили: одинъ мужикъ скачетъ прямо на меня верхомъ, а спереди также собрался народъ. Я остановился: наскакавъ на меня, онъ хотѣлъ меня смять лошадью; но я увернулся, схватилъ лошадь за поводъ, и нанесъ мужику рану ножомъ въ ляшку; онъ закричалъ, свалился, а я вскочилъ на лошадь и поскакалъ назадъ въ деревню, куда было прежде вели меня бабы. Проскакавъ деревню, я покинулъ лошадь, а самъ бросился опять въ лѣсъ. Опознавшись тутъ, я пошелъ прямымъ путемъ, какъ слѣдовало, вышелъ на дорогу и ночью пришелъ въ Дранишники, что за третьимъ Парголовымъ.

Тутъ я вошелъ потихоньку въ избу, гдѣ всѣ спали, и въ томъ числѣ трое солдатъ. Я нашелъ хлѣбъ, отрѣзалъ себѣ ломоть, вышелъ опять на дворъ и увидалъ каморку, гдѣ ключъ торчалъ въ замкѣ. Вошедши въ каморку, нашелъ я тамъ ларчикъ, въ которомъ былъ чай и сахаръ и 30 коп. сер. Деньги и сахаръ я взялъ, выпилъ двѣ кринки молока и взялъ еще съ собой корзинку съ полсотнею яицъ. Отошедши въ лѣсъ и отдохнувъ тамъ, пришелъ я до свѣту въ третье Парголово,

гдѣ мнѣ попадается навстрѣчу слѣпой нищій, котораго вела дѣвочка. Я подалъ ему гривну, изъ взятыхъ въ Дранишникахъ; а онъ, кланяясь и благодаря меня, назвалъ *служивымъ*. Я испугался и побѣжалъ отъ него прочь, не понимая, какъ слѣпецъ могъ знать, кто я? Стало быть, зрячій и подавно меня узнаетъ? на меня напалъ такой страхъ, что я не смѣлъ взглянуть ни на одного встрѣчнаго человѣка.

Наконецъ, дохожу я до Литовскихъ казармъ; не зная, када мнѣ дѣваться и куда идти, сталъ я бродить по улицамъ и попалъ на Петербургскую сторону; а между тѣмъ, корзина съ яйцами все со мною и одѣтъ я чухонцемъ. Какой-то господинъ спросилъ меня: «Продаешь, что-ли?» — «Продаю». Онъ позвалъ меня въ домъ. Тамъ мы сторговались, но онъ, глядя на меня, спросилъ:—«А для чего ты, пришедши въ домъ къ барину, не снимаешь шляпы?» Опасаясь, чтобъ меня не признали по стриженнымъ волосамъ, я не смѣлъ снять шляпы и сказалъ, поддѣлываясь, какъ умѣлъ, подъ говоръ чухонца, что у насъ такой манеръ. Расплатившись, онъ меня отпустилъ, приказавъ носить къ нему яйца, масла, сливокъ и цыплятъ, что я и обѣщалъ.

Вышедши на улицу, я увидѣлъ мужика, стоящаго за чаномъ или кадкой и приглашающаго народъ на кислые щи. Мнѣ давно хотѣлось поѣсть горячаго, и я подошелъ спросить на пятакъ щей, но онъ сказалъ: «На пятакъ продажи нѣтъ, а есть на двѣнадцать». Я отдалъ ему деньги, а онъ подалъ мнѣ бутылку и стаканъ, тогда какъ я готовился на чашку и ложку. Нечего дѣлать; я не подалъ виду, выпилъ квасъ и пошелъ. Иду, самъ не зная куда, а спрашивать никого не смѣю, да и самъ не знаю, о чемъ бы спросить. Знакомаго нѣтъ, гдѣ укрыться—не знаю. Иду я и попалъ въ крѣпость, прошелъ ее и вышелъ на Царицынъ

лугъ, а оттуда на Сѣнную. Увидѣвъ двухъ татаръ, я рѣшился подойти къ нимъ и спросить по-татарски: «Нѣтъ-ли здѣсь купцовъ изъ Грузіи или изъ Туречины?» Назвавъ мнѣ одного извѣстнаго здѣсь купца, спросили они, изъ какихъ я?—Мусульманинъ, отвѣчалъ я.—«Почему же ты такъ одѣтъ?»—Я посмотрѣлъ на нихъ и спросилъ: «А добрые ли вы люди?» и когда они меня въ этомъ завѣрили, то я имъ сказалъ въ двухъ словахъ все. Они объяснили мнѣ, гдѣ живетъ купецъ этотъ, но я, отправившись туда, забылъ въ чьемъ домѣ и поэтому стоялъ долго на одномъ мѣстѣ, не зная какъ и кого спросить. Подходитъ ко мнѣ персіанинъ и говоритъ: «Ты спрашиваешь такого-то?»—Я.—«Пойдемъ». Мы пошли и застали его на полуденной молитвѣ. Окончивъ ее, онъ позвалъ меня и спросилъ: что тебѣ надо? Я упалъ ему въ ноги и сказалъ: «Ради Бога и молитвы Корана, которую ты сейчасъ читалъ, защити меня и не дай погибнуть. Мы одновѣрцы: пожалѣй обо мнѣ и помоги». Я разсказывалъ ему все и просилъ найти средство доставить меня въ Грузію или въ Турцію. Онъ, подумавъ, отвѣчалъ: «себя я погубить погублю, а тебѣ не пособлю. Средствъ такихъ у меня нѣтъ. Я дамъ тебѣ мальчика, онъ отведетъ тебя къ такому-то; здѣсь есть на службѣ твои земляки, посовѣтуйся съ ними, что они скажутъ».

И этотъ человѣкъ, къ которому меня привели, выслушалъ меня, покачалъ головой, далъ полтинникъ, и послалъ съ тѣмъ же мальчикомъ къ землякамъ моимъ. Придя на мѣсто, я мальчика отпустилъ, вошелъ въ комнату и увидѣлъ предъ собою четырехъ лезгинъ; одинъ изъ нихъ, человѣкъ пожилой, игралъ на нашей балалайкѣ. Они посмотрѣли на меня и спросили: что надо? Я отвѣчалъ, что пришелъ наниматься въ работники, слышавъ, что имъ нуженъ человѣкъ. Они улыбнулись и заговорили между собою по лезгински: сердце

у меня обрадовалось. «Дадимъ ему два цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, сказалъ одинъ изъ нихъ: коли пойдетъ, такъ пусть живетъ. А что ты возьмешь?» — Что другимъ платите, то и мнѣ; а узнаете меня, такъ, можетъ быть, дадите и больше. Между тѣмъ я все смотрѣлъ на того, который игралъ: давно я этого не слышалъ, и сердцу моему хотѣлось плакать. «Что ты смотришь? спросили они:—хорошо онъ играетъ?»—Хорошо, сказалъ я: — никогда не видалъ я такой балалайки; позвольте мнѣ спѣть на этотъ голосъ пѣсню. Они сказали между собой: «Вотъ чудакъ пришелъ, видно, онъ шутникъ и проказникъ; посмотримъ что будетъ, пусть поетъ»; а мнѣ сказали по-русски: спой. Я положилъ шляпу свою на полъ, присѣлъ по-нашему на корточки, запѣлъ имъ пѣсню, очень извѣстную у насъ, объ одномъ ханскомъ сынѣ, который странствовалъ на чужбинѣ и много перенесъ горя. Тотъ пересталъ играть и, опустивъ руки, уставилъ на меня глаза, а прочіе встали со своихъ мѣстъ, подошли и смотрятъ на меня въ недоумѣніи.

Когда я кончилъ, то старшій изъ нихъ, положивъ мнѣ руку на плечо и глядя мнѣ прямо въ глаза, сказалъ: «братъ мой, кто ты и какъ ты сюда зашелъ? Мы четыре года здѣсь, а такого человѣка не видали»... Я отвѣчалъ: говорите со мною по-русски, я только пѣсни умѣю пѣть по-лезгински. Они же отвѣчали: «не шути такъ; глядя на тебя и на все странное, что теперь содѣялось, намъ не до шутокъ; братъ нашъ, говори, кто ты и какая судьба тебя перерядила и привела въ этомъ видѣ къ намъ?» Я спросилъ: «слыхали-ль вы въ Кубѣ про джигита Асана?»— «Какъ не знать его, отвѣчали они:—онъ при насъ еще былъ пойманъ и сосланъ оттуда въ Сибирь».—«Такъ онъ-то самый и стоитъ передъ вами». Затѣмъ я разсказалъ имъ все.

Подумавъ и крѣпко пожалѣвъ обо мнѣ, они сказали: «Напрасно ты, другъ и братъ нашъ, къ намъ пришелъ; отъ насъ тебѣ помощи не можетъ быть никакой; мы здѣсь не въ такомъ мѣстѣ и не въ томъ положеніи; да мы же и приняли присягу служить вѣрою и правдою». Старшій изъ нихъ къ этому прибавилъ: «другъ и братъ мой, зачѣмъ ты сюда пришелъ? Теперь ты погибъ вторично; я не могу даже тебя отпустить; я долженъ представить тебя начальству». Прочіе стали просить его за меня, хотя и сами были въ большомъ страхѣ и не знали, что начать; онъ же сказалъ имъ; не могу, ударилъ себя кулакомъ въ грудь, отошелъ къ окну и отвернулся. Одинъ изъ молодыхъ махнулъ мнѣ рукой, и я поспѣшно вышелъ.

Между тѣмъ, вѣроятно, не однимъ имъ сдѣлалось обо мнѣ извѣстно: когда я проходилъ по двору, то черкесы собрались у окопъ, и одинъ изъ нихъ со мною заговорилъ; вслѣдъ затѣмъ вышелъ трубачъ и велѣлъ мнѣ воротиться. Меня встрѣтилъ офицеръ и сталъ спрашивать; я сказалъ, что я бѣдный человѣкъ, пріѣхалъ сюда изъ Грузіи съ однимъ купцомъ и живу у него въ работникахъ. «Неправда, сказалъ онъ:—ты Асанъ джигитъ, тебя знаетъ вся Куба». Народъ собрался около насъ, и онъ велѣлъ взять меня подъ караулъ.

Тутъ прибѣжали ко мнѣ нѣсколько человѣкъ изъ служивыхъ персіанъ и стали меня разспрашивать, а я молчалъ. «Что жъ ты, другъ любезный, не отвѣчаешь, говорили они: мы пришли жалѣя тебя и хотѣли тебѣ сдѣлать добро». Я отвѣчалъ: «Нѣтъ, видно, мнѣ здѣсь добра не видать; когда ужъ земляки мои не могли меня спасти, то ваши братья, продавшіе меня и тамъ, здѣсь не выкупятъ».

*Тутъ пришелъ* офицеръ съ бумагою и чернилицей

и сталъ говорить ласково: «Скажи, любезный другъ, куда былъ сосланъ и какъ сюда попалъ? говори правду и судьбы своей никогда не бойся; мы станемъ за тебя просить начальство». Я молчалъ; онъ настаивалъ; наконецъ я сказалъ: судьбы своей я не боюсь, хотя въ третій разъ погибаю отъ своихъ братій; но хвастуновъ я не люблю: твоя просьба у начальства гроша не будетъ стоить. Отойди отъ меня прочь, тебѣ я отвѣта не дамъ, а ведите меня куда слѣдуетъ, тамъ пусть спрашиваютъ». Затѣмъ я выхватилъ ножъ изъ-за голенища, ударилъ имъ изо всей силы о нары, сломалъ его и бросилъ, чтобъ не было грѣха.

Пришли двое земляковъ и принесли обѣдъ и водку. Я сказалъ, что водки не пью, но отъ хлѣба-соли не отказываюсь. Я взялъ кусокъ въ ротъ, но слезы полились, и я не могъ ѣсть. Сжалившись надо мною, они было одумались, закричавъ: «Пропадать, такъ пропадать вмѣстѣ; изрубимъ тѣхъ, которые его выдали; кому и какъ мы дома на глаза покажемся!...»

Къ счастію, скоро пріѣхалъ начальникъ ихъ, взялъ меня къ себѣ и разговаривалъ со мною за полночь. Я самъ понялъ, что тутъ дѣлать было нечего; человѣкъ не булавка, его такъ не схоронишь... Онъ отправилъ меня на съѣзжую, и я показалъ себя изъ числа плѣнныхъ лезгинъ, взятыхъ при нападеніи на Кизляръ,—сказалъ, что бѣжалъ съ дороги, неизвѣстно откуда, потому что я тогда не зналъ по-русски и не зналъ названія русскихъ городовъ; я также не могъ знать ни имени конвойныхъ офицеровъ, ни направленія и назначенія партіи нашей; словомъ, я бѣжалъ неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда и неизвѣстно гдѣ шатался.

Въ полиціи сидѣлъ я три мѣсяца, и со мною случился арестантъ, человѣкъ смирный, пожилой и набожный. Мы подружились; онъ сталъ учить меня

русской грамотѣ и разсказывалъ, какъ христіанская вѣра пріятна Богу. Тутъ родилась у меня первая мысль о томъ, чтобы креститься, и я подумалъ, если бы Господь освободилъ меня отъ этой напасти, то я бы остался навсегда въ Россіи; нищенство и вѣчная рѣзня въ горахъ нашихъ мнѣ теперь были противны; я сталъ понимать, что человѣкъ не долженъ жить, какъ живетъ звѣрь.

Я велъ себя очень смирно, и приставъ меня полюбилъ. Попросивъ однажды, по моей просьбѣ, чтобы ефенди навѣстилъ меня, онъ сказалъ ему: «Мнѣ, право, жаль этого человѣка; такого смирнаго и добраго арестанта я и не видалъ; у васъ есть много знакомыхъ, вы бы за него постарались; его, какъ плѣннаго, можно бы отпустить, хоть на поруки; ему тутъ на чужбинѣ уйти и дѣваться некуда». Эфенди отвѣчалъ: «у насъ скоро будетъ праздникъ, а у меня гости, отпустите его тогда ко мнѣ». Приставъ это исполнилъ, и эфенди одѣлъ меня въ черкесское платье, далъ денегъ, и приставъ порадовался за меня, когда я пришелъ къ нему въ хорошемъ платьѣ. Вскорѣ отпустили меня на поруки; но черезъ мѣсяцъ опять вытребовали, отпуская, однако же, иногда на честное слово, и я свято его сохранялъ. Затѣмъ отослали меня въ управу; тамъ сидѣлъ я три мѣсяца; дѣло рѣшалось было тѣмъ, что если земляки мои подпишутся, что я точно такой-то изъ кизлярскихъ плѣнныхъ, то буду отпущенъ; но они не могли этого сдѣлать, хоть и жалѣли обо мнѣ, и сказали, что онъ-де знаетъ четыре языка: турецкій, персидскій, татарскій и лезгинскій, я не беремся рѣшить, какой онъ уроженецъ. Меня отправили въ городскую тюрьму; вскорѣ вышелъ милостивый манифестъ, по которому и меня было вызвали; но горю моему не пришелъ еще конецъ: тутъ отпускали только арестантовъ граждан-

скихъ, меня опять оставили, а потомъ перевели въ крѣпость, гдѣ я съ прочими арестантами ходилъ на работу. Много я благодаренъ доброму плацъ-маіору, который защитилъ меня отъ другихъ недобрыхъ людей...

Такъ прошло еще семь мѣсяцевъ, и меня передали гражданскому суду, переведя въ гражданскую тюрьму. Сюда по праздникамъ приходилъ одинъ господинъ и раздавалъ намъ духовныя и нравственныя книги. Отъ страшной скуки и тоски я принялся читать ихъ съ большимъ вниманіемъ и размышленіемъ. До этого времени мнѣ часто приходило въ голову, что еслибъ Богъ привелъ мнѣ возвратиться на родину, то ужь я бы, не щадя себя, выместилъ злую судьбу свою на своихъ врагахъ и предателяхъ, а особенно на двухъ братьяхъ персіянахъ, которые меня такъ безбожно продали. Эта дума схватывала меня иногда по ночамъ, и у меня горѣло сердце. Теперь же я сталъ замѣчать, съ нѣкотораго времени, что злоба мести во мнѣ угасала; я пересталъ желать зла врагамъ своимъ, хотѣлъ вынести со смиреніемъ все на себѣ, и мнѣ стало легче: сердце мое не жгло меня. Когда я замѣтилъ это, то сказалъ рѣшительно: я хочу креститься.

Услышавъ это отъ меня, тотъ же господинъ пріѣхалъ съ одной знатной особой, вызвали меня, говорили и разспрашивали долго и, похваливъ, обѣщались вскорѣ исполнить мое желаніе. Пріѣхавъ вторично на первой недѣлѣ великаго поста и бывъ моими воспріемниками, они крестили меня въ тюремной церкви.

Въ іюлѣ потребовали меня въ уголовную палату и прочитали мнѣ рѣшеніе: я освобождался отъ суда, могъ избрать любой родъ жизни и приписаться, куда хочу.

Я вышелъ, оглянувшись на улицу кругомъ, смо-

трѣлъ на встрѣчныхъ и проходящихъ и долго не могъ опомниться, что я теперь свободный человѣкъ. Мнѣ все еще казалось, что каждый изъ этихъ людей можетъ снова начать меня допрашивать и посадить въ заточеніе. Я пошелъ къ благодѣтельницѣ своей, которая отправила меня въ свою вотчину, въ должности смотрителя, приказавъ управляющему обходиться со мною хорошо и учить меня, какъ жить и обращаться съ людьми. Мнѣ было привольно, должность свою я исполнялъ какъ могъ лучше, но сердце мое не было спокойно; я ходилъ подъ какимъ-то страхомъ. Дворовые люди не взлюбили меня за строгую исполнительность мою и за справедливость: что я видѣлъ, то и говорилъ.

Однажды я отъ имени управляющаго отдавалъ приказаніе, а мнѣ на это отвѣчали бранью и угрозами; я настоятельно потребовалъ исполненія, и одинъ, кинувшись на меня, схватилъ за грудь и сталъ дергать. Я вспыхнулъ, во мнѣ проснулся прежній Асанъ, и я, схвативъ этого человѣка, приподнялъ его и ударилъ объ-земь, такъ что онъ съ часъ лежалъ на мѣстѣ. Мнѣ эта жизнь не взлюбилась; видно, я не на то родился; я тотчасъ же воротился опять въ Петербургъ, задумавъ идти въ военную службу. Когда я объявилъ объ этомъ крестной матери моей, то она спросила: куда же ты желаешь? Я отвѣчалъ: въ конницу, въ казаки. Она попросила къ себѣ одного полковника, который, разспросивъ меня, велѣлъ писарю написать просьбу, которую я подписалъ и подалъ.

Прошло съ мѣсяцъ времени, и я былъ въ Казанскомъ соборѣ у обѣдни, гдѣ говорилась проповѣдь о томъ, что Господь видитъ сердца человѣческія, знаетъ всѣ дѣла наши и мысли, и какъ Онъ милуетъ кающагося грѣшника и какъ будетъ судить закоснѣлаго. Священникъ говорилъ очень внятно, а я стоялъ близко и

не проронилъ ни одного слова. Выходя изъ церкви, я задумывался; я призналъ себя грѣшникомъ и преступникомъ закоснѣлымъ; на меня напалъ страхъ; я остановился на паперти, чтобъ придти въ себя, въ ту же минуту рѣшилъ, что дѣлать, и успокоился. «Когда я былъ еще дикимъ горцемъ и не-христіаниномъ, подумалъ я:—то плоти и тѣла своего не щадилъ, никакой тѣлесной боли не боялся и презиралъ всякую опасность; теперь же, просвѣтившись и причастившись Христа, буду ли я подлымъ трусомъ и обманщикомъ передъ Богомъ и царемъ? Нѣтъ, не буду».

Я сталъ на колѣни передъ крестной матерью и сказалъ: «Виноватъ». Она испугалась и спросила:—«Что съ тобой, не убилъ ли ты кого?»—«Нѣтъ, отвѣчалъ я:—но совѣсть во мнѣ проснулась: я оболгалъ и васъ, и начальство: я бѣжалъ не изъ плѣнныхъ, а изъ солдатъ финляндскихъ батальоновъ. Не хочу жалѣть себя, прикажите мнѣ объявить объ этомъ начальству; пусть берутъ меня и судятъ; я переносилъ много, перенесу и это».

Черезъ нѣсколько дней она послала меня въ Казанскій соборъ и велѣла долго молиться передъ иконой Скорбящей Божіей Матери; она же въ самое это время просила за меня у властей земныхъ. Когда я воротился, то благодѣтельница встрѣтила меня вѣстію, что я прощенъ, отъ суда и наказанія избавленъ, но сейчасъ же долженъ отправиться на службу въ свой батальонъ, на два года. Я свѣтъ увидѣлъ: спокойнѣе и радостнѣе этого дня у меня не бывало.

На проѣздъ въ Выборгъ мнѣ попался подводчикомъ сынъ той самой старухи, которая приняла меня ночью едва живаго отъ голода и накормила. Я былъ при деньгахъ и далъ ему пять цѣлковыхъ. Прибывъ на мѣсто, я прямо отправился въ казармы и въ сѣняхъ встрѣтилъ фельдфебеля, который такъ удивился мнѣ

трѣлъ на встрѣчныхъ и проходящихъ и долго не могъ опомниться, что я теперь свободный человѣкъ. Мнѣ все еще казалось, что каждый изъ этихъ людей можетъ снова начать меня допрашивать и посадить въ заточеніе. Я пошелъ къ благодѣтельницѣ своей, которая отправила меня въ свою вотчину, въ должности смотрителя, приказавъ управляющему обходиться со мною хорошо и учить меня, какъ жить и обращаться съ людьми. Мнѣ было привольно, должность свою я исполнялъ какъ могъ лучше, но сердце мое не было спокойно; я ходилъ подъ какимъ-то страхомъ. Дворовые люди не взлюбили меня за строгую исполнительность мою и за справедливость: что я видѣлъ, то и говорилъ.

Однажды я отъ имени управляющаго отдавалъ приказаніе, а мнѣ на это отвѣчали бранью и угрозами; я настоятельно потребовалъ исполненія, и одинъ, кинувшись на меня, схватилъ за грудь и сталъ дергать. Я вспыхнулъ, во мнѣ проснулся прежній Асанъ, и я, схвативъ этого человѣка, приподнялъ его и ударилъ объ-земь, такъ что онъ съ часъ лежалъ на мѣстѣ. Мнѣ эта жизнь не взлюбилась; видно, я не на то родился; я тотчасъ же воротился опять въ Петербургъ, задумавъ идти въ военную службу. Когда я объявилъ объ этомъ крестной матери моей, то она спросила: куда же ты желаешь? Я отвѣчалъ: въ конницу, въ казаки. Она попросила къ себѣ одного полковника, который, разспросивъ меня, велѣлъ писарю написать просьбу, которую я подписалъ и подалъ.

Прошло съ мѣсяцъ времени, и я былъ въ Казанскомъ соборѣ у обѣдни, гдѣ говорилась проповѣдь о томъ, что Господь видитъ сердца человѣческія, знаетъ всѣ дѣла наши и мысли, и какъ Онъ милуетъ кающагося грѣшника и какъ будетъ судить закоснѣлаго. Священникъ говорилъ очень внятно, а я стоялъ близко и

не проронилъ ни одного слова. Выходя изъ церкви, я задумывался; я призналъ себя грѣшникомъ и преступникомъ закоснѣлымъ; на меня напалъ страхъ; я остановился на паперти, чтобъ придти въ себя, въ ту же минуту рѣшилъ, что дѣлать, и успокоился. «Когда я былъ еще дикимъ горцемъ и не-христіаниномъ, подумалъ я:—то плоти и тѣла своего не щадилъ, никакой тѣлесной боли не боялся и презиралъ всякую опасность; теперь же, просвѣтившись и причастившись Христа, буду ли я подлымъ трусомъ и обманщикомъ передъ Богомъ и царемъ? Нѣтъ, не буду».

Я сталъ на колѣни передъ крестной матерью и сказалъ: «Виноватъ». Она испугалась и спросила:—«Что съ тобой, не убилъ ли ты кого?»—«Нѣтъ, отвѣчалъ я:—но совѣсть во мнѣ проснулась: я оболгалъ и васъ, и начальство: я бѣжалъ не изъ плѣнныхъ, а изъ солдатъ финляндскихъ батальоновъ. Не хочу жалѣть себя, прикажите мнѣ объявить объ этомъ начальству; пусть берутъ меня и судятъ; я переносилъ много, перенесу и это».

Черезъ нѣсколько дней она послала меня въ Казанскій соборъ и велѣла долго молиться передъ иконой Скорбящей Божіей Матери; она же въ самое это время просила за меня у властей земныхъ. Когда я воротился, то благодѣтельница встрѣтила меня вѣстію, что я прощенъ, отъ суда и наказанія избавленъ, но сейчасъ же долженъ отправиться на службу въ свой батальонъ, на два года. Я свѣтъ увидѣлъ: спокойнѣе и радостнѣе этого дня у меня не бывало.

На проѣздъ въ Выборгъ мнѣ попался подводчикомъ сынъ той самой старухи, которая приняла меня ночью едва живаго отъ голода и накормила. Я былъ при деньгахъ и далъ ему пять цѣлковыхъ. Прибывъ на мѣсто, я прямо отправился въ казармы и въ сѣняхъ встрѣтилъ фельдфебеля, который такъ удивился мнѣ

что не вѣрилъ своимъ глазамъ. «Откуда ты?» спросилъ, онъ. Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ изъ отпуска. Тутъ жандармъ подалъ конвертъ; вышелъ ротный командиръ, который случился тутъ, на ученьи. Пошли къ батальонному командиру; онъ прочиталъ бумагу, вышелъ ко мнѣ и сказалъ: «Ну, братъ Асанъ, я тебя любилъ и берегъ, а ты меня больно обидѣлъ». Я отвѣчалъ, что прошлаго не воротишь, а впередъ буду стараться изо всѣхъ силъ; но что, впрочемъ, судьба моя привела меня къ моему счастію.—«Признаюсь, сказалъ маіоръ:— что такого случая, вѣроятно, еще и на свѣтѣ не было. Въ какую ты роту желаешь?»—«На старое мѣсто, ваше высокородіе».

Въ казармахъ прошла уже обо мнѣ молва, и когда я пришелъ туда, то меня окружили, и разспросамъ не было конца. Я принялся за службу, чтобы служить такъ, какъ велятъ Богъ и государь; а не прослуживъ и двухъ лѣтъ, я былъ переведенъ въ гвардію. Молю Бога за царя и за моихъ благодѣтелей.

# САВЕЛІЙ ГРАБЪ

## ИЛИ

## ДВОЙНИКЪ

Въ одной изъ новороссійскихъ, полуукраинскихъ губерній нашихъ проживалъ помѣщикъ Сергѣй Сергѣевичъ Бабачекъ. Онъ прослужилъ, по гражданской части въ потѣ лица своего 35 лѣтъ, тихо, смирно, осторожно, все молчалъ, вздыхая да потирая лобъ, и — 35 лѣтъ время долгое, набѣгала и случалась всякая причина: кто отъ хлѣба бѣгаетъ?—Сергѣй Сергѣевичъ потихоньку да помаленьку скопилъ и сколотилъ, что было можно; а чего нельзя, за тѣмъ онъ и не гонялся. Женившись на дочери тамошняго помѣщика, взялъ онъ за женою деревеньку Шпиговку; но вскорѣ началъ почесываться указательнымъ пальцемъ лѣвой руки за ухомъ, что служило знакомъ неудовольствія и случилось именно, когда онъ увидѣлъ, что на Шпиговкѣ было столько же долгу, во сколько оцѣнилъ онъ приданое женьі своей, Степаниды Ѳоминишны, прокинувъ на счетахъ число душъ и число десятинъ. Со счетами же Сергѣй Сергѣевичъ такъ свыкся и сжился, въ продолженіе тридцатипити-лѣтней службы своей, что даже не могъ уснуть

ночью, если ихъ не было на столикѣ, подъ рукою. Поэтому Сергѣй Сергѣевичъ не прокидывался на счетахъ никогда, не ошибался.

Дѣлать было однакоже нечего; Сергѣй Сергѣевичъ выкупилъ деревеньку изъ своего кармана, сталъ хлопотать, сколько было ему воли и власти отъ Степаниды Ѳоминишны, о приведеніи дѣлъ въ порядокъ; но Степанида Ѳоминишна вскорѣ устранила его вовсе отъ всѣхъ хлопотъ и заботъ по управленію имѣніемъ, предоставивъ ему только голосъ въ семейномъ совѣтѣ о тяжебныхъ дѣлахъ и дѣловой перепискѣ; а какъ природа Сергѣй Сергѣевичу, сравнительно съ супругою его, въ голосѣ рѣшительно отказала, то вся выгода, которую Бабачекъ пріобрѣлъ отъ законнаго супружества своего, была та, что Степанида Ѳоминишна выростила и выкормила ему полонъ домъ дѣтей — кто говоритъ девять, а кто тринадцать; извѣстно только достовѣрно, что число ихъ было нечетъ. Итакъ безгласный хозяинъ своего добра поневолѣ забавлялся иногда только тѣмъ, что прокидывалъ на счетахъ и провѣрялъ нечетное число ребятъ и дѣвчонокъ своихъ, то есть дѣтей, и скидывалъ съ костей тѣхъ, которыхъ уже отдалъ на службу и пристроилъ, а иногда и слѣдующихъ затѣмъ, въ надеждѣ сбыть съ рукъ вскорѣ и этихъ; а потомъ клалъ опять преспокойно счеты на завѣтное мѣстечко.

Двухъ взрослыхъ барышенъ, невѣстъ, Настасью и Меланью, Сергѣй Сергѣевичъ самъ обучалъ играть на гусляхъ, и этимъ ограничивалось ихъ свѣтское воспитаніе; домашнее, хозяйственное воспитаніе было, разумѣется, въ рукахъ матери, и мы дальше увидимъ, какъ Степанида Ѳоминишна сама подавала дочерямъ своимъ примѣръ доброй и разсчетливой хозяйки. Старшій сынокъ Митенька, малый лѣтъ пятнадцати, любимое дѣтище и баловень матери, жилъ еще дома, равно какъ и съ пятокъ младшихъ: двоихъ же среднихъ, чтобы

избавиться отъ шуму и драки ихъ и уберечь гусей, утятъ и индюшекъ отъ мѣткихъ ихъ самострѣловъ, пристроили въ Черноморскій флотъ—какъ во время оно водилось—гардемаринами. Тамъ они носили уже вицъ-мундиры съ кортиками и бѣгали иногда, въ изорванныхъ сапогахъ, на *Попову балку*—стрѣлять изъ камышевыхъ и деревянныхъ пушекъ и гонять на бойняхъ собакъ, или ходили за мостъ — выдирать изъ крутого прибрежья гнѣзды щуровъ. Но это все равно для насъ; благо оба они пристроены, и мы и Сергѣй Сергѣевичъ отъ нихъ избавились: объ нихъ у насъ, предупреждаю читателя, болѣе не будетъ и рѣчи.

Сегодня праздновали именины старшей дочери, Настасьи, а на завтра былъ день рожденія второй, Меланіи. Эти два дня всегда праздновались вмѣстѣ, и нынѣ, какъ изстари, гости начали съѣзжаться со всѣхъ концовъ, чтобы пропировать два праздника сряду. Выпотрошенныя курицы лежали уже чинно и попарно на кухонномъ столѣ; старый волъ, который сходилъ уже разъ одиннадцать подъ Перекопъ за солью или въ Одессу съ арнауткой, былъ преданъ семейному пиру на жертву; задорный теленокъ, который надоѣдалъ Степанидѣ Ѳоминишнѣ тѣмъ, что всегда высасывалъ дойныхъ коровъ, былъ также обреченъ на съѣденіе; и знаменитый Савка — поваръ, дворецкій, винокуръ, охотникъ, иногда и кучеръ, онъ же садовникъ, лекарь, коновалъ, строитель мельницъ, колодцевъ и голубятенъ, а по сему послѣднему въ особенности правая рука Дмитрія Сергѣевича, Митеньки, который славился черногривыми, сивобокими и рыжехвостыми вертунами своими,—Савка изъ кожи лѣзъ, чтобы всѣмъ сладить, все уладить и поставить на ноги два обѣда и два ужина. Родъ паштета, на манеръ битаго фрикасе безъ костей, соусъ подъ наливой, жареное сверху и снизу, чудакъ-рыба подъ насѣчкою и спускомъ (судакъ съ подливкой),

дура-птица съ господскими кишками (индѣйка съ начинкой), русакъ съ прешивкой (шпикованный заяцъ) и наконецъ ижица съ точкой, то есть пирожное—такъ, только еще подробнѣе и обстоятельнѣе, доносилъ Савка Митенькѣ о качествѣ и количествѣ блюдъ для нынѣшняго обѣда, и Митя помиралъ со смѣху. А когда Савка продолжалъ: «какъ быть; надо лычко показать ремешкомъ; надо скатерть-хлѣбосолку съ чернаго конца на красный хоть зубами натянуть—а лопнетъ, такъ и то не бѣда, зашилъ, зачинилъ, какъ съ гуся вода».... то Митя продолжалъ ревѣть все тѣмъ же залихнымъ хохотомъ, не понимая и не подозрѣвая даже, о чемъ тутъ идетъ рѣчь.

Наканунѣ праздника была представлена дуо-драма въ лицахъ, не въ пользу г-жи Бабачекъ, между нею и сыномъ ея Дмитріемъ. Послѣднее явленіе кончилось тѣмъ, что вся дворня столпилась въ передней, а Настя и Мелаша насилу уняли и розняли просьбами и слезами разгнѣванную мать и обиженнаго сыночка ея. Они немного погорячились на счетъ вопроса, какихъ лошадей велѣть заложить, чтобы послать за ближними сосѣдями, Бублинскими: Митя, изволите видѣть, съ нѣкоторыми свыкся и сжился, называлъ ихъ премудрыми именами, которыхъ у Савки было въ запасѣ многое множество, называлъ ихъ своими и не хотѣлъ съ ними разстаться. Сергѣй Сергѣевичъ, въ продолженіе цѣлаго представленія, игралъ на гусляхъ: «Чѣмъ тебя я огорчила», съ варіяціями. Слѣдовательно, какъ водится, была и музыка, хотя только домашняя. У Бублинскихъ былъ взрослый уже пасынокъ, такъ его по крайней мѣрѣ обыкновенно величали — былъ пріемышъ Василько, Василій Ѳедоровичъ, о которомъ шла молва, что онъ богатъ. Вотъ почему за ними послали рыдвань съ записочкой — не оставить именинницу по*сѣщеніемъ* своимъ, съ фамиліею и семействомъ.

Время было около полудня, и гости сильно стали съѣзжаться. Что за потѣшные снаряды для ѣзды сползлись и сгромоздились тутъ со всѣхъ концовъ уѣзда на одинъ дворъ! Тутъ рыдванъ или колымага, съ виду верблюдъ, по походкѣ черепаха; тутъ какая-то линейка, двоюродная сестра дрогамъ, на которыхъ у насъ возятъ покойниковъ; а вотъ линейка однодрогая, по два чемоданчика на сторонѣ, и къ нимъ сыромятные запоны или фартуки, смазанные дегтемъ; или, взгляните вотъ на эту двуспальную кровать, со стойками, перекладинами, съ кожаными, подбитыми ситцемъ, занавѣсами на концахъ; это — линейка шестимѣстная, то есть въ нее садится 12 человѣкъ. Въ тихую погоду и при небольшомъ навыкѣ всегда можно было отгадать за полверсты, кто изъ сосѣдей приближается въ колесницѣ своей, по одному стуку и бряку расшатавшихся гаекъ, шинъ, скобъ и рваней. Экипажъ Степана Власовича Пушки въ особенности славился по околодку своеобразностію звука, издаваемаго имъ съ той минуты, какъ чубарый меринъ трогался съ мѣста. Степанъ Власовичъ Пушка, старый холостякъ, отставной гусарскій маіоръ, купилъ *струментъ* этотъ, какъ самъ онъ называлъ безсмысленную колесницу свою, въ губернскомъ городѣ, съ молотка. Это случилось, какъ Степанъ Власовичъ хорошо помнилъ, въ тотъ же годъ, какъ плѣннаго Костюшку привезли въ Петербургъ; и съ тѣхъ поръ Пушка ѣздилъ безсмѣнно на этомъ *струментѣ*.

Степанъ Власовичъ былъ холостъ въ полномъ смыслѣ слова: гостепріименъ, радушенъ, шумливъ, крикливъ, шутливъ, острякъ, горячъ, хитеръ, вспыльчивъ, какъ порохъ, добръ, иногда готовъ отдать другу послѣднюю рубаху; если же маіора чѣмъ нибудь раздражали, золъ и лютъ до того, что уже не помнилъ себя. Когда разъяренный Степанъ Власовичъ вкрикивалъ бывало не

своимъ голосомъ: плетей! то все падало ницъ вокругъ него и съ трепетомъ ожидало участи своей. Подгулявши, Пушка былъ гораздо добрѣе, его не легко было разсердить, хитрость его ему измѣняла, и онъ всякому повѣрялъ свои тайны. Степанъ Власовичъ былъ человѣкъ добраго сердца и очень здраваго ума, но прикидывался неучемъ и простякомъ, и рѣзалъ всякому такую правду въ глаза, что иногда даже у неприкосновенныхъ къ дѣлу слушателей волосъ подымался дыбомъ. Пушка присвоилъ себѣ право трунить надо всѣми, дурачить кого угодно; и никто не смѣлъ за это явно и гласно сердиться, обижаться этимъ, если не хотѣлъ попасть въ постоянные и безсмѣнные дураки. Маіору, казалось, ни до чего на свѣтѣ не было дѣла, онъ не зналъ никакихъ уставовъ и общепринятыхъ условій общежитія, а жилъ независимо, на свой ладъ, говорилъ и дѣлалъ все по-своему, какъ и что на умъ приходило, знался со всѣми, а всѣхъ держалъ въ какой-то зависимости отъ себя, всѣхъ невольно заставлялъ уважать себя и нѣкоторымъ образомъ даже бояться. «А что скажетъ на это Степанъ Власовичъ?» спрашивали всѣ сосѣди его другъ у друга или по крайней мѣрѣ сами у себя почти каждый разъ, когда что-нибудь затѣвали, когда волей-неволей подавали поводъ къ какому-нибудь случаю или происшествію. Но постояннымъ любимцемъ маіора былъ загадочный пасынокъ Бублинскихъ, Василько. Съ этимъ они сиживали и толковали по цѣлымъ часамъ о всякой всячинѣ, и нерѣдко про себя, избѣгая, повидимому, третьяго собесѣдника.

Итакъ, стукотня и брякотня колесъ и дрогъ, крикъ кучеровъ, лай собакъ, объятія и звонкія лобзанія,—все это частію угомонилось, а частію переселилось на задній дворъ, гдѣ откладывали лошадей, устанавливали колымаги, убирали упряжь, здоровались съ приправою *сочныхъ и прямыхъ* прибаутокъ и расхищали съ кри-

комъ, шумомъ и смѣхомъ, стожокъ плохонькаго, гостинаго сѣнца. Одинъ клялся и божился, что сѣно это бурьяну близко сродни приходится; другой, что кони его храпятъ и боятся этого сѣна; третій увѣрялъ, что на однихъ репьяхъ, коли выбрать ихъ изъ охапки этого сѣна, можно настоять бочку грушеваго квасу, и проч.

Между тѣмъ, въ барскихъ покояхъ все шло своимъ чередомъ и порядкомъ. Барыни въ гостиной чинно насидѣлись; барышни, столпившись вкругъ холодной печи, нашушукались вдоволь; молодежь кавалерскаго пола, въ брыжжахъ, въ ситцевыхъ шейныхъ платкахъ, подъ цвѣтъ платьямъ барышенъ, нашаркались, наломались и наловили съ три короба невзначай оброненныхъ миловидныхъ взоровъ и вздоховъ и вытерли стѣны и двери спинами своими вокругъ; Сергѣй Сергѣевичъ обошелъ уже все честное и почетное общество съ двумя огромными подносами, слѣдовавшими за нимъ по пятамъ, и низко кланялся передъ каждымъ гостемъ и говорилъ едва слышнымъ, несмѣлымъ и сладенькимъ голосомъ своимъ: «извольте, матушка, или батюшка, покушать— не прогнѣваться, почтить насъ, отвѣдать наливочки домашней, какова ни есть, жена да дѣти стряпали»— и получивъ отказъ или приказъ, продолжалъ кланяясь: «терновки не угодно-ли, а вотъ вишневка-съ, вотъ и смородиновка— или вы, можетъ, черной смородиновки не изволите кушать? вотъ и горькая... да хоть закусить не угодно-ли чего»... Савка живо скинулъ съ себя черный поварской передникъ свой, чтобы сыграть дворецкаго, уговорилъ Митеньку, который все еще сидѣлъ на кухнѣ, снять съ плечъ своихъ и отдать ему на одинъ мигъ зеленый фрагъ свой и часы и, замотавъ очень искусно одну руку въ салфетку, вошелъ въ гостиную и доложилъ громко и отрывисто, что кушать подали. Савка былъ малый бывалый, зналъ, какъ что водится и дѣлается, и на этотъ счетъ даже сама Сте-

панида Ѳоминишна съ нимъ не спорила, если только затѣи его не требовали новыхъ расходовъ.

По слову вставшей съ мѣста хозяйки: «милости просимъ», вся армада снялась съ якоря. Старики и старухи начали пароваться, подавая и принимая, съ обязательнымъ словомъ и взглядомъ, локоть и руку, а молодцы наши стояли, ощипываясь и охорашиваясь, неподвижно по стѣнамъ; дѣвицы, пошушукавъ и пощебетавъ, обнявшись всѣ въ одну плетеницу, насилу протѣснились въ дверь столовой Наконецъ и кавалерія, послѣ убѣдительныхъ приглашеній хозяина, приступая и отступая опять до нѣсколькихъ разъ, тронулась всей гурьбой, выдвинулась въ столовую и выстроилась тамъ снова по стѣнамъ. Одинъ только Василько подошелъ къ Мелашѣ и свелъ ее къ обѣду: именинница ушла уже въ первой парѣ, съ маіоромъ. Когда все это разсѣлось, размѣстилось, примостилось и угомонилось, то для меня всего любопытнѣе былъ—рядъ чепцовъ чинно усѣвшихся пожилыхъ барынь. Это въ самомъ дѣлѣ было диковинное собраніе какихъ-то единственныхъ въ своемъ родѣ кисейныхъ, филёшевыхъ и петинетовыхъ—тряпицъ этихъ тогда еще не называли тюлемъ и газомъ—кисейныхъ корабликовъ, цвѣтниковъ, вавилонскихъ башенъ и китайскихъ бесѣдокъ съ флюгарками и бубенчиками. Савка каждый разъ, послѣ такого праздника, подавалъ вечеромъ на сальныя свѣчи хитро вырѣзанныя и сложенныя бумажныя фигурки, новаго покроя, и увѣрялъ, что снялъ выкройку съ чепца Анны Ивановны, или Авдотья Поликарповны. Злые языки, между прочимъ, разсказывали, какъ извѣстное дѣло, что Авдотьѣ Поликарповнѣ мужъ ея, въ былое время, привезъ изъ столицы шляпку и чепчикъ: при укупоркѣ вещей этихъ, маршандемодка надѣла чепчикъ на шляпку; но Авдотьѣ Поликарповнѣ это и въ голову не пришло: *она разъѣзжала* всюду въ шляпкѣ, на тулью которой

вздѣтъ былъ чепчикъ, и увѣряла всѣхъ, что нынѣ такая мода, что это прислано прямо изъ столицы. А что завезенный въ кои-вѣки разъ чепецъ новаго покроя надѣвали задомъ напередъ, или бочкомъ и на изнанку, къ этому уже такъ привыкли въ окрестностяхъ Шпиговки, что даже почти не смѣялись, если дѣло и обнаруживалось и чепецъ, оборотившись, садился, какъ слѣдуетъ, на свое мѣсто. Изо всего этого читатели видятъ, что Савкѣ было съ чего снимать выкройки и образцы для испанскихъ воротниковъ своихъ на сальныя свѣчи.

Дурное вино расходилось, какъ шербетъ на байрамѣ; старички начали уже сопровождать жаркія пренія свои о политикѣ и винокурнѣ движеніями ножей и вилокъ по воздуху; тетушки да кумушки сплетничали, приговаривали да поддакивали такъ, что любо слушать; барышни уже не только чирикали про себя, а вступали подъ шумокъ въ разговоръ съ супротивною шеренгою молодежи. Разговоръ, этотъ конечно грузился только на плоскодонную расшиву и потому, не пускаясь въ открытое море, держался отмелей и береговъ;—это была, такъ сказать, бесѣда каботажная, прибережная; но что нужды, все-таки дѣло шло впередъ, общее веселье распространялось. Голосъ Степана Власовича раздавался уже черезъ всю столовую, прикрикивалъ и заглушалъ десять голосовъ, которые не успѣвали отшучиваться и отвертываться отъ колкихъ и рѣзкихъ его замѣчаній. Всеобщій хохотъ разливался иногда по всему столу, и старички утирали кулакомъ слезы. Вдругъ двинулся стулъ—другой—третій—барыни соскочили, столпились въ кучу—«що́ тамъ такé?» спросилъ Пушка, поднявъ рюмку и протянувъ шею. «Ирина Титовна упала въ обморокъ: ей сдѣлалось дурно».—Впала?—возразилъ маіоръ,—ще та буйвольця колысь кого-небудь задавыть,—и вышилъ спокойно свою рюмку.

Между тѣмъ Савка вбѣжалъ опрометью съ бутылкою цымлянскаго, что нынѣ шампанское, безъ котораго, какъ вы знаете, у насъ на Руси именинъ не бываетъ, и чуть не сбилъ съ ногъ или вѣрнѣе съ рукъ Ирину Титовну, которую несли укладывать на постель. Савка стоялъ въ четвертой позиціи, натиснувъ пробку на бутылку, и казалось спрашивалъ всѣхъ бѣглымъ взоромъ: что же изъ этого будетъ? Хозяева опять просили садиться, но маіоръ, вставъ, громогласно сказалъ: «не садыться, бо впьять будете устават; за здоровье имьянынницы! кто живъ, кто у Бога вируе, кричитъ ура!» «Ура!» раздалось по цѣлому дому. Пушка провелъ ловко рюмкою по всѣмъ пуговицамъ гусарской бекешки своей, снизу вверхъ и сверху внизъ, и разбилъ рюмку въ дребезги о каблукъ, замѣтивъ: «шкода, що нема шпóрывъ!» Настасія, именинница, взяла высокую и поджарую рюмку въ руки, всѣ зашишикали. Настя присѣла, отблагодарила смѣлымъ голосомъ, въ избранныхъ выраженіяхъ, поздравителей своихъ и ущипнула губками клубящуюся пѣну.

Шумный рой началъ расходиться гораздо съ меньшею жеманностію, чѣмъ садился за столъ. Шумъ, хохотъ, разговоры непринужденно переселились въ гостиную. Неуклюжіе Ганимеды въ полосатыхъ, тиковыхъ курткахъ и набойчатыхъ шейныхъ платкахъ, взятые съ псарни и съ конюшни, разносили кофе, избочениваясь и перегибаясь со страхомъ впередъ и на бокъ, поднося огромный подносъ каждому гостю подъ локоть. Вскорѣ все помаленку утихло; гости разбрелись туда и сюда, по закоулкамъ и отводнымъ покоямъ, для отдыху. Русскій человѣкъ любитъ поѣвши отдохнуть, и въ деревняхъ нашихъ, особенно собираясь пировать два, три дня сряду, обычай этотъ еще не выводится.

Василько отправился въ садъ съ однимъ человѣкомъ,

который долго не зналъ какъ къ нему приступиться, но наконецъ, скрѣпя сердце, подошелъ и просилъ Василія Ѳедоровича, робко и смиренно, пособить ему устроить какой-то сюрпризецъ,—потѣшные огни.

Человѣкъ этотъ, котораго мы за большимъ столомъ именинницы не видали, отобѣдалъ за дѣтскимъ столомъ, съ Ѳедей, Гришей, Филей и Сашей, съ младшими хозяйскими сыновьями. Это былъ учитель и воспитатель, кандидатъ философіи Евстратъ Богдановичъ Горемыкинъ. Онъ, сидя за учебнымъ столомъ съ воспитанниками своими, давно уже повытеръ локти на казиміровомъ фракѣ своемъ, а новаго еще не заработалъ. Впрочемъ, Евстрата Богдановича кормили въ обыкновенные дни за общимъ столомъ; а сверхъ того, Сергѣй Сергѣевичъ насыпалъ ему иногда, тайкомъ отъ супруги своей, въ корковую табакерку съ портретомъ Блюхера, роменскаго табаку и разговаривалъ съ Горемыкинымъ по вечерамъ, прохаживась взадъ и впередъ по комнатѣ, о политикѣ, о наукахъ, о хозяйствѣ, и тогда Евстрату Богдановичу приносили даже, для компаніи, стаканчикъ слабенькаго пуншу. Пуншъ этотъ приготовлялся впрочемъ съ кизлярскою водкою и клюквеннымъ сокомъ. Евстратъ былъ добрый, хорошій малый, съ умомъ и способностями; но школьное, тупое, убійственное воспитаніе заморило все, что только пыталось выказать отростки свои наружу на этой не довольно плодородной почвѣ. Евстратъ сильно начиналъ чувствовать это; но не зналъ и не понималъ еще въ чемъ дѣло. Сравненіе себя съ Василькомъ, который воспитывался дома, самъ собой, не видалъ еще въ глаза ни семинаріи, ни свѣтскаго училища, на которомъ не было еще никакого ученаго званія, казалось Евстрату для себя самого невыгоднымъ, и вотъ что подало ему первый поводъ къ раздумью. До выводовъ, заключеній Горемыкинъ еще не добрался. Сверхъ того бѣднякъ, при нынѣшнемъ

мѣстѣ своемъ, былъ связанъ по рукамъ и по ногамъ, былъ убитъ духомъ. Робко и несмѣло спрашивалъ онъ утромъ, одѣваясь, недочищенные сапоги свои, съ оглядкою садился въ обѣдъ за столъ послѣднимъ, давъ всѣмъ сперва усѣсться, и тихо и осторожно снималъ съ себя вечеромъ изношенный фракъ свой, не смѣя даже его встряхнуть, хотя и зналъ напередъ, что фракъ этотъ останется на другой же день нечищеннымъ. Громкаго разговора Евстратъ никогда и ни съ кѣмъ не осмѣливался заводить; гдѣ разговаривали двое или трое, тамъ Евстратъ только слушалъ, самъ же изрѣдка заводилъ бесѣду особнякомъ, и дѣлалъ это скромно, осторожно, какъ будто ощупывая напередъ носкомъ сапога мѣсто, на которое хотѣлъ ступить, чтобы не обмолвиться, не оступиться; если же подходилъ другой и третій и начинали рѣшать и спорить вслухъ, тогда Евстратъ отступалъ шага два назадъ и замолкалъ. Ѳедю, Гришу, Филю и Сашу называлъ онъ всегда по батюшкѣ, Сергѣевичами, и даже знаменитаго Савку не иначе какъ Савеліемъ Ивановичемъ.

Итакъ Горемыкинъ отправился съ Васильком въ садъ. Проходя по боковой дорожкѣ, этотъ увидалъ мелькомъ бѣлое платьице и желтозеленый фракъ. Онъ взглянулъ только и промолчалъ; Горемыкинъ, казалось, ничего не видалъ. Въ полуразрушенной обширной красной бесѣдкѣ, давно уже предоставленной въ собственность воробьямъ и галкамъ, на самомъ концѣ безконечнаго сада, всѣ стѣны были увѣшаны и уставлены ракетами, колесами, бураками, римскими свѣчами; а сѣра, селитра, антимоній, мякоть, штопинъ и другіе припасы покрывали полъ и лавки. Савка былъ уже тутъ и поплевыя закленвалъ и замазывалъ тутъ и тамъ разныя погрѣшности. «У насъ», началъ онъ, «нѣтъ масляны безъ блиновъ, нѣтъ святой безъ яицъ; спасибо, *что пожаловали*, Василій Ѳедоровичъ: наши подыма-

шечки, подлетушечки, подземельнички, повертушечки, попрыгушечки и кресалочки только васъ и ждали: извольте дать распорядокъ, а уже все готово». Василько осмотрѣлъ все, далъ совѣтъ свой, какъ что разставить, и самъ началъ помогать. Была тутъ и вяземская коврыжка, какъ Савка звалъ ее, то есть небольшой щитъ, съ вензелемъ Настасьи, знаменитой именинницы.

«Это хорошо, Евстратъ Богдановичъ», сказалъ Василько, «что вы и объ этомъ подумали—вы, кажется, каждый домашній праздникъ встрѣчаете какою-нибудь потѣхою?»

Евстратъ глубоко вздохнулъ и сказалъ: «Я съ вами, Василій Ѳедоровичъ, говорю какъ-то смѣлѣе, чѣмъ съ другими, и я вамъ признаюсь, что меня потѣхи эти не тѣшатъ. Правда, что я же самъ всему виноватъ; я самъ и отъ себя въ первый разъ на это напросился; но намѣреніе мое было склонить дѣтей Степаниды Ѳоминишны принять въ этомъ участіе; я хотѣлъ, чтобы они обрадовали чѣмъ-нибудь родителей своихъ, но вышло не то. Сюрпризы эти вошли нынѣ въ кругъ обязанностей моихъ; съ меня ихъ требуютъ, спрашиваютъ; и это сдѣлалось уже собственно моимъ дѣломъ, а не дѣтей, для которыхъ я было все это затѣялъ. Барышни, особенно Меланья Сергѣевна, этотъ ангелъ доброты, мнѣ всегда охотно помогали; а воспитанники мои»....—Въ это время голосъ Савки раздался позади ихъ; они оглянулись — Ѳедя, Гриша, Филя и Саша лукали камешками черезъ тынъ въ разставленныя колеса и, послышавъ голоса Горемыкина и Василька, прыснули, какъ шаловливыя кошки, во всѣ четыре стороны.

Солнце уже садилось, когда товарищи наши все уладили, разставили и возвращались въ барскій домъ. Здѣсь встрѣтили они на крыльцѣ Митеньку, босикомъ и безъ кафтана. Митя, изволите видѣть, попраздновалъ

именины сестрицы не хуже другихъ, а потомъ, когда всѣ гости разошлись; уснулъ на просторѣ въ диванной, разувшись и раздѣвшись. Очнувшись подъ вечеръ, онъ увидалъ, что гости уже собираются въ залѣ и въ диванной.—Митя схватился, выскочилъ безъ оглядки на крыльцо, въ садъ, и сидѣлъ тамъ и ждалъ подмоги. Горемыкинъ долженъ былъ его выручить, вынести ему въ садъ сапоги и фракъ.

Какъ только смерклось и подали свѣчи, то два хлопца въ тиковой ливреѣ своей вынесли изъ заднихъ комнатъ съ большою осторожностью знаменитые гусли. Сергѣй Сергѣевичъ шелъ за ними шажкомъ и тихомолкомъ, понюхивая табачекъ, покрякивая и утираясь свернутымъ въ тугой клубочекъ клѣтчатымъ платкомъ. Въ дверяхъ попотчивалъ онъ Евстрата табакомъ, все молча; но кругленькіе глазки сверкали, удовольствіе выражалось на лицѣ: видно было, что гусли эти составляютъ всю отраду и все приволье Сергѣя Сергѣевича. Радостныя восклицанія дѣвицъ, вполголоса, встрѣтили эту нечаянность. Чтобы не занимать лишняго мѣста, художникъ сталъ съ гуслями своими въ уголокъ, положивъ ихъ на пару обороченныхъ другъ къ другу спинками стульевъ. Молча вздернулъ Сергѣй Сергѣевичъ рукава сюртука своего въ поллокть и наложилъ пальцы на струны. «Баянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творите, то ростекашеся мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, сизымъ орломъ подъ облаки—вѣщіе персты на живая струны вскладаше, они же сами славу рокотаху!» Сергѣй Сергѣевичъ въ особенности славился, бывало, въ кругу знатоковъ тѣмъ, что съ большимъ искусствомъ и ловкостью накрывалъ пястью и локтемъ струны, гдѣ надо было, при переходахъ, заглушить прежніе звуки.

Барышни похаживали, цѣпляясь другъ за дружку, *и напередъ* уже обмахивались платочками; кавалерія

расправляла плечи и перчатки, перестегивалась и выправлялась, будто ожидая команды: смирно! И Митя вошелъ было, застегнувшись на всѣ пять пуговицъ, но, покосившись на всѣхъ изподлобья, ушелъ опять на псарню. Изъ дѣвичей раздавался рѣзкій и тонкій голосокъ Степаниды Ѳоминишны, а Сергѣй Сергѣевичъ вторилъ отрывисто на басахъ самогудовъ своихъ. Въ гостиной раскидывали зеленый столъ, и Савка старательно сколачивалъ молоткомъ, измѣнившія на этотъ разъ, мѣдныи петли. Сергѣй Сергѣевичъ счелъ за благо покрыть всѣ разнородные отголоски эти по возможности громкимъ и сильнымъ созвучіемъ, ударилъ въ струны, сдѣлалъ переходъ и, покачивая легонько шарообразной головой своей съ плеча на плечо въ ладъ и въ мѣру, которая была на этотъ разъ не помню $^{6}/_{8}$ или $^{3}/_{4}$, произвелъ на свѣтъ знаменитый въ свое время польскій: *Славься симъ Екатерина, славься, нѣжная къ намъ мать.*

Степанъ Власовичъ, въ гусарской бекешкѣ своей, открылъ уже съ хозяйкою дома балъ; всѣ слѣдовали его примѣру, пара за парой шаркали уже длинной, дугообразной вереницей по залѣ, присѣдая немножко и отмѣчая головой осьмухи.—Степанъ Власовичъ выкинулъ какую-то прехитрую фигуру, гдѣ надобно было каждой парѣ разойтись, обойти кругъ и опять слиться въ одно цѣлое; штука эта произвела небольшое замѣшательство, пары разбились, кавалеры шаркали сами по себѣ, а дамы, въ нерѣшимости, вглядывались, пріостанавливались и перебили очередь; Степанъ Власовичъ кричалъ, командовалъ и суетился...

Въ это время — нѣтъ, тутъ нужна кисть, а не перо!—въ это самое мгновеніе свора гончихъ молодаго барина, на смычкѣ, съ воемъ и лаемъ кидается опрометью, зря, въ средину пестрыхъ и чопорныхъ рядовъ, сбиваетъ съ ногъ безъ разбору, кто первый попался;

дамы врозь, съ крикомъ и визгомъ, кавалеры въ погоню за гончими — и Митя вбѣгаетъ запыхавшись, съ арапникомъ въ рукахъ: «Налетъ! Ползунъ!...» но Налетъ и Ползунъ одурѣли, кидаются въ уголъ, гдѣ пріютился Сергѣй Сергѣевичъ съ музыкой своей — Митя стегнулъ одного изъ нихъ арапникомъ—Ползунъ подъ гусли, а Налетъ черезъ гусли, и попались самогуды наши въ смычекъ, какъ въ бредень! полетѣли они сердечные, загремѣли и разсыпались.

Сергѣй Сергѣевичъ отскочилъ въ сторону, тяжело вздохнулъ, повертывалъ табакерку и не говорилъ ни слова; ахнуло все общество, отъ мала до велика; Митя стегалъ собакъ, собаки выли, Ирина Титовна, сидя въ диванной, обомлѣла, Степанида Ѳоминишна, завопивъ пронзительнымъ голосомъ: «этотъ извергъ уморитъ меня!» кинулась и вцѣпилась въ волосы ненагляднаго чада своего.

Вдругъ въ саду раздался выстрѣлъ — другой, третій — всѣ кинулись къ окнамъ, на крыльцо — смотрите! ракеты! бураки!..—крикъ, смѣхъ, суетня, ахи, да охи—все улетѣло въ садъ, до послѣдней горничной и тиковаго хлопца.

Василько, Горемыкинъ и Савка кинулись съ изумленіемъ къ своему созданію и не знали на что рѣшиться, что начать. Но спрашивать и разбирать: что это значитъ, кто зажегъ?—было некогда; ракеты летѣли, бураки грохотали, а отъ нихъ проведены были неугасимые штопины къ колесамъ и пирамидамъ. «Дѣлать нечего», сказалъ Василько, «по мѣстамъ, и жечь все, какъ условились. Сюрпризъ нашъ удался, чего же больше?»

Въ самомъ дѣлѣ, надобно признаться, что бураки загрохотали во-время. Чѣмъ бы кончился поединокъ Степаниды Ѳоминишны съ Митей, чѣмъ вся эта сумятоха и тревога, еслибы ракеты не заставили всѣхъ за-

быть, хоть на минуту, что передъ ними происходило.

«Ахъ, какъ мило! безподобно! Чудесно! ужасно хорошо, только страшно немного»... «О, нѣтъ, неужели вы боитесь?» — такъ раздавалось въ толпѣ зрителей, между тѣмъ какъ Савка суетился какъ бѣсъ передъ заутреней и благословлялъ подлетушечки свои, брызгалочки и кресалочки.

Все кончилось благополучно; счастливый Евстратъ Богдановичъ похвалъ не обобрался; общество стало веселѣе, развязнѣе, болѣе перемѣшалось, забыли даже на время о гусляхъ, которыя огорченный Сергѣй Сергѣевичъ собралъ своеручно и снесъ въ свой покойчикъ, не заботясь о буракахъ; гости усѣлись тутъ и тамъ и бесѣдовали безъ чиновъ; Степанидѣ Ѳоминишнѣ удалось таки, съ помощію кумушекъ, залучить Василька и заставить его поразговориться съ Мелашей, которая, впрочемъ, почти только отвѣчала черезъ сговорчивыя уста своихъ переводчицъ, — до того была она запугана этимъ суженымъ и уроками, какъ съ нимъ обходиться и что ему говорить, и какъ быть съ нимъ поласковѣе.

Вдругъ опять шумъ и тревога, суетня, разговоръ, гдѣ шопотомъ, гдѣ вслухъ—говорятъ: «ушли, бѣжали, увезъ, сманилъ, пропалъ безъ вѣсти...» Ирина Титовна упала въ обморокъ; кричатъ: «Савка! Сенька! Ѳомка! лошадей—коляску—дрожки!» Василько вспомнилъ невольно бѣлую пастушку и зеленаго трухтанчика въ саду, оглянулся, чтобы обѣжать глазами общество...

«Пожаръ!» раздалось вдругъ со всѣхъ концовъ, «пожаръ! домъ горитъ!»—и кавалерія вся кинулась съ топотомъ, на рысяхъ, къ дверямъ и окнамъ, между тѣмъ какъ слабый полъ весь боролся уже между жизнью и смертью. Мелаша, взглянувъ на яркое

пламя среди теми ночной, вскрикнула и закрыла лицо руками; Ирина Титовна вскочила, опамятовавшись, и спрашивала: гдѣ пожаръ?

Весь дворъ стоялъ въ свѣтломъ пламени. Гости суетились на одномъ мѣстѣ, или бѣгали безъ толку; давали совѣты, кричали, командовали, а взяться за дѣло было некому. Нѣсколько дворовыхъ и чужіе кучера́ также металясь туда и сюда, а мужиковъ изъ деревни не видать было ни одного. Маіоръ, Василько, а съ ними Горемыкинъ, въ ту же минуту кинулись къ огню. Степанъ Власовичъ также кричалъ и распоряжался, но по-сво́ему: ухвативъ каждаго праздношатающагося зрителя за́-воротъ, не спрашивая, кто онъ, гость или хозяинъ, кучеръ или баринъ, онъ оглушалъ его градомъ проклятій и тищилъ, не давъ опомниться, на рысяхъ, туда, гдѣ нужны были ру́ки, приговаривая: «Это не потѣшные огни, трясця тебѣ съ болячками, это домъ горитъ», и заставлялъ приниматься въ ту же минуту за работу.

Въ пламени стояла до сихъ поръ одна только Митина голубятня, но она примыкала почти вплоть къ сараямъ и конюшнѣ; а всѣ строенія эти были крыты соломою. Василько однимъ взглядомъ разсмотрѣлъ и сообразилъ все, успѣлъ уже ухватить гдѣ-то топоръ и кинулся подрубать бревно, на которомъ Савка искусно умостилъ всю голубятню. Между тѣмъ расторопный Савка взобрался уже по столбу вверхъ и привязалъ къ нему веревку, чтобы свалить голубятню на просторное мѣсто, не дать ей упасть на одно изъ сосѣднихъ строеній. Грибокъ свалили, растащили врозь головни, залили, а Василько между тѣмъ распоряжался уже на кровлѣ конюшни и увидѣлъ оттуда, на противу-стоящемъ сараѣ маіора. Погрозивъ ему кулакомъ, Пушка закричалъ: «молодецъ, каналья, расцѣлую!» Къ счастію, не было вѣтру; раздергали со-

лому, залили тлѣвшійся тутъ и тамъ огонь, и дѣло было кончено; приставивъ людей для присмотра, всѣ возвратились въ покои.

Когда узнали, что вся бѣда ограничивалась уничтоженіемъ Митиной голубятни, боровика, какъ Савка ее называлъ, и утратою голубей, за которыми Митя лазалъ теперь съ крикомъ и воемъ по кровлямъ и кричалъ, чтобы ему скорѣе подали силокъ,—когда все это объяснилось, то страхъ и ужасъ миновался, роковой ударъ пронесся мимо. Василько въ глазахъ вкѣхъ показалъ себя молодцомъ, старый маіоръ также, а сверхъ того еще насмѣшилъ всѣхъ, заставивъ чопорныхъ и щепитильныхъ кавалеровъ лѣзть за собою на кровлю и таскать воду. Стыда ради и они прикинулись, что дѣлали все это охотно, и красно разсуждали объ обязанности всякаго приниматься въ такомъ случаѣ за дѣло своими руками, а не кричать и командовать, потому-де, что крикомъ изба не рубится. И крута гора, говорится, да забывчива; бѣда миновалась, и страхъ прошелъ. Общее веселье завладѣло снова всѣми, всякая принужденность исчезла: всѣ радовались, что бѣдоносная туча пронеслась; всѣ были веселы и очень говорливы.

Маіоръ съ Васильком вошли переодѣтые—и шумный рой тетушекъ и кумушекъ имъ на встрѣчу, и хозяйская чета низко кланялась и благодарила. Маіоръ поцѣловалъ еще разъ Василька при всѣхъ, назвалъ его канальею и сказалъ: «молодець дітына, я-жъ кажущо молодець. Якъ ухопывъ сѣкиру—та де винъ ій у биса надыбавъ? якъ пишовъ лагодыть, не наче дванадцятеро ципомъ арнаутку молотять.... Пономарь!» сказалъ онъ, оборотившись къ Евстрату, «а де винъ? онъ-де! Не мыкай горе, и ты такі свое узявъ? А вы», продолжалъ маіоръ, относясь ко всему честному обществу, «а вы, скажить мини, чи вы гости, чи вы

паны, чи вы люде? чи вы зъ сахару та зъ меду, або мабудь и сами изъ соломы пороблены, що боитеся осмалыться на огни, растопиться на води? Стоять мои хлопцы, просты Господы, якъ намалёваны хранцузы при узятіи Парыжа, стоять, та тилько дывляться соби! дываться жъ якъ уже на те пишло, дываться уси: пиды сюда, мамочка моя, мое сердце, де ты? не бигы, сынку!» и за словомъ взялъ за руку крестницу свою, Мелашу, которая хотѣла было ускользнуть, и вывелъ ее напередъ—«дывиться, чомъ вона у рябенькому платьи, а була у билому? а? гляды жь на мéне, моя комáшечка, та не ховáйся—вона, бачете, воду на соби у глéчику носыла изъ ставкá, биля воротъ, та подавала народови, щобъ залывалы. Отъ винъ», указавъ на Василька, «якъ ведмедь, узявъ, та звалывъ, та поламавъ; а вона, якъ касаточка, по зерну, та по копельки—а; и Богъ мылосердый послухавъ, нема пожару! Батько, мате! отъ вамъ на сегодня та на завтра прынцъ и зъ прынцесою; выпá швыдче—а прыкажить лишень справди выпа податы—за здоровье прынца мого зъ прынцесою! Ура!»

Вина подали, принцъ съ принцессою, по настоянію маіора, къ которому пристали и тетушки и кумушки, должны были поцѣловаться, гости кричали ура и запивали виномъ. Пушка, съ замѣчаніемъ: «старый грихъ у михъ»—приказывалъ всѣмъ забыть, что онъ пожурилъ, а затѣмъ радоваться и веселиться.

Все это хозяйкѣ дома и неутомимымъ, всемірнымъ свахамъ чрезвычайно нравилось. Дѣло, казалось, рѣшено, что изъ Василька съ Мелашей должна вскорѣ выйти пара, это, конечно, и *кукса*, то есть безпалый, по перстамъ сочтетъ. О Настасьѣ Степанида Ѳоминишна меньше заботилась: Настя была не такъ робка и застѣнчива, выше, виднѣе и дороднѣе сестры своей и умѣла уже сама себя показать лицомъ.

Теперь только спохватились, послѣ суматохи Авдотьи Поликарповны, которая во все время пожара кричала на дворѣ своего Мишку и не могла его докричаться, потому что маіоръ отпустилъ ему уже два полновѣсныхъ подзатыльника, заставляя его лѣзть на сарай. Авдотья Поликарповна была внѣ себя отъ ужаса, но ее напугалъ не пожаръ, а бѣгство дочери ея, Улиньки, съ отставнымъ корнетомъ въ желто-зеленомъ фракѣ. Корнетъ этотъ, вступивъ послѣ отставки отъ Марса въ службу стариннаго русскаго божка Леля, сдѣлался неукротимымъ поэтомъ и взялъ приступомъ недоступную для другихъ твердыню сердца Улиньки. Говорятъ, что у осаждателя были при этомъ разные приступныхъ и подкопныхъ дѣлъ мастера и хитрые городоимцы: что отставной корнетъ умѣлъ воспользоваться также оплошностью коменданта и искуствомъ льстивыхъ лазутчиковъ своихъ, акростиховъ и мадригаловъ; конецъ концовъ, гарнизонъ сдался на капитуляцію, хотя Авдотья Поликарповна, подъ природнымъ покровительствомъ коей состояла спорая крѣпостца, рѣшительно объявила бездомному и безкровному корнету, чтобы онъ не безпокоился, чтобы и въ голову не забиралъ себѣ такихъ пустяковъ, потому что Улиньки ему не видать, какъ ушей своихъ; побѣдитель же, воспользовавшись правомъ завоевателя, нынѣшнею суматохою и помощью Ирины Титовны, увелъ милую плѣнницу свою и съ нею скрылся. Онъ же, отчаянный любовникъ нашъ, поджегъ тайкомъ потѣшные огни Евстрата, чтобы нечаянность эта надѣлала еще болѣе тревоги и чтобы отвлечь общее вниманіе отъ своего предпріятія. На военномъ языкѣ это называется демонстраціей, диверсіей, для отвлеченія непріятеля; и отставной корнетъ нашъ, какъ видите, былъ въ своемъ родѣ большой стратегикъ. Всѣ выбѣжали въ садъ. Забавнѣе всего

15*

было то, что Сергѣй Сергѣевичъ, оставшись въ это время преспокойно въ залѣ, гдѣ вздыхалъ надъ бренными останками гуслей своихъ, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена, и увидавъ Улиньку, которая шла закутавшись черезъ залу въ сѣни, схватилъ свѣчку и кинулся ее провожать, такъ какъ въ цѣломъ домѣ не было ни одного хлопца, а всѣ выбѣжали въ садъ. Сергѣй Сергѣевичъ проводилъ Улиньку до приступка, дождался, покуда она съ корнетомъ своимъ усѣлась въ карету Ирины Титовны, поклонился низехонько, карета покатила, а Сергѣй Сергѣевичъ воротился спокойно, со свѣчею въ рукахъ, собирать свои гусли; ему и въ голову не приходило, чтобы онъ такимъ образомъ способствовалъ похищенію; онъ провожалъ гостей, былъ занятъ постигшимъ его бѣдствіемъ и больше ни о чемъ не думалъ.

Между тѣмъ, Авдотья Поликарповна докричалась Митьки своего нѣсколько прежде, чѣмъ пожарная суматоха окончательно угомонилась, дала ему впотьмахъ собственноручный строжайшій выговоръ за ротозѣйство, сѣла и уѣхала домой. Надобно было послать мужа, который былъ нездоровъ и сидѣлъ дома, въ погоню за дочерью. Авдотья Поликарповна приготовила уже мысленно убѣдительную привѣтственную рѣчь для бѣднаго своего сожителя, рѣчь, отъ которой онъ долженъ былъ мгновенно выздоровѣть, подняться на ноги и скакать за дочерью, потому что всему, видите, виною было несмотрѣніе его, послабленіе и безпечность.

Услужливые языки хотѣли свалить причину пожара на потѣшные огни Евстрата; но, къ счастію, вскорѣ открылось, что Митя лазалъ съ огнемъ на голубятню, оставилъ тамъ огарокъ, отъ котораго солома загорѣлась и охватила въ одну минуту всю кровлю

Было уже не совсѣмъ рано, вечеръ на исходѣ, но всѣ вечернія приключенія разогнали у гостей сонъ, а барышни объявили, что разбитые гусли, пожаръ и, наконецъ, похищеніе Улиньки такъ ихъ напугали, что они спать идти боятся и хотятъ еще посидѣть. Рѣшено было, что расходиться рано; но что начать?— музыки нѣтъ, и не одинъ молодецъ охарашивался уже, горя нетерпѣніемъ разыграть дюжину-другую сочныхъ фантовъ—какъ Василько вдругъ сказалъ дѣвицамъ: «Кажется, барышни, вы бы охотно, послѣ сегодняшней тревоги, отдохнули, сѣли бы въ кружокъ въ диванной и послушали бъ какую-нибудь сказочку, не такъ ли?»

Слово это сказано было во́-время и у мѣста; лучшаго нельзя было выдумать. Въ самомъ дѣлѣ, общее расположеніе было именно такое, какъ Василько сказалъ. Всѣ барышни столпились, какъ пчелки, въ уго́льной, на диванѣ. Принцъ съ принцессой сѣли, по общему приговору, рядкомъ, остальные пріютились вокругъ, всякій искалъ уголка и мѣстечка; старички и старухи частью ушли на покой, частью доканчивали разстроенный бостонъ, а частью подсѣли тутъ же; Савка вошелъ, пробрался въ кружокъ, подвернулъ на полу ноги калачикомъ и началъ такъ *):

«Что въ былое время быль была правдивая, то у насъ нынѣ сказка пошла гульливая! люди сложили, такъ отколѣ-нибудь да взяли; а мы вѣры неймемъ затѣмъ, что сами не видали.

«Было ль то въ царствѣ, было ль въ государствѣ, аль за-просто въ вольной землѣ, а жилъ былъ, про-

*) Можетъ статься, Савка говорилъ сказку свою и не отъ слова до слова, какъ она у насъ напечатана: упомнить всю наизусть было трудно; онъ же мѣшалъ наполовину украинскія слова. Мы написали ее, стараясь отступать отъ словъ разсказчика, сколько можно менѣе.

межъ воеводъ да бояръ, богатый князь, по имени Крутояръ. А коли звали его и не Крутояромъ, такъ и то пусть такъ, даромъ; звали не звали, да мы такъ прозвали.—Богатства было у князя вольное приволье и жить бы ему потѣха и раздолье—да одолѣла князя дума потайная, что кручина сердце сушитъ, кручинушка злая. Полюбилась князю дѣвица, краса-дѣвка бѣлолица, и позвалъ князь цыганку-ворожейку. «Ой», говоритъ, «ворожейка ты, ворожея, ты мнѣ службу сослужи: загадай ты мнѣ да скажи, какая мнѣ написана въ женитьбѣ доля, много ль увижу добра да счастья, много ль надъ головой моей будетъ ненастья?»

«Какъ раскинула цыганка да развела, какъ на руку ему глянула да концы свела, такъ головой про себя покачала, да опять поворожила, да на руку шептала.—«Нѣтъ», говоритъ, «золотой мой бояринъ, видно, такъ тому и быть, свою долю не переспоришь; хочешь—мирись, не хочешь—повздоришь, а она возьметъ свое, на томъ постоитъ. Тебѣ на роду написано жениться, а дѣтища не видать, видно, такъ тому и случиться».

«Вотъ и взяло раздумье князя Крутояра. «На кого-жъ я», говоритъ, «положу свое достоинство княжье, кто вынесетъ на себѣ мою честную честь, кто мою славную славу, коли не быть отъ корня моего ни единому отростку?» Думалъ онъ, думалъ—«вретъ», говоритъ, «шальная ворожея-цыганка, вретъ оттого, что больно зазналась; посѣчь было бъ ее, такъ авось бы и призналась. Приведите ее сюда!» Хвать-хвать за цыганкой, туда-сюда—нѣтъ цыганки, ушла и пропала, слѣду не покинула, вѣсти не присылала.

«И долго ли, нѣтъ ли съ раздумьемъ князь носился, а думалъ да думалъ, да взялъ и женился. И

что ему дѣлается? денегъ много; пьетъ да гуляетъ, да молодую княжну тѣшитъ да потѣшаетъ.—А тѣмъ часомъ, глядь—прогнѣвилъ чѣмъ-то царя; царь шлетъ за нимъ, а онъ отъ него: сѣлъ, да поѣхалъ, да таковъ и былъ, ушелъ въ чужую землю, да тамъ себѣ и жилъ.

«И пришло такое время, не то безвременье, что князь себѣ думаетъ: «говорилъ я, что вретъ она, сухопарая горлянка, говорилъ, что вретъ окаянная цыганка: оно такъ и вышло; у меня будетъ князекъ, будетъ дѣтище любимое, ясный соколокъ. Кто бабѣ повѣритъ, трехъ дней не проживетъ, и кто съ нею свяжется, дуракомъ пойдетъ». А князь про то, что гадала цыганка, не сказывалъ никому: никто про то и не зналъ.

«Когда же пришло время, что быть на свѣтъ дѣтищу княжью, то стала княгиня со своими свой бабій совѣтъ держать: «Дѣды наши», говоритъ, «такой законъ положили, такой завѣтъ постановили, что коли въ семьѣ молодая жена принесетъ мужу первенца-сына, то ей отписать за это большія богатства; а буде первѣницу принесетъ дочь, то нѣтъ ей, женѣ, добра родоваго ни алтына. Надо-де дѣло изладить и приспособить, чтобъ намъ, за чужимъ не гонявшись, да хоть своего не опустить; а вѣдь что Богъ дастъ, сына ли, дочь ли—не узнаешь».

«Вотъ и стали искать, тайныхъ гонцовъ разсылать, и нашли, припасли младенца, новорожденнаго сына: отецъ его холопъ, мать его холопка—да нужды нѣтъ: въ княжью положить зыбку да полою княжьяго кафтана накроютъ — такъ чѣмъ онъ не князь? Прописи на лбу и въ тѣ поры, какъ нынѣ, не клали; кто что лишнее знаетъ, тому глотку и ротъ заткнутъ золотомъ — онъ и молчитъ. Кому тогда до чего нужда?

было то, что Сергѣй Сергѣевичъ, оставшись въ это время преспокойно въ залѣ, гдѣ вздыхалъ надъ бренными останками гуслей своихъ, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена, и увидавъ Улиньку, которая шла закутавшись черезъ залу въ сѣни, схватилъ свѣчку и кинулся ее провожать, такъ какъ въ цѣломъ домѣ не было ни одного хлопца, а всѣ выбѣжали въ садъ. Сергѣй Сергѣевичъ проводилъ Улиньку до приступка, дождался, покуда она съ корнетомъ своимъ усѣлась въ карету Ирины Титовны, поклонился низехонько, карета покатила, а Сергѣй Сергѣевичъ воротился спокойно, со свѣчею въ рукахъ, собирать свои гусли; ему и въ голову не приходило, чтобы онъ такимъ образомъ способствовалъ похищенію; онъ провожалъ гостей, былъ занятъ постигшимъ его бѣдствіемъ и больше ни о чемъ не думалъ.

Между тѣмъ, Авдотья Поликарповна докричалась Митьки своего нѣсколько прежде, чѣмъ пожарная суматоха окончательно угомонилась, дала ему впотьмахъ собственноручный строжайшій выговоръ за ротозѣйство, сѣла и уѣхала домой. Надобно было послать мужа, который былъ нездоровъ и сидѣлъ дома, въ погоню за дочерью. Авдотья Поликарповна приготовила уже мысленно убѣдительную привѣтственную рѣчь для бѣднаго своего сожителя, рѣчь, отъ которой онъ долженъ былъ мгновенно выздоровѣть, подняться на ноги и скакать за дочерью, потому что всему, видите, виною было несмотрѣніе его, послабленіе и безпечность.

Услужливые языки хотѣли свалить причину пожара на потѣшные огни Евстрата; но, къ счастію, вскорѣ открылось, что Митя лазалъ съ огнемъ на голубятню, оставилъ тамъ огарокъ, отъ котораго солома загорѣлась и охватила въ одну минуту всю кровлю

Было уже не совсѣмъ рано, вечеръ на исходѣ, но всѣ вечернія приключенія разогнали у гостей сонъ, а барышни объявили, что разбитые гусли, пожаръ и, наконецъ, похищеніе Улиньки такъ ихъ напугали, что они спать идти боятся и хотятъ еще посидѣть. Рѣшено было, что расходиться рано; но что начать?— музыки нѣтъ, и не одинъ молодецъ охарашивался уже, горя нетерпѣніемъ разыграть дюжину-другую сочныхъ фантовъ—какъ Василько вдругъ сказалъ дѣвицамъ: «Кажется, барышни, вы бы охотно, послѣ сегодняшней тревоги, отдохнули, сѣли бы въ кружокъ въ диванной и послушали бъ какую-нибудь сказочку, не такъ ли?»

Слово это сказано было во́-время и у мѣста; лучшаго нельзя было выдумать. Въ самомъ дѣлѣ, общее расположеніе было именно такое, какъ Василько сказалъ. Всѣ барышни столпились, какъ пчелки, въ уго́льной, на диванѣ. Принцъ съ принцессой сѣли, по общему приговору, рядкомъ, остальные пріютились вокругъ, всякій искалъ уголка и мѣстечка; старички и старухи частью ушли на покой, частью доканчивали разстроенный бостонъ, а частью подсѣли тутъ же; Савка вошелъ, пробрался въ кружокъ, подвернулъ на полу ноги калачикомъ и началъ такъ *):

«Что въ былое время быль была правдивая, то у насъ нынѣ сказка пошла гульливая! люди сложили, такъ отколѣ-нибудь да взяли; а мы вѣры неймемъ затѣмъ, что сами не видали.

«Было ль то въ царствѣ, было ль въ государствѣ, аль за-просто въ вольной землѣ, а жилъ былъ, про-

*) Можетъ статься, Савка говорилъ сказку свою и не отъ слова до слова, какъ она у насъ напечатана: упомнить всю наизусть было трудно; онъ же мѣшалъ наполовину украинскія слова. Мы написали ее, стараясь отступать отъ словъ разсказчика, сколько можно менѣе.

межъ воеводъ да бояръ, богатый князь, по имени Крутояръ. А коли звали его и не Крутояромъ, такъ и то пусть такъ, даромъ; звали не звали, да мы такъ прозвали.—Богатства было у князя вольное приволье и жить бы ему потѣха и раздолье—да одолѣла князя дума потайная, что кручина сердце сушитъ, кручинушка злая. Полюбилась князю дѣвица, краса-дѣвка бѣлолица, и позвалъ князь цыганку-ворожейку. «Ой», говоритъ, «ворожейка ты, ворожея, ты мнѣ службу сослужи: загадай ты мнѣ да скажи, какая мнѣ написана въ женитьбѣ доля, много ль увижу добра да счастья, много ль надъ головой моей будетъ ненастья?»

«Какъ раскинула цыганка да развела, какъ на руку ему глянула да концы свела, такъ головой про себя покачала, да опять поворожила, да на руку шептала.—«Нѣтъ», говоритъ, «золотой мой бояринъ, видно, такъ тому и быть, свою долю не переспоришь; хочешь—мирись, не хочешь—повздоришь, а она возьметъ свое, на томъ постоитъ. Тебѣ на роду написано жениться, а дѣтища не видать, видно, такъ тому и случиться».

«Вотъ и взяло раздумье князя Крутояра. «На кого-жъ я», говоритъ, «положу свое достоинство княжье, кто вынесетъ на себѣ мою честную честь, кто мою славную славу, коли не быть отъ корня моего ни единому отростку?» Думалъ онъ, думалъ—«вретъ», говоритъ, «шальная ворожея-цыганка, вретъ оттого, что больно зазналась; посѣчь было бъ ее, такъ авось бы и призналась. Приведите ее сюда!» Хвать-хвать за цыганкой, туда-сюда—нѣтъ цыганки, ушла и пропала, слѣду не покинула, вѣсти не присылала.

«И долго ли, нѣтъ ли съ раздумьемъ князь носился, а думалъ да думалъ, да взялъ и женился. И

что ему дѣлается? денегъ много; пьетъ да гуляетъ, да молодую княжну тѣшитъ да потѣшаетъ.—А тѣмъ часомъ, глядь—прогнѣвилъ чѣмъ-то царя; царь шлетъ за нимъ, а онъ отъ него: сѣлъ, да поѣхалъ, да таковъ и былъ, ушелъ въ чужую замлю, да тамъ себѣ и жилъ.

«И пришло такое время, не то безвременье, что князь себѣ думаетъ: «говорилъ я, что вретъ она, сухопарая горлянка, говорилъ, что вретъ окаянная цыганка: оно такъ и вышло; у меня будетъ князекъ, будетъ дѣтище любимое, ясный соколокъ. Кто бабѣ повѣритъ, трехъ дней не проживетъ, и кто съ нею свяжется, дуракомъ пойдетъ». А князь про то, что гадала цыганка, не сказывалъ никому: никто про то и не зналъ.

«Когда же пришло время, что быть на свѣтъ дѣтищу княжью, то стала княгиня со своими свой бабій совѣтъ держать: «Дѣды наши», говоритъ, «такой законъ положили, такой завѣтъ постановили, что коли въ семьѣ молодая жена принесетъ мужу первенца-сына, то ей отписать за это большія богатства; а буде первѣницу принесетъ дочь, то нѣтъ ей, женѣ, добра родоваго ни алтына. Надо-де дѣло изладить и приспособить, чтобъ намъ, за чужимъ не гонявшись, да хоть своего не опустить; а вѣдь что Богъ дастъ, сына ли, дочь ли—не узнаешь».

«Вотъ и стали искать, тайныхъ гонцовъ разсылать, и нашли, припасли младенца, новорожденнаго сына: отецъ его холопъ, мать его холопка—да нужды нѣтъ: въ княжью положить зыбку да полою княжьяго кафтана накроютъ — такъ чѣмъ онъ не князь? Прописи на лбу и въ тѣ поры, какъ нынѣ, не клали; кто что лишнее знаетъ, тому глотку и ротъ заткнутъ золотомъ — онъ и молчитъ. Кому тогда до чего нужда?

«И насталъ часъ радостный и смутный; далъ Богъ дѣтище княгинѣ, далъ и князю, и далъ не дочь, а сына; да князь молодой народился уродомъ: у людей по пяти пальцевъ на рукахъ и на ногахъ, а у него гдѣ пять, тамъ пять, а на одной рукѣ шесть. И снова глянули, и снова сосчитали—нѣтъ, шесть да шесть, съ костей не скинешь; онъ бы и не великъ, поменьше мизинца, да тутъ ему не мѣсто: про князей шестипалыхъ въ ту пору не нигдѣ еще не было слышно; стало быть, онъ-де въ князи не годится.

«Стали судить да рядить, да свой бабій совѣтъ вдвоемъ ли, втроемъ ли держать—ну, неравно-де князю шестипалое дѣтище не будетъ въ угоду? Ну, неравно еще онъ не признаетъ, скажетъ: такихъ у меня и въ роднѣ не бывало? Взяли да отдали шестипалаго княженка холопкѣ, вотъ-де тебѣ на обмѣнъ твоего, а вотъ и червонцевъ кошель на придачу: подай своего, онъ будетъ княземъ, и въ золотѣ станетъ ходить, и серебро станетъ носить, и ѣсть будетъ слаще, и спать мягче.

«Затѣмъ, стали расти и тотъ и другой, и князь подкидной, и князь коренной. Отецъ ни про что не зналъ и не вѣдалъ; тутъ въ землѣ его скоро другой воцарился царь; этотъ сталъ милостивъ къ опальному князю, позвалъ его ко двору, да надѣлъ на него всѣ милости свои, сколько у него ихъ было. Князю въ первое время было не до своихъ, забылъ было и княгиню и княженка; а когда спросилъ про нихъ да велѣлъ было пріѣхать къ себѣ, такъ самъ слегъ да Богу душу и отдалъ.

«Княгиня, на чужой землѣ живучи, соскучилась; стала ее и совѣсть мучить—да дѣла ужъ нечѣмъ было поправить. Матери ея да бабки, что подмѣнили ребенка, давно уже не было на свѣтѣ: сама она не знала, гдѣ *его искать*—такъ она своего-то сгубила, а чужой опо-

стылѣлъ—взяла и его, и этого, да черезъ третьи руки, чтобы не знали, чей и отъ кого, переслала куда-то въ иное мѣсто, добра ему что захотѣла отписала, а сама и уѣхала, да и умерла, какъ по душу Господь послалъ, одинока: былъ и мужъ, было два сына, одинъ-таки свой, другой, что въ обмѣнъ взяла, а теперь не стало ни того, ни другого, ни третьяго.

«Вотъ кабы живъ былъ старый князь, да послышалъ бы, что и какъ было, такъ и вспомнилъ бы цыганку: онъ сына въ глаза не видалъ.

«Что въ былое время быль была правдивая, то у насъ нынѣ сказка пошла гульливая; люди сложили, такъ съ чего-нубудь да взяли, а мы вѣры неймемъ, за тѣмъ, что сами не видали».

— Что жъ это, все?—спросили тѣ, которые еще не заснули.—Да, все,—отвѣчалъ Савка,—гдѣ больше взять, только и есть!—Да что жъ это за сказка, тутъ и толку не добьешься?—началъ опять какой-то,—ты скажи порядкомъ: что жъ послѣ было?—Да я жъ вамъ говорю, сударь,—отвѣчалъ опять Савка, стоя уже у дверей,—что только ея и есть; больше ничего и не было; обождемъ, коли приложатъ еще что къ ней, стану говорить и дальше. Теперь только: князь служитъ въ низкомъ званіи, а подкидышъ занялъ его княжеское мѣсто. Ни тотъ, ни другой отца, ни матери не знаютъ—и только.

Савкинъ ужинъ давно былъ готовъ; иначе Степанида Ѳоминишна не пустила бъ его и въ сказочники, хотя она, правда, такъ была счастлива, что князь съ княгиней сидятъ рядкомъ призадумавшись, такъ счастлива, что готова была разрѣшить и позволить все, лишь бы продлить это желанное сочетаніе обстоятельствъ.

Когда Савка кончилъ сказку, всѣ встали потягиваясь и пошли въ залу, къ ужину. Ужинъ былъ гораздо

молчаливѣе обѣда; всѣ устали, всѣмъ хотѣлось спать, всѣ притихли.

Василько вышелъ прямо въ садъ; это былъ одинъ изъ тѣхъ вечеровъ, одна изъ тѣхъ ночей, когда не хочется запираться въ четырехъ стѣнахъ. Савкина безтолковая сказка тронула притомъ какую-то потайную струну души Василька: онъ не зналъ почему это, сталъ доискиваться и, наконецъ, подумалъ, что просто Русь матерая, родной духъ и складъ Савкиныхъ словъ, пробуравилъ ему по сердцу — и продолжалъ думать и мечтать объ этомъ дальше и дальше. Онъ прохаживался медленно по средней, расчищенной дорожкѣ; липы и ясени дремали сводомъ надъ его головой, только неугомонный листъ осины изрѣдка трепеталъ и шелестилъ отъ едва замѣтной воздушной струйки; огни въ барскомъ домѣ, одинъ за другимъ, потухали, все успокоилось; по-временамъ только слышенъ былъ глухой топотъ коней на конюшнѣ, лай цѣпныхъ собакъ да чередной окликъ деревенскихъ пѣтуховъ. Сторожъ проколотилъ уже въ другой разъ клепаломъ въ чугунную доску, осколокъ старой кухонной плиты, и сталъ напѣвать про себя чистымъ голосомъ: «Всякое житейское нынѣ отложимъ попеченье». Василько легъ, помолившись, подъ дерево, закинувъ руку подъ голову—съ полчаса еще въ головѣ его бродили Богъ вѣсть какія затѣи, желанія и надежды; съ полчаса еще онъ слышалъ, среди всеобщей тишины, какъ стучало сердце его, и сталъ прислушиваться къ этому маятнику и думать, долго ли ему суждено ходить и такъ ли онъ будетъ стучать черезъ годъ со днемъ, какъ сегодня, избыткомъ силъ, полнотою жизни; ему показалось еще, будто онъ слышитъ какой-то отдаленный жалобный голосъ, но онъ уже не зналъ, во снѣ ли онъ слышитъ это или на яву, и вскорѣ уснулъ.

Проспавъ часа четыре въ одинъ духъ, крѣпкимъ,

непробуднымъ сномъ, Василько проснулся и наспалъ въ эти четыре часа болѣе, чѣмъ иной тунеядецъ въ круглыя сутки. Воробушки уже чирикали галиматью свою, сидя въ густыхъ вишняхъ, и встрѣчали несущагося мимо ихъ воробьятника, возвысивъ голосъ, дружнымъ и общимъ щебетаньемъ изо всѣхъ силъ Кошка прокрадывалась втихомолку къ сосѣднему сараю, не обращая никакого вниманія на сторожевое *чивъ, чивъ* стараго воробья, который провожалъ ее, перепрыгивая съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево. Гуси громкимъ крикомъ настойчиво требовали свободнаго пропуска къ рѣкѣ; а съ сосѣдняго мужичьяго току раздавались сильные удары цѣпа, все по три да по три. Василько всталъ, потянулся, стиснувъ кулаки, весело взглянулъ на Божій міръ и пошелъ освѣжиться на рѣку.

Раздѣвшись, кинулся онъ въ воду, нырнулъ глубоко и далеко, вынырнулъ, отряхивая голову, и сталъ прислушиваться: плачевный голосъ звалъ его по имени на помощь; въ ушахъ Василька отозвались вечерніе, отдаленные вопли. Оглядѣвшись, увидѣлъ онъ, что на обросшемъ камышемъ и осокою островкѣ стоитъ человѣкъ; Василько поплылъ туда, что было у него силъ, и—кто опишетъ удивленіе его, когда онъ узналъ въ бѣдствующемъ Улинькинаго корнета, этотъ олицетворенный мадригалъ въ желто-зеленомъ фракѣ! Какъ мокрая мышь, стоялъ онъ въ бальномъ облаченіи своемъ передъ героемъ нашимъ и, не попадая зубомъ на зубъ, разсказывалъ, со всею откровенностію отчаяннаго любовника, ночныя похожденія свои.

Зажегши потѣшные огни, чтобы воспользоваться суматохой, онъ посадилъ обомлѣвшую Улиньку въ карету подручницы своей, Ирины Титовны, и велѣлъ гнать и въ хвостъ и въ голову. Лошади испугались ракетъ и бураковъ, понесли сперва вверхъ по берегу-

а потомъ прямо въ воду. Потерявшись отъ страху, онъ выскочилъ изъ окна кареты, упалъ въ воду, не досталъ, какъ ему казалось, дна, и не умѣя плавать, началъ биться и тонуть. Такимъ образомъ, то на водѣ, то подъ водою, то головою кверху, то ногами, онъ уже выбился изъ силъ, когда почувствовалъ подъ собою песокъ: корнета принесло теченіемъ на мелкое мѣсто, и онъ наконецъ достигъ вбродъ островка. Тутъ просидѣлъ онъ всю ночь, и докричался до того, что сталъ уже выть по-волчьи, а никто на помощь не являлся. Что сталось съ невѣстою его, онъ не зналъ; но ему показалось, будто карета съ лошадьми совсѣмъ ушла ко дну. Бѣдный акростихъ мой горько плакалъ, и дрожалъ, какъ осенній листъ. Василько успокоилъ его, увѣривъ, что въ рѣчушкѣ этой нѣтъ омута, въ которомъ могла бы пропасть безъ вѣсти цѣлая карета и четверка лошадей; самъ переплылъ опять на берегъ, отыскалъ *каюкъ*, челнокъ, переправился снова на островъ, посадилъ и перевезъ несчастнаго любовника, который теперь, въ буро-зеленомъ измокшемъ фракѣ своемъ въ обтяжку, болѣе походилъ на лягушку, чѣмъ на человѣка. Одѣвшись наскоро самъ, Василько провелъ бѣднаго чижика черезъ калиточку въ садъ, оставилъ на время въ знакомой намъ красной бесѣдкѣ, досталъ у Евстрата бѣлья и сюртукъ, одѣлъ плѣнника своего и развѣсилъ платье его для просушки. Сколько Василько ни жалѣлъ о бѣдствіи этого бѣдняка, но ему, Васильку, безпрестанно напѣвалось: «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ? на канавкѣ воду пилъ» — и съ трудомъ только онъ удерживался отъ смѣха.

Позвольте замѣтить здѣсь еще одно маловажное и постороннее обстоятельство: прибѣжавъ къ Горемыкину за бѣльемъ и одеждой, Василько впервые познакомился короче съ платейною своего пріятеля—и какое-*то особенное* чувство, овладѣвающее нами при неожи-

данной встрѣчѣ нагой нищеты, его поразило. Мы часто слышимъ о бѣдности и нуждѣ, даже слишкомъ часто жалѣемъ о неимущихъ, но это не то: жалкая картина эта поражаетъ насъ иногда нечаянно на самомъ дѣлѣ, и врѣзывается иначе въ душу. Евстратъ вынулъ между прочимъ изъ сундучка своего *полторы* рубахи,—всѣхъ и вся;—и сожалѣлъ, что лучшая, то есть цѣлая, была теперь, ради праздника, на немъ.

Оставивъ чижика, Василько обратился съ вопросомъ къ Горемыкину: что припасено было на сегодняшній день, какія потѣхи? Евстратъ признался, краснѣя и запинаясь, что не было приготовлено ничего. День этотъ, рожденіе Меланьи, празднуется только кстати и заодно со вчерашнимъ, съ именинами Настасьи Сергѣевны; никогда не обращали на него большаго вниманія, и Степанида Ѳоминишна, казалось, не считала его слишкомъ важнымъ.

— Не попустимъ этого, Евстратъ Богдановичъ, сказалъ Василько, — за что такъ? поставимъ на ноги какую-нибудь проказу, да чтобъ она была не хуже вчерашней: ладно, что-ли?

Горемыкинъ очень сладостно улыбнулся и потупилъ взоры.

— Я душою радъ, сказалъ онъ, но теперь время такъ коротко— успѣемъ-ли мы?

— О, стоитъ только захотѣть,—сказалъ Василько, потирая радостно руки, какъ человѣкъ, которому удалось сдѣлать какое-нибудь чрезвычайное открытіе,— стоитъ захотѣть, такъ успѣемъ.—И обхвативъ Евстрата одной рукой, пошелъ онъ съ нимъ внизъ по саду; первымъ слѣдствіемъ этого совѣщанія было, что человѣкъ двѣнадцать мужиковъ работали въ самомъ отдаленномъ концѣ сада, лопатами и кирками. Степанида Ѳоминишна приказала дать Васильку работниковъ съ перваго слова,—что, надобно признаться, было дѣломъ необыкно-

веннымъ, и Степанида Ѳоминишна конечно была увѣрена, что потакаетъ ему во всемъ не спроста и не спуста, а съ умысломъ и съ толкомъ. Рабочій день *панщины* сросся съ душею Степаниды Ѳоминишны, и она его обыкновенно не уступала никому и ни за что. Самъ Василько, оставивъ Горемыкину наставленія, поговорилъ шепотомъ съ названною матерью своею и полетѣлъ, подъ благовиднымъ предлогомъ, домой, гдѣ растормошилъ всю платейную ея и засадилъ всѣхъ дворовыхъ дѣвокъ за работу. Къ обѣду, Василько уже поспѣлъ опять къ именинницѣ, какъ звали сегодня Мелашу, хотя это и былъ день ея рожденія.

Между тѣмъ Ирина Титовна, у которой сердце и совѣсть были какъ-то не на мѣстѣ, потому что не было еще о сю-пору ни слуху, ни духу о каретѣ ея, — Ирина Титовна отправилась, какъ ни въ чемъ не бывало, соболѣзновать Авдотьѣ Поликарповнѣ въ нынѣшнемъ бѣдствіи ея. Къ величайшему изумленію своему, она слышитъ, что Улинька уже дома, что и карета тутъ же и—главное и самое непріятное,—что не только Улинька, но и лакей съ кучеромъ, во всемъ признались и Ирину Титовну выдали и продали. Дѣлать было нечего: Ирина Титовна рѣшилась на этотъ разъ не падать въ обморокъ, не равно-де здѣсь некому будетъ и поднять—а уставивъ руки въ боки, глаза въ потолки, сама перекричала всѣхъ, такъ что всполошила на заднемъ дворѣ цѣлый гусиный гуртъ, который звонкимъ гаганьемъ сталъ перекликаться съ голосистою гостьею. Затѣмъ она сѣла въ карету свою и уѣхала.

Въ это-же время чижикъ нашъ, кой-какъ обсушившись въ бесѣдкѣ, одѣлся натощакъ опять въ свое платье и отправился тайкомъ домой. Но мужики, которые знали его подъ именемъ *зеленаго панка*, встрѣтили его, взяли и повели подъ карауломъ на панскій дворъ, потому что Авдотья Поликарповна сама заѣзжала вече-

ромъ въ корчму и обѣщала жиду и мужикамъ награжденіе, если кто поймаетъ зеленаго панка. Когда барышни наши пошли утромъ погулять—къ чему настроилъ ихъ Василько, чтобы отвлечь вниманіе ихъ отъ приготовленій въ саду—то встрѣтили несчастнаго чижика подъ конвоемъ. Всѣ, глядя на жалкое положеніи бѣдняка, на разстроенное, истощенное муками души и тѣла лицо его, ужаснулись; Настасья, какъ хозяйка и особа довольно бойкая, вмѣшалась наконецъ въ дѣло и освободила настояніями своими плѣнника. Со слезами на глазахъ отправился онъ пѣшкомъ во свояси.

Маіоръ, который засиживаться не любилъ, поѣхалъ между тѣмъ съ ружьемъ прокатиться на допотопномъ *струментѣ* своемъ и встрѣтилъ, — отгадайте кого, съ кѣмъ, гдѣ и что дѣлающихъ — какъ спрашиваютъ у насъ въ извѣстной игрѣ на записочкахъ? — Ирину Титовну, въ каретѣ, все съ тѣмъ же чижикомъ, на распутьи, безъ лакея и безъ кучера, одинъ конь въ дышлѣ и одинъ подъ выносомъ! Шествіе это много походило на погребальный поѣздъ, гдѣ мыши кота хоронятъ. Когда маіоръ разсказывалъ бывало объ этой встрѣчѣ, разсказывалъ, что заполевалъ въ этотъ день, вмѣсто дрохвы, Ирину Титовну — то хохоталъ, заливаясь и утирая очи въ два кулака, и кричалъ бывало только: «гой, братци мои козаки! годи уже, видпустить душу мою гришную на покаяніе, уже не буду бильше, ейбогу не буду» и самъ снова принимался хохотать, будто его русалки щекочатъ. Дѣло въ томъ, что, отправившись отъ Авдотьи Поликарповны, Ирина Титовна приказала ѣхать прямо домой и во всю дорогу сулила кучеру, форейтору и запятнику своему, звонкимъ и яснымъ голосомъ, такія лестныя награды за вечернюю неудачу и неумѣстное признаніе, что у тѣхъ голова вскружилась съ похвалъ и на душѣ помутилось. Они знали, что Ирина Титовна въ такихъ случаяхъ щчтитъ

не любитъ. Поэтому хлопецъ, наслушавшись всего вдоволь, соскочилъ съ запятокъ и пошелъ своимъ путемъ, сказавъ кучеру: «нехай вже твоя шкура видвичатыме, колы схоче, а я не дурный». Кучеръ, не долго думая, сказалъ товарищу своему, выносному: «Остапе! Грыцько утикъ, утечемо-й мы!» затѣмъ они остановились и, не отвѣчая ни одного слова на отчаянный, злояростный крикъ и брань пани своей, отложили каждый по одной лошади, кучеръ коренную, а тотъ подсѣдельную, и поскакали.

Въ такомъ отчаянномъ положеніи — одна - одинешенька, въ чистомъ полѣ, въ степи, съ одною коренною и одною выносною клячею, сидѣла наша Ирина Титовна, проклиная голосисто весь міръ и всѣ къ нему принадлежности—и наконецъ, залившись слезами и заломавъ руки, стала просить у судьбы помощи. Молитва ея была услышана: на небосклонѣ безвѣстности воздымается облако надежды—облако пыли—и если это не чортова свадьба, — подумала страдалица наша, — если не вихрь степной, то конечно двѣ ноги, по крайней мѣрѣ, вздымаютъ эту пыль. Ирина Титовна не успѣла сложить двѣ ноги, двѣ руки, дать имъ пріятное туловище, какую-нибудь голову и сострадательное сердце, какъ узнала, въ приближавшемся путникѣ, къ неописуемой радости своей, бѣдствующаго собрата своего, свѣтло-зеленаго—нынѣ же буро-зеленоватаго—чижика.

Отощавшій акростихъ однако же не сумѣлъ даже перепрячь лошадей; онъ извинялся тѣмъ, что въ краснокутскомъ гусарскомъ полку, въ которомъ дослужился онъ до отставнаго корнета, ѣздятъ не на упряжныхъ лошадяхъ, а на верховыхъ, и что всякая упряжка принадлежитъ къ фурштату. Поэтому корнетъ нашъ сѣлъ на выносную верхомъ, постромки волочились, и рыдванъ потащился шажкомъ по дорогѣ. Въ этомъ жалкомъ положеніи маіоръ встрѣтилъ колесницу Ирины

Титовны, словно послѣ отчаяннаго побоища. Позабавившись и нахохотавшись вволю, маіоръ велѣлъ было кучеру своему перепрячь обѣихъ лошадей въ корень; но оказалось, что выносная въ корню не ходитъ, она стала бить. Поэтому поѣздъ двинулся опять попрежнему, шагъ за шагомъ, и чижикъ снова сѣлъ верхомъ, въ бальномъ фракѣ своемъ, и понукалъ ретиваго коня, толкая его пятками подъ бока. И смѣхъ и горе!

Между тѣмъ, въ Шпиговкѣ насталъ часъ обѣда; Степанида Ѳоминишна просила къ столу, и общество поднялось и усѣлось съ меньшею принужденностію, чѣмъ наканунѣ. Похожденія и приключенія послѣднихъ сутокъ сблизили, познакомили и породнили всѣхъ другъ съ другомъ.

Настя много и красно говорила; Мелаша была очень тиха, задумчива и часто краснѣла. Безконечный рядъ Савкиныхъ блюдъ, которыя шли сегодня опять подъ новыми прозваніями, кончился, а самъ онъ, ударивъ ладонью подъ дно бутылки, замотанной въ салфетку, опять уже разливалъ эту вѣчную шипучку и просилъ мимоходомъ Дмитрія Сергѣевича прислушаться, увѣряя, что вино въ высокой рюмкѣ сверчкомъ чирикаетъ. Митя захохоталъ во все горло и объявилъ во всеуслышанье, на весь столъ, что Савка говоритъ, будто цымлянское поетъ сверчкомъ. Маіоръ всталъ, поднялъ стаканъ, напророчилъ крестной дочери своей, Мелашѣ, много добра и счастья и въ разгулѣ веселья закричалъ: «Ура! та чи нема тутечки дѣ тезки моей? А ну, палы!» И за словомъ въ саду отозвалась пушка, другая, третья и одиннадцать сряду. Первая встревожила было барынь, но при послѣдней всѣ уже хохотали и поздравляли новорожденную; а какъ Ирины Титовны не было, то и въ обморокъ падать было некому.

Объяснимъ загадку: Василько закопалъ въ саду одиннадцать картузовъ пороху, провелъ по нимъ штопоръ,

и по данному знаку, одиннадцать минъ были подорваны. Мелаша очень смѣшалась, была тронута и черезъ силу могла отблагодарить молча гостей и отвѣдать Савкинаго сверчка.

Тетушки и кумушки, все свахи на-голо, блаженствовали: онѣ были увѣрены, что работаютъ чрезвычайно успѣшно, и надо отдать имъ справедливость, онѣ успѣли по крайней мѣрѣ возмутить младенческій покой мирной души Мелашиной: она вздыхала и плакала, сама не зная о чемъ и по комъ, и не знала куда дѣваться отъ наставленій и поученій, которыми преслѣдовали ее на каждомъ шагу, требуя, чтобы она обходилась съ Василькомъ ласковѣе. Со всѣхъ сторонъ ей кричали шопотомъ въ уши, что Василько суженый ея, женихъ, со всѣхъ сторонъ учили ее, какъ съ нимъ обходиться и что говорить и какъ на него глядѣть, поздравляли ее, цѣловали, наконецъ, бѣдную дѣвушку сбили вовсе съ толку, она не знала, что дѣлать, кого слушаться и чѣму вѣрить. Это называется по-русски: влюбить такую-то въ такого-то. Опытныя въ такихъ дѣлахъ бѣлошвейки, мои ковроткачки, искусныя дѣлательницы наливокъ всѣхъ родовъ и солельщипы огурцовъ съ кануперомъ, перцемъ и дубовымъ листомъ, были увѣрены, что не менѣе того влюбили и Василька въ Мелашу.

Мало-по-малу всѣ барышни стали, если смѣю такъ выразиться, волочиться за Василькомъ. Всѣ искали общества его и, не умѣя съ другими мужчинами провести двадцати минутъ въ сносной бесѣдѣ, охотно сиживали съ нимъ по цѣлымъ часамъ, и всегда шелъ у нихъ живой и занимательный для участвующихъ разговоръ. Такъ было и теперь, когда старички пошли послѣ обѣда отдохнуть; молодежь наша засѣла въ диванной, Василько былъ душою общества; бесѣда шла бѣглая, занимательная: заговорили о суевѣрьяхъ, повѣрьяхъ, при-

мѣтахъ; завязался споръ между простенькими, къ коимъ принадлежала, напримѣръ, въ хорошемъ смыслѣ, и Мелаша, и между разумницами, которыми, такъ сказать, предводительствовала Настя. Первыя начали было разсказывать потихоньку про какія-то странныя примѣты, между тѣмъ какъ противницы ихъ объявили все это безсмысленнымъ вздоромъ, о которомъ стыдно говорить. Онѣ, конечно, повторяли затверженный урокъ. Но нашлись и такія, которыя не хотѣли сами рѣшить ничего, а обратились къ Васильку съ просьбой — сказать, какъ онъ объ этомъ думаетъ.

— Трудно, сказалъ Василько, — высказать вамъ въ немногихъ словахъ все то, что объ этомъ наговорить можно, все, что бы мнѣ хотѣлось: но вообще, знаете, все на свѣтѣ гораздо легче осмѣять, чѣмъ основательно опровергнуть, иногда даже легче, чѣмъ повѣрить; и то, о чемъ вы говорите, легче и проще поднять на смѣхъ, чѣмъ пуститься въ подробное, добросовѣстное разбирательство, сколько въ какомъ повѣрьи и суевѣріи есть или было нѣкогда смысла, на чемъ оно основано и какую ему нынѣ должно придать цѣну. Едва ли однакоже можно допустить, чтобы повѣрье, распространенное между милліонами и встрѣчающееся даже очень нерѣдко у различныхъ народовъ, пережившее тысячелѣтія, было основано ни на чемъ, на одномъ только праздномъ вымыслѣ. Можетъ быть, есть нѣсколько и такихъ повѣрьевъ, но ихъ вѣрно найдется немного. Я думаю такъ: иныя повѣрья и суевѣрья представляютъ у насъ памятникъ, остатокъ язычества; другія придуманы для того, чтобы заставить малаго и глупаго, окольнымъ путемъ, дѣлать то, чего отъ него прямымъ путемъ добиться было бы гораздо труднѣе. Опять другія повѣрья, въ сущности своей, основаны точно на опытѣ, на замѣчаніяхъ; но, будучи примѣнены ко всякому частному случаю, обращаются въ не-

лѣпость Въ иныхъ видѣнъ только духъ времени, игра воображенія, иносказательные намеки, словомъ, одна народная поэзія, принимаемая нерѣдко за наличную монету. Есть также шуточныя повѣрья, которымъ мы, повторяя и затверживая ихъ, невольно начинаемъ, наконецъ, вѣрить. Есть, можетъ быть, уродливыя, вздорныя повѣрья, которыя произвелъ на свѣтъ одинъ только пытливый умъ простолюдина, доискивающійся причины важнаго и непонятнаго ему явленія. Эти же повѣрья служатъ часто извиненіемъ, оправданіемъ и утѣшеніемъ въ случаяхъ, гдѣ прибѣгнуть болѣе не къ чему. Но, соглашаясь на все это, я опять таки повторяю, что сказалъ въ началѣ: есть и такія повѣрья, которыя гораздо легче могутъ быть осмѣяны, чѣмъ опровергнуты, и въ особенности чѣмъ обслѣдованы до дна и оцѣнены не по одной наружности своей. Шиллеръ сказалъ: «и въ дѣтской игрѣ кроется иногда глубокій смыслъ»; а Шекспиръ: «и на небѣ, и на землѣ есть много такого, чего мудрецы ваши не видывали и во снѣ». Вотъ вамъ, барышни, исповѣдь моя, — заключилъ Василько, и думалъ, что кончилъ; но одна изъ быстроглазенькихъ спросила его: «а что же вы думаете о предчувствіяхъ и о привидѣніяхъ?»

Василько отвѣчалъ коротко: «Объ этомъ можно наговорить цѣлый возъ, да и то еще на добрый вьюкъ останется; сущность этого безконечнаго разсужденія была бы, кажется: кто испыталъ предчувствіе на себѣ, кому покойники являются—тотъ вѣрь, потому что противъ убѣжденія спорить мудрено; а по наслышкамъ и однимъ праздным разсказамъ, кажется, вѣрнѣе не вѣрить». Но, ободренная потворствомъ этимъ, пригоженькая и бойкая чернушка растолковала или поняла слова эти по-своему, и принялась тотчасъ же за примѣры. «Вотъ позвольте», начала она, «одна старушка, *мать кормилицы* двоюродной сестры бывшей сосѣдки

нашей Камиллы Киргизовны — старушка эта, живучи у Бабарыки Штандартовны въ банѣ, стала слышать каждый вечеръ, ровно въ девять часовъ»...

Василько, взглянувъ на часы свои, всталъ потихоньку и вышелъ, оставивъ молодежь бесѣдовать въ сумеркахъ о привидѣніяхъ и посѣтителяхъ съ того свѣта—а самъ пошелъ взглянуть на свои затѣи.

Уже вовсе смерклось, когда барышни наши все еще сидѣли, съ самаго обѣда, столпившись въ кружокъ, и до того напугали сами себя и другъ-дружку разсказами о видѣніяхъ у Бабарыки Штандартовны въ банѣ, о явленіи живыхъ и мертвыхъ, что сидѣли въ потьмахъ, не смѣя дохнуть; и не понимали, зачѣмъ о сю пору не подаютъ свѣчей, между тѣмъ какъ это было распоряженіе хозяйки въ угоду и по просьбѣ Василька. Сергѣй Сѣргѣевичъ ходилъ взадъ и впередъ по залѣ, свертывая платокъ свой въ комочекъ и утираясь имъ то справа налѣво, то слѣва направо; онъ не былъ посвященъ въ тайну нынѣшняго вечера, о которой, впрочемъ, и сама Степанида Ѳоминишна ничего не знала, кромѣ желанія Василька, чтобы до сюрприза не подавать свѣчей. Сергѣй Сергѣевичъ, замѣтивъ, что уже смерклось, осмѣлился было спросить едва слышнымъ голосомъ: «что долго не подаютъ свѣчей?» но получилъ за это отъ супруги своей выговоръ и затихъ. Маменьки и тетушки разсѣлись по растворенным въ садъ окнамъ, на широкомъ крыльцѣ и въ дверяхъ, разсказывали всѣ вполголоса, какъ заведенные часы, и ни одна не слушала; по комнатамъ носился только глухой гулъ, какъ отъ цѣлаго роя шмелей, залетѣвшихъ въ покои.

Вдругъ раздается гдѣ-то въ отдаленіи звукъ—звонъ—голосъ—позывъ изъ какого-то чуждаго міра,—чистый, ясный, неслыханный доселѣ, и замеръ снова среди ночной тиши. И вмѣстѣ съ этимъ таинственнымъ отто

лоскомъ у всѣхъ замерло сердце. Ни одна складочка въ платьецахъ барышенъ не шевелилась: всѣ дѣвицы насторожили ушки. Отдаленный свѣтъ разлился въ саду; голосъ поднялся снова изъ едва слышимаго вздоха и до сильнаго, полнаго могучаго звука, и казалось начиналъ призывно аукать: тогда никто не усидѣлъ на мѣстѣ; маменьки и тетушки стояли уже на крыльцѣ и вызывали молодежь, а молодежь уже толпилась за ними вслѣдъ; старый и малый пустились по дорожкѣ въ садъ, иныя дѣвицы толпились въ кучку, держались другъ за дружку, поговаривая: «ахъ, Боже мой, что это было?» другія напротивъ шли медленно, задумчиво, безмолвно и поднявъ голову. Невысокія перильца поперекъ дорожки остановили общество: передъ нимъ лежала единственная въ своемъ родѣ картина.

Это было въ теплый, темный и тихій осенній вечеръ; все пространство впереди зрителей было ярко освѣщено, а между тѣмъ глазъ не встрѣчалъ ни одного пламени, ни одного огонёчка. Таинственный свѣтъ, который всѣхъ привелъ въ недоумѣніе, озарялъ, казалось, всѣ предметы снизу; зелень деревьевъ была ярка и свѣжа, какъ не бываетъ она и днемъ; зеленый свѣтъ и зеленая тѣнь словно выливались изъ земли, изъ самыхъ предметовъ—не было ни огня, ни солнца—перемѣшались въ причудливыхъ переливахъ и разостлались прозрачнымъ туманомъ, на которомъ лежалъ сверху непроницаамый мракъ, рѣдѣющій только тамъ, гдѣ уже сверкали звѣздочки. Глазъ невольно воображалъ, что видитъ не природу, а картину; и обману этому, кромѣ непонятнаго свѣта, способствовали еще прихотливо и живописно расположенные предметы: на небольшомъ пролѣскѣ, между деревьями, паслось и отдыхало нѣсколько коровъ, козъ и овецъ, а тирольскій пастухъ стригъ овцу. Все это, особенно по странному освѣщенію, очень походило на театральную сцену и декораціи,

но во всемъ была необыкновенная жизнь, потому что все было живое. Глазъ зрителей былъ пораженъ и изумленъ, ухо ловило еще едва отлетѣвшіе, неземные звуки, когда отдаленный едва слышимый отголосокъ сталъ ихъ повторять; ближе и ближе, громче и громче,— и вотъ на холмѣ явился другой пастухъ, въ тирольскомъ же платьѣ, во всемъ уборѣ, съ саженнымъ рожкомъ своимъ, коего широкій раструбъ загнуть кверху— выступивъ смѣло и бодро. Тиролецъ ударилъ въ рожокъ, и полные могущественные звуки тирольскаго пастушьяго хоровода огласили окрестность. Когда одинокій, протяжный и заунывный голосъ начиналъ умирать, какъ послѣдній вздохъ безнадежныхъ желаній, тогда вдругъ слѣдовалъ отрывистый и нежданный переходъ почти въ плясовую, гдѣ смѣнялись только два или три звука, которые яркою противоположностью своею и необыкновенною простотою невольно вызвали на уста улыбку. Но утѣшеніе это кратковременно: безотчетная тоска уже снова накликается на взволнованную душу— и опять уже смѣняется вздохомъ, если не слезой, а тамъ опять сладостной улыбкой!

Кончилось тѣмъ, что успѣхъ этой шутки превзошелъ не только ожиданія Василька, но даже всякое его желаніе. Все общество, въ особенности же барышни наши, были поражены и взволнованы неожиданнымъ явленіемъ этимъ, упоены волшебными звуками, и если еще вспомнить предварительно напряженное, въ продолженіе вечерней бесѣды, воображеніе, то покажется неудивительнымъ, что всѣми овладѣла какая-то грусть и тоска; всѣ молчали, возвратившись въ покои, гдѣ все еще царствовали нѣсколько времени потемки; иныя даже втихомолку отирали безотвѣтныя и безотчетныя слезинки, прятались по угламъ, повѣсивъ головки—словомъ, по всему видно было, что за исключеніемъ немногихъ, которыя кра-

лоскомъ у всѣхъ замерло сердце. Ни одна складочка въ платьецахъ барышенъ не шевелилась: всѣ дѣвицы насторожили ушки. Отдаленный свѣтъ разлился въ саду; голосъ поднялся снова изъ едва слышимаго вздоха и до сильнаго, полнаго могучаго звука, и казалось начиналъ призывно аукать: тогда никто не усидѣлъ на мѣстѣ; маменьки и тетушки стояли уже на крыльцѣ и вызывали молодежь, а молодежь уже толпилась за ними вслѣдъ; старый и малый пустились по дорожкѣ въ садъ, иныя дѣвицы толпились въ кучку, держались другъ за дружку, поговаривая: «ахъ, Боже мой, что это было?» другія напротивъ шли медленно, задумчиво, безмолвно и поднявъ голову. Невысокія перильца поперекъ дорожки остановили общество: передъ нимъ лежала единственная въ своемъ родѣ картина.

Это было въ теплый, темный и тихій осенній вечеръ: все пространство впереди зрителей было ярко освѣщено, а между тѣмъ глазъ не встрѣчалъ ни одного пламени, ни одного огонёчка. Таинственный свѣтъ, который всѣхъ привелъ въ недоумѣніе, озарялъ, казалось, всѣ предметы снизу; зелень деревьевъ была ярка и свѣжа, какъ не бываетъ она и днемъ; зеленый свѣтъ и зеленая тѣнь словно выливались изъ земли, изъ самыхъ предметовъ—не было ни огня, ни солнца—перемѣшались въ причудливыхъ переливахъ и разостлались прозрачнымъ туманомъ, на которомъ лежалъ сверху непроницаамый мракъ, рѣдѣющій только тамъ, гдѣ уже сверкали звѣздочки. Глазъ невольно воображалъ, что видитъ не природу, а картину; и обману этому, кромѣ непонятнаго свѣта, способствовали еще прихотливо и живописно расположенные предметы: на небольшомъ пролѣскѣ, между деревьями, паслось и отдыхало нѣсколько коровъ, козъ и овецъ, а тирольскій пастухъ стригъ овцу. Все это, особенно по странному освѣщенію, очень походило на театральную сцену и декораціи,

но во всемъ была необыкновенная жизнь, потому что все было живое. Глазъ зрителей былъ пораженъ и изумленъ, ухо ловило еще едва отлетѣвшіе, неземные звуки, когда отдаленный едва слышимый отголосокъ сталъ ихъ повторять; ближе и ближе, громче и громче,— и вотъ на холмѣ явился другой пастухъ, въ тирольскомъ же платьѣ, во всемъ уборѣ, съ саженнымъ рожкомъ своимъ, коего широкій раструбъ загнуть кверху— выступивъ смѣло и бодро. Тиролецъ ударилъ въ рожокъ, и полные могущественные звуки тирольскаго пастушьяго хоровода огласили окрестность. Когда одинокій, протяжный и заунывный голосъ начиналъ умирать, какъ послѣдній вздохъ безнадежныхъ желаній, тогда вдругъ слѣдовалъ отрывистый и нежданный переходъ почти въ плясовую, гдѣ смѣнялись только два или три звука, которые яркою противоположностью своею и необыкновенною простотою невольно вызвали на уста улыбку. Но утѣшеніе это кратковременно: безотчетная тоска уже снова накликается на взволнованную душу— и опять уже смѣняется вздохомъ, если не слезой, а тамъ опять сладостной улыбкой!

Кончилось тѣмъ, что успѣхъ этой шутки превзошелъ не только ожиданія Василька, но даже всякое его желаніе. Все общество, въ особенности же барышни наши, были поражены и взволнованы неожиданнымъ явленіемъ этимъ, упоены волшебными звуками, и если еще вспомнить предварительно напряженное, въ продолженіе вечерней бесѣды, воображеніе, то покажется неудивительнымъ, что всѣми овладѣла какая-то грусть и тоска; всѣ молчали, возвратившись въ покои, гдѣ все еще царствовали нѣсколько времени потемки; иныя даже втихомолку отирали безотвѣтныя и безотчетныя слезинки, прятались по угламъ, повѣсивъ головки—словомъ, по всему видно было, что за исключеніемъ немногихъ, которыя хра-

снорѣчиво и громогласно изъявляли удовольствіе свое, всѣ тронуты были за живое.

Устройство всего этого было очень просто: свѣтъ падалъ снизу вверхъ отъ искусно и съ умѣньемъ разставленныхъ въ ямкахъ и поперечныхъ канавкахъ плошекъ, которыхъ со стороны вовсе не было видно; самъ же Василько вставилъ кларнетъ свой, которымъ владѣлъ мастерски, въ поддѣльный изъ клееной бумаги рожокъ.

Старики и старухи стали уже спрашивать, куда дѣвался Василько, отчего его долго нѣтъ? Маіоръ кричалъ, что онъ его, каналью, расцѣлуетъ; Степанида Ѳоминишна разсыпáлась въ похвалахъ; даже самъ Сергѣй Сергѣевичъ, сгребая табакъ въ табакеркѣ своей горькой на средину, чтобы потомъ понюхать съ чувствомъ, увѣрялъ незабіячнымъ голосомъ своимъ, что это было прекрасно и очень, очень хорошо; Евстратъ сидѣлъ одинокъ въ далекомъ и темномъ углу залы; Настя съ жаромъ росписывала во всѣхъ подробностяхъ то, что другіе видѣли и слышали вѣроятно не хуже ея; Мелаша осталась въ саду, на крыльцѣ, ей какъ-то хотѣлось быть одной; барышни какъ будто ждали Василька и боялись его; при каждомъ скрыпѣ дверей онѣ оглядывались—но Василько не являлся, и сверхъ того не досчитывались еще нѣсколькихъ кавалеровъ.

Степанида Ѳоминишна, желая занять и разсѣять молодежь, предлагала уже и лото, и фанты, и жмурки—но все это не клеилось; не было еще и девяти часовъ, а барышни уже поговаривали, что устали и хотятъ спать.

Въ такомъ нескладномъ положеніи были дѣла, когда Савка вошелъ и доложилъ, что какой-то итальянецъ, проѣзжая съ разными звѣрями, которыхъ возитъ *на показъ*, остановился на селѣ для ночлега и, узнавъ,

что у господъ пируютъ, прислалъ спросить, не удодно ли посмотрѣть звѣрей его? они-де ручные; ихъ можно привести въ покои. Предложеніе было сдѣлано очень кстати: сама даже Степанида Ѳоминишна была сегодня очень въ духѣ посорить деньгами, блеснуть, показать, что ничего не жалѣютъ. Савку прогнали съ приказаніемъ звать итальянца.

И вотъ онъ подходитъ, избоченясь, похлопывая арапникомъ, раскланиваясь на всѣ четыре стороны— и занесъ такую дичь, что самъ маіоръ разинулъ было ротъ и разставилъ пальцы. Рекомендуясь на семи языкахъ, или, лучше сказать, семь разъ сряду на языкѣ, составленномъ изъ разнородной смѣси семи языковъ и нарѣчій, итальянецъ самъ себя ласкалъ вниманіемъ благороднаго общества, возлагая всю надежду свою на хорошую репутацію почтеннѣйшей публики и увѣряя, что уже имѣлъ *шесть* показываться предъ лицомъ всѣхъ на свѣтѣ монарховъ, *столицъ* и *дворцовъ* и высокихъ особъ. Затѣмъ вошло, гуськомъ, цѣлое сонмище страннообразныхъ уродовъ, которые представляли, въ самомъ забавномъ видѣ, разныхъ птицъ и звѣрей, и даже лягушку и нетопыря или полетушу. Какъ только общество опомнилось отъ перваго изумленія своего, то общій веселый хохотъ огласилъ всю комнату. Разумѣется, что это сдѣлалось въ ту минуту, когда узнали въ знаменитомъ итальянцѣ Василька. Въ страусѣ, казуарѣ, полетушѣ и другихъ уродахъ сидѣли разные помѣщичьи дѣтки; Митя былъ одѣтъ арапомъ, а Гриша, Филя и Саша обезьянами.

Василько мололъ безъ умолку, какъ заведенные часы, выразительно изломаннымъ языкомъ и однообразнымъ напѣвомъ; не понижая и не повышая го́лоса, просилъ онъ почтенную публику обратить вниманіе на страуса съ рѣки Ореноко, на Мадагаскаръ,

на арапа изъ Константинополя, при рѣкѣ Босфорѣ; на казуара изъ Малакки, на *большой американскій материкъ*; на обезьяну, которая глупа, потому что молода, а какъ состарѣется, будетъ *такой разумный, какъ мы*; а отечество ее *изъ* околицы Патафіи, *изъ* экваторъ, въ самой Африкѣ; увѣрялъ, что одинъ изъ уродовъ этихъ ничего не кушаетъ, кромѣ того, что у него есть, и больше ничего; что другой ходитъ на своихъ двухъ ногахъ и держитъ свой корпусъ прямо и смотритъ на обѣ стороны; а третій бѣгаетъ до того прытко, что стоя на одномъ мѣстѣ, обгоняетъ добрую лошадь; предувѣдомлялъ, что страусъ не умѣетъ летать, и прибавлялъ съ важностью: онъ теперь *будетъ показать*, какъ онъ не умѣетъ летать—«покажи, какъ ты не умѣешь летать—вотъ онъ теперь показываетъ, какъ онъ не умѣетъ летать» и проч.

Надобно воздать каждому должное: Гриша, Саша и Филя корчили обезьянъ превосходно; по крайней мѣрѣ дрались и дразнились мастерски. Видно было по всему, что они изучили роль свою съ любовью и призваніемъ. Митя также отличался; Савка вымазалъ ему рожу сажей, и Василько выводилъ арапа своего напоказъ, похлопывая бичемъ, на-равнѣ съ *лягушникомъ*, какъ называлъ онъ лягушку, и съ обезьяной изъ околицы Патафіи.

Никто не могъ и не хотѣлъ удержаться отъ радушнаго, обильнаго смѣха; хохотъ оглашалъ весь барскій домъ, и самъ даже Сергѣй Сергѣевичъ заливался втихомолку, трясся всѣмъ тѣломъ и утирался въ обѣ щеки клубочкомъ изъ своего тчатаго платка. Всѣ опять наладились и настроились, единодушное веселье овладѣло обществомъ, и барышни словно переродились. Душею общества и веселья былъ, конечно, Василько; онъ, такъ сказать, уже во весь день владѣлъ и управлялъ тайными чувствами и помышле-

ніями дѣвицъ, и не понимала его, не отзывалась ему развѣ та только или тѣ, которыхъ мачиха-природа обошла, обнесла и обдѣлила вовсе. Для довершенія праздника, Василько выкопалъ изъ мастерской своей недавно излаженный имъ ручной органъ, съ новымъ валикомъ, на которомъ набилъ мѣдными скобочками самые модные экосезы, кадрили и контръ-танцы тогдашняго времени—знаменитаго Данилы Купера и другихъ; были тутъ и манимаска и матрадуръ—и Митя вертѣлъ до поздней ночи пальмовую ручку органа, немало гордился тѣмъ, что также умѣетъ играть на музыкѣ, и никому не давалъ приступиться, если надобно было переставить валикъ, для перемѣны танца, а кричалъ задорно: «я самъ умѣю» или: «вы испортите», и снова принимался вертѣть. Надобно полагать, что Митя хорошо исправлялъ должность свою: по крайней мѣрѣ всѣ были довольны и очень счастливы; одна только Настя была какъ будто немножко не въ духѣ—и почти можно бы подозрѣвать, будто ей не совсѣмъ нравилось, что нынѣшній праздникъ удался едва ли не лучше вчерашняго. Какъ бы то ни было, а въ цѣломъ уѣздѣ стали поговаривать о великолѣпномъ праздникѣ въ Шпиговкѣ. Маменьки и тетушки стали освѣдомляться, бесѣдуя за кофейнымъ столикомъ и за вареньемъ, объ этомъ загадочномъ Васильѣ, одергивали на дочкахъ и племянницахъ косынки и пелеринки и совѣтовали барышнямъ держаться попрямѣе.

Шумный и веселый вечеръ этотъ кончился часу въ пятомъ утра, и рожденіе Мелаши было отпраздновано великолѣпно. Смазанные и немазанные рыдваны, колымаги и линейки, блаженныя памяти, всѣхъ величинъ и покроевъ, со стукомъ, брякомъ и скрипомъ покатили на слѣдующее утро съ панскаго двора Шпиговки во всѣ четыре стороны: и маіоръ сѣлъ верхомъ

на знаменитый струментъ свой и съ громкимъ хохотомъ и шумными перекорами закричалъ: «гайда, чубарый, до дому!» и три колеса покатились таки такъ-и-сякъ, а четвертое покрякивало да постукивало по одному разу на каждомъ оборотѣ: этому была виновата претолстая и пренеуклюжая рвань, которая, какъ Степанъ Власовичъ увѣрялъ, переслужитъ еще семь новыхъ ободьевъ. Барскій домъ опустѣлъ.

Куда же намъ теперь дѣваться, къ кому присѣсть въ рыдванъ или струментъ, чтобы дать Степанидѣ Ѳоминишнѣ время отдохнуть, пересчитать ложки и плошки, посуду и салфетки, рюмки и стаканы, ножи и вилки, уложить и уставить опять все это въ чуланъ, въ кладовую и въ огромный стекольчатый шкафъ съ откосомъ? Сергѣй Сергѣевичъ, правда поблагодарилъ бы насъ въ душѣ своей, но не вслухъ—этого онъ не смѣетъ, — если бы мы остались и заняли его еще до вечера, покуда вся тревога и суматоха эта кончится и Степанида Ѳоминишна порѣшитъ, хотя отчасти, всѣ розыски и слѣдствія о битыхъ тарелкахъ и графинныхъ пробкахъ; но какъ все это для насъ уже вовсе не занимательно, а Сергѣю Сергѣевичу надобно же привыкать понемногу къ домашнему своему житью-бытью, то мы и подсядемъ въ ранжевую карету, гдѣ рядкомъ усѣлась чета Бублинскихъ, между тѣмъ какъ Василько пропалъ изъ Шпиговки безъ вѣсти уже съ разсвѣтомъ, когда другіе только-что укладывались и засыпали. Онъ отправился домой пѣшкомъ, шепнувъ названной матери своей на ухо, чтобъ его не искали.

—Ну,—сказалъ Бублинскій женѣ своей по-польски,—эдакого праздника мы давно не видали: «славно, право хорошо, *пшесличне*».

— Всѣ грѣхи нашъ проказникъ покрылъ,— отвѣчала пани Бублинская,—не придумай онъ всего этого, было бы скучно и постыло. *Нима цо мувиць*, было весело.

да не отъ хозяевъ. Нѣмая травянка эта, Бабачокъ, да глупая хвастливая пава и злая змѣя Бабачиха—чему тутъ быть путному и какой толкъ? не будь у нихъ еще Савки, этого на все и про все, такъ тутъ бы вся нищета выказалась наружу. *Але послухай, коханку,*—продолжала она,—ну что, если Василько и вправду влюбится въ Мелашу—вѣдь онѣ его втянутъ, малый оглянуться не успѣетъ—что-то всѣ объ этомъ толкуютъ, видно, что-нибудь да есть тутъ.

— Не годилось бы, — сказалъ подумавъ Бублинскій,—надо какъ-нибудь его отговорить. Не годилось бы по многимъ причинамъ—а главное—я тебѣ, коханка, откроюсь: Василько выросъ, возмужалъ — онъ, конечно, еще послушный ребенокъ, но вѣкъ нельзя же его держать такимъ образомъ, надобно подумать о развязкѣ. Для матери онъ затерялся совсѣмъ, она его не найдетъ, если бы и вздумала искать—здѣсь есть одинъ только человѣкъ для насъ страшный и это—старый рубака — прескучный и пренесносный крикунъ. Онъ не все знаетъ, но знаетъ, кажется, что при *немъ* были деньжонки, и какъ тебѣ и самой, чай, приходилось слышать, охотно объ этомъ намекаетъ и всегда кричитъ по-мужицки, во все горло. Я думаю такъ: отпиши ты въ Каменецъ сестрѣ своей, вели поискать какую нибудь бѣдную, пригожую шляхтянку, возьмемъ ее къ себѣ въ домъ—Василько мягокъ; и думаю, онъ не устоитъ, поддастся—тогда скажемъ ему, что не противимся счастью его, уговоримъ обезпечить будущность жены его, отпустить ей то, другое—тогда все это будетъ домашнимъ дѣломъ, никому не будемъ обязаны отчетомъ и можемъ также ожидать и требовать благодарности панны...»

— Знаешь что, — подхватила пани Бублинская, словно ей какая находка далась,—я при случаѣ разскажу ему какую-нибудь басенку о похожденіяхъ Ме-

лаши, со всѣми подробностями и околичностями, какъ будто ничего не знаю, а такъ, къ слову подведу: скажу, что объ этомъ похожденіи знаютъ и всѣ сосѣдки, да только молчатъ, чтобы не пятнать дѣвки; она опротивѣетъ ему, и онъ откинется, вотъ увидишь.

— Ну, — отвѣчалъ панъ Бублинскій, наморщивъ немного высокій лобъ свой, — не торопись, моя *коханка*, оставь это про запасъ. Посмотримъ еще, что будетъ, можетъ статься, все это одинъ вздоръ. Это средство надобно пустить въ ходъ только въ крайнемъ случаѣ. Василько, того гляди, провртся горлану-маіору — а тотъ — ты знаешь — тогда тебѣ житья не будетъ.

Весѣда эта кончилась проклятіемъ пани Бублинской на правдиваго запорожца, Стапана Власовича, тяжелыми вздохами и даже слезами, горькими жалобами: «чего ему отъ насъ надо, чего онъ привязывается, чего ему хочется, какое ему до чего дѣло? Есть же такіе люди на свѣтѣ, которые всѣмъ желаютъ зла, во все мѣшаются и никому не даютъ покою!»

Василько встрѣтилъ названныхъ родителей своихъ на крыльцѣ, поздоровался съ ними; они поцѣловали его оба очень нѣжно, похваливали его, шутили: экой проказникъ: да какъ проворно все уладилъ! и всѣхъ барышенъ съ ума свелъ! А небось дома не затѣялъ этого», прибавила шутя пани Бублинская, «а тамъ, гдѣ много барышенъ!»

Упрекъ этотъ сдѣланъ былъ шутя и такъ же принятъ Василькомъ, у котораго совѣсть была чиста и спокойна. Василько былъ вовсе не изъ тѣхъ людей, которые любезничаютъ въ гостяхъ на счетъ домашней своей любезности, и вымещаютъ на домовинахъ своихъ несносною брюзгливостію каждое веселое и острое *слово*, каждую улыбку, коими дарятъ людей внѣ

дома. Отъ этихъ-то двуличныхъ янусовъ и взялась золотая поговорка наша: не съѣвши съ человѣкомъ нуда соли, его не узнаешь. Василько былъ дома веселъ и доволенъ, иногда, почти можно сказать, счастливъ; тутъ у него было подъ руками все: и книги, и свои записки, и мастерская, и кларнетъ, и ружье; тутъ любили его и угождали ему всѣ, начиная съ названныхъ родителей и до послѣдняго псаря и конюха—по крайней мѣрѣ у Василька не было еще доселѣ никакого повода въ этомъ сомнѣваться; и если бы мы заглянули въ душу его, то увидѣли бы, напримѣръ, что онъ ушелъ сегодня съ зарею отъ Бабачковъ собственно для того, что его тянуло неодолимо домой; шумная гульба ему надоѣла. Можетъ быть, была тутъ небольшая частичка и чего-нибудь другаго; можетъ быть, Васильку хотѣлось, послѣ вчерашняго дня такъ же неожиданно исчезнуть, какъ онъ явился, съ рожкомъ и со звѣринцемъ; но смѣю увѣрить, что это побужденіе во всякомъ случаѣ было только второстепенное. И потому, если бы упрекъ Бублинской принять въ смыслѣ не шуточномъ, то онъ былъ бы несправедливъ, но не менѣе того говорилъ бы правду. Василько точно не проводилъ дома день за день такъ, какъ нынѣ почти двои сутки у Бабачковъ; онъ не приготовлялъ дома, гдѣ былъ одинъ съ бездѣтными мачихой и вотчимомъ—станемъ ихъ называть такъ—не излаживалъ на каждый Божій день цвѣтныхъ и потѣшныхъ огней, живыхъ картинъ и окрутниковъ; онъ даже былъ дома, если хотите, нѣсколько молчаливѣе, нежели въ веселомъ обществѣ, менѣе любезенъ, обязателенъ, чѣмъ съ дѣвицами—но развѣ можно за это упрекнуть человѣка? развѣ можно требовать, чтобы онъ былъ въ этомъ смыслѣ одинаковъ дома и въ гостяхъ, при людяхъ и безъ людей?

И тутъ, какъ вездѣ и всюду, должное, истинное

лежитъ въ срединѣ: но грани его сливаются съ крайностями и не всякому удается держаться вѣкъ свой въ равновѣсіи, на золотой срединѣ этой, какъ искусному акробату на слабо натянутомъ канатѣ своемъ; это тѣмъ труднѣе, что тутъ уже надо быть мастеромъ своего дѣла, ходить и стоять—и плясать подчасъ, безъ перевѣснаго шеста балаганныхъ фигляровъ, ходить вольно, твердо, свободно, самоувѣренно, не замѣчая, повидимому, бездны подъ ногами, ходить какъ по гладкому полу. Крайности эти, думаю, очевидны: одинъ бываетъ дома тѣмъ скучнѣе и несноснѣе, чѣмъ милѣе и любезнѣе былъ онъ наканунѣ въ гостяхъ; другой дичится, напротивъ, въ людяхъ, скучаетъ, глядитъ бирюкомъ, боится чужого человѣка, какъ ребенокъ бука; третій разсыпается въ обществѣ мелкимъ бѣсомъ, ни въ ладъ, ни въ мѣру, многимъ надоѣдаетъ, себя унижаетъ и въ глазахъ всѣхъ слыветъ шутомъ; четвертый, наконецъ, на каждомъ шагу боится промолвиться и оступиться, хочетъ избѣжать помянутаго недостатка и за то не понимаетъ никакой шутки, обижается всѣмъ, бываетъ тяжелъ и несносенъ.

Но возвратимся къ упреку, сдѣланному Василькy: люди всѣ безъ изъятія, тѣ же дѣти; ихъ забавляетъ только новая игрушка, а старая скоро надоѣдаетъ. Кларнетъ Василька могъ произвести необыкновенное дѣйствіе это тамъ, гдѣ его не ожидали и почти не знали; дома слушали его иногда, это правда, но къ нему привыкли уже съ тѣхъ поръ, какъ бывало упрашивали еще десятилѣтняго ребенка: «сдѣлай милость, Василько, перестань дудить, въ ушахъ звенитъ и голову разломило!»

Сверхъ того, развѣ вы думаете, что такую шутку, какъ сыгралъ Василько, можно родить къ услугамъ вашимъ всегда и во всякое время, когда вамъ будетъ

угодно, не спрашиваясь о томъ у самого себя? Право нельзя; на это также нужно вдохновеніе; умѣйте его посслить въ томъ, отъ кого ожидаете забавы, и она явится сама: просьбы же ваши, почтенныя хозяйки, просьбы ваши, потѣшить и развеселить гостей, обыкновенно отнимаютъ и послѣднюю къ тому охоту и способность. Тогда только, если хозяйка сама до того мила и любезна, что и самая просьба эта поселяетъ мгновенное вдохновеніе, тогда только она можетъ позволить себѣ прибѣгнуть къ этому отчаянному средству. Одно слово рождаетъ другое, за шутками смѣхи, за смѣхами потѣхи; вы развернулись и развеселились, сами не зная какъ и отчего; время пролетѣло, вамъ было весело, пріятно, и вы же, говорятъ, утѣшили и порадовали другихъ—вотъ какъ это дѣлается, а не по заказу! Мгновенный толчекъ, какая-то духовная искра, сообщенная случайными обстоятельствами, воспламеняетъ васъ, родятся нечаянно и безъ головоломнаго размышленія и выдумка, и самыя средства къ исполненію; въ васъ есть какое-то вдохновеніе, увѣренность въ успѣхѣ, которая придаетъ духъ, охоту и бодрость; но послѣ такого напряженія, вамъ необходимъ покой, отдыхъ: васъ тянетъ домой, въ уединеніе. Одни только противоположности поддерживаютъ силу и бодрость души нашей; однообразность утомляетъ, усыпляетъ, истощаетъ. Смотрите нѣсколько времени пристально на предметъ яркаго, алаго цвѣта: потребность успокоить глазъ и опочить на цвѣтѣ противоположномъ до того въ немъ усилится, что, взглянувъ на бѣлую, безцвѣтную поверхность, вы ясно увидите передъ собою тотъ же предметъ, на которомъ утомили зрѣніе свое, но только не алаго, а зеленаго цвѣта.

И горе тому, у кого есть этотъ даръ тѣшить, веселить и забавлять добрыхъ людей, и онъ, не спра-

шиваясь и не ожидая вдохновенія, закабалитъ себя въ слуги и холопы этихъ добрыхъ людей, станетъ увеселять ихъ по заказу, какъ угодно! Тѣ, которые неотступными просьбами своими склонили васъ попрать ногами собственное достоинство свое, кинутъ на васъ и первый камень. Не удивляйтесь этому; это въ природѣ вещей: если вы забудетесь противъ самихъ себя, и люди станутъ противъ васъ забываться; вы не уважаете себя, и люди васъ не уважаютъ.

Не удивляйтесь же и тому, что художники бываютъ большею частію причудливы, прихотливы послѣ вдохновительныхъ восторговъ, безъ коихъ нельзя создать ничего чрезвычайнаго; душа усильно требуетъ отдыха, покоя или новыхъ и разнообразныхъ впечатлѣній; художникъ не можетъ и не долженъ служить вамъ, человѣку, онъ долженъ служить генію своему; тогда творенія его будутъ даровиты, благотворны и лучезарны; подходите, упояйтесь роскошнымъ теплomъ и свѣтомъ отрадныхъ лучей: они къ услугамъ вашимъ, когда стоятъ передъ вами, какъ отдаленное, неразгаданное еще сѣверное сіяніе; но не требуйте, чтобы небо загораживалось струями молніи для васъ и тогда именно, когда вамъ вздумается потѣшаться этимъ явленіемъ.

Теперь просимъ читателей взять на себя трудъ прочитать три или четыре письма, которыя всего лучше познакомятъ насъ какъ съ нѣкоторыми лицами, такъ и съ событіями въ извѣстномъ намъ кругу общества.

Горемыкинъ къ Васильку.

«М. Г. Василій Ѳедоровичъ!

«Приношу вамъ напередъ всего искреннѣйшую благодарность мою за снисходительную дружбу и пріязнь

вашу ко мнѣ, столь для меня драгоцѣнную, и за добродушное позволеніе докучать вамъ, когда мнѣ вздумается, письмами. Иногда, знаете, не достаетъ духу выговорить языкомъ того, что напишешь втихомолку на молчаливый листокъ, какъ будто про себя.

«Я стою здѣсь какъ-то одинъ, одиноко; живу, если спрошу себя по совѣсти, только такъ, чтобы день прошелъ—а бесѣда съ вами открыла мнѣ какой-то новый міръ, къ которому я прежде не тянулся, потому что его не зналъ. Бездѣйственный покой, насущная жизнь, тяготятъ меня; мнѣ бы хотѣлось *переучиться* и *переобразоваться* — чтобы не сказать: *переродиться* сызнова. Какъ я слѣпо вѣровалъ во всякую печатную страничку, какъ твердо и самоувѣренно я держался бѣдною головою своею за все, что преподаватели мои возглашали, или ихъ помощники читали заикаясь по ихъ тетрадкамъ! Пишешь бывало, не успѣваешь, хватаешь на лету слова и рѣчи — сплетаешь ихъ послѣ кое-какъ, и блаженствуешь, когда добьешься смысла;— а рукопись преподавателя, это кладъ недосягаемый, какъ звѣзды на небѣ: можно наслаждаться ихъ блескомъ, но достать рукой нельзя... Теперь, какъ-то всѣ демоны сомнѣній пробудились въ груди моей; не понимаю того, что, казалось, ясно понималъ прежде; начинаю сомнѣваться въ томъ, за что бы прежде положилъ голову на плаху; вижу разнорѣчіе, несообразность, гдѣ прежде для меня все было шито и крыто... Отчего же, скажите, нѣтъ вещи, ни столь простой, ни столь запутанной, чтобы не было на нее сотни различныхъ объясненій, ясныхъ и отчетливыхъ, по словамъ толкователей, какъ логическое заключеніе, но противорѣчащихъ одно другому, какъ зло — добру, какъ день — ночи? Да вотъ, кстати, почтеннѣйшій Василій Ѳедоровичъ, слово о логикѣ: я держался за нее, какъ за оплотъ вселенной, какъ за краеугольный камень раз-

судка—а теперь не управлюсь уже и съ нею; она ли измѣнила мнѣ, самъ ли я съ нея повихнулся, но — не повѣрите, у меня на душѣ и въ головѣ развело такую зыбь, какая-то непріязненная буря всколыхала все, что во мнѣ есть живаго,—я не совладаю уже и самъ съ собою!

«Изволите ли знать, что меня съ ума сводитъ уже другія сутки? Слѣдующій силлогизмъ:

Propos. maior: Питье утоляетъ жажду. Propos. minor: Селедка въ пищѣ побуждаетъ къ питью. Conclusio: Ergo, слѣдовательно, селедка утоляетъ жажду.

«Что вы тутъ прикажете дѣлать? явная безсмыслица, а между тѣмъ, какъ бы то ни было, силлогизмъ! я не доберусь до завязки, и меня это пилитъ и мучитъ день и ночь.

«Васъ здѣсь, какъ видно, почасту вспоминаютъ. Степанида Ѳоминишна говоритъ, что вы насъ совсѣмъ забыли. Между тѣмъ—боюсь показаться вамъ нескромнымъ, не знаю, смѣю ли поздравить васъ; я знаю, что еще тайна, что еще ничего положительно не объявлено; у насъ, однако же, поговариваютъ объ этомъ довольно гласно. Намедни шла рѣчь уже о приданомъ, и Степанида Ѳоминишна сама хочетъ въ свое время съѣздить за этимъ въ городъ. Вѣрьте, многоуважаемый Василій Ѳедоровичъ, что я вамъ душевно желаю всякаго добра и блага и не сомнѣваюсь въ будущемъ вашемъ благополучіи, которое — между нами сказано — суждено не всякому.

«Имѣю честь и проч.

«*Приписка.* Стыжусь признаться, въ какіе я попалъ дураки съ силлогизмомъ своимъ; но не хочу рвать этого письма, не хочу скрывать отъ васъ недостатковъ своихъ, и если придется передъ вами краснѣть, то да будетъ это заслуженнымъ наказаніемъ моимъ за опро-

метчивость и тупость мою. Я предложилъ силлогизмъ своей Савкѣ: онъ, съ прибаутками и поговорками, переложилъ его только на свой языкъ, и безсмыслица обнаружилась: онъ перевелъ несчастный силлогизмъ мой такъ:

«Напившись, пить не хочется, а поѣвши селедки, пить хочется: стало быть, поѣвши селедки, пить не хочется!!..» и прибавилъ еще къ этому, не подозрѣвая даже, что меня дурачитъ: «нѣтъ, сударь, стара штука, меня на этомъ не проведете!»

«*Еще приписка.* И еще разъ долженъ я передъ вами краснѣть: когда хотѣлъ сдѣлать на многоуважаемое имя ваше надпись или, какъ — вы намедни предложили замѣнить слово адресъ—насылку, то вспомнилъ, что, къ стыду своему, не знаю даже почтеннаго вашего прозванія. Но еще болѣе удивило меня, что Сергѣй Сергѣевичъ и сама даже Степанида Ѳоминишна не могли меня выручить; они, какъ говорятъ, знаютъ васъ сызмала только по имени и отчеству. Итакъ, извините меня великодушно и, прошу покорно, наставьте.»

## Отвѣтъ Василька.

«Неожиданно обрадовало меня вчера письмо ваше, почтеннѣйшій Евстратъ Богдановичъ, и напередъ всего, прошу васъ, оставимте милостивыхъ государей, всѣ поклоны, почтенія и извиненія: такъ я писать не могу

«Вижу изъ словъ вашихъ, что вихри сомнѣній мутятъ и волнуютъ въ душѣ вашей море книжныхъ познаній — (не знаю, съ чего у меня вырвалось такое напыщенное восточное иносказаніе) — и что здравый разсудокъ, который ищетъ для построекъ своихъ не

пловучую гнилушку, а прочныхъ, надежныхъ основаній,—въ разладицѣ и съ вихремъ этимъ, и съ водяною стихіею. Какъ быть? это участь наша. Не я поселилъ въ васъ этого демона сомнѣній; обитающій въ насъ духъ рано или поздно долженъ проснуться отъ безчувственной дремоты своей, какъ убаюканное дитя, просыпающееся въ свое время, даже и послѣ самыхъ сладкихъ колыбельныхъ пѣсенокъ мамушекъ и няюшекъ. Вы скажете: его однако же можно опять укачать и убаюкать? Можно, покуда оно въ пеленкахъ; а потомъ приходитъ и такая пора, что баю да баю надоѣдаютъ; пѣснями да сказками не возмешь, дитя отбивается отъ рукъ Есть дѣти, которыя вѣкъ остаются дѣтьми; есть и люди, которые довольны познаніями своими, ученостью и успѣхами наукъ: эти люди счастливы; блаженъ, кто это можетъ. Но этой науки у насъ еще нѣтъ, ея не преподаютъ нигдѣ: какъ вѣрить поневолѣ, наперекоръ убѣжденію, и какъ довольство ваться тѣмъ, что преподаютъ намъ ученые мужи!

«Если открыть передъ вами душу, то скажу вамъ: я увѣренъ, что знаменитая наука или искусство мыслить ни одного человѣка не выучила тому, чему учитъ, а многихъ сбила съ толку. Впрочемъ, собственно въ вашемъ недоумѣніи, Евстратъ Богдановичъ, логика, конечно, уже не виновата; она сама по себѣ, безъ сомнѣнія, стоитъ на твердыхъ и незыблемыхъ началахъ; но я не вижу никакой въ томъ пользы, если мы выучимся разлагать на ружейные пріемы всякую мысль, всякое заключеніе, разсадимъ все это по клѣткамъ, столбцамъ и разрядамъ, обременяя попустому и память, и самый разсудокъ. Воля ваша, а всѣ духовныя способности наши ходятъ въ кандалахъ и въ путахъ, если заставлять ихъ дѣлать два дѣла вдругъ; *занузданный и* замундштученный разсудокъ очень часто

теряетъ природную силу, бодрость и отвагу; раздробленный на части, разсаженный по этимъ столбцамъ и разрядамъ, съ таблицами для руководства въ рукахъ, онъ самъ дѣлается мелочникомъ, крохоборомъ, начинаетъ гоняться за пустою діалектикою, за школярствомъ, и наконецъ уже не умѣетъ отличить истину отъ лжи, правду отъ обмана. Ему форма дѣлается важнѣе сущности, важнѣе самой истины. Повторяю, логика здравомыслящаго, а риторика поэта—не создавали, но многихъ сводили съ ума, вводили въ жалкій обманъ, заставляя думать, что они глубокіе мыслители и великіе поэты, потому только, что строго держатся правилъ логики и риторики. Правила логики составлены по ходу мыслей здраваго разсудка, который жилъ, конечно, прежде логики; а потому всякому, кому Богъ далъ здоровую голову, далъ онъ и логику. То же самое сказать можно о риторикѣ и пінтикѣ.

«Относительно вашего поздравленія — хотѣлъ я было, принявъ это за шутку, отвѣчать тѣмъ же; но я разсудилъ, съ помощью логики своей, что это была бы шутка неумѣстная. Итакъ, увѣряю васъ, что приданое готовится не для меня; ни Меланьѣ Сергѣевнѣ, ни мнѣ предполагаемое досужими вѣстоплетами сватовство на умъ не приходило: не знаю, съ чего это взято; неужели нельзя сказать молодой и пригожей дѣвушкѣ трехъ словъ, не женившись на ней?

«Итакъ, даже сама Степанида Ѳоминишна не могла разрѣшить вашего недоумѣнія; Степанида Ѳоминишна не знаетъ, какъ зовутъ сосѣда, который выросъ въ пятнадцати отъ нея верстахъ!! Въ самомъ дѣлѣ, это было бы неизвинительно, если бы только у сосѣда этого *было* прозваніе; но его нѣтъ. Дома меня зовутъ Васильком, а въ гостяхъ Василіемъ Ѳедоровичемъ, то есть, по отцѣ Ѳедоровымъ».

Пушка къ Василькy.

«Ты утикъ, хлóпче, тай байдýже—а тутечки голосять: подай намъ, кажуть, нáшого Василька, озьмы та подай! Бувало, спивають:

Дидъ рудый, баба руда—

а тамъ сталы спиваты таку, що ажъ нудыть:

Ой бачыться що не плачу—
А слизоньки льються:
Одъ милого нема людей,
Одъ нелюба плюються!

«А вже теперечки нема писни, нема и торбана, та кажуть що скоро не буде и дивчины: бо схне; схне, якъ квитка на стеблу, та росою изъ очей своихъ сама себе полывае, Василька, серденька своего, до себе пиджидае. А Василька нема: чи винъ утопився, чи винъ забарывся—а нема.

«Чи ты жь справди *ихъ*, мій Василько? чи то жь можно, що бъ винъ—кажу соби, кажу и людямъ—чи то жь можно, щобъ Василько свою дивчину покинувъ? Ни, не така у него думка, не такій розумъ винъ мае. Не намовляйте жь, люде, на мого Василька; бо що винъ робыть, то робыть якъ диды наши варенуху варыли—а вже теперечки такои й нема—уміючи-знаючи, добре гадаючи; то казакъ, правдыва душа, дай Боже и вашому батькови такого сына, якъ мій Василько!

«Слухай, сердце мое: тутечки квочки мои показылыся; пріихалы до мене, скильки ихъ тамъ є, усикажуть: дядьку! выручи насъ: Василько погубывъ *крестиу* доненьку твою Мелашу; винъ ій любывъ, вона

его любыла; мы вже и рушныкы и хустки попрыпасалы—а теперечки его нема, тай нема, та ще и отчимъ его казавъ дсь, що сынъ про те и не дума, не гада, нехай не сподиваються: дивка свиту не бачыть, схне, пропадае; выручи, дядьку Степане Власовичу, выручи!

«Отъ тоби и уся не довга, Василько; чи воны тутъ дило кажуть, чи воны якъ тая собака, що незмогла рику вылакаты, та цилу нычь на воду брехала—лыхо ихъ зна! Я бъ самъ пріихавъ до тѣбе, та щось нездужаю; пышы, або ще лучша якъ прыидешь до старóго самъ».

Отвѣтъ Василька.

«Почтенный Степанъ Власовичъ, мой почтенный, душевно уважаемый, доблестный запорожецъ! Что я скажу вамъ, при такомъ смятеніи чувствъ моихъ, при этомъ волненіи испуганной души? *правду*, скажете вы—и она передъ вами, читайте

«Первое чувство, сказавшееся во мнѣ, по прочтеніи истинно отеческаго письма вашего, было—негодованіе, негодованіе въ высшей степени на безсовѣстныхъ сплетницъ—чтобы не назвать ихъ еще другимъ, болѣе приличнымъ именемъ—отпусти имъ, Господи, грѣхи ихъ! Второе—признательность къ вамъ, за прямодушіе и довѣріе ваше, и наконецъ—душевная скорбь и соболѣзнованіе о той, которую такъ искусно умѣли подготовить, обольстить притворными увѣреніями, употребить просто слѣпымъ орудіемъ замысловъ чужихъ и заставить, противъ воли, въ непорочномъ простодушіи своемъ, принять участіе въ разыграніи этой предосудительной комедіи! Соболѣзную душевно и проклинаю виновныхъ, бездушныхъ нарушителей нашего—ея и моего—покоя!

«Честно и добросовѣстно увѣряю васъ, что я никогда не давалъ повода къ такимъ догадкамъ и заключеніямъ; совѣсть моя чиста: ни словомъ, ни взоромъ не говорилъ я ей самой—а и того менѣе кому другому—о чемъ и самъ никогда не думалъ. Вы сами свели насъ тогда, послѣ пожара, вмѣстѣ; я охотно бесѣдовалъ съ нею, это правда; но то, что я ей говорилъ, могли бы слышать и слышали большею частію, всѣ присутствовавшіе; я охотно разговаривалъ съ нею иногда, потому что она умненькая и пригоженькая дѣвица—но развѣ можно на всѣхъ пригожихъ дѣвушкахъ, съ которыми иногда бесѣдуешь?

«Я скоро замѣтилъ неприличное, нескромное и оскорбительное для всякой благонравной дѣвицы вмѣшательство нѣкоторыхъ лицъ—меня это огорчило, не за себя, а за нее, и я вслѣдъ за тѣмъ сдѣлалъ все, что могъ, чтобы избавить ее отъ подобныхъ явленій: я ни разу болѣе не былъ въ Шпиговкѣ, и вотъ конецъ всему этому! Повторяю, я на чужомъ пиру съ похмѣлья, невиноватъ ниже помышленіемъ. Но не вѣрьте, Бога ради, всему, что насказали вамъ эти наемныя плакуши о крестницѣ вашей; я совершенно убѣжденъ, что онѣ лгутъ. У нихъ есть на это, какъ на все, свои причины.

«Вотъ вамъ, мой почтенный, многоуважаемый Степанъ Власовичъ, все, что могу сказать въ свое оправданіе. Обвините меня, если я виноватъ. Завтра я къ вамъ буду, сегодня уже поздно, а я не хотѣлъ оставить васъ безъ отвѣта, да я и самъ въ немъ нуждался—душа просилась излиться передъ вами сей же часъ».

Трудно себѣ вообразить, до какой степени былъ взбѣшенъ и огорченъ нашъ Василько. Съ нимъ продѣлка такая случилась еще впервые; гласность, *которую придали* ей не безъ намѣренія заботливыя кумушки,

испугала его какъ-то; положеніе Меланьи ему казалось невыносимымъ, а пособить было нечѣмъ; поступокъ, въ которомъ его упрекали, былъ въ глазахъ его подлостью; разувѣрить всѣхъ было невозможно, а какими глазами смотрѣть послѣ этого на людей? Онъ не могъ постигнуть, какъ безстыдство и самовластіе сплетницъ могли дойти когда-нибудь до такой крайности.

Мы, люди бывалые, видывали виды и почище этого, и тутъ ничему не удивляемся. Обезславить бѣдную дѣвушку, лишить ее покоя, наклепать и напутать все, что угодно и на кого угодно — все это нерѣдко дѣлается безъ всякой цѣли, только для того, чтобы было о чемъ побесѣдовать; если же тутъ еще кроются какіе-нибудь замыслы, то слова: *авось, небось* и *какъ-нибудь* заступаютъ мѣсто чести, совѣсти и разсудка. О, эти записныя искательницы невѣстъ для жениховъ и женіховъ для невѣстъ, эти заботливыя хозяйки въ чужомъ хозяйствѣ, удивительныя созданія: онѣ чутьемъ слышатъ, что дѣется и творится на семьдесятъ семисотныхъ верстъ въ околодкѣ; и какъ только зачуютъ что́ да промыслять вѣсточку по себѣ, то и бѣгутъ, сломя голову, какъ разбитыя почтовыя клячи съ гону, и начинаютъ, протянувъ вялыя, тучныя и сухопарыя шеи свои, гаркать и гагакать, будто Капитолій снова загорѣлся! Онѣ судятъ и рядятъ, онѣ дѣлятъ и межуютъ, казнятъ и милуютъ—онѣ знаютъ все; онѣ увѣряютъ васъ въ одинъ духъ, покуда ихъ не схватитъ удушье, что Машенька Пухова выходитъ за родного брата—хотя она, до времени, не выходитъ ни за кого, а родного брата у нея и не бывало,—что сыры *пармезаны* и люди фармасоны не въ одной землѣ живутъ, а есть тутъ разница; что Иванъ Павловичъ взялъ за женою столько-то, а отдаетъ за дочерьми столько-то, хотя Иванъ Павловичъ никому на свѣтѣ объ этомъ не говорилъ, и дивится только, отчего у него въ ушахъ

звенитъ; что звѣзда съ хвостомъ была прежде звѣзда съ кольцомъ, да кольцо разогнулось. Наконецъ, нѣтъ свадьбы, нѣтъ сговора, нѣтъ крестинъ, нѣтъ развода, нѣтъ похоронъ, нѣтъ помолвки безъ нихъ. Онѣ опредѣляютъ въ ареопагѣ своемъ, чему быть, чему не бывать, кому на комъ жениться и кому кого родить... сводите и разводите вы мосекъ и кошекъ своихъ, обезьянъ и попугаевъ, а не насъ!

Нѣтъ земли на бѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы сватовство на заказъ достигло такой степени общности и совершенства, какъ у насъ. Лишь только дѣвушка сложилась, такъ уже она и пошла слыть невѣстой: и ни на одномъ языкѣ слову этому не дано такого обширнаго значенія. Затѣмъ сами родители, тетки, бабки, кумушки, тещи, свекрови, свояченицы, золовки, все это пошло по первому дождю, по женихи, что по грибы. Тутъ, упаси Боже, подвернуться нашему брату, беззаботному: ты не успѣлъ еще ни здравствуй, ни прощай вымолвить, а тебя уже разули, и въ карманъ тебѣ слазили, и въ зубы поглядѣли, и опять обули, и всего въ двухъ пальчикахъ, что батистовый платочекъ, перещупали. Глядишь—иной вислоухій не думалъ, не гадалъ, а ужъ ему давнымъ-давно въ одно ухо влѣзли, въ другое вылѣзли, самого въ клубочекъ свертѣли да въ ридикюльчикѣ и понесли домой: и поминай какъ звали. Что послѣ будетъ—до этого намъ нѣтъ нужды; послѣ онѣ же сами прикатятъ первыя мирить да разводить, объ этомъ не заботьтесь; и онѣ же вамъ растолкуютъ послѣ, отчего и почему это такъ случилось и иначе быть не могло.

А почему же и не такъ? Многіе женятся такимъ образомъ, и плодятся, и множатся. Напримѣръ, я вздумалъ жениться, — такъ, ни съ того, ни съ сего, мнѣ захотѣлось. Вы ошибаетесь, если думаете, что у меня *есть на примѣтѣ* и невѣста: нѣтъ это не моя забота;

я только попрошу какую нибудь Степохлесту Перехватовну, добрую, услужливую женщину, и она найдетъ невѣсту, подберетъ мнѣ ее по примѣтамъ, чтобы, напримѣръ, была и молода, и черноброва, и богата, и поплотнѣе, и хороша, и непричудлива, и вдобавокъ еще говорила по-французски и играла на фортепіано не менѣе 80-ти штукъ. Она, сваха моя, выхваляетъ передо мною товаръ свой, какъ сидѣлецъ на Щукиномъ дворѣ: жилетки хорошія, сапоги, полусапожки, шинели форменныя, шляпы есть, платки, перчатки! «Есть», говоритъ она, «у меня на примѣтѣ такая-то, есть и такая-то—есть одна, и молода, и богата, и черноброва, и замужъ хочетъ»...—Такъ что же, подавайте ее сюда?—«Да она хочетъ только за военнаго, а чернаго платья не терпитъ!»

— Э, вздоръ, ничего, вѣдь я и самъ хотѣлъ когда-то служить, да раздумалъ; это пустое, все равно!—Другая есть—третья есть, и я все приговариваю: подайте сюда и эту, а не то подайте ту!

— Ну, позвольте, потерпите, дайте мнѣ поразвѣдать маленько, — отвѣчаетъ наконецъ моя Перехватовна, — сладимъ дѣло, я многимъ господамъ служила, слава Богу, довольны остались.—Во все это время, вы меня уже нигдѣ не встрѣтите иначе, какъ въ новомъ фракѣ моемъ, со свѣтлыми пуговками и въ жилеткѣ съ отворотами.

Наконецъ, меня везутъ на *смотрины*, хотя ихъ не всегда такъ называютъ, а говорятъ: просятъ познакомиться. Но знакомство это ограничивается тѣмъ, что я пріѣду вечеромъ въ домъ, гдѣ отроду не бывалъ; что меня встрѣчаютъ какъ стараго знакомаго, называютъ по имени и отчеству, спрашиваютъ о здоровьѣ матушки моей, братьевъ и сестеръ, называя всѣхъ поименно; между тѣмъ всѣ смотрятъ на меня, какъ лягушки на осиноваго царя своего, кто выпучивъ глаза,

кто бочкомъ, кто искоса, кто украдкой; а Маша входитъ, наконецъ, разодѣтая и разубранная впухъ, и садится зарумянившись разливать чай: бесѣда идетъ между тѣмъ самая политичная, все о постороннихъ вещахъ, будто ничего не бывало. Вотъ и все знакомство: или вы завтра же можете поздравить меня женихомъ, если невѣста приглянулась, или я, раскланявшись и принявъ приглашеніе — быть знакомымъ, пропадаю опять навсегда, если невѣста не показалась. Тогда и нога моя больше не бываетъ въ домѣ. Положимъ, я рѣшился: сватаюсь, и жалѣю только, что новый *альмавива* мой пролежалъ весь вечеръ въ передней и что, кромѣ слугъ, которые на немъ преспокойно почивали, его никто не видалъ. Итакъ, сватаюсь, наконецъ, вѣнчаюсь, везу молодую домой—и тутъ только начинаю догадываться, что мнѣ придется еще по неволѣ сдѣлать весьма значительныя уступки, относительно разныхъ свойствъ, качествъ и принадлежностей супруги моей, противъ перваго моего затребованія, первой сыскной, рядной или погонной, если только не придется намъ разойтись врозь, каждому туда, отколѣ пожаловалъ!

Нѣкто—по чину титулярный, по росту коротышъ, по лѣтамъ своимъ старшій братъ или дядюшка, а по званію, на этотъ разъ, рѣшительный женихъ, — пріѣхалъ, по службѣ, изъ уѣзднаго города въ губернскій. Здѣсь видитъ онъ, не знаю какъ и гдѣ; какой-то рисунокъ—разумѣется, красками — подъ которымъ подписано: рисовала дѣвица Анчоусова. «Какая это дѣвица?»—Здѣшняя, говорятъ, дочь 2-го члена межевой конторы: отецъ весь вѣкъ свой графилъ да чертилъ, да отбивалъ пунктиромъ, да расписывалъ, по положенію, березовый лѣсокъ зеленою, а дубовый коричневою красочкой, дочь у него всему этому наглядкой и выучилась.—Коротышъ мой, недолго думая и не пускаясь

ни въ какіе далѣе разспросы, засылаетъ сваху. Осторожный членъ спрашиваетъ: которую дочь сватаете? и свашенька задумалась, не могла дать отчета и поѣхала за справкой. «И такъ ихъ двѣ!» восклицаетъ въ радостномъ изумленіи женихъ, какъ будто бы хотѣлъ жениться на обѣихъ. «Сватайте ту, которая рисуетъ».— Да никакъ обѣ рисуютъ.—«Обѣ! это довольно странно: сейчасъ видно, что губернскій городъ! и можетъ быть, другая рисуетъ еще лучше этой», подумалъ коротышъ, «какъ тутъ быть? Ну, все равно, только сдѣлайте милость поскорѣе, какъ бы дѣло кончить сегодня?» — Я рада стараться, да которую жь сватать? старшую, что ли?—«Ну да, старшую». — Или можетъ статься полюбится вамъ меньшая, она дѣвушка бойкая?—«Хорошо, пожалуй, меньшую, только сдѣлайте милость поскорѣе; поѣзжайте вы, а я обожду тутъ у васъ!» Сваха ѣдетъ, сватаетъ, возвращается домой — но женишка нашего нѣтъ ни сегодня, ни завтра, ни послѣзавтра, словно утонулъ—а тамъ вдругъ слышно, что онъ уже помолвленъ и вовсе на другой. Какъ же это случилось? Очень просто: вы уже видѣли, что жениху нашему охота жениться пришла смертная; ему до вечера дожидаться показалось долго: пошелъ раздумье мыкать по широкой улицѣ. Идетъ, идетъ и видитъ — вдругъ передъ нимъ мелькнула, перебѣжавъ дорогу, прекрасная незнакомка, и исчезла, нырнувъ въ калиточку. Вмѣсто салопа и шляпки у нея былъ накинутъ черезъ голову большой бумажный платокъ, лица почти было не видно: «но если она будетъ моей женою», подумалъ коротышъ, «такъ я наглядѣться на нее успѣю». Между тѣмъ, красавица обронила тетрадку, которую нашъ искатель невѣстъ подхватилъ съ жадностію и прочелъ на ней: древняя исторія. «О Кліо!» восклицаетъ вдохновенный, «Кліо, ты моя!» Замѣтимъ, что эта Кліо бѣжала изъ пансіона какого-то французскаго

самоучителя, осколыша Большой арміи, и была уже дѣвой зрѣлой. У насъ слѣдовали Жанъ Жаку и дѣтей смолоду не убивали ученьемъ. И Кліо, которая пряталась первые три дня отъ нашего сверчка жениха, какъ отъ пугала, привыкла къ нему ровно къ тому сроку, какъ поспѣло приданое — нѣтъ вещи, къ которой бы не приглядѣлся свѣтъ — и вышла за него и живетъ.

Нѣкто коллежскій ассесоръ и кавалеръ, человѣкъ дѣловой, скорый, расторопный, который вставалъ лѣтомъ и зимой въ четвертомъ часу, а ложился въ девятомъ, послѣ обѣда отдыхалъ съ часокъ и опять спѣшилъ во всѣ концы по дѣламъ, разсказывалъ вамъ, не переводя духу, состояніе атмосферы по барометру и термометру, денежные курсы по вѣдомостямъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, цѣну на овесъ, рожь и пшеницу, новости городскія и иногородныя, кражи, пропажи, смертные случаи, сватовства, крестины и родины и еще вдобавокъ дюжину предположеній о всякой всячинѣ—такимъ же образомъ, на самую скорую руку, обдѣлывалъ свои домашнія и чужія дѣлишки по той части, о которой мы собственно говоримъ. Онъ пріискалъ однажды для дочери пріятеля и сослуживца своего, для котораго старался какъ для себя, завиднаго жениха, съ условіемъ однакоже, чтобы 20 тысячъ было отдано безотчетно въ распоряженіе новобранца. Согласились, помолвили дѣтей и запили, какъ водится, шампанскимъ; назначили день свадьбы, посаженные съ шаферами съѣхались, невѣста одѣта, гости привалили, музыка дожидается, а жениха нѣтъ. Фонарь — такъ называли мы домикъ хозяйскій, за то, что онъ былъ малъ, тѣсенъ, свѣтелъ, прозраченъ и очень засаленъ— фонарь давно освѣщенъ, народъ толпится подъ окнами, готовый плакать и смѣяться, какъ случится; посылаютъ въ церковь въ десятый разъ — жениха нѣтъ.

Наконецъ, отправляютъ шафера за женихомъ: не заболѣлъ ли, не случилось ли чего? Ничего не бывало: онъ сидитъ дома, въ халатѣ, въ спальныхъ сапогахъ, куритъ трубку и читаетъ «Московскія Вѣдомости». «Помилуй, братецъ, одѣвайся, время къ вѣнцу ѣхать; тебя давно ждутъ! Что съ тобой, нездоровъ, что ли?»— Нѣтъ, ничего, слава Богу; да такъ, я раздумалъ.—«Что раздумалъ?» — Да жениться. — «Помилуй, ты шутишь?»—Чего шутить, нѣтъ, право. Это самое пустое дѣло: колода на шеѣ, руки связаны, ребятишки визжатъ—Богъ съ ними и съ нею. — Шаферъ, внѣ себя отъ изумленія, отправляется обратно. — Шепотъ, совѣты все тишкомъ да тишкомъ — барыни раскудахтались, засуетились; но коллежскій ассесоръ мой уже сѣлъ и покатилъ на столбовыхъ дрожкахъ своихъ къ жениху, и въ двѣ минуты разузналъ все, что ему было нужно. Женихъ не довѣрялъ дарословію будущаго тестя своего, не вѣрилъ поговоркѣ: уговоръ лучше денегъ, а думалъ: деньги лучше уговора. Поэтому онъ и объявилъ, что не пойдетъ съ мѣста до уплаты всего сполна по уговору. Когда же хлопотунъ нашъ привезъ ему полную сумму, которая частію нашлась у будущаго тестя, частію же была собрана тѣмъ же всесвѣтнымъ ходатаемъ у добрыхъ пріятелей въ долгъ, то женихъ, спокойно пересчитавъ деньги, приказалъ Гришкѣ подать шпагу, шляпу и мундиръ, — а гости и невѣста между тѣмъ все дожидались, — одѣлся, поѣхалъ, обвѣнчался, и тулумбасы гремѣли, и тарелки стучали до полуночи, и бѣ веселіе и многая радость.

Василько, написавъ маіору отвѣтъ, пошелъ пройтись, куда глаза глядятъ. Душа его была такъ взволнована, что онъ не могъ усидѣть на мѣстѣ. Незамѣтно прошелъ онъ довольно далеко: вечеръ былъ тихій и темный; Василько остановился на мостикѣ, взглянулъ

самоучителя, осколыша Большой арміи, и была уже дѣвой зрѣлой. У насъ слѣдовали Жанъ Жаку и дѣтей смолоду не убивали ученьемъ. И Кліо, которая пряталась первые три дня отъ нашего сверчка жениха, какъ отъ пугала, привыкла къ нему ровно къ тому сроку, какъ поспѣло приданое — нѣтъ вещи, къ которой бы не приглядѣлся свѣтъ — и вышла за него и живетъ.

Нѣкто коллежскій ассесоръ и кавалеръ, человѣкъ дѣловой, скорый, расторопный, который вставалъ лѣтомъ и зимой въ четвертомъ часу, а ложился въ девятомъ, послѣ обѣда отдыхалъ съ часокъ и опять спѣшилъ во всѣ концы по дѣламъ, разсказывалъ вамъ, не переводя духу, состояніе атмосферы по барометру и термометру, денежные курсы по вѣдомостямъ, въ Москвѣ и Петербургѣ, цѣну на овесъ, рожь и пшеницу, новости городскія и иногородныя, кражи, пропажи, смертные случаи, сватовства, крестины и родины и еще вдобавокъ дюжину предположеній о всякой всячинѣ—такимъ же образомъ, на самую скорую руку, обдѣлывалъ свои домашнія и чужія дѣлишки по той части, о которой мы собственно говоримъ. Онъ пріискалъ однажды для дочери пріятеля и сослуживца своего, для котораго старался какъ для себя, завиднаго жениха, съ условіемъ однакоже, чтобы 20 тысячъ было отдано безотчетно въ распоряженіе новобранца. Согласились, помолвили дѣтей и запили, какъ водится, шампанскимъ; назначили день свадьбы, посаженные съ шаферами съѣхались, невѣста одѣта, гости привалили, музыка дожидается, а жениха нѣтъ. Фонарь — такъ называли мы домикъ хозяйскій, за то, что онъ былъ малъ, тѣсенъ, свѣтелъ, прозраченъ и очень засаленъ— фонарь давно освѣщенъ, народъ толпится подъ окнами, готовый плакать и смѣяться, какъ случится; посылаютъ въ церковь въ десятый разъ — жениха нѣтъ.

Наконецъ [illegible] болѣлъ [illegible] онъ [illegible] курить [illegible] «Пожалуй [illegible] тебя [illegible] Нѣтъ [illegible] радуешь?» [illegible] тишь?»—[illegible] дѣло: [illegible] жать—[illegible] отъ [illegible] вѣты [illegible] лись, [illegible] сѣлъ [illegible] женитъ [illegible] нужна. [illegible] тести [illegible] девегъ [illegible] и обязалъ [illegible] сполна [illegible] весь [illegible] будущаго [illegible] всесвѣтныхъ [illegible] то [illegible] долгъ, Гришѣ [illegible] и невѣста [illegible] не [illegible],—а гости поѣхали, [illegible], — одѣлся, [illegible] гремѣли, и тарелки [illegible], и [illegible] веселіе и многая радость.

Василій, [illegible] отвѣтъ, пошелъ пройтись, [illegible]. Душа его была такъ взволнована, что [illegible] усидѣть на мѣстѣ. Незамѣтно прошелъ [illegible] далеко: вечеръ былъ тихій и темный; Василій остановился на мостикѣ, взглянул[illegible]



[illegible] ри- [illegible] зада- [illegible] ли чи- [illegible] ступить [illegible] чтобы

впередъ, и передъ нимъ затеплились три огонька. Съ негодованіемъ и болью на сердце глядѣлъ онъ на освѣщенныя окна Ирины Титовны, и прислонившись, сложа руки, къ столбу мостика, покачалъ головою и сказалъ:

«Такъ онѣ опять уже сошлись, эти обветшалыя кофейныя мельницы; онѣ съѣхались на раду, на вѣче свое, потому что безъ нихъ не было бы у насъ и завтрашняго дня! Пусть прощаетъ васъ кто хочетъ, а я васъ не прощаю. Нѣтъ, я бы отдалъ въ эту минуту половину всего имущества своего на построеніе смирительнаго дома, въ которомъ бы вы заняли первыя, почетныя мѣста! Тамъ бы я заставилъ васъ и плесть, и молотить не языкомъ, а руками; тамъ бы вы узнали, въ потѣ лица своего, какое различіе между житьемъ тунеядца и жизнію честнаго, полезнаго, работящаго человѣка! Дурь и глупость вашу Богъ вамъ проститъ: но двуличіе ваше, ханжество, безсовѣстность, бездушіе, клевету, ложь, которая служитъ вамъ орудіемъ и средствомъ ко всему, которыми вы, какъ блаженныя памяти Архимедъ, приподняли бы шаръ земной на оси его, если бы вамъ дали только опорную точку внѣ земнаго шара,—неужели эти дѣянія ваши минуютъ достойнаго возмездія? Не знаю; но вижу, что теперь живете въ изобиліи, холите и себя и шавокъ своихъ, слывете умницами по цѣлому округу, васъ называютъ почтенными, намъ велятъ уважать васъ; вижу, что подходятъ съ подобострастіемъ къ вялой или дебелой рукѣ вашей; вижу, что у васъ есть на все свои потайные ключи, свои привѣты и совѣты, пружины и махины, доходы и доводы; слава и доброе имя, безъ котораго на свѣтѣ промежъ людей жить нельзя, у васъ въ рукахъ; а языки ваши равно искусно и соловьемъ щелкаютъ, и зміемъ шипятъ. Чего же вамъ *больше*? Вамъ и честь, и слава!»

Бублинскіе, какъ уже напередъ можно заключить изъ слышаннаго нами между ними разговора, этимъ оборотомъ дѣла были крайне довольны. Хитрый полякъ очень скоро смѣтилъ, что Василько вовсе не думаетъ о сватовствѣ, что все это однѣ сплетни, полагался на разсудительность и самостоятельность пасынка и не опасался уже болѣе грозившаго было ему переворота. Подосланнымъ людямъ Бублинскіе отвѣчали насмѣшками, свысока, почему свахи наши, увидавъ что съ этого конца нѣтъ приступа, попытались зайти съ другого, осадивъ и взявъ приступомъ нашего добраго запорожца.

Мачиха и отчимъ, нѣсколько времени послѣ этого, обращались съ Васильком ласковѣе обыкновеннаго и не могли скрыть свою радость. Между тѣмъ однако же довольно странный и неожиданный случай разстроилъ согласіе ихъ съ пріемышомъ, болѣе чѣмъ когда либо, лишилъ обѣ половины взаимной довѣренности и открылъ Василько горестнымъ образомъ глаза.

Зеленый панокъ, несчастный чижикъ, былъ въ такомъ отчаяньи, послѣ неудачнаго похищенія Улиньки, что хотѣлъ топиться и стрѣляться и, наконецъ, перебѣсившись и образумившись, заслалъ опять къ Авдотьѣ Поликарповнѣ свахъ, полагая, что она уже, послѣ довольно гласныхъ похожденій дочери своей, будетъ посговорчивѣе. Тетка его, Ирина Титовна, тутъ очень много хлопотала; но Поликарповна предлагала одну только мировую, чтобы у чижика былъ свой кусокъ хлѣба: чтобы Титовна заживо отписала ему водяную мельницу свою, приносившую въ годъ тысячки двѣ. Разумѣется, Титовна, на этомъ основаніи, не мирилась, и слезы и просьбы племянника ея пропали задаромъ. Отчаянною мольбою и разными обѣщаніями чижикъ успѣлъ однако же склонить тетку свою уступить ему мельницу это довольно сходно, съ тѣмъ, чтобы

онъ деньги эти досталъ налицо. Чижикъ пустился на это—въ довольно странной надеждѣ: выпросить 10 тысячъ взаймы у Василька, который былъ для чижика однимъ изъ первыхъ богачей въ мірѣ. Добродушному Васильку, которому чижикъ растолковалъ, что вы-де изъ опеки давно вышли, въ самомъ дѣлѣ польстила мысль—сдѣлать, при первомъ свободномъ употребленіи достатка своего, доброе дѣло; онъ согласился было съ своей стороны пособить и чижику, и бѣдной Улинькѣ, но услышалъ отъ отчима своего, послѣ долгихъ и тщетныхъ переговоровъ и уговоровъ, рѣшительное не *позвалямъ*. Это подало Васильку поводъ просить, со всѣмъ уваженіемъ и сыновнею преданностію, чтобы опекунъ передалъ ему лучше все имѣніе; Василько благодарилъ втораго отца своего непритворно за всѣ заботы его и попеченія и прибавилъ: «Пора мнѣ однако же самому заступить мѣсто опекуна своего и снять съ васъ, батюшка, хлопоты о чужомъ; я не ребенокъ, мнѣ совѣстно сидѣть у васъ дармоѣдомъ на шеѣ». Хотя полякъ Бублинскій отклонилъ и отсрочилъ исполненіе этого требованія самымъ благовиднымъ образомъ и поцѣловалъ питомца своего трижды въ лобъ, но бѣдный Василько, въ первый разъ отроду, усомнился въ искренности этихъ лобзаній, что ему было горько и больно до нестерпимости. Невольно въ Васильѣ мелькнула мысль, что отчимъ его извлекаетъ какія-нибудь личныя для себя выгоды изъ довѣреннаго ему имущества — добрый Василько самъ ужаснулся такой мысли, но она уже неотвязчиво его преслѣдовала и ему не было отъ нея покою. Ему дороги были тутъ не рубли и копѣйки, а честь своего второго отца, котораго онъ привыкъ уважать и почитать съ малолѣтства, какъ отца роднóго. Грусть и раздумье заволокли навсегда ясное чело Василька, ласки мачихи и отчима не *утѣшали* его, не успокоивали; между нимъ и ими встала

и выросла ледяной стѣной какая-то неприступная грань, семейное счастье его рушилось. Положеніе это день ото дня становилось для Василька нестерпимѣе; можетъ быть, ему стыдно было передъ ничтожнымъ человѣкомъ, каковъ нашъ корнетъ-поэтъ, что не можетъ располагать по волѣ добромъ своимъ; словомъ, Василько пришелъ въ одно утро къ отчиму своему и сталъ проситься куда-нибудь въ путь. Отчимъ сначала было немножко позамялся, полагая, что Василько хочетъ ѣхать за границу, а на это опять-таки понадобилось бы много денегъ; но когда этотъ сказалъ положительно, что до времени хочетъ только оглянуться немножко на родинѣ своей, которая для него гораздо занимательнѣе заморья, то Бублинскій разсудилъ, что такая поѣздка всего лучше разсѣетъ Василька, разгонитъ думу его и заставитъ позабыть возникшую было непріятность.

Итакъ Василько, оставивъ отчиму примѣрный путевникъ, которому намѣренъ былъ слѣдовать, сѣлъ въ плетеную польскую бричку, легкую и удобную, и покатилъ, на первый случай, прямо на сѣверъ. Прощаясь съ родителями своими, онъ прослезился, и это были столько же слезы сыновней любви и привязанности, сколько и слезы душевной скорби и огорченія.

До отъѣзда, Василько еще разъ повидался съ Пушкой и съ Горемыкинымъ. Первому онъ признался во всемъ откровенно, когда тотъ, положивъ ему руку на плечо и пригвоздивъ его искристыми, карими очами своими, сказалъ: «Василько, ще ты мене зроду не обманывавъ, а таперечки хочешь видбрехаться? чи яжъ тебе выдамъ, або що? сидай, та сыпъ мини отсюды правду»—и указалъ на голую грудь свою.

Маіоръ слушалъ разсказъ Василька пристально, а потомъ сказалъ: «Что не дали тебѣ кинуть этой трясогузкѣ задаромъ десяти тысячъ, это дѣло; а что ты добрался наконецъ самъ до правды—это также къ

лучшему; постороннему человѣку говорить тебѣ объ этомъ не приходилось, а въ лицо и въ глаза говорилъ я твоимъ паньству Бублинскимъ часто, что они ходятъ не въ своихъ *кожухахъ*. Какъ быть, поѣзжай съ Богомъ, а воротишься, живы да здоровы будемъ, перетадаемъ да передумаемъ, что и какъ ладить».

Горемыкину Василько оставилъ въ полное распоряженіе хорошій подборъ книгъ на четырехъ или пяти языкахъ и увезъ отъ него въ дорогу—признаніе, о которомъ скажемъ нѣсколько словъ ниже.

Теперь надобно сказать, чѣмъ кончилось дѣло въ Шпиговкѣ.—Степанъ Власовичъ, получивъ ясное, откровенное и благородное письмо Василька и поговоривъ съ нимъ лично, велѣлъ въ ту же минуту заложить чубараго въ струментъ свой, отправился въ Шпиговку, сыпалъ на пути проклятія вправо и влѣво и, заставъ у Бабачковъ Ирину Титовну съ приборомъ, пропѣлъ всѣмъ имъ такую пѣсню, что онѣ, чай, долго еще крестились да отмаливались. «Чому васъ», сказалъ онъ имъ между прочимъ, «чому васъ, та жидивъ, та цыганъ мылуютъ, не берутъ васъ на службу царскую*), пралыбъ та пралы сорочки на солдативъ; хочь бы не даромъ хлибъ илы, тай не сталобъ тоди у васъ часу на таке паскудне дило!» Потомъ маіоръ отыскалъ крестницу свою, Мелашу, взялъ ее за руку, вывелъ въ комнату, гдѣ не было постороннихъ, поцѣловалъ ее, перекрестилъ и заговорилъ съ нею такимъ отеческимъ языкомъ, какого она еще отроду дома не слыхала. Обвивъ руки свои вкругъ шеи почтеннаго сѣдаго маіора, она залилась слезами, но вскорѣ оправилась опять и сказала простодушно, съ чувствомъ и благородствомъ: «Батюшка, выслушайте-же меня, вы меня поймете:

*) Въ тѣ поры съ жидовъ еще рекрутъ не брали, а цыгане шатались *никуда неприписанные* и также повинностей никакихъ не несли.

что было у меня здѣсь, на сердцѣ, того не зналъ и не могъ знать никто; а что думали и говорили за меня другіе, въ томъ я ли виновата?» Степанъ Власовичъ точно понялъ отвѣтъ этотъ, и снова поцѣловалъ Мелашу и снова ее перекрестилъ.

Горемыкинъ, когда вся развязка эта дѣялась и творилась передъ глазами его, словно головою изъ-подъ воды вынырнулъ да снова увидѣлъ передъ собою Божій свѣтъ, снова прозрѣлъ и услышалъ. Онъ давно уже любилъ Мелашу, но втайнѣ, безнадежно: во-первыхъ, никогда не ожидалъ взаимности, а во-вторыхъ, и во снѣ не смѣлъ мечтать, чтобы Степанида Ѳоминишна согласилась на этотъ бракъ. Евстратъ Богдановичъ почиталъ чувство свое какимъ-то преступленіемъ, запряталъ его на самый исподъ, въ темный уголокъ своего сердца, и пугался одной мысли, что оно кѣмъ-нибудь можетъ быть тамъ открыто, что его могутъ вытащить на свѣтъ, на общее позорище. При всемъ томъ однакоже, неожиданное открытіе, что Василько ему вовсе не угрожаетъ соперничествомъ, его какъ-то обрадовало и ободрило, хотя трудно объяснить—почему. Отношенія его отъ этого не измѣнились, надежды не прибавилось ни на-волосъ. Когда же Василько послалъ, передъ отъѣздомъ своимъ, въ воскресный день, линейку за Горемыкинымъ, и оба бесѣдовали другъ съ другомъ откровенно и безъ свидѣтелей о прошедшемъ, о будущемъ и настоящемъ, то Евстрату тайна его приступила къ глоткѣ и чуть его не задушила: онъ покаялся Васильку во всемъ и въ такихъ выраженіяхъ, въ какихъ говорятъ о какомъ нибудь бѣдствіи, противъ котораго нѣтъ ни зелья, ни снадобья, и говорятъ объ немъ только, чтобы облегчить душу свою.

Степанида Ѳоминишна сначала охала, ахала, кричала; привязала по куску соленаго огурца къ вискамъ отъ головной боли—такъ она тужила по бѣдной обма-

нутой дочери; но когда маіоръ побывалъ въ Шпиговкѣ, усовѣстилъ мать, успокоилъ дочь, крестницу свою, и объявилъ все дѣло сплетней самаго дурнаго разбора, то Степанида Ѳоминишна выздоровѣла, замолчала, снила огурцы и повязку и стала мотаться попрежнему въ хозяйствѣ. Сергѣй Сергѣевичъ игралъ во все это время въ молчанки.

Василько очень хорошо чувствовалъ, что ему необходимо было соединить съ прогулкою своею какую нибудь цѣль, намѣреніе, что ѣхать только поглядѣть на Божій свѣтъ нельзя; на это не стало бы, думаю, никого, а всего менѣе нашего Василька. Итакъ онъ задалъ себѣ вотъ какую задачу:

1) Собирать по пути всѣ названія мѣстныхъ урочищъ, разспрашивать о памятникахъ, преданіяхъ и повѣрьяхъ, съ ними соединенныхъ, съ тѣмъ, чтобы примѣнять все это впослѣдствіи къ бытописанію Россіи, которое необходимо должно, во многихъ случаяхъ, поясняться этими памятниками старины.

2) Разузнавать и собирать, гдѣ только можно, народные обычаи, повѣрья, даже пѣсни, сказки, пословицы и поговорки и все, что принадлежитъ къ этому разряду.

3) Вносить тщательно въ памятную книжку свою всѣ народныя слова, выраженія, реченія, обороты языка, общіе и мѣстные, но неупотребительные въ такъ-называемомъ образованномъ нашемъ языкѣ и слогѣ.

Послѣдняя статья, въ глазахъ многихъ, вѣроятно, пустѣйшая изъ всѣхъ трехъ, для насъ съ Васильком была самая главная и важная. Мнѣнія и понятія нашего объ этомъ предметѣ въ нѣсколькихъ строкахъ изложить нельзя; но оно вкратцѣ, въ перечнѣ, заключается въ слѣдующемъ. Образованность и просвѣщеніе разлились по нашему отечеству быстрымъ горнымъ

потокомъ, не ниспадали исподоволь дождемъ и росою: то, что люди всосали, капля по каплѣ, изъ сосцовъ матернихъ, съ молокомъ, мы похлебали ложками да выпили ендовами.—Языкъ, который преобразовывается вѣками, не успѣлъ за этимъ переворотомъ, отсталъ, а между тѣмъ надо было выразить все то, что вновь наводнило сердце и душу, нравственныя и умственныя силы наши; вотъ почему стали мы поневолѣ говорить и писать не по-русски, какъ понынѣ пишемъ мы съ вами, мой почтенный читатель. Пенять за это на насъ нельзя; на нѣтъ и суда нѣтъ Не одни слова, выраженія, а цѣлые обороты, изреченія переносились цѣликомъ съ другихъ языковъ, слишкомъ удаленныхъ, по свойству своему, отъ нашего; вышла безцвѣтная смѣсь, которая все еще не могла достигнуть образцовъ своихъ, языковъ европейскихъ, и также довольно отстала—а не оставила за собою—отъ языка природнаго. Языкъ нашъ не гнется въ заморскую дугу, и мы его ломаемъ; что противъ духа языка, того онъ себѣ усвоить не можетъ; онъ долженъ перебродить самъ въ себѣ, на своихъ дрожжахъ, тогда изъ него выработается языкъ сильный, могучій, богатый, всеобъемлющій; таковы начало и корень его. На вопросъ: откуда жъ намъ учиться, послѣ всего этого, русскому языку? отвѣтъ слѣдуетъ, само собою, изъ предыдущаго: учиться надо ему тамъ, гдѣ онъ еще не искаженъ, не перелицованъ на изнанку, не изнѣмечился, то-есть въ народѣ. Кто захохочетъ при этомъ и скажетъ: «онъ съ Васильком хочетъ заставить насъ говорить костромскимъ или галицкимъ напѣвомъ, нарѣчіемъ низовыхъ бурлаковъ»,— тотъ насъ не понимаетъ, и грѣшитъ, выдавая свои затѣи за наши. *Духу* нашего языка надобно учиться нынѣ у костромскаго, ярославскаго и вообще всякаго русскаго крестьянина, у простолюдина, потому что этому изъ книгъ научиться нельзя; но языкъ, который,

вслѣдствіе подобныхъ изысканій, выработается современемъ изъ такихъ началъ, будетъ не мужицкій языкъ, а русскій, образованный языкъ, котораго доселѣ еще у насъ нѣтъ.

Такимъ образомъ, напримѣръ, находимъ мы въ записной книжкѣ Василька — вмѣсто: «казакъ осѣдлалъ коня, какъ можно поспѣшнѣе, посадилъ товарища своего, у котораго не было коня, на крупъ, и слѣдовалъ за непріятелемъ своимъ, имѣя его всегда въ виду, чтобы при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него кинуться» — вмѣсто этого, пиши и говори: «казакъ сѣдлалъ уторопь, посадилъ безконнаго товарища на забедры и слѣдилъ непріятеля въ назерку, чтобы при спопутности на него ударить». — «Обсылаться подарками, обознаться къ кому нибудь — опознать вещь или человѣка — опознаться на мѣстѣ — пронять ухо серьгой — придти на побывку — наслушивать сѣть или удочки рукою — сидѣть на слуху — овражки заиграли — по́ползень — зо́рница — марево» и такъ далѣе.

Вотъ за чѣмъ Василько поѣхалъ, вотъ на что обращалъ онъ все вниманіе свое, а потому деревни и села занимали его гораздо болѣе, чѣмъ губернскіе наши города́, которые осмотрѣны уже многими кругомъ и со всѣхъ сторонъ, между тѣмъ какъ то, за что взялся нашъ путникъ, былъ еще почти никѣмъ не початый, нетронутый родникъ или рудникъ, какъ угодно. Василько напередъ всего хотѣлъ узнать отечество свое съ послѣдней и низшей ступени его, съ основанія, а потому изучалъ, вмѣстѣ съ памятниками и языкомъ, и самый народъ нашъ: нравы его, обычаи, свойства, наклонности, духъ, мысли, все. Онъ ѣхалъ медленно, большею частію на долгихъ, выбиралъ по разспросамъ и разнымъ примѣтамъ ночлеги свои и роздыхи, братался съ крестьянами, наводилъ ихъ то на то, то на *другое*, заставлялъ гуторить, баить и балагурить, по-

тому что этимъ только, окольнымъ путемъ можно вывѣдать изъ нашего крестьянина то, что нужно было Васильку, а прямыми разспросами никогда и ничего не добьешься. Примѣты, по которымъ Василько отыскивалъ иногда очень удачно людей такого покроя, какъ ему было нужно, довольно странны: разъ, напримѣръ, онъ увидалъ въ одномъ селѣ презатѣйливаго пѣтушка на щипцѣ и прехитрой рѣзьбы кровельныя полотенца; онъ допросился мужика-плотника, который ихъ работалъ, и нашелъ для себя въ этомъ человѣкѣ кладъ

Такимъ образомъ Василько заѣхалъ шагъ за шагомъ и въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ уже довольно далеко отъ родины своей, а именно въ Оренбургскую губернію, и собирался все еще далѣе на востокъ, когда нашелъ въ Шешминскомъ фельдъ-шанцѣ бѣлоголоваго старика, солдатскаго малолѣтка, Егора Кондратьева Арзамасова. Довольно странно видѣть тутъ цѣлыя селенія *малолѣтковъ*, у которыхъ не только есть дѣти, но иногда внуки и правнуки Они поселены были въ свое время полками, избавлены отъ всѣхъ повинностей, и потомки ихъ все еще сохранили названіе малолѣтковъ. Этотъ замѣчательный старикъ зналъ и помнилъ все, что дѣлалось въ томъ краю, покрайней мѣрѣ, въ теченіе 50-ти лѣтъ. Кромѣ того онъ складно разсказывалъ, вытвердивъ наизусть, много сказокъ, думъ и былей. Всего лучше показалась Васильку *быль о взятіи Царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ Казани*—и мы выпишемъ здѣсь быль эту, какъ потому, что она стоитъ этого по себѣ, такъ и потому, что она собственно задержала Василька напослѣдяхъ въ Шешминскомъ фельдъ-шанцѣ, и была причиною немаловажнаго, для всей жизни его, Василька, приключенія.

## Быль о взятіи Казани.

«Когда царь Иванъ Васильевичъ подступилъ подъ городъ Казань, то стоялъ онъ подъ городъ Казанью ровно три года; а городъ держалъ Змей съ волшебницей, да правилъ городомъ царь Семенъ-невѣрный. И эти орудія-пушки были у царя Грознаго заговорены волшебницей, а онъ Божьей волей умудрился, царь Иванъ Васильевичъ, подкопъ подвести отъ города за семя верстъ. И велъ онъ подкопъ этотъ подъ Казанкой-рѣкой и подрылся подъ самый нутреной кремль, и подкатилъ онъ пороховыя бочки подъ самый кремль, и приказалъ онъ на бочкахъ этихъ затеплить свѣчи, и во станѣ своемъ на вольномъ вѣтру свѣчи, и дойти огню до этихъ свѣчей и до пороху, и разорвалъ бы онъ Кремль-этъ внутренній. На вѣтру чвѣчи потеплились, нутреной городъ не начинаетъ рвать. Грозенъ былъ въ тѣ поры царь Иванъ Васильевичъ; закричалъ онъ своимъ ярымъ голосомъ: «подайте малюту Темрюкова, молодова палача! Возьми ты, Малюта, канонера рлавнаяо, сыми ты съ него буйну голову, по самыя по его могучія плеча, за измѣну за его великую». Выводитъ его Малюта Темрюковъ сынъ, хочетъ съ него снять напрочь буйну голову, по самыя по могучія плеча, и возговоритъ тотъ канонеръ главнѣйшій: «Батюшка нашъ царь Иванъ Васильевичъ, не прикажи казнить, погоди въ часу хоть съ минуточку, прикажи рѣчь говорить: на вѣтру свѣчи скоро теплятся, подземельны свѣчи помаленьку горятъ!» Не успѣлъ канонеръ слово молвити, и взорвило самый городъ внутренній Поздравляетъ царь Семенъ-невѣрный царя Ивана Васильевича съ городомъ, выноситъ ему на блюдѣ золотомъ ключи, и отъ Кремля того и *отъ города:* «Вотъ тебѣ, царь Иванъ Васильевичъ, го-

родъ мой и вся Азія!—то есть вся Башкирь»—прибавилъ отъ себя Арзамасовъ, и сталъ разсказывать дальше и дальше, о заселеніи закамской линіи, о древнихъ болгарскихъ укрѣпленіяхъ по этой же линіи, отъ коихъ и понынѣ остались потайныя подземелья, спуски къ водѣ, о Пугачѣ и прочее.

Василько собрался было совсѣмъ ѣхать, и лошади были заложены, когда Арзамасовъ вспомнилъ пѣсню о взятіи Казани; Василько сталъ записывать ее, сталъ разспрашивать старика еще кой-о-чемъ, и это было поводомъ къ тому, что путникъ нашъ замѣшкался, разсчелъ, что уже лучше здѣсь позавтракать, велѣлъ сварить себѣ яицъ и подать молока, и такимъ образомъ выѣхалъ часами тремя позже, чѣмъ было собрался и уложился.

Не успѣлъ онъ отъѣхать отъ Шешминскаго десяти верстъ, какъ вдругъ увидѣлъ на дорогѣ дымъ и наѣхалъ на пожаръ особеннаго рода: не домъ горѣлъ и не изба, а дорожная повозка, карандасъ на долгихъ дрогахъ, отъ котораго уже отступились, какъ видно, и самъ хозяинъ, стоявшій преспокойно подлѣ, и ямщикъ, державшій отложеныхъ лошадей въ поводу. Василько остановился, чтобы подать помощь, но уже было поздно; пламя отъ загорѣвшейся оси и колеса охватило всю повозку. Василько предложилъ проѣзжему, котораго станъ, ростъ и черты напоминали ему разительно стараго и почтеннаго друга, Степана Власовича, предложилъ мѣсто въ бричкѣ своей, и проѣзжій, нашедши въ незнакомомъ, къ величайшей радости своей, человѣка, съ которымъ могъ говорить на природномъ языкѣ своемъ, безъ всякихъ обиняковъ пожалъ ему руку, кинулъ чемоданчикъ, плащъ и подушку въ бричку Василька, и новые товарищи и попутчики поскакали.

Василько ѣхалъ теперь съ англичаниномъ Давид-

сономъ, управлявшимъ въ то время однимъ изъ значительнѣйшихъ частныхъ горныхъ заводовъ Уральскаго хребта. Давидсонъ ѣздилъ куда-то по заводскимъ дѣламъ и, узнавъ, что у Василька нѣтъ опредѣленнаго пути, просилъ его убѣдительно заѣхать вмѣстѣ на заводъ и посѣтить радушное семейство обрусѣлаго англичанина, какъ самъ Давидсонъ при этомъ случаѣ выразился. «Коли вы уже заѣхали въ концесвѣтный край нашъ»; продолжалъ Давидсонъ, «то вамъ надо посмотрѣть и на горнозаводское производство наше, это вещь любопытная. Первое, что я вамъ покажу у себя, это выдѣлку изъ чугуна желѣза; у насъ вообще *поду* даютъ слишкомъ большой наклонъ, отчего, правда, гари или шлака бываетъ меньше, а желѣза выходитъ больше, но оно дурное, хрупкое, ломается нерѣдко при самой укладкѣ на барки: у меня этого нѣтъ; я вамъ покажу, какое у меня желѣзо! его и въ Нижнемъ знаютъ, оно и тамъ всегда двѣнадцатью копѣйками дороже.

Вы найдете также на всѣхъ частныхъ заводахъ, что мѣха весьма дурно устроены: воды много, но въ ней, по этому самому, всегда недостатокъ. Увидите также, что машинъ чрезвычайно мало, все работается руками—отъ этого утрата времени, силъ, меньшее производство и дороговизна работъ. А почему? всему одна причина: безразсчетная жадность къ немедленной прибыли; мы все хозяйничаемъ, видите, будто заводу стоять только до будущаго года; нѣтъ, сударь, заводъ дѣло вѣковое, онъ долженъ стоять и улучшаться съ съ году на годъ, до самаго свѣтопреставленія—вотъ какъ должно смотрѣть на горный заводъ!»

Не говоря уже о томъ, что все это было для Василька очень любопытно, Давидсонъ привлекалъ его къ себѣ какъ наружностію своею, живо напоминавшею *стараго маіора*, такъ и прямодушнымъ, сердечнымъ

обращеніемъ и страстною любовью къ своему искусству. Въ самомъ дѣлѣ, какъ пріятно видѣть человѣка, который знаетъ дѣло свое и преданъ ему душой и тѣломъ!

Въ три дня Василько обжился со всѣмъ семействомъ Давидсона, былъ у него дома свой, и когда вникъ и вошелъ, свѣтлымъ умомъ своимъ, во всѣ части горнаго заводскаго производства, то передъ нимъ открылся, въ полномъ смыслѣ слова, новый міръ. Эта совершенно новая для Василька отрасль промышленности нашей, одна изъ важнѣйшихъ въ имперіи, заняла и увлекла его не менѣе, какъ голубоокая Молли, старшая дочь Давидсона. И не пеняйте ему за это— одно другаго стоило, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ смыслѣ: тамъ, на заводѣ Давидсона, всюду видна была одна только цѣль, польза, разсчетъ, прибытокъ; здѣсь, въ дочери его, все было изящество, начиная отъ густой о долгой косю, обвитой вкругъ черепаховаго гребня, и до живой прозрачности ноготковъ и изящно отлитой или изваянной ножки; тамъ изумляла и поражала наблюдателя эта исполинская дѣятельность, кипучая жизнь, холодная, расчитанная, однообразная, но въ огромныхъ размѣрахъ; здѣсь, подъ легкой наружной оболочкой свѣтскаго приличія, скромности и *англійской* спокойной разсудительности, кипѣла умная и роскошная игра мыслей и чувствъ, которымъ Василько, занимаясь теперь прилежно изученіемъ царства ископаемыхъ, далъ всѣ имена и названія драгоцѣнныхъ камней нашего Урала, и потомъ сравнилъ весь подборъ этотъ съ неоцѣненнымъ калейдоскопомъ, который можно оборачивать, перебивая положеніе камней, цѣлый вѣкъ, и всегда глазъ будетъ пріятно изумленъ нечаянностію вѣчно новаго цвѣтка, узора или звѣздочки, состоящихъ однакоже въ сущности все изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ самоцвѣтныхъ камней.

Порядокъ и устройство въ домѣ Давидсона представляли ту же паровую машину, въ маломъ видѣ, тотъ же заводъ, заведенные часы. Каждый въ домѣ, начиная съ самого хозяина и до судомойки, зналъ свое дѣло, и каждый занимался своимъ. Вставали въ опредѣленный часъ, сходились за огромный самоваръ, расходились и принимались за дѣло; опять сходились, по бою часовъ, къ завтраку, опять отправлялись по мѣстамъ и, въ положенное время, уже каждый стоялъ смиренно за стуломъ своимъ, ожидая, чтобы отецъ прочелъ вслухъ краткую молитву; отобѣдавъ, всѣ снова принимались за работу и наконецъ уже, за вечернимъ самоваромъ, вкругъ котораго разставлены были блюда и тарелки съ холоднымъ жаркимъ, солониной, ветчиной, сыромъ, масломъ, яйцами въ смятку, начинали жить для себя, отдыхать отъ дневныхъ трудовъ въ семейномъ кругу. Дѣтей умывали и одѣвали раза по четыре на день, въ положенные часы; утромъ бѣгали они въ какихъ-то парусинныхъ чехлахъ, которые каждый день перемѣнялись, а къ обѣду выходили въ опрятныхъ курточкахъ; старшіе сыновья занимались уже по заводу, въ двоякомъ смыслѣ: во-первыхъ, они помогали отцу присматривать тамъ, гдѣ просто нуженъ былъ глазъ; а кромѣ того, они изучали поодиночкѣ всѣ части производства, для чего и поступали въ науку поочередно ко всѣмъ мастерамъ отдѣльныхъ частей. Дочери раздѣлили все хозяйство между собою и чередовались въ занятіяхъ своихъ, такъ что поперемѣнно присматривали за столомъ, за бѣльемъ, за дѣтьми, за чистотою въ домѣ, матери оставался только общій надзоръ и распорядокъ. Василько любовался каждый день этой картиной, когда утреннія заботы наставали, и каждая изъ дочерей, до послѣдней, двѣнадцатилѣтней, приходила *докладывать* матери о состояніи и благополучіи вѣ

ренныхъ имъ частей и принять на сегодняшній день приказанія. Прислуги было въ домѣ очень немного, но всѣ успѣвали, потому что никто ихъ не сбивалъ, никто не мѣшалъ, не отрывалъ отъ дѣла, и каждый зналъ опредѣлительно, что́ и въ какое время ему надо было сдѣлать: сколько разъ въ недѣлю выгребать изъ камелька золу, сколько разъ выколачивать половики, круга и ковры, когда чистить въ цѣломъ домѣ мѣдь и бронзу: на все это было точное и подробное положеніе, по которому, въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ— столько Давидсонъ былъ уже на своемъ мѣстѣ — не было сдѣлано ни измѣненій, ни дополненій; поневолѣ всѣ къ нему привыкли, и все шло какъ по часамъ. Кухня у Елизаветы Самойловны, жены Давидсона, была, безъ всякаго сравненія, чище и опрятнѣе моей и вашей гостиной; и ваша гостиная, вѣроятно, какъ и моя, моется по разу въ недѣлю: а тутъ все—по́лки, столы, шкафы, полъ — о посудѣ я уже не говорю—мылись и скреблись каждый день; и это дѣлалось въ полчаса, потому что не давали грязи наростать и накопляться. Я васъ увѣряю, что тотъ, кто не видалъ англійской кухоньки, не можетъ себѣ вообразить и представить, до какой степени она бываетъ чиста и опрятна. Эта не голландская стряпная, гдѣ вы найдете конечно не менѣе чистоты и опрятности, но гдѣ господствуютъ какая-то неумѣстная изысканность и причудливое, безполезное убранство: здѣсь все просто, но все на своемъ мѣстѣ, все устроено для практической пользы, не для одного виду, а для дѣйствительнаго употребленія.

Такимъ образомъ Василько прожилъ довольно долго, мѣсяца два, и не замѣтилъ, какъ время улетѣло. Старикъ Давидсонъ, полюбившій пытливый, острый умъ его, понятливость, познанія, легкость, съ которою онъ понялся за изученіе совершенно новой для него

части, — Давидсонъ держалъ Василька, уговаривалъ еще остаться, а Василько не видѣлъ, куда и зачѣмъ ему торопиться, и говорилъ, какъ одинъ извѣстный почтенный человѣкъ про знаменитый садъ свой: «зачѣмъ далеко? и здѣсь хорошо!» тѣмъ болѣе, что въ Тобольской, Томской и Иркутской губерніяхъ нѣтъ, конечно, другой Молли; а позади, въ Симбирской, Тамбовской, Нижегородской и прочее, также не было; тамъ Василько уже побывалъ, оттуда пріѣхалъ и не видалъ тамъ ничего подобнаго.

Наконецъ одинъ изъ прикащиковъ, ѣздившій по дѣламъ заводскимъ въ Екатеринбургъ, привезъ Василько извѣстіе, что тамъ на его имя лежитъ на почтѣ страховое письмо и давненько уже его ожидаетъ. На письмѣ написано: *оставить на почтѣ* и *въ собственныя руки*. Василько встревожился, вспомнилъ, что по оставленному у отчима путевнику давно уже долженъ бы проѣхать Екатеринбургъ, сообразилъ, что страховое письмо непремѣнно должно содержать какую-нибудь сообенно важную вѣсть, потому что получалъ во весь путь письма не страховыя,—и хотѣлъ сейчасъ же скакать въ Екатеринбургъ. Но Давидсонъ, разспросивши толкомъ, въ чемъ дѣло, сказалъ, съ обыкновенною разсудительностію и положительностію своею: «Постойте, mister Fédoroff—такъ онъ звалъ Василька,—постойте, это вздоръ. Если письмо содержитъ извѣстіе, по которому вы, можетъ бытъ, должны ѣхать домой, то вамъ незачѣмъ скакать теперь 300 верстъ впередъ, дальше отъ дому; если же извѣстіе не такого рода, то вы также спокойно можете остаться здѣсь, у насъ, и выждать, покуда вамъ его привезутъ. Времени вы не потеряете, потому что и завтра же долженъ опять послать въ Екатеринбургъ нарочнаго; вы дадите ему довѣренность на имя знакомаго мнѣ горнаго офицера, заводскій исправникъ

нашъ скрѣпитъ ее—мы съ нимъ въ большой дружбѣ—но для вѣрности, для подкрѣпленія дружбы, мы пошлемъ къ нему, на всякій случай, голландскій сыръ, который здѣсь въ рѣдкость.—Бетси, продолжалъ онъ, обратившись къ женѣ, послать исправнику четверть сыра и просить его,—не сыръ то-есть, а исправника ко мнѣ—и дѣло будетъ въ шляпѣ.»

На четвертый день нарочный воротился и привезъ Василькy письмо. Печать была красная, но содержаніе его до того потрясло и поразило Василька, что онъ мгновенно измѣнился въ лицѣ. Оно выражало что-то думное и тревожное. Въ чертахъ около губъ не видно было глубокой горести, скорби, но черты эти выражали, что Василько тронутъ, что ему больно; а глаза, лобъ и брови показывали какое-то безпокойство, какое-то постоянное изумленіе.

Василько просидѣлъ довольно долго одинъ, или проходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ; наконецъ, вошелъ къ нему, постучавшись напередъ въ дверь и выждавъ позволенія: «come in!»—старикъ Давидсонъ, которому сказали, что письмо крѣпко встревожило Василька. Разговора ихъ мы не слышали, но онъ длился болѣе часу; Василько читалъ новому другу своему письмо, говорилъ почти все время съ большимъ одушевленіемъ, былъ тронутъ, нѣсколько разъ, останавливаясь, закусывалъ нюжнюю губу, и она немного дрожала. Въ тотъ же день онъ сѣлъ и поскакалъ домой, ѣхалъ все на почтовыхъ и гналъ, сколько могъ. Прощаясь съ нимъ, Давидсонъ пожалъ и тряхнулъ ему руку и сказалъ повидимому не шутя: «я съ вами не прощаюсь, мы еще увидимся: вы будете славный заводчикъ—рѣшитесь только кинуть безтолковое хозяйство свое, эти скучные урожаи и неурожаи, да привозите къ намъ чистыя деньги: если здѣсь начать дѣло только съ двумя стами тысячъ, но

пять, шесть лѣтъ не спрашивать доходу, то на седьмой вы получите 30, 40, а тамъ можетъ быть и до 80 тысячъ годоваго доходу. Вы не будете хозяйничать такъ, какъ сосѣдъ нашъ, который тѣмъ не менѣе честитъ себя званіемъ заводчика: посмотрите, управляющій нажегъ ему три горы Араратскихъ уголья, а работа стойтъ; почему? нѣтъ денегъ на уплату извоза, за доставку руды!! а? каково это? Now do you like it? Знаете ли, mister Fédoroff, что на Уралѣ, изъ числа 1866 частныхъ рудниковъ, разработывается не болѣе 23-хъ, и, между прочимъ, изъ 400 мѣдныхъ только 30! Есть заводы, которые не въ состояніи платить крестьянамъ иначе за работу, какъ заводскими же издѣліями—легко разчесть, сколько тутъ бѣдному мужику хлопотъ и сколько убытку! Куда онъ повезетъ продавать, изъ глуши своей, полпуда штыковой мѣди или три пуда полосоваго желѣза? Знаете ли, что я засталъ въ заводской конторѣ своей только два рода предписаній отъ прежнихъ владѣльцевъ, богачей, какъ говорили, милліонщиковъ:—1-е—высылать въ Москву всю выручку сполна, а заводскіе расходы прикрывать хозяйственными средствами, и 2-е—строго наблюдать, чтобы съ крестьянъ-новоженцевъ собиралось, по старому обычаю, по 10 руб. и по шитому полотенцу!!! Я не шучу, mister Fédoroff, я вамъ могу это показать за нумеромъ и за подписью заводчика!»

Въ Варшавѣ, неподалеку отъ извѣстнаго памятника славному Копернику, стоящаго на довольно тѣсномъ мѣстѣ, противъ выдавшагося острымъ клиномъ квартала, неподалеку отсюда былъ когда-то палацъ пана грабія Кочатковскаго, по-русски: домъ или дворецъ графа Пѣтушинскаго. Тутъ же, подлѣ, была и знаменитая въ свое время *кавярня*, кофейная, въ которой, во время отечественной войны нашей, бывало, *безвыходно* толпились русскіе офицеры всѣхъ полковъ

и мундировъ. Тутъ же жилъ, если помните, знаменитый грамматикъ польскій, который, сказываютъ, далъ однажды продавцу-разносчику глиняной посуды полъзлотаго, чтобы тотъ не кричалъ: *гарнкувъ, рынкувъ!* потому что это неправильно, а чтобы кричалъ: *гарнкувъ, рынекъ!* и потомъ погнался за разносчикомъ съ съ палкой, когда тотъ, поглядѣвъ на грамматика, какъ на какого-нибудь полоумнаго, и отошедши шаговъ за сотню, началъ опять, по старой привычкѣ, возглашать во все горло: *гарнкувъ, рынкувъ!* Въ той же знаменитой кавярнѣ вывѣшивали по средамъ цвѣтной, бумажный огромный фонарь, на которомъ было написано буквами, свитыми изъ розъ и незабудокъ: *Пршіяцельскій баликъ* или *баликъ для пршіяцелю*. Здѣсь толпился, бывало, сбродъ мужчинъ, въ грязныхъ сапогахъ, въ плащахъ и шинеляхъ, поднявъ еще стоячій воротникъ и закутывая лицо, между тѣмъ какъ музыка гремѣла, и очень нарядныя на взглядъ дамы сидѣли по диванамъ и отхватывали съ отчаянными усачами мазурку.

Итакъ, тутъ стоялъ дворецъ графа Кочатковскаго. Графа давно уже не было на свѣтѣ, а графиня лежала теперь на смертномъ одрѣ. Улица передъ домомъ была устлана соломой, ксендзы, доминиканы и бернардины, цѣлый сонмъ врачей, множество офиціантовъ, множество дѣловыхъ людей, толпившись въ передней и въ залѣ, между тѣмъ какъ во внутреннихъ покояхъ было нѣсколько знатныхъ барынь. Наконецъ, графиня дрожащимъ голосомъ попросила всѣхъ выдти, потребовала къ себѣ трехъ монаховъ, поименно, и въ томъ числѣ пріора или настоятеля, отдала имъ своеручно запечатанное пятью печатями письмо, на имя графа Базыля Кочатковскаго, сказала, гдѣ его искать, отказала монастырю значительную сумму, съ тѣмъ, чтобы настоятель обязался доставить письмо это въ собственныя рукѝ графа, а черезъ нѣсколько дней, во

дворцѣ графини все было тихо, мертво и пусто, потому что она перебралась уже изъ суетнаго и великолѣпнаго жилья своего въ одинокую и тѣсную земляночку, въ которую, какъ въ ловушку, есть только входъ, а выхода нѣтъ

Бублинскій былъ увѣдомленъ обыкновеннымъ порядкомъ, что скончавшаяся въ Варшавѣ графиня Юзефа Кочатковская представила, передъ смертію своею, законныя доказательства на то, что у нея былъ, отъ покойнаго графа, сынъ Базыль, Василій, который оставленъ ею, по тогдашнимъ смутамъ и переворотамъ Польши, въ Россіи, и именно въ такой-то губерніи, у помѣщика Игнатія Бублинскаго; что часть отцовскаго наслѣдья передана была впослѣдствіи опекуну и отчиму молодаго графа, тому жъ Бублинскому, часть утрачена навсегда, поступивъ уже, со времени смерти старика, въ руки дальнѣйшихъ наслѣдниковъ, потому что графъ умеръ, не сдѣлавъ завѣщанія и не объявивъ ничего о сынѣ; а мать Василія, нынѣ скончавшаяся, оставляетъ сына своего полнымъ и единственнымъ наслѣдникомъ, какъ собственнаго своего имущества, такъ и законной доли своей отъ отцовскаго.

Почти въ то же время, или еще нѣсколько прежде, Бублинскій получилъ увѣдомленіе отъ бернардинокъ изъ Варшавы, что у нихъ хранится повидимому важнаго содержанія письмо на имя молодого графа; что письмо это, по волѣ покойной графини, должно быть передано ему изъ рукъ въ руки, почему и просятъ увѣдомить, какое угодно будетъ сдѣлать графу на счетъ письма распоряженіе

И вотъ извѣстіе, которое получилъ Василько нашъ, будучи у Давидсона на заводѣ, и которое его столько встревожило. Да и не мудрено: Василько былъ твердо увѣренъ, что онъ круглый сирота; ему и въ голову

не приходило, что онъ по роду одинъ изъ первыхъ магнатовъ польскихъ и графъ; но на первый случай болѣе всего занимало, огорчало Василька и сокрушало его то, что онъ не зналъ и не видалъ матери своей, тогда какъ могъ бы еще узнать и увидѣть ее, если бы только зналъ обо всемъ во-время и поѣхалъ не на заводъ Давидсона, а въ Варшаву. Онъ отправился туда, пробывъ у отчима не болѣе двухъ сутокъ, но письма матери своей, которое кинулся отыскивать въ самый день своего прибытія, не засталъ: монахи, тщетно ожидая мѣсяца три отвѣта, потому что Бублинскій не писалъ, ожидая Василька со дня на день, отправили одного бернардина съ письмомъ этимъ въ Россію, отыскивать молодаго графа: вкладъ графини въ монастырь былъ значителенъ, и настоятель считалъ священнымъ долгомъ исполнить за это волю усопшей. Случилось такъ, что Василько съ этимъ посланнымъ разминулся и письма не засталъ.

Бѣдный нашъ Василько! какая неизъяснимая тоска одолѣла его, когда онъ поселился въ Варшавѣ, до окончанія дѣлъ своихъ, въ огромномъ дворцѣ графовъ Кочатковскихъ, одинъ-одинехонекъ, среди столькихъ десятковъ пышныхъ и обширныхъ покоевъ, которые накрыли его молчаливыми, нѣмыми сводами своими, ограждая его отъ чуждаго, холоднаго свѣта мертвою роскошью расписныхъ и золоченыхъ стѣнъ! Онъ подошелъ, въ неизъяснимой тоскѣ, къ окну и взглянулъ на площадь: она кипѣла народомъ, посреди коего возвышался, на мѣдномъ сѣдалищѣ своемъ, огромный мѣдный Коперникъ, какъ великанъ между пигмеями — держалъ въ неподвижной рукѣ своей изображеніе вселенной и, казалось, призадумался надъ суетностію и ничтожностію окружающихъ его обитателей одной изъ едва видимыхъ точекъ вселенной этой. Василько вздохнулъ тяжело, ему сдѣлалось еще грустнѣе. Ни тоска

почтительныхъ слугъ и офиціантовъ, ожидавшихъ ежеминутнаго повелѣнія своего новаго господина, ни цѣлая стая услужливыхъ друзей, родственниковъ и пріятелей всякаго разбора, съ чужими для него лицами и небратской душой, не могли его утѣшить; его одолѣла такая тоска, такая грусть, что онъ невольно вспомнилъ о заводѣ, среди исполинскихъ горъ, среди вѣковыхъ дремучихъ лѣсовъ. Семейство Давидсона засѣдало тутъ передъ желѣзнымъ расписнымъ тагильскимъ столикомъ, и Молли задумчиво разливала чай; Васильку самому казалось, что въ этомъ кругѣ кого-то недостаетъ—и добрый Василько самодовольно улыбнулся, улыбнулся въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ былъ въ Варшавѣ. Потомъ ему стало вдругъ жарко и душно, по кожѣ пробѣжалъ мурашками огонь — онъ сѣлъ на башкирскаго иноходца, пустился въ широкія заводскія ворота, повернувъ влѣво, пронесся мимо домика управляющаго, — Давидсонъ поклонился слегка у третьяго окна съ краю, гдѣ виднѣлось бѣлое платье. — Потомъ понесся все дальше по дорогѣ, покуда Кочердыцкій заводъ не потонулъ вовсе, въ глубинѣ лѣсистой долины; тамъ Василько поудержалъ ретиваго коня своего, пустилъ его шагомъ, своротивъ съ дороги опять налѣво, и остановился на одномъ изъ самыхъ высокихъ хребтовъ средняго Урала. Всѣ хребты пролегали въ дикой однообразности своей, прямо по полуденнику, отъ сѣвера на югъ; всѣ горы напластованы были подъ сорока пятью градусами; всѣ сопки, всѣ верхи были голы, обнажены, и по нимъ выказывалась грядами, гребнями, обвѣтрившаяся, темнобураго цвѣта, горнокаменная порода; всѣ склоны поросли сосновыми борами, а вершины ихъ опушены березнякомъ. — Эта однообразная, но дикая, громадная, величественная природа востала передъ Васильком; онъ былъ не въ *силахъ* сидѣть долѣе, среди польской столицы, на ну-

шистомъ, барановомъ диванѣ, вскочилъ — и теперь только понялъ, что дѣйствительно любитъ Марію, свою Молли, и что ему,—чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше,—надо ѣхать на Уралъ. Василько покончилъ дѣла свои въ Варшавѣ скоро, много-много недѣли въ три, и поскакалъ опять домой. Онъ продалъ все недвижимое имѣніе свое, въ томъ числѣ и знаменитый дворецъ, и нашелъ въ прочихъ сонаслѣдникахъ охочихъ и скорыхъ покупателей, потому что самъ былъ сговорчивый продавецъ. Онъ спѣшилъ продать все задешево, только бы выручить наличныя деньги.

Прибывъ на родину свою, Василько нашелъ ожидавшаго его бернардина съ извѣстнымъ письмомъ. Если Василько былъ изумленъ въ высокой степени извѣстіемъ, что онъ единственный сынъ и наслѣдникъ польскаго графа Кочатковскаго, новостію, къ которой онъ едва только начиналъ привыкать и обживаться съ нею, то конечно письмо матери его, которое говорило совсѣмъ другое и противное, должно было поразить его не менѣе. Прочитавъ письмо это, Василько вспомнилъ мгновенно Савкину безтолковую сказку, и долго просидѣлъ на одномъ мѣстѣ, подпершись локтемъ и прочитывая, отъ времени до времени, снова послѣдній, да и то неживой, голосъ матери.

Объяснимъ напередъ всю загадку, а потомъ уже приступимъ къ содержанію таинственнаго письма.

Савкина сказка содержала, почти отъ слова до слова, довольно странныя похожденія младенчества Василька. Графъ Кочатковскій былъ Савкинъ князь Крутояръ: нѣкогда любимецъ послѣдняго короля польскаго, онъ впалъ впослѣдствіи въ немилость, принужденъ былъ, по гордости и неуклончивости своей, удалиться въ Россію, увезъ съ собою молодую и бездѣтную жену, не надѣясь даже имѣть когда нибудь наслѣдниковъ, потому что не могъ забыть словъ какой-то

цыганки, предсказавшей ему, что онъ не *увидитъ* чада; и графъ понималъ слово: не *увидитъ* въ томъ только смыслѣ, что дѣтей у него не будетъ; но графиня вскорѣ обрадовала графа извѣстіемъ, которое, повидимому, должно было изобличить ненавистную цыганку во лжи. Между тѣмъ мать графини и тетка ея, вслѣдствіе причудливаго, дѣдовскаго завѣщанія, по которому супругѣ графа заживо доставалось значительное имѣніе, если она принесетъ первенца сына, пріискали, про запасъ и къ сроку, новорожденнаго мальчика, которымъ бы можно подмѣнить младенца графини, еслибы родилась дочь. Но родился сынъ, да сынъ шестипалый, и повидиму хилый; не сказавъ ни слова графинѣ, подложили ей, вмѣсто него, подготовленнаго, здороваго ребенка, коего родители приняли въ обмѣнъ шестипалаго ея младенца. Черезъ нѣсколько времени, мать графини, умирая, призналась самой ей въ подмѣнѣ, но не знала ни имени, ни мѣста жительства родителей обмѣныша, потому что дѣло шло черезъ бабку, которой уже не было на свѣтѣ. Кромѣ того, графиня даже опасалась разузнавать много объ этомъ происшествіи, какъ для того, чтобы не разгласить его, такъ и для того, чтобы не встрѣтить въ сынѣ своемъ какого нибудь страшнаго урода; къ тому же ее увѣрили, что дитя было слабое и не могло долго прожить.

Графъ вскорѣ былъ снова вызванъ въ Варшаву; обстоятельства сдѣлались для него благопріятнѣе: онъ сначала поѣхалъ одинъ, съ тѣмъ, чтобы напередъ осмотрѣться на мѣстѣ, а потомъ выписать и графиню; но онъ, пріѣхавъ, скончался, а жена его, получивъ это извѣстіе, поѣхала туда одна, передавъ подмѣныша, чрезъ третьи руки, поляку же, Бублинскому, назначивъ ему за воспитаніе Василька значительную сумму, и кромѣ того записала, на имя Василька, ту часть *огромнаго* имѣнія своего, которою могла по законамъ

свободно располагать. Теперь графиня пересказывала все это въ письмѣ своемъ Васильку, отказывала ему весьма значительное имѣніе, но заклинала всѣмъ, что для него свято, добиться до положительнаго извѣстія о настоящемъ ея сынѣ, «и если онъ живъ, помочь ему, чѣмъ и какъ будетъ въ состояніи, и не оставлять его никогда, признать въ душѣ своей по крайней мѣрѣ братомъ». Вотъ содержаніе письма

Еслибы Василько, во время празднованія въ Шпиговкѣ именинъ Мелаши, не заставилъ случайно Савку разсказать сказку, то, конечно, не могъ бы теперь и подумать о томъ, чтобы найти затеряннаго графенка; гдѣ его искать? Свѣтъ великъ, а примѣтъ и указаній никакихъ, ни даже имени или мѣста жительства родителей — вспомните, однакоже, что продажные родители эти были настоящіе родители Василька, и что, отыскивая своего двойника, настоящаго графа, Василько отыскивалъ съ тѣмъ вмѣстѣ и отца своего и мать. Итакъ онъ, вспомнивъ въ ту же минуту Савкину сказку — отгадалъ, или почти отгадалъ всю тайну, и послалъ, не медля нимало, бричку свою въ Шпиговку, съ запиской къ Сергѣю Сергѣевичу, въ которой просилъ убѣдительно отпустить Савку, по очень нужному дѣлу, хоть на одинъ часъ

И Савка сѣлъ въ бричку эту Савкой, а вылѣзъ изъ нея, когда воротился, графомъ Кочатковскимъ; а вслѣдъ за нимъ вылѣзъ, изъ той же брички, бывшій Василій Ѳедоровъ, бывшій графъ Василій Кочатковскій, а нынѣшній Савка, Савелій Грабъ.

Когда Савка пріѣхалъ въ село Бублинскихъ, Василько позвалъ его къ себѣ, заперъ дверь и сказалъ прямо: «Савелій, я вызвалъ тебя за важнымъ дѣломъ; растолкуй мнѣ сказку свою про князя Крутояра, назови, кого назвать можешь, кого знаешь, не бойся ничего».

Савелій глядѣлъ пристально на Василька, не зналъ, что отвѣчать, и на повторительное требованіе его, сказалъ: «Видно, я виноватъ, Василій Ѳедоровичъ, я подурачился, что разсказалъ такую сказку — коли вы сами что объ ней изволите знать, то будьте увѣрены, что у меня, во вѣкъ мой, объ ней помину не будетъ; а другіе, кто въ тѣ поры слушали, чай, давно уже ее позабыли». Савка чувствовалъ, что обнаружилъ большую тайну, принялъ встревоженное лицо Василька за выраженіе неудовольствія, и потому отвѣчалъ ему извиненіемъ. Но Василько вскорѣ добился истины, и Савка, въ свою очередь, не могъ опомниться отъ изумленія, когда услышалъ, что передъ нимъ, въ лицѣ Василька, стоитъ подмѣнышъ его, настоящій Савка.

Савелій протянулъ лѣвую руку свою, вывернулъ ее нижнимъ краемъ ладони кверху, указалъ Василько на очень явственный рубецъ, и сказалъ: «Вотъ онъ, шестипалый, передъ вами; другой мизинецъ вырѣзалъ мнѣ какой-то полковой лекарь, еще въ малолѣтствѣ, и помню я это, какъ во снѣ».

— Какъ же ты попалъ въ крѣпостные къ Бабачку? гдѣ и кто твой отецъ?

— Одного, перваго отца, вы изволили знать лучше меня, потому что я не зналъ доселѣ имени его и нынѣ впервые отъ васъ же слышу; а другой — мужикъ, крестьянинъ нынѣшнихъ моихъ господъ, по имени Иванъ Грабъ; и онъ, и мать живы, и о-сю-пору въ деревнѣ нашей, въ Шпиговкѣ — если изволите припомнить, противъ самаго колодца, хатка, почище другихъ стоитъ—она и выстроена на деньжонки, которыя взяли тогда за сына...—И остановился, вспомнивъ, что проданный сынъ этотъ стоялъ теперь передъ нимъ.

— Разскажи же мнѣ, Бога ради, какимъ образомъ *ты все это* узналъ?

— Года тому съ четыре, продолжалъ Савка, или бишь Василько, графъ Кочатковскій, то есть настоящій графъ, бывшій Савка, — года тому съ четыре, мать собиралась умирать и не думала, что будетъ жива еще о-сю-пору. Стала ее совѣсть мучить, что я не крещенъ: она позвала меня одного, безъ отца, безъ свидѣтелей, и разсказала мнѣ все, что сама знала: что я не ея сынъ, а сынъ какого-то польскаго пана, котораго однакоже не знала по имени; что меня подмѣнили ея сыномъ, который былъ уже окрещенъ Савеліемъ; меня же приняли прямо съ рукъ бабки князей, не крещенаго, а крестить-де нельзя было никакъ, потому что дитя ихъ было уже окрещено, поэтому осталось при мнѣ имя Савелія, а настоящій Савелій, Богъ вѣсть гдѣ, на чужихъ рукахъ, да знать и подъ чужимъ именемъ; что она съ мужемъ согласилась на подмѣнъ этотъ, какъ во уваженіе ста червонныхъ, такъ и разсудивъ, что сыну ихъ, коли доживетъ и выростетъ, будетъ лучше жить княземъ и бояриномъ, чѣмъ мужикомъ; а что пріемышъ останется некрещенымъ, этого не думали и не знали, а послѣ полагали, что грѣхъ за это ляжетъ не на нихъ, они-де своего окрестили».

Но Василько былъ крещенъ, какъ сынъ графа, еще въ другой разъ, такъ сказать перекрещенъ въ католическую вѣру и названъ Базылемъ. Вотъ какая путаница родства, именъ, званій и житейскихъ отношеній:— тотъ и другой Савелій Грабъ, тотъ и другой Василій Кочатковскій — тотъ и другой графъ, тотъ и другой крѣпостной, и наконецъ, тотъ и другой по отцу одного исповѣданія, а по воспитанію другаго! Если это не двойники, то двойниковъ нѣтъ на свѣтѣ!

Василько, обнявъ и поцѣловавъ Савку, сказалъ ему: «мы братья, насъ связало и горе и радость, и мы не разстанемся, если ты меня не покинешь: но молчи до времени, не говори никому ни слова: прежде всего

надо тебя выкупить; поѣдемъ сейчасъ же вмѣстѣ въ Шпиговку». Законъ гражданскій былъ на сторонѣ Василька, потому что передъ закономъ нельзя было разоблачить всѣ обстоятельства эти и доказать актами, которыхъ не было, истину; но Василько, въ душѣ своей, не могъ уже сомнѣваться въ справедливости Савкиныхъ словъ, въ показаніи родителей своихъ, и съ той минуты призналъ Савку законнымъ наслѣдникомъ и графомъ.

Сѣли и поскакали — Василько хотѣлъ сейчасъ же упросить Степаниду Ѳоминишну уступить ему все семейство Граба, хотѣлъ также, прежде всего, увидѣть и узнать наконецъ отца и мать; но, доѣхавъ до Шпиговки, раздумалъ и передумалъ все это по многимъ причинамъ и, высадивъ Савку, покатилъ прямо къ маіору: ему разсказалъ онъ все, просилъ его быть посредникомъ и кончить дѣло съ Бабачками — дѣло въ самомъ дѣлѣ для Василька щекотливое. Василько рѣшился скрыть всѣ обстоятельства и выкупить Савку, со всѣмъ семействомъ его, подъ другимъ предлогомъ, чрезъ третье лицо; Васильку это казалось тѣмъ болѣе нужнымъ, что Степанида Ѳоминишна могла заупрямиться, узнавъ дѣло, и отказаться отъ всякой сдѣлки.

Степанъ Власовичъ закричалъ въ одинъ голосъ: «чубараго у струментъ! хлопецъ! одягаться!» сѣлъ на струментъ свой и покатилъ—а Василько остался между тѣмъ у маіора, выжидать конца.

Каково ему теперь было? кто разберетъ и опишетъ чувства и мысли его? кто сумѣетъ поставить себя въ полной мѣрѣ на его мѣсто, обмѣниться на время съ нимъ, какъ и его самого нѣкогда обмѣнили?

Маіоръ вскорѣ воротился, сладивъ дѣло: Степанида Ѳоминишна воспользовалась прихотью Василька выкупить Савку, со всѣмъ семействомъ, и взяла деньги *большія*, но ей и въ голову не приходило, что Василько

выкупаетъ роднаго отца и мать и своего двойника— тогда бы она распорядилась еще не такъ. Она во всю свою жизнь не могла забыть этой ошибки, опрометчивости и недогадливости, которая стоила ей многихъ безсонныхъ ночей.

Василько вошелъ въ воскресенье утромъ, когда зналъ, что старикъ Грабъ долженъ быть не на работѣ, въ хату его, сѣлъ, разговаривалъ нѣсколько времени съ нимъ и со старухой, навелъ ихъ, въ разговорѣ, на извѣстное происшествіе, чтобы увидѣть, какъ они помянутъ пропавшаго безъ вѣсти сына, и вдругъ, обнявъ отца и мать, сказался этимъ сыномъ. «Охъ, мини лышечко», кричала перепуганная на смерть старуха, «охъ, мини лышечко, сгубыла я свою бидну головоньку!» Долго не могли они опомниться, и большого труда стоило Василька успокоить и вразумить ихъ и заставить понять развязку.

То-то былъ пиръ для любознательныхъ помѣщицъ цѣлыхъ двухъ или трехъ уѣздовъ! сколько было тутъ гону и разгону бѣднымъ лошадямъ, сколько стуку и брянку знакомой уже намъ клѣпани, сколько было тутъ татаканья и казаканья взапуски со всѣми гусиными гуртами вселенной! — Долго не могли наговориться и угомониться свашеньки, тетушки и кумушки наши, которыя все знали, а между тѣмъ ничего не знали; долго не могли онѣ порѣшить дѣло это и сдать его въ архивъ, хотя все шло безъ нихъ своимъ чередомъ и никто изъ прикосновенныхъ объ нихъ не заботился.

Старикъ Иванъ Грабъ, старуха и подложный сынъ ихъ Савка, перешли вскорѣ на житье къ Васильку, и это дѣло было кончено, хотя Степанида Ѳоминишна и кричала, что ее обманули, бранила маіора, Василька, Сергѣя Сергѣевича, который-де ни о чемъ не заботится и ничего не знаетъ; но благословляла, вздыхала

вслухъ, судьбу свою, что Господь ее сохранилъ, что не отдала родной дочери, Мелаши, за мужика.

Дѣло, относительно имѣнія Василька, которое было подъ опекою у Бублинскаго, о которомъ также взялъ на себя переговорить Пушка, было не такъ легко кончить, и стоило доброму Васильку многихъ хлопотъ и многихъ огорченій. Рѣшительно избѣгая тяжбы и желая притомъ кончить все какъ можно скорѣе, Василько принужденъ былъ сойтись мировою: онъ сдѣлалъ Бублинскому значительную уступку, которую этотъ не постыдился принять, написавъ своею рукою условіе, гдѣ говорилось, между прочимъ, особою статьею, что воспитанникъ его уступаетъ ему, изъ благодарности всѣ накопившіеся проценты и хозяйственныя приращенія, за все время управленія, и требуетъ только имѣніе свое въ такомъ видѣ, какъ оно было передано Бублинскому, за двадцать передъ этимъ лѣтъ.

Василько, принявъ имѣніе свое, лежавшее въ томъ же уѣздѣ, продалъ его тутъ же, за наличныя деньги, а самъ даже и не съѣздилъ туда, не поглядѣлъ на него; онъ чувствовалъ, что если познакомится сколько нибудь съ мужиками своими, то ему тяжело будетъ перепродавать ихъ въ чужія рýки.

Затѣмъ Василько передалъ Савкѣ все, что получилъ въ наслѣдство, какъ сынъ графа Кочатковскаго, а себѣ оставилъ ту часть, которую получилъ отъ матери. Такимъ образомъ, Савка сдѣлался гораздо богаче Василька. Савка непритворно отговаривалъ Василька отъ этого, даже долго отнѣкивался, и наконецъ оба кончили тѣмъ, что раздѣлили все имущество, состоявшее уже въ одной наличности, пополамъ. Василько былъ счастливъ въ душѣ, что сдѣлался, сверхъ всякаго чаянія, русскимъ; онъ досталъ метрическое свидѣтельство о крещеніи своемъ, просилъ отца, чтобы онъ благословилъ его тѣльнымъ крестомъ, и помѣнялся имъ съ

Савкою, носившимъ тотъ самый тѣльникъ, который былъ, въ былое время, и на Василькѣ. Новые побратимы, побратанцы, названные братья, жили съ этого времени, какъ мы увидимъ, неразлучно. Но Василько не уступилъ честнаго имени своего побратанцу, а сталъ именоваться отнынѣ, выхлопотавъ на то законное позволеніе, Савеліемъ Грабомъ; а Савка много смѣялся и острилъ на свой счетъ, когда онъ былъ признанъ паномъ грабіемъ Базылемъ Кочатковскимъ, и махнувъ рукой, сказалъ: «Ну его, графа того, къ семи Семіонамъ! ты будешь Савелій Грабъ, а я буду Савка Грабъ; ты будешь по отцѣ, Ивановичъ, а я, такъ какъ уже затесался нынѣ въ *овичи*, буду Ѳедоровичъ, вотъ тебѣ и шито и крыто!»

Бывшій Василько, нынѣшній Савка Грабъ, списавшись напередъ съ Давидсономъ, пріѣхалъ на Уралъ самъ-другъ, съ новымъ графомъ, и основалъ, вмѣстѣ съ нимъ и съ помощію Давидсона, заводъ. Бывшій Савка сдѣлался вскорѣ такимъ машиннымъ мастеромъ, что старикъ Давидсонъ не разъ съ нимъ совѣтовался, когда устанавливалъ на своемъ заводѣ большую и сложную паровую машину. Мы говорили уже, при самомъ вступленіи, что Савка былъ самоучкой большой искусникъ и художникъ на всѣ руки; увидавши кой-что путное и поучившись практически, на англійскій манеръ, онъ постигъ всю сущность механики, и она сдѣлалась любимымъ его занятіемъ.

Похожденія и приключенія двойниковъ были разсказаны ими обоими, за вечернимъ самоваромъ Давидсона, и общее удивленіе и участіе возрастало непрерывно, до поздней ночи. Молли не отвернулась отъ— какъ его назвать? — отъ бывшаго Вильяма, за то, что онъ сталъ нынѣ Савеліемъ, а Давидсонъ продолжалъ называть его mister Fedoroff — по старой привычкѣ, даже и тогда, когда Молли была уже женою Савелія

Граба. Черезъ годъ со днемъ графъ женился на второй дочери Давидсона, а тутъ подъѣхалъ къ нимъ въ помощники, по письменной и счетной части, Евстратъ Богдановичъ Горемыкинъ, съ молодою женою, Меланьею Сергѣевной. Какъ это случилось? Очень просто: Степанида Ѳоминишна по *нечаянности* скончалась, какъ выражался самъ Сергѣй Сергѣевичъ; а этотъ желаніе и счастью Меланьи не противился. Родители Василька, двойника Савелія, ѣхать изъ Малороссіи не пожелали, и были очень довольны, когда сынъ купилъ имъ хуторокъ, неподалеку отъ родины ихъ, съ садочкомъ, въ которомъ росли вишни, яблоки, груши, сливы. Старикъ, подчищая деревья свои, благословлялъ сына, и послѣ каждаго осенняго сбора плодовъ, отправлялся, въ синей свиткѣ своей и высокой, смущатой шапкѣ, съ поповскимъ посохомъ, въ Шпиговку, откуда увѣдомлялъ сына, чрезъ посредство краснорѣчиваго пера церковнаго причетника, объ урожаѣ, не забывая ни одного раза объяснить причетнику снова, что тамъ, «ажъ пидъ самисинькимъ Катерынбургомъ», у сына его свой «зализный и мидный заводъ» и что сынъ его угодилъ въ графы.

Василько, составивъ себѣ, вмѣстѣ съ Савкою, огромное состояніе, убѣдился на дѣлѣ, что Давидсонъ не хвасталъ, а говорилъ правду: Уралъ нашъ воздаетъ сторицею за труды, заботы, издержки и попеченія наши; но надобно быть самому заводчикомъ, или по крайней мѣрѣ положиться на честнаго и знающаго человѣка, и думать не за одинъ годъ, а за все будущее время: то есть не требовать, чтобы заводъ выручилъ нынѣ же какъ можно больше, чтобы управляющій высылалъ только какъ можно болѣе наличныхъ денегъ, которыя нужны для пировъ и раутовъ въ столицѣ, а привести сперва заводъ въ надлежащее состояніе, тогда онъ будетъ содержать и себя, и хозяина своего; въ противномъ же случаѣ оба разорятся.

Я позабылъ сказать еще, что Сергѣй Сергѣевичъ съѣздилъ въ Кіевъ на контракты, и привезъ себѣ кіевскія гусли, чистой отдѣлки и очень звучныя. На крышкѣ были, какъ водится, три картины изъ ветхаго завѣта, разгороженныя одна отъ одной золоченой филенкой: столпотвореніе вавилонское, поклоненіе златому тельцу и цѣломудренная Сусанна.

# РАСПЛОХЪ

## ГЛАВА I.

### ПОДЪЕМЪ.

**да, счастье, у кого есть этакой сынокъ**
**Имѣетъ, кажется, въ петлицѣ орденокъ**

— Вставай, ребята! Полно валяться на ржаныхъ пуховикахъ пана Радомантовскаго! Вставай! сѣдла! Солнце подольское ужъ вышло изъ-за жидовской корчмы; утки и бабы полощутся въ грязномъ ставкѣ пора ѣхать!

Такъ прогремѣлъ зычнымъ голосомъ плотный, невысокій, плѣшивый усачъ въ полосатомъ архалукѣ, съ длиннымъ чубукомъ въ зубахъ; съ громкимъ хохотомъ поправилъ красную феску свою, и началъ стаскивать шинели и бурки съ офицеровъ и юнкеровъ своего эскадрона, лежавшихъ, восемь человѣкъ мужескаго пола, вповалку, на разостланныхъ снопахъ соломы.

Полуодѣтые, полураздѣтые герои вскакивали, хватались за одежду, скликали Васекъ, Ванекъ и Мишекъ

своихъ; одинъ кричалъ: трубку: другой: сапоги! третій: умываться! А эскадронный командиръ къ каждому изъ сихъ командныхъ словъ приговаривалъ во все драгунское горло: «а между протимъ—водки!» Мертвая тишина обратилась въ шумный, многоязычный хаосъ; отрывки турецкихъ и молдавскихъ изреченій свидѣтельствовали объ участіи драгунъ нашихъ въ дѣлахъ и славѣ забалканскихъ, а восклицанія: «вшисцы дзябли!» и «коханный!»—о нынѣшней стоянкѣ въ Польшѣ.

— Куда же мы поѣдемъ сегодня, капитанъ? спросилъ маменькинъ сынокъ, поручикъ Охинъ.

— Не сидѣть же намъ сиднями,—возгласилъ тотъ,—и не волочиться же тебѣ, ухопарню, за однѣми жидовками да замарашками! Быть въ *Опркахъ* и не видать панянокъ мосци-пана добродзія Жабрудскаго, это значитъ—быть въ кунтскамерѣ и не видать слона, быть въ Римѣ и папы не видать! Мое красное времечко умчалось, вмѣстѣ съ темнорусыми волосками чела моего, которые вѣтеръ разнесъ одинъ по одному и развѣялъ по обширному лицу нашего царства! Но я знаю и помню ляхитокъ, и васъ, новичковъ, хочу пустить въ колею по слѣдамъ нашимъ! Вы еще молоды, зелены, несмѣлы; попогодите, я васъ всѣхъ поставлю съ лѣвой ноги въ галопъ! Сѣдлай, ребята! сѣдлай, время ѣхать.

— Ванюшка! чаю!—закричалъ Охинъ.—«А между прочимъ водки!» прибавилъ капитанъ, «китайцы пьютъ чай изъ фарфоровыхъ чашекъ! Цѣдятъ воду сквозь желудки свои бархатные! Ужъ цѣди, не цѣди, вода есть, вода и будетъ!

Вода для прачекъ и для турокъ,
Для пароходовъ, для гусей,
Для тонкихъ, бѣлорукихъ цурокъ,
Лицетворительныхъ мазурокъ,
Вода—для дѣвокъ и дѣтей!

**Гусаръ бутылкамъ рубить шеи,**
**Шампанскимъ топитъ, не водой;**
**Уланы, спѣшившись, траншеи**
**Ведутъ подъ Дона батареи,**
**А латникъ пьетъ лишь пуншъ крутой!**
**Драгунъ коня поитъ водою,**
**И турокъ топитъ не въ винѣ;**
**А пьетъ, что поднесутъ порою—**
**Кромѣ воды и кваса, къ бою**
**Хоть съ чѣмъ готовъ, и на конѣ!**

«Пей!» продолжалъ онъ, подавая чарку Карачуну, сочинителю этой пѣсни, «пей, хохолъ, да садись на коня!»

Взнузданные кони ржали подъ крыльцомъ; драгуны, потирая ихъ полами шинелей своихъ, на нихъ покрикивали; жиды, снявъ мохнатыя шапки и сбившись всѣмъ кагаломъ въ кучку, стояли въ почтительномъ отдаленіи и, въ ожиданіи, любуюсь лошадьми, бормотали всегда по семи вдругъ. Не смотря на раннее утро, ставни и окна пана эконома, пана комисаржа, пана рахмистра, пана кассира растворились, и бѣлокурыя головки мелькомъ выказывались. Босыя дѣвки, въ шерстяныхъ, тѣсно обвитыхъ запаскахъ, съ алою шерстяною тесьмою и двумя пучечками калины или бархатокъ и ноготковъ на головѣ, присѣдая подъ тяжелыми ведрами или подъ связками мокраго бѣлья на зыбкомъ коромыслѣ, иноходью пробѣгали базарную площадь. Мѣрно выступая подъ большимъ вьюкомъ сѣна, однозвучно побрякивали драгуны шпорами; рѣдкіе удары валька и отголоски ихъ звонко отдавались подлѣ плотины. Вычищенные кони полуэскадрона стояли смирно со вздернутыми кверху мордами у высокой коновязи, водили чутко ушами и по слову дежурнаго унтеръ-офицера: «торбы навѣшивать!» зашевелились всѣ и

дружно въ голосъ заржали; офицерскіе кони, подъ крыльцомъ, оглядываясь назадъ, имъ отвѣчали, и герои наши, подъ предводительствомъ эскадроннаго командира, шумною толпою выступили на крыльцо. «Если полковникъ будетъ», закричалъ капитанъ, занося ногу въ стремя, вахмистру, ожидавшему у крыльца приказаній, «то я въ табунъ уѣхалъ!» Облако пыли и конскій топотъ помчались мимо растворенныхъ оконъ панскаго двора, гдѣ шумные клики замолкли и фуражки мелькнули въ рукахъ вѣжливыхъ всадниковъ. Царинный, завидѣвъ ихъ издали, отперъ со скрипомъ низкія, широкія, длинныя, на стержнѣ, ворота, ведущія изъ села въ поле; бросивъ шапку на землю, онъ долго глядѣлъ имъ вслѣдъ и, почесывая голову, казалось, ими любовался.

## ГЛАВА II.

## ПОХОДЪ.

Противорѣчье есть, и многое не дѣльно

Выѣхавъ за село, поудержали кавалеры наши коней и поѣхали шагомъ.

Разговоры военнослужащихъ ограничиваются, какъ то и во всякомъ сословіи бываетъ, кругомъ мыслей, возбуждаемыхъ предметами, быту этого сословія свойственными. Первая вещь для офицера, коннаго и пѣшаго, служба; непосредственно за нею слѣдуютъ толки, суды и пересуды о тѣхъ, непосредственной власти коихъ они подчинены; а потомъ, какъ будто для отдыха и отрады, обращаются воспоминаніями и надеждами своими на неизсякающій душепитательный предметъ, занимающій болѣе или менѣе глубину души каждаго.

— Пошли Богъ скорѣе ремонтъ, — сказалъ капитанъ,—скучно объѣзжать этихъ беззубыхъ клячъ, когорыхъ, подъ Карасу, едва живыхъ, на подпругахъ, водили на водопой и съ водопоя. Я уже опять наизусть знаю каждый уголъ манежа, гдѣ которая изъ нихъ съ ноги сбивается и гдѣ жмется къ барьеру.

— Пошли Богъ ремонтъ, — прибавилъ одинъ изъ товарищей, тотъ же Карачунъ: — и пошли Богъ терпѣнія! Меня ознобъ до мозговъ пронимаетъ, какъ подумаю, сколько тутъ будетъ, день за день, крику, шуму, визгу, и все это изъ-за ничего! А кто наконецъ страдаетъ при этомъ болѣе всѣхъ? Онъ же самъ; его чувствительное нѣмецкое сердце, mein gefühlvolles deutsches Herz, какъ онъ самъ его изволитъ величать, не можетъ перенести равнодушно этихъ вспышекъ, взрывовъ и покушеній спятить съ ума; и слѣдствіемъ всего этого бываетъ—желчная горячка!

— Да, — возразилъ Костроминъ: — твоя правда. Странно, что люди, какъ онъ, живутъ въ двухъ лицахъ. Въ обращеніи съ обществомъ, съ людьми посторонними, это совсѣмъ не тотъ человѣкъ, что съ подчиненными: тутъ нравъ, тамъ другой, здѣсь чувства, мысли, правила, тамъ совсѣмъ иныя; словомъ, это два лица въ одномъ недѣлимомъ. Намъ указываютъ на Европу, на нѣмцевъ, на французовъ, на италіянцевъ, на англичанъ — это первообразы умственнаго и нравственнаго просвѣщенія. Если это такъ, то по крайней мѣрѣ должно признаться, что эти господа такъ успѣшно перенимаютъ у насъ то, въ чемъ не обинуясь сами насъ обвиняютъ, что вскорѣ далеко превосходятъ учителей своихъ! Они охотно и высокопарно разсуждаютъ о равенствѣ человѣчества, о снисхожденіи къ недостаткамъ ближняго и обходительности житейской, между тѣмъ какъ сами нерѣдко обходятся уже вовсе не *отечески съ нижними* чинами, и бываютъ дерзкими и тя-

гостными для офицеровъ. Наши русскіе, правда, бываютъ иногда неотесаны, до того, что, иной, кромѣ воинскаго устава и «Русскаго Инвалида», рѣшительно печатнаго листа въ рукѣ не держалъ; есть и такіе, что огонь и воду прошли, и рады драть съ полка, какъ жидъ съ аренды; но зато удаются и добряки средней руки, честные, прямые, не всегда ученые, но умные, и постигшіе въ обходительности настоящій духъ и бытъ русскаго народа. Есть, продолжалъ Костроминъ, есть образованные, умные, благородные, уважаемые начальники. Напримѣръ, полковой командиръ алыхъ гусаръ: кто съ этакимъ человѣкомъ не полѣзетъ въ адъ?

— Напримѣръ, — продолжалъ Карачунъ: — чтобы возвратиться къ пѣхотѣ, командиръ того егерскаго полка, который въ послѣдній турецкій походъ заслужилъ въ одномъ дѣлѣ всѣмъ офицерамъ по двѣ награды! полка, въ которомъ отдаленный выстрѣлъ отзывается въ каждомъ рядовомъ сверхкомплектнымъ ударомъ пульса! Вотъ кому командовать дивизіями!

— А 37-го егерскаго бывшій командиръ, — заступился съ горячностію Герстенмейеръ.—Какъ, развѣ...

— Ну, такихъ нѣмцевъ давай Богъ побольше, — возразили Карачунъ и Костроминъ въ голосъ: — это дѣло иное!

— Бросимъ это,—возразилъ Охинъ:—и поговоримъ лучше о дѣльномъ. Скажи намъ что нибудь о полькахъ. Правда ли, что онѣ всѣ красавицы, всѣ милы и всѣ дурачатъ мужей?

— Мнѣ кажется,—отвѣчалъ Костроминъ,—что въ образованіи, какъ тѣлесномъ, такъ и нравственномъ, обоихъ половъ народа русскаго и польскаго, есть какая-то противоположность, на которой основывается и житейскій бытъ каждаго. Должно признаться, говоря о среднемъ купеческомъ и мѣщанскомъ сословіи,

что у насъ мужчины статны и благообразны, женщины менѣе видны, плотны. Природа, кажется, первыхъ образовала лучше; умственныя способности ихъ также болѣе развиты; уже по этому самому мужья у насъ въ домашнемъ быту берутъ верхъ; они самоуправны; добрая жена почитаетъ себя подданною мужа; если кается передъ нимъ въ проступкахъ своихъ, то говоритъ, при низкомъ поклонѣ: побей меня, поучи и прости! Польки, напротивъ, даже и среднихъ сословій, большею частію стройны, умны, хитры; словомъ, онѣ, какъ свойствами тѣлесными, такъ и еще болѣе качествами умственными и нравственными, рѣшительно первенствуютъ надъ мужьями: онѣ гораздо проницательнѣе ихъ, а потому знаютъ это и умѣютъ этимъ пользоваться. Вотъ почему у нихъ мужъ второе лицо въ семействѣ, и болѣе самъ повинуется, чѣмъ повелѣваетъ!

— Вздоръ все!—закричалъ капитанъ, вслушавшись въ послѣднія слова Костромина: — не вѣрь, Охинъ; волочись смѣло и прибирай ихъ къ рукамъ, да только самъ не поддавайся, такъ и помыкать тобою не будутъ!

— Я говорю одно, возразилъ Костроминъ, — а вы другое. Вы говорите: волочись; для чего же вы не скажете: женись?

— Нѣтъ, братъ, ужъ это пустое, — отвѣчалъ капитанъ;—наше дѣло волочиться, а жениться—это предоставимъ пѣхотнымъ, которые, какъ слышно, станутъ здѣсь на зимнія квартиры!

— Опять нападки на пѣхоту! Смѣйтесь, капитанъ; но между тѣмъ, вы, я это знаю, пѣхоту нашу уважаете!

— Всему своя череда, свое мѣсто, — отвѣчалъ тотъ:—славно штыкомъ работаютъ; но въ свѣтскомъ обращеніи съ женщинами они вовсе шутокъ не знаютъ; вляпается такъ весь, что его коновязнымъ коломъ не отобьешь!

— Въ самомъ дѣлѣ, это странно, — сказалъ Карачунъ, — что у насъ конница такъ храбрится передъ пѣхотою, тогда какъ послѣдняя не уступитъ первой. Кто только бывалъ въ дѣлахъ съ нашими войсками, согласится, что оплотъ силъ нашихъ не конница, а пѣхота. Любо слушать и видѣть, съ какою самонадѣянностію, спокойствіемъ и самоотверженіемъ гренадеръ беретъ ружье на перевѣсъ. Обаятельное ура никогда не измѣняло густой колоннѣ, идущей напроломъ. Словомъ, истинно-русскій воинскій духъ, безпрекословное повиновеніе и шутливое острое слово, при горькой улыбкѣ отъ нуждъ и лишеній, — это мы видимъ въ пѣхотѣ, въ этой грозной, неутомимой, неумолимой мертвой-живой стѣнѣ! И это основано на духѣ народа русскаго. Почти во всей остальной Европѣ конница лучше пѣхоты; у насъ недостаетъ огня и пылкости для атаки кавалерійской, гдѣ все должно летѣть сломя голову, гдѣ требуется столько минутнаго, изступительнаго восторга. У нихъ нѣтъ этого желѣзнаго постоянства, неутомимости, слѣпаго повиновенія и силъ тѣлесныхъ—качествъ, необходимыхъ для пѣхоты!

— Далеко ли до Чаповца?—спросилъ Охинъ, растаявшій отъ жару, какъ леденецъ, ѣхавшаго на встрѣчу имъ, на парѣ огромныхъ сѣрыхъ воловъ, мужика. Хохолъ снялъ высокую черную баранью шапку, кивнулъ головою, замахалъ длиннымъ батогомъ своимъ, закричалъ: собъ, собъ, собъ, малый!—чтобы дать всадникамъ дорогу, и потомъ отвѣчалъ: «До Чаповца? Якъ мини, то далеко; а якъ панамъ, то близко!» — Какъ такъ? — спросилъ Охинъ — «Бо у пановъ кони добры!»—А горы есть?—«Е!»—Много?—«Одна».—Велика? — «Якъ звиттыля, то не дуже, а якъ туды, то гай, гай, гай»... то есть: коли оттуда ѣхать, то не такъ велика; а какъ туда, то ой-ой-ой!

---

## ГЛАВА III.

### ПРИВАЛЪ

Когда избавитъ насъ Творецъ
Отъ шляпокъ ихъ, чепцовъ и
шпилекъ и булавокъ,
И модныхъ и бисквитныхъ
лавокъ!

Драгуны наши отъ души разсмѣялись. Капитанъ потрунилъ надъ Карачуномъ и земляками его, а какъ они доѣхали до корчмы, передъ которою сидѣлъ, на порожней бочкѣ, панъ арендаржъ, шинкарь Мойшель, въ чулкахъ безъ пятокъ, башмакахъ безъ задниковъ и въ сальныхъ нанковыхъ короткихъ панталонахъ безъ пуговицъ, то капитанъ и скомандовалъ: «стой! слѣзай!» Охинъ хотѣлъ прислужиться, и потому, не теряя времени, велѣлъ жиду подать кварту наливки, вишневки. «Дѣло!» закричалъ капитанъ: «но между прочимъ водки! Эта наливка пополамъ съ водою; а ты знаешь, что я боюсь воды, какъ бѣшеная собака!»

Нескладный крикъ десятка голосовъ, въ числѣ коихъ можно было отличить мужской, призывающій крикомъ: «ратуйте, кто въ Бога вируе! ратуйте!» на помощь, и нѣсколько бабьихъ, жидовскихъ и дѣтскихъ, возбудило вниманіе молодежи нашей, и они всѣ бросились за корчму.

Большой воловій возъ, нагруженный арбузами и дынями, стоялъ запряженный у заднихъ воротъ корчмы, имѣвшей, какъ обыкновенно, вмѣсто двора, обширный сарай подъ одною кровлей съ тѣснымъ и грязнымъ жильемъ. Одна жидовка держала на рукахъ мальчишку, который кричалъ и рвался изо всей силы, *безчисленное* множество жиденятъ всякой величины,

подъ предводительствомъ трехъ другихъ жидовокъ, растаскивали арбузы и дыни съ воза въ хату, между тѣмъ какъ неповоротливый хохолъ въ кожухѣ и въ свиткѣ, среди жаркаго лѣта, метался, какъ угорѣлый, во всѣ стороны; и всѣ они, и малый, и великій, бормотали, кричали и визжали въ голосъ. Мужикъ ринулся подоспѣвшимъ на помощь въ ноги, и не переставалъ кричать, какъ будто его кто рѣзалъ: «ратуйте, кто у Бога вируе, ратуйте!» Трудно было понять и разобрать, что тутъ происходило. Но капитанъ началъ тѣмъ, что разогналъ нагайкой жидовокъ и жиденятъ, и заставилъ пришедшаго въ себя хохла разсказать Карачуну все дѣло, а этотъ пересказалъ слѣдующее: мужикъ везъ съ баштана своего арбузы и дыни въ мѣстечко на базаръ; корчмарь остановилъ его на перепутьѣ подержалъ, уговаривая продать ему возъ, часа два, наконецъ, пополамъ съ грѣхомъ, уговорилъ, попотчивалъ наливкой и сдалъ на руки жидовкамъ. Здѣсь начался торгъ: мужикъ просилъ за возъ два рубля, жидовки сулили копу, наконецъ 40 грошей, и съ неимовѣрнымъ крикомъ и шумомъ приступали къ нему, до того, что бѣдняка почти оглушили; а когда онъ вырвался, закричалъ: цуръ вамъ, пекъ вамъ, и хотѣлъ отъ нихъ убраться, то одна схватила съ возу ребенка, а цѣлая стая племени израилева бросилась со всѣхъ сторонъ расхищать возъ. Ошалѣвшій, одурѣвшій хохолъ кидался во всѣ стороны; жидовка съ ребенкомъ бѣгала отъ него вокругъ воза; онъ за нею гонялся; другая хватала его за капишонъ свитки и совала въ глаза сорокъ грошей мѣдью; жиденята подкатывались ему подъ ноги, кричали: ой, вей! онъ черезъ нихъ падалъ... «Итакъ разбой на большой дорогѣ, въ полномъ смыслѣ слова», сказалъ капитанъ.—«Розогъ! закричалъ горячій нѣмецъ, штабсъ-капитанъ Герстенмейеръ: — выпороть

всю корчму, и жидовокъ и жиденятъ, и все племя израилево!» — «Розогъ!» подхватилъ капитанъ, «а между прочимъ водки».—«Постой, Карлъ Карловичъ, не горячись»,—сказалъ Костроминъ; «не забудь, что мы ѣдемъ къ пану Жабруцкому, а этотъ корчмарь его арендаржъ; итакъ неловко будетъ начать новое знакомство такимъ образомъ. Лучше мы ему дѣло поразскажемъ и будемъ требовать, чтобы онъ жида наказалъ.»—Итакъ панъ арендаржъ отдѣлался на этотъ разъ доброю заушиной, которою снабдилъ его на прощанье Карлъ Карловичъ, и кавалерія наша, выпроводивъ хохла на большую дорогу, тронулась на Чаповецъ

Потолковавъ объ этомъ происшествіи и объ угнетеніи юго-западныхъ губерній нашихъ жидами, капитанъ опять придрался къ хохлу, какъ онъ называлъ Карачуна, и утверждалъ, что безмозглые земляки его сами этому причиной. «Не поддавайся», кричалъ онъ, какъ будто командовалъ передъ эскадрономъ, «не поддавайся, такъ и помыкать тобою не будутъ!»—Золотое правило,—замѣтилъ Карачунъ;—но опытъ намъ показываетъ, что не всѣ и не всегда могутъ ему слѣдовать. Сообразите все, любезный капитанъ, всѣ обстоятельства, средства и пронырливыя ухватки, коими это пресмыкающееся племя исконь научилось пользоваться для притѣсненія и угнетенія бѣднаго крестьянина,—ухватки, переходящія какъ достояніе наслѣдственное изъ рода въ родъ, отъ отца къ сыну, отъ сына къ внуку,—и вы не захотите быть столь несправедливымъ, чтобы сложить всю вину этого бѣдствія на мужиковъ; несравненно болѣе потворство жадныхъ къ деньгамъ помѣщиковъ этому причиною; здѣсь дворянство польское, а мужики всѣ малороссы. Еврей всю жизнь свою посвятилъ изученію и усовершенствованію искусства *пользоваться* временемъ, обстоятельствами и нуждами

ближняго; у мужика есть занятія другія, и потому онъ въ познаніи свѣта и людей долженъ нѣсколько отстать отъ перваго; къ тому еще вся промышленность, курсъ, деньги, цѣны и товары въ рукахъ у жидовъ, которые дѣйствуютъ и въ оборотахъ своихъ точно, какъ они разговариваютъ,—всѣ вдругъ. Вспомните, сколько мы сами бываемъ въ зависимости у жидовъ, когда стоимъ въ городкахъ и мѣстечкахъ, несмотря на то, что бьемъ ихъ и воображаемъ ими помыкать. Русскій мужикъ смѣтливѣе, расторопнѣе хохла, это правда; но и у этого нѣтъ недостатка въ умѣ природномъ. Въ немъ южная кровь, онъ любитъ лежать въ просѣ на печи, но его грѣшно называть тупымъ и глупымъ, какъ это нерѣдко дѣлаютъ не довольно его знающіе; напротивъ, всѣ острыя шутки его, я это смѣло утверждаю, облагорожены какимъ-то особеннымъ духомъ простодушія, замысловатости и, въ то же время, чуждымъ всякаго самохвальства и притязанія. Полякъ или хвастаетъ, хвалится, пустословитъ, или онъ коварно льститъ, или по крайней мѣрѣ таится въ душѣ своей; и никогда не выкажетъ истинныхъ чувствъ своихъ, мыслей и намѣреній; малороссъ, напротивъ, охотнѣе всего прикидывается простачкомъ, олухомъ; а между тѣмъ дурачитъ всякаго, кто самъ дастся въ обманъ. Русскій мужикъ, сообразно прямому, открытому нраву своему, шутитъ намеками, замѣчаніями, но у него нѣтъ замашки вкрадываться простодушіемъ своимъ въ довѣріе ваше, а потомъ озадачить замысловатыми истинами въ видѣ вопроса, какъ будто невзначай предложеннаго,—а это, воля ваша, съ тупымъ умомъ несовмѣстно.

— Посмотри же,—сказалъ Герстенмейеръ, указывая на пашущаго мужика: — полюбуйся на умнаго земляка твоего, который дѣлаетъ четырьмя парами половъ то, что другіе люди дѣлаютъ одною клячею!— У насъ въ Лифляндіи»..

— Не горячись! — прервалъ его Карачунъ: — и у насъ въ Россіи то же, но это не Лифляндія и не Россія; послушай. Нѣкто богатый помѣщикъ въ Малороссіи, одушевленный твоею мыслію, вздумалъ быть преобразователемъ страны своей; онъ выписалъ между прочимъ изъ Англіи патентованную соху, или плугъ орѣховаго дерева, съ мѣдною полированною оковкою, на лемешѣ (сошникѣ) котораго было насѣчено: patent silver steel, и выгналъ въ одно воскресенье все село въ поле, чтобы новымъ плугомъ взорать при всѣхъ пробную десятину. Хохлы, въ ожиданіи пана своего, собрались въ кучу около новаго плуга, толковали и разсуждали. Панъ пріѣзжаетъ: всѣ почтительно снимаютъ шапки, разступаются, подводятъ къ плугу лошадей. «Пане!» спросилъ тогда старинаго закала чубатый хохолъ: спытаюсь я у пана, кто тыи плуги робитъ? т. е. кто сдѣлалъ этотъ плугъ?»—Англичане, отвѣчалъ панъ. А что, не хорошъ?—«Нема що казаты», продолжалъ тотъ: «а чомъ же воны, тыи галичане, до насъ въ Одестъ за хлибомъ издятъ? Чуете, пане, теперечки воны до насъ издять, а якъ мы тыми плугами будемо ораты, то уже мы до нихъ за хлибомъ поидемо!»—И онъ правъ, продолжалъ Карачунъ, когда всѣ товарищи захохотали:—голая почва наша, которую солнце припекаетъ на футъ, на полтора, хочетъ быть взрытою на такую же глубину, и тогда только даетъ и плодъ обильный; пробная десятина не дала и посѣва, и плугъ орѣховаго дерева не окупился!

— Разскажу вамъ еще подобную шутку. Помѣщикъ, сосѣдъ мой, издерживался и разорялся на охоту, на собакъ. Однажды затравилъ онъ зайца въ полѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пахаря. Радостныя восклицанія псарей и стремянныхъ возглашали побѣду, рога трубили, и восхищенный охотникъ, въ поту, въ пыли, гордо озирался. «Пане!» спросилъ его почтительно му-

жикъ, лаская собакъ и любуясь на зайца, на лошадей: «що коштуе тый заяцъ? сколько стоитъ заяцъ?» Панъ разсмѣялся неумѣстному вопросу и отвѣчалъ: рубль. «А хортъ? т. е. а собака?» — Сто рублей. — «А винь панскій? а барская лошадь?» продолжалъ неотвязчивый допросчикъ.—Пятьсотъ рублей.—«А панъ самъ», опять началъ хохолъ: «то уже звистно, що неоцененный; стало быть; рубель утикае, сто догоняе, а якъ пятьсотъ споткнется, то нашъ неоцененный убьется!— Драгуны захохотали въ голосъ.—«Всѣ мы постигаемъ недостойное этой разорительной страсти,—сказалъ Карачунъ: но прошу васъ показать на словахъ убѣдительнѣе и проще ничтожность ея и малодушіе ей подпавшаго!

## ГЛАВА IV.

### ДНЕВКА.

Во-первыхъ, напоятъ шампанскимъ на убой;
А во вторыхъ, такимъ вещамъ научатъ—
Какихъ конечно, намъ не выдумать съ тобой.

Отрядъ нашъ поднялся на гору, за которую, въ глубокомъ яру, лежалъ Чаповецъ. На подолѣ есть мѣстоположенія, изумляющія проѣзжаго дикостію и разнообразіемъ своимъ, особенно, если онъ ѣдетъ изъ южныхъ степныхъ губерній. Рыхлый черноземъ обильно питаетъ сокомъ своимъ поля пшеницы, кукурузы, дынь и арбузовъ; на песчаныхъ отлогостяхъ зеленѣются шпалерами виноградныя лозы; плодовые сады прилегаютъ къ изгибамъ ручья; дикій камень грядами пролегаетъ по гребнямъ высокихъ горъ и пригорковъ; гребельки съ водяными мельницами и бѣлыя мазаныя хаты животворятъ природу. Таково было мѣстоположеніе Чаповца. Панскій дворъ, старин-

ной постройки, лежалъ, какъ семибашенный замокъ, раскинутый на противолежащемъ скатѣ, лицомъ къ путникамъ нашимъ; по обѣ стороны главнаго средняго зданія, двои обвалившіяся огромныя ворота свидѣтельствовали о бренности подлунной; а притворенныя и шестами подпертыя ставни самаго дома и новая крыша изъ драни или тесу на одной изъ пристроекъ—о худыхъ финансахъ хозяина, который, покинувъ великолѣпное, но обветшалое обиталище прадѣдовъ, сосредоточилъ силы свои, домъ и дворъ и весь штатъ въ одномъ изъ боковыхъ флигелей. Охинъ первый замѣтилъ между строевымъ разбросаннымъ лѣсомъ двухъ пестренькихъ, стройныхъ подоляночекъ, прыгавшихъ на доскѣ, поперекъ бревна перекинутой. Онѣ, когда всадники приблизились, убѣжали во дворъ. Долго большая рябая собака, занявшая ихъ мѣсто на бревнѣ, стояла и лаяла на вѣтеръ, покуда наконецъ вышли растворить ворота, и панъ маршалокъ явился на крыльцѣ просить гостей. Въ передней встрѣтилъ ихъ самъ панъ Жабруцкій, въ сѣромъ кунтушѣ со шнурками и тесьмою, однакоже новѣйшаго покроя, со сплошными рукавами и на пуговицахъ, вмѣсто кушака. Капитанъ, старый пріятель и собутыльникъ его, представилъ въ двухъ словахъ офицеровъ своихъ, и панъ Жабруцкій обнималъ и перецѣловалъ всѣхъ ихъ въ уста и въ плечи. Онъ, казалось, радовался гостямъ непритворно, ввелъ ихъ въ покои, и представилъ женѣ и дочерямъ. Подали кофе, трубки, потомъ и закуску, водки, наливки и вина. Дамы дозволяли кавалерамъ подходить къ ручкѣ, но, подавая ее, сами ихъ не цѣловали въ щеку, какъ у насъ. Трубки не безпокоили женщинъ нисколько, а пани Жабруцкая сама курила взапуски. Разговоръ вскорѣ сдѣлался общимъ, шумнымъ и веселымъ; офицеры наши всѣ говорили по-русски, хозяева отвѣчали по-польски, но тѣ и другіе хорошо

другъ друга понимали. Старикъ нерѣдко вскакивалъ среди разговора, и обнималъ въ веселомъ расположеніи гостей своихъ, увѣряя, что онъ: «далибугъ, правдзивый россіянинъ!» Карачунъ замѣтилъ, что нѣсколько дворовыхъ казаковъ полетѣло мимо оконъ въ разгонъ, въ разныя стороны, вѣроятно, сзывать ближнихъ сосѣдей или для пополненія хозяйства чѣмъ либо на скорую руку изъ ближняго мѣстечка. Три дѣвицы, несмотря на то, что не ожидали гостей, хорошо и опрятно одѣтыя, выступали павами, не смигали глазами, если кавалеры наши на нихъ обращали взоры, не шушукались, не хихикали и не прятались, какъ наши барышни, а казалось, напротивъ того, открытыми, смѣлыми взорами и улыбкою заискивали бесѣды, и вызывали къ разговорамъ и къ новому знакомству. Капитанъ первый подошелъ къ нимъ, поцѣловалъ еще разъ ручку каждой и началъ изъ учтивости ломать и коверкать польскій языкъ. Объ немъ ходила молва, будто онъ не зналъ ни одного языка, кромѣ своего природнаго, русскаго; но это было не совсѣмъ справедливо. Филологическія свѣдѣнія его ограничивались только тѣмъ, что ему удавалось пріобрѣтать на походахъ и стоянкахъ самоучкою и наслышкою. Онъ въ 14 и 15 годахъ зналъ по-нѣмецки и по-французски; и теперь еще иногда припѣвалъ французскую пѣсню: вивъ Андрей кватеръ, вивъ сюрви дерви, т. е. Vive Henri quatre, vive ce Roi des Rois! По-турецки умѣлъ спросить: качъ алтынъ? качъ пара? Веръ бана каве, чубукъ, экмекъ. По-молдавски зналъ: Пулхерица, Зоица, Смарандица, Агланца и множество другихъ женскихъ именъ, пѣлъ пѣсню: Унде каса мититика, унде фата форматика *); кромѣ того онъ говорилъ по-латышски, по-чувашски и даже нарѣчіемъ жмуди; но болѣе всего усовершенство-

*) Гдѣ маленькая избенка, гдѣ дѣвочка-красоточка.

валъ онъ себя въ болгарскомъ и въ польскомъ, и увѣрялъ, что стоитъ только постичь духъ языковъ сихъ и ломать русскій, въ первомъ случаѣ, придерживаясь славянскаго и говоря, напримѣръ, вмѣсто корова *крава*, вмѣсто молоко *млеко*, и прибавляя по усмотрѣнію иногда окончанія *ушка* и *енько*; а во второмъ перенося всѣ ударенія на предпослѣдній слогъ и расточая смѣлѣе сложныя согласныя бржи, хржи, крже и прше; дѣлая это, увѣрялъ онъ и самъ твердо былъ увѣренъ, что говорилъ по-болгарски и по-польски. Польки охотно съ нимъ связывались, спорили, кричали, учили его, и онъ такимъ образомъ непрестанно обогащалъ филологическія познанія свои. Панны: Зося, Людвися и Юзя, т. е. Софія, Людовика и Іозефа, также вмѣшались въ общій разговоръ; каждая овладѣла непримѣтно однимъ изъ гостей и взяла его подъ особенное покровительство. И нѣжный Охинъ, узнавъ въ первой, т. е. въ Зосѣ, одну изъ вольтижерокъ, тронувшихъ уже на разстояніи 200 саженъ доступное изящному сердце его, былъ вскорѣ до того погруженъ въ думы, мечты и сладкія грезы, что, сидя съ нею рядомъ и касаясь ножки ея, воображалъ, что участвуетъ въ разговорѣ и поддерживаетъ краснорѣчивую, занимательную, остроумную бесѣду, между тѣмъ какъ онъ молчалъ и даже не слышалъ, кто и о чемъ говорилъ. Не думайте, однакожъ, чтобы никто изъ домашнихъ этого всего не замѣчалъ; напротивъ, видѣли и знали все, но никому не приходило въ голову показывать это, ввязываться и мѣшаться не въ свое дѣло. Не думайте также, чтобы полька, и особенно дѣвица, вызывая васъ на вольное съ нею обращеніе, дала вамъ этимъ самымъ какое либо надъ собою право,—весьма ошибаетесь! Она нерѣдко дѣлаетъ это своевольно и своенравно, никогда притомъ не забывается и устаиваетъ твердо противъ всякаго искушенія.

*Время* до стола пролетѣло скоро: явились еще нѣ

сколько изъ сосѣдей и, послѣ прогулки, — на которой Охинъ блаженствовалъ, бѣсился, плакалъ и смѣялся по очереди, смотря по тому, его ли, или одного изъ земляковъ своихъ, рябаго усача въ черной венгеркѣ, предпочитала пастушка его, — всѣ возвратились наконецъ въ покои. Четыре жида со скрипками и цымбалами ударили въ самую ту минуту мазуречку, когда кавалерія наша поглядывала было по угламъ на сабли свои. Пуншъ и вино обносили непрестанно. Несносный, варварскій обычай—приневоливать всякими средствами гостей къ попойкѣ, одного только капитана нашего не безпокоилъ нисколько; онъ покручивалъ усы взапуски съ сарматами и разговаривалъ съ ними по-болгарски.

У насъ мазурка, и голоса, и самая пляска, искажены; народность въ томъ и другомъ утрачена. Надобно видѣть и слышать мазурку въ Польшѣ, тамъ, гдѣ старые усачи въ кунтушахъ за вистомъ моргаютъ усами и стучатъ каблуками въ мѣру, гдѣ шляхтичъ и водовозъ, княжна и прачка пляшутъ и напѣваютъ мазурку! Только краковякъ унылый и однозвучный, при всемъ разнообразіи напѣвовъ и необузданной веселости пляшущихъ, замѣняетъ иногда въ народѣ мазурку.

Около полуночи попутчики напи, — мы не откажемся, думаю, слѣдовать за ними и на обратномъ пути, — при громкихъ прощаніяхъ, восклицаніяхъ и лобызаніяхъ, благополучно отретировались на крыльцо, гдѣ драгуны съ лошадьми ихъ ожидали. «Тршимайся, пáне капитáне, тршимайся!» кричалъ панъ Жабруцкій вслѣдъ гостямъ своимъ и, подымая свѣчу выше головы, едва не поджегъ соломенной стрѣхи навѣса. Охинъ еще разъ бросилъ болѣзненный взоръ на панну Зосю, на рябаго усача въ черной венгеркѣ, и вскорѣ отдавался только въ ушахъ всадниковъ топотъ собственныхъ коней ихъ, отдаленный крикъ пѣтуховъ и лай собакъ. Подъ гору, на гору и опять подъ гору—и Охинъ былъ

лишенъ даже послѣдней отрады и утѣшенія встрѣчать взорами, оборачиваясь назадъ, привѣтливые просвѣты оконъ той храмины, въ которой онъ оставилъ сердце свое на сохраненіе и сбереженіе.

## ГЛАВА V.

### ТРЕВОГА.

Свѣтаетъ! Ахъ, какъ скоро ночь минула!

Молча герои наши продолжали путь свой шагомъ и рысью; только трубки ихъ иногда искрились въ потьмахъ, и капитанъ повременамъ покрикивалъ: «Фальшь!» когда усталый конь его начиналъ дробить ногами. Охина не было дома: онъ заносился и взвивался, какъ ликующій жаворонокъ. Герстенмейеръ былъ недоволенъ брудеромъ своимъ, Карачуномъ, который отбивалъ у него панну Іозефу, и бѣсился на рябаго поляка, который осмѣлился плясать мазурку за мазуркой, въ кенгеркѣ, хотя офицеры всѣ были въ мундирахъ; а Костроминъ увѣрялъ его, что всему этому причиной то, что онъ сегодня не надѣлъ лядунки! Наконецъ Карачунъ затянулъ вполголоса: «Не одна-то во полѣ дороженька пролегала»; подголоски юнкера́, и прочіе всѣ, приставали одинъ по одному, а Охинъ, поотстакъ немного отъ товарищей своихъ, убаюкивалъ и лелѣялъ нѣжныя чувства свои на созвучіи стройныхъ и согласныхъ родныхъ напѣвовъ. Часъ, другой, третій промчались неприметно. Заря занялась, а наконецъ и солнце озолотило утро, которому подобнаго Охинъ не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ встрѣчалъ солнце на конѣ. Чаповецъ, Огирки и опять Чаповецъ безпрестанно пестрѣлись въ воображеніи его; и когда наконецъ Огирки,

оживленныя многолюднымъ стеченіемъ, предстали взору его,—хотѣлось воротиться въ Чаповецъ.

Въ Огиркахъ каждыя двѣ недѣли, въ воскресенье, была ярмарка, и герои наши пробирались между шумными кучами народа. Здѣсь жиды и жидовки продавали съ возу деготь, сало, свѣчи, табакъ, мыло и водку; все это было ими взято отъ пана на откупъ, и вольная продажа заказана. Мужики торговали только овсомъ, хлѣбомъ, сѣномъ, арбузами и дынями, кукурузой и лукомъ, а жиды ихъ обманывали, обвѣшивали и обмѣривали. Дѣло кончалось тѣмъ, что хохолъ продавалъ на гривну, а пропивалъ полтину. Горшки и бублики, по сану своему, занимали почетныя мѣста площади. Дѣвки и бабы, разубранныя, толпились около нихъ, толкались, кричали и шумѣли большею частію безъ дѣла. Ярмарка для нихъ праздникъ, прогулка. Слѣпой старикъ игралъ на рылѣ (лирѣ) и воспѣвалъ походы гетмана Богдана Хмѣльницкаго; овцы, сбившись въ кучу лбами, протяжно вторили ему; поросята съ возу прихрюкивали, драгуны выхваляли прочность и дешевизну выношенныхъ, заслуженныхъ шинолей, сапоговъ и мундировъ; деньщики терлись между возами, проклинали смолу и деготь на колесахъ, и закупали на четырнадцать грошей хозяйственный двухнедѣльный запасъ для господъ своихъ, до будущей ярмарки.

Доѣхавъ до общей квартиры своей, всѣ молча слѣзли съ коней. Охинъ первый спросилъ чаю, а капитанъ уже съ нетерпѣніемъ ожидалъ этого, чтобы возгласить: «а между прочимъ водки!» Герстенмейеръ, у котораго рана, полученная имъ подъ Боялештами, всегда разбаливалась, когда онъ сердился, отправилъ гонца въ полковой штабъ, къ доктору, за камфорнымъ спиртомъ. Всѣ улеглись вповалку, ставни затворились, и деньщики, проспавшіе благополучно ночь, спокойно покуривали, сидя на крыльцѣ, дешевые корешки, отгонки

шумныя базарныя толпы отъ оконъ почивающихъ господъ своихъ и тонкими голосами дразнили босыхъ дѣвокъ и бабъ въ черевикахъ, или червонныхъ чоботахъ съ подковками.

Хотите ли заглянуть между тѣмъ въ полковой штабъ? Тамъ, отъ Огирокъ верстахъ въ 20, несмотря на воскресный день, давнымъ-давно уже кипѣло ученье, конное и пѣшее, одиночная выправка, сабельные и ружейные пріемы и манежная ѣзда; и полковникъ, повѣстивъ уже съ вечера, за худые успѣхи въ будни, ученье на завтрашній праздникъ, далъ Агамемнону и Минервѣ, которые не пошли траверсомъ, по 50 плетей, и заперся одинъ въ кабинетѣ своемъ. Неисправности въ швальнѣ, въ канцеляріи и въ музыкантской школѣ превзошли мѣру терпѣнія его; онъ объявилъ адъютанту, что смѣняетъ его, а Охина назначаетъ на его мѣсто, и приказалъ самому адъютанту написать объ этомъ приказъ по полку. Но довольно; оставимъ это, и заглянемъ теперь и въ Чаповецъ.

Оттуда, вслѣдъ за нашими кавалерами, отправились и гости; домъ опустѣлъ, все стихло, свѣтъ — окно за окномъ — исчезалъ; все погрузилось во тьму ночную; топотъ и хохотъ отзывался только въ покоѣ панянокъ, которыя мѣряли, взвѣшивали и цѣнили достоинства, преимущества и недостатки новыхъ поклонниковъ своихъ;—наконецъ и это смолкло, и только тихій шелестъ шаговъ въ саду могъ бы увѣрить въ томъ, что еще не все въ домѣ заснуло, и что животное, перескочившее черезъ плетень съ улицы въ садъ, былъ человѣкъ, а не собака, какъ то увѣрялъ ночной сторожъ, стоявшій за садомъ, случайно проходившаго въ такое позднее время нашего знакомца, еврея Мойшеля, арендаря пана Жабруцкаго. Итакъ намъ остается только возвратиться въ Огирки, гдѣ мы покинули кавалерію *нашу въ* глубокомъ снѣ.

Капитанъ обошелъ уже, въ архалукѣ и фескѣ, съ трубкою, конюшни свои, надъ каждою изъ коихъ возносился вѣнецъ съ пучками соломы; былъ на чисткѣ, на проводкѣ, и направилъ стопы свои въ казарму, общую квартиру своихъ офицеровъ, чтобы стащить съ нихъ одежду, и, придравшись къ любому изъ нихъ, при воззваніи къ Лафлёрамъ, потребовать, *между прочимъ*, водки. Но здѣсь онъ нашелъ все и всѣхъ въ тревогѣ; разсыльный изъ полковаго штаба стоялъ у воротъ, а Охинъ, съ бумагою въ рукахъ, встрѣтилъ капитана на крыльцѣ, внѣ-себя, въ тоскѣ, въ горести и—если бы не стыдно было, то сказалъ бы—въ слезахъ. Капитанъ взялъ бумагу и прочиталъ: «Господину поручику и кавалеру Охину. Съ полученія сего, предписывается вашему благородію, безъ малѣйшаго замедленія, подъ строжайшею отвѣтственностію, явиться въ полковой штабъ, вступить въ должность полковаго адъютанта и завѣдывать оною впредь до повелѣнія»—Дѣлать нечего,—сказалъ капитанъ:—слезою моря не наполнишь, а кручиною поля не изъѣздишь; сѣдлай да ступай; а на прощанье—выпьемъ!

Охинъ не могъ придти въ себя: ясно было, что предстоящая ему невозможность продолжать знакомство свое съ Жабруцкими сокрушала его не менѣе предчувствія о безконечномъ и неизбѣжномъ горѣ въ новой должности своей, для которой онъ, впрочемъ, вовсе не былъ созданъ. Ему ли, безпечному, изнѣженному, а вдобавокъ еще и влюбленному, исправлять должность адъютанта, вести письменныя дѣла и драться съ пьяными писарями, смотрѣть за музыкантскою школою, за швальнями, за мастеровыми, словомъ—взять на руки всю безпардонную, нестроевую силу! Но что главное... тогда прости Зося, померкни звѣзда счастія, заря обѣтованнаго въ грезахъ блаженства—залогъ правды небесной, все прости!

## ГЛАВА VI.

### ОТБОЙ.

Вотъ то-то, невзначай; за вами примѣчаю,
Такъ вѣрно съ умысломъ...

Наконецъ Охинъ, какъ будто мгновенно новая мысль просвѣтила бѣдствовавшую душу его,—Охинъ, слабый и нерѣшительный, вскочилъ, ударилъ кулакомъ по столу и, съ твердостью, какой товарищи доселѣ въ немъ видѣть не привыкли, объявилъ, что не поѣдетъ въ штабъ и не вступитъ въ должность адъютанта! «Я боленъ», продолжалъ онъ: «и не могу нести этой должности. Богъ свидѣтель, что я не лгу; я боленъ! Клянусь не выходить изъ дому въ продолженіе цѣлой недѣли, двухъ, трехъ!—Подай халатъ, Ванька!»—Эй, халатъ! — подхватилъ капитанъ: — а между прочимъ, водки: надобно выпить за здоровье болѣющаго! Эй, братъ, Охинъ; берегись, я что-то подмѣчаю за тобою..

«Онъ, кажется», возразилъ Карачунъ: «чуть ли не намѣренъ избавить пѣхотныхъ отъ обязанности, которую вы, капитанъ, на нихъ хотѣли возложить!»—Легче затягивайся,—закричалъ Костроминъ, отнявъ у Охина трубку:—ты подавишься или задохнешься!—Но Охинъ, не внимая ни шуткамъ, ни насмѣшкамъ и пребывая твердымъ въ намѣреніи своемъ, написалъ рапортъ, что, по приключившейся съ нимъ *вчерашняго числа* болѣзни, службы, на него возлагаемой, нести не можетъ. Разсыльный сѣлъ на выранжированнаго, подъемнаго, разбитаго коня, и поплелся въ штабъ.

«Бей отбой, когда такъ», сказалъ Костроминъ: «*фальшивая* тревога!»—Не совсѣмъ,—замѣтилъ Кара-

чунъ:—я, напротивъ, думаю, что смѣло можно ударить во всѣ палки; тревога теперь только-что начнется! *Чувствительное сердце* взбѣсится, пришлетъ освидѣтельствовать нашего больнаго, полетитъ предписаніе за предписаніемъ, а бѣдные Минерва и Агамемнонъ и ѣздоки ихъ лишній разъ за это должны будутъ оттерпѣться!

«Бросимъ это», закричалъ капитанъ, намекая на вчерашнія слова Охина, и подошелъ къ нему; «поговоримъ лучше о дѣльномъ».—О водкѣ?—спросилъ Охинъ. Всѣ захохотали въ голосъ, пробили въ ладоши: «браво!» и удивлялись замысловатому и рѣшительному тону Охина.—«Съ тобой я не стану говорить о водкѣ», продолжалъ капитанъ: «ты въ ней знаешь столько же толку, какъ татарскій мулла; съ тобою я поговорю о полькахъ, о которыхъ ты разспрашивалъ вчера Костромина, а нынѣ самъ съ ними познакомился; поразскажи намъ что нибудь; каково, напримѣръ панна Зося отхва тывала съ паномъ Пршепловецкимъ мазурку»?

— Я этого рябаго усатаго жука застрѣлю когда нибудь,—сказалъ Герстенмейеръ:—если онъ еще осмѣлится плясать при мнѣ въ венгеркѣ.

«А ломался» примолвилъ капитанъ: «какъ звонарь на колокольнѣ, нечего сказать»!

— Пѣсни и пляска народныя даже и не въ первобытномъ своемъ состояніи, — началъ Костроминъ: — а болѣе или менѣе искусствомъ и просвѣщеніемъ искаженныя, носятъ на себѣ отпечатокъ кореннаго, основнаго нрава и быта народнаго въ высокой степени. О пѣсняхъ это уже давно замѣчено: страстный испанецъ, томясь глубокою сладострастною нѣгою, никогда не выразитъ чувствъ своихъ напѣвомъ французскаго, нѣжнаго, игриваго романса или водевилемъ; а народное русское ухо не найдетъ ни въ томъ, ни въ другомъ

выраженіи той сердечной сладкой грусти, которую изливаетъ его заунывная: притуманились очи ясныя! Но тоже самое можно сказать и о пляскѣ. Французская кадриль, верхъ искусства плясокъ общественныхъ, собственно изобрѣтеніе образованнаго французскаго круга, изображаетъ намъ, въ мимикѣ своей, людей веселыхъ, искусныхъ, ловкихъ на паркетѣ, легкихъ, изобрѣтательныхъ на игрушки, непостоянныхъ; изображаетъ тонкость, кокетство, живость, проворство, этикетъ, верхъ утонченности и приличія на всѣ бездѣлки. Фанданго составленъ изъ положеній тѣла человѣческаго, живописующихъ страсть, нѣгу, безпечность, сладостное изступленіе. Тирольская пляска наполняетъ васъ чувствами истинно-патріархальными. Кто видѣлъ пляшущихъ молдаванъ, которые берутся руками за пояса другъ друга и медленно поворачиваются, притопывая согласно ногами, тотъ согласится, что если бы заставить человѣка плясать насильно, то онъ не могъ бы найти пляски, требующей менѣе ловкости, проворства, напряженія силъ и изобрѣтательности: каждое невольное однообразное движеніе показываетъ, что ему смертная лѣнь поднять руку или ногу!—Ни въ одной пляскѣ, напротивъ, человѣкъ, ломаясь всячески, не принимаетъ на себя столь смѣлой, важной и отважной молодцоватой осанки, какъ въ мазуркѣ: это одушевленная ловкость, спѣсь, притворная откровенность, самохвальство, торжество надъ ничѣмъ, а наконецъ и вольное, короткое обращеніе съ другимъ поломъ. Даже венгерская пляска выражаетъ не то: въ ней болѣе забавнаго, веселаго и шутовской предпріимчивости.

— Правда,—закричалъ Карачунъ: — наша русская пляска выражаетъ, напротивъ, въ разнообразныхъ движеніяхъ и положеніяхъ своихъ не одну радость и *восторгъ* изступительный, но и чувства иныя: искреп-

нюю веселость, грусть, тоску, задумчивость, отвагу, рѣшимость и силу тѣлесную.

Въ разговорѣ этомъ, продлившемся до самаго обѣда, участвовали всѣ, кромѣ Охина. Онъ, сидя у окна, перелистывалъ польскіе разговоры. Насталъ вечеръ. Человѣкъ верхомъ, въ сюртукѣ съ красною выпушкою и бѣлыми пуговицами, остановилъ коня своего подъ низкимъ окномъ казармы, какъ капитанъ называлъ общую квартиру офицеровъ, и этотъ съ восклицаніемъ: здравствуй, воскреситель! выскочилъ въ окно, обнялъ штабъ-лекаря и спросилъ, не привезъ ли онъ въ гостинецъ горькаго набору? «Я слабъ желудкомъ,» продолжалъ онъ, «а чаю въ ротъ не беру, такъ надобно чѣмъ нибудь подкрѣпить молодость свою.» Потомъ, свявши феску съ головы, нагнувшись и поглаживая себя по лысинѣ, прибавилъ: «вотъ чудотворецъ, тебѣ задача — вспаши, заборони и посѣй, хоть кудряваго чебреца, хоть долговолосой кукурузы, лишь бы выросла!»

— Прежде всего, вотъ это, — сказалъ докторъ, вступая съ нимъ въ комнату; подалъ ему бумагу и поздоровался съ офицерами. Всѣ его встрѣтили дружески, пожимая руку. Если врачъ, достойный званія своего, умѣетъ сколько нибудь обживаться съ людьми, то отношеніе его къ однополчанамъ бываетъ болѣе нежели пріязненное, дружеское. Въ самомъ дѣлѣ, онъ, въ составѣ полка, есть звено, не входящее въ эту цѣпь постепенной и непрестанной подчиненности, но, не менѣе того, необходимое для поддержанія цѣлаго. Съ нимъ, а иногда съ полковымъ священникомъ, если онъ довольно образованъ, можно, забывшись на время, найти развлеченіе бесѣдою о вещахъ, непринадлежащихъ собственно къ службѣ. Офицеры между собою такъ обжились съ этимъ предметомъ, что могутъ находить отрадное разнообразіе въ разговорѣ только съ

помощію постороннаго собесѣдника, который заставляетъ ихъ забыть на одинъ мигъ полезныя и необходимыя, но не менѣе того однообразныя занятія свои, которыя, какъ привидѣнія, являются имъ во всякомъ предметѣ, ихъ окружающемъ. Кромѣ того само собою разумѣется, что медикъ, умѣющій заслужить довѣріе, пользуется любовію и уваженіемъ въ немъ нуждающихся. Но не бываетъ и безъ непріятностей разнаго рода, которыхъ избѣгнуть иногда весьма трудно, и къ коимъ въ особенности принадлежитъ крайне затруднительное положеніе его, если офицеры не могутъ ладить съ полковникомъ, а этотъ послѣдній, опираясь на немъ, ставитъ ето между двухъ огней.

Я говорю о несносномъ обыкновеніи иныхъ командировъ—требовать отъ врача каждый разъ, если офицеръ заболѣваетъ, письменнаго на то свидѣтельства. Къ счастію, командировъ такихъ немного. Это, воля ваша, несовмѣстно съ честію воинскою, и подчиненные не даромъ жалуются на оскорбленное самолюбіе! Это должно дѣлать съ разборчивостью, и только тамъ, гдѣ офицеръ подаетъ явный къ тому поводъ. Если офицеръ и подлинно иногда бываетъ вынужденъ прибѣгнуть къ единственному средству, чтобы избавиться отъ гласныхъ непріятностей, сказаться больнымъ и посидѣть дня два дома, то что остается дѣлать врачу, который, напримѣръ, у нашего *чувствительнаго сердца* долженъ пересвидѣтельствовать въ короткое время всѣхъ до одного? Надобно быть слишкомъ увѣрену въ совершенномъ здоровьѣ свидѣтельствуемаго, чтобы сказать объ офицерѣ, товарищѣ своемъ: онъ лжетъ и притворяется,—и все это по строгой формѣ и на бумагѣ! А можно ли всегда опредѣлить съ такою достовѣрностію степень какой нибудь небольшой немочи, безъ которой, можетъ быть, рѣдкій изъ насъ проводитъ нѣсколько дней сряду? Съ другой стороны, командиръ требуетъ

этого и, при случаѣ, жалуется, налегаетъ на своего медика, который всегда болѣе или менѣе у него въ рукахъ.

Въ бумагѣ, которую докторъ подалъ капитану, заключался приказъ на имя ихъ двухъ — освидѣтельствовать строжайше поручика и кавалера Охина и представить за общимъ подписаніемъ о томъ, что будетъ найдено, свидѣтельство. «Боленъ,» сказалъ капитанъ, «видитъ Богъ, боленъ. Онъ съ суботы на воскресенье свихнулъ голову.» — Голову и сердце, — замѣтилъ Карачунъ,—все не на своемъ мѣстѣ: первая въ груди, второе на плечахъ! — «Кончимъ скорѣе,» отвѣчалъ докторъ и подошелъ съ улыбкою къ Охину. «Здоровъ или боленъ?» — Боленъ, — отвѣчалъ этотъ, не вставая съ мѣста и глядя въ окно. — «Еще разъ спрашиваю,» продолжалъ лекарь, положивъ руку ему на плечо: «твое слово въ строку пойдетъ, Охинъ, боленъ или здоровъ?—Боленъ, боленъ,—отвѣчалъ Охинъ, вскакивая съ мѣста и проглотивъ слезу, которая было едва не навернулась:—я въ самомъ дѣлѣ боленъ; мнѣ завалило грудь, я едва могу дышать!—«Откашляешься современемъ, и все пройдетъ,» отвѣчалъ докторъ: «подайте же, если такъ листъ бумаги, перо и чернильницу; печать и сургучъ я взялъ съ собою, зная, что у васъ нѣтъ ни того, ни другаго!» — Бумаги! — возгласилъ капитанъ:—а между прочимъ водки! Воскреситель нашъ хочетъ съ дороги выпить? — Но бумаги ни въ чемоданахъ, ни подъ столами, ни даже у деньщиковъ не случилось; итакъ Мишка, снабженный двумя грошами, отправился отыскивать листъ бумаги у жидовъ. Между тѣмъ герои наши, въ ожиданіи бумаги, удовольствовались закускою и капитанскою душепаркою.

— Не горячись! — прервалъ его Карачунъ: — и у насъ въ Россіи то же, но это не Лифляндія и не Россія; послушай. Нѣкто богатый помѣщикъ въ Малороссіи, одушевленный твоею мыслію, вздумалъ быть преобразователемъ страны своей; онъ выписалъ между прочимъ изъ Англіи патентованную соху, или плугъ орѣховаго дерева, съ мѣдною полированною оковкою, на лемешѣ (сошникѣ) котораго было насѣчено: patent silver steel, и выгналъ въ одно воскресенье все село въ поле, чтобы новымъ плугомъ взорать при всѣхъ пробную десятину. Хохлы, въ ожиданіи пана своего, собрались въ кучу около новаго плуга, толковали и разсуждали. Панъ пріѣзжаетъ: всѣ почтительно снимаютъ шапки, разступаются, подводятъ къ плугу лошадей. «Пане!» спросилъ тогда старинаго закала чубатый хохолъ: спытаюсь я у пана, кто тыи плуги робитъ? т. е. кто сдѣлалъ этотъ плугъ?»—Англичане, отвѣчалъ панъ. А что, не хорошъ?—«Нема що казаты», продолжалъ тотъ: «а чомъ же воны, тыи галичане, до насъ въ Одестъ за хлибомъ издятъ? Чуете, пане, теперечки воны до насъ издять, а якъ мы тыми плугами будемо ораты, то уже мы до нихъ за хлибомъ поидемо!»—И онъ правъ, продолжалъ Карачунъ, когда всѣ товарищи захохотали:—голая почва наша, которую солнце припекаетъ на футъ, на полтора, хочетъ быть взрытою на такую же глубину, и тогда только даетъ и плодъ обильный; пробная десятина не дала и посѣва, и плугъ орѣховаго дерева не окупился!

— Разскажу вамъ еще подобную шутку. Помѣщикъ, сосѣдъ мой, издерживался и разорялся на охоту, на собакъ. Однажды затравилъ онъ зайца въ полѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пахаря. Радостныя восклицанія псарей и стремянныхъ возглашали побѣду, рога трубили, и восхищенный охотникъ, въ поту, въ пыли, гордо озирался. «Пане!» спросилъ его почтительно му-

жикъ, лаская собакъ и любуясь на зайца, на лошадей: «що коштуе тый заяцъ? сколько стоитъ заяцъ?» Панъ разсмѣялся неумѣстному вопросу и отвѣчалъ: рубль. «А хортъ? т. е. а собака?» — Сто рублей. — «А винь панскій? а барская лошадь?» продолжалъ неотвязчивый допросчикъ.—Пятьсотъ рублей.—«А панъ самъ», опять началъ хохолъ: «то уже звистно, що неоцененный; стало быть; рубель утикае, сто догоняе, а якъ пятьсотъ споткнется, то нашъ неоцененный убьется!— Драгуны захохотали въ голосъ.—«Всѣ мы постигаемъ недостойное этой разорительной страсти,—сказалъ Карачунъ: но прошу васъ показать на словахъ убѣдительнѣе и проще ничтожность ея и малодушіе ей подпавшаго!

## ГЛАВА IV.

### ДНЕВКА.

Во-первыхъ, напоятъ шампанскимъ на убой;
А во вторыхъ, такимъ вещамъ научатъ—
Какихъ конечно, намъ не выдумать съ тобой.

Отрядъ нашъ поднялся на гору, за которую, въ глубокомъ яру, лежалъ Чаповецъ. На подолѣ есть мѣстоположенія, изумляющія проѣзжаго дикостію и разнообразіемъ своимъ, особенно, если онъ ѣдетъ изъ южныхъ степныхъ губерній. Рыхлый черноземъ обильно питаетъ сокомъ своимъ поля пшеницы, кукурузы, дынь и арбузовъ; на песчаныхъ отлогостяхъ зеленѣются шпалерами виноградныя лозы; плодовые сады прилегаютъ къ изгибамъ ручья; дикій камень грядами пролегаетъ по гребнямъ высокихъ горъ и пригорковъ; гребельки съ водяными мельницами и бѣлыя мазаныя хаты животворятъ природу. Таково было мѣстоположеніе Чаповца. Панскій дворъ, стар-

ной постройки, лежалъ, какъ семибашенный замокъ, раскинутый на противолежащемъ скатѣ, лицомъ къ путникамъ нашимъ; по обѣ стороны главнаго средняго зданія, двои обваливпіяся огромныя ворота свидѣтельствовали о бренности подлунной; а притворенныя и шестами подпертыя ставни самаго дома и новая крыша изъ драни или тесу на одной изъ пристроекъ—о худыхъ финансахъ хозяина, который, покинувъ великолѣпное, но обветшалое обиталище прадѣдовъ, сосредоточилъ силы свои, домъ и дворъ и весь штатъ въ одномъ изъ боковыхъ флигелей. Охинъ первый замѣтилъ между строевымъ разбросаннымъ лѣсомъ двухъ пестренькихъ, стройныхъ подоляночекъ, прыгавшихъ на доскѣ, поперекъ бревна перекинутой. Онѣ, когда всадники приблизились, убѣжали во дворъ. Долго большая рябая собака, занявшая ихъ мѣсто на бревнѣ, стояла и лаяла на вѣтеръ, покуда наконецъ вышли растворить ворота, и панъ маршалокъ явился на крыльцѣ просить гостей. Въ передней встрѣтилъ ихъ самъ панъ Жабруцкій, въ сѣромъ кунтушѣ со шнурками и тесьмою, однакоже новѣйшаго покроя, со сплошными рукавами и на пуговицахъ, вмѣсто кушака. Капитанъ, старый пріятель и собутыльникъ его, представилъ въ двухъ словахъ офицеровъ своихъ, и панъ Жабруцкій обнималъ и перецѣловалъ всѣхъ ихъ въ уста и въ плечи. Онъ, казалось, радовался гостямъ непритворно, ввелъ ихъ въ покои, и представилъ женѣ и дочерямъ. Подали кофе, трубки, потомъ и закуску, водки, наливки и вина. Дамы дозволяли кавалерамъ подходить къ ручкѣ, но, подавая ее, сами ихъ не цѣловали въ щеку, какъ у насъ. Трубки не безпокоили женщинъ нисколько, а пани Жабруцкая сама курила взапуски. Разговоръ вскорѣ сдѣлался общимъ, шумнымъ и веселымъ; офицеры наши всѣ говорили по-русски, хозяева отвѣчали по-польски, но тѣ и другіе хорош

другъ друга понимали. Старикъ нерѣдко вскакивалъ среди разговора, и обнималъ въ веселомъ расположеніи гостей своихъ, увѣряя, что онъ: «далибугъ, правдзивый россіянинъ!» Карачунъ замѣтилъ, что нѣсколько дворовыхъ казаковъ полетѣло мимо оконъ въ разгонъ, въ разныя стороны, вѣроятно, сзывать ближнихъ сосѣдей или для пополненія хозяйства чѣмъ либо на скорую руку изъ ближняго мѣстечка. Три дѣвицы, несмотря на то, что не ожидали гостей, хорошо и опрятно одѣтыя, выступали павами, не смигали глазами, если кавалеры наши на нихъ обращали взоры, не шушукались, не хихикали и не прятались, какъ наши барышни, а казалось, напротивъ того, открытыми, смѣлыми взорами и улыбкою заискивали бесѣды, и вызывали къ разговорамъ и къ новому знакомству. Капитанъ первый подошелъ къ нимъ, поцѣловалъ еще разъ ручку каждой и началъ изъ учтивости ломать и коверкать польскій языкъ. Объ немъ ходила молва, будто онъ не зналъ ни одного языка, кромѣ своего природнаго, русскаго; но это было не совсѣмъ справедливо. Филологическія свѣдѣнія его ограничивались только тѣмъ, что ему удавалось пріобрѣтать на походахъ и стоянкахъ самоучкою и наслышкою. Онъ въ 14 и 15 годахъ зналъ по-нѣмецки и по-французски; и теперь еще иногда припѣвалъ французскую пѣсню: вивъ Андрей кватеръ, вивъ сюрви дерви, т. е. Vive Henri quatre, vive ce Roi des Rois! По-турецки умѣлъ спросить: качъ алтынъ? качъ пара? Веръ бана каве, чубукъ, экмекъ. По-молдавски зналъ: Пулхерица, Зоица, Смарандица, Агланца и множество другихъ женскихъ именъ, пѣлъ пѣсню: Унде каса мититика, унде фата форматика *); кромѣ того онъ говорилъ по-латышски, по-чувашски и даже нарѣчіемъ жмуди; но болѣе всего усовершенство-

*) Гдѣ маленькая избенка, гдѣ дѣвочка-красоточка.

валъ онъ себя въ болгарскомъ и въ польскомъ, и увѣрялъ, что стоитъ только постичь духъ языковъ сихъ и ломать русскій, въ первомъ случаѣ, придерживаясь славянскаго и говоря, напримѣръ, вмѣсто корова *крава*, вмѣсто молоко *млеко*, и прибавляя по усмотрѣнію иногда окончанія *ушка* и *енько*; а во второмъ перенося всѣ ударенія на предпослѣдній слогъ и расточая смѣлѣе сложныя согласныя бржи, хржи, крже и прше; дѣлая это, увѣрялъ онъ и самъ твердо былъ увѣренъ, что говорилъ по-болгарски и по-польски. Польки охотно съ нимъ связывались, спорили, кричали, учили его, и онъ такимъ образомъ непрестанно обогащалъ филологическія познанія свои. Панны: Зося, Людвися и Юзя, т. е. Софія, Людовика и Іозефа, также вмѣшались въ общій разговоръ; каждая овладѣла непримѣтно однимъ изъ гостей и взяла его подъ особенное покровительство. И нѣжный Охинъ, узнавъ въ первой, т. е. въ Зосѣ, одну изъ вольтижерокъ, тронувшихъ уже на разстояніи 200 саженъ доступное изящному сердце его, былъ вскорѣ до того погруженъ въ думы, мечты и сладкія грезы, что, сидя съ нею рядомъ и касаясь ножки ея, воображалъ, что участвуетъ въ разговорѣ и поддерживаетъ краснорѣчивую, занимательную, остроумную бесѣду, между тѣмъ какъ онъ молчалъ и даже не слышалъ, кто и о чемъ говорилъ. Не думайте, однакожъ, чтобы никто изъ домашнихъ этого всего не замѣчалъ; напротивъ, видѣли и знали все, но никому не приходило въ голову показывать это, ввязываться и мѣшаться не въ свое дѣло. Не думайте также, чтобы полька, и особенно дѣвица, вызывая васъ на вольное съ нею обращеніе, дала вамъ этимъ самымъ какое либо надъ собою право,—весьма ошибаетесь! Она нерѣдко дѣлаетъ это своевольно и своенравно, никогда притомъ не забывается и устаиваетъ твердо противъ всякаго искушенія.

*Время* до стола пролетѣло скоро: явились еще нѣ

сколько изъ сосѣдей и, послѣ прогулки, — на которой Охинъ блаженствовалъ, бѣсился, плакалъ и смѣялся по очереди, смотря по тому, его ли, или одного изъ земляковъ своихъ, рябаго усача въ черной венгеркѣ, предпочитала пастушка его, — всѣ возвратились наконецъ въ покои. Четыре жида со скрипками и цымбалами ударили въ самую ту минуту мазуречку, когда кавалерія наша поглядывала было по угламъ на сабли свои. Пуншъ и вино обносили непрестанно. Несносный, варварскій обычай—приневоливать всякими средствами гостей къ попойкѣ, одного только капитана нашего не безпокоилъ нисколько; онъ покручивалъ усы взапуски съ сарматами и разговаривалъ съ ними по-болгарски.

У насъ мазурка, и голоса, и самая пляска, искажены; народность въ томъ и другомъ утрачена. Надобно видѣть и слышать мазурку въ Польшѣ, тамъ, гдѣ старые усачи въ кунтушахъ за вистомъ моргаютъ усами и стучатъ каблуками въ мѣру, гдѣ шляхтичъ и водовозъ, княжна и прачка пляшутъ и напѣваютъ мазурку! Только краковякъ унылый и однозвучный, при всемъ разнообразіи напѣвовъ и необузданной веселости пляшущихъ, замѣняетъ иногда въ народѣ мазурку.

Около полуночи попутчики наши, — мы не откажемся, думаю, слѣдовать за ними и на обратномъ пути, — при громкихъ прощаніяхъ, восклицаніяхъ и лобызаніяхъ, благополучно отретировались на крыльцо, гдѣ драгуны съ лошадьми ихъ ожидали. «Тршимайся, пáне капитáне, тршимайся!» кричалъ панъ Жабруцкій вслѣдъ гостямъ своимъ и, подымая свѣчу выше головы, едва не поджегъ соломенной стрѣхи навѣса. Охинъ еще разъ бросилъ болѣзненный взоръ на панну Зосю, на рябаго усача въ черной венгеркѣ, и вскорѣ отдавался только въ ушахъ всадниковъ топотъ собственныхъ коней ихъ, отдаленный крикъ пѣтуховъ и лай собакъ. Подъ гору, на гору и опять подъ гору—и Охинъ былъ

лишенъ даже послѣдней отрады и утѣшенія встрѣчать взорами, оборачиваясь назадъ, привѣтливые просвѣты оконъ той храмины, въ которой онъ оставилъ сердце свое на сохраненіе и сбереженіе.

## ГЛАВА V.

### ТРЕВОГА.

**Свѣтаетъ! Ахъ, какъ скоро ночь минула!**

Молча герои наши продолжали путь свой шагомъ и рысью; только трубки ихъ иногда искрились въ потьмахъ, и капитанъ повременамъ покрикивалъ: «Фальшь!» когда усталый конь его начиналъ дробить ногами. Охина не было дома: онъ заносился и взвивался, какъ ликующій жаворонокъ. Герстенмейеръ былъ недоволенъ брудеромъ своимъ, Карачуномъ, который отбивалъ у него панну Іозефу, и бѣсился на рябаго поляка, который осмѣлился плясать мазурку за мазуркой, въ кенгеркѣ, хотя офицеры всѣ были въ мундирахъ; а Костроминъ увѣрялъ его, что всему этому причиной то, что онъ сегодня не надѣлъ лядунки! Наконецъ Карачунъ затянулъ вполголоса: «Не одна-то во полѣ дороженька пролегала»; подголоски юнкера́, и прочіе всѣ, приставали одинъ по одному, а Охинъ, поотставъ немного отъ товарищей своихъ, убаюкивалъ и лелѣялъ нѣжныя чувства свои на созвучіи стройныхъ и согласныхъ родныхъ напѣвовъ. Часъ, другой, третій промчались непримѣтно. Заря занялась, а наконецъ и солнце озолотило утро, которому подобнаго Охинъ не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ встрѣчалъ солнце на конѣ. Чаповецъ, Огирки и опять Чаповецъ безпрестанно пестрѣлись въ воображеніи его; и когда наконецъ Огирки,

оживленныя многолюднымъ стеченіемъ, предстали взору его,—хотѣлось воротиться въ Чаповецъ.

Въ Огиркахъ каждыя двѣ недѣли, въ воскресенье, была ярмарка, и герои наши пробирались между шумными кучами народа. Здѣсь жиды и жидовки продавали съ возу деготъ, сало, свѣчи, табакъ, мыло и водку; все это было ими взято отъ пана на откупъ, и вольная продажа заказана. Мужики торговали только овсомъ, хлѣбомъ, сѣномъ, арбузами и дынями, кукурузой и лукомъ, а жиды ихъ обманывали, обвѣшивали и обмѣривали. Дѣло кончалось тѣмъ, что хохолъ продавалъ на гривну, а пропивалъ полтину. Горшки и бублики, по сану своему, занимали почетныя мѣста площади. Дѣвки и бабы, разубранныя, толпились около нихъ, толкались, кричали и шумѣли большею частію безъ дѣла. Ярмарка для нихъ праздникъ, прогулка. Слѣпой старикъ игралъ на рылѣ (лирѣ) и воспѣвалъ походы гетмана Богдана Хмѣльницкаго; овцы, сбившись въ кучу лбами, протяжно вторили ему; поросята съ возу прихрюкивали, драгуны выхваляли прочность и дешевизну выношенныхъ, заслуженныхъ шинелей, сапоговъ и мундировъ; деньщики терлись между возами, проклинали смолу и деготь на колесахъ, и закупали на четырнадцать грошей хозяйственный двухнедѣльный запасъ для господъ своихъ, до будущей ярмарки.

Доѣхавъ до общей квартиры своей, всѣ молча слѣзли съ коней. Охинъ первый спросилъ чаю, а капитанъ уже съ нетерпѣніемъ ожидалъ этого, чтобы возгласить: «а между прочимъ водки!» Герстенмейеръ, у котораго рана, полученная имъ подъ Боялештами, всегда разбаливалась, когда онъ сердился, отправилъ гонца въ полковой штабъ, къ доктору, за камфорнымъ спиртомъ. Всѣ улеглись вповалку, ставни затворились, и деньщики, проспавшіе благополучно ночь, спокойно покуривали, сидя на крыльцѣ, дешевые корешки, отгоняли

всю корчму, и жидовокъ и жиденятъ, и все племя израилево!» — «Розогъ!» подхватилъ капитанъ, «а между прочимъ водки».—«Постой, Карлъ Карловичъ, не горячись»,—сказалъ Костроминъ; «не забудь, что мы ѣдемъ къ пану Жабруцкому, а этотъ корчмарь его арендаржъ; итакъ неловко будетъ начать новое знакомство такимъ образомъ. Лучше мы ему дѣло поразскажемъ и будемъ требовать, чтобы онъ жида наказалъ.»—Итакъ панъ арендаржъ отдѣлался на этотъ разъ доброю заушиной, которою снабдилъ его на прощанье Карлъ Карловичъ, и кавалерія наша, выпроводивъ хохла на большую дорогу, тронулась на Чаповецъ

Потолковавъ объ этомъ происшествіи и объ угнетеніи юго-западныхъ губерній нашихъ жидами, капитанъ опять придрался къ хохлу, какъ онъ называлъ Карачуна, и утверждалъ, что безмозглые земляки его сами этому причиной. «Не поддавайся», кричалъ онъ, какъ будто командовалъ передъ эскадрономъ, «не поддавайся, такъ и помыкать тобою не будутъ!»—Золотое правило,—замѣтилъ Карачунъ;—но опытъ намъ показываетъ, что не всѣ и не всегда могутъ ему слѣдовать. Сообразите все, любезный капитанъ, всѣ обстоятельства, средства и пронырливыя ухватки, коими это пресмыкающееся племя исконь научилось пользоваться для притѣсненія и угнетенія бѣднаго крестьянина,—ухватки, переходящія какъ достояніе наслѣдственное изъ рода въ родъ, отъ отца [illegible] внуку,—и мы не [illegible]имъ, чтобы [illegible]жиковъ; не- [illegible]къ деньгамъ [illegible]дворянство поль- [illegible]ей всю жизнь свою [illegible]тованію искусство [illegible]ствами и нуждами

ношадей:
ъ?» Панъ
ь: рубль.
– «А винь
твязчивый
ъ», опять
диненный;
якъ пять-
убьется!—
постигаемъ
казалъ Ка-
ахъ убѣди-
одушіе ей

ъ на убой;
ъ научать—
ть съ тобой.

рую, въ
лѣ есть
остію и
ѣдетъ
рноземъ
ы, куку-
логостяхъ
, плодовые
дикій камень
окихъ горъ и
льницами и
. Таково
старцы-

— Не горячись! — прервалъ его Карачунъ: — и у насъ въ Россіи то же, но это не Лифляндія и не Россія; послушай. Нѣкто богатый помѣщикъ въ Малороссіи, одушевленный твоею мыслію, вздумалъ быть преобразователемъ страны своей; онъ выписалъ между прочимъ изъ Англіи патентованную соху, или плугъ орѣховаго дерева, съ мѣдною полированною оковкою, на лемешѣ (сошникѣ) котораго было насѣчено: **patent silver steel**, и выгналъ въ одно воскресенье все село въ поле, чтобы новымъ плугомъ взорать при всѣхъ пробную десятину. Хохлы, въ ожиданіи пана своего, собрались въ кучу около новаго плуга, толковали и разсуждали. Панъ пріѣзжаетъ: всѣ почтительно снимаютъ шапки, разступаются, подводятъ къ плугу лошадей. «Пане!» спросилъ тогда старинаго закала чубатый хохолъ: спытаюсь я у пана, кто тыи плуги робитъ? т. е. кто сдѣлалъ этотъ плугъ?»—Англичане, отвѣчалъ панъ. А что, не хорошъ?—«Нема що казаты», продолжалъ тотъ: «а чомъ же воны, тыи галичане, до насъ въ Одестъ за хлибомъ издятъ? Чуете, пане, теперечки воны до насъ издять, а якъ мы тыми плугами будемо ораты, то уже мы до нихъ за хлибомъ пойдемо!»—И онъ правъ, продолжалъ Карачунъ, когда всѣ товарищи захохотали:—голая почва наша, которую солнце припекаетъ на футъ, на полтора, хочетъ быть взрытою на такую же глубину, и тогда только даетъ и плодъ обильный; пробная десятина не дала и посѣва, и плугъ орѣховаго дерева не окупился!

— Разскажу вамъ еще подобную шутку. Помѣщикъ, сосѣдъ мой, издерживался и разорялся на охоту, на собакъ. Однажды затравилъ онъ зайца въ полѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пахаря. Радостныя восклицанія псарей и стремянныхъ возглашали побѣду, рога трубили, и восхищенный охотникъ, въ поту, въ пыли, *гордо* озирался. «Пане!» спросилъ его почтительно му-

жикъ, лаская собакъ и любуясь на зайца, на лошадей: «що коштуе тый заяцъ? сколько стоитъ заяцъ?» Панъ разсмѣялся неумѣстному вопросу и отвѣчалъ: рубль. «А хортъ? т. е. а собака?» — Сто рублей. — «А винь панскій? а барская лошадь?» продолжалъ неотвязчивый допросчикъ.—Пятьсотъ рублей.—«А панъ самъ», опять началъ хохолъ: «то уже звистно, що неоциненный; стало быть; рубель утикае, сто догоняе, а якъ пятьсотъ споткнется, то нашъ неоцененный убьется!— Драгуны захохотали въ голосъ.—«Всѣ мы постигаемъ недостойное этой разорительной страсти,—сказалъ Карачунъ: но прошу васъ показать на словахъ убѣдительнѣе и проще ничтожность ея и малодушіе ей подпавшаго!

## ГЛАВА IV.

### ДНЕВКА.

Во-первыхъ, напоятъ шампанскимъ на убой;
А во вторыхъ, такимъ вещамъ научатъ—
Какихъ конечно, намъ не выдумать съ тобой.

Отрядъ нашъ поднялся на гору, за которую, въ глубокомъ яру, лежалъ Чаповецъ. На подолѣ есть мѣстоположенія, изумляющія проѣзжаго дикостію и разнообразіемъ своимъ, особенно, если онъ ѣдетъ изъ южныхъ степныхъ губерній. Рыхлый черноземъ обильно питаетъ сокомъ своимъ поля пшеницы, кукурузы, дынь и арбузовъ; на песчаныхъ отлогостяхъ зеленѣются шпалерами виноградныя лозы; плодовые сады прилегаютъ къ изгибамъ ручья; дикій камень грядами пролегаетъ по гребнямъ высокихъ горъ и пригорковъ; гребельки съ водяными мельницами и бѣлыя мазаныя хаты животворятъ природу. Таково было мѣстоположеніе Чаповца. Панскій дворъ, старин-

ной постройки, лежалъ, какъ семибашенный замокъ, раскинутый на противолежащемъ скатѣ, лицомъ къ путникамъ нашимъ; по обѣ стороны главнаго средняго зданія, двои обваливпіяся огромныя ворота свидѣтельствовали о бренности подлунной; а притворенныя и шестами подпертыя ставни самаго дома и новая крыша изъ драни или тесу на одной изъ пристроекъ—о худыхъ финансахъ хозяина, который, покинувъ великолѣпное, но обветшалое обиталище прадѣдовъ, сосредоточилъ силы свои, домъ и дворъ и весь штатъ въ одномъ изъ боковыхъ флигелей. Охинъ первый замѣтилъ между строевымъ разбросаннымъ лѣсомъ двухъ пестренькихъ, стройныхъ подоляночекъ, прыгавшихъ на доскѣ, поперекъ бревна перекинутой. Онѣ, когда всадники приблизились, убѣжали во дворъ. Долго большая рябая собака, занявшая ихъ мѣсто на бревнѣ, стояла и лаяла на вѣтеръ, покуда наконецъ вышли растворить ворота, и панъ маршалокъ явился на крыльцѣ просить гостей. Въ передней встрѣтилъ ихъ самъ панъ Жабруцкій, въ сѣромъ кунтушѣ со шнурками и тесьмою, однакоже новѣйшаго покроя, со сплошными рукавами и на пуговицахъ, вмѣсто кушака. Капитанъ, старый пріятель и собутыльникъ его, представилъ въ двухъ словахъ офицеровъ своихъ, и панъ Жабруцкій обнималъ и перецѣловалъ всѣхъ ихъ въ уста и въ плечи. Онъ, казалось, радовался гостямъ непритворно, ввелъ ихъ въ покои, и представилъ женѣ и дочерямъ. Подали кофе, трубки, потомъ и закуску, водки, наливки и вина. Дамы дозволяли кавалерамъ подходить къ ручкѣ, но, подавая ее, сами ихъ не цѣловали въ щеку, какъ у насъ. Трубки не безпокоили женщинъ нисколько, а пани Жабруцкая сама курила взапуски. Разговоръ вскорѣ сдѣлался общимъ, шумнымъ и веселымъ; офицеры наши всѣ говорили по-русски, хозяева отвѣчали по-польски, но тѣ и другіе хорошо

другъ друга понимали. Старикъ нерѣдко вскакивалъ среди разговора, и обнималъ въ веселомъ расположеніи гостей своихъ, увѣряя, что онъ: «далибугъ, правдзивый россіянинъ!» Карачунъ замѣтилъ, что нѣсколько дворовыхъ казаковъ полетѣло мимо оконъ въ разгонъ, въ разныя стороны, вѣроятно, сзывать ближнихъ сосѣдей или для пополненія хозяйства чѣмъ либо на скорую руку изъ ближняго мѣстечка. Три дѣвицы, несмотря на то, что не ожидали гостей, хорошо и опрятно одѣтыя, выступали павами, не смигали глазами, если кавалеры наши на нихъ обращали взоры, не шушукались, не хихикали и не прятались, какъ наши барышни, а казалось, напротивъ того, открытыми, смѣлыми взорами и улыбкою заискивали бесѣды, и вызывали къ разговорамъ и къ новому знакомству. Капитанъ первый подошелъ къ нимъ, поцѣловалъ еще разъ ручку каждой и началъ изъ учтивости ломать и коверкать польскій языкъ. Объ немъ ходила молва, будто онъ не зналъ ни одного языка, кромѣ своего природнаго, русскаго; но это было не совсѣмъ справедливо. Филологическія свѣдѣнія его ограничивались только тѣмъ, что ему удавалось пріобрѣтать на походахъ и стоянкахъ самоучкою и наслышкою. Онъ въ 14 и 15 годахъ зналъ по-нѣмецки и по-французски; и теперь еще иногда припѣвалъ французскую пѣсню: вивъ Андрей кватеръ, вивъ сюрви дерви, т. е. Vive Henri quatre, vive ce Roi des Rois! По-турецки умѣлъ спросить: качъ алтынъ? качъ пара? Веръ бана каве, чубукъ, экмекъ. По-молдавски зналъ: Пулхерица, Зопца, Смарандица, Аглаица и множество другихъ женскихъ именъ, пѣлъ пѣсню: Унде каса мититика, унде фата форматика *); кромѣ того онъ говорилъ по-латышски, по-чувашски и даже нарѣчіемъ жмуди; но болѣе всего усовершенство-

*) Гдѣ маленькая избенка, гдѣ дѣвочка-красоточка.

валъ онъ себя въ болгарскомъ и въ польскомъ, и увѣрялъ, что стоитъ только постичь духъ языковъ сихъ и ломать русскій, въ первомъ случаѣ, придерживаясь славянскаго и говоря, напримѣръ, вмѣсто корова *крава*, вмѣсто молоко *млеко*, и прибавляя по усмотрѣнію иногда окончанія *ушка* и *енько*; а во второмъ перенося всѣ ударенія на предпослѣдній слогъ и расточая смѣлѣе сложныя согласныя бржи, хржи, крже и прше; дѣлая это, увѣрялъ онъ и самъ твердо былъ увѣренъ, что говорилъ по-болгарски и по-польски. Польки охотно съ нимъ связывались, спорили, кричали, учили его, и онъ такимъ образомъ непрестанно обогащалъ филологическія познанія свои. Панны: Зося, Людвися и Юзя, т. е. Софія, Людовика и Іозефа, также вмѣшались въ общій разговоръ; каждая овладѣла непримѣтно однимъ изъ гостей и взяла его подъ особенное покровительство. И нѣжный Охинъ, узнавъ въ первой, т. е. въ Зосѣ, одну изъ вольтижерокъ, тронувшихъ уже на разстояніи 200 саженъ доступное изящному сердце его, былъ вскорѣ до того погруженъ въ думы, мечты и сладкія грезы, что, сидя съ нею рядомъ и касаясь ножки ея, воображалъ, что участвуетъ въ разговорѣ и поддерживаетъ краснорѣчивую, занимательную, остроумную бесѣду, между тѣмъ какъ онъ молчалъ и даже не слышалъ, кто и о чемъ говорилъ. Не думайте, однакожь, чтобы никто изъ домашнихъ этого всего не замѣчалъ; напротивъ, видѣли и знали все, но никому не приходило въ голову показывать это, ввязываться и мѣшаться не въ свое дѣло. Не думайте также, чтобы полька, и особенно дѣвица, вызывая васъ на вольное съ нею обращеніе, дала вамъ этимъ самымъ какое либо надъ собою право,—весьма ошибаетесь! Она нерѣдко дѣлаетъ это своевольно и своенравно, никогда притомъ не забывается и устаиваетъ твердо противъ всякаго искушенія.

*Время до стола* пролетѣло скоро: явились еще нѣ

сколько изъ сосѣдей и, послѣ прогулки, — на которой Охинъ блаженствовалъ, бѣсился, плакалъ и смѣялся по очереди, смотря по тому, его ли, или одного изъ земляковъ своихъ, рябаго усача въ черной венгеркѣ, предпочитала пастушка его, — всѣ возвратились наконецъ въ покои. Четыре жида со скрипками и цымбалами ударили въ самую ту минуту мазуречку, когда кавалерія наша поглядывала было по угламъ на сабли свои. Пуншъ и вино обносили непрестанно. Несносный, варварскій обычай—приневоливать всякими средствами гостей къ попойкѣ, одного только капитана нашего не безпокоилъ нисколько; онъ покручивалъ усы взапуски съ сарматами и разговаривалъ съ ними по-болгарски.

У насъ мазурка, и голоса, и самая пляска, искажены; народность въ томъ и другомъ утрачена. Надобно видѣть и слышать мазурку въ Польшѣ, тамъ, гдѣ старые усачи въ кунтушахъ за вистомъ моргаютъ усами и стучатъ каблуками въ мѣру, гдѣ шляхтичъ и водовозъ, княжна и прачка пляшутъ и напѣваютъ мазурку! Только краковякъ унылый и однозвучный, при всемъ разнообразіи напѣвовъ и необузданной веселости пляшущихъ, замѣняетъ иногда въ народѣ мазурку.

Около полуночи попутчики наши, — мы не откажемся, думаю, слѣдовать за ними и на обратномъ пути, — при громкихъ прощаніяхъ, восклицаніяхъ и лобызаніяхъ, благополучно отретировались на крыльцо, гдѣ драгуны съ лошадьми ихъ ожидали. «Тршимайся, панѐ капитàне, тршимайся!» кричалъ панъ Жабруцкій вслѣдъ гостямъ своимъ и, подымая свѣчу выше головы, едва не поджегъ соломенной стрѣхи навѣса. Охинъ еще разъ бросилъ болѣзненный взоръ на панну Зосю, на рябаго усача въ черной венгеркѣ, и вскорѣ отдавался только въ ушахъ всадниковъ топотъ собственныхъ коней ихъ, отдаленный крикъ пѣтуховъ и лай собакъ. Подъ гору, на гору и опять подъ гору—и Охинъ былъ

лишенъ даже послѣдней отрады и утѣшенія встрѣчать взорами, оборачиваясь назадъ, привѣтливые просвѣты оконъ той храмины, въ которой онъ оставилъ сердце свое на сохраненіе и сбереженіе.

## ГЛАВА V.

### ТРЕВОГА.

Свѣтаетъ! Ахъ, какъ скоро ночь минула!

Молча герои наши продолжали путь свой шагомъ и рысью; только трубки ихъ иногда искрились въ потьмахъ, и капитанъ повременамъ покрикивалъ: «Фальшь!» когда усталый конь его начиналъ дробить ногами. Охина не было дома: онъ заносился и взвивался, какъ ликующій жаворонокъ. Герстенмейеръ былъ недоволенъ брудеромъ своимъ, Карачуномъ, который отбивалъ у него панну Іозефу, и бѣсился на рябаго поляка, который осмѣлился плясать мазурку за мазуркой, въ юнгеркѣ, хотя офицеры всѣ были въ мундирахъ; а Костроминъ увѣрялъ его, что всему этому причиной то, что онъ сегодня не надѣлъ лядунки! Наконецъ Карачунъ затянулъ вполголоса: «Не одна-то во полѣ дороженька пролегала»; подголоски юнкера́, и прочіе всѣ, приставали одинъ по одному, а Охинъ, поотставъ немного отъ товарищей своихъ, убаюкивалъ и лелѣялъ нѣжныя чувства свои на созвучіи стройныхъ и согласныхъ родныхъ напѣвовъ. Часъ, другой, третій промчались неприметно. Заря занялась, а наконецъ и солнце озолотило утро, которому подобнаго Охинъ не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ встрѣчалъ солнце на конѣ. Чаповецъ, Огирки и опять Чаповецъ безпрестанно пестрѣлись въ воображеніи его; и когда наконецъ Огирки,

оживленныя многолюднымъ стеченіемъ, предстали взору его,—хотѣлось воротиться въ Чаповецъ.

Въ Огиркахъ каждыя двѣ недѣли, въ воскресенье, была ярмарка, и герои наши пробирались между шумными кучами народа. Здѣсь жиды и жидовки продавали съ возу деготь, сало, свѣчи, табакъ, мыло и водку; все это было ими взято отъ пана на откупъ, и вольная продажа заказана. Мужики торговали только овсомъ, хлѣбомъ, сѣномъ, арбузами и дынями, кукурузой и лукомъ, а жиды ихъ обманывали, обвѣшивали и обмѣривали. Дѣло кончалось тѣмъ, что хохолъ продавалъ на гривну, а пропивалъ полтину. Горшки и бублики, по сану своему, занимали почетныя мѣста площади. Дѣвки и бабы, разубранныя, толпились около нихъ, толкались, кричали и шумѣли большею частію безъ дѣла. Ярмарка для нихъ праздникъ, прогулка. Слѣпой старикъ игралъ на рылѣ (лирѣ) и воспѣвалъ походы гетмана Богдана Хмѣльницкаго; овцы, сбившись въ кучу лбами, протяжно вторили ему; поросята съ возу прихрюкивали, драгуны выхваляли прочность и дешевизну выношенныхъ, заслуженныхъ шинелей, сапоговъ и мундировъ; деньщики терлись между возами, проклинали смолу и деготь на колесахъ, и закупали на четырнадцать грошей хозяйственный двухнедѣльный запасъ для господъ своихъ, до будущей ярмарки.

Доѣхавъ до общей квартиры своей, всѣ молча слѣзли съ коней. Охинъ первый спросилъ чаю, а капитанъ уже съ нетерпѣніемъ ожидалъ этого, чтобы возгласить: «а между прочимъ водки!» Герстенмейеръ, у котораго рана, полученная имъ подъ Боялештами, всегда разбаливалась, когда онъ сердился, отправилъ гонца въ полковой штабъ, къ доктору, за камфорнымъ спиртомъ. Всѣ улеглись вповалку, ставни затворились, и деньщики, проспавшіе благополучно ночь, спокойно покуривали, сидя на крыльцѣ, дешевые корешки, отгонявъ

шумныя базарныя толпы отъ оконъ почивающихъ господъ своихъ и тонкими голосами дразнили босыхъ дѣвокъ и бабъ въ черевикахъ, или червонныхъ чоботахъ съ подковками.

Хотите ли заглянуть между тѣмъ въ полковой штабъ? Тамъ, отъ Огирокъ верстахъ въ 20, несмотря на воскресный день, давнымъ-давно уже кипѣло ученье, конное и пѣшее, одиночная выправка, сабельные и ружейные пріемы и манежная ѣзда; и полковникъ, повѣстивъ уже съ вечера, за худые успѣхи въ будни, ученье на завтрашній праздникъ, далъ Агамемнону и Минервѣ, которые не пошли траверсомъ, по 50 плетей, и заперся одинъ въ кабинетѣ своемъ. Неисправности въ швальнѣ, въ канцеляріи и въ музыкантской школѣ превзошли мѣру терпѣнія его; онъ объявилъ адъютанту, что смѣняетъ его, а Охина назначаетъ на его мѣсто, и приказалъ самому адъютанту написать объ этомъ приказъ по полку. Но довольно; оставимъ это, и заглянемъ теперь и въ Чаповецъ.

Оттуда, вслѣдъ за нашими кавалерами, отправились и гости; домъ опустѣлъ, все стихло, свѣтъ — окно за окномъ — исчезалъ; все погрузилось во тьму ночную; топотъ и хохотъ отзывался только въ покоѣ панянокъ, которыя мѣряли, взвѣшивали и цѣнили достоинства, преимущества и недостатки новыхъ поклонниковъ своихъ;—наконецъ и это смолкло, и только тихій шелестъ шаговъ въ саду могъ бы увѣрить въ томъ, что еще не все въ домѣ заснуло, и что животное, перескочившее черезъ плетень съ улицы въ садъ, былъ человѣкъ, а не собака, какъ то увѣрялъ ночной сторожъ, стоявшій за садомъ, случайно проходившаго въ такое позднее время нашего знакомца, еврея Мойшеля, арендаря пана Жабруцкаго. Итакъ намъ остается только возвратиться въ Огирки, гдѣ мы покинули кавалерію *нашу въ* глубокомъ снѣ.

Капитанъ обошелъ уже, въ архалукѣ и фескѣ, съ трубкою, конюшни свои, надъ каждою изъ коихъ возносился вѣнецъ съ пучками соломы; былъ на чисткѣ, на проводкѣ, и направилъ стопы свои въ казарму, общую квартиру своихъ офицеровъ, чтобы стащить съ нихъ одежду, и, придравшись къ любому изъ нихъ, при воззваніи къ Лафлёрамъ, потребовать, *между прочимъ*, водки. Но здѣсь онъ нашелъ все и всѣхъ въ тревогѣ; разсыльный изъ полковаго штаба стоялъ у воротъ, а Охинъ, съ бумагою въ рукахъ, встрѣтилъ капитана на крыльцѣ, внѣ-себя, въ тоскѣ, въ горести и—если бы не стыдно было, то сказалъ бы — въ слезахъ. Капитанъ взялъ бумагу и прочиталъ: «Господину поручику и кавалеру Охину. Съ полученія сего, предписывается вашему благородію, безъ малѣйшаго замедленія, подъ строжайшею отвѣтственностію, явиться въ полковой штабъ, вступить въ должность полковаго адъютанта и завѣдывать оною впредь до повелѣнія» — Дѣлать нечего,—сказалъ капитанъ:—слезою моря не наполнишь, а кручиною поля не изъѣздишь; сѣдлай да ступай; а на прощанье—выпьемъ!

Охинъ не могъ придти въ себя: ясно было, что предстоящая ему невозможность продолжать знакомство свое съ Жабруцкими сокрушала его не менѣе предчувствія о безконечномъ и неизбѣжномъ горѣ въ новой должности своей, для которой онъ, впрочемъ, вовсе не былъ созданъ. Ему ли, безпечному, изнѣженному, а вдобавокъ еще и влюбленному, исправлять должность адъютанта, вести письменныя дѣла и драться съ пьяными писарями, смотрѣть за музыкантскою школою, за швальнями, за мастеровыми, словомъ—взять на руки всю безпардонную, нестроевую силу! Но что главное... тогда прости Зося, померкни звѣзда счастія, заря обѣтованнаго въ грезахъ блаженства — залогъ правды небесной, все прости!

## ГЛАВА VI.

### ОТБОЙ.

Вотъ то-то, невзначай; за вами примѣчаю.
Такъ вѣрно съ умысломъ...

Наконецъ Охинъ, какъ будто мгновенно новая мысль просвѣтила бѣдствовавшую душу его,—Охинъ, слабый и нерѣшительный, вскочилъ, ударилъ кулакомъ по столу и, съ твердостью, какой товарищи доселѣ въ немъ видѣть не привыкли, объявилъ, что не поѣдетъ въ штабъ и не вступитъ въ должность адъютанта! «Я боленъ», продолжалъ онъ: «и не могу нести этой должности. Богъ свидѣтель, что я не лгу; я боленъ! Клянусь не выходить изъ дому въ продолженіе цѣлой недѣли, двухъ, трехъ!—Подай халатъ, Ванька!»—Эй, халатъ! — подхватилъ капитанъ: — а между прочимъ, водки: надобно выпить за здоровье болѣющаго! Эй, братъ, Охинъ; берегись, я что-то подмѣчаю за тобою..

«Онъ, кажется», возразилъ Карачунъ: «чуть ли не намѣренъ избавить пѣхотныхъ отъ обязанности, которую вы, капитанъ, на нихъ хотѣли возложить!»—Легче затягивайся,—закричалъ Костроминъ, отнявъ у Охина трубку:—ты подавишься или задохнешься!—Но Охинъ, не внимая ни шуткамъ, ни насмѣшкамъ и пребывая твердымъ въ намѣреніи своемъ, написалъ рапортъ, что, по приключившейся съ нимъ *вчерашняго числа* болѣзни, службы, на него возлагаемой, нести не можетъ. Разсыльный сѣлъ на выранжированнаго, подъемнаго, разбитаго коня, и поплелся въ штабъ.

«Бей отбой, когда такъ», сказалъ Костроминъ: «фальшивая тревога!»—Не совсѣмъ,—замѣтилъ Кара-

чунъ:—я, напротивъ, думаю, что смѣло можно ударить во всѣ палки; тревога теперь только-что начнется! *Чувствительное сердце* взбѣсится, пришлетъ освидѣтельствовать нашего больнаго, полетитъ предписаніе за предписаніемъ, а бѣдные Минерва и Агамемнонъ и ѣздоки ихъ лишній разъ за это должны будутъ оттерпѣться!

«Бросимъ это», закричалъ капитанъ, намекая на вчерашнія слова Охина, и подошелъ къ нему; «поговоримъ лучше о дѣльномъ».—О водкѣ?—спросилъ Охинъ. Всѣ захохотали въ голосъ, пробили въ ладоши: «браво!» и удивлялись замысловатому и рѣшительному тону Охина.—«Съ тобой я не стану говорить о водкѣ», продолжалъ капитанъ: «ты въ ней знаешь столько же толку, какъ татарскій мулла; съ тобою я поговорю о полькахъ, о которыхъ ты разспрашивалъ вчера Костромина, а нынѣ самъ съ ними познакомился; поразскажи намъ что нибудь; каково, напримѣръ панна Зося отхва тывала съ паномъ Пршепловецкимъ мазурку»?

— Я этого рябаго усатаго жука застрѣлю когда нибудь,—сказалъ Герстенмейеръ:—если онъ еще осмѣлится плясать при мнѣ въ венгеркѣ.

«А ломался» примолвилъ капитанъ: «какъ звонарь на колокольнѣ, нечего сказать»!

— Пѣсни и пляска народныя даже и не въ первобытномъ своемъ состояніи, — началъ Костроминъ: — а болѣе или менѣе искусствомъ и просвѣщеніемъ искаженныя, носятъ на себѣ отпечатокъ кореннаго, основнаго нрава и быта народнаго въ высокой степени. О пѣсняхъ это уже давно замѣчено: страстный испанецъ, томясь глубокою сладострастною нѣгою, никогда не выразитъ чувствъ своихъ нашѣвомъ французскаго, нѣжнаго, игриваго романса или водевилемъ; а народное русское ухо не найдетъ ни въ томъ, ни въ другомъ

выраженіи той сердечной сладкой грусти, которую изливаетъ его заунывная: притуманились очи ясныя! Но тоже самое можно сказать и о пляскѣ. Французская кадриль, верхъ искусства плясокъ общественныхъ, собственно изобрѣтеніе образованнаго французскаго круга, изображаетъ намъ, въ мимикѣ своей, людей веселыхъ, искусныхъ, ловкихъ на паркетѣ, легкихъ, изобрѣтательныхъ на игрушки, непостоянныхъ; изображаетъ тонкость, кокетство, живость, проворство, этикетъ, верхъ утонченности и приличія на всѣ бездѣлки. Фанданго составленъ изъ положеній тѣла человѣческаго, живописующихъ страсть, нѣгу, безпечность, сладостное изступленіе. Тирольская пляска наполняетъ васъ чувствами истинно-патріархальными. Кто видѣлъ пляшущихъ молдаванъ, которые берутся руками за пояса другъ друга и медленно поворачиваются, притопывая согласно ногами, тотъ согласится, что если бы заставить человѣка плясать насильно, то онъ не могъ бы найти пляски, требующей менѣе ловкости, проворства, напряженія силъ и изобрѣтательности: каждое невольное однообразное движеніе показываетъ, что ему смертная лѣнь поднять руку или ногу!—Ни въ одной пляскѣ, напротивъ, человѣкъ, ломаясь всячески, не принимаетъ на себя столь смѣлой, важной и отважной молодцоватой осанки, какъ въ мазуркѣ: это одушевленная ловкость, спѣсь, притворная откровенность, самохвальство, торжество надъ ничѣмъ, а наконецъ и вольное, короткое обращеніе съ другимъ поломъ. Даже венгерская пляска выражаетъ не то: въ ней болѣе забавнаго, веселаго и шутовской предпріимчивости.

— Правда,—закричалъ Карачунъ: — наша русская пляска выражаетъ, напротивъ, въ разнообразныхъ движеніяхъ и положеніяхъ своихъ не одну радость и *восторгъ* изступительный, но и чувства иныя: искрен-

нюю веселость, грусть, тоску, задумчивость, отвагу, рѣшимость и силу тѣлесную.

Въ разговорѣ этомъ, продлившемся до самаго обѣда, участвовали всѣ, кромѣ Охина. Онъ, сидя у окна, перелистывалъ польскіе разговоры. Насталъ вечеръ. Человѣкъ верхомъ, въ сюртукѣ съ красною выпушкою и бѣлыми пуговицами, остановилъ коня своего подъ низкимъ окномъ казармы, какъ капитанъ называлъ общую квартиру офицеровъ, и этотъ съ восклицаніемъ: здравствуй, воскреситель! выскочилъ въ окно, обнялъ штабъ-лекаря и спросилъ, не привезъ ли онъ въ гостинецъ горькаго набору? «Я слабъ желудкомъ,» продолжалъ онъ, «а чаю въ ротъ не беру, такъ надобно чѣмъ нибудь подкрѣпить молодость свою.» Потомъ, свявши феску съ головы, нагнувшись и поглаживая себя по лысинѣ, прибавилъ: «вотъ чудотворецъ, тебѣ задача — вспаши, заборони и посѣй, хоть кудряваго чебреца, хоть долговолосой кукурузы, лишь бы выросла!»

— Прежде всего, вотъ это, — сказалъ докторъ, вступая съ нимъ въ комнату; подалъ ему бумагу и поздоровался съ офицерами. Всѣ его встрѣтили дружески, пожимая руку. Если врачъ, достойный званія своего, умѣетъ сколько нибудь обживаться съ людьми, то отношеніе его къ однополчанамъ бываетъ болѣе нежели пріязненное, дружеское. Въ самомъ дѣлѣ, онъ, въ составѣ полка, есть звено, не входящее въ эту цѣпь постепенной и непрестанной подчиненности, но, не менѣе того, необходимое для поддержанія цѣлаго. Съ нимъ, а иногда съ полковымъ священникомъ, если онъ довольно образованъ, можно, забывшись на время, найти развлеченіе бесѣдою о вещахъ, непринадлежащихъ собственно къ службѣ. Офицеры между собою такъ обжились съ этимъ предметомъ, что могутъ находить отрадное разнообразіе въ разговорѣ только съ

помощію посторонняго собесѣдника, который заставляетъ ихъ забыть на одинъ мигъ полезныя и необходимыя, но не менѣе того однообразныя занятія свои, которыя, какъ привидѣнія, являются имъ во всякомъ предметѣ, ихъ окружающемъ. Кромѣ того само собою разумѣется, что медикъ, умѣющій заслужить довѣріе, пользуется любовію и уваженіемъ въ немъ нуждающихся. Но не бываетъ и безъ непріятностей разнаго рода, которыхъ избѣгнуть иногда весьма трудно, и къ коимъ въ особенности принадлежитъ крайне затруднительное положеніе его, если офицеры не могутъ ладить съ полковникомъ, а этотъ послѣдній, опираясь на немъ, ставитъ ето между двухъ огней.

Я говорю о несносномъ обыкновеніи иныхъ командировъ—требовать отъ врача каждый разъ, если офицеръ заболѣваетъ, письменнаго на то свидѣтельства. Къ счастію, командировъ такихъ немного. Это, воля ваша, несовмѣстно съ честію воинскою, и подчиненные не даромъ жалуются на оскорбленное самолюбіе! Это должно дѣлать съ разборчивостью, и только тамъ, гдѣ офицеръ подаетъ явный къ тому поводъ. Если офицеръ и подлинно иногда бываетъ вынужденъ прибѣгнуть къ единственному средству, чтобы избавиться отъ гласныхъ непріятностей, сказаться больнымъ и посидѣть дня два дома, то что остается дѣлать врачу, который, напримѣръ, у нашего *чувствительнаго сердца* долженъ пересвидѣтельствовать въ короткое время всѣхъ до одного? Надобно быть слишкомъ увѣрену въ совершенномъ здоровьѣ свидѣтельствуемаго, чтобы сказать объ офицерѣ, товарищѣ своемъ: онъ лжетъ и притворяется,—и все это по строгой формѣ и на бумагѣ! А можно ли всегда опредѣлить съ такою достовѣрностію степень какой нибудь небольшой немочи, безъ которой, можетъ быть, рѣдкій изъ насъ проводитъ нѣсколько дней сряду? Съ другой стороны, командиръ требуетъ

этого и, при случаѣ, жалуется, налегаетъ на своего медика, который всегда болѣе или менѣе у него въ рукахъ.

Въ бумагѣ, которую докторъ подалъ капитану, заключался приказъ на имя ихъ двухъ — освидѣтельствовать строжайше поручика и кавалера Охина и представить за общимъ подписаніемъ о томъ, что будетъ найдено, свидѣтельство. «Боленъ,» сказалъ капитанъ, «видитъ Богъ, боленъ. Онъ съ суботы на воскресенье свихнулъ голову.» — Голову и сердце, — замѣтилъ Карачунъ,—все не на своемъ мѣстѣ: первая въ груди, второе на плечахъ! — «Кончимъ скорѣе,» отвѣчалъ докторъ и подошелъ съ улыбкою къ Охину. «Здоровъ или боленъ?» — Боленъ, — отвѣчалъ этотъ, не вставая съ мѣста и глядя въ окно. — «Еще разъ спрашиваю,» продолжалъ лекарь, положивъ руку ему на плечо: «твое слово въ строку пойдетъ, Охинъ, боленъ или здоровъ?—Боленъ, боленъ,—отвѣчалъ Охинъ, вскакивая съ мѣста и проглотивъ слезу, которая было едва не навернулась:—я въ самомъ дѣлѣ боленъ; мнѣ завалило грудь, я едва могу дышать!—«Откашляешься современемъ, и все пройдетъ,» отвѣчалъ докторъ: «подайте же, если такъ листъ бумаги, перо и чернильницу; печать и сургучъ я взялъ съ собою, зная, что у васъ нѣтъ ни того, ни другаго!» — Бумаги! — возгласилъ капитанъ:—а между прочимъ водки! Воскреситель нашъ хочетъ съ дороги выпить? — Но бумаги ни въ чемоданахъ, ни подъ столами, ни даже у деньщиковъ не случилось; итакъ Мишка, снабженный двумя грошами, отправился отыскивать листъ бумаги у жидовъ. Между тѣмъ герои наши, въ ожиданіи бумаги, удовольствовались закускою и капитанскою душепаркою.

# ГЛАВА VII.

## РЕКОГНОСЦИРОВКА

Вотъ васъ бы съ тетушкою свесть,
Чтобъ всѣхъ знакомыхъ перечесть...

«О чемъ вы двое, Орестъ и Пиладъ, въ прошедшую среду вечеромъ, такъ хохотали?» спросилъ докторъ Карачуна и Костромина. Оба глядѣли на него съ удивленіемъ, и Карачунъ держалъ еще на воздухѣ хвостикъ селедки, который понесъ было чинно двумя пальчиками въ ротъ. — Объяснись, всевѣдующій, я не помню: когда и гдѣ? — «Въ среду, часу въ шестомъ что-ли, проходя черезъ базарную площадь, отъ жидовскаго бильярда, сюда, на квартиру», отвѣчалъ докторъ: «но чтобы не терзать васъ долѣе и не останавливать вашего пищеваренія, то прибавлю, что пани комисарова видѣла и слышала все это въ окно, и немедленно увѣдомила насъ, штабныхъ, объ этомъ, при посѣщеніи пріятельницы своей, нашей пани подкоморжины.»

Друзья наши разсмѣялись. «На этотъ разъ», сказалъ Костроминъ: «лазутчики ваши напали на тайну, не слишкомъ важную. Мы шли черезъ площадь и встрѣтили—козла на дрожкахъ! Большой бѣлый козелъ пана эконома находился нѣсколько времени въ бѣгахъ; а по немъ, какъ по другѣ дома, очень скучали. Выѣхавъ однажды за село, панъ экономъ встрѣтилъ тамъ бѣглеца, напалъ на оплошнаго, поймалъ его, связалъ и отправилъ на дрожкахъ своихъ домой. Это зрѣлище подало намъ поводъ къ нѣкоторымъ общимъ размышленіямъ, при которыхъ мы оба, и Карачунъ и я, правда, хохотали отъ души. Карачунъ первый замѣтилъ, что на дрожкахъ сидѣлъ не панъ экономъ, а козелъ; а это намъ нѣсколько объяснило,

почему сегодня у сѣдока оказались рога, которыхъ прежде, повидимому, не бывало; но я не могъ удержаться отъ невиннаго вопроса: въ первый ли разъ на этихъ дрожкахъ разъѣзжаетъ съ такою важностію рогатый звѣрь? А злодѣй Карачунъ сдѣлалъ двоякое общее приложеніе частнаго вопроса моего ко всему тому, что только разъѣзжаетъ по бѣлу свѣту, не только на дрожкахъ, но даже въ колясках, въ каретахъ... «Во первыхъ», сказалъ онъ, «не всегда такъ ясно видно, что пріѣзжающая особа дѣйствительно и несомнѣнно принадлежитъ къ роду животныхъ; во-вторыхъ, рѣдко можно съ такою точностію, какъ въ этомъ случаѣ, опредѣлить, къ какому именно роду и виду скотина принадлежитъ; далѣе: животное на дрожкахъ связано по рукамъ, по ногамъ, и кучеръ держитъ его за рога; у подъѣзда хозяйка выбѣгаетъ, радостно встрѣчаетъ оплаканнаго друга своего и нѣжно лобызаетъ, между тѣмъ какъ знакомый намъ уже усачъ въ черной венгеркѣ, таинственный вездѣ и нигдѣ, осторожно подходитъ къ рогатому и опасливо спрашиваетъ, не дерется ли онъ. Хозяйка увѣряетъ, что смирнѣе этого чудака, не смотря на огромные крученые рога и его широкій костяной лобъ, нѣтъ на свѣтѣ! Какое обширное поле для размышленія, любезный Данило; сообрази только все это! Козелъ глупо трясетъ головою и бородою, и заикается: ме-э-э-э.... А ребятишки, дѣти пани экономовой, садятся всѣ на бѣднаго козла, и этотъ, повиливая хвостикомъ, везетъ ихъ на себѣ, какъ своихъ! Но теперь входитъ на дворъ и самъ панъ экономъ, пѣшечкомъ, тихо подходитъ къ дрожайшей половинѣ своей и кричитъ ей на ухо: ме-э-э-э....—Это ты, другъ мой, муй коханый,—говоритъ она и обнимаетъ его нѣжно, между тѣмъ какъ изумленный гость отступаетъ, кланяется неловко, и недовѣрчиво глядитъ на него, какъ будто бы

также хочетъ спросить: не бодается ли онъ? но ребятишки, увидѣвъ папеньку, забываютъ козла, прибѣгаютъ, вѣшаются всѣ на него, и онъ, кряхтя подъ ношею, тащитъ ихъ всѣхъ на себѣ, вслѣдъ за драгою половиною, въ комнаты. О Данило!» продолжалъ онъ, подходя ближе къ доктору и положивъ наконецъ руки на оба плеча его: «зачѣмъ я не живописецъ? зачѣмъ мнѣ суждено, какъ баснословному Танталу, видѣть и постигать сокровища эти, пищу жадной души; насытясь ими, не оплакивать безвременную смерть ихъ, отпѣвать въ воображеніи своемъ, хоронить въ безднѣ мыслей бывалыхъ, править тризну по нимъ кой-гогда воспоминаніями, въ присутствіи друзей, которые меня понимаютъ, и не быть въ состояніи соорудить, по крайней мѣрѣ, своимъ иждивеніемъ, памятникъ надгробный, несокрушаемый, вѣчно гласящій! О Данило!» воскликнулъ вдохновенный: «не дай умереть имъ безъ пособія отраднаго, воскреситель, чудотворецъ, исцѣли, спаси ихъ!»

Данило, пожавъ руки его, отвѣчалъ: «Такъ, какъ ты меня теперь умоляешь, дружище, не разъ молила мать о исцѣленіи младенца, братъ о сестрѣ, сестра о другѣ—но милые ихъ угасали, какъ пестрыя картины творческаго воображенія твоего, погружались въ вѣчность, какъ онѣ; время мгновенно расторгало узы между нами и ими, увлекало скорбящихъ мірожителей впередъ, съ собою, а тѣ, и вся ихъ дружба, и жаркая любовь, и тѣсныя живыхъ съ живыми связи, все это тонуло въ безпредѣльности, обращалось въ былое! Не вѣрь, Костроминъ, не вѣрь и ты, Карачунъ, и всѣ вы, братья, не вѣрьте въ бѣдствующее, ничтожное ремесло наше! Это гиганты, посягающіе на Зиждителя; это пышные, великолѣпные потѣшные огни, послѣ сожженія коихъ остаются обгорѣлые щепки, лучины *и свертки*: это водометъ, гремящій подъ небеса плог-

нымъ водянымъ столпомъ и разсыпающійся ничтожною пѣной!»

— Грѣшишь, — возгласилъ капитанъ, указывая на широкій рубецъ обнаженной груди своей:—а это что?— «Это, тою же плотью связалось», отвѣчалъ Данило: «изъ которой весь ты созданъ»!

— Грѣшишь,—сказалъ Герстенмейеръ, поглаживая лѣвую икру свою;—а это что?—«Засхло, якъ на собацѣ». отвѣчалъ докторъ, «если не прогнѣваешься на малороссійскую поговорку, гласящую истину; моей вины тутъ столько же, сколько у капитана волосъ на лысинѣ».

— Грѣшишь,—сказалъ Карачунъ... «Полно, полно хвалиться, друзья мои», возразилъ докторъ; «знаю, что вы всѣ служили грудью, и что изъ всѣхъ насъ, можетъ быть, я одинъ только не раненъ; но за то, надѣюсь, окажете мнѣ справедливость засвидѣтельствовавъ, что рѣдкаго изъ васъ поражала пуля или сабля не въ моихъ глазахъ»!—Правда,—возгласили всѣ въ голосъ, тѣснились около Данилы и пожимали ему руку. «Здравствуй же»! возгласилъ капитанъ, придравшись къ сей вѣрной оказіи, и осушилъ рюмку свою.

Мишка принесъ измятый листъ сѣрой бумаги; докторъ обрѣзалъ его, сѣлъ и написалъ:

«На основаніи предписанія командира карасу-базарскаго драгунскаго полка, г. полковника и кавалера Галлебера, отъ 17 августа 1830 года, за № 829-мъ, свидѣтельствовалъ я, обще съ г. капитаномъ и кавалеромъ Старобыховымъ, онаго жъ полка г. поручика Охина, причемъ и оказалось, что онъ, будучи сложенія нѣжнаго, полнокровнаго, удобораздражаемаго, дѣйствительно страждетъ тупою болью и затруднительнымъ дыханіемъ отъ прилива крови въ грудной полости (Dolor pectoris obtusus et difficultas respirandi, ab organismo sanguinis congestivo); но опредѣлить мѣру и степень

недуга сего, съ поясненіемъ, можетъ ли г. поручикъ Охинъ исправлять возложенныя на него по службѣ обязанности или нѣтъ, какъ то именно предписывается онымъ повелѣніемъ, мы, при добросовѣстномъ исполненіи долга своего, отнюдь не въ состояніи; почему и должно, по мнѣнію нашему, рѣшеніе сего вопроса предоставить собственному чувству немогущаго, тѣмъ болѣе, что болѣзнь сего рода непостоянна и въ припадкахъ своихъ весьма разнообразна. Въ чемъ и свидѣтельствуемъ, за подписаніемъ общимъ нашимъ, а я, съ приложеніемъ герба моего печати. Августа 17 дня 1830 года. Старшій лекарь *карасу-базарскаго* драгунскаго полка N. N. *Карасу-базарскаго* драгунскаго полка капитанъ Старобыховъ».

Вошелъ Мишка и доложилъ, что къ заднимъ воротамъ подъѣхалъ, въ плетеной бриченкѣ, жидъ и просилъ переговорить съ господами. Какой жидъ? Зачѣмъ? Позови его. Дверь растворилась и—явился знакомецъ нашъ, въ башмакахъ безъ задниковъ, въ чулкахъ безъ пятокъ, Мойшель, арендаржъ пана Жабруцкаго. Поклонъ, другой, третій и, бокомъ, началъ онъ подвигаться вдоль стѣны къ братіи нашей. Я бы не кончилъ сегодня, если бы захотѣлъ пересказывать всѣ ужимки его и осторожное приближеніе къ предмету своему помощію двусмысленнаго: азе-але... азе... тего, овего... и все это при общемъ хохотѣ и шуткахъ присутствующихъ, что его однако же нисколько не смущало; наконецъ онъ попалъ въ колею, и, опасливо озираясь, спросилъ таинственно, правда ли, что панове капитанове, т. е. что господа капитаны, намѣрены разобрать дочерей пана Жабруцкаго. Громкій общій хохотъ едва не сбилъ его съ ногъ; онъ присѣлъ и, осторожно возрастая до естественной величины и лѣпоты своей, окидывалъ всѣхъ по очереди лукавымъ, *проницательнымъ* взоромъ черныхъ искрящихся очей

своихъ. Конецъ пѣсни, послѣ длиннаго азе... але... азе... былъ тотъ, что онъ, основываясь на слухахъ, на догадкахъ и на томъ, что видѣлъ поздно вечеромъ, проходя мимо сада въ Чаповцѣ, пріѣхалъ предостеречь пановъ капитановъ, и въ тоже время рекомендовать домъ пана Пршепловецкаго, отца, гдѣ дѣвицы скромны и житницы полны.

Костроминъ и Карачунъ насилу удержали Герстенмейера, который, выдернувъ черешневый чубукъ изъ турецкой трубки, уже возносилъ мстительную десницу свою, орудіемъ симъ вооруженную, надъ раменами израильтянина. Охинъ сидѣлъ у окна, какъ пораженный ударомъ. Одинъ мигъ, и пани комисарова только могла видѣть и узнать, проницательнымъ взоромъ своимъ, Мойшеля, который, помахивая непрестанно прутомъ, на концѣ котораго былъ навязанъ какой-то обрывокъ, мчался во весь духъ въ бричкѣ своей по пыльной дорогѣ.

## ГЛАВА VIII.

## РАСПЛОХЪ.

Что за коммисія, Создатель,
Быть взрослой дочери отцомъ!

Прошли дни, недѣли однообразной жизни героевъ нашихъ. Охинъ не сдержалъ обѣта своего, не сидѣлъ дома, а проживалъ большею частію у паньства Жабруцкихъ, и невольно чуждался нѣсколько товарищей своихъ. Онъ не стрѣлялся съ Мойшелемъ, какъ то ему совѣтовалъ Костроминъ, но проѣзжалъ за то всегда мимо корчмы его рысью; а капитанъ въ тотъ же день отправилъ къ Мойшелю, черезъ нарочнаго, нѣсколько бутылокъ наливки, которыя, какъ оказалось, были оставлены жидомъ при посѣщеніи своемъ, въ день-

щичьей комнатѣ, и велѣлъ объявить ему чрезъ краснорѣчивыя и убѣдительныя уста своего усатаго, широкоплечаго валета, чтобы Мойшель, на все время стоянки эскадрона въ Огиркахъ, числилъ себя выранжированнымъ, забракованнымъ и проданнымъ съ аукціоннаго торга за три съ полтиною на чужія руки, однимъ словомъ—стертымъ съ лица земли, несуществующимъ; и чтобы вслѣдствіе сего, подъ карою висѣлицы, отнюдь и ни подъ какимъ предлогомъ не смѣлъ попадаться на драгунскіе глаза; а по эскадрону отдалъ приказъ: бить его каждому драгуну, гдѣ кто ни встрѣтитъ!

Охинъ уже сказался здоровымъ, ѣздилъ въ штабъ, изложилъ причины, побуждающія его отказаться на первый случай отъ почетной должности адъютанта, причины, которыхъ и самъ полковникъ Галлеберъ и чувствительное сердце его устранить не могли; получилъ разрѣшеніе корпуснаго командира: *жениться на дѣвицѣ Софіи*, дочери помѣщика Жабруцкаго, и, блаженствуя, встрѣчалъ съ выспренняго полета своего торжествующимъ, преображеннымъ взоромъ все то, что вокругъ него пресмыкалось долу, въ ничтожной суетности мірской, грязло во прахѣ плоти! Товарищамъ его оставалось тоько принять на себя при семъ обязанность лицедѣевъ страдательныхъ, поздравить его и желать ему дружески всего, чего только мы собрату нашему пожелать въ состояніи. «Обдѣлилъ пѣхоту», ворчалъ капитанъ.—Мойшель не худой пророкъ,—говорилъ Костроминъ.—«Дай Богъ, чтобы козелъ нашъ не оказался вѣщуномъ», сказалъ Карачунъ: «а мнѣ отъ него что-то отбою нѣтъ, все въ глазахъ мерещится! Но еще предвѣщаніе Мойшеля не вполнѣ исполнилось: это только *одна*, а ихъ *три!*» Онъ взглянулъ на Герстенмейера, который распутывалъ трехцвѣтные снурки и кисти лифлянской трубки своей и *зардѣвшись* промолчалъ. «Ужь вы съ своимъ козломъ,»

возгласилъ капитанъ: «затвердили какъ сорока Якова, одно про всякаго! Само собою разумѣется, что въ баню идти, такъ и пару не бояться: удается казаку быть и на конѣ, и подъ конемъ, это не новое!»

Вошелъ блаженствующій женихъ и просилъ всѣхъ товарищей своихъ на утро къ будущему тестю своему, на помолвку, и обѣщалъ пировать съ ними тамъ три дня. Весь полкъ будетъ, даже полковникъ, и *балаклавцы*, т. е. драгуны одной съ *карасубазарцами* бригады.

Гости подлинно съѣхались, пировали, ликовали; офицерскія палатки и шатры раскинуты были живописно вокругъ семибашеннаго замка пана Жабруцкаго, и этотъ, гордо озирая многолюдное стеченіе, коего онъ былъ средоточіемъ, почиталъ себя удѣльнымъ княземъ, а гостей вассалами своими. Разливное море потѣхъ полилось съ самаго утра, и затѣмъ не было конца. Первый день провели въ забавахъ и пиршествѣ домашнихъ, а другой былъ назначенъ для охоты, въ коей долженствовали участвовать всѣ гости. Панъ Жабруцкій при этомъ случаѣ блеснулъ оружейною своею, коей богатыя и драгоцѣнныя ружья, штуцера, винтовки наканунѣ уже были выставлены напоказъ въ въ богато украшенныхъ пирамидахъ, съ большими, мѣдными, блестящими колпаками. Особенные шатры были разбиты для дворовыхъ охотниковъ, на скорую руку изъ окружной шляхты собранныхъ, и часовой, въ полномъ вооруженіи стрѣлка, важно расхаживалъ между пирамидами. Съ разсвѣтомъ другаго дня, лагерь снялся, караванъ тронулся, и замокъ стихъ и опустѣлъ. Женскому обществу было назначено сборное мѣсто на условленномъ урочищѣ, въ три часа, гдѣ ужь будутъ разбиты шатры и куда возьметъ направленіе все нимвродово поколѣніе подъ эгидою Діаны. Панъ Жабруцкій закидывалъ облаву за облавой: цѣлъ-

сотъ мужиковъ, конныхъ и пѣшихъ, охватывали полукружіемъ поле за полемъ, весь за весью, лѣсъ за лѣсомъ, и ставили на неумолимыхъ стрѣлковъ и звѣря, и лису, и козу, и зайца. Громкій гикъ голосистыхъ порскуновъ, звонъ колокольчиковъ, стукъ въ сковороды, дробь трещотокъ раздавались съ одной стороны, звучные одинокіе выстрѣлы съ другой, и уже всѣ стрѣлки наши, кромѣ полковника Галлебора, коего чувствительное сердце было непричастно и недоступно такому варварскому увеселенію—онъ не могъ проливать крови,—всѣ стрѣлки, говорю, болѣе или менѣе, могли похвалиться промахами, проглядками и удачными выстрѣлами, когда Охинъ, стоявшій за густымъ кустомъ, послышалъ передъ собою въ отдаленіи глухой шелестъ.—Все опять стихло, и Охинъ, съ напряженіемъ внимая возрастающимъ постепенно въ силѣ своей голосамъ приближающихся съ противоложной стороны загонщиковъ, взвелъ курокъ и, съ сильно бьющимся сердцемъ, выжидалъ неизбѣжнаго мгновенія, которое долженствовало рѣшить участь притаившагося звѣря... Это лиса,—думалъ восторженный,—и старая лиса; но теперь ей моихъ рукъ не миновать! Сердце у него отъ нетерпѣнія стучало вслухъ. Громче, громче сливной гулъ, ближе звонкіе голоса возмутителей покоя спасающихся бѣгствомъ обитателей лѣсовъ дремучихъ—уже можно было отличать одиночные голоса и рѣзкія трещотки. «Теперь», подумалъ Охинъ, «теперь крайній срокъ твой наступаетъ»,—и самъ притаилъ духъ отъ нетерпѣнія. Вотъ всполошилось: кусты хрустятъ — пафъ! грянулъ Охинъ однимъ стволомъ — пафъ! другимъ пафъ, пафъ! пустили бѣглый огонь сосѣди его и однополчане...

Рѣзкій крикъ человѣческаго голоса поразилъ изумленныхъ стрѣлковъ. Они бросились въ чащу лѣса и *увидѣли*...—чѣмъ начать, скажите, и чѣмъ кончить?

кого увидѣли, съ кѣмъ и зачѣмъ они здѣсь? здѣсь, гдѣ сегодня не надлежало быть никому, кромѣ зайца или лисицы, волка или крылатой ногами серны?

«Горностай и рысь!» возгласилъ капитанъ, который первый пришелъ въ себя, когда дѣло обнаружилось: «рысь и горностай! а! два рѣдкіе звѣря въ этихъ странахъ!»

Соберусь съ духомъ, и скажу въ двухъ словахъ, что случилось: умолчать объ этомъ не могу, да и любопытство читателей моимъ молчаніемъ не удовлетворится.

Усатый рябой полякъ въ черной венгеркѣ, таинственный вездѣ и нигдѣ, какъ мы его прозвали, имѣлъ надобность переговорить еще сегодня съ тою дѣвицею, которая такъ мило отхватывала съ нимъ мазурку, и, по примѣру цѣлаго общества, которое не призадумалось назначить себѣ общее сборное мѣсто послѣ охоты, испросилъ себѣ частное свиданіе на перепутьѣ къ первому, но, по несчастію, оно было такъ худо разсчитано, что вошло въ округъ пятой облавы! Бесѣдующая чета наша какъ-то зазѣвалась и замѣтила ошибку свою, когда уже загонщики гикнули съ одного конца лѣса и слѣдовательно стрѣлки обставили другой, они кидались туда, сюда, наконецъ бросились вдоль цѣпи, въ надеждѣ выскочить съ боку—штука, которая и лисѣ не всегда удается—и они набѣжали прямо на лѣвое крыло стрѣлковъ, гдѣ фланкировали пріятели наши, драгуны!

Капитанъ, Карачунъ, Костроминъ и докторъ сбѣжались около подстрѣленнаго усача въ венгеркѣ, на котораго Охинъ первый руку наложилъ, давъ ему въ задатокъ салютъ изъ двухствольнаго ружья своего, и Данило объявилъ, что хотя синякамъ отъ крупной дроби на тѣлѣ усача счету не будетъ, и около дюжины-другой закожныхъ ранъ надобно будетъ поко-

паться, чтобы вырѣзать дробины, но что, повидимому, опасности не предстоитъ ни малѣйшей.

Уже облава выказывалась въ просвѣтахъ лѣса. Драгуны наши схватили поспѣшно добычу свою, рысь, потащили съ собою и отправили на первомъ воловьемъ возу въ село. Бѣленькій горностай нашъ благополучно и не бывъ болѣе никѣмъ замѣченъ, достигъ Чаповца.

Охинъ былъ безъ ума, безъ языка; но пріятели наши приступили къ нему и требовали отъ него рѣшительно, чтобы онъ передъ ними объяснился открыто, что онъ намѣренъ теперь дѣлать? «Что хотите», отвѣчалъ тотъ, бросившись въ объятія друзей: «дѣлайте, что хотите... меня здѣсь никто болѣе не увидитъ; я сажусь на коня, и ѣду безъ оглядки въ Огирки»!

Костроминъ, Карачунъ и докторъ, потолковавъ между собою, во-первыхъ, взяли слово съ капитана и кто еще присутствовалъ при этомъ явленіи, отнюдь нигдѣ не разглашать о томъ, что случилось; потомъ отыскали пана Жабруцкаго, и крайне удивили его нежданнымъ извѣстіемъ и объясненіемъ. Онъ мялся, жался, горячился, чуть не плакалъ, опять горячился, но все не впрокъ: наши три пріятеля оставались твердыми и рѣшительными въ мѣрахъ своихъ, и панъ Жабруцкій наконецъ съ благодарностію принужденъ былъ принять позволеніе благородныхъ посредниковъ, чтобы отказъ послѣдовалъ со стороны отца и невѣсты. Онъ объявилъ послѣ охоты сотрапезницамъ и собутыльникамъ своимъ, съ видомъ надменнымъ, что обстоятельства непредвидѣнныя вынуждаютъ его отказать жениху въ день самой помолвки. «Къ счастію», прибавилъ онъ, «еще время»!

Пусть досужіе читатели пишутъ по этому полю пораженныя лица присутствовавшихъ; пусть прислушиваются къ толкамъ и пересудамъ всѣхъ повѣтовъ *Подольской* губерніи; замѣчу только, что Охину урокъ

этотъ не помѣшалъ: къ нашему брату сплетни и оговоры не льнутъ, они съ насъ—какъ съ гуся вода; къ счастію, мы не красныя дѣвицы!

Друзья наши, возвращаясь вечеромъ домой, опять въ раздумьѣ согласно затянули: «Не одна-то во полѣ дороженька пролегала»; хохолъ Карачунъ былъ всегдашній запѣвало; юнкеръ, братъ его, тонкимъ голосомъ выносилъ и заливался въ плясовыхъ, подголоски подхватывали, и кони ихъ шагали въ мѣру. Удивленный Мойшель подстерегъ отставшаго нѣсколько капитанскаго драгуна, и объявилъ ему, что Охинъ проѣздомъ вызвалъ его и подарилъ ему, «дали бугъ, не вѣмъ за цо, дукатъ»! т. е. червонецъ. Пани комисарова до половины высунулась изъ окна своего на темную улицу, провожая взорами отрядъ, которому, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, надлежало воротиться только завтра. Галлеберъ высѣкъ Аполлона и Минерву за то, что не могъ вывѣдать отъ офицеровъ истинной причины отказа. Охинъ поступилъ въ адъютанты и старался, мотаясь между швальнею, канцеляріей и музыкантскою, забыть, чего нельзя было передать. «Откашляешься, и пройдетъ», утѣшалъ его Данило. Герстенмейеръ намоталъ на усъ неудачную попытку Охина, и восхищался тѣмъ, что неучу-мазуристу разстрѣляли венгерку и испестрили шкуру; а капитанъ пріобщилъ къ числу поговорокъ своихъ восклицаніе: «рысь и горностай!—рѣдкіе звѣри въ нашихъ странахъ; этому будутъ современемъ удивляться, не менѣе того, какъ мы дивимся нынѣ, читая въ лѣтописяхъ, что у насъ въ подмосковной водились бобры!!!» И каждый разъ послѣ этого онъ онъ спрашивалъ: «между прочимъ—водки!»

# ХМЕЛЬ, СОПЪ И ЯВЬ

Вѣдаясь промежъ себя, въ кругу людей, коимъ уже родомъ и судьбою назначено жить бѣлоручками, мы удалены участіемъ своимъ отъ жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется намъ чрезвычайно однообразною, незанимательною: всѣмъ помышленіямъ указанъ тѣсный кругъ, вѣчныя заботы о насущномъ хлѣбѣ, нѣтъ потребностей кромѣ сна и пищи, нѣтъ доблести кромѣ случайной; есть добродѣтель, покуда нѣтъ искушенія, а нѣтъ искушенія—гдѣ нѣтъ кабака.

Нельзя спорить противъ этого, нельзя и согласиться безусловно. Человѣкъ все одинъ и тотъ же; отличается одинъ отъ другаго либо тѣмъ, что Богъ ему дастъ—и этотъ даръ даруется не по сословіямъ; либо тѣмъ, что пріобрѣтешь наукой и образованіемъ—и если это собственность высшихъ сословій, то по крайней мѣрѣ способность, воспріимчивость къ тому всюду одинакова; либо наконецъ отличается одинъ отъ другаго кафтаномъ—и это различіе безспорно самое существенное, на которомъ основано многое.

Въ малоземельныхъ губерніяхъ нашихъ значительная часть населенія зарабатываетъ хлѣбъ свой на чужбинѣ и возвращается домой только временно, почти на

побывку, принося съ собою деньги на хлѣбъ, на подушное и на другія нужды. Въ близкихъ отъ столицы губерніяхъ, крестьяне уходятъ только на лѣто, а зимою или бываютъ въ извозѣ, или занимаются ремесломъ, или же наконецъ лежатъ на печи; но изъ дальнихъ губерній работники уходятъ на два, на три и болѣе года, не только въ столицы, но и во всѣ концы царства; симбирцы, владимірцы, ярославцы, строятъ дома въ Уральскѣ, Оренбургѣ, Омскѣ и Тобольскѣ. Во многихъ малоземельныхъ губерніяхъ большая часть господскихъ имѣній на оброкѣ, мужики ходятъ по всей Россіи, и одни только старики, бабы и дѣти сидятъ дома. Тысячи плотниковъ, столяровъ, половщиковъ, каменьщиковъ, штукатуровъ, печниковъ, кровельщиковъ разсыпаются оттуда ежегодно по всей Россіи; крестьяне, цѣлыми селеніями, держатся по наслѣдству промысловъ, къ коимъ привыкли уже дѣды ихъ. Цѣлыя деревни тверитянъ или новгородцевъ бываютъ лѣтомъ въ Питерѣ штукатурами, а зимою сапожниками; привозятъ товаръ свой каждую весну, когда идутъ на работу, обозами въ сѣверную столицу нашу, отдаютъ сапоги ни по чемъ, лишь бы выручить зимніе харчи, и эти-то обозы наполняютъ знаменитыя лавки Щукина двора, гдѣ готовые и на видъ порядочные сапоги можно купить дешевле, чѣмъ въ Петербургѣ обходится самый товаръ.

Бурлаки и музуры—судорабочіе и матросы, идутъ внизъ по Волгѣ огромными толпами, съ сермягою и котомкою за плечомъ, съ парою запасныхъ лаптей на поясѣ, съ деревянною ложкой, заткнутою на шляпѣ за ремень, лычко или бечевку; за пылью и грязью на этихъ людяхъ больше ничего не видать. Бурлаки подымаютъ суда на лямкахъ, бечевою, вверхъ по Волгѣ, отправляясь сперва за этимъ пѣши внизъ, и при всемъ томъ народъ обходится здѣсь судохозяевамъ въ работѣ дешевле быковъ и лошадей Вотъ работа и хлѣбъ для

самыхъ грубыхъ, неискусныхъ ни въ какихъ ремеслахъ околодковъ, и вотъ тотъ народъ, который работаетъ эту конскую работу, въ потѣ лица, мѣсяцъ сряду, съ тѣмъ, чтобы, отбывъ одну путину, пропить все въ три дня. Не стану поминать промышленниковъ и дармоѣдовъ разныхъ родовъ, кулаковъ, которые мѣняютъ по деревнямъ разные припасы—кошатниковъ, которые собираютъ колотковые мѣха, вымѣнивая у бабъ кошекъ на деревянную посуду — разнощиковъ и ходебщиковъ, а говоря собственно о ремесленникахъ, должно упомянуть и о крестьянскихъ портныхъ, которые ходятъ зимою по селамъ и, постукивая въ окно, спрашиваютъ: нѣтъ ли шитва? потомъ рядятся съ аршина и съ овчины и берутъ копѣйки по двѣ, съ уговоромъ, не пускать уже въ эту деревню другихъ портныхъ—за что обшиваютъ волостное начальство безденежно—а обшивъ все село, идутъ далѣе и опять стучатъ посохомъ въ о́кна. Нижегородскіе татары, возвращаясь домой, подъ предводительствомъ одного довольно статнаго мурзы, называемаго всюду по пути княземъ, покупаютъ на заработанныя деньги башкирскихъ (саратовскихъ), киргизскихъ и калмыцкихъ лошадей, откармливаютъ ихъ путемъ по ночамъ воровски у стоговъ и скирдъ и перепродаютъ по дорогѣ съ барышемъ извощикамъ и ямщикамъ.

Въ этихъ малоземельныхъ селеніяхъ заведено большею частію, что молодой парень долженъ заработать напередъ извѣстную сумму на отца и семейство свое, потомъ уже, уплативъ года три-четыре подушное за отца или дѣда и за малыхъ братьевъ, идетъ онъ работать годъ или два на себя и женится. Тутъ не найдете вы мужика домосѣда, мужика, который не видалъ бы свѣту; только развѣ въ большихъ семействахъ, пятерикахъ, семерикахъ, одинъ постоянно *остается* дома. Можетъ быть, это обстоятельство объ-

ясняетъ сильную наклонность, всегдашнюю готовность крестьянъ нашихъ къ переселенію; едва ли проходитъ спокойно два-три года сряду, чтобы какой нибудь пустой, нелѣпый слухъ, безтолковая молва, безсмысленная сказка—приплетенная самымъ дикимъ образомъ ни къ селу ни къ городу къ новому узаконенію или постановленію—чтобы, говорю, какая нибудь нелѣпая сказка не подняла вдругъ цѣлыя селенія на ноги—Богъ вѣсть куда, въ какой-то баснословный край, гдѣ нѣтъ ни подушнаго, ни рекрутства. Тамбовскіе, воронежскіе, орловскіе, пензенскіе, калужскіе и другихъ губерній переселенцы наводняютъ цѣлыми ордами восточные предѣлы государства, кочуютъ, какъ цыгане, по нѣскольку лѣтъ сряду, то не получая отвода новыхъ земель, то не соглашаясь селиться тамъ, гдѣ указываютъ, то избирая по произволу чужія частныя или войсковыя земли, поселяясь на нихъ силою и возвращаясь по нѣскольку разъ опять на то же мѣсто, съ котораго сводятъ ихъ посредствомъ исправника или даже воинской команды. Господскіе крестьяне уходятъ бурлаками до Астрахани, нанимаются тамъ въ бурлаки, въ музуры, въ тюленьщики, въ рыбаки, ходятъ въ море, пропадаютъ нѣсколько лѣтъ безъ-вѣсти, не заботясь о давно просроченныхъ паспортахъ, и нерѣдко попадаютъ въ плѣнъ и рабство къ адайцамъ или туркменамъ—рабство, коему правительство наше наконецъ нынѣ положило предѣлъ

Кочеванье это безспорно бываетъ поводомъ порчи нравовъ; мужикъ балуется, и многіе обвиняютъ за это шатающихся крестьянъ; но на все есть свои причины, и намъ кажется, что, объѣхавъ напримѣръ Владимірскую губернію, не станешь дивиться, для чего тысячи рабочихъ рукъ ежегодно ее покидаютъ. Тутъ почва большею частію такъ дурна, что глядя на этотъ сыпучій песокъ, перемѣшанный съ какою-то мертвою,

сѣрою пылью, на болото, мшину и кочкарникъ, обгорѣлые пни и коряги—пожалѣешь о потовомъ трудѣ мужика, поднявшаго лемехомъ каждый клочокъ и уголокъ, гдѣ только можно протащить одноконную соху. Если нѣмецъ или англичанинъ сумѣли бы извлечь изъ этой неблагодарной почвы десятерицею болѣе нашего, то это еще ничего не доказываетъ; чего мы не знаемъ, тому не вѣримъ, а чтобы разувѣрить человѣка, у котораго все основано на опытѣ, на завѣтѣ отцовъ,—должно убѣдить его и переучить дѣломъ, а не словами. Есть, безъ сомнѣнія, и другія причины этой страсти къ переселенію—но ихъ оставимъ въ покоѣ. Вездѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

Во Владимірской губерніи на большой дорогѣ есть село, извѣстное по мастерству и прилежанію своихъ крестьянъ, плотниковъ и столяровъ, въ числѣ коихъ наберется и десятокъ-другой краснодеревцевъ. Село это извѣстно подъ названіемъ Глухаго Озера и почти поголовно уходитъ въ Заволжскій край на работу. Тутъ жила большая семья Воропаевыхъ; дѣдъ сидѣлъ уже дома на печи, а отецъ и четверо сыновей ходили постоянно, по вызову подрядчиковъ, куда только путь-дорога лежитъ, и кормили и оплачивали всего не менѣе 17-ти душъ. Въ числѣ подрядчиковъ этихъ былъ и родной братъ отца-Воропаева, а дядя четырехъ сыновей; ему посчастливилось въ работѣ, хозяинъ онъ былъ хорошій, мужикъ смышленый, сшилъ себѣ синюю сибирку, взялъ сажень въ руки и сталъ держать артель.

На этотъ разъ плотникамъ нашимъ случилось проработать лѣто всѣмъ вмѣстѣ или по близости одному отъ другаго; отецъ собралъ ихъ къ зимѣ и велѣлъ собираться также, какъ обыкновенно хаживали они и по-очередно, на общій счетъ, чтобы не больно издержаться. Разсудивъ, что степную лошадку можно про-

дать безъ убытку на какомъ-нибудь яму. Воропаевы купили пару коней, и около Рождества старикъ нашъ съ сыновьями прибыли домой. Онъ не былъ на родинѣ уже два года, и подкатилъ на саняхъ подъ ворота съ рѣзной стрѣхою—какъ снѣгъ на-голову; никто его не видалъ. Вошедъ не торопясь въ избу, онъ отсунулъ отъ себя лѣвой рукой старуху свою,, которая закричавъ отъ радости: «охъ ты, родимый мой!» бросила было веретено свое и кинулась сдуру обнимать мужа. Онъ помолился преспокойно иконамъ, между тѣмъ какъ жена заливалась слезами; потомъ уже вымолвилъ: «здравствуйте», поцѣловалъ старуху свою, дочерей, малыхъ сыновей и внуковъ. Вошли и пріѣзжіе четыре сына; семья жила нераздѣльно, въ большой, просторной избѣ, на двѣ половины, съ комнатками. Вскорѣ сбѣжались и замужнія дочери и кто былъ на селѣ изъ зятьевъ; тутъ подошли шурья, свояки, свояченицы, тещи, невѣстки, кумы, кумовья — русскій человѣкъ безъ сродниковъ не живетъ—и набралась полна изба. Отцу своему Воропаевъ-отецъ поклонъ въ ноги; жена ему поклонъ въ ноги; словомъ, все пошло своимъ порядкомъ, и сродники кланялись низко отцу, дюжему плотнику, цѣловались съ сыновьями его, говорили приличныя рѣчи, какъ слѣдуетъ по закону, напримѣръ: «какъ васъ Богъ миловалъ? по добру ли, по здорову? соскучились мы по васъ совсѣмъ»—и прочее; а затѣмъ пріѣзжіе раздѣлись, то есть распоясались, скинули тулупы и кафтаны и усѣлись вокругъ стола, занявъ красный уголъ избы, а бабы подавали ѣсть и пить, толпились около печи, за загородкой шарили въ рѣзномъ поставцѣ, выгоняли изъ подъ лавокъ куръ, которыя думали воспользоваться праздникомъ и суматохой и втерлись подъ ногами у посѣтителей въ избу. Между тѣмъ ребятишки, растянувшись на краю полатей пичкомъ и потряхивая головами, глядѣли на все

это, мигая и толкая другъ друга. Кромѣ корчаги щей и горшка каши, плотники наши опорожнили вскорѣ два огромные кувшина квасу и отрѣзали себѣ на закуску по сукрою хлѣбца, четверти въ три, посыпавъ его крупною, какъ горохъ, солью.

— Добрались таки-опять до своего хлѣбушка,— сказалъ отецъ,—а было и ѣсть его разучились.

— Нешто,—отвѣчалъ сынъ низовымъ нарѣчіемъ, къ которому привыкъ на работахъ своихъ,—нешто, добрались; а и бѣлые калачи ихъ ладно подъ зубъ ложатся, батюшка, что у насъ вотъ пирогами зовутъ. Тамъ хлѣба вѣкъ не знаютъ,—прибавилъ онъ, оборотившись къ свояку, человѣку небывалому, который сидѣлъ дома на хозяйствѣ,—все калачъ, что по-нашему пирогъ.

— То-то вѣдь мы и ходимъ къ нимъ калачи-то ѣсть,—замѣтилъ отецъ, посоливъ еще разъ изъ солоницы ломоть свой и стряхивая надъ нимъ пальцы,— что у нихъ калачей-то много, что сами они съ ними не управятся.

— А рыбы-то у нихъ, рыбы, — началъ другой сынъ,—хоть круглый годъ постись; и свиней рыбой кормятъ, и собакъ рыбой, да и коровы, братъ, тамъ рыбу ѣдятъ; ей-Богу ѣдятъ! вотъ земля!

— Разумѣется, такъ,—сказалъ одинъ изъ сродниковъ,—что городъ, то норовъ.

— Какъ такъ, коровы? — спросилъ свояка, которому понятливость или сговорчивость сродника не пояснила дѣла.

— Да такъ, братъ, ѣдятъ да и только; пожалуй, хоть отца, батюшку спроси и братьевъ, чай, не дадутъ соврать; вотъ хоть и въ самой Астрахани: замѣсто того, что у насъ дадутъ коровѣ мѣсиво какое, что-ли, а тамъ вяленой рыбки соленой подкинутъ ей, *она и* жуетъ ее ровно хлѣбъ.

— А народу что тамъ некрещенаго, — началъ другой,—такъ, Господи, воля твоя! ровно въ собачье царство какое забредешь, такъ вотъ вокругъ тебя не вѣсть по-каковски и лаютъ.

— Вишь ты, братъ!

— Калмыкъ про маханъ толкуетъ, карсакъ (кайсакъ) про свое тамъ что-нибудь, татаринъ киль-мунда, кизилбашъ молча сидитъ себѣ, — таки-вотъ хоть не води ушами, не при тебѣ писано.

Гости, и въ особенности бабы, дивились всѣмъ чудесамъ этимъ; вскорѣ, однако же, посторонніе всѣ разошлись съ поклонами, и остались одни хозяева. Смерклось; подали свѣтецъ и лучинъ; отецъ позвалъ дѣда на совѣтъ, заперли двери на крючекъ, выславъ напередъ бабъ,—достали и сосчитали принесенныя съ собой деньги, рублей по двѣсти на брата, кромѣ того, что переслали уже домой на оброкъ; разсчитали, сколько и куда изъ нихъ пойдетъ; потомъ убрали деньги, позвали бабъ, и отецъ роздалъ женѣ, дочерямъ и невѣсткамъ по платку, и мужья вытащили гостинцы свои; отецъ съ дѣдомъ потолковали о томъ, гдѣ кто работалъ, по чему бралъ, что прохарчилъ и заработалъ, и сколько принесъ. Наконецъ старикъ Воропаевъ подозвалъ къ дѣду третьяго сына своего, Степана, принесъ на него горькую жалобу, что онъ-де сталъ, ни съ того, ни съ сего, погуливать и не мало денегъ пропилъ.

Гнѣвно вскинулся дѣдъ на робкаго Степана, который кланялся ему въ ноги, божился и заклинался, что впередъ не станетъ никогда, даже въ ротъ ничего не возьметъ—но у дѣда глаза горѣли, сѣдой волосъ придавалъ суровому красному лицу его грозный видъ; бѣлая борода, пожелтѣвшая уже мѣстами, какъ поблеклый листъ, дрожала.—Степанъ горько плакалъ, и самъ отецъ, отступившійся отъ него въ началѣ жа-

лобы своей и предавшій его гнѣву дѣдовскому, началъ помаленьку задабривать дѣда, ручаясь за сына на будущее время. Степану объявили, что онъ съ будущей весны пойдетъ работать на свое хозяйство, что пора его женить. «Да гляди ты у меня»,—прибавилъ дѣдъ, постукивая костылемъ своимъ въ половицу и потряхивая выразительно по поясъ разостлавшеюся бородой.— «Гляди, Степанъ, коли ты у меня пить не бросишь съ сегодняшняго дня, то Господь попутаетъ тебя, покараетъ, и наживешь ты себѣ неизбывное горе».

Насталъ мартъ, и Степанъ, положивши на прощанье еще разъ большое заклятіе, что хмѣльнаго въ ротъ не возьметъ, сталъ собираться въ путь. Хотъ онъ и зарекался искренно и не пилъ дома во всю зиму,—но ему какъ-то боязно было идти въ одно мѣсто съ отцомъ и съ братьями, и онъ пошелъ въ Саратовскую губеннію, подъ предлогомъ, что тамъ-де слышно лучше платятъ. Какъ хорошему плотнику, ему и точно дали 380 рублей, на хозяйскихъ харчахъ, за лѣто, т. е. отъ Пасхи до Покрова, либо до Кузминокъ, до Козьмы и Демьяна, или ссыпчины,— также дѣвичій праздникъ,—потому что дѣвки сходятся въ одну избу, приносятъ, каждая, что нибудь съѣстное, готовятъ вмѣстѣ ужинъ и празднуютъ свой праздникъ.

Степану пришлось работать съ небольшою артелью, сперва въ одной барской усадьбѣ, а тамъ въ удѣльномъ имѣніи, гдѣ рубили избу для приказа. На барскомъ селѣ жилъ такъ называемый въ тѣхъ мѣстахъ дворникъ, или содержатель постоялаго двора. Этотъ человѣкъ былъ нѣкогда господскимъ, взялъ себѣ въ голову, что не хочетъ служить у господина, хочетъ на волю—а ужъ какъ русскій человѣкъ заберетъ въ голову что нибудь, то справиться съ нимъ мудрено. Тутъ ни опасности, ни очевидная безсмыслица *предпріятія* и здравыя, благоразумныя убѣжденія ваши

не пойдутъ въ прокъ; «оно все такъ», подумаетъ онъ, а иной разъ и скажетъ, «да ужь власть Господня, что будетъ, то будетъ, а я ужь хочу того, либо другаго, ужь пусть такъ и будетъ». Такимъ образомъ молодецъ нашъ, забравъ себѣ въ голову, что ему надо быть мѣщаниномъ и, собравъ Богъ вѣсть изъ какихъ источниковъ безтолковое свѣдѣніе, что на Черномъ морѣ можно приписаться, собрался и ушелъ. Съ этого перваго похода на Черное море привели моего молодца, перехвативъ его гдѣ-то на перепутьи, съ выбритой на половину головой; но какъ онъ твердо вознамѣрился достигнуть, во что бы то ни стало, обѣтованной земли своей, то онъ вслѣдъ затѣмъ попытался въ другой и третій и въ десятый разъ, каждый разъ возвращался по пересылкѣ съ бритой головой и до того надоѣлъ наконецъ помѣщику, что этотъ отпустилъ его на волю за 300 рублей, которые неизвѣстно какимъ образомъ очутились у Черноморца—прозваніе, приданное ему единогласно цѣлымъ селомъ.

Черноморецъ поселился въ Саратовской губерніи, въ помѣщичьемъ имѣніи, и у него достало Богъ вѣсть какихъ денегъ купить избу и выплатить помѣщику за годъ впередъ оброкъ за постоялый дворъ. Степанъ случайно познакомился съ нимъ, когда еще въ прежніе годы тутъ работывалъ, свелъ даже какую-то хмѣльную дружбу и не разъ, въ прежніе годы, вмѣстѣ съ нимъ бывалъ пьянъ. Въ этотъ разъ Степанъ крѣпился и держался; вскорѣ артель перешла на работу въ удѣльное село, и можетъ быть вся дружба ихъ тѣмъ бы и кончилась; но Степанъ остался работать и на зиму, потому что работа нашлась, и ему хотѣлось принести болѣе домой, утѣшить отца и дѣда и жениться. Тутъ подрядчикъ послалъ его на саняхъ, въ одну лошадку, забрать въ господскомъ селѣ какой-то оставленный тамъ плотничій приборъ.

Степанъ заѣхалъ переночевать къ своему Черноморцу и тутъ-то на досугѣ и на привольѣ, какъ гость, противу потчиванія не устоялъ. А хозяинъ поилъ его вечеркомъ съ особеннымъ усердіемъ и заставилъ признаться въ дружеской бесѣдѣ, что у него въ натѣльномъ бумажникѣ есть сотни двѣ заработанныхъ денегъ. Легли спать; гость на лавкѣ, подъ образомъ, а хозяинъ съ хозяйкой за перегородкой. Степанъ заснулъ, какъ легъ, но ему привидѣлся страшный сонъ: родной дѣдъ его, въ красной рубахѣ, съ сѣдыми какъ лунь волосами, пожелтѣвшею бородою, со страшными глазами и загорѣлою клѣтчатою какъ юфть шеей, стоялъ передъ нимъ и хотѣлъ его зарѣзать за то, что внукъ напился пьянъ. Степанъ проснулся и перекрестился; холодный потъ проступилъ по всему тѣлу. Хмель прошелъ, сонъ прошелъ, сердце стучало вслухъ, и Степанъ лежалъ цѣлый часъ, едва переводя духъ, едва смѣя вздохнуть.

Въ это время послышался ему легкій стукъ и шопотъ за перегородкой. Степанъ уставилъ въ потьмахъ глаза въ потолокъ и сталъ чутко вслушиваться: хозяйка упрашиваетъ и умаливаетъ хозяина о чемъ-то, а онъ ее сурово отталкиваетъ и приказываетъ вздуть огня. Она все свое; онъ сердится, грозитъ, но шопотомъ; наконецъ Степанъ слышитъ ясно, что рѣчь идетъ о душѣ его; хозяйка говоритъ: «родной ты мой, полно, покинь; не тронь его, Господь съ нимъ, мало-ль ты ужь на душу свою грѣха принялъ! ну за что ты его погубишь? побойся Бога хоть разъ, не тронь его...»

Степана дрожь проняла до мозговъ, однако онъ нащупалъ напередъ всего топоръ свой, сѣлъ, кашлянувъ громко, и спросилъ: «Хозяинъ, никакъ и ты не спишь! Вели пожалуйста огонька вздуть, да разочтемся за сѣнцо, мнѣ чай ужь ѣхать пора». Хозяинъ далъ хозяйкѣ своей тихомолкомъ зуботычину, велѣлъ вздуть

огня—и она на этотъ разъ послушалась,—вышелъ къ Степану, сказалъ: «что такъ рано, еще никакъ первые пѣтухи только-что замолкли?» — Да такъ, — отвѣчалъ Степанъ,—лошадь видно ужь отдохнула, такъ пора собираться; хозяинъ наказывалъ пораньше поспѣть на мѣсто.

Степанъ разсчитался, съ оглядкой одѣлся, заткнулъ топоръ за́ поясъ, пошелъ закладывать своего мерина, сказавъ, что зайдетъ еще, но вмѣсто того самъ растворилъ ворота, перекрестился, сѣлъ и поѣхалъ: хмель, говоритъ, весь изъ головы выбило и слѣду не осталось.

Выѣхавъ за село, Степанъ пустилъ лошадь свою шагомъ и сталъ думать о томъ, что съ нимъ случилось. Не вѣрилось ему какъ-то, чтобы Черноморецъ посягнулъ на такое дѣло, и Степанъ уже почти готовъ былъ подумать, что все-де это ему во снѣ привидѣлось, либо съ похмѣлья померещилось. Въ это время другія мужицкія сани догоняли рысью Степана, и кто то кричалъ: «сворачивай, не видишь что-ли»? Степанъ огляпулся въ потьмахъ, голосъ показался ему что-то знакомый. «Сворачивай, тебѣ говорятъ»!—Тѣсно, что-ли тебѣ по дорогѣ,— отвѣчалъ Степанъ, — объѣзжай стороной. — Наѣхавшій сзади своротилъ въ это время въ сторону, и въ ту же минуту вдругъ ударилъ изо всей силы Степана цѣпомъ. Къ счастію, Степанъ, напуганный уже впередъ знакомымъ голосомъ и подозрѣвавшій что-то недоброе, не спускалъ глазъ съ своего попутчика и успѣлъ уклониться нѣсколько отъ взмаха цѣпа, такъ что ударъ пришелся только въ грядку саней и частію по ляшкѣ. Въ одинъ мигъ Степанъ выхватилъ цѣпъ изъ рукъ убійцы, взмахнулъ и ударилъ его самого изо всей силы въ самое темя; тотъ свалился въ сани и уже не вставалъ. Лошади сбили между тѣмъ одна другую къ краю доро́ги и остановились, упершись головами въ сосну.

Степанъ перекрестился, слѣзъ съ саней, оглянулся кругомъ — все тихо и пусто; подошелъ къ недругу своему, посмотрѣлъ ему въ лицо — онъ, онъ и есть. Черноморецъ, хозяинъ постоялаго двора! Итакъ, отпустивъ плотника изъ дому и опасаясь, можетъ быть, что онъ слышалъ ночной разговоръ и донесетъ теперь о злом умыслѣ хозяина, этотъ рѣшился нагнать его дорогой, хотѣлъ заставить своротить, чтобы отвлечь вниманіе его отъ себя, и наѣздомъ думалъ сбить его ударомъ цѣпа и обобрать. Судьба посудила иначе; хозяинъ лежалъ убитый передъ плотникомъ, а этотъ, радуясь своему спасенію, не зналъ, куда однакоже со страху дѣваться; онъ убилъ человѣка, будетъ сидѣть въ острогѣ, судиться, словомъ — пропадетъ.

Подумавъ немного, Степанъ, опасаясь всѣхъ страшныхъ послѣдствій, рѣшился скрыть и утаить этотъ случай. Онъ нашелъ въ сторонѣ отъ дороги порядочный оврагъ, заваленный снѣгомъ и хворостомъ. Очистивъ одно мѣсто, онъ свалилъ туда убитаго, прикрылъ его опять хворостомъ и снѣгомъ, а лошадь оборотилъ назадъ и пустилъ по дорогѣ домой. Затѣмъ, Степанъ самъ сѣлъ и поѣхалъ.

Ночь, темно, холодно, пусто и глухо. Задумался Степанъ нашъ и разсудилъ наконецъ, что всему-де этому виновата проклятая чарка. «Она меня было замертво спать уложила и кабы не сонъ, кабы не приснился мнѣ грозный дѣдъ, такъ видно и не вставать бы мнѣ съ лавки. Охъ, чуть ли не правду онъ говорилъ мнѣ, что наживу я горе неизбывное — чуть ли это не оно приспѣло. Не стану пить; вотъ ей-богу, Господь видитъ, не стану»; снялъ шапку и перекрестился, на небо глядя, и заплакалъ.

Пріѣхалъ Степанъ въ господскую деревню, куда его послали, принялъ, что слѣдовало, переночевалъ, накормилъ лошадь и пустился опять назадъ. Страшно

такъ было ему подъѣзжать къ селу, гдѣ совершилось надъ нимъ прошлою ночью столько надобраго; сердце стучало, и Степанъ нашъ робко оглядывался. Время опять было подъ вечеръ; улицы на селѣ тихи, почти пусты, кой-гдѣ баба съ ведрами, мальчишка въ братнемъ тулупишкѣ, въ отцовской шапкѣ; огонекъ кой-гдѣ уже свѣтится въ окна, словомъ — все мирно, тихо и привѣтливо. Стали мучить Степана и страхъ, и любопытство; дай-де узнаю, что теперь дѣлается въ домѣ моего Черноморца. Подъѣзжаетъ — и тутъ все тихо, огонекъ видѣнъ въ окно, ворота заперты. Степанъ подумалъ—да и стукнулъ кнутовищемъ въ ставень. «Что надо»? — Покормить лошаденьку пустите. — Хозяйка отворила волоковое окно и высунула голову: «Нѣтъ, Господь съ вами, проситесь къ другимъ, нельзя».—Что такъ? вѣдь вы же, бывало, пускали? —«Пускаемъ, да теперь нельзя; хозяина нѣтъ дома, а безъ себя пускать не велитъ: да это ты, Степанъ! я было тебя и не узнала! Нѣтъ, кормилецъ, безъ хозяина пустить не смѣю, собачиться будетъ, ей-Богу; ступай вонъ наискосокъ, къ Федулову, тамъ пустятъ, и сѣнцо у нихъ свое, хорошее».

— Да гдѣ же у тебя хозяинъ? вѣдь вчера дома былъ, какъ я ночью уѣхалъ?

— А кто его знаетъ, куда его занесло; вслѣдъ таки за тобою, Господь знаетъ зачѣмъ, заложилъ сани, сѣлъ да и поѣхалъ, — а еще и деньги при немъ были въ бумажникѣ, рублей со сто никакъ; видно, запилъ что ли гдѣ-нибудь; диво только, что лошадь сама домой пришла—аль онъ хмѣльной упустилъ ее—пришла одна, и мѣсто знать въ соломѣ на саняхъ, гдѣ сидѣлъ, а его, вишь, нѣтъ.

Степанъ простился, сѣлъ и поѣхалъ, а хозяйка затворила окно. «Стало быть», подумалъ онъ, «никто ничего не знаетъ. Да и что же мнѣ, вправду, чего

бояться? я выѣхалъ себѣ напередъ, пріѣхалъ — хоть розыскивай, сколько хочешь,—въ Родимиловку, никуда не заѣзжалъ, никто не видалъ — онъ выѣхалъ послѣ меня — съ чего же тутъ кто на меня скажетъ? никто и не подумаетъ, и подумать нельзя никакъ. — Однако сто рублевъ, говоритъ хозяйка, при немъ были, а кому они достанутся? никому; тутъ и пропадутъ, сгніютъ, какъ весна придетъ, только и будетъ проку. А нашъ братъ, рабочій человѣкъ, бьется цѣлое лѣто изо ста рублевъ... эко диво, подумаешь, сто рублевъ! и никто за нихъ спасиба не скажетъ, никому впрокъ не пойдутъ, такъ себѣ изведутся. Ну, да не до нихъ теперь: благо только самого Господь отъ бѣды помиловалъ».

Поровнявшись дорогой со знакомымъ ему мѣстомъ, Степанъ сталъ, однако же, думать и размышлять объ этихъ деньгахъ посмѣлѣе; «какъ таки проѣхать, не взять денегъ, не поднять ихъ съ земли, когда тутъ валяются? никого я этимъ не обижу, ни у кого добра не отымаю—просто само навернулось». Степанъ остановился, прислушался на всѣ стороны—все тихо, глухо, никого нѣтъ. Онъ спустился въ оврагъ, отыскалъ покойника, нашелъ при немъ тѣльной бумажникъ, вынулъ изъ него деньги и поторопился опять въ путь. «Завтра сосчитаю», подумалъ онъ, «не уйдутъ они теперь. Я этого не искалъ, за этимъ дѣломъ не ходилъ, онъ самъ навязался Это мнѣ, стало быть, Богъ послалъ. Нѣдругъ посягалъ на мою голову—Господь ему судилъ самому подвернуться мнѣ подъ руку; не перелобань я его, ужъ онъ бы меня доѣхалъ. Грѣхъ на его душѣ, не на моей; онъ самъ себя извелъ своею рукою. Прости, Господи, согрѣшенія наши!» Перекрестился и поѣхалъ.

Степанъ до этого времени помнилъ страшный зарокъ дѣда, соблазнившись одинъ только разъ на ночлегѣ у покойнаго Черноморца, зарекся и закаялся послѣ того

вдвое и въ ротъ не бралъ хмѣльнаго; но, пріѣхавъ къ хозяину въ Родимиловку, съ деньгами, которымъ никто не зналъ счета, онъ обождалъ еще съ недѣльку, увѣрился, что никто его ни въ чемъ не подозрѣваетъ, что о Черноморцѣ и слуха нѣтъ другаго, какъ поѣхалъ-де да и пропалъ безъ вѣсти, а лошадь одна воротилась,—и сталъ опять, съ горя ли, съ радости ль, погуливать. Куда правдиво слово это, что недобрыя деньги впрокъ нейдутъ, и что легко добытую копѣйку вѣтромъ изъ мошны выноситъ!

Пошелъ да пошелъ гулять Степанъ — подъ конецъ и удержу не стало, хозяинъ его прогналъ и вычелъ еще съ него за прогулъ, по цѣлковому на день; пошелъ онъ къ другому, пропивъ все, до нитки, а домой еще и гроша не послалъ. Пришелъ Покровъ, пришли и Кузьминки, насталъ и послѣдній срокъ — и новый хозяинъ, разсчитавшись со Степаномъ, отпустилъ его, сказавъ: «Не ходи ко мнѣ, братъ, на тотъ годъ—руки у тебя золотыя, да рыло поганое. Такимъ мнѣ не надо. Господь съ тобой».

Степанъ нашелъ себѣ у новаго хозяина новаго товарища, съ которымъ нерѣдко вмѣстѣ гулялъ; а какъ имъ домой было сотни полторы верстъ по пути, такъ они согласились идти вмѣстѣ. Люди съ людьми ушли, а эти двое, какъ поплоше, такъ остались вмѣстѣ—имъ совѣстно было къ людямъ приставать

Теперь стала Степана и совѣсть мучить, сталъ грѣхъ ото сна, отъ ѣды отбивать, и страхъ—что дѣдъ скажетъ, что отецъ? Степану стало жарко. Взяло его раздумье—какъ я покажусь имъ безъ денегъ? что принесу домой? А еще и Черноморца ободралъ, какъ разбойникъ какой,—и все не впрокъ пошло! Въ это время подошелъ товарищъ его, Гришка, да и пристадъ къ нему — чего-де носъ повѣсилъ, какое горе мыкаешь? Степанъ признался, что страшно безъ денегъ дома по-

казаться. «Эко горе»! сказалъ Гришка, «да вѣдь у меня, парень, та же бѣда: заварилъ пива, да сталась нетека; рублевъ осьмнадцать всего домой принесу, а надо бы, говорятъ люди, сотни полторы, либо двѣ. Но слушай, Степанъ, не пойдемъ мы съ тобой по домамъ; что тамъ дѣлать? не слыхали мы побранки, что ли»?

— И радъ бы нейти,—отвѣчалъ Степанъ,—такъ у меня паспортъ только годовой, о Пасху срокъ.

— Такъ гдѣ же еще у тебя Пасха, перекрестись: Вотъ тутъ подрядчикъ не за горой, набираетъ народу въ Казань; отпиши домой, что ушелъ въ Казань на зимнюю работу, тебѣ паспортъ выправятъ, вышлютъ, а ты зимой заработаешь сотенку; лѣто само по себѣ пойдетъ — вотъ на осень опять будешь съ деньгами; тогда съ Богомъ домой.

Степанъ нашъ словно свѣтъ увидѣлъ; съ радости позвалъ Гришку въ питейный, чтобъ почествовать его за доброе слово, да кстати ужъ запить и радость, и горе.

Такимъ образомъ они, порядившись съ подрядчикомъ, отправились въ Казань артелью, но, не доходя до города, отстали отъ своихъ; надо было вѣдь опять приготовиться къ работѣ; «тамъ ужъ пить не дадутъ, разсудили они вдвоемъ, такъ дай тутъ вволю на прощанье погуляемъ, да и закаемся».

Подгуляли товарищи вмѣстѣ, да подгулявши, какъ водится, сперва обнимались, цѣловались, а послѣ—невѣдомо какъ и съ чего — поссорились, побранились да немного было и подрались. Народъ радъ такому случаю; гдѣ два дурака дерутся, тамъ ужъ навѣрное третій смотритъ. На эту пору, однако жъ, нашлись, видно, люди поумнѣе, развели драчуновъ, и они снова помирились, поцѣловались и пошли вмѣстѣ рука въ руку въ городъ. Кто видѣлъ ихъ, сказывали, что они

шли мирно и толковали только одинъ другому, какъ найти и допроситься въ Казани своей артели и подрядчика: каждый изъ нихъ поочередно недоумѣвалъ, какъ это сдѣлать, и каждый опять толковалъ и объяснялъ, что языкъ до Кіева доведетъ, не только до подрядчика.

Видно, долго перекачивались они съ одного кра́я доро́ги на другой; сумерки, а наконецъ ночь захватила ихъ еще на пути. Сѣли товарищи наши вмѣстѣ отдыхать подъ кустами надъ Волгой, снова стали считаться,—видно, хмель еще не прошелъ,— снова побранились и подрались, можетъ статься,—кто ихъ знаетъ, что у нихъ тутъ было,—да только конецъ вышелъ изъ плохихъ плохой, такой, что крещеному человѣку и вымолвить страшно.

Степанъ просыпается на зарѣ; оглядывается кругомъ — онъ одинъ; вокругъ по косогору кусты, надъ головою по горѣ пролегаетъ почтовая дорога, и тройка пронеслась съ колокольчикомъ, пыль за нею разостлалась — и все замолкло; у ногъ раздольная Волга, широкая, глубокая, тихая какъ зеркало, — а товарища нѣтъ.

Стало обдавать Степана изъ-за плечъ попеременно то варомъ, то студеной водой; началъ онъ вспоминать что-то недоброе — глянулъ себѣ подъ-ноги, на траву, увидѣлъ кровь и вдругъ вспомнилъ все, будто молніею освѣтило передъ нимъ потемки страшной прошлой ночи. Степанъ зарыдалъ, закрылъ лицо руками и долго сидѣлъ такъ, охалъ и стоналъ, какъ тяжко-больной.

«Суди меня Богъ и Государь», сказалъ онъ наконецъ, «видно, по грѣхамъ моимъ и земля меня не снесетъ больше; за что я сгубилъ Гришку сердечнаго? Черноморецъ—ну, тому туда и дорога, прости Господи; онъ на мою голову посягалъ, а этотъ чѣмъ виноватъ? Хмель ошибъ его, какъ и меня, вотъ и все; а сколько

разъ подносилъ онъ мнѣ, какъ товарищу, за послѣднюю гривну свою? охъ, тяжело, не снесу я этого грѣха! не слушалъ я дѣдовскаго заклятія; знать, разсудилъ меня съ нимъ Господь: вотъ оно когда пришло, неизбывное горе—не роди мать сыра-земля, пропащій я человѣкъ»!

Степанъ всталъ, положилъ еще на прощанье земной поклонъ и поцѣловалъ подъ собою мать сыру-землю; перекрестился и взмолился въ слезахъ: «Гриша, не попомни ты мнѣ хоть на томъ свѣтѣ грѣха», и пошелъ въ городъ.

Натощакъ, какъ былъ — не до ѣды ему теперь стало—явился Степанъ въ земскій судъ. «Рано», говорятъ, «еще никого нѣтъ.» Степанъ сѣлъ у воротъ, гдѣ было человѣкъ съ десятокъ разныхъ просителей, и сталъ дожидаться. «Мое не уйдетъ отъ меня», подумалъ онъ, «вотъ эти бѣдняки стоятъ всякій за своей нуждой, всякій добивается чего нибудь; ищетъ за неправду, за обиду, а я ищу на себя. Суди Богъ и Государь, а ужо прощай, свѣтъ бѣлый, родимая сторонушка, не видать меня тебѣ!

«Вотъ, отецъ сердечный прочилъ за меня Марью, Машку Сошникову — вотъ тебѣ и женихъ! дѣвка она хоть куда, нечего сказать, да ужь я ей не подъ стать. Ахъ ты, головушка моя бѣдная, въ омутъ какой усадила! Правду, видно, дѣдъ родимый сказывалъ, что «коли пить не бросишь, Степанъ, такъ Господь попутаетъ тебя, покараетъ, и наживешь ты себѣ горе неизбывное!» Охъ, оно и есть, оно и привалило теперь, неизбывное, вѣковѣчное, даже до преставленія свѣта!«

Засѣдатель пришелъ — а въ тѣ поры этихъ становыхъ и слыхомъ еще не слыхать было — и Степанъ къ нему, да въ ноги. Засѣдателю надоѣли, видно, просители, и много ихъ за день у него въ ногахъ перевалялется, онъ было и мимо; такъ Степанъ слово и дѣло

вымолвилъ: «прикажите», говоритъ, «взять меня, я ночью человѣка убилъ»; такъ всѣ и ахнули, и самъ засѣдатель оборотился, поглядѣлъ на него, позвалъ въ присутствіе, поставилъ караулъ и сталъ допрашивать: какъ зовутъ, кто таковъ, чей, откуда, зачѣмъ, гдѣ паспортъ, который годъ, какой вѣры, былъ ли у св. причастія, а тамъ ужъ дошелъ до дѣла.

«Степанъ я Воропаевъ, по отцѣ Артемьевъ, годовъ видно будетъ мнѣ чуть ли не 24, Владимірской губерніи и уѣзда, села Большаго Озера, православный, у причастія бывалъ каждогодно. Пошелъ я съ товарищемъ Григорьемъ изъ такого-то села за такимъ-то дѣломъ, въ городъ; на дорогу выпили мы оба; шумѣло въ головѣ у меня, шумѣло видно и у него; пошли мы считаться, что вишь онъ взялъ у меня полтинникъ, да отдавалъ по гривнѣ и по двѣ, а я считалъ еще за нимъ пятнадцать копеекъ—раза два бранились и чуть до драки не доходило—все, батюшка, хмѣль виновата, ничего не помню, хоть убей. Тутъ сѣли мы отдыхать, да полудновали; опять я его попрекнулъ, опять сталъ считаться, онъ обидѣлъ меня, маркитантомъ обругалъ, я его—охъ, и вымолвить страшно!—я его обухомъ въ голову и ударилъ; на грѣхъ и топоръ этотъ случился подъ рукой. Гриша мой покатился, кровь носомъ полилась ручьемъ; я испугался—а мы сидѣли подъ кустами, недалечко отъ берегу. — Испугавшись, я его стащилъ на берегъ, сунулъ въ воду, да и спустилъ его по рѣкѣ; такъ и сгубилъ я душеньку запрасно. Видитъ Богъ, батюшка, все одна хмѣль виновата, ничего знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Что было, все сказалъ; теперь, что Господу Богу угодно, то и станется надо мной; что слѣдуетъ по закону, то и дѣлать прикажите—и прикажите заковать».

Все это записали, приправили, какъ надо было, по закону и земскому обычаю, и Воропаева, связавъ, по-

вели заковывать въ кандалы. Самъ подавалъ и держалъ Степанъ и руки и ноги: «не жаль, говоритъ, ихъ было— туда и дорога, лишь бы скорѣе конецъ, лишь бы не дали сгнить въ острогѣ».

Отвели и туда его; тамъ караульные осмотрѣли да ощупали кандалы, все ли исправно, обыскали кругомъ арестанта, приняли бумагу и расписались; разсыльный взялъ опять книгу свою подъ мышку и, не взглянувъ больше на Степана, ушелъ. Дѣло привычное.

Въ первый разъ попалъ Степанъ въ такое мѣсто— въ первый разъ, можетъ статься, и заслужилъ это. И темно, и сыро, и душно, и грязно. Товарищи такіе, что страшно на нихъ и взглянуть: кто въ лохмотьяхъ, заросъ волосами, космы мотаются; кто исхудалъ подъ замкомъ, лица не знать, голосу нѣтъ человѣческаго; а кто еще свѣжъ и дюжъ, да глядитъ такимъ головорѣзомъ, что и въ острогѣ страшно рядомъ съ нимъ лечь. Было тутъ, какъ и всюду въ такихъ мѣстахъ, человѣка три Ивана непомнящихъ; мужики здоровые, бороды чуть не по поясъ, а говорятъ: Иваномъ зовутъ меня, а опричь того ничего не знаю и не помню; ни гдѣ родился, ни гдѣ выросъ, ни отца, ни матери, ни родины — ничего не знаю, — Иванъ да Иванъ — такъ весь вѣкъ и шатался. Одинъ сидѣлъ съ женой, съ дѣтьми, и тотъ тоже говоритъ, и жена ничего не помнитъ, не знаетъ, только знаетъ, что зовутъ ее Марьей. «Господи Боже мой»,—подумалъ Степанъ, когда обжился немного въ тюрьмѣ, «что за диво, что за Иванъ да Марья, и выросли, и состарѣлись, а знать не знаютъ, вѣдать не вѣдаютъ: кто они и чьи они?»

Разговорился разъ какъ-то Иванъ непомнящій со Степаномъ, и сталъ уговаривать его вмѣстѣ бѣжать. Степанъ отказался: «я» говоритъ «своей волей попалъ!»—Какъ такъ?—«Да вотъ такъ и такъ.»—Дуракъ же ты, видно былъ, дуракъ и есть; да ты отопрись

и теперь; улики нѣтъ и ничего тебѣ не сдѣлаютъ. — Но Степанъ, сколько ни скучалъ, сколько ни томился въ заключеніи, остался при своемъ показаніи и ожидалъ спокойно участи своей.

Между тѣмъ дѣло все шло своимъ чередомъ; водили Степана раза по два въ недѣлю въ судъ, все снова доспрашивались, добирались — нѣтъ концовъ больше никакихъ, все одно и то же. Дознались, какой такой былъ товарищъ его, Гришка, разослали повсюду объявленія, не найдется ли гдѣ — выждали отовсюду отвѣты, что нигдѣ такого человѣка на жительствѣ не оказалось, и покончивъ наконецъ всѣ розыски, какъ уже съ того свѣта справокъ навести было не можно, присудили учинить надъ Степаномъ, по собственному сознанію его, по закону, и сослать его въ каторгу.

Пошло однако же дѣло это своимъ порядкомъ, еще изъ уѣзднаго суда въ уголовную палату — и тамъ его въ однѣ сутки не порѣшили; однакоже добрались наконецъ и до него, нашли, что все исправно — утвердили рѣшеніе суда, только осталось прокурору отмѣтить: *читалъ*, да губернатору утвердить приговоръ, скрѣпивъ его по листамъ, какъ приказано закономъ.

Прокуроръ былъ человѣкъ добрый, а пуще всего смирный, противъ правды не хаживалъ, однакоже и за дѣло горазда не стаивалъ, не надрывался ни надъ чѣмъ. Много за годъ разныхъ приговоровъ черезъ его руки проходило, тысячи двѣ, да кромѣ того тысячи подъ тридцать рѣшеній и постановленій изъ губернскаго правленія и палатъ. Все шло у него гладко и ровно, бумага не кричитъ, что ни напиши на ней; такъ она и была нашему смирному прокурору товарищъ сподручный; прочтетъ не прочтетъ, а напишетъ съ поля: *читалъ* — и концы въ воду.

Однако приговоры уголовной палаты старикъ читывалъ, по крайней мѣрѣ, отъ слова «приказали», про-

челъ и дѣло нашего Степана, да и положилъ его—не Степана то есть, который все еще сидѣлъ въ острогѣ, а дѣло — положилъ на ломберный столъ, покрытый цвѣтной салфеткой. На столъ этотъ попадали у него всѣ дѣла съ обстоятельствами сомнительными, по коимъ собирался онъ когда нибудь на досугѣ подумать.

Долго прокуроръ нашъ, расхаживая по комнатѣ или лежа на диванѣ съ трубкой, косился на сомнительный столъ свой и въ особенности на приговоръ, по которому приходилось наказать человѣка за то только, что онъ самъ сознался въ своемъ преступленіи, на которое не было никакихъ уликъ. «Оно конечно такъ», думалъ про себя прокуроръ «тѣло унесло по Волгѣ. Волга широка, и глубока и длинна — коли его и примывало гдѣ нибудь къ берегу, такъ мужики такую бѣду отъ себя ночью шестами спроваживали; и ничего нѣтъ мудренаго, что тѣла нигдѣ не отыскали. Да не знаю почему, а дѣло кажется мнѣ сомнительнымъ; приговоръ незаконный; кажется, будто на этомъ нельзя основать приговора. Надо справиться хорошенько въ 15-мъ томѣ». Подумавъ такъ, прокуроръ покосится бывало опять на столикъ свой да и задремлетъ, либо, смотря по времени, надѣнетъ сюртукъ да отправится на вистъ.

Между тѣмъ время шло: напоминаетъ секретарь одинъ разъ прокурору объ этомъ дѣлѣ, напоминаетъ и въ другой и въ третій—завтра да завтра, и вмѣсто трехъ дней, давно прошли три недѣли, а приговоръ не просмотрѣнъ. Наконецъ пристали къ прокурору плотнѣе, заторопили его не на шутку и говорятъ, что мы-де въ вѣдомостяхъ о нерѣшенныхъ арестанскихъ дѣлахъ покажемъ это дѣло за вами.

Только-что собрался было прокуроръ нашъ, скрѣпивъ сердце, подмахнуть приговоръ, чтобы кончить *дѣло мирно*, безъ шуму, какъ самъ предсѣдатель уго-

ловной палаты прикатилъ подъ прокурорское крыльцо, вошелъ и сталъ, поздоровавшись, разсказывать такія чудеса, что прокуроръ отъ удивленія подъ конецъ сложилъ молча руки, запустивъ накрѣпко пальцы въ пальцы, и только пожималъ плечами.

«Въ памяти ли у васъ дѣло», такъ началъ предсѣдатель, «дѣло Степана Воропаева, который, по собственному сознанію своему, убилъ товарища своего на Сухомъ оврагѣ? Ну, такъ вообразите же, покойникъ-то живъ!! Да, живъ, либо самъ нечистый влѣзъ въ шкуру его, да въ ней и ходитъ! Вчера бурлаки, или плотники что-ли какіе-то, взбунтовались у привольнаго кабака, подняли такой шумъ, что весь городъ сбѣжался. Что же? Да признали они, сударь, того самаго плотника, котораго Воропаевъ прошлою осенью убилъ. Пристали къ нему, кто-де ты таковъ, откуда взялся? Я, говоритъ, вотъ такой-то Григорій, ходилъ въ это лѣто за Волгу, а теперь пробираюсь домой да зашелъ по пути выпить; въ этомъ, говоритъ, я виноватъ. — «Да вѣдь тебя прошлаго лѣта убили?»—Нѣтъ, Господь миловалъ, покуда терпитъ еще грѣхамъ нашимъ—живемъ.—«Да ты со Степаномъ Воропаевымъ знался?»—Какъ же, знался; лѣтось мы съ нимъ работали вмѣстѣ вотъ тамъ-то и за нимъ еще мохъ 15 копѣекъ осталось. — «Ну, а вмѣстѣ съ нимъ вы лѣтось въ Казани были?»—Нѣтъ, маленько не дошли, разстались.—«Такъ вѣдь тутъ-то онъ тебя и уходилъ; онъ и въ острогѣ сидитъ, и скоро его ужъ на кобылу поведутъ!»—Оборони Господь; нѣтъ, этого не было; мы, признаться, оба хмѣльны были, такъ и повздорили, выпито было у насъ на полтинникъ—я, вишь, съ него еще правилъ пятнадцать копѣекъ, а онъ ихъ на мнѣ считаетъ; извѣстное дѣло, хмѣльной разумъ. Такъ мы сѣли было отдохнуть, ночь насъ захватила, тутъ я опять приступилъ къ нему, да по шеѣ его и ударилъ; онъ меня

и самъ хватилъ, и рыло разбилъ мнѣ, я и бросилъ его, умылся на берегу, да и пошелъ самъ по себѣ, а его покинулъ. Онъ, видно, отяжелѣлъ больно, да тутъ же и уснулъ. Больше я его не видалъ и слыхомъ о немъ не слыхалъ.

Предсѣдатель съ прокуроромъ подивились такому дивному случаю; прокуроръ радовался, что не помѣтилъ еще приговора, и стали толковать о другихъ дѣлахъ: о шести въ сюрахъ и проч.

Между тѣмъ Гришку съ такимъ показаніемъ отправили въ земскій судъ, оттуда въ уѣздный, тамъ къ дѣлу, въ уголовную палату, а оттуда ужъ вмѣстѣ съ дѣломъ и со Степаномъ опять назадъ, для пополненія слѣдствія. Сколько ни допытывались, ни отъ Гришки, ни отъ Степана другаго не узнали; а на очной ставкѣ Степанъ крестился, вздыхалъ отъ страхъ, глядя на Григорія, считалъ его выходцемъ съ того свѣта, и говорилъ: «власть ваша, что хотите, то и дѣлайте надо мною, а я его убилъ». А Гришка уличалъ его, что онъ вретъ; пересказывалъ ему, припоминалъ, по приказанію суда, все, какъ что у нихъ было; а Степанъ, нѣмѣя и цѣпенѣя отъ страху, не понималъ ничего, ровно одурѣлъ, хлопалъ глазами, вздыхалъ и оставался при своемъ показаніи; «больше, говоритъ, ничего не знаю.»

Дѣло, разумѣется, кончилось тѣмъ, что освидѣтельствовали Степана, не сумасшедшій ли онъ, а послѣ сказали ему дурака, за то, что онъ надѣлалъ только пустой тревоги, да и велѣли убираться на всѣ четыре стороны.

Хоть я и не совсѣмъ знаю, какъ все это объяснить, но кажется, что Степанъ, поссорившись и подравшись хмельной и на яву, видѣлъ во снѣ, будто убилъ товарища, и видѣлъ такъ живо, что греза показалась ему правдой. Можетъ быть, тутъ подѣйствовало и воспоминаніе о невольномъ убійствѣ Степана, въ собствен-

ную защиту свою, которое осталось навсегда нераскрытымъ. Не нашедши спросонья подлѣ себя товарища, который ушелъ ночью, ничего ему не сказавши, да увидавъ еще на травѣ или на песку у берега слѣды крови,— Степанъ и вовсе смутился, увѣряя себя, что все это не сонъ, а явь, пошелъ да самъ на себя и донесъ. Страхъ довершилъ эту несчастную увѣренность, и ложное убѣжденіе заступило мѣсто истины. Но когда объявили Степану положительно, что онъ свободенъ и притомъ не убійца, то бѣдякъ залился слезами и сказалъ: «Нѣтъ, ужъ, видно, мнѣ такъ на роду написано: судьбы не минуешь! Вяжите жъ меня опять, я еще другаго человѣка убилъ...» Но ему не дали договорить. Никто ему не вѣрилъ, а всѣ считали помѣшаннымъ, хоть господа доктора и дали свидѣтельство, что онъ въ полномъ и здравомъ умѣ.

Долго не могъ онъ опамятоваться послѣ такой продѣлки; долго ходилъ ровно безъ ума, покуда наконецъ Гришка, приставая къ нему безъ всякаго успѣха цѣлыя сутки, чтобы имъ вмѣстѣ запить горе,— успѣлъ, наконецъ, кой-какъ убѣдить его, что онъ несетъ дичь. Тогда только Степанъ вздохнулъ свободно, перекрестился вольной рукой, вспомнилъ все прошлое—и подумалъ о будущемъ. Зелено вино, это продажное горе, опротивѣло ему до того, что онъ въ жизнь свою не могъ вынести и духу его. Переставъ пить, Степанъ Воропаевъ вышелъ человѣкомъ, и не только заработывалъ, что слѣдовало, на себя и на своихъ, но лѣтъ черезъ восемь завелъ свою артель, ходилъ въ синей сибиркѣ съ саженью въ рукахъ; отецъ и дѣдъ его благословили, и Машка Сошникова, нынѣ Воропаева, готовила ему, между тѣмъ какъ онъ былъ на работѣ, щи да кашу, а въ постъ калинники превкусные и превонючіе калиновые пироги.

# МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ,

или

# ЖИВУЧИ ОГЛЯДЫВАЙСЯ.

## ГЛАВА I.

### ПЕРВАЯ ВСТРѢЧА.

Въ Полтавѣ, на площади передъ памятникомъ, стоялъ вечернею порой молоденькій офицеръ въ дорожномъ сюртукѣ на распашку и въ фуражкѣ. Онъ выставилъ одну ногу впередъ, окидывалъ бѣглымъ взоромъ памятникъ, то улыбался, то слегка призадумывался, и наконецъ, перемѣнивъ ногу и поднявъ правую руку, сказалъ вдохновенно:

И надъ тобой, о мирная Полтава,
Петра съ Россіей вѣковая слава
На полѣ ратномъ бранью разразилась,
И воспаривъ орломъ...

и замолчавъ, споткнувшись о четвертую риѳму, которая какъ-то въ эту минуту не далася.

Между тѣмъ, другой офицеръ, худощавый, рослый,

смуглый, съ небольшою просѣдью, на тридцатомъ году, мѣрными шагами подходилъ на площади къ тому же памятнику и остановился передъ нимъ, по другую сторону. И это былъ проѣзжій, но сюртукъ его застегнутъ на всѣ крючки и пуговицы; запыленные мишурные эполеты на плечахъ; пѣнковая трубка на трехцвѣтномъ черномъ, ранжевомъ и бѣломъ шнурѣ на шеѣ; дворянская медаль на груди, дорожная сабля на отлетѣ и пистолетъ за портупеей. Выставивъ ногу на цѣлый аршинъ впередъ, скрестивъ руки, вперилъ онъ неподвижный, испытующій взоръ въ подножіе памятника, и думное, угрюмое чело избороздилось морщинами. Давно небритая, рѣдкая борода ощетинилась ёжикомъ, голова наклонилась впередъ; брови грозно насупились, губы сомкнулись—и во всей осанкѣ этого пѣхотнаго офицера, съ огромнымъ палашемъ при бедрѣ, было что-то рыцарское, причудливое. Постоявъ нѣсколько минутъ истуканомъ, онъ вдругъ пошелъ вокругъ памятника и встрѣтился съ молоденькимъ мичманомъ, который въ это время также снялся съ якоря и хотѣлъ было подо всѣми парусами безъ брасопки обогнуть памятникъ кругомъ. Сошедшись вплоть, мичманъ отскочилъ проворно вправо;—рыцарь, желая посторониться, также шагнулъ въ сторону, и оба опять столкнулись. Затѣмъ, каждый снова посторонился, желая дать мѣсто встрѣчному, оба вдругъ приняли въ противную сторону и опять сошлись грудь съ грудью и лицомъ къ лицу. Рыцарь поднялъ голову, и блѣдное, обозначенное рѣзкими чертами, лицо выражало какую-то разсѣянность и недоумѣніе. Мичманокъ робко пробормоталъ: «виноватъ», взялся подъ козырекъ, а въ голубыхъ очахъ его и кругломъ молочномъ личикѣ и въ улыбкѣ написано было, что ему хотѣлось захохотать; но онъ смирился передъ испытующимъ взоромъ новаго Баярда.

Я позабылъ сказать, что у мичмана борода была также небритая, потому что еще не выросла.

## ГЛАВА II.

### ПРІЕМНАЯ ЗАЛА.

Обошедши памятникъ вокругъ, поэтъ и рыцарь, мечъ и цѣвница, встрѣтились снова, по другую сторону, но были уже оба гораздо осторожнѣе и, раскланявшись съ какою-то принужденною вѣжливостію, очистили другъ-другу дорогу — никто однакоже не проходилъ; а когда, послѣ нѣсколькихъ секундъ томительнаго ожиданія, оба, насмотрѣвшись видно вдоволь на памятникъ, вдругъ поворотили въ сторону, то увертливый мичманъ съ трудомъ избѣгнулъ новаго карамболя и оробѣлъ, встрѣтивъ угрюмо-грозный взоръ рыцаря. Но наружность обманчива: рыцарь сказалъ нѣсколько привѣтливыхъ словъ, поэтъ ухватился за нихъ—оказалось, что оба они намѣрены были идти за подорожною, которую вытребовали у нихъ, для засвидѣтельствованія, въ канцелярію генералъ-губернатора; и новые попутчики, знакомые незнакомцы, отправились вмѣстѣ черезъ площадь въ домъ главнаго мѣстнаго начальника.

Взошедъ на крыльцо, поворотили они въ первыя двери налѣво, въ пустыя сѣни, въ которыхъ не было даже и лавки, не только стула, и рыцарь твердымъ шагомъ прошелъ сѣни и отворилъ вторую дверь, которая, какъ оказалось, вела въ канцелярію. Писецъ вскочилъ съ мѣста, спросилъ: «что вамъ угодно?» а между тѣмъ отворилъ дверь въ сѣни и понуждалъ офицера, двусмысленнымъ словомъ *«пожалуйте»* и движеніемъ руки, выйти. Рыцарь вытянулся, сталъ твер-

дою погою и сказалъ, что пришелъ за подорожною. «Сейчасъ, извольте обождать», продолжалъ писецъ, указывая на растворенную дверь; ко какъ кавалеръ бронзовой медали насупилъ брови и не трогался съ мѣста, то перочинный художникъ объявилъ ему безъ обиняковъ, что постороннимъ людямъ, какого бы званія они ни были, запрещается входить въ канцелярію, въ этотъ таинственный храмъ безъименнаго божества, жреца или жрицы—и указалъ на прибитый къ дверямъ листъ, за подписью генералъ-губернатора. Рыцарь прочиталъ, пожалъ плечами и вышелъ въ пустопорожнія сѣни; взглянулъ раздраженнымъ перуномъ на молодаго пѣснопѣвца, скрестилъ руки и принялся ходить взадъ и впередъ, саженными шагами, причемъ далъ палашу своему полную свободу чертить на разгулѣ по полу, стучать и брянчать, сколько ему было угодно. Мичманъ прислонился къ окну, перекинулъ ноги на-крестъ, сложилъ руки и принялся разсматривать—носокъ своего сапога.

Прошло добрыхъ полчаса—мичманъ поглядывалъ украдкой то на дверь, то на грознаго рыцаря, когда этотъ оборачивался къ нему снова; а рыцарь шагалъ все чаще и смѣлѣе, громче и шире, и вытаскивалъ по временамъ изъ кармана за претолстую цѣпочку, съ большими рѣзными печатями, старообразные часы, поглядывалъ на нихъ, прикладывалъ къ уху и, казалось, очень удивлялся, что они стояли, хотя это въ сущности было для него не новость. Наконецъ, потерявъ терпѣнье, кавалеръ подошелъ къ дверямъ канцеляріи, разставилъ ноги вилами, подбоченился лѣвою рукою, въ которой держалъ фуражку, а правою, согнувъ указательный палецъ и оборотивъ его колѣнцемъ къ двери, стукнулъ мѣрными ударами трижды. Писецъ или чиновникъ выглянулъ, придерживая дверь рукою, заткнувъ перо за ухо, спросилъ опять: «что

вамъ угодно?» и на требованіе рыцаря отдать подорожную, отвѣчалъ снова: «сейчасъ, извольте обождать», а затѣмъ притворилъ дверь и исчезъ.

Рыцарь оборотился къ окну и уставилъ такой грозный, отчаянный взоръ на пѣшту, что этотъ привсталъ и вытянулся, и опустилъ руки, не зная, что сказать. «Пойдемте къ генералъ- губернатору»,—сказалъ рыцарь, протянувъ дружески руку. Обрадованный мичманъ подалъ ему робко свою, и оба вмѣстѣ, рыцарь какъ наставникъ, пѣшта какъ послушное дитя, котораго ведутъ за руку, отправились было по лѣстницѣ, ведущей вверхъ—но кавалеръ вдругъ раздумалъ, грозно взглянулъ на попутчика своего, выпустилъ руку его и воротился. Къ счастью, вскорѣ вынесли обѣ подорожныя—герой палаша принялъ свою, окинувъ подателя съ ногъ до головы взглядомъ, который, казалось могъ измолоть и измочалить живаго человѣка въ лыки—а мичманъ въ смиреніи своемъ, покосился робко на грознаго попутчика своего—оба вышли, раскланялись, и каждый отправился туда, гдѣ остановился.

## ГЛАВА III.

### САМОЗВАНЦЫ.

Мичманъ нашъ ѣхалъ, ѣхалъ, и ему вздумалось на одной станціи заглянуть, отъ нечего дѣлать, въ разгонную книгу. Съ удивленіемъ разсматривалъ онъ послѣднюю, еще не засохшую записку, въ которой говорилось: «отъ Могилева до Николаева, киштымскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитану, барону Аделю фонъ-Адельсбургу»—и прочее. Какой же это Адельсбургъ,—подумалъ мичманъ,—и откуда онъ взялся, когда смотритель вносилъ это при мнѣ и съ моей по-

дорожной? Мичманъ оборотился съ вопросомъ этимъ къ смотрителю, и этотъ, глянувъ въ книжку, смотрѣлъ на мичмана, какъ будто не понимая его, и наконецъ сказалъ:—«да вѣдь это вы, сударь, это ваша подорожная». Мичманъ, въ свою очередь, не понималъ смотрителя и взглянулъ раза два попеременно на него и на книжку, развернулъ наконецъ подорожную свою, которую держалъ въ рукахъ, и прочиталъ: «отъ Могилева до Николаева, киштымскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитану, барону Аделю фонъ-Адельсбургу», перечитывалъ это нѣсколько разъ, и все не понималъ ни слова, хотя подорожная написана и напечатана была очень четко. Смотритель догадался, въ чемъ дѣло и спросилъ:—«что вы, сударь, обмѣнили что ли гдѣ подорожную свою?»

— Видно, обмѣнилъ,—отвѣчалъ піита,—и видно, обмѣнилъ еще въ Полтавѣ.

— Да ваша же на чье имя была?—продолжалъ съ участіемъ смотритель.

— На мое, — сказалъ мичманъ, — на мое собственное.

— Да вы же кто изволите быть такіе?

— Да я 28-го флотскаго экипажа мичманъ Поцѣлуевъ, и ѣду изъ Петербурга, а не изъ Могилева.

— Ну,—продолжалъ смотритель,—такъ вы свою подорожную нагоните, вотъ съ полчасика тому не больше, по ней проѣхалъ, такъ, смугловатъ изъ себя, поджарый офицеръ, высокій, и страхъ сердито глядитъ.

Мичманъ взглянулъ въ книгу и увидѣлъ, что дѣйствительно передъ нимъ проѣхалъ изъ Петербурга въ Николаевъ мичманъ Поцѣлуевъ. Онъ собрался наскоро, сѣлъ и поскакалъ въ догонку за своей подорожной.

## ГЛАВА IV.

### ПОПУТЧИКИ.

Прибывъ на слѣдующую станцію, Поцѣлуевъ къ удивленію своему услышалъ, что тёзка не тёзка, а однопрозванецъ его, не проѣзжалъ. Нашъ мичманъ не зналъ, что подумать, куда дѣвался баронъ съ чужою подорожною—и не успѣлъ еще покончить думы и рѣшить окончательно, что это все равно, и что ему также точно можно доѣхать до Николаева съ баронскою, какъ и съ своею подорожною, какъ услышалъ колокольчикъ, а вслѣдъ затѣмъ увидѣлъ и самого барона, въ палашѣ, съ медалькой, съ трубкой, и въ какой-то вычурной фуражкѣ, съ лаковымъ околышемъ и подбородною цѣпочкой. Баронъ встрѣтилъ нашего мичмана насупившись и надувшись и заостривъ неподвижныя очи, какъ стрѣлы—и Поцѣлуевъ не зналъ, какъ подойти, какъ приступиться, чтобы не раздражить грознаго Губерта. Слово-за-слово, дѣло объяснилось, рыцарь удивлялся этому странному, непонятному случаю до чрезвычайности, но былъ такъ снисходителенъ, что свалилъ всю вину на чистописателя, обмѣнялся подорожною и, узнавъ при этомъ случаѣ, что нашелъ попутчика и сверхъ того еще земляка, предложилъ ему ѣхать вмѣстѣ. Поцѣлуевъ трусилъ немного, правду сказать, и гораздо охотнѣе поѣхалъ бы одинъ; попутчикъ его глядѣлъ какимъ-то неразгадаппымъ звѣремъ, и неопытный мичманъ не понималъ вовсе, что значитъ это грозное лицо и осанка при учтивомъ и мягкомъ обращеніи героя; но отказаться—у него не стало духу; поэтому попутчики сѣли и *поѣхали вмѣстѣ*, на одной перекладной,

## ГЛАВА V.

## МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ.

Смарагдъ Петровичъ Поцѣлуевъ былъ сынъ помѣщика Екатеринославской губерніи, воспитывался въ морскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ мичманомъ, назначенъ въ черноморскій флотъ и ѣхалъ теперь въ Николаевъ.

Смарагдъ былъ мальчикъ съ хорошими способностями, съ доброю, дѣтскою душой, родился подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ созвѣздія лиры и былъ поэтъ. Такъ по крайней мѣрѣ ему самому казалось; хотя сущность дѣла заключалась въ томъ, что Смарагдъ вступилъ въ тѣ лѣта и отношенія, когда всякій человѣкъ съ душой и чувствомъ дѣлается поэтомъ, и стиховъ не пишетъ только тотъ развѣ, кому своенравная природа положительно отказала въ способности расположить готовую мысль мѣрными стопами и закончить ихъ рѣмою. Въ самомъ дѣдѣ, есть люди, которые рѣшительно не въ состояніи написать самое будничное четырехстишіе. Они пишутъ прозою хорошо, цвѣтисто, въ прозѣ ихъ есть поэзія, но они не въ состояніи сложить четыре стиха, сколько бы ни бились. Если такихъ людей по справедливости называютъ, въ этомъ отношеніи, бездарными, то Смарагдъ Петровичъ былъ юноша даровитый; онъ писалъ стишки, несмотря на недавнее упражненіе свое въ искусствѣ этомъ и малую опытность, довольно складно и свободно, даже нерѣдко наобумъ, вдругъ, но—геній его былъ слабосиленъ; это была обыкновенно одна только вспышка, и начатое стихотвореніе оставалось недоконченнымъ. Начать стихотвореніе было ему легко, но всякое

время, почти не стоило труда; но продолженіе и конецъ всегда откладывались на неизвѣстный срокъ и очень рѣдко исполнялись.

Поцѣлуевъ получилъ дома отъ матери, нѣмки, благонравное воспитаніе, мечтательное воображеніе, курчавый волосъ, бѣлое лицо и голубые глаза; отъ отца, русскаго, беззаботный нравъ, неглупую голову, довольно широкія плечи и крѣпкое здоровье. На тринадцатомъ году, поступилъ онъ въ морской корпусъ, пробылъ тамъ пять лѣтъ, и теперь, съ эполетами, шитымъ воротникомъ и саблею на черномъ лаковомъ ремнѣ черезъ плечо, увидѣлъ свѣтъ.

Поцѣлуевъ, какъ острый, но скромный и чулый мальчикъ, который выросъ дома безъ розогъ, этой необходимой принадлежности и приправы всякаго порядочнаго воспитанія, — Поцѣлуевъ понялъ, въ первые три дня своего пребыванія въ корпусѣ, что здѣсь всего вѣрнѣе и безопаснѣе какъ можно менѣе попадаться на глаза, не пускаться никогда и ни въ какія дѣтскія игры, а сидѣть, прижавшись къ стѣнкѣ, тише воды, ниже травы. Такъ было въ то время въ корпусѣ; я знаю, что теперь совсѣмъ иное; я говорю о давнопрошедшемъ. Тогда сѣкли съ большимъ прилежаніемъ каждаго, кто попадался въ такъ называемой шалости, то есть, кого заставали за какимъ бы то ни было занятіемъ, кромѣ учебныхъ тетрадей; а кто не попадался, того оставляли въ покоѣ, разсуждая весьма основательно, что нельзя же пороть всѣхъ поголовно; дежурный барабанщикъ и такъ уже не успѣвалъ припасать розогъ.

Но Поцѣлуевъ по крайней мѣрѣ обогатилъ въ корпусѣ знаніе русскаго языка; и вотъ вамъ цѣлый списокъ новыхъ словъ, принятыхъ и понятныхъ въ морскомъ корпусѣ; читайте и отгадывайте: бадяга, бадяжка, *бадяжникъ*, новичокъ, нетлѣнный, копчинка, старикъ,

старина, стариковать, кутило, огуряться, огуряло *). отказной, отчаянный, чугунный, жила, жилить, отжилить, прижать, прижимало, сводить, свести, обморочить, втереть очки, живыя очки, распечь, распекало, отдуть, накласть горячихъ, на фартъ, на ваганъ, на шарапъ, фурочкой, фурка, и прочее, и прочее. Поцѣлуевъ, кромѣ того, научился повиноваться безпрекословно всякому старику, то есть старому кадету, въ широкихъ, собственныхъ брюкахъ, въ затяжкѣ, въ портупейкѣ, или ременномъ, лаковомъ поясочкѣ съ мѣднымъ наборомъ и левиками. Въ классахъ было много кадетъ и каждымъ заниматься учителямъ недосужно; поэтому они требовали, по крайней мѣрѣ, чтобы кадеты сидѣли тихо, не шумѣли и не кричали; и смирный поневолѣ считался прилежнымъ.

Итакъ, собственно кадетская жизнь оставила въ Поцѣлуевѣ немного поэтическихъ воспоминаній; но какъ онъ былъ за то счастливъ и доволенъ, когда *вышелъ* въ гардемарины и пошелъ, на плоскодонномъ фрегатѣ, до Красной Горки! Тяжеленько мальчику сидѣть изъ году въ годъ за рѣшеткой—неминуемая участь всѣхъ тѣхъ, у которыхъ нѣтъ родныхъ или сострадательныхъ знакомыхъ въ столицѣ — и какъ отрадно за то подышать воздухомъ на свободѣ, быть гребцомъ, марсовымъ, понимать и слушать команду вахтеннаго и чувствовать себя полезнымъ и нужнымъ на своемъ мѣстѣ—отдать брамъ-фалъ, взять кливеръ на гитовы, по командѣ, или даже спустить за-словомъ флагъ или гюйсъ, — а наконецъ, объѣдаться изюмомъ, орѣхами, пряниками, всегдашнею морскою провизіею гардемари-

*) Огуряться вошло въ корпусѣ въ употребленіе отъ новгородцевъ, поступавшихъ туда прежде въ большомъ числѣ. Мы встрѣчаемъ слово это также у Посошкова (новгородца); оно означаетъ: отдѣлываться отъ обязанности своей, не исполнять ея, не быть на-лицо, гдѣ должно.

новъ, ходить въ рабочемъ, измаранной смолою, рубахѣ, подпоясавшись портупейкой, въ фуражкѣ на ремешкѣ или цѣпочкѣ, чтобы ея не сорвало вѣтромъ; купаться, кататься на гребномъ суднѣ, не ходить цѣлый мѣсяцъ въ классы и двигать руками и ногами на свободѣ—о, это знаетъ только тотъ, кто это испыталъ.

Но послѣ одного раздольнаго и разгульнаго мѣсяца, слѣдуетъ одиннадцать однообразныхъ затворническихъ. Малодушіе опять беретъ верхъ и, засыпая и просыпаясь, трехъ-кампанецъ досчитывается уже по пальцамъ дня или по крайней мѣрѣ мѣсяца выпуска. Легко сказать, вольный казакъ — офицеръ, самъ себѣ господинъ, въ эполетахъ—съ саблей—никто не смѣетъ высѣчь—легко сказать, а воля ваша, голова закружится отъ этого внезапнаго перехода. Право немудрено, что многіе, въ неистовой, необузданной радости своей, кидаются въ крайности и распоряжаются, какъ новые, неопытные хозяева, свободою своею довольно дурно. Нашего Поцѣлуева въ этомъ упрекнуть было нельзя; онъ опьянѣлъ, когда надѣлъ мундиръ и пошелъ свободно, безъ провожатаго по Невскому проспекту, и юнкера передъ нимъ вытягивались и весь міръ передъ душою его раскрылся на всѣ четыре стороны; но упоительныя мечты унесли его въ одну только, самую невинную крайность: онъ видѣлъ все, весь міръ въ радужныхъ цвѣтахъ и розовой оболочкѣ и сдѣлался, на первый случай, поэтомъ.

## ГЛАВА VI.

### БАРОНЪ АДЕЛЬ-ФОНЪ-АДЕЛЬСБУРГЪ.

Баронъ Губертъ Рудольфовичъ Адель-фонъ-Адельсбургъ былъ сынъ — отца своего, барона древней гер-

манской отрасли, коего предки съ давнихъ временъ поселились въ Курляндіи. Старый баронъ, въ молодыхъ лѣтахъ еще, разорился, утратилъ довольно значительное имѣніе свое въ залогѣ по винным откупамъ сосѣднихъ губерній, и перенесъ жестокій ударъ этотъ съ твердостію; но онъ не хотѣлъ уже оставаться на родинѣ и служить у равныхъ или даже низшихъ, по роду и родословной, и пошелъ управлять имѣніемъ русскаго боярина, въ южную Россію. Тамъ жилъ онъ спокойно, покинувъ всѣ затѣи и высокомѣрные замыслы, и женился въ Екатеринославской губерніи на внучкѣ сербскаго выходца Екатерининскихъ временъ, взялъ въ приданое бѣдную деревеньку, зажилъ было опять кой-какъ помѣщикомъ, но вскорѣ умеръ.

Вотъ почему нашъ кавалеръ бронзовой медали былъ баронъ, прозывался Адель-фонъ-Адельсбургъ, и между тѣмъ, по матери, исповѣдывалъ православный законъ, а по мѣсту рожденія, по воспитанію, природному языку, былъ русскій, и еще екатеринославецъ, то есть землякъ Смарагда. Смуглое, сухощавое лицо, рѣзкія черты, каріе, острые глаза, изобличали въ немъ кровь южныхъ славянъ; высокій ростъ, величавая, медленная поступь и рыцарскій духъ—нѣмецкаго барона древняго поколѣнія. Онъ служилъ, какъ всѣ бароны у насъ, въ гвардіи, а какъ украинецъ въ конницѣ; былъ переведенъ за поединокъ въ армейскій пѣхотный полкъ тѣмъ же чиномъ, перенесъ этотъ ударъ судьбы, по примѣру отца, безъ ропота, безъ жалобы, признавалъ судъ надъ собою справедливымъ, но и себя въ дѣлѣ своемъ правымъ. Гербъ Губерта изображалъ: на бѣломъ полѣ обнаженный мечъ и кровавую полосу поперекъ; по четыремъ угламъ цвѣли: роза, незабудка, лилія и фіалка. Истолковавъ и пояснивъ по произволу гербъ этотъ, баронъ признавалъ себя и мечъ свой урожденнымъ защитникомъ невинности, бѣлаго цвѣта, и видѣлъ въ

четырехъ цвѣткахъ иносказательное изображеніе пола, которому считалъ святымъ долгомъ посвятить всю жизнь свою. Это былъ баснословный рыцарь среднихъ вѣковъ, оживши и олицетворившійся дивнымъ образомъ въ прозаическія времена паркетнаго шарканья мундировъ съ перехватами и лайковыхъ бальныхъ перчатокъ, — переродившійся, обрусѣвшій нѣмецкій баронъ, Баярдъ въ русскомъ пѣхотномъ мундирѣ, словомъ — *рыцарь* Губертъ Рудольфовичъ! Въ первый разъ слышу, что рыцарей тоже зовутъ по имени и отечеству. Онъ носилъ на груди мѣдное, древнее распятіе вершка въ четыре; никогда не ходилъ безъ дворянской медали; на часовой цѣпочкѣ его висѣли три гербовыя печати разныхъ величинъ; на указательномъ лѣвомъ пальцѣ былъ у него огромный перстень съ рѣзнымъ гербовымъ камнемъ; въ фуражкѣ, въ шляпѣ его и на всѣхъ вещахъ, даже на визитныхъ карточкахъ—былъ наклеенъ отпечатанный съ мѣдной дощечки гербъ его съ раскинутою повязкой, на которой можно было прочитать: *Мой мечъ твой щитъ*. Лишившись, съ переводомъ въ пѣхоту, сабли и шпоръ, о чемъ очень скорбѣлъ, баронъ носилъ, покрайней мѣрѣ въ дорогѣ, огромный, рыцарскій мечъ, передѣланный по наружности на кирасирскій палашъ, а привѣшивалъ его всегда къ поперечней портупеѣ золоченою цѣпью. Со шлемомъ предковъ своихъ, парою разрозненныхъ налокотниковъ и круглымъ щитомъ, на которомъ былъ когда-то расписанъ красками гербъ бароновъ, и съ серебряными, древними запястьями праматери своей, Гертруды, Адель-фонъ Адельсбургъ никогда не разставался, а таскалъ вещи эти на всѣхъ домашнихъ походахъ и стоянкахъ съ собою, и развѣшивалъ ихъ на каждомъ привалѣ и ночлегѣ надъ изголовьемъ своего ложа.

При всѣхъ странностяхъ этихъ, баронъ былъ до-

брѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, былъ готовъ принести себя на жертву всякому доброму дѣлу; но на бѣду принимался за это обыкновенно очень не впопадъ и не кстати, не въ ладъ и не въ мѣру, и, вмѣсто одолженія, надоѣдалъ и докучалъ всякому. Поединокъ, напримѣръ, за который онъ былъ исключенъ изъ гвардіи, завязался вотъ съ какого повода: прогуливаясь вечеромъ, поздно, по Невскому, благородный баронъ встрѣтилъ офицера, который заговаривалъ очень незастѣнчиво съ красавицею, слѣдуя за нею по пятамъ. Если бы баронъ сколько нибудь удостоилъ разобрать дѣло пообстоятельнѣе, то онъ бы безъ труда убѣдился, что здѣсь каждый третій человѣкъ былъ лишній, что бесѣдующіе вовсе не нуждались въ третейскомъ судѣ; но баронъ былъ тогда особенно въ духѣ видѣть угнетенную невинность, разгоряченное воображеніе его подстрекнуло, онъ ввязался въ дѣло, объявилъ себя заступникомъ прекраснаго пола; и наконецъ, не могши вынести обиднаго отвѣта встрѣчнаго фоблаза, принужденъ былъ его вызвать. Такимъ образомъ попадался баронъ уже не въ первый разъ; но, какъ рыцарь кровью и душой, не исправлялся, не измѣнялся, а продолжалъ спасать и воевать и заступаться тамъ, гдѣ его никто объ этомъ не просилъ, и называлъ людей, которымъ надоѣдалъ и докучалъ, неблагодарными.

Этотъ нравъ обозначался въ наружности, въ станѣ и во всѣхъ пріемахъ барона, вырѣзался на замѣчательномъ лицѣ его, какъ семейный гербъ, служившій вывѣскою и клеймомъ книжки барона, фуражки, пистолета, собаки, даже стола и стула, если только барону случалось обзаводиться ими, какъ своею собственностью. Баронъ былъ тощъ и сухъ, расхаживалъ какъ на ходуляхъ, подбоченивался, задумывался и забывался на каждомъ шагу, Богъ вѣсть о чемъ; удивлялся всему, подозрѣвалъ всѣхъ и все, морщился, хмурился, сво-

четырехъ цвѣткахъ иносказательное изображеніе пола, которому считалъ святымъ долгомъ посвятить всю жизнь свою. Это былъ баснословный рыцарь среднихъ вѣковъ, оживши́й и олицетворившійся дивнымъ образомъ въ прозаическія времена паркетнаго шарканья мундировъ съ перехватами и лайковыхъ бальныхъ перчатокъ, — переродившійся, обрусѣвшій нѣмецкій баронъ, Баярдъ въ русскомъ пѣхотномъ мундирѣ, словомъ — *рыцарь* Губертъ Рудольфовичъ! Въ первый разъ слышу, что рыцарей тоже зовутъ по имени и отечеству. Онъ носилъ на груди мѣдное, древнее распятіе вершка въ четыре; никогда не ходилъ безъ дворянской медали; на часовой цѣпочкѣ его висѣли три гербовыя печати разныхъ величинъ; на указательномъ лѣвомъ пальцѣ былъ у него огромный перстень съ рѣзнымъ гербовымъ камнемъ; въ фуражкѣ, въ шляпѣ его и на всѣхъ вещахъ, даже на визитныхъ карточкахъ—былъ наклеенъ отпечатанный съ мѣдной дощечки гербъ его съ раскинутою повязкой, на которой можно было прочитать: *Мой мечъ твой щитъ*. Лишившись, съ переводомъ въ пѣхоту, сабли и шпоръ, о чемъ очень скорбѣлъ, баронъ носилъ, покрайней мѣрѣ въ дорогѣ, огромный, рыцарскій мечъ, передѣланный по наружности на кирасирскій палашъ, а привѣшивалъ его всегда къ поперечней портупеѣ золоченою цѣпью. Со шлемомъ предковъ своихъ, парою разрозненныхъ налокотниковъ и круглымъ щитомъ, на которомъ былъ когда-то расписанъ красками гербъ бароновъ, и съ серебряными, древними запястьями праматери своей, Гертруды, Адель-фонъ Адельсбургъ никогда не разставался, а таскалъ вещи эти на всѣхъ домашнихъ походахъ и стоянкахъ съ собою, и развѣшивалъ ихъ на каждомъ привалѣ и ночлегѣ надъ изголовьемъ своего ложа.

*При* всѣхъ странностяхъ этихъ, баронъ былъ до-

брѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, былъ готовъ принести себя на жертву всякому доброму дѣлу; но на бѣду принимался за это обыкновенно очень не впопадъ и не кстати, не въ ладъ и не въ мѣру, и, вмѣсто одолженія, надоѣдалъ и докучалъ всякому. Поединокъ, напримѣръ, за который онъ былъ исключенъ изъ гвардіи, завязался вотъ съ какого повода: прогуливаясь вечеромъ, поздно, по Невскому, благородный баронъ встрѣтилъ офицера, который заговаривалъ очень незастѣнчиво съ красавицею, слѣдуя за нею по пятамъ. Если бы баронъ сколько нибудь удостоилъ разобрать дѣло пообстоятельнѣе, то онъ бы безъ труда убѣдился, что здѣсь каждый третій человѣкъ былъ лишній, что бесѣдующіе вовсе не нуждались въ третейскомъ судѣ; но баронъ былъ тогда особенно въ духѣ видѣть угнетенную невинность, разгоряченное воображеніе его подстрекнуло, онъ ввязался въ дѣло, объявилъ себя заступникомъ прекраснаго пола; и наконецъ, не могши вынести обиднаго отвѣта встрѣчнаго фоблаза, принужденъ былъ его вызвать. Такимъ образомъ попадался баронъ уже не въ первый разъ; но, какъ рыцарь кровью и душой, не исправлялся, не измѣнялся, а продолжалъ спасать и воевать и заступаться тамъ, гдѣ его никто объ этомъ не просилъ, и называлъ людей, которымъ надоѣдалъ и докучалъ, неблагодарными.

Этотъ нравъ обозначался въ наружности, въ станѣ и во всѣхъ пріемахъ барона, вырѣзался на замѣчательномъ лицѣ его, какъ семейный гербъ, служившій вывѣскою и клеймомъ книжки барона, фуражки, пистолета, собаки, даже стола и стула, если только барону случалось обзаводиться ими, какъ своею собственностью. Баронъ былъ тощъ и сухъ, расхаживалъ какъ на ходуляхъ, подбоченивался, задумывался и забывался на каждомъ шагу, Богъ вѣсть о чемъ; удивлялся всему, подозрѣвалъ всѣхъ и все, морщился, хмурился, сво-

дилъ и разводилъ сербскія брови свои, и вѣчно глядѣлъ грознымъ перуномъ, между тѣмъ какъ онъ, если его ничто не раздражало, былъ кротокъ какъ дитя и добръ какъ пятнадцати-лѣтняя дѣвица. Но гдѣ только касались слабой его струны, рыцарства, тамъ онъ былъ неукротимъ, какъ левъ, и готовъ былъ стрѣляться десять разъ въ одинъ день.

## ГЛАВА VII.

### ПОРТОВЫЙ ЗАШТАТНЫЙ ГОРОДЪ.

Сидя рядомъ на телѣжкѣ, попутчики наши почти во всю дорогу молчали; баронъ дичился, а мичманъ не смѣлъ его безпокоить. Послѣдній однако же узналъ отъ молчаливаго, угрюмаго товарища своего, что этотъ посланъ въ Николаевъ съ двумя пѣхотными унтеръ-офицерами, которые ѣдутъ сзади, для обученія матросовъ фронтовой службѣ. Маловажное, повидимому, обстоятельство это еще болѣе напугало робкаго мичмана—фронтовая служба была въ то время во флотѣ—не приманкою, и еще особенно для черноморскаго флота. Старые, заслуженные офицеры, съ трудомъ только привыкали къ вытяжкѣ и выправкѣ; а молодежь, глядя на нихъ, также кряхтѣла и пугалась премудрости этой. Нынѣ уже не тѣ времена: офицеры и матросы наши показали подъ Варною, и особенно подъ Анапою, что они хорошіе пушкари и бомбардиры и смѣлые охотники на приступѣ.—Но въ то время было не то: сказываютъ, что когда баронъ нашъ, для перваго опыта, вздумалъ сдѣлать, по обязанности своей, одному экипажу батальонное ученье, а въ послѣднемъ взводѣ не оказалось даже двухъ человѣкъ, которые бы шли въ *ногу, да* сверхъ того еще штыки надъ головами кре-

стились и цѣплялись одинъ за другой, и благородный баронъ, въ неукротимомъ порывѣ отчаянья, заломивъ руки, воскликнулъ: «Боже мой! это что за народъ»? то крайній матросъ въ задней шеренгѣ, порываясь попасть въ ногу и стоптавъ уже тремъ передовымъ своимъ всѣ закаблучья, придерживая лѣвою рукою прикладъ ружья, снялъ фуражку и, оборотившись къ вопрошающему, отвѣчалъ съ незлобною улыбкой: «мы съ глубокой пристани, Очаковскіе, ваше благородіе»!

— «Боже мой, подумалъ кавалеръ бронзовой медали,— какъ времена перемѣнчивы! Очаковскіе! Какое громкое, звучное, славное имя! Очаковскіе! такъ изводится родъ человѣческій; и возьмите названіе, какое угодно, самое громкое и блестящее въ старину, славное, великое, напримѣръ названіе какого нибудь знаменитаго, неприступнаго замка, и назовите нынѣшнихъ жителей его этимъ именемъ, и припомните въ то же время старину, — не горькая ли это насмѣшка надъ славою прадѣдовъ»?

Такъ мечталъ и заносился угрюмый Губертъ Рудольфовичъ, глядя съ презрѣніемъ на нынѣшнее недостойное ополченіе Очакова, между тѣмъ какъ попутчикъ его ходилъ по богохранимому граду Николаеву, распахнувши врата сердца своего настежь, и приговаривая встрѣчному и поперечному, съ улыбкою на устахъ и глазахъ: «милости просимъ»! Смарагдъ былъ неутомимъ въ визитахъ, въ засвидѣтельствованіи почтенія, искалъ знакомства въ каждомъ домѣ, гдѣ было болѣе трехъ оконъ на улицу; принималъ каждое свѣтское приглашеніе: «прошу быть знакомымъ» — въ буквальномъ смыслѣ, и являлся, беззаботно и безпечно, на другой же день, къ обѣду или къ вечеру; а если въ домѣ была милая хозяйка, или еще, упаси Богъ, дочери, то Смарагдъ обживался тамъ въ сутки, а много въ двои, и былъ какъ дома, хотя и сохранялъ всегда врожденную

живому нраву его скромную говорливость, вѣжливость и услужливость. Его любили вездѣ; пожилые семейные люди, считая себя всѣ нѣкоторымъ образомъ начальниками его, потому что всѣ они были морскаго вѣдомства, говорили ему привѣтливо «ты»; маменьки этого города — въ то время по крайности — очень любили проворныхъ и обязательныхъ молодчиковъ, всегда готовыхъ на любую услугу; а Смарагдъ безотказно готовъ былъ сбѣгать десять разъ на день съ образчикомъ ленты или тафты въ лавки; попросить компаснаго мастера, чтобы велѣлъ починить расклепавшіяся ножницы; конопатнаго, чтобы, при вставкѣ двойныхъ рамъ, прислалъ законопатить окна; фонарнаго, чтобы починить въ каретѣ фонари; а столярнаго, чтобы велѣлъ надѣлать сотни двѣ вилочекъ, для пришпильки бѣлья, которое безъ этого срываетъ вѣтромъ и валяетъ наземь. Смарагдъ съ особеннымъ жаромъ схватывалъ шапку свою и пристегивалъ кортикъ, не длиннѣе, если не короче, вязальнаго прутка, когда просили его проводить семейство вечеромъ на прогулку, на знаменитый бульваръ, позади Адмиральской улицы, надъ Ингуломъ; не отходилъ ни на мигъ, если просили его состоять при свитѣ, по случаю какого-нибудь сборища, напримѣръ спуска корабля, или театральнаго представленія штурманскихъ учениковъ—поняньчиться съ платкомъ или шалью, и прочее.

Баронъ былъ совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ къ обществу. Онъ соблюдалъ все, что хорошій тонъ можетъ требовать отъ степеннаго человѣка, но онъ не искалъ никакого знакомства, рѣдко бывалъ въ домахъ, хотя и не пропускалъ ни одного собранія большаго общества. Онъ никогда не улыбался, глядѣлъ зорко, пристально, сложивъ руки, подбирался и вытягивался, подходя къ барынѣ или дѣвицѣ, и отпускалъ обдуманныя, изысканныя и тяжеловатыя учтивости. На него

смотрѣли всѣ, какъ на чудака; предубѣжденіе урожденныхъ флотскихъ и портовыхъ противу армейщины здѣсь ничѣмъ не опровергалось; дѣвицы пугались угрюмой молчаливости барона, когда онъ молчалъ, и боялись еще болѣе важнаго, рѣшительнаго и привлекающаго общее вниманіе приступа барона, когда онъ, расшаркиваясь, подходилъ, какъ на театрѣ, и отпускалъ затверженныя пошлости. Я не говорю, чтобы барышни наши въ то время слушали охотно однѣ только не пошлыя учтивости; но по крайней мѣрѣ—есть на все сноровка и ухватка, образъ и способъ; можно сказать одно и то же, одни и тѣ же слова, такъ и этакъ; можно шепнуть что-нибудь во время кадрили — не французской, которой тогда еще не довезли до заштатныхъ городовъ, а простой—можно шепнуть что-нибудь, какъ будто оно вырвалось у васъ невольно, невзначай, и можно, или лучше сказать, *нельзя* возгласить то же самое во всеуслышаніе, расшаркавшись, какъ голландскій пѣтухъ, и обративъ смѣшными пріемами своими на себя и на того, съ кѣмъ говоришь, вниманіе цѣлаго общества. Но отказные враги барона были — всѣ тѣ, которые принадлежали не къ первой шеренгѣ общества, хотя они и втирались туда частенько, и даже похитили въ ней, нѣкоторые по крайней мѣрѣ, правo гражданства. Это были именно мастеровые чины адмиралтейства: блоковый, канатный, парусный, столярный, конопатный, фонарный, токарный, котельный, шлюпочный, компасный, и Богъ вѣсть какіе еще мастера́, впрочемъ люди въ чинахъ, въ почетныхъ званіяхъ — и главное — съ весьма хорошимъ достаткомъ. Жалованье ихъ было, конечно, очень небольшое; но они жили хорошо, иные довольно открыто, давали за дочерьми весьма порядочное приданое, на худой конецъ домикъ съ полнымъ хозяйствомъ; кромѣ того, въ цѣломъ городѣ рѣшительно не было мастероваго, за исклю-

ченіемъ имъ подчиненныхъ; и особенно не было такого, который сдѣлалъ бы все, что угодно, даромъ. — Всѣ эти обстоятельства, согласитесь сами, уже достаточны для того, чтобы дать господамъ этимъ почетное мѣсто въ обществѣ, которое безъ нихъ не можетъ существовать.

Но баронъ Адель фонъ-Адельсбургъ не признавалъ ихъ годными и достойными; онъ строго держался своего рыцарства и дворянства, и если благородство, въ смыслѣ чести, было для него неотъемлемою принадлежностію дворянина, то баронъ, наоборотъ, не всѣхъ благородныхъ, то есть чиновныхъ, признавалъ дворянами; по крайней мѣрѣ онъ мысленно исключилъ изъ бархатной книги своей всѣхъ господъ фонарныхъ, котельныхъ и компасныхъ—и чрезвычайно ловко и тонко, съ разборчивостію кавалера лучшаго свѣта и тона, умѣлъ показать это даже и въ обращеніи съ женскимъ поломъ мастероваго сословія.

## ГЛАВА VIII.

### ПОЦѢЛУЕВЪ ИЩЕТЪ ПОЦѢЛУЯ.

Баронъ полюбилъ на бѣду молодаго, откровеннаго земляка своего; сверхъ того, это было первое и сначала почти единственное его знакомство въ Николаевѣ— и благородный баронъ, воображая себя всегда защитникомъ и заступникомъ слабѣйшаго и почитая Поцѣлуева ребенкомъ, которому еще нуженъ дядька, предложилъ ему жить вмѣстѣ. Бѣдный Смарагдъ, не смѣя противиться волѣ своего грознаго, по виду, опекуна, потупилъ очи и—согласился. Смарагдъ вздыхалъ объ этомъ уже напередъ, вспоминая, изъ второй части *теоріи и практики* кораблевожденія Гамалѣя, что по-

витый лаврами мечъ *) и беззаботная лира, хотя и находятся въ одномъ и томъ же сѣверномъ полушаріи, но раздѣлены на вѣки вѣчные млечнымъ путемъ и сойтись не могутъ, развѣ быть свѣтопреставленію. Несмотря на это, они наняли общую квартиру, неподалеку вѣчно-зеленой казенной аптеки, и расположились жить вмѣстѣ. Почему не такъ: были же времена, когда мечъ и цѣвница живали какъ братъ съ сестрой!

Баронъ далъ Смарагду лучшую изъ трехъ комнатокъ, и самъ занялъ какой-то получуланъ, въ которомъ господствовали всегдашніе сумерки. Щитъ, мечъ, гербъ, огромныя перчатки, даже наручни прабабушки, заняли обычное свое мѣсто. Смарагдъ убралъ комнату свою тремя трубками, кисетомъ, шляпой,—клеенчатаго чахла или кивера тогда еще не было, — саблей, кортикомъ, десяткомъ учебныхъ и другихъ книгъ, гдѣ опять незабвенный Гамалѣй, обнявшій въ сочиненіи своемъ, первый и доселѣ еще одинъ, всѣ отрасли сложной мореходской науки, занималъ первое почетное мѣсто; кромѣ того, Смарагдъ вскорѣ обзавелся шести-струнной, итальянской гитарой, которая, со временъ сенявинскаго похода, у насъ, въ черноморскомъ флотѣ, во всеобщемъ употребленіи. Скажемъ правду: Смарагдъ, въ первое время, по крайней мѣрѣ, поглядывалъ иногда, и то только невзначай, на корешокъ своего Гамалѣя, а далѣе въ него не углублялся: вольность, свобода, своя воля, самъ себѣ господинъ—вотъ что текло теперь по жиламъ Смарагда и составляло всю жизненную полноту тѣла его, то, что врачи собственно называютъ turgor vitalis. Душа блаженствовала и мечтала, не заботясь ни о чемъ, Смарагдъ помнилъ и понималъ себя въ одномъ только смыслѣ; грудь его дышала свободно, душа купалась въ какомъ-то блаженствѣ; онъ былъ счастливъ,

*) Friedrichs Ehre. Пусть его и не будетъ въ Гамалѣѣ, а все равно.

живому нраву его скромную говорливость, вѣжливость и услужливость. Его любили вездѣ; пожилые семейные люди, считая себя всѣ нѣкоторымъ образомъ начальниками его, потому что всѣ они были морскаго вѣдомства, говорили ему привѣтливо «ты»; маменьки этого города — въ то время по крайности — очень любили проворныхъ и обязательныхъ молодчиковъ, всегда готовыхъ на любую услугу; а Смарагдъ безотказно готовъ былъ сбѣгать десять разъ на день съ образчикомъ ленты или тафты въ лавки; попросить компаснаго мастера, чтобы велѣлъ починить расклепавшіяся ножницы; конопатнаго, чтобы, при вставкѣ двойныхъ рамъ, прислалъ законопатить окна; фонарнаго, чтобы починить въ каретѣ фонари; а столярнаго, чтобы велѣлъ надѣлать сотни двѣ вилочекъ, для пришпильки бѣлья, которое безъ этого срываетъ вѣтромъ и валятъ наземь. Смарагдъ съ особеннымъ жаромъ схватывалъ шапку свою и пристегивалъ кортикъ, не длиннѣе, если не короче, вязальнаго прутка, когда просили его проводить семейство вечеромъ на прогулку, на знаменитый бульваръ, позади Адмиральской улицы, надъ Ингуломъ; не отходилъ ни на мигъ, если просили его состоять при свитѣ, по случаю какого-нибудь сборища, напримѣръ спуска корабля, или театральнаго представленія штурманскихъ учениковъ—поняньчиться съ платкомъ или шалью, и прочее.

Баронъ былъ совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ къ обществу. Онъ соблюдалъ все, что хорошій тонъ можетъ требовать отъ степеннаго человѣка, но онъ не искалъ никакого знакомства, рѣдко бывалъ въ домахъ, хотя и не пропускалъ ни одного собранія большаго общества. Онъ никогда не улыбался, глядѣлъ зорко, пристально, сложивъ руки, подбирался и вытягивался, подходя къ барынѣ или дѣвицѣ, и отпускалъ обдуманныя, изысканныя и тяжеловатыя учтивости. На него

смотрѣли всѣ, какъ на чудака; предубѣжденіе урожденныхъ флотскихъ и портовыхъ противу армейщины здѣсь ничѣмъ не опровергалось; дѣвицы пугались угрюмой молчаливости барона, когда онъ молчалъ, и боялись еще болѣе важнаго, рѣшительнаго и привлекающаго общее вниманіе приступа барона, когда онъ, расшаркиваясь, подходилъ, какъ на театрѣ, и отпускалъ затверженныя пошлости. Я не говорю, чтобы барышни наши въ то время слушали охотно однѣ только не пошлыя учтивости; но по крайней мѣрѣ—есть на все сноровка и ухватка, образъ и способъ; можно сказать одно и то же, одни и тѣ же слова, такъ и этакъ; можно шепнуть что-нибудь во время кадрили — не французской, которой тогда еще не довезли до заштатныхъ городовъ, а простой—можно шепнуть что-нибудь, какъ будто оно вырвалось у васъ невольно, невзначай, и можно, или лучше сказать, *нельзя* возгласить то же самое во всеуслышаніе, расшаркавшись, какъ голландскій пѣтухъ, и обративъ смѣшными пріемами своими на себя и на того, съ кѣмъ говоришь, вниманіе цѣлаго общества. Но отказные враги барона были — всѣ тѣ, которые принадлежали не къ первой шеренгѣ общества, хотя они и втирались туда частенько, и даже похитили въ ней, нѣкоторые по крайней мѣрѣ, право гражданства. Это были именно мастеровые чины адмиралтейства: блоковый, канатный, парусный, столярный, конопатный, фонарный, токарный, котельный, шлюпочный, компасный, и Богъ вѣсть какіе еще мастера́, впрочемъ люди въ чинахъ, въ почетныхъ званіяхъ — и главное — съ весьма хорошимъ достаткомъ. Жалованье ихъ было, конечно, очень небольшое; но они жили хорошо, иные довольно открыто, давали за дочерьми весьма порядочное приданое, на худой конецъ домикъ съ полнымъ хозяйствомъ; кромѣ того, въ цѣломъ городѣ рѣшительно не было мастероваго, за исклю-

ченіемъ имъ подчиненныхъ; и особенно не было такого, который сдѣлалъ бы все, что угодно, даромъ. — Всѣ эти обстоятельства, согласитесь сами, уже достаточны для того, чтобы дать господамъ этимъ почетное мѣсто въ обществѣ, которое безъ нихъ не можетъ существовать.

Но баронъ Адель фонъ-Адельсбургъ не признавалъ ихъ годными и достойными; онъ строго держался своего рыцарства и дворянства, и если благородство, въ смыслѣ чести, было для него неотъемлемою принадлежностію дворянина, то баронъ, наоборотъ, не всѣхъ благородныхъ, то есть чиновныхъ, признавалъ дворянами; по крайней мѣрѣ онъ мысленно исключилъ изъ бархатной книги своей всѣхъ господъ фонарныхъ, котельныхъ и компасныхъ—и чрезвычайно ловко и тонко, съ разборчивостію кавалера лучшаго свѣта и тона, умѣлъ показать это даже и въ обращеніи съ женскимъ поломъ мастероваго сословія.

## ГЛАВА VIII.

### ПОЦѢЛУЕВЪ ИЩЕТЪ ПОЦѢЛУЯ.

Баронъ полюбилъ на бѣду молодаго, откровеннаго земляка своего; сверхъ того, это было первое и сначала почти единственное его знакомство въ Николаевѣ— и благородный баронъ, воображая себя всегда защитникомъ и заступникомъ слабѣйшаго и почитая Поцѣлуева ребенкомъ, которому еще нужонъ дядька, предложилъ ему жить вмѣстѣ. Бѣдный Смарагдъ, не смѣя противиться волѣ своего грознаго, по виду, опекуна, потупилъ очи и—согласился. Смарагдъ вздыхалъ объ этомъ ужс напередъ, вспоминая, изъ второй части *теоріи и практики* кораблевожденія Гамалѣя, что по-

витый лаврами мечъ *) и беззаботная лира, хотя и находятся въ одномъ и томъ же сѣверномъ полушаріи, но раздѣлены на вѣки вѣчные млечнымъ путемъ и сойтись не могутъ, развѣ быть свѣтопреставленію. Несмотря на это, они наняли общую квартиру, неподалеку вѣчнозеленой казенной аптеки, и расположились жить вмѣстѣ. Почему не такъ: были же времена, когда мечъ и цѣвница живали какъ братъ съ сестрой!

Баронъ далъ Смарагду лучшую изъ трехъ комнатокъ, и самъ занялъ какой-то получуланъ, въ которомъ господствовали всегдашніе сумерки. Щитъ, мечъ, гербъ, огромныя перчатки, даже наручни прабабушки, заняли обычное свое мѣсто. Смарагдъ убралъ комнату свою тремя трубками, кистомъ, шляпой,—клеенчатаго чахла или кивера тогда еще не было, — саблей, кортикомъ, десяткомъ учебныхъ и другихъ книгъ, гдѣ опять незабвенный Гамалѣй, обнявшій въ сочиненіи своемъ, первый и доселѣ еще одинъ, всѣ отрасли сложной мореходской науки, занималъ первое почетное мѣсто; кромѣ того, Смарагдъ вскорѣ обзавелся шести-струнной, итальянской гитарой, которая, со временъ сенявинскаго похода, у насъ, въ черноморскомъ флотѣ, во всеобщемъ употребленіи. Скажемъ правду: Смарагдъ, въ первое время, по крайней мѣрѣ, поглядывалъ иногда, и то только невзначай, на корешокъ своего Гамалѣя, а далѣе въ него не углублялся: вольность, свобода, своя воля, самъ себѣ господинъ—вотъ что текло теперь по жиламъ Смарагда и составляло всю жизненную полноту тѣла его, то, что врачи собственно называютъ turgor vitalis. Душа блаженствовала и мечтала, не заботясь ни о чемъ, Смарагдъ помнилъ и понималъ себя въ одномъ только смыслѣ; грудь его дышала свободно, душа купалась въ какомъ-то блаженствѣ; онъ былъ счастливъ,

*) Friedrichs Ehre. Пусть его и не будетъ въ Гамалѣѣ, а все равно.

самъ не зная—чѣмъ и отъ чего; онъ жилъ со всегдашнею улыбкой на устахъ, съ какимъ-то отблескомъ самодовольствія въ голубыхъ глазахъ; словомъ—онъ жилъ, и жилъ впервые. На укромномъ столикѣ его лежали въ порядкѣ всѣ письменныя принадлежности, и по крайней мѣрѣ на двадцати лоскуткахъ сдѣлано было начало какого-нибудь пылкаго или очень чувствительнаго стихотворенія. Баронъ былъ для Смарагда добръ, предупредителенъ, но—несносенъ. Губертъ Рудольфовичъ сдѣлался не только хозяйственнымъ и нравственнымъ опекуномъ своего неравнаго товарища, но требовалъ отчета почти во всѣхъ помышленіяхъ его, не только въ поступкахъ. Если доблестный баронъ не былъ на ученьѣ, то Поцѣлуевъ обыкновенно бѣжалъ изъ дому; отчетность эта затрудняла его со дня на день болѣе; а сухость, суровость, положительное направленіе всѣхъ помышленій барона приводили Смарагда Петровича въ совершенное отчаяніе. Къ этому присоединилась еще какая-то темная, безотчетная ненависть моряка къ учителю фронтовой службы, тѣмъ болѣе, что учитель этотъ вздумалъ давать ученику своему дома, на досугѣ, частные уроки ротнаго и батальоннаго ученья, отъ которыхъ отчаянный ученикъ бѣжалъ безъ оглядки въ первый ближайшій знакомый ему домъ.

Повѣсть наша происходила въ тѣ времена, когда благоденствовали еще хозяйственная, исполнительная и казначейская экспедиціи; когда жилъ-былъ и капитанъ надъ портомъ, именуемый обыкновенно за-просто *портовымъ*; когда было много совѣтниковъ, которымъ нынѣ уже ни слуху, ни духу. И первый, ближайшій домъ, куда бѣжалъ Смарагдъ, принадлежалъ одному изъ совѣтниковъ адмиралтейства, который жилъ открыто, не хуже самого капитана надъ портомъ, и умѣлъ при этомъ пользоваться еще и тѣмъ неоспори-

мымъ преимуществомъ надъ послѣднимъ, что вырастилъ, выкормилъ и образовалъ, сколько обстоятельства позволяли, двухъ премилыхъ дочерей. Поцѣлуевъ былъ въ домѣ этомъ свой, влюблялся черезъ день то въ Надю, то въ Наташу, и любилъ ихъ поочередно — страстно и жарко, до первой встрѣчи съ какой-либо иной очаровательной дѣвицей, которыхъ было, какъ всюду, такъ и въ Николаевѣ, довольно: потому что и здѣсь, какъ вездѣ, Поцѣлуевы съ братіею многаго съ дѣвицъ не спрашивали, и не заботились ни о чемъ, кромѣ пригоженькаго ихъ личика. Изящный же вкусъ николаевской молодежи вѣрно не уступалъ въ этомъ отношеніи ни въ чемъ вкусамъ иногороднымъ; помнится, по крайней мѣрѣ, что и въ то время уже о воспитанности и образованности дѣвушекъ разсуждали изрѣдка одни только родители; о качествахъ и способностяхъ умственныхъ и нравственныхъ толковать было приторно и пошло. У поэта нашего, у Смарагда, при новыхъ отношеніяхъ его, давно уже родилась мысль, съ которою онъ ложился, засыпáлъ, няньчился во снѣ, просыпáлся и носился весь день, до новаго сна. Поэтъ самъ видѣлъ, что ему поэзія какъ-то не совсѣмъ еще далась, что чего-то недостаетъ, не хватаетъ, и онъ искалъ причины этому не въ себѣ, а въ отношеніяхъ внѣшнихъ. Первое, убійственное для дара его обстоятельство, было сожительство съ несноснымъ барономъ; «надобно, думалъ Смарагдъ, чѣмъ-нибудь перевѣсить это, забыться; мнѣ нуженъ толчекъ, искра, и тогда— я чувствую, что все во мнѣ задышитъ полымемъ, я напишу что-нибудь сильное, могучее, даровитое, самобытное». Искру эту и толчекъ, электрическій ударъ этотъ Смарагдъ нашелъ въ воображеніи своемъ и теперь ухаживалъ уже съ мѣсяцъ времени самъ около себя, не зная какъ бы справиться съ собою, настроить себя и заставить выполнить, осуществить на дѣлѣ

столь желанную мѣру. Что же, вы полагаете, поэтъ нашъ выдумалъ? Бездѣлицу: ему хотѣлось добыть, подъ какимъ бы то ни было способомъ, одинъ только поцѣлуй маловидной дѣвицы, дѣвы, какъ онъ ее называлъ, а потомъ бѣжать домой безъ оглядки, запереться отъ докучливаго барона и просидѣть ночь напролетъ надъ самодарнымъ твореніемъ своимъ, излить всѣ чувства свои въ какомъ-нибудь подраженіи Нелединскому-Мелецкому, Мерзлякову, Дмитріеву, даже Карамзину, котораго стихотворенія, новостію языка своего, тогда еще невольно поражали и восхищали. Пушкина еще не было; я думаю, что онъ бы свелъ съ ума нашего героя.

Съ тѣхъ поръ, какъ въ мечтательной головѣ Поцѣлуева родилась эта, потрясающая душу, мысль, улыбка расцвѣла на немъ вдвое ярче прежняго, а таинственная поволока придала голубымъ очамъ его какое-то страдальческое выраженіе. Смѣшно и забавно было видѣть, какъ Смарагдъ выходилъ день-за-день на ловлю поцѣлуя и какъ недовѣрчивый и неотступный дядька его, баронъ, слѣдилъ за воспитанникомъ своимъ шагъ за шагомъ, какъ бралъ его въ допросъ послѣ каждой прогулки и отлучки, какъ при этомъ горячая кровь Смарагда била ключемъ въ лицо и въ голову, а Губертъ Рудольфовичъ Адель-фонъ-Адельсбургъ хмурилъ брови, морщилъ губы въ жемокъ, поглядывалъ изподлобья, сложивъ руки, наклонивъ голову, закидывая плеча и потомъ, тряхнувъ головою и оставивъ *скрытнаго* недоросля своего на короткое время въ покоѣ, отправлялся въ свою каморку ходить взадъ и впередъ, по четыре шага въ оба конца, и думать: «что бы это такое значило? Поцѣлуевъ не тотъ, что былъ; тутъ что-нибудь да кроется; мальчикъ молодой, легкомысленный, онъ можетъ влюбиться, надѣлать шалостей, погубить всю будущность свою—надо за нимъ присматривать; мнѣ его жаль.»

## ГЛАВА IX.

### НЕЗВАННЫЙ СВИДѢТЕЛЬ.

Баронъ въ самомъ дѣлѣ сдержалъ слово свое: онъ слѣдилъ за Поцѣлуевымъ почти неотступно, рѣшился даже знакомиться безъ обиняковъ въ домахъ, гдѣ тотъ бывалъ; всѣмъ стало это кидаться въ глаза; таинственный баронъ чествлъ посѣщеніями своими людей, которыхъ прежде не хотѣлъ и знать; приходилъ всегда слѣдомъ за воспитанникомъ своимъ, мало говорилъ, по всегдашнему обычаю своему, но много ломался, хмурился, всему удивлялся, и зорко поглядывалъ на Смарагда, который алѣлъ и блѣднѣлъ отъ испытующаго взора опекуна своего и не зналъ куда дѣваться. Стали толковать объ этомъ болѣе и болѣе, стали допрашивать и Поцѣлуева, но не могли добиться никакого толку и заключили, что баронъ чудакъ, какихъ немного на бѣломъ свѣтѣ. Барону до этого всего было мало нужды; онъ дѣлалъ свое: утромъ занимался ученьемъ, послѣ обѣда ученьемъ, а къ обѣду и вечеромъ отправлялся отыскивать по городу камрада своего, отъ котораго сталъ уже требовать довольно настойчиво, чтобы тотъ говорилъ ему напередъ, гдѣ будетъ обѣдать, гдѣ проводить вечеръ. Баронъ слѣдилъ неутомимо и дослѣдился.

Смарагдъ, какъ мы сказали, спасаясь отъ домашнихъ уроковъ батальоннаго ученья, схватилъ фуражку свою съ бѣлою выпушкой и полетѣлъ къ совѣтнику. Это было вечеромъ, и притомъ зимою; Ивана Ефимовича не было дома, а дѣвушекъ Смарагдъ засталъ за фортепіано. Вышла и мать; подали чай, пошли въ гостиную и, безъ дальнѣйшихъ околичностей, унесли туда и свѣчи изъ залы гдѣ сдѣлались почти потемки,

покрайней мѣрѣ болѣе, чѣмъ сумерки. Смѣялись, шутили, бесѣда шла бѣглая, веселая; Надя и Наташа были очаровательны, особенно Наташа, на которую Смарагдъ теперь преимущественно полагалъ надежды свои; зашелъ споръ о томъ, сколь высоко идетъ напѣвъ какой-то пѣсенки, потомъ заспорили, до которой нотки Надя возьметъ тоненькимъ голосочкомъ своимъ; Надя увѣряла, Смарагдъ не вѣрилъ, и она вскочила и пошла въ залу, сѣла беззаботно за фортепіано, на которое частію упадалъ свѣтъ изъ дверей гостиной, стала перебирать однимъ пальчикомъ кости, выше да выше, и слѣдила за ними, попадая, какъ Богъ и учитель велѣли, звонкимъ голоскомъ своимъ.

Смарагдъ сталъ за стулъ, шепталъ Надѣ на ухо, что выигралъ закладъ, что она не достаетъ чисто какое-то *фа* или *соль*, та оправдывалась, силилась достать выше и выше.—Надя была мила, спорила, но казалась уступчивой и незлопамятной—разговаривала промежуткомъ вслухъ, съ маменькой и сестрой, которыя сидѣли въ гостиной.—Смарагдъ не могъ упустить этотъ благопріятный случай и—исполнилъ давнишній обѣтъ свой, совершилъ подвигъ, отъ котораго въ немъ кровь мгновенно остыла, сердце заболѣло, очи ослѣпли. Надя пискнула едва слышнымъ голосомъ, взяла громкій и звучный аккордъ и сказала вслухъ, повысивъ голосъ: «Наташа, поди сюда, споемъ что нибудь вмѣстѣ». Наташа вошла со свѣчею въ рукахъ — и баронъ Адельфонъ-Адельсбургъ, стоя у дверей въ переднюю, противъ фортепіано, важно и величественно съ нею расшаркивался.

Надобно вамъ сказать, что баронъ вошелъ въ переднюю въ то самое время, когда чета наша, занятая громкимъ споромъ, выходила изъ гостиной въ залу; баронъ вошелъ потихоньку, притаился въ потьмахъ у самыхъ дверей; ему было очень любопытно увидѣть

что изъ всего этого будетъ и чѣмъ это *глазъ-на-глазъ* въ потьмахъ кончится; баронъ прислушивался во всѣ уши, присматривался во всѣ глаза — и, если не могъ услышать всего, что говорено было шопотомъ, по промежуткамъ отводнаго разговора вслухъ, то по крайности слышалъ и видѣлъ довольно, гораздо болѣе, чѣмъ кому нибудь, на мѣстѣ Смарагда и Нади, могло бы быть желательно.

## ГЛАВА X.

### НЕЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

Баронъ, посидѣвъ у Ивана Ефимовича въ домѣ съ полчаса, въ самомъ угрюмомъ, дикомъ и отчаянномъ молчаніи, такъ что нагналъ тоску и страхъ на хозяекъ и на односума своего, на Смарагда, разсудилъ наконецъ и самъ, что видѣлъ довольно, что выжидать уже болѣе нечего, и отправился домой. Смарагдъ не зналъ, до какой степени баронъ проникъ въ тайны его, но какое-то волненіе и безпокойство томили его и гнали въ чистое поле. Оставшись еще на короткое время потому только, что баронъ ушелъ, Смарагдъ взялъ однако же вскорѣ фуражку, вышелъ, снялъ съ себя шейный платокъ, накинулъ жиденькій плащъ на распашку и пошелъ пройтись по обширной адмиралтейской площади, мимо артиллерійской слесарни, до полуразрушеннаго каменнаго квартала казенныхъ домовъ, которыми съ этой стороны оканчивается городъ. Нахлебавшись вдоволь холоднаго вѣтру и прозябнувъ немного, Смарагдъ поворотилъ, прошелъ вдоль слободки до казенной аптеки и—робкою рукой отворилъ калитку своего жилья. Ему какъ-то очень тяжело было идти на свиданье съ доблестнымъ барономъ, который ложился всегда очень поздно, а потому и теперь еще сидѣлъ.

закинувъ голову, скрестивъ ноги, курилъ огромную пѣнковую трубку свою, пускалъ клубы дыма подъ самый потолокъ и барабанилъ пальцами по кожаному дивану отбой или переправу, а по временамъ насвистывалъ егерскіе сигналы. Какъ ни старался Поцѣлуевъ войти потихоньку, скорѣе раздѣться, лечь и притвориться соннымъ, чтобы потомъ, на свободѣ и безъ помѣхи, излить тайкомъ на лоскуткѣ бумажки чудныя вдохновенія нынѣшняго вечера,—но баронъ его подстерегъ, вошелъ къ нему, походилъ, опять вышелъ, опять вошелъ и наконецъ сталъ Наполеономъ въ дверяхъ и сказалъ:

— Я не охотникъ до объясненій, Смарагдъ Петровичъ, но отношенія мои къ вамъ заставляютъ меня дѣлать это иногда противъ воли. Я давно уже подозрѣвалъ, глядя на васъ, какія нибудь неумѣстныя связи; видѣлъ, что съ вами что нибудь да дѣлается; но то, что я видѣлъ своими глазами сегодня—того я отъ васъ, какъ отъ офицера и дворянина, не ожидалъ.

— Что же вы такое видѣли, баронъ?—спросилъ Поцѣлуевъ.

— Я видѣлъ, если вы непремѣнно хотите, чтобы я вамъ сказалъ это, отвѣчалъ баронъ:—я видѣлъ, что вы поцѣловали Надежду.

На одинъ только мигъ Смарагдъ было немного потерялся; вслѣдъ за тѣмъ, умилительное воспоминаніе возвратило ему языкъ, бодрость, веселость и шутливость. «О», сказалъ онъ, «кто не обнимаетъ, хотя въ мечтахъ, эту усладительную богиню, надежду!—Но—если вы это видѣли, Губертъ Рудольфовичъ, если вы не шутите, тогда вы, конечно, видѣли много, гораздо болѣе, чѣмъ вамъ видѣть слѣдовало, потому что никому не позволяется видѣть то, чего нѣтъ и не было.

— Стой, молодой человѣкъ,—воскликнулъ баронъ, *разставивъ* вилами и руки, и ноги, и всѣ десять паль-

цевъ,—остановись, молодой человѣкъ, ты хочешь сказать неправду, ты хочешь играть истиной, честью—остановись: ты русскій дворянинъ, хотя и молодъ еще; что ты будешь отвѣчать мнѣ, если я спрошу тебя, на дворянскую честь и совѣсть твою, правду ли я сказалъ или нѣтъ?

Поцѣлуевъ всталъ, принялъ такое рѣшительное, твердое положеніе, какого мы доселѣ еще за нимъ не видывали, и сказалъ: «послушайте, баронъ, если вы хотите, чтобы я не сердился на допросъ вашъ, то не сердитесь же и вы на мои отвѣты, а выслушайте меня спокойно:—Я молодой человѣкъ, это такъ; но я изъ опеки вышелъ; поэтому я бы могъ просто спросить васъ, по какому праву вы хотите меня опрашивать какъ ребенка?—но я—дайте мнѣ договорить, если угодно—я, вмѣсто этого, не отвѣчая вамъ на первый случай ни да, ни нѣтъ, спрошу въ свою очередь: какая же тутъ бѣда и что за несчастье и безчестье, если молодой человѣкъ, разъ или два на вѣку своемъ, позволитъ себѣ поцѣловать дѣвушку? что тутъ за бѣда? на что мнѣ жить на свѣтѣ, если нельзя ловить, хотя на лету, на перелетѣ быстрокрылыя услады, которыя даруютъ мнѣ на нѣсколько дней силу и крѣпость, и новую жизнь, и новую радость въ жизни? Здѣсь все зависитъ только отъ мѣста, времени и обстоятельствъ—нужна разборчивость, чувство приличія, чутье, чтобы все это вышло въ ладъ и въ мѣру и чтобы все покрыто было для цѣлаго свѣта непроницаемымъ покровомъ тайны. Поэтому тотъ, кто видѣлъ то, чего видѣть не должно, виноватѣе того, кто былъ при этомъ лицомъ дѣйствующимъ и неосторожно ввѣрился обманчивымъ обстоятельствамъ, не подозрѣвая тутъ соглядатаевъ.—Собственно же въ поцѣлуѣ я не вижу ни грѣха, ни безчестья. Вотъ вамъ, баронъ, мнѣніе мое о вопросномъ дѣлѣ; что же касается, наконецъ, собственно видѣн-

наго вами, то я прошу васъ вѣрить, что вы ошиблись: вы ничего не видали;—я прошу васъ сообразовать съ этимъ и слова свои по тому же предмету, со мною ли, съ другимъ ли кѣмъ вы будете говорить; прошу васъ объ этомъ, не столько ради меня самого, какъ ради дѣвицы, которая не можетъ стать съ вами на одну доску, какъ я теперь, и объясниться. Оставимъ же дѣло это навсегда, будто его и не бывало.

Баронъ не могъ не признать въ этомъ отвѣтѣ Поцѣлуева что-то рыцарское, благородное; онъ подалъ руку молодому товарищу и, раздувъ ноздри, приподнявъ брови угловатымъ сводомъ и откинувъ плеча назадъ, сказалъ подъ напѣвомъ какого-то восторга: «въ васъ течетъ благородная славянская кровь».

## ГЛАВА XI.

### РАЗВОДНАЯ.

Этимъ кончилось дѣло на тотъ разъ; но, при первомъ случаѣ, оно опять возобновилось и не могло уже снова вполнѣ уладиться; а случайное обстоятельство окончательно разстроило принужденное согласіе нашихъ односумовъ; временная затишь миновалась, и порывъ бурнаго шквала разогналъ ихъ въ разные концы.

Баронъ самъ себѣ не могъ или не хотѣлъ отдать яснаго отчета въ чувствѣ, которое подстрекало его ссориться со Смарагдомъ за невинныя его волокитства; но это просто была ревнивая зависть. Поцѣлуевъ былъ всюду дома, вездѣ свой, съ барышнями обходился почти какъ съ ровнями, потому-что совѣсть его была чиста и непорочна, и барышни ему отвѣчали, большею частію, *по той же* причинѣ, тѣмъ же. Напротивъ, баронъ нашъ,

неуклюжею почтительностію своею и неумѣстною околичностію, никогда не успѣвалъ найти расположеніе и довѣрчивость своихъ богинь. Это раждало въ немъ скрытную досаду на счастливца, которому всѣ блага земли доставались шутя, играючи, и баронъ, черезъ нѣсколько дней, снова началъ пилить Смарагда поученіями и требовать отчетности въ дѣлахъ его и поступкахъ. То непростительно было Смарагду отбивать у такой-то дѣвушки женихов; то не шло волочиться за дочерью совѣтника, который дослужился до чиновъ изъ званія клерка или баталера и не былъ столбовымъ дворяниномъ; то не должно было ходить въ такой-то домъ, гдѣ не умѣли цѣнить людей, потому-что сухо приняли барона; то не слѣдовало бы навязываться прихвостнемъ такой-то дѣвицѣ, которой Смарагдъ, по мнѣнію барона, надоѣдаетъ; а знаться съ блоковымъ, парусным и компаснымъ, хоть они и чиновные люди, не идетъ уже вовсе, и прочее и прочее. Нравоученія эти Смарагду такъ надоѣли, что онъ, оперившись уже однажды, раздумывалъ, какъ бы разстаться съ барономъ по добру, выйти изъ этой несносной опеки, которою докучали ему въ насмѣшкахъ по цѣлому городу. Не прошло недѣли послѣ объясненія Смарагда съ барономъ по дѣлу о похищенномъ поцѣлуѣ, какъ въ домѣ капитана надъ портомъ намекнули нашему поэту слегка, промежду шутокъ, на это происшествіе. Не успѣлъ Смарагдъ нашъ раздумать и порѣшить, въ какомъ смыслѣ принять намекъ этотъ, какъ въ другомъ домѣ случилось то же, и наконецъ мичманы, товарищи Поцѣлуева, разсказали ему, смѣясь, что «вотъ-де, Смарагдъ Петровичъ, какіе въ городѣ носятся о васъ слухи»— Это уже взбѣсило нашего искателя поцѣлуевъ не на шутку, вывело его изъ терпѣнія, и онъ рѣшился разстаться съ барономъ, не говоря ему ни слова, на другой же день. Распустить слухи эти по городу было

рѣшительно некому, кромѣ самого барона, потому что ни одна душа болѣе ничего объ этомъ не могла знать.

Смарагдъ пришелъ надувшись домой, отыскавъ и нанявъ себѣ уже напередъ жилье, скромное, маленькое, но зато одинокое и еще съ угла на уголъ противъ дома конопатнаго мастера; потомъ на другое утро, когда баронъ ушелъ въ ученье, Смарагдъ оставилъ ему малословную записку, что хочетъ жить одинъ; навьючилъ своего деньщика шляпой, саблей, гитарой и чемоданомъ, и перебрался. Тутъ вздохнулъ поэтъ нашъ посвободнѣе, настроилъ гитару, сыгралъ и спѣлъ, самъ для себя, старинную итальянскую арійку, которую выучилъ его одинъ, очень нѣжный, вѣковѣчный капитанъ-лейтенантъ, бывшій еще въ знаменитомъ корфинскомъ походѣ; положилъ гитару, и воспламенившись, по возможности, воспоминаніями минувшихъ дней, принялся сочинять посланіе къ надеждѣ, вѣрѣ и любви. Несносный, докучливый баронъ удушилъ было въ Смарагдѣ послѣднюю искру даровитости его, и даже намедншнее приключеніе, котораго поэтъ нашъ такъ давно искалъ и жаждалъ, какъ вдохновенія самаго возвышеннаго и могучаго, доселѣ еще не имѣло никакихъ послѣдствій. Пытка барона словно окатила Смарагда ведромъ студеной воды. Надобно было наверстать, по возможности, утраченное.

Адель-фонъ-Адельсбургъ возвращался домой съ твердымъ намѣреніемъ сказать малолѣткѣ своему краснорѣчивое, обстоятельное и убѣдительное слово о существенной пользѣ высшей и низшей практики, подразумѣвая въ послѣдней собственно искусство маршированія,—воинственный, рыцарскій духъ барона и изъ этой прозы извлекъ для себя свою поэзію — и такъ баронъ вошелъ, изготовивъ назидательную рѣчь свою, когда услышалъ, что Смарагда уже нѣтъ, и нѣтъ гитары его, *ни чемодана*. Баронъ изумился и глядѣлъ съ четверть

часа на деньщика своего глазами съ большую помадную банку; а деньщикъ, знакомый уже давно съ этимъ безсмысленнымъ взоромъ, продолжалъ преспокойно обстоятельный разсказъ свой о случившемся, и въ заключеніе подалъ оставленную Поцѣлуевымъ записку. Баронъ прочелъ ее молча, походилъ сокрушительными шагами по комнатѣ и разразился въ проклятіяхъ на людскую неблагодарность.

Между тѣмъ надобно отдать каждому должное; не баронъ распустилъ слухъ, который не безъ причины огорчилъ столько нашего поэта: деньщикъ Аделя-фонъ-Адельсбурга слышалъ весь разговоръ барина своего съ Поцѣлуевымъ, и былъ прямой виновникъ распущенныхъ сплетенъ.—Кирюшка, ловкій, молодой парень изъ господскихъ, былъ отданъ бариномъ въ солдаты, если вѣрить словамъ разсказчика, собственно за *вольность* противу женскаго пола; вотъ почему все, относящееся къ этой статьѣ, его очень занимало; онъ наострилъ уши, когда рѣчь пошла по этой части, разсказалъ потомъ все, что слышалъ, пріятелю своему, кучеру *портоваго*, какъ его обыкновенно въ Николаевѣ называли, то есть капитана надъ портомъ; кучеръ, при случаѣ, во время общаго сбора въ людской за ужиномъ, разсказалъ тоже горничнымъ, а отъ этихъ немного дороги осталось и до барыни и до барышенъ.—Такимъ образомъ вѣсть эта побѣжала, махнувъ хвостомъ какъ брыкливая кобыла, по цѣлому городу и дошла наконецъ до самого Смарагда, съ замѣчаніемъ, что баронъ Адельфонъ-Адельсбургъ все это *самъ видѣлъ*. Послѣднее обстоятельство совершенно убѣдило Поцѣлуева, что баронъ былъ вѣстовщикомъ; иначе кто бы могъ знать, что онъ самъ все это видѣлъ. — Вотъ вамъ образчикъ того, что называютъ сплетнями, отъ которыхъ бываетъ на свѣтѣ столько бѣдъ и горя, и которыя родятся и плодятся словно мыши въ подполье и прусаки за печкой.

## ГЛАВА XII.

### ПРИВѢСОКЪ ИЛИ НЕДОВѢСОКЪ.

ГЛАВА, которую можно и не читать.

А дивное это дѣло, братья и сестрицы, какъ мы пилимъ сами себя и другъ друга причудами своими, обмолвками, недомолвками, догадками, сомнѣніями, сплетнями, мелочною, бездѣльною неуступчивостью! Тебя томитъ и гложетъ какое-то безпокойство, ты самъ собою недоволенъ, самъ на себя сердитъ, а пеняешь и гнѣваешься на людей; ты, можетъ статься, и самъ видишь, что оно неладно, и это тебя раздражаетъ еще болѣе, ты совладать съ собою не умѣешь, подавить сердца своего не можешь, сознаться, что ты виноватъ, самъ въ дуракахъ, не хочешь,—а коли тебѣ быть правымъ, такъ надо виноватить другаго. Бѣдовое это дѣло, ей-Богу, бѣдовое! Знаю я это по себѣ и по другимъ, и знаетъ, чай, всякій, кто побольше, кто поменьше, да не каждый признáется, а скажетъ опять-таки: не я виноватъ, а люди. Да оно такъ и выходитъ; всѣ говорятъ: люди виноваты—мы указываемъ на другихъ, другіе на насъ—круговая порука. Эти-то отношенія мутятъ чистый источникъ нашей жизни, отравляютъ каждую насущную кроху и каплю. Эти мелочи, бездѣлки суетной жизни, въ быту нашемъ важнѣе и полновѣснѣе всякой большой бѣды и всякаго зла и горя. У меня умретъ сынъ, отецъ, жена, сгоритъ домъ, пропадетъ имѣнье, я обнищаю—и во мнѣ, вслѣдъ за бѣдою, родится смиреніе: Богъ далъ, Богъ и взялъ, говорю я, поплáчу за сыномъ, погрущу за женой, призадумаюсь и надъ своимъ послѣднимъ часомъ, вздохну, и съ умиленіемъ приступаю вновь *къ смиренной* жизни своей! Въ самой неутѣшной

скорби этой есть что-то усладительное, чувство любви и привязанности къ тому, кого я положилъ въ могилу. Домъ сгорѣлъ—и я, сосчитавъ своихъ, благодарю горячею молитвою Создателя, что онъ пощадилъ ихъ, покорюсь волѣ Его, начинаю жить и дышать снова—и жизнь мнѣ вдвойнѣ дороже: домашній кругъ мой смыкается тѣснѣе, ближе, и я въ душѣ, можетъ статься, такъ счастливъ, какъ не бывалъ и прежде, когда жилъ въ избыткѣ.—Итакъ, большое горе забыто; я пересилилъ его, перемогся, вынесъ, на душѣ легче, въ головѣ свѣтлѣе, въ груди у меня спокойнѣе—иногда и самолюбіе мнѣ льститъ; я тайно и втихомолку называю себя полумудрецомъ, который превыше всѣхъ ударовъ рока, но... ежедневныя бездѣльныя дрязги, шершавая сторона жизни, соръ и осадокъ обусловленнаго быта нашего, взаимныя пренія, пустячныя, мелочныя, недостойныя, пресмыкающіяся.... о, онѣ гложутъ, точутъ какъ червь, и мукамъ этимъ нѣтъ конца. Съ утра и до вечера, на каждомъ шагу все то же и то же—и если бы въ суткахъ было 36 часовъ, и тогда было бы тоже, и вздору этого стало бы на то, чтобы отравить мнѣ 36 часовъ, какъ нынѣ 24.

Безсильный, слабый, ничтожный—такъ! Плоть возьметъ свое, разсуждай какъ хочешь, умудряйся какъ знаешь! Духъ твой силенъ и могучъ, тамъ, гдѣ онъ проснется, гдѣ громкое событіе, могучій толчокъ заставитъ его бодрствовать: тамъ онъ мужаясь встанетъ и несетъ, не упадая, тяжкое бремя свое; но мелочныя дрязги житейскихъ заботъ утомляютъ его и сокрушаютъ, и плоть торжествуетъ. Тогда человѣкъ бываетъ иногда несносенъ, покуда наконецъ не выведетъ изъ терпѣнія и себя, и другихъ; туча разразится, хлынетъ дождь и градъ, и—брюзга опомнится, очнется, проглянетъ солнышко, настанетъ вёдро.

Вёдро и ненастье—ненастье и вёдро—чередуются во всей природѣ и—въ душѣ человѣка также.

А время летитъ—о, летитъ! покуда мы мечемся мотылями и мотыгами во всѣ стороны, забываемся, ни о чемъ не думаемъ—все хорошо и гладко; а какъ опомнишься, станешь да призадумаешься, да еще оглянешься назадъ—куда какъ летитъ оно!

## ГЛАВА XIII.

### СѢЛЪ ДА ПОѢХАЛЪ.

Въ первый разъ отъ роду Поцѣлуевъ поссорился и разошелся съ человѣкомъ такимъ образомъ: но опытность достается намъ не даромъ. Въ Смарагдѣ осталось какое-то непріятное воспоминаніе, котораго онъ долго не могъ выжить, сколько ни увѣрялъ себя, что онъ поступилъ хорошо, что иначе нельзя было кончить дѣло, что всему виноватъ одинъ баронъ и больше никто. Къ этому пристало вдобавокъ еще другое, не менѣе тревожное чувство: Смарагдъ въ первый разъ еще увидѣлъ себя предметомъ общаго разговора въ городѣ: судили, рядили, осуждали, оправдывали, обвиняли—каждый пересказывалъ дѣло по своему; мало при томъ щадили и бѣдную Надежду, и это вдвойнѣ оскорбляло добраго Смарагда. Онъ поневолѣ сталъ менѣе показываться въ люди; товарищи приставали къ нему, допрашивали его, зачѣмъ онъ разошелся съ барономъ, зачѣмъ вдругъ сталъ жить затворникомъ, когда бывало облетывалъ день за день десять, пятнадцать домовъ? Все это досаждало, докучало Смарагду, огорчало его до того, что онъ сталъ искать временной командировки и съ радостнымъ сердцемъ поскакалъ на почтовыхъ въ Севастополь, чтобы, при первомъ

открытіи судоходства, занять должное мѣстечко на фрегатѣ «Россіянка» и отправиться на немъ въ Сухумъ-Кале, крѣпостцу нашу на абхазскомъ, восточномъ берегу Чернаго моря.

Легче вздохнулось Смарагду, когда онъ выѣхалъ изъ *все*-восточной заставы николаевской, какъ называютъ ее наши ефрейторы, при утреннихъ рапортахъ своихъ: на этомъ мѣстѣ мысъ, на которомъ городъ стоитъ между двумя рѣками, Бугомъ и Ингуломъ, перехваченъ, во время чумы 1812 года, рогатками, и съ того же времени существуетъ восточная застава.— По этой дорогѣ Смарагдъ скользилъ черезъ Херсонъ и Перекопъ по ровной, гладкой, однообразной степи, не видавъ ничего, кромѣ вьюги и метели; но въ Симферополь прикатили его уже на колесахъ, хотя только январь былъ на исходѣ.—Когда же Смарагдъ переправлялся въ Севастополь, черезъ Сѣверную бухту, то былъ пріятно изумленъ: городокъ лежитъ довольно живописно, на склонѣ горы, упирающейся въ зеленое море; кровля виситъ, уступами, надъ кровлей, а прихотливое воображеніе расписываетъ за горой этой— горы и долины, водопады, кизилевыя рощи, величественный Чатыръ-дагъ и южный берегъ Крыма, со всѣми чарами и прелестями его. Полѣлуевъ снова распростеръ объятія и готовъ былъ обнять цѣлый міръ— не исключая даже и будущаго начальника своего, командира «Россіянки, довольно несноснаго грека, котораго зналъ уже по наслышкѣ.

## ГЛАВА XIV.

### АРХОНТЪ.

Прибывъ въ Севастополь, Поцѣлуевъ отыскалъ себѣ комнату во второмъ этажѣ, напился чаю и какъ это было уже довольно поздно, то и легъ отдохнуть

съ дороги, съ тѣмъ, чтобы утромъ пораньше отправиться для явки къ флотскому начальнику и своему капитану.

Утромъ, когда Смарагдъ началъ одѣваться и деньщикъ его вытеребилъ изъ чемодана за хвосты шитый съ якоремъ мундиръ, вошелъ хозяинъ дома, плотный, черноглазый грекъ, въ широкихъ черныхъ шароварахъ и черной курткѣ. «Вы меня знаете?»—спросилъ онъ безъ обиняковъ, и на отрицательный отвѣтъ Поцѣлуева, очень изумился и началъ объяснять ему бѣглымъ, но ломанымъ языкомъ, растопыривая пальцы обѣихъ рукъ по два и по три, что онъ вотъ такой-то *Пуло* или *Муло*, родной братъ командира фрегата «Россіянки», капитанъ-лейтенанта, хотя этотъ и признаетъ его въ людяхъ только братомъ двоюроднымъ; что они съ братомъ точно и дѣйствительно происходятъ прямымъ трактомъ отъ архонта древней Греціи, славнаго Евридипа, и что они, дѣйствительно, братья родные—при этомъ Пуло поднялъ два пальца, развелъ ихъ и свелъ опять вмѣстѣ——но что братъ его Исократъ зазнается немного, а впрочемъ предобрый человѣкъ, и глазъ-на-глазъ съ нимъ, или въ своемъ обществѣ, братства не чурается.—Для Смарагда все это, правда, было немножко ново; онъ однакоже попросилъ роднаго брата начальника своего сѣсть и занималъ его съ четверть часа, какъ гостя.—Потомокъ архонта разговорился до того, что разсказалъ уже почти всѣ дивные походы и похожденія свои по островамъ Средиземнаго моря, прикидываясь старымъ и бывалымъ морякомъ, когда вошелъ деньщикъ Поцѣлуева, тертый севастопольскій матросъ, и сказалъ безъ обиняковъ хозяину: «что сидишь тутъ да балагуришь? тамъ пришли за тобой, спрашиваютъ тебя въ лавочкѣ». Будущій воитель за *свуя отецества*, за вольность Греціи, всталъ, раскланялся и ушелъ.

Въ какую лавочку ты позвалъ хозяина, Никифоръ?—спросилъ Поцѣлуевъ, ничего не понимая.

— Да въ свою,—отвѣчалъ тотъ.

— Какъ въ свою? какая жъ у тебя тутъ лавочка?

— У меня нѣтъ, да у него есть. У него своя лавочка подъ нами, тамъ его зачѣмъ-то спрашивали, прибѣгалъ оттолѣ малосольный гречонокъ.

— Чѣмъ же онъ торгуетъ?

— Да извѣстно, такъ, съ пуговки на петельку перебивается: изюмомъ, орѣхами, оливками, финиками, табакомъ, балыками. Есть у него и трубки, да дрянныя, смотрѣлъ я, стамбулокъ нѣтъ; вотъ у сосѣда есть настоящія.

— Вотъ въ какую я землю заѣхалъ,—подумалъ про себя Поцѣлуевъ, одѣлся и пошелъ явиться.—Проходя мимо лавочки своего хозяина, потомка знаменитаго архонта Еврипида, Смарагдъ видѣлъ, какъ тотъ обвѣшивалъ жида-портного на двухъ золотникахъ чернаго шелку и спорилъ и кричалъ, между тѣмъ какъ жидъ бранилъ его и увѣрялъ всякаго, кому угодно было послушать, что онъ поймалъ этого мошенника уже въ другой разъ на обвѣсѣ. Усатый плутъ, увидѣвъ Смарагда, звалъ его въ свидѣтели, но тотъ спѣшилъ скорѣе пройти и убраться.

## ГЛАВА XV.

### ПОЦѢЛУЙ № 2-Й.

Архонтъ—такъ мы будемъ называть отца и командира «Россіянки»? а имя его, которое оканчивалось, какъ сказалъ я, на *пуло* или *муло*, оставимъ въ покоѣ—Архонтъ принялъ Смарагда, какъ николаевскаго, повѣжливѣе обыкновеннаго; шепелявя, или собственно

*прикусывая*, онъ сказалъ ему нѣсколько снисходительныхъ: «оцень радъ, сто будемъ слузыть вмѣстѣ»,— и тому подобное.—Смарагдъ думалъ видѣть почтеннаго хозяина своего, только безъ усовъ и въ мундирномъ сюртукѣ; такъ схожи были оба брата.

Смарагду пришлось пожить въ Севастополѣ, по случаю разныхъ задержекъ въ отправленіи «Россіянки», добрыхъ два мѣсяца. Не слишкомъ гоняясь за входомъ въ свѣтское общество, Поцѣлуевъ замѣтилъ однакоже вскорѣ большую разницу между бытомъ въ Николаевѣ и въ Севастополѣ. Тамъ молодыхъ офицеровъ было не слишкомъ много, въ нихъ даже иногда нуждались въ наши времена отчаянной пляски и, сверхъ того, это были, большею частію, матушкины дѣтки; тутъ, напротивъ, въ Севастополѣ, городокъ былъ заваленъ мичманами, и для нихъ, кромѣ избранныхъ, въ гостиныхъ лишняго мѣста не было; женатые моряки, какъ люди большею частію безъ достатка, жили очень скромно, уединенно; у портовыхъ былъ уже свой знакомый кругъ, а шаловливой холостежи столько, что семейные люди были здѣсь разборчивы и осторожны. Жизнь первыхъ поневолѣ была скучная, одинокая и если не распутная, то, по крайности, безпутная. Занятій и развлеченій, кромѣ служебныхъ, почти никакихъ; знакомство и бесѣда почти только промежду собою; поживъ такимъ образомъ нѣсколько лѣтъ, молодому человѣку трудно остаться такимъ, чтобы онъ былъ опять на своемъ мѣстѣ, въ своей тарелкѣ, если пріобщить его снова къ хорошему, свѣтскому обществу; онъ отвыкнетъ, отстанетъ, одичаетъ; и пріемы не тѣ, и не то на умѣ. Просимъ замѣтить, что все это мы говоримъ о времени не нынѣшнемъ, а бываломъ.

Но со Смарагдомъ былъ въ Севастополѣ случай, о которомъ надобно упомянуть. Выпросивъ у капи-

тана своего шлюпку, Поцѣлуевъ, съ двумя товарищами, отправился въ одно утро осмотрѣть Акерманъ, какъ его здѣсь обыкновенно называютъ, или Инкерманъ, какъ его называть должно. Расхаживая тамъ по обширнымъ пещерамъ, высѣченнымъ, какъ говорятъ, генузцами въ известковой скалѣ, мичманы наши встрѣтили общество, гдѣ было нѣсколько женщинъ. Смарагдъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ нѣсколько разъ, мимоходомъ, на прекрасное лицо одной изъ дѣвицъ, въ которой необыковенно правильныя черты, изящный погибъ носа и лбяной кости, особенно погибъ свода глазнаго, края его, бровь, рѣсницы и черныя очи изобличали греческую кровь. Случилось, что общество это отправилось изъ Инкермана, водою же, вмѣстѣ съ нашими мичманами—а можетъ быть эти и не безъ намѣренія такъ подогнали и приноровили свой часъ отъѣзда. Общество усѣлось на шлюпкахъ и катерѣ, а наши молодцы отваливали вслѣдъ за ними. Красавица сидѣла съ теткою своею и другими на третьей шлюпкѣ. Шли подъ парусами почти въ полвѣтра; какой-то разудалый, отчаянный констапель, провожатый красавицы, управляя рулемъ, вздумалъ прикинуться старымъ и бывалымъ морякомъ, началъ командовать и распоряжаться, хотѣлъ обогнать передовыхъ и не успѣлъ оглянуться, какъ шквалъ ударилъ въ паруса, и шлюпка, очутившись вверхъ килемъ, накрыла нашего констапеля. Констапель констапелемъ, но тутъ были и другіе. Поцѣлуевъ успѣлъ только закричать матросамъ своимъ: «паруса долой!» схватить конецъ какой-то снасти и кинуться въ воду—какъ шлюпка его летѣла уже мимо самаго мѣста кораблекрушенія. Смарагдъ рванулся изо всѣхъ силъ, не упуская конца изъ рукъ, ухватилъ утопавшую незнакомку свою за платье и былъ вытащенъ матросомъ, за веревку, на яликъ, который въ тотъ же мигъ

принесло и сбило вѣтромъ и волненіемъ въ сторону. Тогда только передовая шлюпка и тяжелый катеръ успѣли опустить паруса и выкинуть весла, чтобы спасать погибающихъ; но двое изъ нихъ утонули и въ томъ числѣ бѣдная тетка. Смарагдъ научился немного плавать у извѣстнаго дикаря-француза Кобри, который былъ вывезенъ однимъ изъ кругосвѣтныхъ плавателей нашихъ съ другаго полушарія и состоялъ тогда учителемъ плаванія при морскомъ корпусѣ. Смуглое, росписанное синей краской лицо этого земноводнаго было въ странной противоположности съ нашимъ мундиромъ; но зато для Кобри вода представляла ту только разницу отъ земли, что была мокра; а жить, казалось, ему было одинаково хорошо и тутъ и тамъ.

Грѣшный я человѣкъ—а скажу правду: Смарагдъ при этомъ дѣлѣ покривилъ душой. Когда онъ кинулся въ море, несчастная тетка была у него всѣхъ ближе подъ руками; но онъ словно не видѣлъ предсмертной, судорожной борьбы ея съ соленою стихіею, словно не слышалъ отчаяннаго, дикаго крика — онъ проплылъ мимо, оставилъ ее въ трехъ шагахъ за собою и выхватилъ изъ полусомкнутыхъ уже челюстей страшной смерти молодую, очаровательную гречанку.

Смарагдъ, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ это невольно, безъ самосознанія, безъ размышленія; но крайней мѣрѣ обдумывая послѣ, на свободѣ, какъ и что было, онъ не могъ отдать себѣ въ этомъ никакого отчета, — но все-таки онъ былъ виною смерти бѣдной тетки; онъ могъ спасти ее и далъ ей утонуть, испить эту горькую, соленую смерть, и предпочелъ старухѣ молодую за то только, что она была молода и хороша. Отчего это и почему? Какъ объяснить такой невольный порывъ и сколько правъ тутъ Смарагдъ и сколько виноватъ?

Отецъ молодой красавицы, на первый случай по крайней мѣрѣ, не пускался въ разборъ этого душе-

словнаго вопроса, хотя и видѣлъ, можетъ быть, какъ дѣло происходило. Онъ подоспѣлъ на катерѣ въ то самое время, когда мичманы укладывали дочь его на плащахъ своихъ и ими же ее накрывали. Онъ кинулся въ яликъ, дрожалъ, плакалъ, рыдалъ, цѣловалъ дочь, обнималъ всѣхъ, потомъ вынулъ бумажникъ и отдалъ его четыремъ гребцамъ мичманскаго ялика. Подняли паруса и спѣшили добраться до пристани и домой.

Отецъ этотъ былъ русскій, зажиточный помѣщикъ, переселившійся еще въ молодыхъ лѣтахъ въ Крымъ и занявшійся тамъ разводкою и обработкою винограда и шелка. Женившись на гречанкѣ, онъ былъ отцомъ спасенной Поцѣлуевымъ образцовой красавицы. Онъ не зналъ, чѣмъ доказать безконечную благодарность свою; отыскавъ на другой же день спасителя дочери, онъ плакалъ передъ нимъ, какъ ребенокъ, становился на колѣни и умолялъ принять, въ знакъ благодарности, перстень съ ея руки и десять тысячъ рублей. Поцѣлуевъ съ жадностію ухватился за цвѣтной перстень, а отъ денегъ, по общепринятому у насъ предразсудку, рѣшительно отказался. Старикъ долженъ былъ наконецъ уйти, взявъ съ Поцѣлуева священное обѣщаніе, что онъ обратится къ тому, кому спасъ единственное дѣтище, при первой нуждѣ или потребности, что будетъ стараться дать ему случай отслужить, хотя бездѣльными услугами, благодѣяніе, которому нѣтъ цѣны. Кромѣ того, Смарагдъ долженъ былъ явиться передъ спасенною имъ дѣвушкою лично, выслушать очаровательный лепетъ признательности ея и принять, по настоянію отца, дѣвственный ея поцѣлуй. Итакъ поэтъ нашъ, наконецъ, таки опять добился до вдохновеннаго поцѣлуя!

Можете себѣ представить, что Смарагдъ нашъ былъ совершенно счастливъ: онъ какъ-то чувствовалъ себя иначе, выросъ въ сутки на цѣлую четверть; и съ этой

самой минуты началъ въ немъ совершаться переворотъ, переходъ отъ юноши къ мужу. Счастливое событіе въ Инкерманѣ много облегчило доброму Смарагду перенести, не унывая духомъ, не упадая, самый приступъ, начало этого критическаго перелома: оно озарило единожды навсегда розовымъ отблескомъ предстоявшій юношѣ горькій опытъ въ познаніи свѣта и людей, и если и не могло, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, предохранить Смарагда отъ этихъ порывовъ отчаянья, безотчетнаго внутренняго томленія и безпокойства, то по крайней мѣрѣ, воспоминаніе этого драгоцѣннаго дня услужливо расписывало ему всѣ предметы радужными цвѣтами, и онъ берегъ и цѣнилъ это завѣтное, граненое стеклышко свое, заглядывалъ въ него частенько и не безъ отрады.

«О поэзія!» подумалъ Смарагдъ, потирая руки, когда пилъ вечеромъ одинъ свой чай, «вотъ чистая поэзія! Вотъ гдѣ искать вдохновенія!» И сѣлъ, и написалъ безмѣрно пышный приступъ къ какой-то поэмѣ.

## ГЛАВА XVI.

### „РОССІЯНКА“ НА ПРОСТОРѢ.

Вскорѣ фрегатъ вытянулся на рейдъ, и Смарагдъ не считалъ себя болѣе жителемъ Севастополя: онъ былъ уже гражданинъ «Россіянки». Тамъ его сабля, тамъ его койка, тамъ его записки и много начатыхъ стихотвореній. Тамъ гитара, тамъ онъ расхаживаетъ и самъ съ перстенькомъ на лѣвомъ мизинцѣ, и ему думается, что это золотая медаль на владимірской лентѣ, съ надписью: *за спасеніе погибавшихъ*.

Между тѣмъ насталъ и день отплытія. Въ 10 часовъ утра, капитанъ вышелъ на шканцы и приказалъ

сниматься съ якоря. Старшій лейтенантъ принялъ команду; когда онъ взялъ со шпиля рупоръ, сунувъ его подъ мышку, то боцмамъ выхватилъ дудку свою и, разставивши на ней пальцы, ожидалъ командпаго слова. Офицеры всѣ вышли, капитанъ расхаживалъ одинъ по правой сторонѣ шканецъ, старшій лейтенантъ скомандовалъ: *свищи на верхъ* — боцманскій свистокъ раздался надъ гротъ-люкомъ, а вслѣдъ за тѣмъ слова: «пошелъ на верхъ!»

Матросы выскочили бѣгомъ — ютовые на ютъ, шканечные на шканцы, баковые на бакъ, а марсовые стали по бортамъ, ухватившись одной рукой за ванты и провожая глазами лейтенанта.

Звучно раздавался ясный голосъ его, боцманское «*есть*» вторило ему, и кромѣ этихъ двухъ голосовъ, свистка и топота, не было слышно ни звука: изрѣдка только урядники вполголоса повторяли и передавали тутъ или тамъ команду лейтенанта и свистокъ боцмана — наконецъ «Россіянка», за словами боцмана: «всталъ якорь!» распахнула крылья свои, взмахнула ими, лейтенантъ скомандовалъ: «кливеръ подымай! на брасы, на лѣвую—право руля!»—и красавица быстро и мѣрно покатилась подъ вѣтеръ, влѣво, описала полъоборота и, по слову лейтенанта: «одерживай» закачалась, будто бы у нея закружилась отъ быстраго оборота голова; потомъ двинулась впередъ, распахнула бизань, брамсели, и вода запѣнилась подъ водорѣзомъ, и рулевой уже поглядывалъ на компасъ, матросы прибирали снасти, вымбовки, а боцманъ, сидя верхомъ на кранбалкѣ, управлялся съ неповоротливымъ подчиненнымъ своимъ, господиномъ плехтомъ, въ которомъ было, по надписи, вѣсу 203 пуда. Онъ упрямо упирался желѣзными лапами своими въ бортъ, неохотно повинуясь непзмѣнной участи своей, быть посажену на цѣпь, до новой стоянки; но боцманъ его пересилилъ: повѣсилъ

на перутлинь, подвелъ рустовъ, желѣзную цѣпь, и узникъ смирился.

Берега бѣжали, чайки вились, свинки играли, перекидывались черезъ голову, кудрявая волна гналась за волной—и «Россіянка» уже обогнула древній Херсонесъ, Балаклаву, уже быстро летѣла мимо Аю-дага, мимо южныхъ береговъ нашего Крыма. Смарагдъ, въ должности, стоялъ на бакѣ, облокотясь о лѣвый бортъ, и глядѣлъ на новую для него природу, на живописныя скалы, на синій Чатыръ-дагъ. Архонтъ ушелъ въ свою каюту; офицеры разбрелись, половина команды осталась на вахтѣ, другая половина ушла на низъ; свѣжій брамсельный вѣтерокъ игралъ въ снастяхъ и парусахъ, и только изрѣдка раздавался въ тишинѣ этой голосъ вахтеннаго: на *брамфалахъ стоять!* и Смарагдъ самъ отвѣчалъ: *есть!* и гордился отвѣтомъ этимъ и должностью своею, тѣмъ, что и онъ теперь уже что-нибудь да значилъ—у него стало на душѣ какъ-то тепло и отрадно, ему хотѣлось обнять прекрасную «Россіянку», такъ полюбилъ ее, гордую, пышную, смѣлую — онъ въ ту же минуту, не читавъ Саламандры, сравнилъ «Россіянку» свою съ дѣвой, которой придалъ всевозможныя качества и совершенства и, задумавшись, кивнулъ головою, въ знакъ согласія, когда самъ себя спросилъ, сколько лѣтъ дать дѣвицѣ этой? и самъ же себѣ отвѣчалъ: шестнадцать — и вслѣдъ за тѣмъ взглянулъ на голубое небо, улыбнулся и, положивъ записную книжечку свою на бортъ, написалъ.

Шестнадцать лѣтъ — магическое слово!
Отрадно вымолвить: шестнадцать лѣтъ;
О, какъ свѣжо, какъ молодо и ново
Звучитъ въ груди моей: шестнадцать лѣтъ!

Потомъ призадумался и положилъ книжечку въ *карманъ*.

Изъ этого читатели видятъ, что Смарагда прилежно читывалъ Карамзина и началъ было писать что-то въ родѣ тріолета.

## ГЛАВА XVII.

### СМЕРТЬ „РОССІЯНКИ".

Вѣтеръ подулъ отъ запада, а слѣдовательно самый попутный для нашей «Россіянки», и на третьи сутки матросъ съ форсъ-марса, подъ вечеръ, закричалъ: «берегъ видѣнъ!» — Милая землячка наша доплыла до Абхазіи и на другой день бросила тяжелый плехтъ свой на сухумскомъ рейдѣ, то есть стала на якорь, противу крѣпостцы нашей Сухумъ-кале.

Какъ весело смотрѣть на это съ берега, когда величественный, изящный фрегатъ становится на якорь. Сначала все мертво и тихо на немъ, не видать ни души: лебедь несется на широкихъ, бѣлыхъ крылахъ своихъ, рѣетъ по волнамъ, разсѣкаетъ ихъ, прилегаетъ на бокъ, какъ удалой вершникъ, который, избоченясь, несется во весь опоръ. Вдругъ вы слышите свистокъ, и реи полетѣли на низъ, паруса осѣли, и вслѣдъ затѣмъ народъ, какъ муравьи, разползся по чернымъ снастямъ; еще свистокъ, еще и еще: нижніе углы и края парусовъ отдѣляются отъ рей, подымаются вверхъ, больше и больше; народъ разбѣгается по реямъ — и парусовъ какъ не бывало. «Россіянка» обратилась уже грудью къ вѣтру, какъ роскошная красавица, которая вышла подышать свѣжимъ воздухомъ; съ кормы развѣвается только флагъ нашъ съ андреевскимъ крестомъ, и гребное судно уже отваливаетъ и летитъ, подъ мѣрными ударами могучихъ гребцовъ, быстро къ берегу. Но—пора къ дѣлу.

Дней пять спустя, «Россіянка» все еще стояла на

томъ же мѣстѣ, противъ Сухумъ-кале, а юго-западный вѣтеръ завывалъ не на шутку, и по тому же направленію небосклонъ темнѣлъ болѣе и болѣе. Старшій лейтенантъ докладывалъ уже дважды капитану, что давно бы пора сняться съ якоря и отойти отъ береговъ, которые не обѣщаютъ «Россіянкѣ» нашей никакой защиты; но фрегату нуженъ былъ лѣсъ на разныя подѣлки, и архонтъ, въ этотъ самый день, послалъ уже съ разсвѣтомъ небольшую команду въ горы, вырубить и привезти нѣсколько орѣховыхъ кряжей. Поэтому ему и не хотѣлось отойти отъ береговъ; онъ поджидалъ каждую минуту команду свою съ орѣхомъ и утѣшалъ этимъ вахтеннаго лейтенанта.

Итакъ, «Россіянка», почуявъ бурю, спустила и убрала верхнія реи и стеньги, какъ улитка, которая вбираетъ рожки свои, при малѣйшемъ прикосновеніи; вытравила еще сажень двадцать канату и готовилась встрѣтить непріятеля грудью.

Время было за полночь. Страшно завывалъ ураганъ; «Россіянка» вздрагивала всѣмъ тѣломъ при каждомъ ударѣ разъяренныхъ валовъ; уцѣпившись желѣзными перстами въ дно морское, казалось, напрягала она всѣ силы свои, чтобы удержаться, какъ человѣкъ, висящій на рукахъ своихъ надъ бездной. Вахтенный лейтенантъ ходилъ взадъ и впередъ и покрикивалъ: «на лотѣ, не дремать!»—*Есть*—отвѣчалъ лотовой, держа въ рукахъ конецъ веревки, на которой опущено было на дно морское 36-фунтовое ядро:—*есть!* и вслѣдъ затѣмъ заревѣлъ дикимъ голосомъ: «дрейфитъ, дрейфитъ!»

«Трави канатъ!» раздался громовой голосъ лейтенанта, «трави канатъ! Смарагдъ Петровичъ, бѣгите скорѣй, торопите ихъ, да приглядите, чтобы не засучило канатъ, чтобы травили черезъ битенгъ!»

И когда глухой, непрерывный и пронзительный *стукъ* каната по битенгу и обитому свинцомъ клюзу

раздался, и дрожь пробѣжала по всѣмъ членамъ и суставамъ фрегата, а къ этому еще рѣзкій голосъ лейтенанта и шопотъ команды внизу и вверху, на палубѣ и на шканцахъ — то капитанъ, догадавшись въ чемъ дѣло, наскоро одѣлся и вышелъ.

Вытравили еще саженъ 20 канату, лейтенантъ стоялъ вплоть у лотоваго и смотрѣлъ на лотъ: казалось, якорь опять забралъ. «Россіянка» размашисто качалась во всю длину свою, носъ и корма поочередно ныряли и воздымались; но фрегатъ стоялъ на мѣстѣ, глухо стоналъ отъ страшныхъ, богатырскихъ ударовъ водяныхъ исполиновъ, и не могъ даже всплывать, по обычаю своему, полною грудью на хребты этихъ движущихся громадъ: огромный валъ за валомъ ударялъ въ «Россіянку»; она усиленно пыталась каждый разъ подняться, перелетѣть этотъ встрѣчный хребетъ, и задержанная толстымъ, въ перехватъ, канатомъ, сильно вздрагивала всѣмъ тѣломъ своимъ и, казалось, готова была нырнуть, пропустить валъ черезъ себя; огромные всплески обмывали всю поверхность страдалицы; отъ гальюна до самаго гака-борта не было уже сухаго мѣста. Борты давно были закрыты, люки также — но ураганъ свирѣпѣлъ съ минуты на минуту, и лотовой опять уже завывалъ: «дрейфитъ!»

Когда вытравленъ былъ весь канатъ, брошенъ другой якорь, спущены стеньги, и бѣдная «Россіянка» все еще не могла удержаться на мѣстѣ, а, выбившись изъ силъ, дрожала и стонала громче и громче, тогда оставалось одно: рубить канатъ и бороться съ ураганомъ подъ нижними парусами. Свистокъ боцмана и краткое *авралъ* раздались надъ люкомъ, и вся команда, деньщики и мастеровые, офицеры и самъ капитанъ не сходили уже съ верху. Отрубили канаты, поставили, съ величайшимъ трудомъ нижніе стаксели, штормовую бизань и зарифленный фокъ, чтобы нести сколько можно

болѣе парусовъ, четыре лучшихъ рулевыхъ стали на свое мѣсто и лейтенантъ безпрестанно покрикивалъ, глядя на паруса: «придерживайсь — держи круче — клади больше руля, клади смѣлѣй!»

Свободнѣе вздохнула «Россіянка» на просторѣ, смѣло легла на бокъ, взлетала на хребты и спускалась въ пропасти—но не долго могла бороться со свирѣпымъ противникомъ. Бѣдная «Россіянка»! Послушная, бывало, рулю, она катилась, описывая дугу по небосклону, когда старый рулевой клалъ только опытную руку свою на рукоять штурвала; а теперь — руль на бортѣ, фокъ-стаксѣль убранъ, фокъ изорванъ въ мохры, а она стонетъ, и ныряетъ, и всплываетъ, и летитъ стрѣлой, все по одному направленію забыла отъ страха все, и самую дисциплину, и не идетъ къ вѣтру, не слушаетъ руля!

Когда разсвѣло, «Россіянка» все еще боролась, все еще билась—но ее уже прижало къ приглубому берегу, и нѣтъ надежды на спасенье! Бѣдная! какъ она за ночь измѣнилась! Гдѣ прекрасный, стройный рангоутъ, который такъ гордо и смѣло высился подъ небеса? Убранъ, спущенъ, или поломанъ: его уже нѣтъ. «Россіянка» изнемогаетъ, испускаетъ только отъ времени до времени послѣдніе, отчаянные стоны и говоритъ дымящимся жерломъ двадцати-четырехъ-фунтовой каронады: «я погибаю! спасайте, спасайте!» А когда хищныя толпы горцевъ натекли со всѣхъ сторонъ съ высотъ валунами на берегъ, изъявляя неистовыми криками радость свою и надежду на богатую добычу, когда толпа эта стала забавляясь стрѣлять въ бѣдствующій фрегатъ, хотя пули и не могли долетать до мѣты, тогда «Россіянка» боролась какъ разъяренная, издыхающая отъ ранъ львица, въ предсмертныхъ судорогахъ, со стихіями и, въ то же время, грозно мстила дерзкимъ оскорбителямъ своимъ: стоная, изры-

гала она огонь и смерть; рыкая какъ звѣрь пустынь африканскихъ, посылала она боевые заряды свои; выстрѣлы раздавались чаще и звучнѣе и, разогнавъ въ одну минуту хищниковъ, казалось, она просила еще убѣдительнѣе прежняго: «спасите, спасите! Россіянка» молитъ и умоляетъ о спасеніи дѣтей своихъ, не о себѣ!

Наконецъ, силы доблестной землячки нашей истощились; страшное волненіе, которое развело западнымъ вѣтромъ во всю ширину бездоннаго моря, на которомъ нѣтъ ни одной отмели, ни одного острова, за исключеніемъ развѣ одного только островка у западныхъ береговъ, извѣстнаго подъ именемъ Змѣинаго,—страшное, громадное волненіе бездонной влаги этой образовало такой прибой къ открытымъ восточнымъ берегамъ, что уже ничего не оставалось, какъ отдаться на произволъ судьбы и думать только о собственномъ своемъ спасеніи.

Надобно отдать нашему архонту справедливость: онъ былъ хорошій морякъ и офицеръ съ духомъ. Когда гибель сдѣлалась неизбѣжной, онъ самъ принялъ команду, самъ подавалъ примѣръ хладнокровія и разсудительности, и до послѣдней минуты все на фрегатѣ было въ величайшемъ порядкѣ. Старшій лейтенантъ былъ одинъ изъ тѣхъ страстныхъ моряковъ, которые бываютъ дома только на шканцахъ; земля подъ ногами досаждаетъ этимъ людямъ на каждомъ шагу; если завезти ихъ за сто верстъ отъ портоваго города, то съ ними дѣлается удушье, они погибаютъ, какъ бурная птица, которая тогда только живетъ и дышитъ, когда подъ ревомъ бури скользитъ на распашныхъ крыльяхъ своихъ по зыбучему косогору исполинской волны. Все это много послужило къ чести русскаго флага, къ порядку и повиновенію экипажа, но не могло уже спасти фрегатъ отъ крушенія. Нѣсколько матросовъ вздумали было, по обычаю своему, надѣвать на встрѣчу смерти

чистыя рубахи; но голосъ старшаго лейтенанта, которому всегда и все повиновалось, не измѣнилъ ему и на этотъ разъ: всѣ возвратились снова къ работѣ. Пушки, якоря и всѣ подручныя тяжести были скинуты въ море, самъ капитанъ наложилъ руку на мачты, и онѣ, въ одну минуту, подъ ударами топоровъ, полетѣли въ море. Боцманъ все еще стоялъ на своемъ мѣстѣ, на бакѣ, и держался одною рукою за обрубокъ мачты своей, а другою за дудку, хотя уже не было подчиненныхъ его, ни фокъ-мачты, ни кливера, ни господина плехта или дагликса, какъ самъ онъ честилъ подвѣдомственные ему якоря; штурманъ стоялъ еще на ютѣ, какъ будто ожидалъ приказаній, между тѣмъ какъ осколки штурвала и румпеля лежали у него подъ ногами; руль скрипѣлъ и разгуливалъ вольно на петляхъ своихъ, и совладать имъ было нечѣмъ. Наконецъ, бѣдную «Россіянку» прижало, выкинуло, повалило на бокъ, и она уже глухо стонала подъ заливными ударами пловучихъ водяныхъ горъ! Смирно и покорно лежала она, предавшись волѣ судьбы, замолкла, не взывала даже болѣе о помощи.

Изъ Сухума увидѣли съ разсвѣтомъ гибель фрегата и пѣхотный батальонъ выступилъ и пошелъ по берегу, на помощь бѣдствующимъ, съ тѣмъ, чтобы по крайней мѣрѣ защитить ихъ отъ ножа абхазцевъ. Русскіе шли на выручку русскихъ—горцы дрались отчаянно, каждый кустъ, каждый камень надобно было брать штыкомъ; обагрила тутъ кровь русская бѣлое тѣло и канула на землю, на черной матери сырой землѣ сливалась съ кровью абхазскою. Батальонъ пробился до мѣста, сталъ на берегу противъ фрегата, разсыпалъ вокругъ цѣпь стрѣлковъ, глядѣлъ спокойно и ожидалъ конца. Пособить было нечѣмъ.

Тогда только капитанъ, собравъ напередъ вокругъ *шпиля* наскоро военный совѣтъ изъ всѣхъ наличныхъ

офицеровъ, коимъ единодушно было опредѣлено то, что послѣ увидимъ, проревѣлъ глухимъ и сиплымъ голосомъ своимъ: *спасайся!*— самъ же сидѣлъ онъ неподвижно на сѣткахъ, потому-что фрегатъ лежалъ вовсе на боку, и къ счастью еще не вплоть у берега; каждый налетный валъ приподымалъ, подмывалъ его и, отхлынувъ, кидалъ громаду, всею тяжестію ея, на твердый песокъ и камень. Каждый изъ валовъ этихъ окачивалъ съ ногъ до головы всѣхъ; каждый ударъ сбивалъ съ ногъ весь экипажъ, отъ юнги до капитана. За словомъ «спасайся», молодые матросы стали кидаться прямо въ море и пробиваться къ берегу; старые большею частію надѣвали поспѣшно бѣлыя рубахи и потомъ, перекрестившись и выждавъ отступленіе вала, пускались туда же. Старшій лейтенантъ молча кинулъ рупоръ за бортъ и спокойно глядѣлъ вокругъ себя, не нагибаясь даже при налетѣ громадной и отвѣсной, какъ стѣна, волны.

Уже весь экипажъ «Россіянки», до послѣдняго человѣка, выбрался, болѣе или менѣе благополучно, на берегъ: первые просто на своихъ ногахъ, а послѣдніе уже съ помощію протянутаго съ фрегата леера, веревки, а капитанъ, старшій лейтенантъ и Поцѣлуевъ, вызвавшійся охотникомъ, всѣ вмѣстѣ спустились въ гротъ-люкъ. У лейтенанта былъ въ рукахъ артиллерійскій фитиль съ жестяной огневкой, которая уцѣлѣла еще послѣ отчаянной пальбы гибнувшей «Россіянки»; капитанъ, помогая двумъ товарищамъ своимъ стаскивать матросскія койки и что было подъ рукою въ одну кучу, приговаривалъ: «по крайней мѣрѣ голоднымъ волкамъ этимъ не достанется добычи». Затѣмъ, раздули, съ большимъ трудомъ, огонь и зажгли фрегатъ въ трехъ или четырехъ мѣстахъ. Кончивъ дѣло, всѣ трое подумали о собственномъ спасеніи. Капитанъ спустился съ фрегата послѣдній.

Кто не испыталъ неимовѣрной силы прибоя, тотъ не знаетъ, какъ трудно человѣку выбиться на берегъ тамъ, гдѣ, не успѣвъ пройти, по поясъ въ водѣ, десяти шаговъ, онъ снова бываетъ настигнутъ исполинскою волною, залитъ, сбитъ съ ногъ и отнесенъ опять на такое же разстояніе назадъ. Капитанъ и старшій лейтенантъ добились наконецъ кое-какъ до берега; но Смарагда, коего молодыя силы истощились, разбило подъ самымъ берегомъ о скалы и камни, и матросы вынесли его уже замертво на рукахъ. Нѣсколько матросовъ сами были въ такомъ же состояніи.

Батальонъ выступилъ снова, и снова прокладывалъ себѣ и безоружнымъ товарищамъ своимъ дорогу пулей и штыкомъ. Горцы неотвязчиво и дерзко преслѣдовали отрядъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, почти до самыхъ воротъ крѣпости. Каждый кустъ и каждый камень былъ снова занятъ, и снова надлежало выбивать отчаяннаго непріятеля изъ каждой ямки штыкомъ.

Часто оглядывались моряки наши на дымящіеся остатки своего фрегата, гуще и гуще разстилался дымъ клубомъ, и наконецъ страшный, потрясающій взрывъ возвѣстилъ о кончинѣ и разрушеніи его. «Россіянки» уже нѣтъ; но она умерла геройскою смертію, умерла, какъ нѣкогда мать Москва наша, нашъ Фениксъ, кинувшись въ ярое пламя. Съ злобною местію горцы усилили натискъ непосредственно послѣ взрыва — но крѣпостныя ядра разсѣяли толпы дерзкихъ хищниковъ, ворота растворились и приняли гостепріимно бездомныхъ скитальцевъ.

## ГЛАВА XVIII.

### СУХОЖИЛЬНОЕ ПРИВИДѢНІЕ.

Въ Николаевѣ нашего Поцѣлуева начали уже забывать тѣмъ болѣе, что баронъ, этотъ неотступный дядька

его, и самъ, вслѣдъ за Смарагдомъ, какъ мы это вскорѣ увидимъ, уѣхалъ. Вспоминала о Смарагдѣ, какъ говорятъ, Надя, и то про себя, да вспоминали кой-какія маменьки, покуда не обзавелись новымъ адъютантомъ, провожатымъ и подручникомъ. Сплетни уснули. Въ Севастополѣ, напротивъ, гдѣ Смарагдъ мелькнулъ падучею звѣздою, гдѣ его въ домахъ почти не знали и не видали, между тѣмъ какъ молва разгласила, менѣе чѣмъ въ сутки, по цѣлому городу геройскій подвигъ его,—въ Севастополѣ онъ былъ и за глаза въ чести и въ славѣ, и всѣ хотѣли его видѣть. Дѣвица, которую онъ спасъ, была въ то время царицей тогдашняго севастопольскаго общества; все кружилось въ свѣтскомъ вихрѣ у подножія престола ея; походный жертвенникъ воздвигался передъ нею всюду, гдѣ бы она ни явилась, куда бы ни пошла — и ѳиміамъ на немъ не угасалъ; жрецовъ неутомимыхъ было много. Поэтому и не мудрено, что происшествіе надѣлало много шуму въ городѣ; а какъ никто въ своей землѣ пророкомъ не бываетъ, то Смарагду очень кстати пришлось явиться передъ подвигомъ своимъ съ чужой стороны и отплыть опять за море. Кто онъ? откуда? каковъ онъ собой? на кого похожъ?—это составляло любимую бесѣду севастопольскаго общества, въ теченіе первыхъ двухъ недѣль; прекрасная незнакомка наша, алѣя и краснѣя, должна была сто разъ на день давать объ этомъ отвѣтъ и отчетъ любопытнымъ. Впрочемъ, темная молва о похищенномъ поцѣлуѣ разнеслась даже и до Севастополя; но это придавало молодому мичману, въ глазахъ многочисленныхъ партизанокъ его, еще болѣе занимательности.

Между тѣмъ какъ его забывали въ Николаевѣ и припоминали въ Севастополѣ, нашего Смарагда внесли въ Сухумскія ворота на солдатскомъ плащѣ; молодой мичманъ все еще былъ безъ памяти. Много народу, по крайней мѣрѣ, для Сухума, гдѣ праздной толпы

почти нѣтъ — много людей сошлось у крѣпостныхъ воротъ,—встрѣтить бѣдствующихъ. Тутъ же стоялъ и старикъ, высокій, благовидный, въ весьма потертомъ мундирномъ сюртукѣ, безъ эполетъ или погоновъ, съ лицомъ выразительнымъ и благороднымъ. Въ общности, осанка его бросалась въ глаза и располагала очень въ его пользу; въ частности, какая-то отличительная черта по обѣ стороны сомкнутыхъ губъ, по угламъ устъ, придавала лицу его выраженіе умнаго, разсудительнаго, честнаго человѣка, сильнаго духомъ и покорнаго судьбѣ. Замѣчу мимоходомъ, что черта эта въ особенности свойственна русскому лицу подобнаго покроя.

Когда четыре мушкатера, несшіе Поцѣлуева, поровнялись съ незнакомымъ старикомъ этимъ, онъ вздохнулъ глубоко, снялъ фуражку, перекрестился и спросилъ ихъ: «живъ?»—Живъ, никакъ,—отвѣчали мушкатеры,—только ошибъ обморокъ. — Старикъ подошелъ скорыми шагами къ стоявшему тутъ же коменданту, снялъ передъ нимъ фуражку и, не накрываясь во все время разговора, просилъ позволенія принять на руки и въ домъ этого раненаго офицера. Получивъ на это позволеніе, онъ догналъ мушкатеровъ и воротилъ ихъ во второй или въ третій домишко съ краю отъ крѣпостныхъ воротъ.

— Спаленку очистить, Груша, — сказалъ онъ вошедши женѣ своей,—я постояльца привелъ! Оленька,— продолжалъ онъ, обратившись къ дѣвочкѣ лѣтъ двѣнадцати,—бѣги, Оленька, къ кумѣ, къ сосѣдкѣ, проси, чтобъ скорѣе велѣла отыскать кума, Ивана Дмитрича; скажи, что человѣкъ умираетъ: пусть не мѣшкаютъ.

Поцѣлуева положили на постель, раздѣли, обмыли съ него кровь; Иванъ Дмитричъ, штабъ-лекарь, явился тотчасъ на зовъ кума и сдѣлалъ все, какъ умѣлъ, худо ли, хорошо ли, какъ учили его въ былое время *кафедральные* заклинатели жизни и смерти. Смарагдъ при-

шелъ въ себя, и первое лицо, на которое вслѣдъ затѣмъ упали тусклые взоры его, было блѣдное, худощавое и темножелтое лицо знакомаго намъ человѣка, барóна Губерта Рудольфовича Адель-фонъ-Адельсбурга; онъ опять уже стоялъ Наполеономъ у изножья кровати, морщился, хмурился, стягивалъ губы въ жемокъ и съ участіемъ глядѣлъ на бывшаго своего односума. Смарагдъ невольно опять зажмурился и старался сообразиться и опомниться; но Николаевъ, Севастополь, «Россіянка» и Сухумъ — сливались для него вмѣстѣ; милая, незлобная Надя и несносный, незванный свидѣтель, очаровательная, черноглазая гречанка—и страшное привидѣніе утопленницы, несчастной тетки ея, которую Смарагдъ видѣлъ въ безпамятствѣ своемъ; рѣзвая и могучая среди необъятнаго, зеленаго моря «Россіянка»—и неистовый ревъ урагана, оглушительный гулъ водяныхъ громадъ, и мѣрный, потрясающій душу стукъ киля о твердое дно морское; наконецъ, мягкая постель, которая не качается качелями и стоитъ на своихъ ногахъ; общая тишина и спокойствіе, и тутъ же ненавистное лицо рыцаря въ пѣхотномъ мундирѣ— все это слилось для Смарагда въ какую-то несвязную грезу; предавшись волѣ судьбы, онъ зажмурился и спокойно ожидалъ развязки.

## ГЛАВА XIX.

### КОМИССАРЪ 13 КЛАССА СУХОДОЛЬНЫЙ.

Лѣтъ тому семьдесятъ, и десяткомъ больше или меньше, было время знаменитое. Двѣ войны съ Польшей и возвращеніе Россіи шести нынѣшнихъ губерній, населенныхъ не поляками, а русскими; двѣ войны съ Турціей, и тутъ опять расширеніе предѣловъ на югъ

и подчиненіе Крыма; война со Швеціей, война съ Персіею; Суворовъ, Румянцевъ, Орловъ, Потемкинъ, Державинъ; новые *наказы*, *уложенія*, *учрежденія*—основаніе академій, введеніе ассигнацій; а между тѣмъ надобно было смирять и внутреннія смуты: Пугачева, яицкихъ казаковъ, чуму; обо всемъ этомъ много разсказывалъ Иванъ Степановичъ Суходольный, который охотнѣе всего разговаривался, когда его звали запросто старикомъ, дѣдушкой, не поминая ни родомъ, ни племенемъ, ни званіемъ.

Иванъ Степановичъ былъ на вѣку своемъ и совѣстнымъ судьею, завѣдывалъ и приказомъ призрѣнія, когда всѣ заведенія эти и опекунскіе совѣты только-что учредились; былъ онъ потомъ и намѣстникомъ одной изъ понизовыхъ губерній; и наконецъ, важивалъ, въ свое время, умную и громкую рѣчь и въ сенатѣ, когда только-что раздѣлили его на департаменты; словомъ, Иванъ Степановичъ былъ на свой вѣкъ человѣкомъ. Но нашлись люди, которые не взлюбили громкую и сильную рѣчь его и прямиковое слово: стали подыскиваться подъ Суходольнаго, очернили его; кровь въ немъ закипѣла ключомъ — Иванъ Степановичъ сталъ оправдываться горячо, можетъ быть гораздо жарче, нежели слѣдовало, и кончилъ тѣмъ, что далъ оплеуху такому человѣку, который битъ по щекамъ еще не бывалъ. Разумѣется, что тутъ не могло уже быть никакого оправданія. Суходольнаго услали на жительство въ Березовъ: пусть-де его тамъ горячится, помаленьку простынетъ.

Но Иванъ Степановичъ не простылъ и не остылъ, хоть и зябъ иногда, сказываютъ, въ землянкѣ своей. Никогда и ни на кого не пенялъ онъ за участь свою; онъ говорилъ напротивъ, что ему было бы больно за правосудіе отечества своего, если бы онъ не былъ *наказанъ*. Но Иванъ Степановичъ и на восьмидесятомъ

году говорилъ съ тѣмъ же жаромъ, рѣзалъ такую же отчаянную правду; глаза у него все еще сверкали звѣздочками, кровь вступала въ лицо, когда начиналъ онъ разсказывать, какъ что было, и какъ бы, по его, чему быть слѣдовало.

Отъ первой, скончавшейся жены, у Ивана Степановича дѣтей не было; онъ нашелъ себѣ сибирячку, рослую, здоровую, умную, женился на 50 году и прижилъ сына. Иванъ Степановичъ жилъ съ хозяйкою своею и сыномъ трудами рукъ своихъ: бѣдно, скудно, но жилъ не кланяясь никому; отказавшись навсегда отъ головоломной работы, отъ всѣхъ затѣй, надеждъ и замысловъ, желая быть тѣмъ, чѣмъ его теперь сдѣлали, Иванъ Степановичъ взялъ топоръ въ руки, и, по примѣру знаменитаго предшественника своего въ Березовѣ, сдѣлался плотникомъ. Суходольный, дѣйствительно, на старости лѣтъ, топоромъ своимъ заработывалъ себѣ и своимъ насущный хлѣбъ. Пусть читатель заключитъ изъ этого о силѣ духа и твердости воли Суходольнаго.

Рожденный, вспоенный и закаленный въ бѣдствіяхъ, сынъ его Степанъ немногимъ чѣмъ развѣ отсталъ отъ отца. Когда же милостивое прощеніе дошло изъ отдаленной столицы до концесвѣтнаго Березова, то Суходольный лежалъ уже на одрѣ смерти; но онъ сказалъ, заливаясь слезами, сыну: «—Видишь ли, Степанъ, что русскіе цари старыхъ слугъ своихъ, и виноватыхъ, не забываютъ? Ступай, когда схоронишь меня, да служи: руки, ноги у тебя здоровыя, далъ Богъ и голову на плечахъ не хуже, чѣмъ у людей, а иного, Степанъ, мы съ тобою и за поясъ заткнемъ; ступай да служи, отслуживай за меня, я остался въ долгу. Большимъ человѣкомъ не быть тебѣ, есть тамъ безъ насъ, и съ именемъ, и съ чинами; да и не въ томъ сила: свой кругъ данъ всякому; гдѣ Государь указалъ быть мѣсту,

тамъ нуженъ и человѣкъ: надолбу не поставишь и въ повытчики. Мать-государство наше разростается во всѣ концы: гдѣ были степи, тамъ стоятъ города — вездѣ нужны люди; а ты, Степанъ, будешь человѣкомъ, это могу сказать тебѣ теперь потому, что съ того свѣта уже не отзовусь. Ступай и служи; иди противъ неправды, ѣшь хлѣбъ, къ которому ты, благодаря Бога, уже привыкъ, да запивай его водой, а за правду стой; но не бери примѣра съ отца, не горячись: гдѣ силъ твоихъ нѣтъ, тамъ терпи да молчи.»

Недѣли черезъ двѣ, Степанъ положилъ отца въ могилу, въ мерзлую землю, которая во вѣки вѣковъ на глубинѣ не отходитъ, потому что морозъ прохватываетъ ее глубже, чѣмъ тепло солнечное. Матери Степана, вдовѣ, не хотѣлось заѣзжать въ Россію, какъ сибиряки называютъ нашу, европейскую половину государства, и Степанъ отправился одинъ,—*служить* по завѣщанію отцовскому, гдѣ случится.

Что же сдѣлалъ Степанъ нашъ и гдѣ и какую онъ сыскалъ себѣ службу государеву? Ему было уже 38 лѣтъ: онъ не зналъ, да и не заботился о томъ, осталось ли за нимъ родовое дворянство отцовское, или было оно утрачено ссылкою; трудовая, рабочая жизнь его, — а отецъ поставилъ уже и Степана въ хорошіе плотники, — жизнь эта была въ разладицѣ съ приказной строкой; Степану больно не хотѣлось упражняться съ утра до поздней ночи въ чистописаніи; думалъ онъ было идти въ солдаты, да вспомнилъ про новые города, о которыхъ говорилъ ему отецъ, пошелъ въ услуженіе къ чиновнику, который ѣхалъ изъ Казани въ Херсонъ, и тамъ записался охотою въ матросы.

Это была жизнь по немъ; жизнь работящая, ѣда плотная и сытная; будь проворенъ, будь расторопенъ, держи ухо на чекѣ, да и думай о томъ, что дѣлаешь, и смекай; держи въ головѣ и помни сорокъ сороковъ

галсовъ, шкотовъ, гитовыхъ и буленей, мечись за словомъ, какъ угорѣлый, да дѣлай дѣло съ толкомъ; самаго чорта не бойся, полѣзай въ него, коли велятъ, страсти не знай, да зато уже о горохѣ, кашѣ, солонинѣ и чаркѣ водки не заботься, есть всегда. Это Степану Суходольному полюбилось; черезъ годъ со днемъ сталъ онъ матросъ отличный; бывало, летомъ летитъ по вантамъ, бѣгомъ по рею, и верхомъ на нокъ, къ штыкъ-боуту, и сидитъ и управляется вольно и смѣло, что́ казакъ на конѣ. Произвели его въ первую статью, потомъ, какъ грамотнаго и бывалаго, сдѣлали рулевымъ, произвели и въ квартирмейстеры, въ боцманъ-маты, въ боцманы, а, наконецъ, въ 14 классъ и перевели въ комиссары. Нынѣ Степанъ Суходольный все еще служилъ, въ чинѣ 13 класса, комиссаромъ при черноморскомъ флотѣ. Ему уже было лѣтъ подъ шестьдесятъ.

## ГЛАВА XX.

### ПОЦѢЛУЙ № 8-й.

Когда Поцѣлуевъ отдохнулъ немного, выпилъ чаю и опомнился, сталъ онъ, наконецъ, спрашивать, гдѣ онъ, и что съ нимъ? — и услышалъ, что онъ въ Сухумѣ, у комиссара 13 класса Суходольнаго. Первая мысль затѣмъ была: «а баронъ? какъ онъ сюда попалъ, если я лежалъ не въ бреду?» Но Степанъ Ивановичъ могъ сказать только то, что капитанъ фонъ-Адельсбургъ былъ переведенъ въ здѣшній гарнизонъ недавно и прибылъ всего съ мѣсяцъ, на транспортномъ суднѣ «Грузный», приходившемъ въ Сухумъ прямо изъ Николаева съ разными снарядами и припасами. Мы знаемъ больше, и не утаимъ

дѣла: послѣ командировки почтеннаго рыцаря въ Николаевъ, на него взвели еще новую пеню: открылось, что у него былъ въ Могилевѣ опять какой-то поединокъ, по поводу мнимой или дѣйствительной обиды, нанесенной какимъ-то прапорщикомъ одной изъ могилевскихъ дѣвицъ. За эту новую неугомонность свою, баронъ былъ переведенъ, вскорѣ по отъѣздѣ Смарагда изъ Николаева, въ Сухумъ, куда и поспѣлъ прежде его. Узнавъ въ принесенномъ на плащѣ мичманѣ бывшаго камрада своего, благородный баронъ поспѣшилъ за нимъ, помогалъ его раздѣвать и укладывать, и предлагалъ хозяину, Суходольному, всевозможныя услуги и помощь свою. Онъ въ эту минуту воображалъ, что соединяетъ въ себѣ, въ одномъ лицѣ, рыцаря и сестру милосердія.

Поцѣлуеву не только довелось перелѣтовать въ Сухумѣ, но онъ жилъ тамъ до слѣдующей весны. Вѣсть о гибели фрегата дошла въ Севастополь не скоро, такъ какъ сухимъ путемъ сообщенія съ Сухумомъ нѣтъ, а позднею осенью посылать суда къ абхазскому берегу опасно, потому что рейдъ, стоянка, вовсе открыты, и защиты отъ вѣтровъ нѣтъ. Такимъ образомъ одинъ только капитанъ, съ нѣсколькими офицерами, перевезены были въ Севастополь на люгерѣ или тендерѣ, зашедшемъ въ Сухумъ съ бумагами, а остальная часть экипажа, и въ томъ числѣ Поцѣлуевъ, остались тамъ зимовать.

Команда и офицеры исправляли въ крѣпости гарнизонную службу. Въ этомъ отношеніи десять или одиннадцать мѣсяцевъ протекли довольно однообразно, за исключеніемъ вылазки или поиска въ горы, гдѣ задавали небольшой урокъ дерзкимъ сосѣдямъ, угонявшимъ скотъ изъ-подъ самой крѣпости. Такая наука всегда помогала на нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ *надобно* было опять напомнить прошлое. Поцѣлуевъ при

семъ случаѣ узналъ нѣсколько этотъ родъ войны и самыхъ горцевъ, тѣмъ болѣе, что дѣло не кончилось выжегомъ нѣсколькихъ ауловъ: сильныя толпы стеклись для нападенія на небольшой отрядъ; завязывалась нѣсколько разъ рукопашная драка, и Смарагду удалось влѣзть съ матросами своими въ завалъ, отъ котораго отчаянные горцы, съ ножами въ рукахъ, съ неистовымъ крикомъ, уже дважды сряду отбили отчаяннаго барона. Какъ баронъ, такъ и Поцѣлуевъ, оба были ранены при этомъ; баронъ тяжело, пулею въ грудь, а Смарагдъ легко, но славно: обоюдоострымъ кинжаломъ въ плечо на-вылетъ. И когда, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, напечатано было въ «Инвалидѣ»: «за отличіе въ сраженіи противъ горцевъ, мичманъ Поцѣлуевъ, орденомъ св. Анны 4-й степени», то Смарагдъ, привинчивая крестикъ свой къ саблѣ, поцѣловалъ его безъ всякаго ханжества. Поэтъ нашъ чувствовалъ, что заслужилъ кровью своею эту награду, и потому она была ему дорога.

Но все это въ разсказѣ нашемъ не главное; главное и существенное для насъ то, что Смарагдъ сознался коротко съ почтеннымъ, въ полномъ смыслѣ слова, хозяиномъ своимъ, у котораго былъ во все время, и долженъ былъ его глубоко уважать. Безкорыстная и беззаботная къ себѣ самому душа, онъ только и ды, шалъ службою, былъ вѣренъ, какъ замокъ, честенъ какъ добрая сума, изъ которой, что положишь, то и вынешь; праводушенъ, какъ олицетворенная истина. Комендантъ самъ сказалъ однажды въ разговорѣ съ Поцѣлуевымъ: «Хотя Суходольный и не нашего, т. е. не армейскаго, вѣдомства, но у меня здѣсь нѣтъ человѣка, на котораго я бы могъ положиться, какъ на него; я не могу и самъ себѣ приказывать такъ, какъ ему, и поручаю Суходольному многое, болѣе, чѣмъ слѣдовало бы по званію его.»

Главное также, что Смарагдъ не менѣе того уважалъ и хозяйку свою, урожденную лезгинку или кахетинку, взятую двухлѣтнимъ ребенкомъ на одномъ изъ дальнихъ поисковъ соединенныхъ отрядовъ внутри земель и съ приморья. Только лицо и станъ напоминали въ ней горскую кровь; сама она обрусѣла совершенно, выросла въ домѣ у зажиточнаго отца семейства и получила очень порядочное образованіе. Природа одарила ее умомъ и сердцемъ, воспитаніе дало тому и другому хорошее направленіе; таковъ человѣкъ: между Ньютономъ и дикаремъ-людоѣдомъ, который считаетъ только до семи, вся разница, все различіе въ одномъ воспитаніи; обмѣните ихъ въ колыбели, и одинъ легко могъ бы сдѣлаться другимъ.

Главное еще, что ребенокъ Ольга необыкновенно привязалась къ Смарагду, а онъ не менѣе того къ ней. Она была ученицей его, и время, годъ этотъ, не пропалъ ни для него, ни для нея. Начиная съ гитары своей и почти до теоріи и практики кораблевожденія Гамалѣя, Смарагдъ передалъ Ольгѣ все, что зналъ самъ. У коменданта нашелся очень порядочный подборъ книгъ; почти все было перечитано въ теченіе длинныхъ зимнихъ вечеровъ, которые хотя въ Сухумѣ гораздо короче нашихъ петербургскихъ, но все еще довольно длинны, если сидѣть взаперти въ крѣпостныхъ стѣнахъ. Смарагдъ не ходилъ почти никуда; ему дома было такъ хорошо, такъ укромно, пріютно, весело, что онъ не хотѣлъ болѣе ничего, какъ сидѣть съ Оленькою, да иногда еще побесѣдовать съ матерью ея и старикомъ Суходольнымъ. Старикъ и жена его, Анна Ивановна, полюбили Смарагда, какъ сына; и если не было на свѣтѣ мичмана, который бы смотрѣлъ съ такимъ внутреннимъ благоговѣніемъ на комиссара 13 класса, то вѣрно не было на свѣтѣ и другаго комиссара 13 класса Суходольнаго.

Баронъ, правда, опять было пытался нѣсколько разъ отклонить Смарагда отъ неприличной связи съ семействомъ комиссара 13 класса.—13 класса!—воскликалъ баронъ, и волосъ на немъ подымался дыбомъ;—13 класса! — я самъ спрашиваю, что это такое? Но Смарагдъ уже болѣе барону не поддавался, былъ съ нимъ холоденъ, малословенъ и дѣлалъ, что хотѣлъ. Баронъ, наконецъ, понялъ это, горько самъ себѣ плакался на неблагодарность людскую и оставилъ Смарагда въ покоѣ.

Когда на слѣдующую весну, Смарагдъ спускался вечеркомъ съ небольшою командою дровосѣковъ, вооруженныхъ ружьями и полнымъ числомъ боевыхъ патроновъ, съ приморскихъ горъ, и вдругъ услышалъ радостные клики матросовъ:—Гляди-ка, пришелъ фрегатъ! и то пришелъ? это за нами небось! да это никакъ Лександра,—то есть Александра — когда Смарагдъ услышалъ это и, глянувъ, увидѣлъ передъ собою необъятное, безконечное море и флагъ съ андреевскимъ крестомъ по бѣлому полю на сухумскомъ рейдѣ—то призадумался, хотя, по совѣсти, самъ не зналъ о чемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что ему хотѣлось выдти, наконецъ, изъ Сухума, гдѣ ему вѣкъ вѣковать не приходилось; но ему что-то взгрустнулось.

Сколько неисправимый, до времени, поэтъ нашъ призадумался тутъ самъ надъ собою, надъ тѣмъ, что было съ нимъ и что будетъ, и сколько была тутъ виновата Оленька, которой, впрочемъ, всего только надняхъ минуло, вѣрнымъ счетомъ, столько же лѣтъ, сколько на отцѣ ея было класснаго чину — этотъ вопросъ и рѣшить не возьмусь. Привязанность была дѣтская, братская, но запала Смарагду въ душу глубоко; прощаясь съ Оленькой, онъ поцѣловалъ ее, въ присутствіи родителей, и отдалъ ей на память — завѣтный перстенекъ спасенной имъ Маріи.

## ГЛАВА XXI.

### ОПЯТЬ ТОСКА.

Въ этой главѣ и въ слѣдующей мы захватимъ, для ровнаго счета и сравнительнаго соображенія, по три года жизни Смарагда, потому что пишемъ не дневникъ его, а только перечень извѣстнаго участка его жизни.

Когда Смарагдъ нашъ воротился въ Николаевъ, то онъ былъ, правда, еще нѣсколько времени въ этомъ вдохновенномъ состояніи, искалъ еще на пути своемъ вправо и влѣво розъ и незабудокъ, лилій и фіалокъ— но даже и эти невинные цвѣточки напоминали ему докучливый щитъ и гербъ несноснаго барона, и юношескаго пыла хватило не надолго; Смарагдъ иногда не доискивался цвѣтнаго стеклышка своего, а иногда оно было мутно и тускло и плохо ему служило.

Смарагдъ вошелъ на 22 году въ тѣ лѣта, въ которыя вступаютъ иные раньше, иные позже, но которыхъ человѣку съ душой ни обойти, ни объѣхать: это неминуемое послѣдствіе нашего образованія и воспитанія, ставящее насъ ножемъ къ ножу и зѣвъ въ зѣвъ со свѣтомъ, гдѣ доводится жить. Мечта, которая поддерживается и развивается въ насъ воспитаніемъ, и сущность, которую находятъ въ свѣтѣ, вмѣсто мечты своей, — это собака съ кошкой: имъ ужиться нельзя, тѣмъ болѣе, что они щенкомъ и котенкомъ не свыклись, а сходятся въ первый разъ, собака—когда уже перегодовала, а кошка—старымъ и тертымъ котомъ. И кошка беретъ верхъ: не силою своею, а когтями, которые всегда держитъ про запасъ въ пушистыхъ своихъ рукавичкахъ.

Смарагдъ не ходилъ уже, какъ бывало прежде,

безъ разбору во всѣ дома, гдѣ только крылечко усыпано песочкомъ и хозяинъ или хозяйка говорятъ всякому: «милости просимъ»; Смарагдъ не обнималъ уже болѣе встрѣчнаго и поперечнаго со слезою блаженства на глазахъ, а цѣловался съ людьми только въ Пасху, и то потому, что это такъ заведено; Смарагдъ давно уже пересталъ искать вдохновительнаго поцѣлуя, давно уже не высыпалъ всей сокровищницы сердца своего передъ всякимъ, кто подастъ ему, улыбаясь, руку; Смарагдъ видѣлъ уже въ начальникѣ своемъ только начальника, въ смыслѣ служебномъ—и прочее. Кромѣ того, жизнь его поневолѣ походила на жизнь азіатца, то-есть была туна, бездѣйственна и тупеядна. Но то, съ чѣмъ или при чемъ благоденствуетъ турокъ, убиваетъ европейца, коего душа требуетъ дѣятельности. Самые даже итальянцы бѣгаютъ отъ нечего дѣлать по улицамъ и кричатъ другъ другу во все горло: fa fredo, signore, или fa caldo. Смарагдъ жаждалъ познаній, душа его требовала постоянныхъ, урочныхъ и полезныхъ занятій—а между тѣмъ онъ носилъ ее съ собою въ караулъ, на знаменитую гауптвахту въ молдаванскомъ домѣ, иногда на перекличку въ казармы у вольнаго дока, носилъ какъ гостью, какъ чужую, и самъ видѣлъ, что этой пищи для него было недостаточно. Вотъ почему поэтъ нашъ годъ съ небольшимъ пробился, а тамъ начала его одолѣвать тоска, сердце стало изнывать, не зная по комъ и по чемъ, душа надсѣдалась, умствуя, утѣшая и болѣя сама; и блѣдный Смарагдъ не зналъ, куда самому отъ себя дѣваться.

Въ это время на него находили полосами, шквалами, минуты отчаянья, кои, послѣ безсонницы, оканчивались общимъ изнеможеніемъ и отраднымъ сномъ; находили полосами дни и недѣли, въ которыя онъ мечталъ быть то опять-таки поэтомъ, то математикомъ, то живописцемъ, то хотѣлъ сдѣлаться, по примѣчанію,

филологомъ и начиналъ учиться по-гречески и по-латыни; а, наконецъ, совершенно отчаявшись во всякой способности своей, во всякомъ успѣхѣ, вспомнилъ Степана Ивановича Суходольнаго и разсказъ про отца его, пошелъ въ науку къ столяру, съ тѣмъ, чтобы дослужить казенные годы, выдти въ отставку, бросить все и сдѣлаться столяромъ. Послѣднее вамъ покажется нелѣпо; вы скажете: надобно съ ума сойти, чтобы такая мысль зашла въ голову; а я и вамъ и всякому другому, кто только увидитъ себя въ такомъ состояніи, какъ былъ тогда Смарагдъ, отъ души посовѣтую послѣдовать его примѣру. Утомленіе тѣлесныхъ силъ всего скорѣе и лучше выручитъ васъ изъ этого гибельнаго состоянія, съ которымъ вамъ придется бороться долго, если захотите пересилить его однимъ только разсудкомъ. А что вы будете знать столярную работу, такъ это вамъ уже конечно нигдѣ и ни въ чемъ помѣхою не будетъ.

Смарагда, при нынѣшнемъ положеніи его, сильно подмывало на какое-нибудь путешествіе, куда бы то ни было, только бы подальше и надолго; но у него не было ни средствъ, ни возможности исполнить мечты свои и онъ поневолѣ довольствовался тѣмъ, что сходилъ въ одно лѣто на канонерской лодкѣ въ Измаилъ и Килію; а въ другое — простоялъ на очаковской брантвахтѣ и стрѣлялъ съ отчаянья куликовъ и утокъ на кинбурнской косѣ. Зиму проводилъ онъ, какъ описалъ я выше.

Между тѣмъ, случилось вотъ что: Поцѣлуевъ былъ на званномъ вечерѣ у капитана надъ портомъ, гдѣ хозяйка, отъ нечего дѣлать, спросила у только-что возвратившагося отъ абхазскихъ береговъ лейтенанта, что подѣлываетъ въ Сухумѣ этотъ вытяжной чудакъ, баронъ, котораго мудреное прозваніе она никогда не *могла* упомнить. «Знаю», отвѣчалъ лейтенантъ, «Адель-

фонъ-Адельсбургъ; онъ, бѣдняжка, совсѣмъ состарѣлся, сморщился пуще прежняго, страдаетъ отъ тяжелой раны, съ которою няньчится уже года съ два, и съ горя вздумалъ нынѣ жениться—и на комъ бы вы думали, сударыня? этотъ пышный, великолѣпный баронъ, женится на дочери коммисара 13 класса!»

Слушатели заохали и заахали со всѣхъ сторонъ. Смарагдъ вспыхнулъ, потомъ обомлѣлъ, но собрался съ духомъ и спросилъ тутъ же: «а кто таковъ этотъ коммисаръ и какъ его зовутъ, вы не знаете?»—Суходольный,—отвѣчалъ лейтенантъ.—Это человѣкъ замѣчательный; вы вѣрно слышали объ немъ, когда зимовали въ Сухумѣ; мудрецъ въ своемъ родѣ, если хотите, и не только на словахъ, а на дѣлѣ; но человѣкъ немножко безпокойный, и потому его держатъ отъ себя подальше. Отецъ его былъ извѣстный вельможа Екатерининскихъ временъ, столбовой дворянинъ, и былъ, кажется, сосланъ. Нашъ баронъ, доискавшись этого родоваго дворянства Суходольнаго, ухватился за него, какъ стаксель за свой лееръ: по немъ подымается, по немъ и спускается; хочетъ, видно, дожить остальной вѣкъ свой рука объ руку съ милой подругой; а невѣста, въ самомъ дѣлѣ, очень хороша, хотя еще почти ребенокъ; мать ея лезгинка, и у дочери горскій складъ и станъ. Баронъ, кромѣ того, за одинъ разъ хочетъ спасти честь погибавшаго дворянскаго поколѣнія и принять, если дозволятъ, прозваніе: Адельфонъ-Адельсбургъ-Суходольный.

Смарагдъ, самъ не зная отчего и зачѣмъ, такъ былъ встревоженъ этою вѣстью, что провелъ ночь въ безсонницѣ. Онъ не зналъ, куда дѣвать голову и сердце свое, на него нашелъ какой-то тупикъ, столбнякъ, дурь, хандра, когда услышалъ онъ случайно, что капитанъ-лейтенантъ Балтійскаго флота Кожинцовъ назначенъ командиромъ шлюпа «Благодатный» и отправляется на

немъ, весною, вокругъ свѣта. Кожинцовъ служилъ прежде въ морскомъ корпусѣ и былъ учителемъ Поцѣлуева, преподавая въ то время *высшую теорію и морскія эволюціи*. Смарагдъ рѣшился писать къ нему съ первою почтою, напомнить о себѣ скромненько и просить убѣдительно службы и мѣста на «Благодатномъ».

Не прошло шести недѣль, какъ Смарагдъ получилъ лестное письмо отъ добраго, благороднаго Кожинцова и вслѣдъ затѣмъ состоялся приказъ по Черноморскому флоту о переводѣ Поцѣлуева въ Кронштадтъ, съ назначеніемъ на отправляющійся въ *дальній вояжъ* шлюпъ «Благодатный».

## ГЛАВА XXII.

### ОГЛЯНУЛСЯ.

Вотъ вамъ и три года; а другіе три протекли съ такою же неуловимою быстротою, покуда Смарагдъ пріѣхалъ въ Кронштадтъ, покуда шлюпъ собрался, вооружился, отплылъ, обошелъ много земель и морей, материковъ и острововъ, и снова воротился.

Счастливъ былъ Смарагдъ, когда страстныя желанія его сбылись, когда онъ поскакалъ безъ оглядки изъ пыльнаго или грязнаго Николаева, когда ходилъ гордо въ военную гавань въ Кронштадтѣ, на *вооруженіе* своего шлюпа, когда, наконецъ, шлюпъ вытянулся на рейдъ, угостилъ на себѣ знать кронштадтскую и тутъ же снялся съ якоря, взмахнулъ крылами, отдалъ Кронштоту громогласно честь — и полетѣлъ на долгое-долгое плаваніе, по чужимъ морямъ, по чужимъ землямъ. Счастливъ былъ, говорю, Смарагдъ, когда перевелъ духъ на свободѣ, покинувъ за собою всю *суету* суетъ, забывъ на время и сокрушавшее его

горе; но счастливъ только въ мечтахъ, заглушивши, такъ сказать, временно вопіющій голосъ пробудившейся души своей; но когда Смарагдъ воротился, когда на третье лѣто, послѣ отплытія своего, «Благодатный» самъ себя поздравилъ, огибая опять Кронштотъ, съ благополучнымъ прибытіемъ на родину, тогда уже нашъ Смарагдъ былъ не тотъ; онъ былъ счастливъ въ душѣ, по опыту, по убѣжденію. Да, Смарагдъ вступилъ на «Благодатный» молодымъ, по опыту въ жизни, мичманомъ, а сошелъ съ него старымъ, опытнымъ, бывалымъ лейтенантомъ, который пріобрѣлъ себѣ уже имя, славу отличнаго моряка, пріобрѣлъ вѣсъ и значеніе между товарищами, общее уваженіе между младшими, старшими и равными, какъ человѣкъ умный, свѣдующій, добрый и вполнѣ благоразумный. Въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ, Смарагдъ спознался самъ съ собою и съ людьми, примирился опять съ свѣтомъ, нашелъ точку, гдѣ держался въ равновѣсіи со внѣшнимъ міромъ и стоялъ твердо, увѣренно, самобытно. Въ это же время Смарагдъ вовсе пересталъ писать стихи, но принялся съ особенною охотою за прозу; онъ увидѣлъ, что въ немъ не было настоящаго призванія къ поэзіи, что все это была одна только вспышка молодости, и онъ взялся за прозу. Прозой писать хорошо, ясно и четко долженъ умѣть всякій образованный человѣкъ; за стихи не берись никто, кромѣ урожденнаго поэта.

Смарагдъ испыталъ и пріобрѣлъ на перепутьи этомъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, друга, коимъ онъ, по всей справедливости, гордился, въ которомъ онъ души не чаялъ, любилъ и уважалъ самого себя только въ немъ. Это былъ именно академикъ Темниковъ, отправившійся на «Благодатномъ» для ученыхъ изслѣдованій. Въ молодомъ человѣкѣ этомъ обширныя свѣдѣнія по всѣмъ почти частямъ и отраслямъ наукъ самыхъ

были, если посмѣю такъ выразиться, съ умнымъ сердцемъ и чувствительнымъ умомъ; то есть, въ самомъ умѣ его было что-то нравственное, было чувство, а не одна только холодная, отвлеченная ученость; а въ чувствахъ, въ игрѣ страстей, что-то думное, разсудительное. Они сошлись со Смарагдомъ по взаимному влеченію, и когда обнялись въ первый разъ и подали одинъ другому руку на братство, то оба прослезились; оба, съ какимъ-то страннымъ смѣшеніемъ уничиженія и чувства собственнаго достоинства, молча пожали другъ другу руку и не умѣли высказать, что было на душѣ.

Смарагдъ не только въ эти три года пріобрѣлъ отъ друга своего хорошія и основательныя свѣдѣнія по многимъ отраслямъ науки, но, что еще важнѣе, онъ научился быть человѣкомъ, научился уважать себя самого; а безъ этого, хоть и выйдешь въ люди, да человѣкомъ быть нельзя. Смарагдъ видѣлъ свѣтъ, въ буквальномъ смыслѣ, потому что обошелъ его изъ конца въ конецъ, кругомъ; опытность, пріобрѣтаемая только путешествіями, и дружба Темникова посвятили въ Поцѣлуевѣ какую-то людскость, обходительность, ладъ и мѣру въ житейскомъ быту, которую нельзя передать на словахъ, и которую даже не всякъ способенъ перенять на дѣлѣ.

Поцѣлуевъ часто разсказывалъ Темникову объ этомъ дивномъ явленіи, коммисарѣ 13 класса Суходольномъ, о связяхъ съ нимъ, о заботливости хозяевъ своихъ, въ то время какъ онъ, Поцѣлуевъ, лежалъ у нихъ больной; прибавилъ еще, что когда онъ нанялъ у нихъ комнатку, со столомъ и отопленьемъ, то старикъ Суходольный, при всей бѣдности своей, ни подъ какимъ видомъ не согласился зачесть срокъ найма со дня прибытія Поцѣлуева въ домъ его: «бойтесь Бога, говорилъ старикъ обиженнымъ голосомъ, бойтесь Бога,

Смарагдъ Петровичъ: первое время вы у насъ были гостемъ, это къ счету не идетъ; вы извольте считать 1 августа, когда порядились, а что было до этого, то считать намъ будетъ обидно». Говорилъ Смарагдъ и про Оленьку, и смѣялся страстной привязанности своей къ тринадцатилѣтнему ребенку; но при всемъ томъ не могъ нахвалиться ею и говорилъ откровенно, что дорого бы далъ, если бы могъ налюбоваться ею — не замужемъ за барономъ, а взрослой, расцвѣтшей, девятнадцатилѣтней дѣвицей.

— Зачѣмъ же ты хочешь забыть такихъ добрыхъ людей? — сказалъ Поцѣлуеву однажды Темниковъ: — напиши или прямо къ Суходольному, или, если думаешь, что письмо его уже не застанетъ, можетъ быть, въ Сухумѣ, то напиши къ кому нибудь и освѣдомься объ этомъ семействѣ; тебѣ отрадно будетъ услышать, гдѣ и что оно теперь.

Смарагдъ подумалъ — къ кому писать? товарищи вѣтрогоны или станутъ смѣяться дружбѣ Поцѣлуева съ коммисаромъ 13 класса, или по крайней мѣрѣ не возьмутъ на себя труда узнать и написать обо всемъ обстоятельно. «Дай, напишу къ Пименцову; онъ меня, чай, не забылъ и сослужитъ мнѣ эту службу».

Пименцовъ былъ тотъ самый крымскій помѣщикъ, которому Поцѣлуетъ, на обратномъ пути изъ Инкермана, спасъ дочь и утопилъ троюродную по женѣ сестру. Съ первою обратною почтой Смарагдъ получилъ отвѣтъ, который отпечатаемъ здѣсь отъ слова до слова; тутъ выкидывать нечего.

## ГЛАВА XXIII.

### ПИСЬМО ПИМЕНЦОВА СЪ ПРИПИСКАМИ.

«Получивъ письмо ваше, безконечно уважаемый благодѣтель мой, Смарагдъ Петровичъ, я отъ радости

созвалъ весь домъ свой и прочиталъ имъ всѣмъ вслухъ все, что вы пишете, отъ начала до конца; скажу вамъ напередъ, что его слушала тутъ и Оленька, Ольга Степановна, потому что и она принадлежитъ теперь къ моему семейству. Желаю, чтобы я всегда могъ съ такою точностію исполнять, къ сожалѣнію слишкомъ скромныя, ваши до меня требованія: я могу вамъ безъ труда отдать подробнѣйшій отчетъ обо всемъ, о чемъ вы у меня изволите освѣдомляться. Позвольте поблагодарить васъ отъ всей души, что вы насъ не забыли, и затѣмъ приступить къ разсказу.

«Слишкомъ два года тому, какъ тогдашній женихъ дочери моей, которая теперь замужемъ и сама кормитъ сыночка, названнаго по васъ Смарагдомъ, — два года тому, какъ женихъ моей Маши купилъ случайно гдѣ-то перстенекъ и принесъ его ей въ подарокъ: перстенекъ немудрый, да въ немъ было пять камешковъ подрядъ: малахитъ, алмазъ, роговикъ, изумрудъ и яхонтъ—и начальныя буквы названій этихъ составляютъ имя дочери моей: *Марія*. Вотъ почему зять принесъ ей это колечко. Она, какъ глянула, узнала тотъ самый перстенекъ, который, снявъ съ руки своей, отдала вамъ, своему спасителю Я въ происшествіи этомъ не видалъ ничего чрезвычайнаго; но дочь — вѣроятно по свойственному полу ея во всѣхъ мелочахъ любопытству, хотя она и хвалится теперь, что сдѣлала это по предчувствію — дочь просила жениха своего неотступно — узнать, откуда и какимъ путемъ перстенекъ достался продавцу, и дослѣдиться, кто получилъ его отъ васъ. Открылось, что вы подарили его дочери человѣка, который вамъ сдѣлалъ добро; и лицо доброй Маріи моей прояснилось умиленіемъ и радостію, когда она узнала, какое вы сдѣлали употребленіе изъ бездѣльнаго подарка ея: она думала видѣть въ этомъ доказательство, что вы цѣнили и уважали

этотъ знакъ безпредѣльной ея признательности. Но при этомъ открылось еще другое обстоятельство: старикъ Суходольный, который былъ, какъ видно по всему, дивный человѣкъ, погибъ въ Сухумѣ на пожарѣ госпиталя, вынесши на плечахъ своихъ уже семь человѣкъ и кинувшись въ пламя за осьмымъ. Потолокъ обрушился, и вѣрный слуга Государя своего, доблестный гражданинъ въ быту частномъ, нашелъ достойную себѣ смерть. Итакъ, объ немъ печалиться нечего; всѣ тамъ будемъ, кто раньше, кто позже; дай Богъ всякому пройти туда черезъ такое чистилище, какъ Суходольный: быть не можетъ, чтобы за это не было достойнаго возмездія! Но семейство его, жена и дочь, остались безъ насущнаго хлѣба У Суходольнаго было на рукахъ много; кинулись по смерти его описывать да опечатывать домишко его, столы да стулья, боялись какой нибудь утраты; но у Суходольнаго нашлись всѣ дѣла въ такомъ порядкѣ, что не могли этому надивиться. Суммы, большія и малыя, всѣ на лицо, съ ярлыками; казенныя вещи, до послѣдняго, хозяйственно сбереженнаго лоскутка сукна—также; шнуровыя книги, со строгою и ясною отчетливостію, ведены — не на черновыхъ лоскуткахъ, а прямо на бѣло, по самый часъ смерти: послѣдняя статья внесена была поздно вечеромъ, когда уже ударили въ набатъ и закричали пожаръ. Анна Ивановна, жена его, говоритъ: кинувъ перо второпяхъ, Степанъ Ивановичъ закапалъ книгу чернилами и потому оставилъ ее на столѣ раскрытою; капля эта еще не засохла, когда пришли и сказали Аннѣ Ивановнѣ, что мужъ ея погибъ.

«Итакъ, вдова и сирота остались безъ куска хлѣба; за казну Суходольный позаботился на своемъ вѣку, а за себя нѣтъ. Онъ говаривалъ, бывало: «Не пропадете, матушка Анна Ивановна; на сегодня будетъ, а что день, то и сегодня. Найдется человѣкъ, что вспомнитъ

были, если посмѣю такъ выразиться, съ умнымъ сердцемъ и чувствительнымъ умомъ; то есть, въ самомъ умѣ его было что-то нравственное, было чувство, а не одна только холодная, отвлеченная ученость; а въ чувствахъ, въ игрѣ страстей, что-то думное, разсудительное. Они сошлись со Смарагдомъ по взаимному влеченію, и когда обнялись въ первый разъ и подали одинъ другому руку на братство, то оба прослезились; оба, съ какимъ-то страннымъ смѣшеніемъ уничиженія и чувства собственнаго достоинства, молча пожали другъ другу руку и не умѣли высказать, что было на душѣ.

Смарагдъ не только въ эти три года пріобрѣлъ отъ друга своего хорошія и основательныя свѣдѣнія по многимъ отраслямъ науки, но, что еще важнѣе, онъ научился быть человѣкомъ, научился уважать себя самого; а безъ этого, хоть и выйдешь въ люди, да человѣкомъ быть нельзя. Смарагдъ видѣлъ свѣтъ, въ буквальномъ смыслѣ, потому что обошелъ его изъ конца въ конецъ, кругомъ; опытность, пріобрѣтаемая только путешествіями, и дружба Темникова посвятили въ Поцѣлуевѣ какую-то людскость, обходительность, ладъ и мѣру въ житейскомъ быту, которую нельзя передать на словахъ, и которую даже не всякъ способенъ перенять на дѣлѣ.

Поцѣлуевъ часто разсказывалъ Темникову объ этомъ дивномъ явленіи, коммисарѣ 13 класса Суходольномъ, о связяхъ съ нимъ, о заботливости хозяевъ своихъ, въ то время какъ онъ, Поцѣлуевъ, лежалъ у нихъ больной; прибавилъ еще, что когда онъ нанялъ у нихъ комнатку, со столомъ и отопленьемъ, то старикъ Суходольный, при всей бѣдности своей, ни подъ какимъ видомъ не согласился зачесть срокъ найма со дня прибытія Поцѣлуева въ домъ его: «бойтесь Бога, говорилъ старикъ обиженнымъ голосомъ, бойтесь Бога,

Смарагдъ Петровичъ: первое время вы у насъ были гостемъ, это къ счету не идетъ; вы извольте считать 1 августа, когда порядились, а что было до этого, то считать намъ будетъ обидно». Говорилъ Смарагдъ и про Оленьку, и смѣялся страстной привязанности своей къ тринадцатилѣтнему ребенку; но при всемъ томъ не могъ нахвалиться ею и говорилъ откровенно, что дорого бы далъ, если бы могъ налюбоваться ею — не замужемъ за барономъ, а взрослой, расцвѣтшей, девятнадцатилѣтней дѣвицей.

— Зачѣмъ же ты хочешь забыть такихъ добрыхъ людей? — сказалъ Поцѣлуеву однажды Темниковъ: — напиши или прямо къ Суходольному, или, если думаешь, что письмо его уже не застанетъ, можетъ быть, въ Сухумѣ, то напиши къ кому нибудь и освѣдомься объ этомъ семействѣ; тебѣ отрадно будетъ услышать, гдѣ и что оно теперь.

Смарагдъ подумалъ — къ кому писать? товарищи вѣтрогоны или станутъ смѣяться дружбѣ Поцѣлуева съ коммисаромъ 13 класса, или по крайней мѣрѣ не возьмутъ на себя труда узнать и написать обо всемъ обстоятельно. «Дай, напишу къ Пименцову; онъ меня, чай, не забылъ и сослужитъ мнѣ эту службу».

Пименцовъ былъ тотъ самый крымскій помѣщикъ, которому Поцѣлуетъ, на обратномъ пути изъ Инкермана, спасъ дочь и утопилъ троюродную по женѣ сестру. Съ первою обратною почтой Смарагдъ получилъ отвѣтъ, который отпечатаемъ здѣсь отъ слова до слова; тутъ выкидывать нечего.

## ГЛАВА XXIII.

### ПИСЬМО ПИМЕНЦОВА СЪ ПРИПИСКАМИ.

«Получивъ письмо ваше, безконечно уважаемый благодѣтель мой, Смарагдъ Петровичъ, я отъ радости

созвалъ весь домъ свой и прочиталъ имъ всѣмъ вслухъ все, что вы пишете, отъ начала до конца; скажу вамъ напередъ, что его слушала тутъ и Оленька, Ольга Степановна, потому что и она принадлежитъ теперь къ моему семейству. Желаю, чтобы я всегда могъ съ такою точностію исполнять, къ сожалѣнію слишкомъ скромныя, ваши до меня требованія: я могу вамъ безъ труда отдать подробнѣйшій отчетъ обо всемъ, о чемъ вы у меня изволите освѣдомляться. Позвольте поблагодарить васъ отъ всей души, что вы насъ не забыли, и затѣмъ приступить къ разсказу.

«Слишкомъ два года тому, какъ тогдашній женихъ дочери моей, которая теперь замужемъ и сама кормитъ сыночка, названнаго по васъ Смарагдомъ, — два года тому, какъ женихъ моей Маши купилъ случайно гдѣ-то перстенекъ и принесъ его ей въ подарокъ: перстенекъ немудрый, да въ немъ было пять камешковъ подрядъ: малахитъ, алмазъ, роговикъ, изумрудъ и яхонтъ—и начальныя буквы названій этихъ составляютъ имя дочери моей: *Марія*. Вотъ почему зять принесъ ей это колечко. Она, какъ глянула, узнала тотъ самый перстенекъ, который, снявъ съ руки своей, отдала вамъ, своему спасителю Я въ происшествіи этомъ не видалъ ничего чрезвычайнаго; но дочь — вѣроятно по свойственному полу ея во всѣхъ мелочахъ любопытству, хотя она и хвалится теперь, что сдѣлала это по предчувствію — дочь просила жениха своего неотступно — узнать, откуда и какимъ путемъ перстенекъ достался продавцу, и дослѣдиться, кто получилъ его отъ васъ. Открылось, что вы подарили его дочери человѣка, который вамъ сдѣлалъ добро; и лицо доброй Маріи моей прояснилось умиленіемъ и радостію, когда она узнала, какое вы сдѣлали употребленіе изъ бездѣльнаго подарка ея: она думала видѣть въ этомъ доказательство, что вы цѣнили и уважали

этотъ знакъ безпредѣльной ея признательности. Но при этомъ открылось еще другое обстоятельство: старикъ Суходольный, который былъ, какъ видно по всему, дивный человѣкъ, погибъ въ Сухумѣ на пожарѣ госпиталя, вынесши на плечахъ своихъ уже семь человѣкъ и кинувшись въ пламя за осьмымъ. Потолокъ обрушился, и вѣрный слуга Государя своего, доблестный гражданинъ въ быту частномъ, нашелъ достойную себѣ смерть. Итакъ, объ немъ печалиться нечего; всѣ тамъ будемъ, кто раньше, кто позже; дай Богъ всякому пройти туда черезъ такое чистилище, какъ Суходольный: быть не можетъ, чтобы за это не было достойнаго возмездія! Но семейство его, жена и дочь, остались безъ насущнаго хлѣба У Суходольнаго было на рукахъ много; кинулись по смерти его описывать да опечатывать домишко его, столы да стулья, боялись какой нибудь утраты; но у Суходольнаго нашлись всѣ дѣла въ такомъ порядкѣ, что не могли этому надивиться. Суммы, большія и малыя, всѣ на лицо, съ ярлыками; казенныя вещи, до послѣдняго, хозяйственно сбереженнаго лоскутка сукна—также; шнуровыя книги, со строгою и ясною отчетливостію, ведены — не на черновыхъ лоскуткахъ, а прямо на бѣло, по самый часъ смерти: послѣдняя статья внесена была поздно вечеромъ, когда уже ударили въ набатъ и закричали пожаръ. Анна Ивановна, жена его, говоритъ: кинувъ перо второпяхъ, Степанъ Ивановичъ закапалъ книгу чернилами и потому оставилъ ее на столѣ раскрытою; капля эта еще не засохла, когда пришли и сказали Аннѣ Ивановнѣ, что мужъ ея погибъ.

«Итакъ, вдова и сирота остались безъ куска хлѣба; за казну Суходольный позаботился на своемъ вѣку, а за себя нѣтъ. Онъ говаривалъ, бывало: «Не пропадете, матушка Анна Ивановна; на сегодня будетъ, а что день, то и сегодня. Найдется человѣкъ, что вспомнитъ

меня, и хоть не ради меня, а ради себя, позаботится и о васъ». И доблестный старикъ не обманулся, нашелся такой человѣкъ, и человѣкъ этотъ вы, Смарагдъ Петровичъ. Доискавшись по перстеньку семейства Суходольнаго, которое переѣхало, продавъ домишко въ Сухумѣ, сюда въ Севастополь, мы вашимъ именемъ сдѣлали, что могли Вы не хотѣли принять отъ насъ ничего; пусть же люди, которые вамъ сдѣлали добро, приняли васъ въ домъ полумертвымъ, молятъ Бога за васъ, какъ и мы за васъ же; и если вы скажете намъ за это спасибо, то мы готовы заплакать отъ радости, что сдѣлали угодное вамъ. Похвалюсь передъ вами, я ничего не жалѣлъ для Суходольныхъ: почтенная Анна Ивановна не захотѣла быть праздною и нашла себѣ для меня очень полезное занятіе по шелководному хозяйству моему; а моя милая, неоцѣненная Оленька замѣнила намъ убылую дочь, Машу. О, Смарагдъ Петровичъ, это дитя неоцѣненное: въ два года, что она у насъ въ домѣ, она воздала намъ сторицею за всѣ заботы и попеченія наши; радости было намъ отъ нея много, очень много, а печали не бывало.

«Изъ всего этого вы видите, что Оленька не выходила замужъ ни за кого, а и того менѣе за барона Фонъ-Адельсбурга, какъ вы, судя по письму вашему, полагаете. Баронъ дѣйствительно сватался на ней очень настойчиво, и возобновилъ даже сватовство свое, когда былъ сдѣланъ, вскорѣ по отъѣздѣ вашемъ, плацъ-маіоромъ въ Сухумѣ; Суходольный сказалъ ему съ самаго начала, что я-де не прочь отъ этого, если Оленька согласна; и вотъ откуда взялась, вѣроятно, дошедшая до васъ молва. Но Оленька рѣшительно не хотѣла его знать, равно какъ и многихъ другихъ жениховъ, которые сватались къ ней уже здѣсь: въ томъ числѣ отказала она также наотрѣзъ человѣку, котораго я бы желалъ называть зятемъ—я Оленьку, какъ видите,

считаю дочерью своею—человѣку доброму и хорошему, не говоря уже о почетномъ званіи его и достаткѣ. Но я не только неволить ее, и уговаривать не стану: какъ знаетъ и хочетъ: мнѣ и безъ того тяжело будетъ съ нею разстаться, пусть еще поживетъ вмѣстѣ! А отчего она всѣмъ такъ положительно отказываетъ — этого я вамъ не скажу; есть вещи, Смарагдъ Петровичъ, которыя вслухъ не говорятся, а и того менѣе пишутся на бумагѣ; грамотныхъ много, а сердце дѣвушки государственная тайна; это священно. Скажу вамъ, однако же, что перстенекъ вашъ, послѣ всѣхъ приключеній своихъ, возвратился нынѣ въ ту же сокровищницу, или въ собственность того же сокровища, которое судьба дала вамъ отыскать, въ одинокомъ, отгороженномъ отъ цѣлаго свѣта уголку азіятскаго материка. Перстень былъ проданъ въ крайней нуждѣ, для доставленія больной матери пособія и пищи. Не хочу сокрушать сердца вашего описаніемъ этой картины: все это давно прошло и миновалось. Теперь мы счастливы и довольны. Если же кому нибудь изъ насъ, изъ нынѣшней семьи моей, и приходитъ, можетъ статься, въ сердце или въ голову, какъ говорятъ обыкновенно, что счастье это могло бы сдѣлаться еще полнѣе и совершеннѣе, то на это невольно отвѣчаешь себѣ пошлымъ и обмолоченнымъ, но не менѣе того истиннымъ изреченіемъ: на землѣ нѣтъ счастья и нѣтъ совершенства!

«Жена моя много кланяется вамъ и проситъ извинить: она, по-русски, безграмотна; прочіе же члены семейства моего припишутъ къ вамъ нѣсколько строкъ сами.

*Н. Пименовъ.*

«Если вы не забыли еще той дѣвицы, которую, почти семь лѣтъ тому, 5 мая, спасли отъ ненавистной

ей смерти—потому что я хотѣла пожить еще и тогда, хочу и теперь — то позвольте счастливой супругѣ и матери увѣрить васъ, что она, въ продолженіе этихъ семи лѣтъ, ни разу не позабывала включить васъ въ вечернюю молитву свою.

*Марья Ногашева.*

«Пріѣзжай къ намъ, дяденька, у насъ хорошо, и я скажу тебѣ спасибо за то, что ты далъ мнѣ маменьку мою. Я самъ писать не умѣю; мнѣ водила маменька руку.

*Смарагдъ Ногашевъ.*

«Итакъ, мы, наконецъ, доискались васъ, Смарагдъ Петровичъ,—или правда, мы сидѣли на одномъ мѣстѣ, а вы сами случайно подали о себѣ вѣсточку. Я вспомнила при этомъ басенку, которую вы когда-то мнѣ читали, какъ двое пошли искать счастья, третій сидѣлъ дома, сложа руки, а оно къ нему само и навѣдалось! Помните ли вы еще это время, когда мы читали басенку эту? Да нѣтъ, вамъ теперь не до того, вы обошли весь свѣтъ, вамъ не до темныхъ, никому неизвѣстныхъ обитателей бѣдной сухумской лачужки! Но за что же я такъ на васъ злословлю, написали къ намъ, спрашивали обо всѣхъ, и обо мнѣ! Благодарю васъ за это; я смѣло могу вамъ писать сама, вы мой учитель и наставникъ. О, прошлое время, какъ оно было хорошо! но я тогда была еще мала и глупа. Нынѣшніе благодѣтели наши благодарности отъ насъ не принимаютъ, отсылаютъ къ вамъ; а вы, къ кому вы насъ отошлете?

*«Ольга Суходольная».*

## ГЛАВА XXIV.

### ОЛЬГА.

Когда Смарагдъ получилъ въ Кронштадтѣ письмо это, тогда онъ, сложивъ руки и поднявъ очи къ небу, въ первый разъ отъ роду сказалъ самъ себѣ: «ты баловень судьбы, Смарагдъ Петровичъ, и другаго такого баловня у нея не было и не будетъ!»

Онъ побывалъ тотчасъ же въ Петербургѣ, отправившись туда на сенатскомъ катерѣ, потому-что пароходовъ о ту пору еще у насъ не было; побывалъ только для того, чтобы пасть стрѣлой въ рабочую комнату Темникова, обнять его, подушить въ сильныхъ рукахъ своихъ, помучить съ полчаса, заставляя отгадывать содержаніе полученнаго отъ Пименцова отвѣта, и потомъ молча отдать другу своему письмо, сѣсть на диванъ и смотрѣть чтецу прямо въ глаза, разгадывая, что дѣлается у него на душѣ и на сердцѣ.

Потомъ Поцѣлуевъ воротился въ Кронштадтъ, съ трудомъ выждалъ отпуска, сѣлъ и поскакалъ безъ оглядки въ Севастополь. Здѣсь ждали и не ждали отвѣта на письмо, а тутъ—глядь—растворилась дверь и входитъ онъ самъ!

Семейство Пименцова было въ сборѣ, за вечернимъ самоваромъ. Расписывай себѣ всякъ свиданіе это, кто какъ умѣетъ: Ольгѣ, въ первый разъ отъ роду, сдѣлалось дурно. Въ приписке своей къ Поцѣлуеву была она, какъ мы видѣли, смѣла и шаловлива, воображая его вѣроятно все еще тѣмъ же молоденькимъ мичманомъ, товарищемъ дѣтства ея; но когда складный и стройный мужчина съ густыми бакенбардами вошелъ, какъ съ неба свалившись, въ комнату и всѣ кинулись обнимать его и честить Смарагдомъ Петровичемъ—

ей смерти—потому что я хотѣла пожить еще и тогда, хочу и теперь — то позвольте счастливой супругѣ и матери увѣрить васъ, что она, въ продолженіе этихъ семи лѣтъ, ни разу не позабывала включить васъ въ вечернюю молитву свою.

*Марья Ногашева.*

«Пріѣзжай къ намъ, дяденька, у насъ хорошо, и я скажу тебѣ спасибо за то, что ты далъ мнѣ маменьку мою. Я самъ писать не умѣю; мнѣ водила маменька руку.

*Смарагдъ Ногашевъ.*

«Итакъ, мы, наконецъ, доискались васъ, Смарагдъ Петровичъ,—или правда, мы сидѣли на одномъ мѣстѣ, а вы сами случайно подали о себѣ вѣсточку. Я вспомнила при этомъ басенку, которую вы когда-то мнѣ читали, какъ двое пошли искать счастья, третій сидѣлъ дома, сложа руки, а оно къ нему само и навѣдалось! Помните ли вы еще это время, когда мы читали басенку эту? Да нѣтъ, вамъ теперь не до того, вы обошли весь свѣтъ, вамъ не до темныхъ, никому неизвѣстныхъ обитателей бѣдной сухумской лачужки! Но за что же я такъ на васъ злословлю, написали къ намъ, спрашивали обо всѣхъ, и обо мнѣ! Благодарю васъ за это; я смѣло могу вамъ писать сама, вы мой учитель и наставникъ. О, прошлое время, какъ оно было хорошо! но я тогда была еще мала и глупа. Нынѣшніе благодѣтели наши благодарности отъ насъ не принимаютъ, отсылаютъ къ вамъ; а вы, къ кому вы насъ отошлете?

*«Ольга Суходольная».*

## ГЛАВА XXIV.

### ОЛЬГА.

Когда Смарагдъ получилъ въ Кронштадтѣ письмо это, тогда онъ, сложивъ руки и поднявъ очи къ небу, въ первый разъ отъ роду сказалъ самъ себѣ: «ты баловень судьбы, Смарагдъ Петровичъ, и другаго такого баловня у нея не было и не будетъ!»

Онъ побывалъ тотчасъ же въ Петербургѣ, отправившись туда на сенатскомъ катерѣ, потому-что пароходовъ о ту пору еще у насъ не было; побывалъ только для того, чтобы пасть стрѣлой въ рабочую комнату Темникова, обнять его, подушить въ сильныхъ рукахъ своихъ, помучить съ полчаса, заставляя отгадывать содержаніе полученнаго отъ Пименцова отвѣта, и потомъ молча отдать другу своему письмо, сѣсть на диванъ и смотрѣть чтецу прямо въ глаза, разгадывая, что дѣлается у него на душѣ и на сердцѣ.

Потомъ Поцѣлуевъ воротился въ Кронштадтъ, съ трудомъ выждалъ отпуска, сѣлъ и поскакалъ безъ оглядки въ Севастополь. Здѣсь ждали и не ждали отвѣта на письмо, а тутъ—глядь—растворилась дверь и входитъ онъ самъ!

Семейство Пименцова было въ сборѣ, за вечернимъ самоваромъ. Расписывай себѣ всякъ свиданіе это, кто какъ умѣетъ: Ольгѣ, въ первый разъ отъ роду, сдѣлалось дурно. Въ приписке своей къ Поцѣлуеву была она, какъ мы видѣли, смѣла и шаловлива, воображая его вѣроятно все еще тѣмъ же молоденькимъ мичманомъ, товарищемъ дѣтства ея; но когда складный и стройный мужчина съ густыми бакенбардами вошелъ, какъ съ неба свалившись, въ комнату и всѣ кинулись обнимать его и честить Смарагдомъ Петровичемъ—

тогда Ольга подъ собою земли не взвидѣла, души не послышала и языка не доискалась.

— Нѣтъ, — сказалъ Пименцовъ, когда, не болѣе трехъ дней послѣ пріѣзда Поцѣлуева, шла уже рѣчь о приданомъ Ольги:—нѣтъ, Смарагдъ Петровичъ, ужь въ это дѣло вы не мѣшайтесь; это до васъ не касается. Ольга—дочь моя, и моя забота одѣть и обуть ее, припасти ей денежку про черный день и благословить на новый путь жизни!

Смарагдъ отыскалъ также бывшаго односума своего, барона, въ Севастополѣ, и нашелъ его въ самомъ жалкомъ положеніи. Тяжкія раны и сухумская лихорадка истощили жизненныя его силы: онъ принужденъ былъ покинуть плацъ-маіорское мѣсто свое, перенести щитъ и мечъ свой, шлемъ и наручни праматери Гертруды въ Севастополь, въ первый и ближайшій портъ, и лежалъ въ тѣсномъ, маленькомъ жильѣ уже почти на одрѣ смерти. Щитъ съ налокотниками и приборомъ висѣлъ уже не въ головахъ, а въ ногахъ барона, потому-что голова у него кружилась, когда онъ взглядывалъ на сокровища эти назадъ, черезъ себя. Баронъ сдѣлался слабоуменъ, почти помѣшался на любимыхъ игрушкахъ своихъ; деньщикъ его, знаменитый Кирюшка, запилъ, покинувъ барона на произволъ судьбы; словомъ—Поцѣлуевъ и тутъ явился спасителемъ и утѣшителемъ, пристроилъ сидѣлку къ бѣдному барону и доставилъ ему, на все время болѣзни, столъ отъ Пименцова. Гордость барона этимъ не оскорбилась: онъ воображалъ, что все это дѣлается на собственный его счетъ, и благодарилъ только Поцѣлуева за хлопоты его и безпокойство. Баронъ былъ очень счастливъ, что нашелъ наконецъ въ Поцѣлуевѣ благороднаго, признательнаго человѣка; такъ толковалъ, по крайней мѣрѣ, Губертъ Рудольфовичъ заботы о себѣ Смарагда. Между тѣмъ, все осно-

валось на томъ, что Поцѣлуевъ открылъ случайно настоящій источникъ и виновника николаевскихъ сплетенъ, отосительно извѣстнаго похожденія съ Надей, въ домѣ у совѣтника; жалѣлъ о томъ, что слишкомъ торопко оскорбилъ барона, не узнавши напередъ дѣла, и хотѣлъ это чѣмъ нибудь вознаградить.

Подвѣнечное бѣлое платье и фата были Ольгѣ необыкновенно къ лицу. Списать съ нея поличіе, особенно чернилами и тупымъ перомъ своимъ,—которое я, мимоходомъ сказать, въ продолженіе этой послѣдней главы повертываю уже въ третій разъ съ боку на бокъ, на себя и отъ себя очинкой,—списать съ нея поличіе не берусь; скажу однакоже, что хотя она была почти также темноволоса и черноброва, какъ Марія, вовсе однакоже на нее не походила. Ольга, какъ дѣва горъ, была выше, стройнѣе; въ ней не было и слѣда этой плотности, чтобы не сказать тучности стана, которую найдете, болѣе или менѣе, у всѣхъ гречанокъ, особенно у замужнихъ. Лицо у нея было болѣе кругло-продолговатое, безъ всякой остроты подбородка; голова вообще какъ-то круглѣе, общая полнота, въ высшей степени соотвѣтственная стану, складу и росту. Маленькія ножки надоѣли мнѣ, господа, во всѣхъ описаніяхъ вашихъ, и потому я объ нихъ, о маленькихъ ножкахъ, говорить не стану.

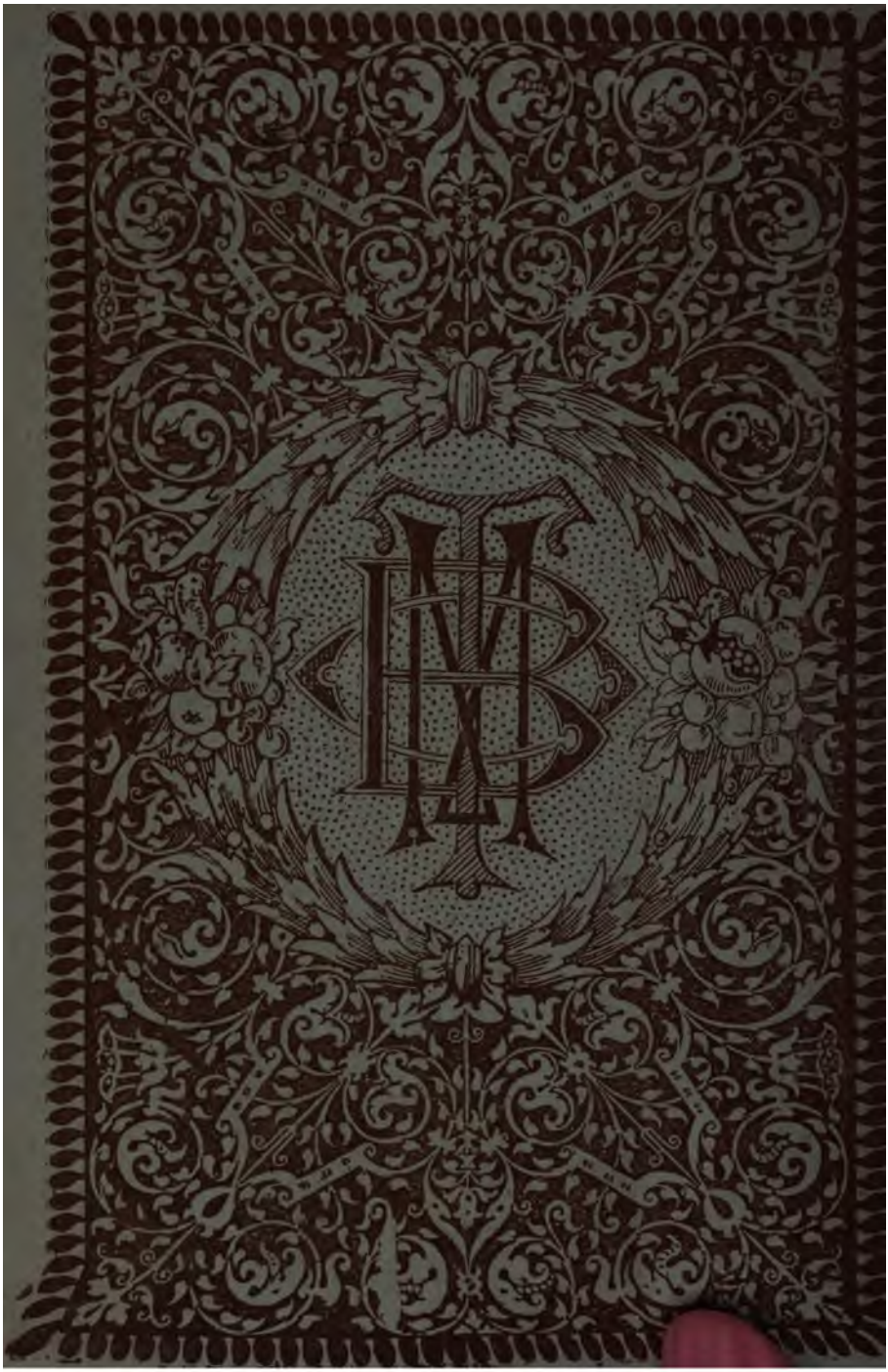
Въ тотъ самый день, когда Ольгѣ исполнилось 20 лѣтъ, подруги ее убирали къ вѣнцу. Смарагдъ былъ семью годами старѣе; онъ одѣлся просто въ мундиръ, не припасъ даже шелковыхъ чулокъ и башмаковъ, не надушился и не завился. Пименцовъ былъ посаженымъ отцомъ, Маша вдѣвала невѣстѣ серьги, а женихъ, сказываютъ, ступилъ въ церкви первый на подстилку.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА

# СОДЕРЖАНІЕ ВТОРАГО ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| НЕБЫВАЛОЕ ВЪ БЫЛОМЪ | 5 |
| РАЗСКАЗЪ ЛЕЗГИНЦА АСАНА | 150 |
| САВЕЛІЙ ГРАБЪ | 207 |
| РАСПЛОХЪ | 308 |
| ХМЕЛЬ, СОНЪ И ЯВЬ | 348 |
| МИЧМАНЪ ПОЦѢЛУЕВЪ | 374 |

677.12
D131
v. 2



Stanford University Libraries
3 6105 013 373 597

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 10 1996
SFD

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
КНИГА 7 1892 ГОДЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М О ВОЛЬФ